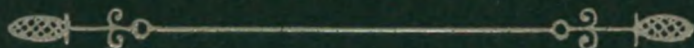




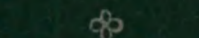
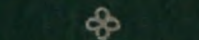
ЮРИЙ
НАГИБИН

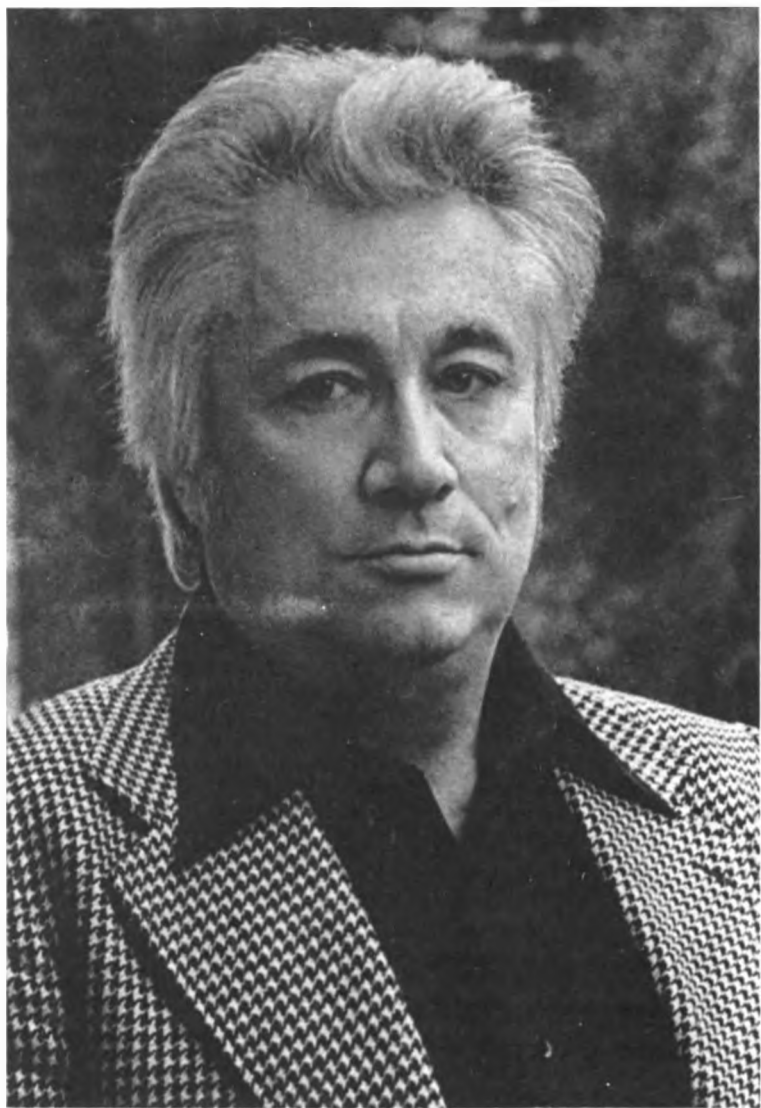


ЮРИЙ НАГИБИН



ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ
УТРО





ЮРИЙ НАГИБИН



ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ УТРО

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ



МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983

В настоящий сборник входят все произведения Юрия Нагибина, посвященные мастерам культуры разных времен и народов, начиная от старшего современника Шекспира, английского поэта и драматурга Кристофера Марло, мятежного протопopa Аввакума и просветителя Тредиаковского до Рахманинова, Бунина, Иннокентия Анненского и Хемингуэя.

Над этой книгой, состоящей из рассказов и повестей, Ю. Нагибин работал последние десять лет и завершил ее в 1982 году.

Художник
Давид ШИМИЛИО



ПОВЕСТИ





БЕГЛЕЦ

1

Священник астраханской соборной Троицкой церкви Кирилла Тредиаковский женил старшего сына, певчего Василия, против его воли. Шел молодцу уже двадцать первый год, от избытка зрелых сил кожа на лице лоснилась, из носа ни с того ни с сего кровичка хлестала, а сочетаться совокуплением брачным с достойной девицей нипочем, дурень, не хотел. В духовенстве рано женятся, ведь, коли не вступил в брак до положения в иерейский сан, быть тебе до конца дней бобылем. Разумеется, отец Кирилла видел своего старшего священником, которому по обычаю отойдет его небедный приход. Отец Кирилла полагал, что ждать того недолго, не потому вовсе, что ощущал тленное веяние близкой кончины, просто устал смертельно и плотью и духом, мечтал о постриге и тихом изживании остатних дней в блаженном покое монастырской обители. Отнюдь не скуден был его приход, а большая, многолетняя семья о. Кириллы если и не бедствовала, то сроду достатка не ведала. Другой бы поп благоденствовал на его месте — среди прихожан, помимо рыбаков и работной мелюзги, были люди весьма зажиточные: лавочники, владельцы стругов и неводов, средней руки купцы, подьячие, губернские канцеляристы. В попе у всех нужда: то венчание, то крестины, то освящение корабля, лавки или нового дома, то панихида — о. Кирилла не мог на боге наживаться, оттого и заслужил презрительную кличку: «дешевый поп». Хотелось верить, что, унаследовав отцу, молчаливый, затаенный, непонятный нравом первенец Василий будет не столь тороват и выдавит сок из прижимистой паствы. Тогда и вспомнят они «дешевого попа», щепетильного о. Кириллу, которому сейчас, дабы прокормиться с семейством, приходилось огород держать, а также яблоневый и виноградный сад.

Огород начинался сразу за домом и полого сползал к реке Кутуму, и, хотя мужчины семьи Тредиаковских вламывали там, не щадя живота своего, зареченскую землю пришлось отдать за долг в сорок восемь рублей Осипу Плохому, государева рыбного приказа ловцу. Бог шельму метит, не зря носил ловец осетров и стерляди поносную фамилию — ободрал, как липку, бедных людей за не больно важный и вполне терпимый при его достатках долг. Тому уже три года, а семейство о. Кириллы так и не оправилось, тем паче что оставшийся им огород кормил плохо. Засухи донимали. Из года

в год, каждое лето пересыхала, трескалась и порошилась земля, и как ни бились о Кирилла с сыновьями, не могли ее досыта напоить.

Но все же жили, не помирали, ели хлеб, а по праздникам — пироги с рыбой. И если свадьбу старшего сына сыграли на удивление скромно, то не от бедности — вполне по силам было самолюбивому о. Кирилле побогаче учинить праздник, да не лежала душа к щедрости, когда чуть не силком загнал сына под венец. Не хотел жентиться, обалдуй, учиться хотел! Мало ему, что десять лет протирал штаны в школе католических монахов-капуцинов, а попал туда, уже грамоте зная, он в Киево-Могилянскую академию наладился и даже, тихоня скрытный, паспорт в губернаторской канцелярии получил. И словечка никому не сказал. Случайно канцелярист Волковойнов, что документ выправлял, на крестинах у судовладельца Фроликова о. Кирилле проговорился. Не то что проговорился, а поздравил с башковитым сыном, столь сильное к наукам тяготение имеющим, — думал, канцелярская душа, что с родительского соизволения тот в Киев отбывает. А разве можно, не спросясь родителей, паспорт выдавать? Сын зело еще юн, не может своим разумом жить. Знать, капуцины, продувные бестии, имели и при вице-губернаторе Кикине сильную руку. Сам-то Василий был до того прост и неловок, что никогда б такого не учинил...

Кирилла Тредиаковский вовсе не был врагом образования, в юные годы он и сам почитывал отцов церкви, прикасался к Даниилу велеречию, даже красноглазого Квинтилиана открывал, благо владел начатками латыни, но тяжкие семейные заботы рано отврвали его от книг и заставили жить ради хлеба насущного. Не видел он иной судьбы и для своего первенца. Ученость хороша, когда человек знатен и богат, как князь Дмитрий Кантемир, проезжавший с царем Петром через Астрахань в Персиду да и занедуживший здесь, а простому человеку она без пользы, даже во вред, ибо отвлекает от серьезной внешней жизни, набивает голову лишними, отягощающими мыслями, а то и вовсе губит. Слишком много узнавший бедняк беспрерменно или с круга спивается, или в ересь впадает, или в крамолу, или из ума выходит. Попадались не раз о. Кирилле такие людюшки, что, обожравшись непереваримой пищей книжной мудрости, превращались в блажененьких или чумовых. Бывали, конечно, счастливы, хотя бы знаменитый Никон, что из забытой богом Мордовии взлетел на патриарший престол. Так ведь у Никона, помимо великой учености, был еще особый талант к власти, к подавлению слабых чело-веков и уловлению сильных, чего в собственном сыне о. Кирилла никак не просматривал. Но и Никон, до чего уж кряжист и могутен, а и тот плохо кончил. Перемудрил, сердешный, хотел от великого ума и познаний выше головы скакнуть и в заточение угодил. Конечно, при царе Петре простой человек мог на высшую точку взойти не книжной ученостью — для того голландцы и немцы водятся, — а ратной доблестью, или особым дарованием в гражданских делах по части заводов и мануфактур, торговли и ремесел, или счастливым умением влезать без мыла в любую щель, втиснуться в доверие к власти имущим, что дает человеку самый быстрый и вер-

ный успех. Ни к чему перечисленному его бесхитростный и неуклюжий сын расположения не выказывал, был он начетчик, грамотей, книжный червь, и ничего больше. Не светила ему и блистательная судьба попа-пииты — хитролиса Феофана Прокоповича, ставшего столь близко к особе государя императора. Куда там! Стало быть, надлежит ему идти проторенным путем поповского сына и дурость учную из головы выкинуть.

Прослышав о паспорте, о Кирилла твердой, привычной к лопате и мотыге рукой вразумил сына. Тот по обыкновению и не пытался оправдаться, молча снес наказание, отсморкал кровь, лишь в тускло-голубых глазах прибавилось сонной мути. Никогда не мог понять умевший читать в челоуечьих глазах о. Кирилла — на исповедях обучился вылавливать истину в темени ускользающих зрачков, — о чем думает его первенец. Гонишь его на огород — книгу в сторону и послушно трусит к грядам; гонишь на виноградник или по иной надобности — та же безропотная покорность, но мнилось о. Кириллу, что внутренним согласием сроду не отвечал ему сын. Не было в нем ни любви к родителям, ни жалости к братьям и сестрам; даже тихой, запуганной, безответной матери не уделил он хоть крохи душевного участия. В великую досаду о. Кириллу был вечный заячий страх его жены, переходивший в болезненный ужас, стоило ей чем-то «не угодить» мужу. А ведь суровый, резкий, скорый на расправу о. Кирилла не только сроду ее пальцем не тронул (сынов бивал, дочерям костяшками перстов в лоб тыкал, служкам рассыпал затрещины), но и голоса на нее не повысил. Как почуял в своей невесте, светленькой, беленькой, голубоглазой, до слез умильной, эту необъяснимую душевную робость, так и объял ее, как мехом пушистым, своей добротой. Но знала тихая его жена, что есть в нем и другая душа: крутая, нетерпячая, ожесточенная худой жизнью, и, будто не веря надежности окутавшего ее тепла, вечно тряслась, не согреваясь. Видать, унаследовал Василий что-то от материнского кроткого, невольного и необоротного упрямства. Безмолвно подчинялся он отцовской воле, но правоты его не признавал. Отец Кирилла догадывался, что жена в тайниках души держит сторону сына; будь ее воля, она оставила бы Василия при его пустых и неустанных занятиях. Но тут ее воли не было, и о. Кирилла беспощадно гнал сына то на церковные хоры, то в огород, то в сад, то на пасеку. И всю судьбу Василия решил он единолично, даже сам ему невесту подыскал — дочь сторожа Астраханской губернской канцелярии Фадея Кузьмина — Феодосию.

При невидном своем положении был Фадей Кузьмин человеком довольно зажиточным. Видать, умел он то, чего вовсе не умел о. Кирилла, недаром же говорит народная мудрость, что не место красит человека, а человек — место. Кажись, чего стоит канцелярский сторож перед священником городской соборной церкви? Ан стоит! Фадей отвалил за дочерью такое приданое, что Тредиаковским и не снилось. Он хотел и на свадьбу денег дать, но о. Кирилла наотрез отказался: «Свадьбу в нашем доме играем, по нашим средствам. А тебе ведомо, что не за княжича дочь отдаешь».

И странно, все вроде бы по воле о. Кириллы вышло: сын остался дома — при церкви и огороде, учению предел положен, уже и свадьбу назначили, а там само покатится, как по гладкому льду, но тревога и смута терзают душу. Не видел он мысленным взором сына священником и места своего преемником, никак не вырисовывалась приятственная эта картина. Порой ему казалось, что сын и вовсе в бога не верует, а если и верует, то на какой-то свой особый лад. Даже когда он пел в церковном хоре, мутно-голубой взгляд не оживлялся теплой верой, душа его отсутствовала в храме. Это причиняло немалые страдания о. Кирилле, но еще сильнее угнетало его в сыне другое: тихоня, послушный, безответный увальень с круглым невыразительным лицом, помеченный двумя бородавками, и плотным — где только нагулял жирок-то! — телом не был просто затаенным упрямым, а человеком одержимым. Вот что страшило о. Кириллу и заставляло сомневаться в прочности всех своих побед. Потому и свадебное торжество обставил он не по-русски скудно. Да будет ли толк из этого брака, верно ли, что охотугал он Василия, навсегда привязал к клочку щедрой астраханской земли, где жить и жить Тредиаковским до скончания вска, передавая от отца к сыну приход соборной церкви?

Но ведь редко владеет человеком какое-то одно безраздельное чувство, обычно рядом теплится другое, порой прямо противоположное. И в о. Кирилле, вопреки убежденности, коренящейся в большом и горьком душевном опыте, знании людей и смирении перед своей несчастливой звездой, таилась надежда, что все еще образуется и найдется управа на одержимого демоном бесцельного познания поповича.

Такой управой, хотелось верить, станет молодая жена Василия. Отец Кирилла знал Феodosию еще девочкой — жили по соседству — голенастой, конопатой, сопливой; мелькала она ему и подростком, когда о существе женского пола вовсе судить невозможно: и в ангела, и в черта равно может вылиться зыбкий комок плоти. После Кузьмины переменили местожительство, Феodosия о. Кирилле более не встречалась, но краем уха он слышал от людей, не вникая в толки, что дочка канцелярского сторожа, войдя в девичий возраст, расцвела редкой тонкой красотой. Однажды на улице о. Кирилле низко поклонилась девушка в пуховом астраханском платке, который она придерживала узкой белой рукой у горла. Отягощенный вечными заботами, о. Кирилла рассеянно кивнул в ответ, но вдруг, повинувшись внутреннему толчку, обернулся и уставился ей вслед, что и для мирянина не больно пристойно, а для духовной особы вовсе дико.

Стройна до хрупкости, гибка станом, легка поступью, не торопливо семенящей, а плавной, летучей, и о. Кирилла пожалел, что не углядел ее черт. Но что-то помнилось — жаром на скулах, будто пронесли мимо самого лица горящую восковую свечечку, — взгляд мимолетно-пристальный ее ярких медовых глаз. «Не дочка ли это сторожа Кузьмина?» — осепило вдруг о. Кириллу, и странная печаль сдавила сердце.

Она самая и оказалась. О. Кирилла сразу признал ее, когда года через два явился в дом Кузьминых. Конечно, она изменилась: сохранив деликатность сложения, уже не казалась хрупкой, непрочной, была в ней какая-то тонкая и ловкая сила. «Такую не задуеть, как свечечку,— с удовольствием подумал о. Кирилла.— Крепенькая!..» Чувствовалось, что узкая белая рука ее с длинными перстами ухватиста к любому предмету, будет ли то игла, печной рогач или мужний ворот. А личико на образ просится, такая чистота и строгость жестких черт, вот только взгляд медовых, золотистых глаз совсем земной: веселый, горячий, ласковый.

И поугрюмел о. Кирилла: с какой стати пойдет краса писаная Феодосия за его обалдуя, что ни наружностью, ни обхождением не взял, о богатстве же и говорить не приходится. Фадей Кузьмин заранее предупредил через разговорную женщину,сланную к нему на предмет прощупывания почвы, что породниться с семейством о. Кириллы почтет за честь, но дочь неволить не станет. Это объяснило о. Кириллу, почему Феодосия, завидная невеста, подзадержалась в девках. Конечно, к ней сватались, иначе быть не могло, но, зная, не по сердцу были ей женихи. Девушки, известно, разборчивы и, коли родительская воля не понуждает, готовы весь век выбирать и кобениться. Но чем может привлечь Феодосию вечный школяр, заучившийся до одури бедный попович? Правда, был его Василий своего рода местной достопримечательностью — его отметил сам царь Петр, когда останавливался в Астрахани. Любящий собственноручно вникать в каждую малость, потребную, как ему мнилось, для русской пользы, Петр Алексеевич не только облазил все верфи, коптильни, солеварни, складские помещения, но и пожелал увидеть юных латынщиков. Изю всех них царь удостоил вниманием одного лишь Василия. Заломив ему на лоб русый зуб, Петр долго вглядывался в мутно-голубые серьезные терпеливые глаза юноши и, толкнув его в лоб широкой дланью, произнес то ли в похвалу, то ли сожалеюще: «Вечный труженик!»

Никто не понял, что имел в виду царь-человекознатец, и о. Кирилла тоже не понимал: добро или беду сулит сыну царево предсказание. Труженик — вроде бы хорошо, худо, коли бездельник, а «вечный» звучит приговором, значит, не будет ему отдохновения от трудов праведных, не вкусит он заслуженного покоя на склоне лет. Но это уже о другом, как-никак, а царева отметина легла на его сына. Правда, мало вероятия, чтобы двусмысленный знак царского внимания мог расположить к Василию незанятое сердце Феодосии. А впрочем, кто знает! Вон князь Кантемир, отставший от царского обоза по причине болезни, заинтересовался трудолюбивым юношей и велел привести к своему одру. Между свергнутым господарем молдавским и бурсаком состоялась долгая беседа, и, хотя князь никакого места Василию при своей особе не дал, тот сдружился с его домашним секретарем Иваном Ильинским, человеком в годах, большой учености и немалого веса. Может, и впрямь что-то было в нелепом Ваське?..

Похоже, что было,— к великому удивлению и радости о. Кирил-

лы, красавица Феодосия сразу ответила согласием на брак с его первенцем. «Я Васю еще мальчиком помню. Тихий, задумчивый. Сроду с ребяташками не дрался и не играл. Ни на кого не был похож и вроде таким остался». То была сущая правда.

Маленький, он от мамки ни на шаг, а как грамоте успел, так книжками от всего мира отгородился. Нехристианской злостью распался о. Кирилла, видя, каким рохлей, тюфяком, бабой растет его первенец. В нем не было ничего мальчишеского. И постоять за себя он вовсе не умел. В школе католических монахов дети были как дети, зубрежка не мешала им возиться, драться, гонять голубей, купаться, рыбалить, а позже баловаться вином и табаком. Ни в чем таком сроду не принял участия Василий. Если его задевали, отходил в сторону, обиженно сопя, на тумак ежился, а получив по сопатке, задирали лицо кверху и терпеливо ждал, пока уймется кровь. А ведь не заморыш: широк в груди и крестце, с большими руками, окрепшими в огородной работе. «Чего ты сдачи не дашь? — вопреки евангельскому поучению о правой и левой щеке, донимал сына о. Кирилла. — Ты же пареш». — «Я не такой пареш», — тихо звучало в ответ. «А какой?..»

Сын приоткрылся много позже, уже юношей. Однажды в присутствии о. Кирилла он заспорил с одноклассником о смысле какого-то стиха Феофана Прокоповича. Предмет спора не интересовал о. Кирилла, но поразило упорство, с каким сын отстаивал свое мнение. Под его сокрушительным напором противник, добродушный лохмач, быстро растерял все позиции и мечтал лишь о почетном отступлении. Но, не щадя самолюбия друга, Василий топтал его ногами, требуя полной капитуляции. В нем не ощущалось ни торжества, ни злорадства, но то, что он отстаивал, было для него важнее и дороже всех дружб на свете. Без колебаний мог он пожертвовать единственно близким человеком ради нескольких рифмованных строчек, пропади они пропадом! Вот тогда-то нашлось у о. Кирилла еще одно слово для сына кроме «одержимости» — «избранность». Люди живут по случаю и обстоятельствам, по обычаям и правилам, по указке старших или по выгоде и еще по чувству, а Василий, похоже, находится в ином подчинении, и житейские уставы не властны над его душой.

К чести душевной трезвости о. Кирилла, он недолго задержал сына на горней высоте, куда того вознесло тайное родительское честолюбие, тлеющее под душным навалом нужды и разочарований. Избежав соблазна даже мимолетной надежды, он сразу вернул сыну обычные прозвища: «обалдуй», «недотепа», «балбес», «книжный червь». Но вот на него пахнуло не привычным — густым, едко воньким от рыбы, соли, кож астраханским воздухом, а благоуханным веем ангельских крыл. Освежающий этот ток родился в нечаемом и необъяснимом согласии Феодосии. Знать, был некий свет за широкими плечами сына, если чудесная девушка готова связать с ним свою судьбу.

Все было проще, нежели мнилось о. Кириллу. Наделенная ясным разумом и прямой душой, Феодосия знала, что пришла ее пора, ей

падо замуж, если она хочет прожить добрую женскую жизнь. Нет ничего жалостней и ничтожней застарелых дев, а угроза одинокого векования уже нависла над ней. Ей нужны любовь и ласка и самой нужно изливаться на кого-то свою нежность. Быть только нежной тятенькиной дочкой она уже не может. Но сватавшиеся к ней молодые люди отвращали ее или ранней порчей, написанной на притворно постных рожах, или алчным юношеским вождеданием. Нечистота помыслов хорошо уживалась с косноязычием, томительной мозговой ленью, запахом табака и сивухи. Случались среди искателей ее руки и ражие, смекалистые молодцы с хорошо подвешенным языком, но пугала их ранняя самостоятельность и уверенность в себе. Феодосия хотелось подчиняться мужу, все делать для него, ноги мыть в воду пить, но лишь по собственному усмотрению. Лаской и добротой из нее можно веревки вить (так поступал и собственный батюшка), но против малейшего понуждения, пажима ее кроткая и сильная душа мгновенно восставала.

Она с детских лет расположилась к тихому, безответному попovichу. Встречался он ей и в более поздние годы, ничем не испортив впечатлений о себе. Нравилось и его пристрастие к книгам, хотя сама она, зная грамоте, читать не любила. Да и внешность Василия не была ей противна. Конечно, без бородавок лучше, но куда их денешь, коли бог наслад, а так он кожей чист, скроен ладно и крепко, и покоем веет от крутого просторного лба. Она знала, что сможет легко привыкнуть к нему и даже полюбить чистого и задумчивого человека.

Прими сын хоть с каплей благодарности известие о своей женитьбе, и о. Кирилла завернул бы такую свадьбу, какой еще не видывали в астраханском духовенстве. Ничего бы не пожалел, дом с участком пустил бы в заклад, а семью — по миру. Но Василий всем своим паскудно-смирненным видом как бы говорил: воля ваша, батюшка, коль прикажете, женюсь хоть на чумичке, хоть на метле. Ишь, гусь! Старик отец высмотрел ему такое диво дивное, чудо чудное, а он рыло воротит. Ну, раз так, то нечего фейерверки жечь. Справим по-бедному. Конечно, всякого брашна наготовили вдосталь, не бывает иначе в русском православном доме, и напитков хватало: Яков, младший брат Василия, столько аелия в себя принял, пляясь на новобрачную, что под стол скатился. Его уволокли, и свадьба продолжалась тихим, степенным манером. И все же навсегда запомнился о. Кириллу этот скромный праздник как божий подарок, как самое красивое, что было на его веку. И причиною тому — молодая. До того хороша, ангелоподобна была она в белых своих одеяниях, — жаль, что реющую облачком над нежной главой фату сняли после венца, — пленительна каждым небыстрым движением, и так блестяли ее золотисто-медовые очи, так доверчиво и нежно приоткрывались в полуулыбке розовые уста, что молодое сердце старого попа плакало от неизъяснимого и печального восторга.

Он все время, еще с церкви, ревниво и недобро наблюдал Василия. И уловил мгновение, когда этот истукан дрогнув, прижмурил свои мутные глаза, будто их ослепило. Невеста коснулась его руки,

надевая кольцо, и он в грозной близости увидел ее источающее свет лицо. Но тут же снова впал в сонную одурь, послушно и вяло делал все положенное, а за свадебным столом вел себя так, будто по обязанности замещал кого-то запозднившегося. И когда кричали «горько», он всякий раз оглядывался, ожидая, что явится тот, чье место он занимал за столом, и получит следующее по праву. Но никто не являлся, и Василий, подавив вздох, деревянно поворачивался к молодой. Она уже ждала, доверчиво и грациозно протягивала сложенные ковшиком ладони, брала в них его лицо и, вытянув губы трубочкой, целовала в краешек рта. Отец Кирилла остро завидовал сыну и клая его на чем свет стоит за холодность.

А Василий не то чтобы оставался холоден к прелестной девушке, возникшей словно из воздуха и нареченной его женой, он просто не верил в свою причастность свершающемуся. Батюшка затеял очередное дело, кажущееся ему выгодным, сколько уже таких дел было: то землицы под сад и бахчу подкупит, чтоб вскорости за полцены спустить, то пай на невод приобретет, подгадав под сезон, когда осетры перестают ловиться, то стащит мукой скопленные гроши какому-нибудь оборотистому коммерсанту, прогоревшему в пух и прах, о чем ведомо всем астраханцам, кроме умного, истинно умного, но безнадежно попутанного горячим, заносчивым нравом о Кириллы. И это его предприятие: женить сына, намертво привязать к Троицкой церкви, огороду и саду, ко всей здешней темной и грустной жизни — тоже прогорит, как и все другие прожекты. Ведь должен Василий учиться, должен все узнать и понять про слова. Зачем ему это нужно, Василий никогда не задумывался: зачем дышать, есть, воду пить. Просто без этого человек не мог бы жить. А ему еще одно условие невесть кем наказано: знать все про слова. Это не такая уж редкость: обязанные чему-то люди по всему свету водятся. Они не могут жить просто так: кому надо кистью по холсту или дереву водить, кому над природой вещей думать, кому травы на лекарства собирать, а есть такие, что всю жизнь философский камень ищут, или вечный двигатель ладят, или тчатся человеку крылья приделать, или сохранить для будущего шум своего времени. А лишн их этого, захиреют до полного изничтожения.

К тому же не мог Василий допустить, чтобы Феодосия ему принадлежала, что слова «Муж и жена есть плоть едина» относятся к ним. Неужто пойдет он с ней в спальную комнату, разделется, явив все непотребство своей наготы, ляжет в одну постель и совершит то стыдное и тайное, что нередко являлось ему в бессоннице томительными весенними ночами? Об этом и подумать страшно. Не смеет он к ней прикоснуться. Господь не допустит. Верно, и батюшка предусмотрел в житейских своих расчетах, чтобы не вышло поругания чистой голубице. Потому и не пытался он быть нежным, даже просто внимательным к молодой, хоть и выполнял все по обряду требуемое и даже касался ответно сухими губами горячей глади щеки и живого влажного краешка губ. На протяжении всего застолья держал он душу на леднике.

Лишь раз оттаял Василий, когда приведенный секретарем Иль-

инским пожилой седовласый господин из свиты князя Кантемира, собирающий по окрестностям русской державы обрядовые песни, народные сказания и легенды, попросил разрешения спеть свадебную песню, которую он записал у поморов. Надо думать, что и сюда этот господин забрел в надежде услышать новую песню, но тихо было на свадьбе певчего.

Известно, заметил гость, что все свадебные песни поются хором. Я же исполню эту величальную единственно для ознакомления с обычаями северных народов. И завел приятным, в меру высоким голосом:

Уж как кто у нас в пиру хорош,
Уж как кто у нас в пиру пригож.
Как хорош новобрачный князь,
Новобрачный князь Васильюшко,
Что Васильюшко Кириллович.
Его личико — белый снег,
Его щечки вроде алый цвет,
Его брови-то черна соболя.

Истинно, персона моего сына, злобился о Кирилла. Что личико, что щечки, что бровки — с него писано. Он понимал, что это общие, от века заложенные в величальную приметы образцового жениха, а не данного человека, но не мог унять раздражения. Тут к певцу пристали, чтобы спел величальную и новобрачной. Он не заставил долго себя упрашивать:

У сизого голубя
Золотая голова,
Что ль у сизой у голубки
Позолоченная,
Разным шелком, разным шелком
Перестроченная.
Кабы это же, братцы,
Жена была моя,
Я бы в лете, я бы в лете —
В золотой катал карете...

«О, да!.. Лишь золотая карета по чину ее красоте. Золотая и бриллиантовая!» — стонало в груди о Кириллы.

— Отец Кириллы, — услышал он испуганно-укоризненный шепот жены, — очнись, родной! Не ты же, кормилец, женишься!

Впервые за их долгую жизнь жена осмелилась подать голос, да еще с укоризнью. Одернула, голуба душа, своего грозного повелителя. Хорош он, нечего сказать, если такое бесхитрое существо проникло в его тайные думы. Чем же он себя выдал?.. А может, вовсе не так уж бесхитрозна кроткая его спутница и много чего углядывает из своей мышинной норки? А ну, благочинный, возьми себя в руки, а главное — прочь глаза от новобрачной. Спокой и прости мя, господи! Ты же знаешь, не гнусное вожделение, а восторг и печаль владеют моей усохшей, но все еще живой душой. Господь все поймет, а людям, даже близким, разве чего объяснишь? И медленно, с усилением он увел взгляд от новобрачной.

А Василий впервые за все свадебное застолье оживился, даже

алые розы расцвели на белом снегу личика. Он о чем-то говорил, похоже, спорил с господином Ильинским и собирателем народных песен. Надо же, чего себе позволяет с важными учеными господами вчерашний школяр, а те не осаживают наглеца, с вниманием, даже интересом слушают. Не больно складно излагает свои мыслишки сын, запинается, мычит, подыскивает слова. Уж если полез в серьезную беседу с людьми старше тебя и годами, и положением, то хоть знай, баранья голова, что ты сказать хочешь, и не мямли, не мычи, не вякай, а сыпь горохом. Но снисходительных собеседников Василия, видать, и косноязычие его не сердит, слушают, понгрывая бровями от внимания, важно кивают. Ну-ка, о чем они там гуторят?

— ...который раз подмечаю,— говорил Василий,— в подлом стихотворении куда больше распевности, нежели в виршах самого Феофана Прокоповича.

— Народное стихотворение и есть песенное. В ином роде и не существует,— улыбнулся господин Ильинский.

— А не есть ли всякое стихотворение — песнь? — с удивленным и поглупевшим видом изрек Василий.— Не то, что есть, а быть должно?

— Неужто высокая поэзия в правоучительном или одическом роде нуждается в пении? — чуть высокомерно заметил господин Ильинский.

— Конечно, нет! — смешался Василий.— Я о другом... Вот чувствую, но выразить не умею...

«А не умеешь, так не суйся. Сиди и помалкивай!» — гневно прокатилось в о. Кирилле.

— Родимец,— услышал он тихий, как шелест травы, голос жены,— ты бы поласковой на Василия глядел. Волчьё у тебя в очах, нехорошо!

Отец Кирилла чуть не плюнул с досады. Что это накатило на нее — мужа одергивать? Откуда такая отвага? Может, в сыне женатом и невестке опору себе зрит, бедная? Да бог с ней. А вот с ним самим что деется, что за бури сотрясают его нутро? Он приложил руку ко лбу, загородился широкой кистью.

...— думается, тут дело в разности методы,— рассуждал Василий.— Силлабическая поэзия лишь равные количества слогов в строке требует, а в народной иное благозвучие заложено.

— Сня, с позволения сказать, поэзия нища рифмами,— строго сказал господин Ильинский.

— Ой ли? — вмешался собиратель песен.— И в народной поэзии рифмы наихитрейшие встречаются. Чаше рифмуются концы стихов, но бывают рифмы и в зачине, и в середине, когда делят стих на полстишья.

— Не о том речь! — дерзко встрял Василий.— Что, если благородному силлабическому стихотворению напевность народной поэзии сообщить?

— Вот и попробуй,— добродушно посоветовал гость.— Может, новую методу откроешь.

— Горько! — неожиданно для самого себя грохнул о. Кирилла...

...Они долго лежали без сна по краям широкой и до смертного ужаса узкой брачной кровати, случайное движение — и враз скатишься в жар чужого страшного тела, в прохладных поначалу, а сейчас горячих влажных простынях, головы тонули в раскаленных подушках. Из приоткрытого оконца тянуло солоноватой свежестью, но остуды не приносило.

Василию хотелось пить, он не привык даже к малым дозам зеля, и пересохший рот саднило; кадушка с квасом и плавающим поверху ковшиком была заботливо поставлена матерью к изголовью с его стороны, но он не решался рукой шевельнуть. Шершавым языком он облизывал губы и небо, это не приносило облегчения. А голова ясная, хмель улетучился сразу, как только встали из-за стола, и он вдруг понял, что все свершается всерьез и сейчас их отведут в спальню и оставят одних, глаз на глаз, в темноте, просквоженной желтым огоньком лампадки и слабым светом звезд с черного, еще не родившего месяца апрельского неба.

— Ну, что же ты? — Шепот разорвал тишину набатным боем.

Василий услышал частое, легкое дыхание Феодосия, услышал комариный гуд и скрежет жука-древоточца, какие-то далекие голоса за окном, мерный скрип плохо закрепленной ставни, таинственный переговор половиц старого дома, где, казалось, ночь напролет кто-то бродит по всем покоям.

— Так и будем лежать? — с мягкой укоризной прошептала Феодосия. — Ведь я жена тебе, Вася. Нас господь бог соединил.

— Чего тебе? — шипло, сквозь пересохшие губы выдавил Василий.

— Вот те раз! — она засмеялась. — Еще спрашивает! Неужто ты такой глупый, не знаешь, зачем люди женятся?

— Я не умею, — пробормотал Василий.

— Милый ты мой! — сказала она певуче. — А разве Адам с Евою умели? Да ведь не зря же господь бог их из рая выгнал. Сумели, значит. Ляжь поближе.

Но Василий не пошевелился, зная наперед, что все это пустое, он не осмелится ее тронуть, а и тронет, так без толку, и от жалкой, подлой слабости своей заплакал. Сперва тихо, зажимая рот рукой, кусая пальцы, чтобы болью телесной прогнать другую боль, а потом громко. Он уткнулся лицом в подушку, спина его тряслась, и он не сразу почувствовал, что Феодосия сама прилегла к нему. Она обнимала его, успокаивала; с неожиданной в ней силой разжала его руки и подолом рубашки утерла ему слезы и даже нос, как мальчишке, высморкала, а потом сняла с себя эту мокрую рубаху и бросила на пол. Она положила его голову к себе на грудь, вдавилась в него, заполнив собой каждую впадину его скрюченного тела, и он отчетно стал проникать в нее, дрожа крупной дрожью и вместе успокаиваясь. Вновь вспомнилось: жена и муж есть плоть одна. Теперь он понимал эти слова, ибо уже сам не различал, где он, где она, где его рука, где ее рука, где его нога, где ее нога. И она сумела скрыть, что

ей больно, он только утром, увидев окровавленную простыню, понял, как сильно повредил у нее внутри, а она и виду не показала, стопа не паздала, зубами не скрипнула, только трудилась ему навстречу, помогая его грубым и неумелым усилиям. И еще он понял утром, что ей уже не больно, а сладко и счастливо, как и ему, она ищет соединения, и они воистину плоть едина.

В эту первую брачную ночь, в боли, крови, с зажатым в груди криком Феодосия во всю свою большую душу полюбила Василия, полюбила той огромной, святой, преданной, самоотверженной и безоглядной любовью, на какую только способна русская женщина.

Она получила, что хотела: чистого, не облюбленного другими, не знавшего чужих прикосновений, чужих губ, свежего и сильного в сохранности своей, целиком и неделимо принадлежащего ей человека.

Под утро распелись птицы. Розовым светом облило оконце. Они были смертельно усталы и счастливы.

Их никто не будил до самого вечера. Отец Кирилла запретил тревожить молодых. Он ликовал, разом простив сыну все его дурацкое поведение во время сватовства, венчания и свадьбы, тупую угрюмость, неблагодарность родителю. Ведь тут не было душевного изъясна, никакой порчи, просто еще не проснулась в нем плоть, в оболочке взрослого человека пребывал младенец. Но одна ночь превратила младенца в мужа. Недаром о Кирилла так верил в хрупкую Феодосию, спрыснула она его сына живой водой любви. Теперь небось наладится на серьезную жизнь, навькнет отвечать за жену и будущих детишек. И при мысли о внуках, которые не заставят себя ждать, коль молодая так рьяно взялась за дело, о Кирилла чувствовал, как плавится в груди застарелый твердый ком, давивший на сердце. «Скоро и тебя женю,— пообещал он младшему сыну Якову,— а тебя замуж выдам»,— старшей дочери Марье. У него легкая рука на устройство брачных дел, он хорошо и надежно пристроит всех своих детей, и большой дружной семьей они подымутся из нужды. Ну, а кто захочет своим домком жить, милости просим, неволить не станем, и в умалении семейства есть своя прибыль. На радостях о Кирилла, хоть стояла самая горячая пора и в огороде работы невпроворот, решил не трогать Василия, пусть насладится молодой женой до полного опустошения. Ну, а ему и Якову придется приналечь. Что и было сделано по одолении малого бунта Якова, пришедшего в ярость, что ему придется вламывать и за старшего брата, пока тот нежится в постели.

Только на четвертый день сподобились молодые посетить согласно обычаю отца молодой, но самолюбивый Фадей не выказал обиды, обрадованный счастливым видом дочери. Феодосия светилась радостью, у нее расцвел рот, расцвели глаза, округлились груди, окреп стан и все тело налилось, хотя питались они с мужем, подобно старцам-пустынникам, водой и акридами, не притрагиваясь к вкусным кушаньям, которые готовила попадья. Иной насыщали они голод, ибо поистине: не хлебом единым...

А вернувшись домой, снова удивились, но ненадолго, через день-другой свежий голос молодой зазвенел в горницах. Толково и

понятливо расспрашивала она женщин дома о хозяйственных делах, отыскивая себе в них место. А Василий свет Кириллович почти не показывался, не мог, видать, расстаться с брачной комнатой. Слушал весенних птиц, мечтал да потягивался, пил холодный сухарный квас с изюмом и нетерпеливо поджидал возвращения жены. Так, во всяком случае, представлялось обитателям попова дома. Да так оно до поры и было. Феодосия проникла в него, расширилась, заполнила собой всю емкость его существа. Ни с кем и никогда не будет ему так счастливо, и чего еще желать бедному человеку? Прост и прям расстилающийся перед ним путь: он станет священником, по примеру отца будет славить господа бога, пестовать людские души, возделывать сад и огород, растить детей. Он обучит их всему, чему сам не успел обучиться, и в назначенный срок покинет этот мир, совершив положенное человеку. Все ли совершив?.. Да, если не ставить себе иных, посторонних целей. Но ведь он-то ставил. Он хотел знать, все знать о низании слов в стихотворные строки, ему мерцало что-то новое, русской поэзии неведомое. Неизвестное нынче, а завтра, глядишь, и станет ведомым. То ли станет, то ли нет, а уж коли и станет, так не его трудом, а усилим ума и души другого бескорыстного человека. Но ему не хотелось, чтоб этот другой человек сделал его работу, как не хотелось, чтобы другой человек обнимал Феодосию.

Но все это были лишь слова, которые он проборматовал, слоняясь по маленькой спальне под пение птиц и гуд майских жуков, пока Феодосия викала в хозяйственную жизнь дома, и горечь их истаяла без следа при одной мысли, что жена скоро вернется и прильнет к его груди. А если уж слишком неумоготу становилось, он бросался на кровать, зарывался лицом в подушку и вдыхал тонкий запах ее волос с такой жадностью, что заходило сердце.

Однажды, уронив руку с кровати, он нащупал на полу, у стенки, маленькую затрепанную книжку. То ли сам занес ее сюда в далекие отроческие дни, когда искал уединения в большом, набитом людьми и заботами доме, то ли сестры запрятали по баловству. От старой книжки пахло пылью и тленом, ссохшиеся листы пожелтели. Овидий. «Превращения». Когда-то он не расставался с этой книжкой, видя в ней образец мудрости и словесной красоты. Но из книг вырастаешь, как из одежды. Зачем ему дремучее переложение на русский римских стихов, когда он, лучший латинист католической школы, мог наслаждаться музой Овидия в подлиннике, а равно Катуллом, Горацием, Теренцием... Монах Марк-Антоний, обнаружив в нем редкую память и прилежание, порядком натаскал его в греческом, которому в школе не обучали. Он владел не только древними языками, свободно читал по-итальянски и неплохо по-немецки и по-французски, без последнего вообще невозможно причаститься сегодняшней поэзии. Ныне ее средоточие во Франции, как некогда в Древнем Риме, а в средние века во Флоренции. И, уносясь горячей юношеской мыслью в горные выси, он мечтал пересадить благоуханные цветы французской поэзии на русскую почву. Он и вообще легко воспламенялся от чужого огня. Быстро схватывал чужую мысль

и мог не просто передать ее словами родного языка, но и развить, расширить, украсить чем-то своим, что без толчка извне дремлет на дне души. Но сейчас все эти горделивые мысли истаяли дымом. Надо раз и навсегда выкинуть из головы тревожащие имена поэтов и философов, они ни к чему будут полишке-огороднику, примерному мужу и отцу многочисленных чад. Заутрени, обедни, вечерни, престольные праздники, крестины, свадьбы, отпевания, поминания да исповеди — вот предстоящая ему до исхода жизнь, а священное писание — единственно потребная книга. Не надо обманываться на этот счет, об ученых занятиях себе в усладу и думать забыть, не по плечу они недоучке, умственному недорослю, ему бы еще учиться, напиться чужой мудростью. Вот какова плата за жаркие сладкие ночи!

Милая, нежная, ласковая Феодосия одним движением белого плеча повергла в прах Гомера и Овидия, Данте и Тассо, Ронсара и Фенелона. Но тленый запах старой книжки пробудил в нем смертную тоску по свергнутым кумирам, прежнюю саднящую жажду все узнать, а узнав, выговорить свое, пока еще смутное, но чаемое как будущее свершение. Надо бежать, сейчас же бежать, ибо с каждым днем это станет труднее. Кроткая власть Феодосии над ним крепнет с каждым днем, и настанет время, когда он не сможет бежать, и тогда ему конец. Он не создан для тихого счастья медленно и неприметно текущей жизни. Можно долго обманываться, но когда-нибудь он поймет, что променял душу на мягкую постель и остывающее с годами женское тело, и тогда он или руки на себя наложит, или сопьется с круга и станет самым несчастным и ужасным человеком на свете, и людям будет страшно на него глядеть. Он не отказывается от Феодосии, вернее, отказывается лишь на время, когда станет тем, кем стать должен, тогда он вернется за ней. Но странно, этому последнему почему-то не верилось. Он знал, Феодосия будет его ждать, сохранит верность, знал, что не полюбит другую женщину, и столь же твердо знал, что уход его навсегда. Но все это в будущем, за дымкой лет, а сейчас перед ним одно: суметь уйти. Надавав сыну оплеух, о Кирилла не удосужился отобрать у него паспорт, документ — что вольная, беглеца нельзя схватить по родительскому требованию и силком вернуть домой. Он уйдет в Москву, поступит в Славяно-греко-латинскую академию, по старинке называемую Законоспасским училищем. Прежде он метил в Киево-Могилянскую академию, но господин Ильинский считал московское заведение, которое и сам кончил, более подходящим для русского юноши. В Киеве силен ляхский, католический дух, а Москва — оплот православия, сердце России. Да и разыскивать его начнут конечно же в Киеве, куда он раньше собирался, а, не найдя, глядишь, и поостынут.

Вертя в руках полуистлевшую книжицу, Василий обнаружил, что по-деловому прикидывает возможности своего бегства, и понял: решение его бесповоротно. Он лег на кровать, прижался лицом к подушке, хранящей запах волос Феодосии, и тихо, из глубины нутра заплакал.

А потом встал, оделся, ополоснул лицо и ушел в город. Здесь его поступки отличались такой точностью, будто он всю жизнь провел в бегах. Он сразу направился на пристань, узнал, что в начале июня в Москву отправляется артиллерийская команда в семьдесят человек, до Саратова — водным путем, дальше по сухопутью. На лучшее и рассчитывать нечего — с военными людьми он был в безопасности от гулявших по волжским берегам разбойников. Он быстро сговорился с хмельным, добродушным артиллерийским капитаном, обожавшим просвещение, показал ему свой паспорт, пусть не думает, что с беглым связался, подмазал тоже хмельного, но грозного каптенармуса, дабы кормил его от солдатского котла, и уже не сомневался, что благополучно достигнет первопрестольной, не сгинув ни от голода, ни от ножа лихого человека...

...Ушел он из дома на рассвете. В мешок сунул лишь две рубашки, чулки, бритву и связку любимых книг. Праздничное платье, шубу и часы позолоченные — свадебный подарок — оставил Феодосии, невелико подспорье, да ведь в семье не пропадешь. Пропасть куда проще ему, но он за себя не боялся. Когда он писал ей прощальную записку, Феодосия почувствовала сквозь сон непривычную пустоту кровати, застонала, потянулась к мужнину месту, но сморилась, не завершив движения — весь день на огороде наравне с мужиками ломалась, и вновь задышала глубиной сна.

Замерший в испуге, Василий понял, что она не проснется, дописал записку, наклонился к жене и почувствовал, вместо прежнего тонкого аромата, запах пота и земли. Вот так бы выветрился и аромат их юного чувства, заместившись спертым духом обыденности. Спасительная мысль, а легче не стало. Он не ждал, что ему будет так больно. Словно спицу воткнули в грудь — дышать трудно. Как же сильно связал их медовый, истинно медовый месяц! С этой болью он выбрался в сад, твердя про себя: может, остаться, остаться, пока не поздно!.. Ему почудилось, что скрипнула оконная рама. Сейчас его окликнет, удивленно и доверчиво, родной голос не ждущей от него подлости Феодосии, и тут Василий совершил такой скачок, которому позавидовал бы горный козел. Какая там спица в груди — он перемахнул через ограду, промчался пустынными улицами, скатился под гору и лишь у пристани очухался, поняв, что ему померещилось. Артиллеристы уже грузились на струг, вяло и ненужно перематюкиваясь в тишине зарождающегося божьего дня.

Последние минуты расставания с городом не были горьки Василию. Он спокойно смотрел на струги и рыбацьи баркасы, грудящиеся у пристани, на пакгаузы и склады, на развешанные для просушки сети, поблескивающие рыбьей чешуей в ячеях, на жирных чаек, кружащихся над нечистой, вонькой водой; не откликнулась душа его крестам и куполам городских церквей, слепяще вспыхнувшим под солнцем, взмывшим в бледное высокое небо голубиным стаям. Думать о Феодосии после умопомрачительного козлиного прыжка было как-то неловко. Порой наплывало грустное лицо матери, он

смахивал видение, как слезинку. Не хотелось власти над собой тех, кого он оставлял. Он уже принадлежал Закономоспасскому училищу, Гомеру, Данту, Фенелону...

3

Диковатый по жестокой отваге поступок Василия Тредиаковского, пустившегося в бега прямо из брачной постели, был далеко не редким явлением в тогдашней России. В пору петровских преобразований в бегах находились многие российские юноши. Бежали от двойного гнета непривычной дисциплины и непосильной учебы дворянские сынки из навигацонных училищ, куда их загоняли силком, с кровью вырвав из теплого родительского гнезда; бежали чада церковнослужителей и подъячих из духовных школ и академий, не желая в деятельное, практическое время связывать жизнь с религией; бежали от морской и военной службы, от всякого рода научения недоросли разных сословий; бежали барского произвола и соединялись в лихие шайки, помятуя о славных днях Стеньки Разина, казненного близ лобного места в Москве, но воспетого в песнях, крестьянские сыновья. Но было наряду с этим и другое. Бежал, повторив судьбу Тредиаковского, своего будущего коллеги по академии и зачатого врага, с далекого Севера в то же Закономоспасское училище упрямый помор, слава и гордость русской науки и всех искусств Михайло Ломоносов. Бежали из теплых семей на муку образования, полуголода, изнуряющих запретов и муштры будущие ученые, первооткрыватели новых земель, поэты, художники, военачальники, флотоводцы, великие сыны России, созидатели ее мощи и славы.

Само собой разумеется, что брошенная жена и родные астраханского беглеца не могли воспринять постигшее их несчастье в широкой исторической перспективе. Феодосия, опаматовавшись от своего провального сна, нашла оставленную мужем записку, поняла, что Василия больше не будет при ней, пронзительно закричала и лишилась чувств. Ей долго терли виски уксусом, но лишь впущенная сквозь стиснутые зубы капля смолистого вещества, добытого свежью кровью из кованого сундучка, вернула бедную женщину к разуму. Казалось, в беспамятстве в ней произошла какая-то работа, помогшая осознанию случившегося: очнувшись она другой — тихой, сосредоточенной, спокойной, будто просветленной. Она и сама не постигала, что с ней произошло. Утратив окружающее и самое себя, она вроде бы продолжала читать и перечитывать записку мужа, пока не запомнила ее наизусть и не проникла в ускользнувший сначала смысл. «Не от тебя бегу, а от себя такого, каким стал под отцовой рукой. Пока не обрету всех нужных знаний, назад не вернусь. Прости, коли можешь. А искать меня не надо. Будет воля божья, свидимся в свой час. Али сам приду, али вызову тебя к себе. Твой муж Василий».

Твой муж... Он не бросил ее, не оставил, по-прежнему он ее муж перед богом и людьми, только уехал учиться, как другие мужья уходят в море или на войну, на покорение дальних земель или по госу-

дареву повелению в чужие страны служить службу России. Василию Кирилловичу никто такого повеления не давал, кроме его собственной души, а это веление не слабше государева. И раз ему это надо,— значит, так должно быть. И нечего убиваться и слезы лить, она должна ждать, держать для мужа его место свято, все устроить так, чтобы по возвращении странника его ждал обжитой дом, уют и достаток. Конечно, ей будет одиноко, особенно по ночам, она так привыкла к его теплу, ласкам, чуть прерывистому дыханию. Но она с этим справится, ведь сильная.

Феодосия так быстро обрела себя, даже повеселела, что домашние диву дались, а Марья, старшая из сестер сбежавшего, укор бросила: «У, бесчувственная!» — «Дура ты,— вздохнув, сказала мать.— Она сберечь себя для мужа хочет.— И, перекрестив сноху, добавила: — Так и держи себя, дитятко». — «А вы, маманя, вроде бы ждали, что Васька удерет», — заметил Яков, отличавшийся странной остротой при всей своей недалекости. «Ждать не ждала, но допускала», — тихо отозвалась старушка. «То есть это как ты могла допускать?» — загремел о Кирилла. Оглушенный побегом сына, он впервые отверз уста. Жена почему-то не испугалась, ответила чуть ли не свысока: «А вот так! Чужой у него глаз был, не тутошний». — «Что ты мелешь, глупая?» — «Ничего не мелю милости-вещ, я ж его в себе носила, нутром всего чувствую». — «А молчала зачем?» — выверился о Кирилла. «Да нешто кто бы поверил? И так в дурах хожу, тут бы и вовсе засрамили. А ты жди, доченька, жди...»

И Феодосия припаялась ждать. Ох, нелегкая работа — ждать! Феодосия сразу почуяла это своим прозорливым сердцем. Надо сказать, что прозорлива Феодосия была лишь к себе самой и к людям с чистой и светлой глубиной, там же, где начиналась человечья муть, копоть и мгла, она теряла зоркость. Но про себя самое она все доподлинно знала. Так, она знала, что должна нагрузиться заботами по маковку, чтобы не оставалось сил на тоску и одинокие думы и сон был бы без сновидений. Пусть к возвращению Василия Кирилловича его ждет собственный дом с чистыми, красиво убранными горницами, с полными закромами и набитыми кладовыми. Он увидит, какая она умелая и хозяйственная, не растерялась, не растеклась мутной жижей, как сугроб в марте, а соблюла себя для любимого и место его соблюла. Нельзя ей быть худой, бледной, с маленькими выплуканными глазами, он разбудил в ней цветенье женщины, и да продолжится оно лишь силой ее любящей памяти. Она будет следить за собой, умываться росной влагой, сохраняющей гладкость кожи, есть сытно и сдобно, хоть кусок не лезет в горло, нарядно одеваться по праздникам, это тоже сохраняет молодость женщине. Те три-четыре года, что продлится его учение, должны пойти ей впрок, а не в убыток. Небось Василий Кириллович в Киеве, Москве или Питербурге — куда занесет сердешного? — насмотрится на писаных красавиц, и нельзя, чтобы собственная жена показалась ему чумичкой.

И Феодосия вновь заулыбалась людям, как в пору своего недол-

того счастья, вновь стала со всеми приветлива и обходительна. И, пытаясь ободрить приунывших домашних, все твердила: «Да вернется он. Непременно вернется!» На что о. Кирилла только хмыкал и отводил черные зло-печальные глаза, Яков пренебрежительно усмехался, сестры брезгливые рожи корчили, и только старая попадя чуть слышно шептала: «Верь, доченька, верь!..»

Феодосию огорчало изменившееся отношение о. Кириллы. Прежде она чувствовала, что любя своему грозному свекру, и это радовало. Она любила, когда ее любили. Но сейчас между ними будто стена выросла. Она не знала за собой вины, уж если искать виновных, то скорее Третьяковские заслуживали упрека. Им бы взглянуть поглубже в душу своего Васи, прежде чем сватовство затевать. Недозрел он до семейной жизни, куда ему в мужья — школяру недоучившемуся, незачем было его и неволить. Ему бы изучить сперва все науки, утишить зуд познаний, тогда стоило бы и о женитьбе подумать. Но с ним никто не считался, у о. Кириллы были свои расчеты, весьма справедливые и дальновидные, да уж больно далече обратил он взгляд, а что под носом, того не углядел. Матушка углядела, да она голоса в семейных делах лишена. Нет, лучше уж не искать виновных, а сомкнуться душами в общей беде, перетерпеть лихо, и стыд, и молчаливые упреки соседей, и все иные тяготы, но не чувствовала она поддержки ни в ком из домашних, кроме бессловесной матушки, лишь отчуждение и недоброе отношение.

Отец Кирилла куда как твердо определил для себя виновного в позоре, обрушившемся на семью. Этим виновным была Феодосия, в чью силу прелести он слепо поверил и просчитался, как последний дурак. Отец Кирилла отлично понял сказанное женой, он просто комедию ломал, изображая из себя кругом обманутого человека. Он и сам все время нутром чувствовал ненадежность покорной манеры Василия, но не принял никаких мер. А увидев Феодосию, вовсе распустил губы, сразу уверившись: эта охомукает Василия, делает из него мужа, отца, добытчика. И все, что последовало за свадьбой, укрепляло его веру. Он гордился своей прозорливостью, житейским опытом, знанием людей, и в какую же грязную лужу усадил его негодник сын! Отец Кирилла был слишком самолюбив, чтобы признаться в собственном поражении, виновник был сразу найден — Феодосия. Зачем ей медовые глаза, шелк волос, гибкость стана, обволакивающая ласковость голоса и движений, если не сумела прислушаться к себе Василия, намертво пришить к юбке очумевшего от постельного рая переростка? Значит, ее зримо совершенство — обман, есть в ней какая-то порча, скрытая червоточина, как в ином с виду лакомом, а внутри гнилом плоде. Отец Кирилла презирал Феодосию, как если б знал за ней тайный порок или дурную болезнь. Это брезгливое презрение избавляло его от ненависти. И когда она попросила уступить ей огородной земли, чтобы поставить там дом и от той же земли кормиться, о. Кирилла не отказал, но потребовал за участок наличными. Феодосия заговорила о рассрочке: будет расплачиваться каждую осень с урожая. «Этак я помру раньше, чем деньги увижу», — невесело усмехнулся о. Кирилла. Феодосия резонно

возразила, что раньше вернется Василий Кириллович и произведет полный расчет с отцом или отдаст землю и будет по-старому хозяйствовать сообча. «Никакого Василия Кириллыча мы больше не знаем и знать не хотим. Вернется не вернется — нам дела нет. За землю я с тебя крайнюю цену взял по худобности твоей, мне гончар Проконий на полста больше дает». Опечалилась Феодосия рассуждением своего свекра, но от земли не отказалась. Она продала из своего приданого все, без чего могла обходиться: платье венчалное, борок земчужный, ленту низану земчугом, мошисту серебряную с двумя крестами, четыре аршина бархата, юбку луданную, ширинку пиковязную и после малого душевного борения — две старинных книги на латинском языке в переплетах из свиной кожи. Книги и то, что они несут в жизнь, испакостили ее судьбу, и Феодосия относилась к ним с суеверным трепетом. Василий Кириллович не успел сведать об этих книгах, лежащих на дне ее девичьего сундука, а господин Ильинский дал за них такую плату, будто они на китайском шелке напечатаны и в золото одеты. Да и не хотелось ей, чтобы в доме были книги, бог с ними, до хорошего не доводят. И пока Василий Кириллович отсутствует, ей без них спокойнее.

Рассчитав с артельными плотниками, во что обойдутся строения, Феодосия обнаружила, что денег все равно не хватит, и обратилась к отцу. Нужно ей было — по оплате земли — еще сто один рубль с полтиною, а у батюшки деньги водились. Фадей без звука выложил нужную сумму, но потребовал от дочери долговую расписку по всей форме. «Батюшка, родной, зачем вам расписка? — удивилась Феодосия. — Нешто смогу я вам такие деньги отдать? А вернется Василий Кириллович, будем вам долг по возможности выплачивать. Неужто вы мне не верите?» — «Верю, доча. Тебе верю. Да вот к семейству твоему у меня ни в чем доверия нет. Коли муженек твой такую штуку удрал, чего же от них ждать? Кабы они люди были, нешто стали бы с тебя деньги за землю тягать? Ну, построишься, земля-то по закону все им принадлежит. Но он, вишь, с тобой, как с посторонней, рядиться вздумал. Ему бы за сына краснеть, ему бы перед тобой глаз не подымать, а он, аспид, оглоед!» — «Не надо, батюшка, — устало попросила Феодосия. — Зачем браниться, грех на душу брать? Поняла я вас. Нужно вам свой интерес соблюсти, коли я раньше вашего преставлюсь». — «Замолчи! Что несурзное несешь? — прикрикнул Фадей, и уголки его запавших глаз налились слезами. — Нешто могут дети раньше родителей уходить? Не приведи господь родное чадо пережить. Другого я опасаясь и тут, верно, хочу свой интерес... да нет, какой там интерес? — прервал он себя зазвеневшим голосом. — Вот это... это... — он постучал кулаком по левой стороне груди, — хочу оградить. Коли ты не выдержишь и за беглым своим кинешься, родня твоя враз все себе заберет. И участок, и строения. Неужто я по копейке, по грошику медному всю жизнь копил, чтобы сквалыге-попу досталось?»

На это Феодосии нечего было сказать. Лишь душа ее тихо вздохнула. Она едва начала жить, а сколько уже жестокого, низкого, дурного, темного на нее навалилось. Нет, люди вовсе не спешили рас-

крыться той прелестью, какую она прозревала в них в розовые дни своего девичества.

Заемное письмо было составлено по всей форме, канцелярист Волковойнов подсобил, земля приобретена, и Феодосия начала строиться. С завидной быстротой на ее участке стали изба с сенями, конюшня, погреб с напогребельной плетневой, чигирь с положенными постройками. Участок Феодосия обнесла высокой городьбой, обработала и посадила яблони урожайных сортов и сливовые деревья. Пораженный ее деловой хваткой, о. Кирилла ощутил невольное уважение к брошенке и раз сказал добродушно: «От своих отгораживаться вроде бы лишнее?» — «И вовсе не лишнее, батюшка», — спокойно ответила Феодосия. За хлопотами она и оглянуться не успела, как минул год со дня бегства ее мужа...

4

...Столь же незаметно промелькнуло это время и для Василия Кирилловича. Он потерял ощущение быстротекущего еще на струге, когда, пристроившись на корме за канатами, вновь, после долгой разлуки, раскрыл томик Лукреция Кара. Мимо скользили волжские берега, сперва плоские, как тарелки, вылизанные речными волгами и обдутые ветром до полной голизны, потом зеленые, плавно всхолмленные; небо обливалось алостью утренних и вечерних зорь, кучерявилось белыми, как кипень, облаками, порой хмурилось тучами и опорожнялось грозowymi ливнями или мелкими, просквоженными солнцем грибными дождями, — тогда Василий Кириллович прикрывался рогожкой и продолжал читать, а уж если совсем заливало, спускался в смрадный трюм. Дождь утихал, небо перепоясывалось радугой, но, равнодушный к красе внешнего мира, Василий Кириллович все трудил глаза над книгой, пока не потухал последний луч заката и ночь опрокидывала в темную реку звезды и полный месяц. Тогда он ложился на теплые доски палубы, мешочек под голову, сворачивался калачиком и сразу засыпал. О Феодосии он старался не думать, что ему удавалось: днем перед глазами была книга, ночью его быстро смаривало. Но стоило не уберечься, и острая спица враз прокалывала грудь, в глазах закипали слезы.

Ни с солдатами, ни с младшими офицерами он не сошелся, хотя они относились к нему ласково, как к богом обиженному. Капитану же было не до него. Он пил водку и ласкал непонятно как случившуюся на струге смуглую, раскосую девицу, а на стоянках гулял с нею по берегу. Все это ничуть не занимало Василия Кирилловича, как и прочая человечья суета, перегорающая в себе самой и не становящаяся достоянием вечности, какую дарит и жизненному явлению, и мысли, и чувству печатный станок, а в старину — каллиграфический почерк прилежных переписчиков.

В Саратове команда оставила струг и двинулась к первопрестольной пехтурой, нестроевым шагом, с частыми бивуаками и кострами. Василий Кириллович приспособился читать на ходу и вовсе не тяготился переходами, уделяя степной, а после лесной России столь же

мало внимания, как и величайшей русской реке. К концу пути, когда впереди вызолотились главы московских сорока сороков, Василий Кириллович обнаружил, что спутница артиллерийского капитана разительно изменилась: из раскосой худой смуглянки превратилась в дебелую девицу с голубыми озерами на круглом сдобном лице и гладкими, цвета просяной соломы волосами. Поразмыслив над этим чудом, он понял смущенным разумом, что ветреник-капитан обзавелся другой зазнобой, надо же, до чего просто это делается!

Москва ошеломила молодого провинциала многолюдством, шумом, движением, оглушительным колокольным буйством. Здесь глаз не терял и ухо держи востро, чуть зазеваешься — и тебя потопчет бесшабашный всадник, или под карету угодишь, или двинет оглоблей возка опалелый деревенщина, привезший в город соленые огурцы, квашеную капусту, моченые яблоки.

Смятенный вид старой столицы усугублялся тем, что здесь все время где-то горело. Да это неудивительно: город был почти сплошь деревянный, строения стояли скученно и как попало, на улицах что-то пекли, жарили, прохожие мужики палили трубки, рассыпая жар, — полное раздолье огню. Василий Кириллович панически боялся пожаров, хотя сроду большого пожара вблизи не наблюдал. Но в книгах ему не раз попадались картинные описания опустошительных и московских, и всяких иных пожаров, а печатное слово имело над ним неограниченную власть. И астраханский вольнодумец стал тихонько молиться, чтобы Москва не сгорела, пока он не завершит курса наук в Славяно-греко-латинской академии.

Путь туда Василий Кириллович отыскал без труда. Об академии, правда, прохожие люди не слыхивали, но Заиконоспасскую церковь знали все, ибо находилась она в самом бойком месте Китай-города, возле Красной площади.

Василий Кириллович добрался быстро, но у ворот вдруг оробел, разом лишившись уверенности, что его знаний достаточно для поступления в столь высокое учебное заведение. И чтобы успокоиться и вернуть веру в себя, решил маленько побродить по Китай-городу.

Ноги будто сами понесли его сквозь густую толпу на крепкий запах торговых рядов. Его толкали в спину и с боков, чуть не сбивали с ног — народ в Москве был нетерпеливый, быстрый и бесперомный. Вскоре он понял, что увернуться от толчков и тычков нельзя, спасение в одном — стать таким же неудобным для окружающих пешеходом. Он поддернул повыше мешочек, напряжился, растопырлся, чуть наклонился вперед, дабы не опрокинуться от слишком резкого столкновения, и пошел колотиться о всех встречных и поперечных. Ругань, вопли, угрозы, удивленно-обиженные и уважительные взгляды, и дивное дело: ему стало куда легче продвигаться в толпе. И ведь не могли же подшибленные им люди передать другим: остерегайтесь этого астраханского — спуска не дает, а меж тем вокруг него образовалась некая почтительная пустота. Неужто толпа умеет сообщаться без помощи слов, как насекомые гудом, жужжаньем, и этим насекомым языком разносить сведения?

Довольный маленькой победой, Василий Кириллович бодро продолжал свой путь, и с каждым шагом, приближавшим его к торговым рядам, сладко смердящим жареным маслом, печеным тестом, рубцами и рыбой, все сильнее сосало под ложечкой. Он уже поел утром весьма плотно, про запас, из солдатского котла и обязан был продержаться на этой пище до следующего дня, деньжонок у него — кот заплакал. Во избежание соблазнов, Василий Кириллович повернул от торговых рядов в какой-то проулок, где у распахнутых дверей маленькой церковки толпились страхолюдные нищие. Лишь на соборных фресках, изображавших преисподнюю, виделись Василию Кирилловичу такие смазливые, гадкие хари, как у этих церковных побирušек, калик, юродов. Испуганный, он далеко стороной обошел нищую братию и за невысокой оградой увидел бревенчатое здание в облаках пара. Он понял, что это баня, когда из парилки высочила голая женщина, мясно-красная, будто с нее живьем содрали кожу, схватила бадейку с водой и опорожнила на себя. Эти действия сопровождалась улюлюканьем и веселыми выкриками облепивших изгородь молодых парней. Женщина разобрала мокрые волосы на два крыла, отбросила с лица, показала парням язык, непристойно растопырилась и, покачивая ягодицами, ушла в баню.

Василий Кириллович оторопел. Он знал, что в зимнюю пору ошалевшие любители парилки кидаются для остуды в снег, но ведь сейчас лето: кадушку с холодной водой можно и в мыльне держать — и женщинам нет нужды показывать свою стыдобу обложившим баню насмешникам. Значит, все делалось нарочно, непотребства ради, и вовсе не какими-нибудь пропащими девками, а почтенными горожанками, пришедшими чистоту навести. Много небывальщин ходило в Астрахани о старой и новой столицах, но такого Василия Кириллович и вообразить себе не мог. Стыдливость его была уязвлена. Сам красный, как из парилки, кинулся он прочь от бани, и тут кто-то сильно дернул его сзади за мешок.

Василий Кириллович обернулся. Рослый малый с перебитым носом, в шапке как воронье гнездо, тянул из горла мешка застрявшую руку.

— Ты чего? — вытаращился на него Тредиаковский.

— А ты чего? — дерзко спросил малый. — Выпучил буркалы, девченщина! Тут тебе не Свинычи выселки.

— Какие еще Свинычи выселки? Я из Астрахани.

Парень освободил руку.

— У вас в Астрахани все дураки? Или каждый первый?

— Иди себе, — пробурчал Василий Кириллович, удивляясь начальству малого, который пытался его обокрасть среди бела дня и еще издевается.

— А что там у тебя в мешке-то? — полюбопытствовал малый.

— Книги.

— Дорогие?

— Для меня дорогие, я по ним учусь...

— Так ты бурсак! — догадался малый, в голосе звучало презрение. — А я-то думал! Рожа у тебя надутая, будто чего стоишь. Лад-

но, катись отседова, бурсак — холодные уши, не вводи людей пона-
прасну в грех.

Василий Кириллович уже смекнул, что с этим говоруном лучше не связываться, и был рад унести поги. Прогулка по Москве не дала ожидаемого удовольствия. Наверное, позже, когда он устроится, обживется, заведет знакомства среди старожилов, город откроется ему с иной стороны. Москва на диво богата храмами, дворцами знати, купеческими палатами, есть и сады для гуляний, и всякие увеселения, и книжные лавки, но к Москве надо подход знать, а ему такого знания не дано. И он зашагал назад к Славяно-греко-латинской академии.

Учебное заведение, столь пышно названное, помещалось в старом флигеле Заиконоспасского монастыря, стоявшего за иконным рядом на Никольской улице, в Китай-городе. Стоило шагнуть за старые, осыпающиеся, поросшие травой и березками монастырские стены, как разом отсекался докучный московский шум, словно монастырь стоял не на самом бойком месте города, а в чистом поле или в лесу. Сошная тишина, запах тлена, близкий запах старых книг, наполнили душу Тредиаковского блаженным покоем, он поверил этому месту, поверил, что ему тут будет хорошо. И не вовсе заблуждался.

Его без труда приняли в училище, сочтя хорошо подготовленным, зачислили в средний класс словесных наук. Была лишь одна загвоздка, впрочем, серьезная: его не взяли на казенное иждивение, он должен был сам себя содержать. Но и с этим устроилось. Ему подсобили найти уроки за харчи и малую плату, а также угол для проживания у чистой старушки. Чего еще надо? Он достал свои книги, очинил гусиные перья, купил на копейку сальных свечек. На первом же занятии в классе он услышал: «Великий слепец Гомер был самым зрячим среди людей» — и в умлении всхлипнул...

5

...Первый год ожидания дался Феодосии довольно легко. Не худо начался и следующий, когда приобреталось рухлишко, обставлялся дом, обретая жилой, уютный вид. Но исподволь зрела тоска. Правда, невиданно щедрый урожай яблок и особенно слив (у старого садовода о. Кириллы отродясь такого изобилия не бывало) обрадовал — не корыстью, а чувством своих сил. Но когда загудели осенние ветры, неся сперва пыль и песок, а потом сухую снежную крупу, тошнехонько стало в нарядном пустом доме. И золовки, которых она заманивала к себе индийским чаем, сливянкой и вареньем из китайских яблочек, не могли скрасить ее одиночества. С остальными Тредиаковскими связи не было. Отец Кириллы так и не простил ей своего разочарования, а матушка, явив несвойственную строптивость в день пропажи сына, искупала свой жалкий бунт раболепием перед мужем. Что же касается Якова, то после неудачного ночного посещения, когда, выдавив оконную раму, он проник в ее спальню, но был с позором изгнан, даже тени его не мелькало поблизости. Подруг Феодосия растеряла, с отцом виделась редко, что-

то отгородило их друг от друга, и образ сбежавшего мужа, украшенный и вознесенный ее тоской, все настойчивей являлся и в дневные часы: вдруг замрет тятка в руках, зависнет подъятый колун и взгляд проваливается в пустоту, и особенно страшно — ночью, тогда она втискивала подушку в груди, забирала меж ног одеяло и выла от тоски и тянущей муки в сухом, горячем теле.

Третий год стал и вовсе невыносим. Тоска и грусть все чаще сменялись ожесточением против беглого мужа. Сколько же можно учиться? Иные воп дома по псалтырю обучались, едва читать-писать умеют, счет по пальцам ведут, а в большие люди вышли, громадными делами ворочают, и караваны их судов бороздят Волгу и Каспий; другие, натасканные в зачудалых семинариях, ныне протоиереями в собственных домах с чадами и домочадцами в великом довольстве обретаются. На кого же Василий Кириллович замыслил обучиться? На главного царева советника, на канцлера, может, на самого царя? — недобро взблескивала она глазами сквозь слезный наплыв. Это все дурь одна, нельзя так сразу на самого главного обучиться. Надо хоть кем-то стать, а после добирать знания, и не только из книжек, а от самой жизни, от людей, от своего действия среди них. А что, если он ни на кого не учится, а просто так, для самого себя, чтобы больше всех знать? Тогда ему целой жизни не хватит. Слава богу, что ни в какой академии не станут всю жизнь ученика держать. Любому научению срок положен, каков только этот срок и станет ли у нее сил выдержать?..

Она заметила с некоторых пор какую-то перемену вокруг себя, другой стал воздух. Будто кончился некий искус, и астраханские обыватели дружно вспомнили о соломенной вдове. Раньше к ней никто не заходил, кроме золовок, дурак Яков не в счет, а сейчас что ни день заскакивала то одна, то другая бойкая бабенка и начинала расписывать великие достоинства либо купца второй гильдии, ядреного супруга хворой жены, многие годы не встающей с постели, либо подъячего-вдовца с самыми серьезными намерениями: хушь под венец, коли можно старый брак похерить, хушь по сердечному согласию с письменными гарантиями. Другие астраханские кавалеры, не прибегая к помощи разговорных женщин, появлялись сами то в огороде, то в палисаде, один и вовсе ночным часом в спальное оконце стучался, да так терпеливо, что у Феодосии в голове помутилось.

В поведении сограждан был свой смысл и своя глубина. Безотчетно, не сговариваясь, они изменили отношение к замужней вдове. Раньше ее горю кланялись, ее верность стгнувшему мужу уважали, но прошли годы, беглец не подавал признаков жизни, и негласный суд почел Феодосию, молодую, сильную, самостоятельную женщину, свободной от всяких обязательств. Ее словно приглашали вернуться назад в жизнь.

Она и сама все чаще задумывалась над двусмысленностью своего положения. Муж гуляет невесть где, может, давно уже другую завел, а не завел, так мипутного утешения на городских улицах предостаточно. А вернее всего, что давно уж покинул он белый свет,

долго ли окочуриться в чужом месте бедному и незащищенному человеку? И нету никакого толка в ее жертве. Ради кого вести ей монашеский образ жизни, губить молодость, которой не вернуть?

В жаркой, потной работе в саду и на огороде, в бесконечном крутеже веженских дел она вся подсушилась, потемнела, будто продубилась, и стала не похожа на себя прежнюю ни лицом, ни статью, ни повадкой. Эта новая ее, сухая, темная и яркая, не русская, а какая-то цыганская красота поражала сильнее прежней — светлой, лазоревой. Ее не солнцем обожгло, загар зимой сходит, она по-змеиному сменила кожу. Ровно и гладко залитое ореховой смуглотой цыганское ведьминское лицо дышало жаром, ощутимым на расстоянии. Но душа в ней осталась прежняя: верная, нежная, любящая, и повернуть ее на измену Феодосия не могла. Мягкая сердцевина Феодосиной натуры была скрыта от окружающих: редко-редко отчужденная строгость уже не медовых, а почти черных глаз теплела в скрытой, не трогающей лиловатых губ улыбке.

Новая странная красота Феодосии кружила головы и стару и младу. А неприступность ее одобряли лишь немногие праведные люди старого пошиба, большинство обывателей злобилось. Никому не нужная стойкость раздражала как вызов общечеловечьей слабости. Но людские пересуды, осуждающие взгляды, брошенные вдогон ядовитые словечки ничуть не задевали Феодосию. Она не обижалась на плохих людей, считая их пребывание в божьем мире случайностью, и твердо верила, что в назначенный час вместо них придут прекрасные, добрые, нежные люди и останутся навсегда.

Но от домогающихся ее внимания, число которых грозно росло, надо было защититься. Феодосия завела огромного угольно-черного пса. Пес никогда не лаял, он рычал страшным, начинающимся в глубине его громадного тела рыком, который, нарастая, заполнял слюнным клеточком горло и с яростным подвывом вырывался из пасти. Нередко за этим следовал прыжок и дикий вопль насмерть перепуганного человека. Феодосия почему-то думала, что испугом все и кончается. Но однажды, выглянув наружу, она увидела, как пес пережевывал кусок свежей убойны, окровавившей ему морду, и яростно выковыривал лапой из пасти ошметки синей ткани. А вскоре до нее дошел слух, что старший прокуроров сын в схватке со свирепым туром лишился части бедра. Путем несложных сопоставлений Феодосия поняла, какое животное нанесло столь тяжкое увечье отважному молодцу.

Видать, это поняли и другие жители города, астраханцы — народ смекалистый, и черного стража отравили. Но это случилось уже перед самым отъездом Феодосии.

Она узнала, что Василий Кириллович жив, здоров и учится в Москве, в Славяно-греко-латинской академии, и решила ехать к нему вопреки запрету, ведь и всякий запрет с годами утрачивает силу. К тому же ей сказали, что Василий Кириллович люто бедствует, и она отбросила последние сомнения. Эти вести привез бывший соученик Василия Кирилловича по училищу капуцинов, сопровождавший в Москву астраханского архиерея. Он столкнулся с Василием Кирил-

ловцем на улице и не признал поначалу, до того тот обхудал и оборвался. А призвав, повел отощавшего земляка в австрию, где Василий Кириллович умял пять норций рубцов. «И как в него вошло? — недоумевал однокашник. — Худ, как шкелет, живот к позвоночнику присох...»

У Феодосии сердце разорвалось на части, когда она представила себе голодного, тощего оборванца, уминающего вонючие трактирные рубцы. Сгоряча она решила продать дом и все деньги пустить на откорм Василия Кирилловича, но вовремя одумалась. Может, измученный московским бедованием, Василий Кириллович захочет отогреться в домашнем тепле, близ родных людей? Она спустила остатки своего приданого, зашла деньги в нижнюю юбку и, сговорившись с купцами, шедшими в Москву с товарами, вскоре отбыла...

6

...Тредиаковский узнал о предстоящем приезде жены, сидя в австрии с одним из своих учеников, шляхетским сыном Новичковым, которого с недавних пор готовил к поступлению в Навпгационное училище, что помещалось в знаменитой башне «мага и чародея» Брюсса, сиречь Сухаревой. Рослый, ражий детина, чье представление о водной стихии исчерпывалось Патриаршими, Чистыми и Останкинскими прудами да грязноватыми московскими речками, грезил морем, пенными волнами, парусами, мачтами, реями и пуще того — крепким ромом, который моряки поглощают в недоступных сухопутному смертному количествах. Обо всем этом он прочел по складам в единственной книге, имеющейся в отцовской библиотеке, за тисненными золотом корешками остальных хранились бутылки с отечественными и заморскими винами. Приученный с детства к горячительным напиткам, он рано открыл для себя отцово книгохранилище. Но однажды, сняв с полки тяжелый том, обещавший знакомство с неведомым нектаром, он к удивлению своему вместо доброй бутылки обнаружил печатные страницы и множество гравюр с кораблями. Он и читать приспособился самоучкой по этой книге и навсегда пленился морем. Но, лишенный способностей к арифметике — даже простого счета не знал, уже дважды проваливался в морском училище при всей снисходительности задобренных его родителем профессоров. Нанятый за харчи, старое платье и несколько медяков, Василий Кириллович должен был вдолбить в живой, но ленивый, не способный к малейшему усилию ум юного шляхтича начатки точных наук.

Василий Кириллович, некогда обучавшийся у превосходного математика Тимофеева, был исполнен знаний, но не умел эти знания вложить в рассеянную память ученика. Он был лишен учительской жилки и без нужды усложнял любой вопрос. Будущий моряк не уважал своего учителя, но жалел за худобу и голодный блеск глаз и, случалось, водил Василия Кирилловича в австрию, где тот наслаждался рубцами под кружку пенистого пива, а щедрый хозяин — ромом, дарившим его ощущением морской качки, а иногда и морской болезни. Очумевший от голодухи и двух глотков хмельного пива, обычно мол-

чаливый, Василий Кириллович становился говорлив и напропалую хвастался своими академическими успехами. Недавно ему разрешили присутствовать на диспутах, где старшие ученики блистали искусством диалектики, и он гордился этим до чрезвычайности. Новичкова удивляло и смешило, что его наставник придает столь большое значение пустейшим богословским спорам, в которых не рождается никакой истины, каждый утверждает свое, даже не помышляя в чем-либо убедить противника. Но Тредиаковский упивался оказанной ему честью, и неглупый Новичков обнаружил, что скромный, не от мира сего латинист, таскавший кафтан с продранными локтями и на столько истлевшие в шагу панталоны, что оторопь брала, не разбивавшийся в титулах, чинах и рангах, обладает изрядным тщеславием.

Сам себя Василий Кириллович трактовал выше, признавая за собой немалую толику литературного честолюбия. Он писал стихи и пьесы, мечтал, чтобы его творения были ведомы россиянам, и твердо верил, что рано или поздно так оно и будет.

Вечно голодный, но умеющий не думать о еде, согревающийся только летом, лишенный каких-либо радостей, кроме духовных, Василий Кириллович был счастлив каждый день, каждый час, каждую минуту своей подвижнической жизни, ибо занимался любимым делом. И вдруг в эту нищую, обобранную во всем, чем прекрасна молодость, в эту замечательную, наполненную, устремленную к великим целям жизнь вторглось страшное: едет Феодосия.

Об этом сообщил случившийся в австории дальний родственник вице-губернатора Кикина, ездивший в Астрахань в надежде на теплое местечко при дядюшке, но не приглянувшийся суровому старику. Едва увидев красный нос племяша, Кикин распорядился выписать ему подорожную на обратный путь. Племянник потопил неудачу в вине, которым его щедро потчевали молодые астраханские дворяне, узнал все ненужные ему местные новости и покинул обманувший его надежды город с двухпудовой кадушкой свежесоленой зернистой икры. В Москве он продолжал завивать горе веревочкой, забрел в австерию возле Китайской стены, встретил дружка Новичкова, подсел к его столу, был представлен тощему латинисту, услышал фамилию «Тредиаковский» и тут же выложил из праздной и цепкой памяти новость о брошенной астраханской красавице, пустившейся на розыски мужа.

Тредиаковский поперхнулся рубцами и неверным голосом спросил, когда и с кем отправилась Феодосия в путь. Почувствовав, что повесть не только не обрадовала мужа красавицы, напротив, повергла в смятение, племянник Кикина по обычаю человеческой подлости изобразил дело так, будто Феодосия вот-вот прибудет в Москву с купеческим обозом, если уже не поджидает мужа у ворот Заиковоспасского монастыря. Оравив в незнакомом человеке всю кровь и найдя в том некоторое утешение — как-никак астраханцу вмазал, — племянник Кикина отвалил из австерии.

Новичков искренне не понимал отчаяния своего наставника. «Вам бы радоваться. Гляньте на себя, на кого вы похожи. Жена при-

ведет вас в божеский вид. Она, видать, женщина решительная». — «В том-то и беда, — уныло сказал Тредиаковский. — Поручит она мое здание. А мне еще столько узнать надо!» — «А для чего?» — «Ясно, не для чинов, — угрюмо прозвучало в ответ. — Надо, и basta!» — «Вот и у меня так, — задумчиво проговорил Новичков. — Все пристают: зачем тебе море, ты же его сроду не видал. А я почему знаю зачем? Надо. Иначе жизни нет». — «А поступить в мореходное — книжка тонка! — съязвил Тредиаковский. — Здоровенный парень — четыре правила не осилишь». — «Я о море говорю, — без обиды отвел упрек Новичков. — А у вас красивая жена?» — спросил он странно. «Красивая!.. — И Тредиаковский вдруг вспомнил Феодосию, всю как есть. — В том-то и беда... Красивая и добрая. Я от нее спящей сбежал, иначе не сумел бы. А другой раз мне подавно не уйти. Человек не чурка. Охолодал я, оголодал. Нет, не сладить мне с ней. Она вся на любовь наострена, на любовь ко мне... не скаль зубыто! (Новичков и не думал улыбаться, лицо его было серьезно и задумчиво.) Да не во мне дело, а в самой любви. Она любовь любит, а думает, что меня. Но пойдн объясни ей!..» — Тредиаковский и сам не знал, почему он так разоткровенничался с этим грубым и мечтательным недорослем. «Море, море!..» — пробормотал Новичков. «Заладил!..» — не понял и немного обиделся Тредиаковский. «У каждого свое море, — тихо сказал Новичков. — И страшно его потерять, страшнее ничего нет». — «Правда твоя... А ты умнее, чем я думал, — удивился Тредиаковский. — Ты вообще умный. Попомни мое слово — быть тебе адмиралом».

Василий Кириллович оказался провидцем. Новичков, так и не попав в Навигационное училище, удерет в Петербург, поступит на корабль простым матросом, скрыв свое дворянское происхождение, пройдет весь ад матросской службы с липками и зуботычинами, издевательствами и тухлой водой, дослужится до офицерского чина, избороздит моря и океаны и кончит жизнь контр-адмиралом.

«Похоже, я могу вам помочь, — сказал Новичков, морщась, как от кислого. — Подлость это, конечно, гнуснейшая подлость перед женщиной, но я ее не знаю. А узнаю, так, может, на ваш след наведу или сам вас за шиворот к ней приволоку. Но я ее не знаю. А вас знаю. И слышу ваше море. На неделе сродственники наши Бурнашевы отправляют меньшого сына в Голландию корабельному мастерству обучаться». — «Неужто по смерти царя Петра дворяне еще слушаются его указов?» — удивился Тредиаковский. «Нет, — презрительно дернул плечом Новичков. — Рады-радехоньки к старому свинячеству вернуться. Правда, не все, хотя отнюдь не из послушания «державной тени», — вспомнил он поэтическое выражение Тредиаковского. — У Бурнашевых старший сын тоже там обучался и в тузы вышел. Сейчас в Англии фрегаты строит. Богач. Они надеются, что и младшему фортуна улыбнется. Он сопляк, плакса, при мамонькином подоле вырос, но гаденыш безвредный. С ним едет дядька. Я уговорю их, что одного дядьки неграмотного мало. Не потянет в науках Митяйка Бурнашев. Вы язык-то голландский знаете?» — «Выучу — невелика хитрость. Он с немецким схож». — «От-

менно! Будете тянуть корабельщика. Он тупец вроде меня, но без моря.— Новичков скупно улыбнулся.— Бурнашевы zelo бережливы, но угол и стол получите».— «Если за этим дело стало... да я воздухом одним сыт буду...» — Лицо Тредиаковского смялось от подступивших к горлу слез...

Через два дня Тредиаковский катил в карете вместе с заплаканным отпрыском Бурнашевых и его сизоликим, благоухающим романей дядькой. На московских улицах и даже по миновании заставы, когда вокруг развернулись подмосковные поля, березняки и ельники, Василий Кириллович ежился от страха, ему все мерещилась посланная Феодосией погоня. Вот-вот наскочут вооруженные всадники, схватят под уздцы бурнашевских лошадей, распахнут двери кареты и сунут ему в нос бумагу с кровавыми расгучными печатями — повеление от священного синода или генерального прокурора вернуться к законной жене. Но никто их не остановил, кроме караульных, охраняющих западный край русской державы. Путники предъявили свои паспорта и беспрепятственно двинулись в чужие пределы.

Весь долгий путь через Великия и Белья России, ляшскую землю и немецкие княжества юный Бурнашев проливал безутешные слезы. Поразительно, что жадная до всяких впечатлений юность могла оставаться столь безразличной к мелькающей за окнами кареты чужой пестрой жизни, к дворцам, замкам, крепостям, церквям, костелам, кирхам, мостам, садам, к красивым городам с нарядными людьми, наполняющими тишину мироздания звуками незнакомой — то певучей, то шипящей, то лающей речи. До чего уж непристаен к окружающему был самоглубленный Тредиаковский, но и тот забывал о своих заботах, откладывая прочь любимые книги и часами неотрывно смотрел в окошко. А Бурнашев знай себе хныкал, не в силах вырваться из домашнего закута с мамкиным баловством, ласковой девичьей, с пуховой периной после жирного обеда, с отцовым кнастером, тайно раскурпваемым в людской. Он оживлялся лишь во время трапез, когда дядька с заговорщицким видом открывал очередную квадратную бутылку. Удивляло, что безбородый юноша столь привержен к вину, которое быстро заплетало ему язык в косу, затуманивало глаза и погружало в долгий, беспокойный, с бормотом и горестными вскриками сон. Василий Кириллович, хоть и раздражался, благоразумно помалкивал. С него и собственных забот было достаточно.

7

...А мог он вовсе не тревожиться и не бежать из Москвы — Феодосия попала в руки атамана Кирьяка, промышлявшего разбоем на нижней Волге.

Случилось это так. Из Астрахани купеческий караван отплыл погожим утром, под сулящий удачу и радость благовест колоколов. Шли ровно и ходко, держа в парусах тугой юго-западный ветер. Феодосия сроду не плавала по реке, даже в лодке, она наслажда-

лась путешествовать, открывающимися окрест видами бескрайних, плоских земель, песчаных, поросших колючим кустарником и нежными блеклыми цветами островов, всеми малыми подробностями речной жизни. Ей нравились ее хозяева: степенные, пожилые купцы, относившиеся к спутнице сочувственно, но без обидной жалости, приглашавшие к обеду со стерляжьей ухой, свежей икрой, рыбными пирогами и солониной. Нравилась корабельная команда: веселые, по-кошачьи ловкие, дочерна загорелые парни. Все было любо Феодосии до умления, и верилось, что отыщет она мужа и навсегда соединится с ним.

Но уже в Саратове путников подстерегала беда. Здесь они должны были пересечь на подводы и в сопровождении небольшого конвоя наезженным трактом двинуться в Москву, но им не дали сойти на берег. В Астрахани началась чума, известие о которой успело их опередить. Тщетно пытались купцы сговориться с пристанским начальством, сулили щедрую мзду, те и слышать ни о чем не хотели. Добиться встречи с городскими властями, авось окажутся поговорчивей, тоже не удалось, видать, отменно строги были распоряжения пасечт приезжих из пораженного страшной заразой города, если не сработал самый верный ключ, отмыкающий на Русь все двери: взятка.

Делать было нечего: отвалили от Саратова и пошли дальше вверх по реке. В Вольске, от которого шла проезжая дорога к Московскому тракту, пристали. Никто не препятствовал высадке. До Саратова страшная новость стрелой домчалась, а до этого заштатного городишки еще не доползла. Единственно, что удивило местных людей, на кой ляд понадобилось купцам так удлинять и затруднять себе путь — из Саратова ближе, да и дорога лучше. Но самый почтенный из купцов, седобородый и черноглазый Емельян Исаев, похожий повадкой на боярина, а не на торгового гостя, важно пояснил, что на саратовском тракте «балуют», что звучало вполне правдоподобно по тем тревожным временам, наступившим после смерти царя Петра. Правда, случившийся при разговоре вольский перевозчик заметил, что балуют, и весьма шибко, как раз в их местах, на него накинулись с бранью и угрозами и прогнали прочь. Местным деловым людям появление богатых астраханских купцов было что богов гостинец. Купцам требовались подводы, лошади и мужики для охраны, на оплату не скупчились, ибо проволочка была им куда накладнее.

А что бы им послушать пьяенького перевозчика! Небось многим вспомнились его слова в глухом Труновском лесу, когда первые звезды проклюнули по-дневному голубое легкое небо над кронами старых рослых деревьев и острый свист распорол тишину, грянул выстрел, пыхнув оранжевым пламенем, и дымная селитряная вонь заглушила горьковатый запах леса. Мгновенно, будто того и ждал, рассеялась, сгнула охрана. Темнолицые бородатые мужики выскочили из-за деревьев и стали валить наземь не помышлявших о сопричтении возчиков и сбрасывать с возов товары.

Феодосия сидела в задней телеге и наблюдала происходящее, словно представление в ярмарочном балагане. Страшное представле-

ние. Она видела, как взвел курок пистоли отважный Емельян Исаев, но выстрелить не успел, порубленный поперек головы саблей огромного лохматого дегина в кумачовой рубахе; как порубил тот же дегин павшего на колени дряхлого, с голым скопческим лицом купца Чурикова, как был застрелен из мушкета богобоязненный рыбак Муханов, первый в Астрахани жертвователю на святые храмы. А потом лохматый разбойник приметил ее, сдернул с воза, обдав острым, лисьим запахом. Совсем близко она увидела его взболтанные, тухлые глаза и потеряла сознание. Много позже, очнувшись в темной горенке, на деревянной лавке, приткнутой в угол, под слабо мерцающей лампадкой, узнала Феодосия от хозяйки избы, сухонькой быстрогоглазой старушки, что вызволил ее из лап лохматого разбойника атаман Кирьяк. «Счастье твое, девонька, что успел Кирьяк в лицо тебе глянуть, — говорила старуха певучим голосом сказительницы, — и пленился тобой. Нельзя к Семушке подступать, когда он распалившись. Не то что старшбого, родную мать прикончит. Ужасной лютоости человек. Другие мужики убивают по крайней надобности, Кирьяк, хоть дюжее всех, только в схватке, а Семушка наслаждается, кровя спуская. Кирьяк, как тур, здоровый и, как ласка, верткий, а крепко ему от Семушки досталось, покамест его скрутил. Сейчас весь перевязанный в соседней избе лежит». — «А Семушка?» — зачем-то спросила Феодосия. «Успокоился, водку глушит на радостях, что богатую добычу взяли». — «И ему ничего не будет?» — «А что ему может быть? Он в своем праве. Мог тебя себе взять, мог срубить — вольному воля. Это Кирьяк, деушка, против обычая пошел». — «Я не девушка, а мужняя жена», — поправила Феодосия. «Была, — холодно сказала старуха. — Муженек твой в лесу остался». — «Да что ты, бабушка, там старцы полегли, а у меня муж молодой, в Москве живет». — «Вон что! — удивилась старуха. — Значит, ты не купецкая жена? Наши купцов не больно жалуют». — «Я сторожева дочь, а муж — семинарист, — сообщила о себе Феодосия. — Бабушка, а куда меня привезли?» — «В избу, нешто не видишь? А изба посередь деревеньки стоит. А деревенька — посередь России. Махонькая такая деревенька, пять домов. Мбром весь народ извело, сюда ни баре, ни власти носа не кажут, вот наши и отдыхают от трудов своих». Феодосию удивило, что старуха говорит о разбойниках-душегубах, как о самых обычных мужиках, можно подумать, что они с косовицы вернулись, а не с лютого дела. «Бабушка, скажи, малая, коли я не купецкая, а самого простого роду, отпустят меня отсюда?» — «Это, милая, не мне знать», — поджала губы старуха...

8

...Василий Кириллович поздно вечером шел по «веселому» кварталу, как любовно называли моряки, а вслед за ними, но презрительно, и городские обыватели припортовую часть города. Здесь чуть не в каждом доме располагалась австрия, здесь обитали доступные — только не для пустого кошелька Василия Кирилловича — нестерпимой красоты девицы, сдавались комнаты и углы на ночь, на

час, гремела допоздна музыка, и гирляндами висели разноцветные фонарики, отражаясь в темной мусорной воде каналов, обсаженных толстоствольными кургузыми ивами. Василий Кириллович редко за­хаживал сюда, как по отсутствию вкуса к подобного рода увеселени­ям, так и по отсутствию денег, зато не вылезал его питомец, совсем отбившийся от рук. Василий Кириллович уже не пытался вытаски­вать будущего кораблестроителя из питейных заведений и от девок, да это и не входило в его обязанности. А дядька, сам приверженный к вину сверх меры, считал, что барчук ведет себя как и подобает рус­ской дворянской юности. «Успеет еще головку перетрутить, пусть дитя тешится, покада кровь играет и волос кольцами вьется. Наши шляхтичи от роду к тому приучены, а вон какую державу собрали. У нас в любой губернии десять Голландий поместится, хушь эти бун голландские примерного поведения и всю арифметику наскрозь зна­ют». Против этого нечего было возразить, да и что ему до молодого жеребчика? Но была в характере Василия Кирилловича назойливая любовь к порядку, отдающая педантизмом, да и жаль ему было вре­мени, без толка и смысла утекающего меж пальцев молодого чело­века. В Голландии можно было купить любую книгу — хоть француз­скую, хоть английскую, хоть немецкую, все, что сочинители не мо­гли или опасались издать в собственной стране, беспрепятственно из­давалось в Голландии, иногда под вымышленным именем. Нигде в Европе не было такой свободы, как в этой стране, свергнувшей испан­ское владычество и ненавидящей всякое насилие над человеческой личностью, угнетение мысли и духа.

И все же Василий Кириллович не испытывал полного удовлетво­рения от здешней жизни, и отнюдь не по причине юного Бурнаше­ва. Здесь по-настоящему хорошо было практикам: кораблестроите­лям, механикам, плотникам, мореходам, негодьянтам, всякого рода предпринимателям и ученым точного знания. Духовным средоточием Европы оставался Париж. Оттуда шло все, чем вознесен человечес­кий дух: философские мысли, торжественные, строгие, игривые и пленительные поэтические образы, новые стройные литературные си­стемы.

Василий Кириллович тихо брел вдоль канала, глядя, как ложат­ся на расцветенную фонариками воду узкие листья ав и, подгоняе­мые ветром, лодочками плывут к морю; из дверей австеров ударяла музыка, слышался женский смех, хриплая ругань, хмельные песни, и грустно делалось от безнадежной чуждости этой жизни. Он и сам не знал, что его сюда привело, во всяком случае, не беспокойство за юного Бурнашева. Василий Кириллович плохо знал город, не дове­рял ему, а в поздние часы так и побаивался: слишком много грубой матросни, возбужденной разноязычной речи, пьяных бородатых рож, татуированной кожи, бесстыдных, назойливых нищих и страшнова­тых в своем бесцеремонном напоре слепцов, казалось, лишь они од­ни точно знают свою цель.

Но сейчас тут было непривычно пустынно: порок и веселье не любят осени и с первым дуновением холодного ветра прячутся под крыши, к огню очага, над которым подогрывается ячменное пиво.

Рассеянный взгляд Василия Кирилловича обнаружил, что у него две тени. Одна, постоянная, сильно вытянута, бежала справа, простираясь через каменную мостовую, заворачивалась на стены домов; слабая и нечеткая, она была рождена полной луной. Другая, более плотная, темная и короткая, скользила слева, она возникала за его спиной, равнялась с ним, выбегала вперед, и тут ее как слезывало, затем она вновь оказывалась сзади. Эту тень создавали фонари. Вдруг он увидел еще одну тень — тоже слева, в стороне канала, но эта тень не обгоняла его, а держалась чуть позади, узенькая, маленькая, будто и не его вовсе. Но вот он ее потерял, верно, то была тень другого человека, который отстал или свернул к решетке канала, но деликатная тень возникла снова, и он с ужасом понял, что это тень женщины. Феодосия выследила его, да это и нетрудно; ведь он раззвонил по всей академии, что отправляется с Бурнашевым в Голландию. Почему-то он был уверен, дурак несчастный, что Феодосия не отважится ехать за ним в чужие края. Как будто существуют препятствия для ее цепкой любви. И вот она его настигла. Боже, какой прекрасной показалась ему здешняя жизнь, и он еще смел жаловаться! Теперь этой жизни конец, им тут не прокормиться вдвоем. Значит, назад, в Москву, или того хуже — в Астрахань... И, уже желая приблизить мгновение, страшное, как смерть, Третьяковский резко обернулся, и взгляд его рухнул в пустоту. Маленькая тень, будто свернувшись в клубочек, лежала у его ног, то была его собственная — третья тень, наверное, от освещенных окон верхних этажей. Спасибо, господи, ты опять помиловал меня! И все же это следует считать предостережением, Феодосия может нагрянуть в любой день, спасение только в бегстве. И на другой день он бежал с краюхой хлеба и десятком книг в заплечном мешочке...

Если бы Василий Кириллович лучше представлял, какое ему предстоит путешествие, он, возможно, остался бы в Голландии, несмотря на весь риск быть настигнутым женой. Пускаясь в свой многодневный путь без гроша медного в кармане, он утешал себя мыслью, что мир не без добрых людей, авось просуществует Христа ради. Но, едва покинув пределы Голландии, он оказался в опустошенной бесконечными войнами стране. Нищета горестной Фландрии едва ли не превосходила разор незаможных российских деревень в пору неурожая, но русская нищета добра и милосердна, для путника даже в самой бедной крестьянской семье всегда найдется кусок хлеба, миска тюри, крапивных щей или мятой картошки с луком, ну, хоть кваском дадут нутро ополоснуть, от здешних людей этого не дожدهшься: угрюмые, ожесточившиеся, они или молча отворачивались, или злобно гнали прочь. Не то что в дом, в сарай на ночь не пускали. Возможно, они были снисходительнее к собственным нищим, но побирушка-иноземец приводил их в ярость. Они так натерпелись от испанских, французских солдат, немецких и швейцарских наемников, что каждый чужестранец представлялся им лютым врагом.

Василий Кириллович жрал траву, кислые ягоды, гниловатые лесные орехи, какие-то грибы, вытрушивал зерно из оставшихся на по-

лях колосьев; он продал камзол, кафтан, потом шляпу, заменив ее пиратским платком, расстался с обручальным кольцом и вательным крестиком, сменил туфли с пряжками на деревянные сабо, но вырученные деньги лишь частично расходовал на еду, большей частью расплачивался за проезд на попутных телегах, бричках, фурах. Лучше перетерпеть голод, да скорее добраться. Он не заметил, как въехали во Францию. Внешне ничего не изменилось: тот же разор, погорелье, те же угрюмые лица и нищета. Ближе к Парижу картина изменилась: меньше стало военных, целее города и села, приветливей народ. Но Василий Кириллович, утративший доверие к братьям в человечестве, обходился своей немочью.

Однажды утром слуги русского посла князя Куракина обнаружили у порога посольского дома живые мощи: чудовищно псхудалый, черный от солнца и грязи, обросший бородой человек спал, положив голову на каменный порог. Когда его растолкали, он зашевелился, задергался, хотел встать, но не смог, из пересохшего рта вырывались жалобные звуки, в которых с трудом угадывалась русская речь. Его подняли, отнесли в дом, отмыли в чане, накормили, заставили выпить большую рюмку водки с солью и перцем. Сам князь Куракин пожелал его видеть. Оборванца под руки отвели к послу. Он упал кучей тряпья к ногам вельможи, назвал себя и попросил не гнать прочь.

Князь Куракин был настолько знатен, богат и силен при дворе, что признавал себе равными лишь немногих избранных, ведущих род от варяжских князей, к тому же сохранивших состояние. Остальные, без различия титулов, званий, чинов, занимаемого положения, зачислялись во «всякую сволочь», в чем сказывался своеобразный демократизм князя: разорившийся представитель древнего рода Оболенских, петровская «знать», богач-купчина, мастеровой или цирюльник были равны перед его презрением. Но среди «всякой сволочи» князь выделял людей одаренных, знающих и чудаковатых. Зашелец — проницательный дипломат понял сразу — совмещал в себе все эти качества: несмотря на молодость, то было зело образованный, думающий человек с божьей искрой, к тому же чудака из чудаков. Судьба Тредиаковского была решена. Ему не только оказали приют, дали одежду и установили содержание, князь снизошел до обсуждения с ним его ученых занятий, посоветовал, какие лекции стоит послушать в Сорбонне и у каких профессоров, кого из «мэтров» надо избегать — схоласты, педанты, ослиные уши, какие посмотреть спектакли в «Комеди франсез» и у итальянцев, с какими достопримечательностями познакомиться. Князь разрешил Тредиаковскому неограниченно пользоваться своей уникальной библиотекой, Василий Кириллович не выдержал, заплакал и хотел поцеловать князю руку, но тот не позволил...

9

...Остаток лета, всю осень и зиму Феодосия недужила. То металась в жару, не узнавая своей хозяйки, не помня, где она и что с ней, то, оплывая от слабости, сидела у окошка, глядевшего на скуч-

ную околицу с огромной лужей, задернувшейся после первых заморозков сахарным ледком, потом промерзшей до земли и тускло почерна позеленевшей и наконец скрывшейся, как и все в просторе, под толстым снегом. Бабушка Акулина говорила, что такой снежной зимы сроду не бывало в здешних краях. Болезнь замечательно скрадывает время. Феодосия, переходившая от забвения к призрачной полуяви, не замечала, как летят дни, недели, месяцы. Придя окончательно в память, она стала привыкать к своей новой слабости, училась ходить, держать ложку, глотать какую-то жидкую пищу, пить горькие травяные отвары и удерживать их в себе. Когда же повеяло весной, она стала крепнуть ото дня ко дню, даже Акулина удивлялась, до чего быстро налпвалось силой совсем было отошедшее в пные пределы существо.

Теперь Феодосии казалось, что болезнь она сама себе надумала, чтобы не умереть от горя и разочарования. В душу запали слова Акулины «Кирык в лицо тебе заглянул». Она хорошо понимала, что это значит: прельстившись ею, Кирык пошел против устава шайки, отнял добычу у товарища и поплатился за это кровью. Тем он как бы обрел права на нее. Кирык тоже долго отлеживался, гноилась, не заживала рана. С перевязанной рукой заходил к ним в избу, молча смотрел на нее. Его угрюмое заросшее лицо с небольшими светлосерыми пытливыми глазами почему-то не пугало. Он что-то говорил Акулине вполголоса и уходил. Больше никто в избе не появлялся, видать, Кирык запретил. Только дюжая баба, не переступавшая порога горницы, приносила время от времени дрова, муку в мешках, свиное сало да свежую убоинку.

А разбойников Феодосия наблюдала в окошко. И странно ей было, что она, под стать бабке Акулине, уже не могла относиться к ним как к душегубам-кровохлеbam, несмотря на все виденное в лесу. Она знала, кровь лакома одному Семушке, другие никакой себе радости в убийстве не находят. Это были обычные деревенские мужики, придавленные вечной заботой, непосильным трудом, страхом перед завтрашним днем. Разбойничья жизнь мало походила на ту, что изображалась в песнях. Там — отважные схватки, золото, жемчуг, драгоценные камни да соболя, прекрасные девы, влюбляющиеся без памяти в забубенных молодцов. А здесь — тащись что ни день, в дождь, ветер, пронизывающий холод, когда зуб на зуб не попадает и не удержать ружья в оочевневших, с распухшими суставами руках, в засаду, заранее зная, что ничего там не высидишь, кроме боли в груди и пояснице. Удача с купеческим обозом была единственной за все лето. Осенью маленько поправили дела за счет бегущих от чумы богатых астраханцев, но большинство шло водным путем на Самару и выше. Кирык похвалялся, что весной он захватит суда и пойдет озоровать по Волге, как приснопамятный Степан Тимофеевич. Конечно, то было пустое бахвальство, сил у Кирыка не хватало, потому что действовали в захолустье, а не на добычливом московско-саратовском тракте, где преуспевали другие шайки. В начале зимы на свежей санной дороге захватили крестьянский обоз, везший оброк барину в Борпсоголебск, да невеличка разжива: битая птица,

мороженая телячья туша, с десятков поросят, бочки с солениями и моченьями, тощий кошелек денег.

В то смутенное время разбой на Руси достиг степеней чрезвычайных. Насылаемые изредка слабые правительственные отряды особого рвения не проявляли. Тем более что и разбойники не лезли на рожон, сразу скрывались в лесах, позволяя командиру карателей послать начальству победную реляцию: шайка рассеяна, порядок восстановлен. Отряд с барабанным боем тащился обратно, пыля пересохшей землей, а разбойники, покинув укрытия, опять подвигались к проезжим дорогам.

Хотя злата и соболой в отряде Кирьяка не выдывали, но концы с концами сводили, и семейные разбойники — почти вся шайка была из местных — отсылали либо сами отвозили домой кое-какое вспомоществование. Разбой был чем-то вроде отхожего промысла: как в иных деревнях мужики, взамен хлебопашества, занимаются извозом, плотничают или катают валенки, прислуживают в трактирах или банях, торгуют на городских рынках сбитнем или пирогами с собачиной, так здешние крестьяне уходили со своих неродящих, сухих, обдутых горячим ветром полей на разбойный промысел. Было тут немало и людей обиженных. У Кирьяка барин молодую жену снаспльничал, она руки на себя наложила. Кирьяк того барина задушил, а сам в лес подался. У Богуна, правой руки атамана, с барыней счет вышел. По ее приказу его подвешивали голого на конюшине и секли вожжами, а барыня смотрела, кивая головой, будто отсчитывала удары, после начинала стонать и корчиться, только не от жалости, а от какой-то внутренней сласти. Богун в свой черед подвесил нагую барыню к той же стрехе и отодрал вожжами так, что кожа с нее, как со змеи, лоскутьями сползала. Другие мужики ударились в бегство от меньших обид, от разора, голода, были и погорельцы и, конечно, сбившиеся с пути, Макары, не помнящие родства, вроде Семушки. Иные мужики на пахоту, сенокос уходили в свои деревни подсобить родителям или женам, но большая часть держалась прочно стаей.

Отболев, Феодосия почти вернула себе тот бодрый покой, какой ею владел некогда в Астрахани. Да, ей не удалось достигнуть мужа с первой попытки, человек предполагает, а господь бог располагает. Положен ей новый искуc, но она выдержит, сдюжит и отыщет своего ненаглядного. Она потеряла много времени, лишилась скромных гостинцев, которые везла мужу, денег, — видать, Акулина нащупала в юбке и выпорола оттуда, но стала немного ближе к цели. Теперь у нее одна задача: вырваться от разбойников. Кто знает, какие ей еще предстоят испытания, какие выпадут беды, страхи, искушения, тягости, она должна все одолеть, где терпением взять, где отвагой, где хитростью — птицей пролететь, зверем порскнуть, рыбой скользнуть, змеей проползти, а до Москвы добраться.

Значит, надо держать себя в руках, приглядываться, прислушиваться и побольше пытаться словоохотливую Акулину, чтобы вызнать все нужное для побега.

Вскоре Феодосия с досадой обнаружила, что речистая бабушка

ровным счетом ни в чем не проговаривается. Она прямо-таки засыпала Феодосию всякими сведениями о разбойниках, об их характерах, повадках, жизненных обстоятельствах, об удачных и неудачных набегах на барские усадьбы, о стычках с солдатами, о разных лихих и лютых делах, но все это происходило в какой-то смутной дали и смутном времени, будто за краем земли при царе Горохе. Как ни подъезжала к старухе Феодосия, она так и не смогла из нее вытянуть, где находится их деревенька, какие сюда и отсюда дороги ведут, в какой стороне осталась Волга, есть ли поблизости городишко или крупный поселок. Старуха, не отводя незабудковых, чистых, как у младенца, глаз, начинала плести несусветную чушь, и Феодосия заширала в себе слух. Добрая бабушка Акулина была настоящая разбойничья ведьма: умная, хитрючая и неумолимая, ее жги — не проговорится.

Феодосии казалось, что бабушка Акулина исподтишка присматривает за каждым ее шагом. Она решила ее испытать. Разбойники были на деле, немногие обитавшие в деревне женщины возились в огородах, бабушка Акулина перебирала картошку в подполе, когда Феодосия, откинув щеколду, впервые вышла на улицу. Никого, только куры бродят. Феодосия миновала околицу и двинулась по большаку, обходя огромные, кишмя кишевшие головастиками весенние лужи. Ее отвыкшие от ходьбы ноги крепили с каждым шагом, чистый полевой воздух распахивал грудь. Феодосия оглянулась, никто за ней не следил. Даже настырная Акулина не всполошилась. Едва ли она доверяла пленнице, скорее рассчитывала на ее слабость. Феодосия не стала злоупотреблять терпением своей стражницы и вернулась домой.

— Как хорошо в поле-то! — сказала она Акулине.

— Одевайся потепше, — заботливо посоветовала та. — Не ровен час опять свалишься, Кирьяк мне голову скусит.

Бабушка частенько подчеркивала и свою особую ответственность за Феодосию, и попечение атамана Кирьяка. Феодосия холодела, догадываясь о смысле этих намеков, но сейчас в ней проснулась злость. «И хорошо бы скусил!» — «Так-то ты меня благодаришь? — слезливо завела старуха. — Я ли тебя не выхаживала, ночей не спала!..» — «Тоже мне благодетельница!.. И не лезь ты со своим Кирьяком». — «Это почему же? Он мужик правильный, справедливый...» — «Лыцарь с большой дороги», — перебила Феодосия. «Не шути так, деушка, Кирьяк добрый, добрый, а осерчает — беда». — «Вот то-то и оно! И хватит меня девушкой звать, сколько раз говорила. Я мужняя жена». Акулина отвернулась, проворчав что-то скверное, Феодосии послышалось: «Кирьяк тебя живо от брачных уз ослобонит».

Теперь она каждый день совершала все более дальние прогулки, приучая себя к долгой, быстрой ходьбе. И когда бабушка Акулина как-то отлучилась со двора, Феодосия сунула под кофту шматок сала, ржаную лепешку и припустила по знакомой дороге.

Версты через две или чуть поболее дорога свернула в лес, что

было на руку Феодосии, теперь ее не углядеть из деревни. Дорога не была ни наезженной, ни нахоженной, и все же сквозь гривку весенней травы отчетливо проступали тележные колеи, значит, дорога куда-то вела, ею пользовались. Феодосия вспомнила про разбойников: что, если она столкнется с возвращающейся шайкой? Но как ни бесшумно передвигаются лесные люди, у них подводы, лошади, всякое снаряжение, она услышит их загодя и юркнет в чащу. Лес был тих и спокоен, и бдительные его стражи-сойки нежили под солнцем свое яркое оперение. Перепархивали с сухим стрекозым шорохом мелкие птички, дятел ожесточенно долбил березу, взбалтывая свой бедный мозг в маленькой красной голове, грустно и редко, будто не доверяя самой себе, куковала кукушка. Феодосия не отважилась спросить кукушку, сколько лет ей осталось жить, голос птицы был затухающе слаб, а ей надо было жить долго-долго, чтобы наверстать все потерянные для любви годы со своим единственным.

Чем дальше углублялась она в густеющий лес, тем становилось жарче и душнее. Но из-под старых деревьев, приютивших густую тень, наддавало сыроватой прохладой. Кисленько пахли ландыши. Обок с дорогой желтели одуванчики и синели стройные живучки. Феодосии захотелось сплести веноч, даже кончики пальцев защеколало, так не терпелось им коснуться тонких тел цветов. Она едва одолела искушение: надо засветло добраться до какой-нибудь деревни, ночевать в лесу страшно и холодно, опять лихоманка скрутит. Дорога уверенно тянула через лес, порой огибая какую-нибудь мокрую балку или овражек, курящийся белым черемуховым дымом, и вышла к неглубокому, довольно широкому ручью в низких, поросших лезвистой травой берегах. Феодосия поглядела за ручей на толстые бурые мхи, сквозь которые пробивались хвои, и не увидела дороги. Поразмыслив и погадав, она пошла влево вдоль воды и вскоре обнаружила дорогу, петляющую по берегу и постепенно отклоняющуюся от ручья. Феодосия озадачилась — дорога вроде бы поворачивалась вспять. Да нет, тут нарочно понапутано, чтобы сбить с толка чужака, по злomu умыслу, а хоть бы и ненароком забредшего в заповедный край лесной вольницы.

Она пошла по четко обозначившимся колеям и уже в сумерках, натерпевшись страха, оказалась на краю поляны, прямо против деревни, странно тихой и безлюдной, вроде бы брошенной. А хоть бы и так! Она переночует в первом попавшемся доме, а утром пойдет дальше. Тут она увидела у крыльца крайней избы старушечью фигуру. Феодосия поспешила туда, и противная слабость в коленях чуть не повергла ее наземь.

— Набегалась? — ворчливо сказала бабушка Акулина. — Иди вечерять-то, второй раз самовар грею.

Теперь Феодосия поняла, почему ее не стерегут и позволяют ходить где заблагорассудится. И все-таки дорога, настоящая дорога, которая выводит из этой западни, где-то должна быть. Ведь не по воздуху уходила и возвращалась шайка, да и прежние насельники деревни как-то сообщались с миром. Может, надо было пойти по ручью в другую сторону или перейти его вброд и там, на толстом мшапике,

отыскать вмятины от тележных колес. Все дороги куда-то ведут, значит, и эта дорога, как бы ни запутывали ее ленту боящиеся преследования люди, имеет настоящее направление, надо только суметь распутать узлы. Сразу ничего не дается, но сегодня она стала чуть ближе к избавлению. А главное, ей нечего таяться, Акулина настолько уверена, что отсюда не уйти, что предоставляет ей полную свободу.

И на другой день Феодосия на глазах Акулины снова пустилась в путь. Все было по-вчерашнему: сойки, дятел, мелкие пичужки, кукушка, только одуванчики успели превратиться в пушистые шары. Достигнув ручья, она пошла в другом направлении, продираясь сквозь таволгу и цветущую крапиву. Шла она долго, острекалась, устала и хотела уже повернуть назад и тут увидела на другом берегу ручья, на песчаном заливе полнящиеся водой колесные следы. Разувшись, она перебралась на тот берег по обжигающе студеной воде, растерла замлевшие ноги, натянула сапожки, но сажень через пятьдесят пришлось опять разуваться — перед ней снова оказалась вода. Был ли это тот же ручей, петляющий заячьей цепочкой, или другой — понять нельзя. Дальше дорога пошла сухой, прямой, как стрела, просекой, по которой во всю длину простерся солнечный луч. В его перехвате тусклое оперение сновавших над просекой дроздов загоралось фазаньими красками, и как будто лопались серебристые шарпки, это вспыхивала в луче светлая роговица летучих жучков. И Феодосию объял этот луч, она поплыла по его клубящемуся лесной пылью сиянию и приплыла прямо на зады деревни. У плетня поджидала бабушка Акулина.

— Набегалась? — добродушно спросила старушка. — А я тебе кулеш молочный сварила.

Не кричать, не плакать, не валиться наземь, внушала себе Феодосия. Я стала еще ближе к Василию, ближе на эту проклятую обманную дорогу, которой мне все равно было не миновать. И может, их тут много, таких дорог, но одна все-таки окажется настоящей и выведет меня на волю. Завтра я опять пойду... Но завтра у нее не оказалось, ночью явился человек от Кирьяка и велел всем уходить в лес. Приближался карательный отряд.

Как ни ослабла смерть Петра государственный аппарат, пущенные им колеса все-таки вертелись, и власть себя охраняла. Бессильная во всем другом, она не вовсе разучилась преследовать и карать. Уходящие лесом разбойничьи женки, а равно и Феодосия с Акулиной видели в разрывах чащи черный недвижимый дым, шапкой накрывший спаленную карателями деревнюку.

10

Началась лесная жизнь, в шалашах и землянках. Разбойники пробавлялись легким, неопасным делом: обирали астраханских мародеров. Чума продолжала свирепствовать, уничтожая целые семьи, и опустевшие дома подвергались разграблению как местными, так и

пришлыми людьми, которые в надежде на поживу отважно пропикали в зараженный город и уходили с немалой добычей. Им пикто не препятствовал, власти давно покинули Астрахань.

«Небось и мой дом разграбили,— без всякого сожаления думала Феодосия.— Да что там осталось: ложки, поварешки, постели, кое-какая одежда». Странно, ей на ум не приходило, что чума могла лишить ее не только имущества, но и близких людей, родного батюшки. Нет, в ее сознании все они оставались целы и невредимы. Ей не хотелось обременять душу никакой лишней заботой, никакой тревогой и болью, отвлекающей от мыслей о муже, с которым она должна соединиться. В роковой недосыгаемости Василия Кирилловича ее любовь к нему не то чтобы усилилась, сильнее нельзя любить, но обрела черты восторженного поклонения. Даже бегство его вызывало восхищение. Он бежал не из корысти и выгоды, а себе во вред и тягость, единственно ради знания. Кто еще на это способен? Все лишь о хлебе насущном думают, о богатстве и всякой земной сладости. Он необыкновенный, великий человек, недаром же остановил на нем взгляд царь Петр.

Она думала о занятиях Василия Кирилловича и жалела, что не вникала в них глубже. Почему он был пристрастен к рифмованным строчкам, которые складывались в песню, но песней не были? Он называл их стихами. А зачем говорить в рифму да еще нараспев, коли ты не собираешься ни петь, ни причитать, ни славословить царя небесного или земного человека? Простой речью, какой в разговоре пользуются, можно все проще и ясней выразить. Она не понимала этого и мучилась. Однажды, тоскуя свыше мочи о Василии Кирилловиче, утирая набегающие на глаза теплые слезы и томя себя невыносимыми мыслями о худобе, скудости одинокой жизни мужа близ московской науки, Феодосия проговорила вслух такое, чего и внутри у нее не было, словно вычитала начертанное в воздухе:

Уж я встречусь с тобой, милый, родненький,
Накормлю тебя сладко, сдобненько.
Напитаю твою плоть нищую
Самой вкусной и сытной пищею.

Ей стало чудно, радостно и чего-то стыдно, и она вычитала в дрожащей пустоте лесного воздуха другие, лишь ей зримые письмена:

Сердце бедное плачет, надеется,
Что любовью снова согреется,
Что забудется мука мученическая,
И ты счастьем обучишь еще меня.

Феодосия несомненно была поэтом, и поэтом лучше Тредиаковского, но она так и не узнала, что ее устами говорит вечность. Оказывается, рифмующимися строчками можно нежнее, задушевнее сказать о своем чувстве, нежели простой разговорной речью, и это облегчает душу лучше слез. Когда Акулина вошла в шалаш, она проговорила:

Тяжело холодать,
Тяжело голодать,
Но тяжелее того
Друга милого ждать,
Ждать не дожидаться.

— Свят, свят! — перекрестилась испуганная Акулина, решив, что Феодосия произнесла какую-то ворожбу.

Уловив испуг бабушки, не боявшейся ни людского, ни божьего суда, ни государевых застенков, Феодосия поняла, что Акулина верит лишь в силы преисподней, и принялась травить старуху. Стихи слагались легко, играючи, они плескались возле сердца, и надо было только сморгнуть с глаз окружающую мельтешню и вычитать в небесной книге звонкие строки о чем хочешь: о любви, тоске, облаках, ветре, поползне, спующим по ракете вниз головой, даже о противной Акулине. Как-то раз, уставившись ей в лицо неподвижным взглядом, Феодосия проговорила загробным голосом:

Наточу я ножик повострей .
И добуду Акулининых кровей,
Требуху старой ведьме нарушу,
В ад крошечный засушу душу.

С громким вскрипом Акулина выбежала из шалаша и вернулась с Кирьяком.

— Зачем бабушку пугаешь? — спросил он хмуро.

— Вольно пугаться старой дуры! — свободно отозвалась Феодосия, она ненавидела старуху и не желала этого скрывать. — Я стихи говорю.

— Какие еще стихи?

— Ну, песни вроде... Только их не поют, а говорят.

— А ну скажи.

И Феодосия сказала, только не про Акулину, а про свое сердце.

— За что же ты его так любишь? — глухо спросил Кирьяк.

— А как же не любить? Он мой родненький, единственный. Другого не было и не будет.

— Это уж как бог решит.

— Бог уже решил. Небось нас в церкви венчали.

— Как же бог разрешил ему бежать? — зло усмехнулся Кирьяк.

— Батка его, священник, мечтал приходить к нему передать. А он не хотел в попы, учиться хотел.

— Что в попы не пошел — одобряю. А зачем женатому мужику учиться?

— Дурачок ты, Кирьяк, — почти ласково сказала Феодосия. — Учатся, чтобы все знать. Как мир божий устроен, какое в нем каждой твари назначение. А когда узнаешь, все умные книги прочтешь, доберешься до высшего смысла.

— И твой доберется? — недоверчиво и все с той же угрюмой насмешкой проговорил Кирьяк.

— Мой-то как раз доберется! — с торжеством сказала Феодосия. — Он упрямый.

— Черта лысого он доберется! — грохнул Кирыак. — Вот кто есть самый распоследний дурандай, так это твой мужик. Высший смысл рядом был, а ему — звонки бубны за горами.

— Болтаешь пустое, — вздохнула Феодосия, уже понявшая, что разговор склоняется к тому, чего ей так хотелось избежать, и ведь казалось, дуре жалкой, пронесет грозу стороной, а не пронесло.

— В тебе этот смысл, Феодосия, только в тебе! — горячим, пскренным голосом заговорил Кирыак. — Кабы ты моей была, неужто мог бы я тебя кивнуть? Да за все сокровища...

— Пошел ты со своими сокровищами! — нарочито грубо оборвала его Феодосия, надеясь погасить разгорающийся костер. — Только и знаете — о сокровищах. Василий Кириллович на нищую жизнь пошел, а не за сокровищами. Для него все ваши сокровища — тьфу! — Она плюнула и растерла ногой.

— А ты можешь быть злой, — удивился Кирыак.

— Могу. Для себя не могу, для него могу. Убить могу, глаза выпарапать, искалечить, все могу, так и знай, Кирыак. И себя убить могу, — добавила спокойно.

— А зачем умней умного быть? — помолчав, сказал Кирыак. — Был у нас мужик в деревне, все божественные книжки читал. Умнел ото дня ко дню, покуда не обернулся в круглого дурака.

— Чего с тобой говорить. Все равно не поймешь. Ты хоть читать-то умеешь?

— Умею... маленько, по псалтырю. И счет знаю.

— Вон ты какой ученый! — улыбнулась Феодосия.

— Скажи-ка... энто еще раз. Про сердце.

И Феодосия сказала:

Сердце бедное плачет, надеется,
Что любовью снова согреется,
Что забудется мука мученическая,
И ты счастьем обучишь еще меня.

— Да... — вздохнул Кирыак. — Кабы ты меня полюбила... — Он при-молк, будто испугавшись своей мысли, потом тихо, задушевно дого-ворил: — Я бы учиться пошел...

Феодосия не отозвалась, наивность Кирыака ничуть не умилила ее. Женский инстинкт подсказывал ей, что Кирыак, смелый на лес-ных дорогах и в обращении с сообщниками, не любящий, но и не боящийся крови, нерешителен с женщинами. Он обожал свою по-койную опозоренную жену, был верен ее памяти, а хмельная бли-зость с гулящими девками ничего для него не значила. К ней у него было настоящее чувство, потому и робел, но сегодня он переступил трудный для себя и опасный для нее рубеж. Теперь дело пойдет в открытую. Из леса бежать еще труднее, чем из деревни, там была хоть какая-то надежда отыскать дорогу; тайные разбойничьи тропы вовсе не проглядывались, а идти наугад — или заплутаешься в чаще, или зверь растерзает.

Она стала наблюдать за разбойниками, за их ухищрениями и приходами, но ничего не могла высмотреть, густой плотный мшаник не хранил следов. Теперь она при каждой встрече просила Кирьяка отпустить ее с миром.

— Об этом и думать забудь,— мрачно отвечал Кирьяк.

— Зачем я тебе? Я же знаю, чего тебе нужно, да ведь не могу я тебя полюбить, не могу. И не будь я мужней женой, все равно бы не смогла. От тебя кровью пахнет, Кирьяк, а меня с нею мутит.

— Степан Тимофеевич поболе моего душ загубил, а его шемаханская царевна любила,— мечтательно говорил Кирьяк.

— Да какой из тебя Разин! Тоже сравнил.

— А вот брошу в Волгу — поймешь, какой,— так же мечтательно звучал хриплый голос.

— В Козье болото,— усмехалась Феодосия.— Где тут Волга-то? — А сама надеялась, что он сгоряча проговорится и откроет их местоположение.

— Я уйду на Волгу,— грезил наяву Кирьяк.— Посажу людей на струги, тебе под ноги ковер персидский кину. Ох и погуляем мы!..

— Тешь себя сказочками, Кирьяк, а меня уволь. Не люб ты мне, И чем дольше меня продержишь, тем ненавистнее станешь.

— Ну, это мы еще посмотрим,— бледнел Кирьяк смутным лицом.

— Ты же не захочешь, как тот барин...

— Молчи! — орал Кирьяк, и в мучительном этом крике Феодосия черпала уверенность в своей безопасности.

Феодосии только казалось, что она понимает людей. Она и в самом деле могла долго проследить душевный путь человека, но угадка давалась ей лишь в случае возобладания добрых начал. Она и в дурных, нечистых играх, столь чуждых ее натуре, могла многое ухватить, проявляя порой редкую проницательность, какое-то непостижимое чутье к тому, что отсутствовало в ее опыте, но все это до известного предела; там, где человеческая злоба, порочность или просто разнузданность начинали гулять без помех, Феодосия становилась панпой, как малый ребенок. Ей казалось, что своей искренностью она обезоруживает Кирьяка. Если б он просто хотел ее взять, то мог давно совершить это бесчеловечное дело. Она долго была все равно что без разума, любой мог надругаться над ее бессильным, не способным к сопротивлению телом, и она даже не знала б об этом. Но Кирьяку, видеть, иное нужно. А может, его останавливает память о своей обещанной жене? Нет, он хотел ответного чувства, хотел, чтобы все по согласию и, дико сказать, по закону у них было. Однажды сильно хмельной он бормотал о «лесном попе», который может разрешить ее от брачных уз и опутать с ним, Кирьяком. И она не боялась говорить ему о своем отвращении, допуская, что Кирьяк может в бешенстве ударить, даже ножом пырнуть, но хотя бы из гордости удержится от насилия. Скорее, устав от этой борьбы, унижений, неудовлетворенной страсти, прогонит ее прочь.

Кирыак приходил разный: добрый, на что-то надеющийся, чаще злой, ожесточенный, бывал и задумчивым, пришибленным странной загадкой жизни, что брошенная мужем молодая, красивая, к тому же беззащитная женщина может так упорно противиться власти, способной раздавить ее, как козявку. Он ненавидел и уважал в ней эту странную силу. Его ничуть не задевали насмешки товарищей за спиной. Наверное, Кирыак потому и был атаманом, что плевал на мнение окружающих. Их бабьи пересуды были так ничтожны перед его болью, что он не пытался заткнуть им грязные рты. Перетянутая струна рвется. Порвалась и атаманова струна.

Крепко напившись, Кирыак пришел в шалаш к спящей Феодосии. Он откинул одеяло, задрал рубашку на женщине и рухнул на нее своим тяжелым телом. Он делал все молча, с грубой простотой, словно у них так всегда заведено было.

Феодосия проснулась от придавившей ее тяжести и духоты. В первое мгновение ничего не поняла, и тут будто расплавленный свинец влился ей меж бедер, и, чтобы не умереть, она прозрела в какой-то иной вселенной и узнала своего единственного. Он услышал ее тоску, ее зов через тысячи верст, вернулся, разыскал в глухом лесу и сразу одарил своей любовью, по которой так изболелось ее тело. Неизъяснимое наслаждение охватило Феодосию, никогда еще не открывалась она так любимому.

— Милый, родной! — выжимала она со стоном сквозь стиснутые, скрежещущие зубы. — Счастье-то какое!..

Кирыак, знавший, как сильна разъяренная, защищающая свою честь женщина, даже в пьяной решительности не забыл сунуть нож за голенище. Он ждал ярости, проклятий, слез, борьбы, но то, что произошло, было выше его понимания. И к неожиданному, ошеломляющему счастью прикипела слеза. Опустошенный, без чувств, без желаний, без мыслей скатился он с женщины, издававшей тихие стоны, выполз из шалаша и забылся мертвым сном.

А утром, опамятавшись, умылся ключевой водой, расчесал волосы и бороду, надел синюю сатиновую рубашку, взял золотую цепочку, нитку жемчуга и явился в шалаш к уже проснувшейся, но не встававшей, бледной, большеглазой и странно далекой, дальше самых далеких звезд, возлюбленной.

— Беря! — сказал он, уронив цепочку и жемчуг ей на грудь. — Знаю, ты не того стоишь. Но дай срок. Как царица будешь у меня ходить, краса моя ненаглядная.

— Что с тобой, Кирыак? — слабым, надтреснутым голосом спросила Феодосия и брезгливо отбросила драгоценности. — Зачем ты мне даришь?

— А кому же дарить? Одна ты у меня. Не отвергай. Нет такого золота, чтоб заплатить за твою любовь. У самого царя сокровищ не хватит. Прими как дань сердца.

— О чем ты, Кирыак? — Она мучительно папргала свой гладкий лоб, собирая его в складку. — Ты нашлся с утра?

— Нет, голуба моя. Каюсь, был я вчера выпимши. Для куража

хватил. Верить ли, к такой махопкой подступиться трусил. Знал бы, что ты сжалишься надо мной...

— Не сжалюсь, не мечтай...

— Да ты что? — низкий голос атамана грубо осип. — Заспала, что ли? Был же я с тобой.

Она внимательно, будто что-то соображая, смотрела на него.

— Наговариваешь на себя, Кирьяк, — произнесла спокойно и вроде бы сожалеюще. — Кругом ты в грязи и крови, а в этом грехе неповинен. Это барин твою жену снасилыничал, а ты на себя чужое берешь. С водки умом повредился.

Кровь втиснулась в глаза Кирьяку с такой силой, что он прижал их пальцами, боясь, что лопнут.

— Жену не трожь, — сказал глухо. — К чему ее приплетать? Барин похоть свою тешил, а я за тебя все царства отдам.

— Какие царства? — брезгливо усмехнулась Феодосия. — Нет у тебя ничего, кроме цепки ворованной. Ты голь перекатная. Из тебя и разбойника настоящего не вышло. Ты вориска и робкий убивец. Нету у тебя талана. Ни в чем. Ну, что ты меня держишь, скажи на милость? — Голос смягчился, звучал почти сострадательно. — Все равно мы тебя обманули. Нашел меня любимый, мы с ним всю ночь миловались, пока ты пьяный дрых. И будет у нас ребепочек, весь в отца, крепенький, беленький, с бородавочками вот тут и вот тут, — Феодосия притронулась мизинцем к щеке и верхней губе.

— Что ты посеешь? — с болью сказал Кирьяк. — Какой муж, какие бородавочки? Мне ты открылась, мне!

Феодосия высокомерно рассмеялась.

— Видишь? — в руке у нее блеснул нож, зная, выпавший у него из-за голенища. — Только подступись, по зенкам полосну. А коли подмогу кликнешь, зарежусь.

«Она рехнулась! — ожгло Кирьяка. — Эх, несчастная!.. И пошто бабенку сгубил?.. А что было делать? Ей спасение — мне гибель. Так сошлось. Не человеческим, да и не божьим промыслом. Жалко ее до смерти, и себя жалко. Нешто мог я подумать? Ну, поревет, не без того, ну, рожу мне расцарапает, волосья оборвет, ну, схватится за гужи и остынет помалу. Ведь не девка. Неужто из-за такого дела жизни решаться? А эта не такая. Эта как моя... До чего же, однако, она своего уroda бородавчатого любит! — с какой-то восторженной завистью подумал Кирьяк. — А он, гнида поповская, на книжки ее променял. Не вышло тебе счастья, Кирьяк, только душеньку чистую погубил. Вот уж кто истинно несчастный, так это ты...»

Кирьяк крикнул Акулину и велел собирать Феодосию. Он хотел дать ей денег, она взяла ровно столько, сколько у нее пропало. Казалось, Феодосию подменили, она ослепла к окружающим, к атаману, замечала одну лишь Акулину, обращалась с ней высокомерно, будто та была ее служанкой. Наставленная атаманом, старуха не огрызалась, покорно приговаривая: «Да, матушка-барыня», «Слушаю, сударыня-барыня». Акулина сменила тон, когда они покинули становище.

Теперь она покрикивала на Феодосию, понукала идти быстрее или ругалась, если та слишком убыстряла шаг: «Чего несешься как оглашенная? Я небось не молодка. Успеешь к своему чучелу!» Феодосия не отзывалась, вроде и не слышала, и шла, как ей шлось. Когда же добрались до пристани, Акулина опять съезжилась и заюлила. Феодосия оставалась такой же отрешенной и не откликнулась известию, добытому Акулиной, что чума в Астрахани, почитай, кончилась и оставившие город жители потянулись назад. Но, похоже, слова эти достигли ее, и она сделала какие-то выводы. Вечером, когда сбившая ноги в кровь Акулина вернулась на постоянный двор, где они остановились, и сообщила, что в Москву никто не едет ни водой ни сушей и надо плыть до Саратова, Феодосия сказала тяжелым, низким голосом: «Какая Москва? Какой Саратов? Домой поеду». Это оказалось куда как просто: на другое утро Акулина пристроила ее на струг с астраханскими беженцами. На прощание Акулина вдруг расчувствовалась: «Прости, девонька, если что не так вышло!» — «Бог простит», — пробормотала Феодосия и, пошатываясь, двинулась по сходням на струг.

Феодосия не помнила, как добралась до Астрахани, как очутилась дома. Странная болезнь, начавшаяся в ней после ночи, когда явился Василий Кириллович, опрокинула ее без памяти на голые доски кровати. Она вспомнила себя лишь на другое утро. Ужасное жжение палило ее внутри; оно начиналось в животе, поднималось вверх, заполняя грудь, сердце будто плавилось, обожженная гортань судорожно сжималась, хотела вытолкнуть что-то мешающее, мерзкое, во рту лопался ком едучей горечи. И воды никто не подаст, думала Феодосия, но пить ей не хотелось. И вообще ничего не хотелось, даже чтобы жжение прошло.

Появилась золовка Марья с ребятенком. Феодосия ей не обрадовалась. Тихонько плача, Марья рассказала, что все родные померли от чумы один за другим, кроме о. Кириллы, который ушел в монастырь и принял постриг под именем Климента. Феодосия промолчала. Равнодушно выслушала она, что ее батюшка тоже спасся. Она спросила лишь: «От Василия ничего не было?» — «Откуда ж быть? — плаксиво молвила Марья. — Мы же тут как отрезанные. Может, сейчас чего будет». — «Нет, — сказала Феодосия, — не будет. — Помолчала, сжав сухие, потрескавшиеся губы. — Знаешь, Марья, уходи лучше, вдруг у меня чума». — «Чума саму себя пожрала, — сказала Марья, разучившаяся бояться. — Кончилась ее власть». — «Вот меня еще сожрет и кончится», — с провидческой уверенностью произнесла Феодосия. После Марья говорила: накликала. Чума, и впрямь исякшая, набралась силы, чтобы унести бедную жизнь Феодосии.

Господь облегчил ей кончину. Когда тьма отступала, Феодосия опять наполнялась своей любовью и совсем не мучилась страхом смерти. Она и знала и не знала, что умирает. Одно в ней было твердо: не может она умереть, не свидевшись с любимым. Хоть в последний ее час, к последнему дыханию явится он из своей дали. А коли так, она не умрет, не может умереть, когда он рядом. Она возьмет

его за руку, и негу у смерти силы порвать такой сноп. Она не знала, когда умерла. Да и умерла ли она, вся излившись в любовь и веру, что остались на земле питать всеобщее человеческое сердце.

11

Отец Кирилла, он же иеромонах Климент, прослышал о возвращении снохи и собрался идти к ней, но известие о смерти Феодосии, присланное в монастырь дочерью Марьей, удержало его на месте. Из всей его большой семьи продолжала жить лишь эта всегда далекая ему дочь да внучек, которого он не успел полюбить. Почему бог не прибрал его вместе с теми, кто был ему дорог на земле? Он стар, изношен, ни на что не годен. Быть может, он должен искупить какое-то зло, какую-то несправедливость, свершенную им по неведению, ибо сознательно дурных поступков о. Кирилла за собой не помнил. Он не был праведником, но всегда старался жить по чести и правде, никого не обманул, не обобрал, не осиротил, не оговорил. Напрягался для семьи и людям служил по мере сил, не корыствуя и не лукавя. Но бог лучше знает, виновен или невиновен слабый земной человек, и в нужный час призывает к ответу.

В неожиданном возвращении Феодосии, которую он в мыслях давно не числил в живых, увидел о. Кирилла божий знак. Вот его грех перед господом. Ему и его семейству доверилась юная чистая душа, и как же дурно, небрежно, жестоко они с нею обошлись! Ему вменяется искупить семейную вину перед Феодосией. Он почувствовал желание жить, странную силу в старом, изжитом теле, затосковал по тяжелой, потной работе и заботах о другом человеке. Но господь бог прибрал Феодосию, лишив его благодати искупления и загадав новую мучительную загадку, которую о. Кирилла и не пытался разгадать. Ему не для чего стало жить. Он лег на жесткое свое ложе и поручил душу богу. Умирая, он думал о том, что с его уходом навсегда исчезнет на Руси и вскоре сотрется в памяти людей фамилия Тредиаковский. Марья носит мужнее имя, о других же Тредиаковских он сроду не слыхивал. Хорошая, звучная фамилия, ее носили служители церкви, городские и сельские священники, сопровождавшие человека от рождения до смерти, а были попы Тредиаковские, что и ратное поле ведали, благословляя войско на сечу с татарвой, степняками и ляхами. Отныне русские люди будут управляться во всех своих делах без Тредиаковских. О блудном сыне старик не вспомнил, давно похоронив самую память о нем. И с этими горестными мыслями отошел...

12

Меж тем, далекий от кромешных российских скорбей, Василий Кириллович окрепшей, раздавшейся грудью дышал и не мог надыхаться бодрящим парижским воздухом. Во всей долгой и тяжелой, наполненной непосильными трудами и неравной борьбой жизни этого первого русского интеллигента, безмерно щедрой на все дурное: недо-

брохотство и непризнание, насмешки и злобные издевательства, унижения и даже побои — в жизни, скупой лишь на удачу, тепло и отдохновение, в этой мученической жизни был один широкий голубой просвет: парижские дни под надежной рукой русского посла. И после внезапной смерти князя Куракина его покровительство продолжало осенять Тредиаковского.

Василий Кириллович изменился внешне почти до неузнаваемости: исчез костлявый оборванец, появился вальяжный молодой щеголь с гладким, румяным лицом, которое не портили две запечатанные мушками бородавки, с живым и приметливым к окружающему взглядом. Да, теперь Василий Кириллович не был постоянно погружен в самого себя, он научился видеть мир и находить себе место в его круговерти. Да и как можно было остаться слепым и равнодушным к Парижу, Елисейским полям, сенским берегам, где цвели каштаны и продавались божественного тленного запаха старинные книги, к собору Парижской богородицы с печальными химерами, к Лувру и Пале-Роялю, благоухающим садам, где гуляли прелестные женщины с нарядными детьми, к старым, источающим волнующий холод камням Сорбонны, средоточию разума. Василий Кириллович, вечный плещник аскетической державы духа, познал радость материальных благ: изысканной еды на сверском фарфоре, тонких вин в хрустальных бокалах, он был допущен к барскому столу, хотя и помещался на нижнем его конце.

Князь Куракин был одним из первых щеголей своего времени, Василий Кириллович донашивал его кафтаны, камзолы, жилеты, которые князь и надевал-то считанное число раз, а какая-нибудь капля бургонского или дырка от трубочного табака, тщательно заштопанная, в счет не шли, равно доставались ему княжеские панталоны, плащи, чулки, туфли с серебряными пряжками и шляпы, которым могли позавидовать франты с Елисейских полей. Словом, он был сыт, шит, разодет, ухожен, голубоглазая Мари стирала и гладила ему рубашки, ах, как она гладила!..

В карманах у Василия Кирилловича позванивала мелочь, но он не мотвал и тратился лишь на театральные билеты, на галерку и книжки, что так упойтельно дешево у сенских книготорговцев. Сам сиятельный князь, а позже его преемник искали беседы с редкостно начитанным, памятьным — ходячая энциклопедия, — интересно и хоть коряво порой, да по-своему мыслящим студиозусом, обогнавшим иных профессоров Сорбонны, которую он все еще старательно посещал, дабы совершенствоваться во французском и древних языках.

Он усоенно работал. Перевел книгу Поля Тальмана «Путешествие на остров любви», более шести десятков лет чаровавшуюзыскательных французских читателей, писал собственные стихи как на русском, так и на французском, ставшем для него родным языком. Он упивался строгой системой Буало, восхищался блестящим стилем, обаятельным цинизмом и смелым безбожием Вольтера, окончательно расштатавшим его и без того слабую религиозность. Французское вольномыслие и нравственная свобода благодетельно повлияли на дремучую душу астраханского виршеплета. Он презирал цер-

ковнославянское велеречие, выпростал плечи из-под вериг тяжелой дидактики и всей душой поверил, что поэт волен петь иные, светлые начала бытия. Его смутные юношеские прозрения, что простой народ в своих песнях ближе к истинной поэзии, нежелли признанные служители тяжелойвесной отечественной музы во главе с самим Феофаном Прокоповичем, стали той убежденностью, которая приводит к открытиям. Конечно, понадобились Россия и время, чтобы угадки, наития, озарения, кропотливый умственный поиск вылились в стройную систему, но начало было положено.

В эту счастливую, полезную и чуть-чуть пошловатую пору своей жизни Василий Кириллович окончательно забыл Феодосию, забыл ее любовь и свою боль о ней. Не просто забыл, а отринул, как и все прошлое. Он жил лишь настоящим, наивно полагая, что вся последующая жизнь будет освещена тем же солнцем, ему невдомек было, что это всего лишь краткая передышка перед бесконечной российской Голгофой. Счастливый своей обрезавшейся памятью и безмятежной верой в будущее, он растворялся в сиюминутности, озаренной победительным образом блистательной арцухини Бурбонской.

Да, Василий Кириллович переживал страстное увлечение. Первая красавица двора пленила его сердце. Он долго не догадывался об этом, но галантная французская поэзия открыла ему глаза. Когда рухнули убогие бурсацкие представления о возвышенных правоучительных целях поэзии, служащей якобы к прославлению великих мира сего и к назиданию малых сих, когда открылось, что истинная поэзия — это разговор о любви и не поэт тот, кто не влюблен, он с восторгом обнаружил, что не обделен этим первым наиважнейшим признаком поэта. Да, втайне даже от собственного сердца он без памяти влюблен в юную львицу парижского высшего общества, живую легенду, черноглазую арцухиню Бурбонскую. Да, между ними пролегла бездна, но любовь крылата, пусть его избранница знатна, богата, избалована вниманием первых галантов Франции и всей Европы, ничто не может помешать любви поэта. Дерзкий, неутомимый, он не уставал ласкать предмет своей страсти блеклым взором славянских глаз, покрывать ее ангельский лик тысячами воображаемых поцелуев.

У них были общие вкусы. Оба поклонялись Мельпомене, и каждый вечер, в положенный час Василий Кириллович встречал портпез своей избранницы у ступеней лестницы «Комеди франсез». Поскольку красавица не догадывалась о пожаре, который зажгла в душе чужестранца, да и вообще не подозревала о его существовании, Василий Кириллович мог не особенно скрываться и в толпе зевак, нищих и мазуриков, постоянно осаждавших возле театра знатных господ, пробираться к самым носилкам, вдыхать пьянящий аромат духов, внимать серебристому смеху и чуть хриловатому детскому голосу. Ему вспоминалась крылатая фраза мушкетера — поэта Сирано да Бержерака: для влюбленного всякая рана смертельна, ибо он состоит из сплошного сердца.

Но, к счастью, это оказалось поэтическим преувеличением, иначе

Василий Кириллович окончил бы дни на мостовой перед знаменитым театром и не одарил бы русскую литературу силлабо-тоническим способом слагать стихи, многими учеными трудами, собственными творениями и переводами. Как часто мы недооцениваем людскую наблюдательность, как мало знаем о том интересе, какой вызывает у совсем посторонних людей наша скромная личность. Но когда, прокладывая дорогу портшезу арцухини, молодой смуглолицый посыльщик нашел кулаком физиономию отнюдь не лезшего вперед Василия Кирилловича, бедный поэт мог бы поклясться, что тот сделал это нарочно. Он высмотрел фигуру Василия Кирилловича в многоликой человеческой протери, ежевечерне осаждавшей носилки арцухини, и что-то смекнул про себя, уже не возревновал ли дерзкий раб свою госпожу к молодому иностранцу?

А что, если и вельможная дама его заметила?.. Но думать об этом не хотелось, мысль, куда бы ни повернула, сразу упиралась в тупик. Довольно того, чтобы манящий образ водил его рукой, сжимающей перо, когда он предает бумаге свои поэтические грезы.

У Василия Кирилловича был слабый нос, кровь продолжала сочиться, когда он занял свое место на галерке; отсюда, если перегнуться, можно увидеть далеко внизу обнаженный локоть и нежные холмы персей сидящей в ложе арцухини Бурбонской. Он дал себе слово — не покончить с безумствами, это было выше его сил, — обуздать себя настолько, чтоб не попадаться под быструю мускулистую руку злобного посыльщика. Это слово Василий Кириллович сдержал. Теперь он топтался на почтительном расстоянии от портшеза и бдительно следил за всеми перемещениями своего врага. Больше он вприсак не попадался и спокойно изнемогал от любви, сообщавшей все новые краски его поэтическим опытам в галантном галльском роде...

Третьяковский уступал в поэтическом даровании и просто в умении слагать стихи и Ломоносову и Сумарокову, но в нем одном из всех его современников звучала щемящая лирическая нота. И эта нота прорывалась сквозь всю нескладницу тяжеловесных виршей, чистая, грудная, душевная, — то в стихах о Париже, то в песенке о кораблике, уходящем в плавание, то в стоне о далекой родине, то, вовсе неожиданно, в какой-либо заумно-безобразной рифмованной чуши. Этот нелепый поэт не был весь съеден дидактикой, хотя и удивительно быстро излечился на родине от французского легкомыслия и поэтической безответственности, в нем под всеми слоями назидательности, педантизма, ханжества, верноподданнической лести сохранился живой родничок. И отсюда мог бы забить Кастальский ключ. Он подносил к губам флейту, душа его искала выход в элегии, но заглушал сам себя барабанным одическим боем. Он не узнал своей музыки и слепо прошел мимо. А ведь она была возле его сердца, сама поэзия, сама любовь. Ах, бросить бы ему арцухиню Бурбонскую, задно и прачку Мари, так хорошо умевшую гладить, и весь галантный, литературный, театральный, ученый Париж, уже давший ему все, что мог дать, да и вернуться в Астрахань, припасть к измученной

груди Феодосии, хоть последней слезой ее омыть, и русская поэзия получила бы первого лирика.

Знать, не судьба была. А своего лирического поэта Россия получила в должный час...

В истории этой нет ни правых, ни виноватых. Каждый остался верен своей правде, своему назначению: Феодосия, обреченная любить и только любить, и Тредиаковский, предназначенный дать отечественному стихосложению новую систему и проложить дорогу русскому классицизму. Он принес в жертву невесть кем поставленной перед ним цели и любовь Феодосии, и собственное самолюбие, достоинство, честь; его топтали вельможи и дворцовые холоуи, язвительный монарший смех выдавал головой на поругание злейшим врагам, но он, подобно Феодосии, не отступил. Велико было мужество этого слабого и незащищенного человека. На его раны сыпали соль, и ни одна рука не протянулась утереть черный пот вечного труженика.

Поистине, литература — это храм на крови.



ЗАСТУПНИЦА

ПОВЕСТЬ В МОНОЛОГАХ

1

Архив III отделения. Полутемно, сыро и смрадно. Во всю ширину и вышину стен тянутся полки, на них тесно стоят папки с «Делами». Едва тлеет камин. У небольшого столика в поношенном статском сюртуке — архивариус. Он просматривает какие-то бумаги и делает записи в толстой потрепанной книге. Дверь открывается, входит ладный, с ловкими движениями человек в голубом жандармском мундире с генеральскими эполетами. У него высокий, чуть скошенный лоб, светлые волосы, цепкий насмешливый взгляд. Это — знаменитый Леонтий Васильевич Дубельт. Следом за ним жандарм вносит толстенные папки.

Архивариус вскакивает. Его зримо трясет. Лицо искажено раболошным страхом.

Дубельт (*приветливо*). Здравствуйте, почтенный Павел Николаевич! Да не тряситесь так. Экой же, право, робкий!.. (*Показывает жандарму на стол.*) Клади сюда. Да аккуратнее, безрукий! Небось Пушкина дело, а не Ваньки Каина. Хотя у Ваньки оно, знать, было тоньше. Обожди за дверью.

Жандарм выходит.

Садитесь, садитесь же, Павел Николаевич, что вы передо мной, как лист перед травой?

Архивариус громко плачет.

(*Брезгливо морщится.*) Опять юкота одолела?.. Вы никак селедкой завтракали, да и с лучком. Экий, право, гурман!.. Ну-ка, сядьте подалее и дышите в сторонку. Терпеть не могу луковый запах, особенно по утрам.

Архивариус подчиняется.

(*Берет колченогий стул, усаживается.*) А знаете, Павел Николаевич, вы могли бы большую карьеру сделать, если б государю на глаза попались. Он страсть трепет ценит. Знаете, как граф Клейнмихель в случай попал? При первой встрече с императором так разволновался и ослабел, что его замутило. Все решили — конец голубчику, а государь только поморщился и осведомиться изволил, часто ли случается с его верноподданым подобное. Нет, только при виде его императорского величества, от сильного трепета и усердия. Столь уважитель-

ная слабость польстила государю, он приблизил и возвысил Клейнмихеля. Раз как-то граф удержал дурноту, и это вызвало приметное неудовольствие. Государь засомневался в его преданности. Но Клейнмихель быстро исправил ошибку. Ныне он самое доверенное лицо государя, после, разумеется, нашего шефа графа Бенкендорфа. А у вас, Павел Николаевич, козырь не многим слабее, чем у Клейнмихеля.

Слышится какой-то ржавый звук.

(Заинтересованно прислушивается и понимает, что это смех.) У вас есть чувство юмора. Оно поможет пережить разочарование: вам не сделать карьеры — вы икаете и трясетесь перед любым начальством, а надо лишь перед его величеством. В этом сила Клейнмихеля: со всеми — зверь, а перед государем — пес блюющий. Большое дело, любезный Павел Николаевич, иметь зримый порок, чтобы без подлой лести возвеличивать высочайшую особу. Граф Александр Христофорович государю еще ближе Клеяныхина, как того в войсках кличут, а не испытывает дурноты, не икает, но рассеян противоестественно и при всей своей ловкости беспамятен и бестолков... да не тряситесь вы так, Павел Николаевич, нас же никто не слышит, а я на себя не донесу и вы не донесете — внимать крамольным речам столь же преступно, как и произносить. Спокойнее, Павел Николаевич, а то вы сроду икать не перестанете. А это неприлично для служащего столь высокого учреждения. Сам государь устаивает нас своим посещением. Скромный труд наш на благо России «святым делом» называет. «Святое дело сыска» — доподлинные слова царя Николая.

И чего вам бояться, любезный Павел Николаевич, это вас должны бояться сильные мира сего. Кстати, вы не обращали внимания, что вас зовут, как государя, только наоборот? К чему бы сие? Знамение? Или примета скрытого родства? Об этом стоит подумать. Вы страшный человек, Николай Пав... тьфу, Павел Николаевич, ведь вы все про всех знаете. *(Обводит широким жестом хранилище.)* Мне известно, что вы не просто регистрируете поступающие к вам дела и по полкам их распределяете, на радость архивным мышам, а внимательно, от корки до корки штудируете. Память же у вас, почтеннейший, как у Гомера или Шекспира. Все помните, что не с вами было. А для чего вам это? Бескорыстная любознательность? Скорее желание убедиться, что знаменитые и знатные, коли видеть их с исподу, ниже последнего архивного червя. Тогда и чин ничтожный, и жалованье низкое, икота и трясучка, и вся вгустую прожитая жизнь — не так уж мучительны. Вы интересный человек, Павел Николаевич, самый интересный после меня в этом заведении, и я люблю с вами разговаривать. Особенно потому, что вы молчите. Даете человеку выговориться. Я вас по-своему уважаю, Павел Николаевич, — не за икоту, о нет, за сосредоточенную злобу, что держит вас здесь. Вы же давно могли уйти на пенсию и спокойно дотлеть, но ненасытное мстительное чувство сделало вас вечным узником смрадного подвала. Я с вами откровенен, как ни с кем другим, вам бессмысленно врать, вы если не впрямую, то косвенно узнаете под-

ногодную каждого. Но вам неизвестно, что государь называет Александра Христофоровича Бенкендорфа ангелом. Шеф жандармов и впрямь ангел: весь лазурный, голубые чистые глаза, розовая кожа, ангельская кротость с одними, ангельский холод к другим. Последних неизмеримо больше. Вы никогда не задумывались, почему ангелы не могут любить? Впрочем, небожители идут по другому ведомству. Ангелы бесполой. Александр Христофорович — истинный ангел. А вот я не ангел и не блевун, у меня нет отчетливого, бьющего в нос ущерба, и мне не сделать первоклассной карьеры. В определенном смысле я ее уже сделал, могу подняться еще на ступень, когда граф Бенкендорф оставит свой пост, но его влияния не добьюсь. Не бывать мне ангелом нашего государя. Мешает ум, скрыть который гораздо труднее, чем кажется. И зачем ты, матушка, не ударила меня незаросшим темечком о косяк, был бы твой Леонтьюшко фельд-маршалом, первым министром или обер-прокурором святейшего синода. Впрочем, стоит ли сетовать на судьбу, особенно в присутствии почтеннейшего Павла Николаевича, который не дорос и до таких скромных чинов? Но Павел Николаевич выше этого. И я, как ни удивительно, тоже выше. Для меня суть моих занятий важнее награды, званий и титулов, хотя все это важно для жизни и для самих занятий.

(*Со вздохом.*) Вот, Павел Николаевич, сдаю вам, быть может, величайшее из всех дел, какими занималась собственная его величества канцелярия, хотя касается оно особы весьма невысокого ранга. Тридцатипятилетний муж, глава семьи, знаменитый поэт, чья слава вышагнула за пределы России, довольствовался юношеским званием камер-юнкера. Вот он, весь тут! (*Хлопает рукой по верхней панке.*) Тело Пушкина предано земле его другом Александром Тургеневым, а дело сдается мною в архив. И желательно сохранить сие от мышей и прочих скверных зверушек. Каждый, кто причастен к этому делу, обрел бессмертие, многим едва ли желательное. Итак, покончено таинственное дело, а до конца ли разгадано — кто знает? Даже я этого не знаю, хотя находился в самой гуще. Нет, не был я ни движущей пружиной, ни даже сколь-нибудь важной частью сложного механизма, но и в стороне не остался. Говорю о том равно без гордости и без сожаления. Сейчас умы в разброде. Свет поделился на две неравные части. Большинство осуждает Пушкина и оправдывает Дантеса, иные даже рукоплещут красавцу эмигранту, что несколько странно с патриотической точки зрения; меньшинство же оплакивает Пушкина и проклинает его убийцу. И у всех на устах стихотворение юного корнета Лермонтова «На смерть поэта», с эпиграфом: «Отмщенье, государь, отмщенье!» Но я хотел не о том, добрейший Павел Николаевич. Смерть Пушкина вдруг обнаружила, что есть не только свет, чье мнение единственно важно, а такое странное, неощутимое и не упоминаемое в России образование, как народ. Считалось, что народ — это где-то в Европе, во Франции, в Англии, в цивилизованных странах, испытавших революционные потрясения. Мы думали — лишь с революцией масса немущих, проще — толпа, становится народом. В России революции не было, но гибель нацио-

нального поэта обнаружила, что существует народ. Не холопы, не смерды, не дворян, не работный люд, не голытьба, не городская протерь, не мещане, а именно народ. Иначе как назовешь те тысячи и тысячи, что осаждали дом Пушкина в дни его агонии, а затем по одному прощались с покойным, целуя его руку? Если б то были просто горожане да пригородные крестьяне, тело Пушкина не повезли бы тайком в Святые Горы. Но тут пробудилась и заявила о себе какая-то новая, еще не сознающая самое себя сила. В известном смысле это страшнее, чем 14 декабря на Сенатской площади. Мятеж молодых аристократов не имел корней, недаром же солдаты не пошли за ними. Народ — вот самое страшное, что оставил нам Пушкин, а не богохульная «Гавриилиада», злые эпиграммы и крамольные стихи. Это понимают пока лишь самые проникательные, и прежде всего — государь. И все же дело завершено. Слава богу, иначе тлетворное влияние Пушкина росло бы с устрашающей силой. Мертвец, при всех оговорках, куда менее опасен. У людей короткая память, они позволяют себя отвлечь и развлечь, что куда проще, нежели осипливать живое воздействие громадной личности и могучего таланта. Второго Александра Сергеевича Пушкина в России не будет. Не сойдутся так больше звезды. Я равнодушен к стихам и прозе, признаю лишь исторические сочинения и мемуары тех, кто движет историю, но я понимаю, что такое Пушкин. И при этом ничуть не раскаиваюсь, что имел некоторую, пусть скромную, прикосновенность к закрытию этого дела. Есть ли тут противоречие? Ни малейшего. Великое государство Российское создавали не Пушкин, Гоголь или Грибоедов, а Иван III, Алексей Михайлович, Петр Великий с корыстными, но дельными соратниками, Екатерина, Румянцев-Задунайский, Суворов, даже Сперанский при всех его просчетах и, разумеется, ныне здравствующий монарх, служивое дворянство, генералы, министры, высшие чиновники. Граф Клейнмихель, над которым тайком посмеиваются, важнее для России, чем насмешник Гоголь. Клейнмихель строит, а Гоголь разрушает. Граф угадал главное в наши дни: исполнителей. Лишь она противостоит хаосу, к коему тяготеет русская жизнь. Я хоть и Дубельт, но ощущаю себя россиянином, всем сердцем, всей требухой привержен к этой стране, ее истории, вечному неустройству и потугам это неустройство одолеть, встать вровень с цивилизованными странами. И ведь есть к тому возможность, есть! Старушка Европа загнила и смердит, а тут молодые, свежие, нетронутые силы. Я не могу сочувствовать тем, кто препятствует серьезной государственной жизни России. А высший свет — вовсе не свора льстецов, выскочек, завистников, интриганов и сплетников, хотя и таких довольно, но прежде всего — опора самодержавия. И кто посягает на него, колеблет трон. А я на страже. Только, Павел Николаевич (*голос Дубельта звучит глубоко и серьезно*), вот это действительно должно остаться между нами. Я не хочу, чтобы хоть одна живая душа знала, что я служу не ради чинов, крестов и лент, а ради идеи. Этого мне не простят. В награду за скромность я покажу вам некоторые материалы, которые никогда не поступят в ваш архив.

Архивариус живо вскакивает и кланяется не без достоинства.

(Насмешливо.) Мы с вами из одного теста — бессребреники... *(Вновь становясь серьезным.)* Одно меня угнетает. А что, если я ошибаюсь? И как раз Пушкин, Гоголь, Грибоедов и иже с ними строят Россию, а не политики и полководцы? Но нет, этому отказывается верить разум. Бумагомаратели, чего они стоят? А Радищев? Екатерина ополчилась на него, как на Пугачева, а эта государыня была великим политиком. И почему столько шума вокруг маленького курчавого камер-юнкера, не имевшего ни одной награды, зато не раз ссылаемого, всячески унижаемого, гонимого? Почему царь стал его цензором? Не слишком ли много чести? Но к ничтожным делам цари не снисходят. Да нет, тут другое: обуздать дух разрушения. А почему в писании сказано: вначале бе слово, потом бе бог? Может, тут и коренятся сила и власть этих, ни силы ни власти не имеющих? А если так, то хороши же мы все!.. Нет, нет! Государство не в них, а в нас...

Входит жандармский офицер и молча протягивает Дубельту листок.

Браво, Щеглов, вы делаете успехи! Было бы худо, если б граф Бенкендорф получил это из других рук. Вы свободны!

Жандарм выходит.

(Читает.)

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Геня и Славы палачи!
Тягнетесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть, есть божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смаете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровью!

Шестнадцать строк. Но стоят иной поэмы. И кое-кому будут стоить карьеры и даже судьбы. Михаил Павлович сказал о Лермонтове: «Этот заменит нам Пушкина». Великий князь попал точнее, чем мог думать. Нет сомнения, что эти строчки написаны лермонтовской рукой. Виден сокол!.. Стихотворение стало совсем другим. Зарвался мальчик! Боюсь, что отмщение государя обратится теперь вовсе не на Дантеса. Француз просто защитил себя от ревнивого и дерзкого камер-юнкера, не дававшего ему покоя, да и не только ему. А этот корнет полоснул саблей по всему высшему обществу, по двору, и куда хуже — по особе государя, которому противопоставил бога. Как вы находите стихи, Павел Николаевич?

Архивариус потрясенно разводит руками.

Хороши, ничего не скажешь. Слишком хороши. О неиссякаемая Россия!

Быстро входит жандармский офицер.

Жандарм. Ваше превосходительство! Его величество государь император изволили пожаловать! В сопровождении их высокопревосходительства графа Бенкендорфа.

Дубельт. Возьми-ка, голубчик, вот все это (*показывает на грудку папок, лежащую на столе*). Да, почтенный Павел Николаевич, лишаю вас на время преинтереснейшего чтения. Ничего не попишешь. Пушкина нет, а дело его живет! (*Выходит следом за жандармом.*)

2

Февраль 1837 года. Петербургский дом Арсеньевой. Маленькая гостиная, хорошо и уютно обставленная, на стенах гравюры, акварели Лермонтова, несколько фамильных портретов в багетных рамах, среди них портрет покойной дочери хозяйки — Марии. В вазах свежие оранжерейные розы.

Арсеньева, довольно высокая, с прямой спиной, бодрая старуха, седая и темноглазая, вводит в гостиную Аграфену, бывшую мамку Лермонтова, женщину примерно своих лет, но совсем дряхлую с виду, согбенную, с отечными ногами и шаркающей поступью.

Арсеньева. Ходи веселей! Хватит притворяться, что тебя так растрясло, дорога по зимнику гладкая. До чего же все дворовые избалованные — спасу нет! Я старше тебя, а не шаркаю и не гнусь... В баньку сводили? Накормили хорошо?

При этих отрывистых вопросах Аграфена кланяется и хочет поцеловать барыню в руку, но та не позволяет.

А ну, без глупостей! Здесь Петербург, не Тарханы. Барин молодой увидит — разгневается. Ах, Аграфена, тяжело мне с ним! До того тяжело!.. Люблю его больше жизни, каждое желание предупреждаю, а чей он — мой или чужой?.. Да садись же, садись, в ногах правды нет. Да и устала ты, старая. Садись вот тут. Сейчас велю тебе чаю крепкого дать с вареньем и сахарком, ты ведь сладкое любишь, и ромпу ямайского или бальзамка. Молчи, молчи, не лицемерь. Нешто не знаю, как по буфетам рыскаешь. Честна, честна — оставь тебе казну, копейкой не попользуешься, а винцо тайком вылакаешь. Ох, русские люди, русские люди! Чего только в нас не намешано: и доброты святая, и преданность, и к жертве любой готовность, и вороватость, и лукавство, и притворство, и к разбою склонность. Француз или немец — одной краской мазан, а наш — радуга, все цвета налицо. (*Подходит к двери, распакивает створки и чуть не сшибает с ног подслушивающую девушку.*) Зачем шпионишь? Что я — любовника прячу? Стара я для таких дел. Тьфу ты, из головы вон, — Аграфена же твоя крестная! Ну, поцелуйся с крестной и принеси ей чаю — живо! А наболтаться еще успеете, она никуда не денется. Здесь жить будет.

Девушка обняла крестную и метнулась к двери. Арсеньева успевае т дать ей звучный шлепок.

Хороша натяжка у твоей крестницы, даже руку отшибла. Разучилась я тут бесстыдниц шлепать, а уж высечь и не мечтай. Для этого надо в часть посылать. Одно дело — доброй материнской рукой проучить, другое — своего человека к чужим на правеж послать. А ну-ко Михаил Юрьевич проведает, для него это как нож вострый. Не может он, чтобы человеческое достоинство страдало. Нешто достоинство в заднице помещается? Небось помнишь, как в Тарханах: попробуй кого на конюшню послать — сейчас затрясется весь, зубками заскрипит, побледнеет, того гляди родимчик хватит. Я тронуть никого не решалась, совсем разбаловались люди. А что поделат ь, знаю, что порчу дворню, а молчу. Слово наследника — закон. Да тебя-то это не касалось, ты ж мамка, тебя сроду никто пальцем не тронул.

Входит крестница Аграфены с подносом, уставленным чашками, кувшинчиками, вазочками, тарелочками со всевозможной сладкой снедь ю, ставит на столик перед старушкой и ускользает, опасливо покосившись на барыню.

(Намила Аграфене большую рюмку рома и себе плеснула немножко в серебряную чарочку.) Давай выпьем за нашего баловня! *(Пьет и по рускому обычаю опрокидывает пустую чарочку, мол, капли не оставила.)* Как я его в детстве баловала! Иной бы злодеем вырос. Ребенок — личинка человеческая, чем к нему добрее, тем он хуже. Забияки, охальники, разбойники из самых забалованных выходят. Родители трясутся над дитяtkом, как я над внучком, и он смекает в маленькой своей душе: я самый важный, самый главный, золотой и бриллиантовый и все по-моему должно быть. И выходит он в широкий мир, а жизнь под него не стелется ковром, у людей свои интересы, ему вперекор. И пошло чудить такое вот занеженное дитя, снлжком брать, что само не идет, куражиться и своевольничать. А Мишенька не такой. Он, правда, горяч, вспыльчив, но и отходчив, а уж добр, добрее не бывает. И чем человек проще, тем он к нему жалостливей. Мишеньку многие не понимают, думают, колючий, злой, нелюдимый, а он застенчивый. Он всю душу готов раскрыть, да ведь наплюют туда, нахаркают. Он это чувствует и замыкается. А кто его глубже знает, тот за Мишеньку в огонь и в воду. Что Раевский, что Монго Столыпин, что Алексей Лопухин, что Юрьев. И Мишенька за друзей жизнь отдаст. Он и с девушками умеет дружить — сама деликатность, сама сдержанность... Заговорила я тебя? А ты терпи и внимай. Сласти чаек, ромцу подливай, не жалеи. *(Вдруг, будто осердясь.)* Да, я одна говорю, а ваше рабье дело слушать, молчать и улыбаться. А вот коли случится то, чем Мишенька иной раз, гневаюсь на меня, грозит: вы наверх, а мы на дно, — ты будешь говорить, а я помалкиват ь да улыбаться. А про себя небось проклинат ь трепуху неумную. Молчи, знаю, что не проклинаешь. Ты верная Личарда, сама от вольной отказалась.

Входит слуга и протягивает Арсеньевой записку.

(Читает записку.) Еще бы не пришел! Гордым больно стал Ванька Джалакаев, его хор сейчас нарахват. Но помнит, душа цыганская, кто его графу Шереметеву рекомендовал. С Шереметева и начался его карьер. Ах, связи, связи — в Петербурге они важнее богатства, знатности, всех талантов. А чем-чем — связями господь бог не обидел. Можем мы кое-что в северной нашей Пальмире. *(Слуге.)* Ряженные явятся — доложи. Шампанское — охладить к пяти. И помельче лед для устриц накрошите. Раньше чем на стол подавать, не открывайте, а то вся свежесть пропадет. Тут гурманы такие соберутся! Сам-то Мишенька в еде не больно разборчив, хоть и напускает на себя вид знатока. Хорош знаток! Его раз булочками с опилками накормили, а он и не заметил. *(Слуге.)* Чего уставился, как флинн? Сказано — ступай!

Слуга уходит.

(Обращается к Аграфене, глядящей на нее с каким-то испуганным недоумением.) Обед я даю Мишеньке и его друзьям. Опять, понимаешь, у нас ссора вышла. Знаю, о чем думаешь, не то, не то! О Юрии Петровиче Лермонтове, как помер, больше речи не заходило. То ли простил мне Мишенька отца, то ли скрыл обиду на две души — не знаю. Хотя если подумать хорошенько, то и в нынешнем разладе мелькнула отцова тень, как это мне раньше в голову не, пришло? Но давай лучше по порядку, а то я все путаюсь. Беспokoйно мне чего-то. А вроде бы чего беспокоиться? Со стихами на смерть Пушкина обошлось, Мишенька мне мою дурость, об Александре Сергеевиче сказанную, простил, сам записку прислал, такую добрую, ласковую. И хоть я во всем виновата, он себя корит за несдержанность, грубость. Да какой он грубый, может, самый нежный человек на свете. Мало кто его настоящего знает. Друзья знают, Варенька Верещагина, Маша Лопухина и та голубоглазая девочка, в которую он еще мальчиком влюбился, знают. Боже мой, как смотрел на нее Миша своими черными глазами, как следил за каждым движением, а заговорить не решался. А она все понимала, девятилетняя женщина, уж так все понимала, и кокетничала с ним, и поощряла, и тут же напускала на себя презрительный вид, а он, лопушок бедный, не отважился с ней познакомиться, только вздыхал ужасно и руку к сердчику прижимал. Вот когда в нем душа пробудилась. Он после, уже взрослым, ей стихи посвятил. До чего ж памятный, как все в нем глубоко!.. О чем бишь я? *(Арсеньева явно думает о чем-то другом, мучительно-тревожном, и это пугает ее речи.)* Ах да, обед я даю в честь примирения со своим суровым внуком. Но ведь скучно ему вдвоем со старухой пировать — ни выпить, ни покуражиться, ни о скабресном потолковать. У гусар это принято. Я его с друзьями пригласила. Посажу с ними для порядка, винца английского легкого пригублю да и уйду к себе. А молодежь пусть развлекается. Хор цыган заказала, лучший в Петербурге, и знаешь, старая, чего я еще придумала? Не праздновали мы святки в нынешнем году, да и какие святки в Петербурге, а Мишенька больше всего этот праздник любил, особенно ряженных, их песни, пляски, все сумасбродство;

Он часто жаловался, что не было у него в детстве сказок, не было Арпы Родиноны, как у Пушкина, кумира его и бога, мол, плохо это для поэзии... Ты, чертовка, почему сказок для моего внука жале-ла? Ишь молчунья! Небось растеряла память, при барах обретаясь?.. А песни Миша слушал и сам певал и наигрывал, и на рожке, и на флейте, и на чем хочешь... Опять меня занесло... Да вот, надумала я в шальной моей голове ряженных пригласить. Пусть, когда господа охмелеют и от цыганских плачей устанут, ворвется шайка смазливых, пакостных рож и позабавит их песнями и всяким фокусничаньем. Вроде не ко времени, да у кого средства есть, тому в любой день святки. А мне надо Мишеньку развлечь. У него нервы вовсе испорчены. Разным я его видела: и когда за отца переживал, и когда в Московском университете неприятность вышла, и когда Катька Сушкова его мучила, но таким, как сейчас, не видела. Пуля, что Пушкина убила, и сквозь него прошла. Заболел он нервной горячкой, после все хотел Дантеса вызвать и отомстить за Александра Сергеевича. Но государь упрятал француза на гауптвахту. И слава богу, а то беспрременно бы Дантес и второго русского поэта уложил. И не потому, что наши стреляют плохо или отвагой не берут. Оба бесстрашные и стрелки отменные. Не могут они первыми в человека выстрелить, даже в злейшего врага. Вон Пушкин сколько раз дрался, а ни одной дуэли не выиграл, все в воздух палил. И Мишенька такой же. Им жаль чужую жизнь, а их кто пожалеет! Нельзя поэтам на дуэлях драться. Никого на свете Миша так не любил, никому не поклонялся, как Пушкину. Молился на него. А когда впервые в свете столкнулись, будто онемел и ничего своему идолу не сказал. Потом горько сожалел. Но как же обрадовался, когда ему передали, что Пушкин «Бородино» похвалил. «Далеко мальчик пойдет!» — доподлинные слова Александра Сергеевича. И Мишенька жил мечтой о новой встрече. И что Пушкин ему главное слово скажет. Не дождался. Дантесова пуля ту мечту убила. *(Утирает глаза. И, разозлившись на себя за слабость, говорит иным, деловым тоном.)* А кружевниц ты привезла?

Аграфена кивает.

(Звонит в колокольчик и приказывает явившемуся слуге.) Девонкружевниц приведи!.. Поди, забаловались там без хозяйки. Ну, я их приструню. Заставлю новые узоры плести.

Появляются кружевницы: Черные очи, Карие очи, Синие очи и Сероглазка. Приседа, здороваются с барыней, потом становятся рядом.

Слушайте, девки, мое наставление. Здесь вам не Тарханы, а столица. Народ охальный, хитрый. Наговорят, наобещают с три короба и последнее отберут. Держи ушки на макушке. И чтоб без шашней. Я этого не потерплю. Зарубите себе на носу. И к гостям Михаила Юрьевича на глаза не суйтесь. Гусары — сорвиголовы. А к самому баричу, коли по старой памяти в деловую заглянет, поласковой, потешней будьте. Песню спойте, он страсть деревенские напевы любит,

спляшите, авось ноги не отвалятся. И всякое его желание предупредайте, чтоб еще подумать не успел, ан уже сделано. Понятно?

Девушки, перемигиваясь и пересмеиваясь, дружно кивают.

Ладно, ступайте, негодницы! (*Слуге.*) Вели их китайским чаем напить, с вареньем и пряниками.

Девушки уходят.

И откуда такая статья? Трескают картошку, капусту, огурцы, а стройны, как нимфы. Хороша наша пензенская порода! Ну как, нахлебалась? Давай и за дело. Подсоби-ка!

Вдвоем они извлекают из шкапа туго набитый мешок.

Велела я к твоему приезду собачьей шерсти набрать. Свяжешь Мишеньке жилетку. Собачья шерсть самая, говорят, для тела полезная. И теплая, и мягкая, и целебная. Я все за его здоровье опасаюсь. Помнишь, какой он хворый был? И золотухой, бедный, мучился, и простуды бесконечные, и перхал, и легкими недужил. Болтали кумушки: не жилец. По правде, я и сама, грешным делом, думала, что он в мать свою покойную пошел. Уж я ли не тряслась над моей ненаглядной, а сгорела от злой чахотки в двадцать три года. Злой рок надо мной, Аграфена, все, кого люблю, рано уходят. Мужу и тридцати пяти не было, как он в одночасье помер. Знаю, пустили сплетню, будто яд принял, оттого что я любовницу его Мансыреву в дом не пустила. Враки! Я, правда, велела ей передать, что осрамлю перед всем обществом, коли на мой порог сунется. Спектакль у нас любительский был: «Гамлета» играли. Ну, Михаил Васильевич все выбежал на крыльцо пассию свою встретить. Не знал, что я нарочно выслала и тот ее в пути перехватил. Лютые крещенские морозы стояли, он потный весь, его и прохватило. К тому же переволновался, вина выпил и, как могильщика в пятом действии отыграл, прошел в гардеробную, тут ему карачун и приключился. А что там пузырек пустой нашли, так он, видать, капли сердечные принял. Какое еще самоубийство? Никем не доказано. Мы хоть и ссорились, а помнили о прежнем счастье, он меня, бывало, на руках носил, даром что я рослая, налюбоваться не мог. И если б тогда не помер, наладилась бы наша жизнь. Но все в руке божьей. И дочка судьбу мою повторила. Вышла по страстной любви, да, хорош был Юрий Петрович Лермонтов, ничего не скажешь, но ветреник. С крепостными девушками баловался, после наложницу завел, компаньонку жены Юльку Ивановну. Ее из тульского имения Арсеньевых прислали на исправление, она там юного моего родственника соблазнила. Месяца, может, не прошло, застала Машенька мужа в объятиях этой Юльки бесстыжей. Так вот она исправилась. У дочки не было моей силы, я все выдержу, зашатаюсь, упаду да опять на ножки встану, недаром меня Марфой Посадницей кличут. А та слабогрудая, деликатная, нежная натура. Стала хакнуть Юльку-то я из дома выгнала, да уж без пользы. Сжигала Машеньку чахотка. Редко-редко скользнет с

кровати тенью бледной к роялю, Мишеньку на колени посадит и играет слабыми своими пальчиками. А он двухлетний, вроде бы и душа не проснулась, а все понимает, слушает музыку, а по щекам слезы текут. Так они сидели и оба плакали. И ведь помнит он свою маму. Из этой памяти стих родился про ангела. Летит по небу ангел и несет на землю юную душу. Но душе этой на земле не прижиться, потому что помнит она о рае.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могла
Ей скучные песни земли.

Господи, ну можно ли поверить, что это семнадцатилетний мальчик написал? Это он о себе, о маминной музыке, которая стала для него воспоминанием о рае... Постой, старая, что с тобой? Ты плачешь? Неужто тебя так Мишины стихи тронули? Да может ли быть в подлomme сословии такая тонкость чувств? Слушай ты... Аграфена, хочешь вольную? Опять предлагаю. Чего головой качаешь?.. И верно, на что тебе вольная, все одно при мне останешься. Знаешь, твой племяш, каретник Андрон, просился в отхожий его отпустить. Разрешаю. Без оброка. Завтра старосте напишу. Ни-ни, не смей к ручке тянуться. Поклонись вежливо — и хватит... Опять я сблалась. Рада очень, что тебя вижу. Смутно мне, тревожно, всякие мысли роятся, а вылить душу некому. Мишенька вон рассердился и не заходит. А с тобой я люблю разговаривать. Ты умная. Я серьезно. Ты молчишь умно. А иной распустил язык, а дурак дураком, и сказать ему нечего. Вспомнила, о чем говорила. Бывает, заедешь на чужое поле и выбраться не можешь. Да не чужое оно, нет, мое, самое горькое поле. Как мог Мишенька, который все так сильно чувствует, простить отцу смерть своей матери, ангела, что ему о небе пела? И не только простить, а полюбить невесту за что. Он и не видал его почти, а как тянулся! Вот он, голос крови. И обижался за отца, страдал ужасно, что тот бедный и незнатный и родня его не уважает. Но я знала, в чем Мишенькина польза, и не отдала его отцу. Разве мог Юрий Петрович маленького, слабого, болезненного сыночка выходить? Мог ли воспитать его, сам в воспитании нуждающийся? Мог ли ему образование дать? Уж на что он вбаломшный был и упрямый, а и то понял, где Мише лучше будет. И смирился. Но чего мне это стоило! И у Мишеньки против меня в душе отложилось. Он сроду не признается, но меня не обманешь. Когда человек любит, такое всегда чувствует. Да пусть хоть проклинает меня, для его пользы я что хочешь вытерплю. И вот с Пушкиным тоже. Я сразу почувяла опасность. Неужто мне Пушкина не жалко, неужто я не понимаю, что он для России значит? Я через Мишеньку все про стихи узнала. Но, видя, как Мишенька переживает, стала говорить, что Пушкин сам виноват. Сел не в свои сани и вылезти из них не решился, вот и привезли они его прямешенько к гибели. «Не в свои сани не садись» — старая мудрость. Ведь и Мишенька изо всех сил к свету тянется, а не светский он человек, нет в нем ни доска, ни угодливости,

ни умения лавировать, прям и резок, доверчив и бесстрашен. Хорошо еще, просто пишки набьет, а если другой Дантес?..

И ведь ничего нового я ему не открыла. У него как в стихах: «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил ты в этот свет завистливый и душный...» Стало быть, знает и, как бабочка, сам на огонь летит. Вот что меня убивает. Не шаркун он паркетный, не красавец раздушенный, не богатырь, как Монго Столыпин, ничем для света не взял. Нужны им его ум, талант, острый язык! Мы уже знаем, как высший свет гениев ценит. Мишенька вроде и сам все понимает, смеется над своей внешностью, «чисто, говорит, армейской», горбачом Вадимом себя вывел, а в глубине души страдает и думает силой характера взять, блеском, славой. Да нешто светским красавицам ум нужен, им ус подавай. А у Мишеньки и усишки-то жиденькие. Им рост подавай, ногу стройную, а мал и кривоног наш бедняжка. О господи!.. Конечно, за Мишеньку любая пойдет, есть в нем для женщин обаяние, а главное — есть у бабушки поместье перестроенное, кое-что в сундуках, да и связи немалые, чего еще нынешней красавице надо? Да он о женитбе не помышляет. Ему бы блистать и покорять. Вот Пушкин доблистался. Правда, потом Александру Сергеевичу в великую тягость стали свет и двор, да поздно, сердешный, спохватился, там жертву так просто не отпускают. Изволь платить за гордость не по чину, за независимость, за шутки колкие, за презрение к выскочкам. Род-то Пушкиных хотя и старинный, а захудалый. Мишенька и тут с Александром Сергеевичем схож. Древо Лермонтовых скрыто в шотландских туманах, никто, кроме Мишеньки, не берет всерьез воспетого Вальтером Скоттом барда Лермонга. Сам же за худобу отца своего переживал, сам же хочет тягаться с Шереметевыми, Голицыными, Оболенскими или новой знатью, вроде Орловых, Разумовских, у тех грамота геральдическая хоть не пожелтела, да богатства несметные. Нет, надо Мишеньке держаться подальше от гостиных и блестящих залов. Вот я и думала примером Пушкина его утратить. И как же он разгневался! За отца родного так не гневался, как за Александра Сергеевича. Верить ли, мне даже показалось, что ударит. Конечно, никогда у него рука на бабушку не поднимется, но знаешь, Аграфена, можно ударить глазами.

Ни у кого я таких глаз не видела, как у Михаила Юрьевича. То блистят, горят, сверкают, то ночи черней, непрозрачные, тусклые, тяжелые, остановившиеся, как у мертвого. Но редко можно прочесть по его глазам, что он чувствует. С друзьями-гусарами у него глаза всегда веселые, улыбочивые, а это вовсе не значит, что ему весело. Это значит, что ему должно быть весело, и он заставляет себя — не веселиться, тут глаз не заблещет, — а чувствовать, что ему весело. Непонятно говорю? Мне и самой непонятно. Бродит бы, коль человек заставил себя чувствовать веселье, радость или горе, — значит, это чувство им владеет. А у Лермонтова не так. У него воля громадная. Он принуждает себя, и ему по всем статьям весело: улыбка на детских губах, эпиграммами так и сыплет, бокалы залпом осушает, первый заводила и дебошир, а на самом дне лютая печаль. Не знаю,

всегда ли так, во время холостяцких пирушек я его не видела, по думаю, что не ошибаюсь. Ведь гусары там, или товарищи детских игр, или студенты — разницы нету. А в обществе, особенно когда кругом молодые красивые женщины, взгляд у него вдруг станет свинцово-тяжелым, веки припухнут и моргать забудут, и кажется, будто он за тысячу верст отсюда. Иная дура-красавица осведомится: где вы, господин Лермонтов, никак стихи сочиняете? Он непременно колкостью ответит. А дело в том, что Мишенька весь в этом бале или в этой гостиной, ему до боли хочется привлечь к себе внимание, победить всех соперников, покорить всех женщин, а как?.. И вдруг станет легким, спокойно-насмешливым, это значит, все переварил внутри, сам себя высмеял и освободил душу. Но в тот раз, когда мы с ним из-за Пушкина сцепились, не требовалось особой пронизательности, чтоб прочесть Мишенькин взгляд. Такая в нем была боль, такая обида, такой гнев, нет, хуже, ненависть. Бабушка родная с врагами Пушкина столкнулась, с теми, кто его погубил. И уж мне не объяснить было, что плачу я над Пушкиным, ненавижу его убийц, не из-за него самого даже, а из-за Мишеньки. Они у меня в голове путаются, думаю о Пушкине — и вижу Мишеньку, о внуке душа заболит — вижу Пушкина на снегу распростертым. Кажется, поэт должен все понимать, нет, и поэт из своих пределов не выпагнет, все мы как магическим кругом обведены, и нет нам из него хода. Ведь я урожденная Столыпина, мой род процветает, а Пушкины и Лермонтовы в загоне, значит, я из той самой светской черни. И смех, и слезы!.. Может, мы бы еще нашли общий язык, да тут, как на грех, зашел Николай Столыпин, он в министерстве иностранных дел служит, у графа Нессельроде, злейшего врага Пушкина. И схватились кузены не на жизнь, а на смерть. Кончилось тем, что Миша велел ему немедленно убираться, а то он за себя не отвечает. Столыпин смутился, оробел: «Да он сумасшедший, его надо связать!» — погн в руки — и деру. Пока они спорили, Михаил Юрьевич что-то все на подоконнике черкал. После я на ковре лоскуток бумаги подобрала. Обрывок стихотворения. Начало — лучше некуда. «А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов». Это он в Николашу метил, да и во всех Столыпиных. Мой-то батюшка на винных откупках при Екатерине взошел. С графом Алексеем Орловым компанию водил. Михаил Юрьевич не только по моим родичам ударил, это бы подбеды, а по самым близким к трону людям. Ладно там Орловы, Разумовские, Шуваловы, у иных хоть заслуги перед Россией были, а всякие немцы, что трон окружают, они-то вовсе расщверещают.

Что он с этими стихами сделал? Бросил, порвал, а вдруг в свет пустил? Тогда помилуй нас бог... Но, вишь, время прошло, он мне записку ласковую прислал, обещал прийти, я обед затеяла, цыган позвала... Авось обойдется. А нет — что ж, мне не впервой сильным кланяться. Есть ход и к Бенкендорфу, и даже к великому князю Михаилу Павловичу. Он Лермонтова стихи ценит. (*Вдруг залилась смехом.*) В какие только истории я из-за Мишеньки не попадала! Помню, еще в юнкерах он жестокую простуду схватил. Мне донесли.

Я сразу в Петергоф, где полк его стоял. Являюсь к полковнику Гельмерсону: отпустите больного домой. Он выставился на меня: «А если ввук захворает во время войны?» — «Ты думаешь (я ведь ко всем на «ты»), что бабушка его отпустит, где пули летают?» — «Зачем же он тогда в военной службе?» — «Да это пока мир, батюшко! А ты что думал?» И забрала я Мишеньку. Сейчас вон, говорят, с гордами сраженне пачалось, самое время из военной службы уходить. Да попробуй уговори его! Значит, снова у нас споры и плачи пойдут, снова он на бабушку озлится. Ох, устала я, Аграфена. Чем старше Михаил Юрьевич, тем с ним труднее. Никогда не знаешь, что он выкинет. Может, зря я этот пир затеяла? Он еще по Александру Сергеевичу скорбит. Поди, разгневается на цыган и на хари мерзкие? *(Звонит в колокольчик.)*

Появляется торжественный камердинер Никита.

Никита, как цыгане явятся, отведи их в малые покои и винца им рейнского подай. И пока не позову, держи там. Понял? Ежели отменится, сейчас расчет сделаешь, как за полный вечер. А ряженных собери в людской. И тоже без моего приказа не пускай. Никак ввиду дверь хлопнула? Неужто Мишенька так поспешил? Ангельчик мой! Господи, а я и не одета. Аграфена, давай скорее платье, знаешь, бархатное с шитьем...

Снаружи слышится какой-то шум. Голоса. Никита выходит и почти сразу возвращается с конвертом в руке. Поклонившись, отдает барыне.

(В сильном волнении.) Господи, да что это? Неужто Мишенька передумал? Неужто не придет? Господи, пощади старуху. Отведи беду. Ох, как сердце колотится!

Аграфена капает из пузырька в стакан успокоительное, подает барыне, но так резко отводит ее руку.

Ну, Марфа Посадница, где же твоя смелость? *(Разрывает конверт.)* Ничего не вижу... дай очки, другие... *(Читает.)* «Сударыня, только из любви к поэзии господина Лермонтова, коего почитаю как нового Баркова...» Что это? Насмешка? Издевательство? *(Хочет порвать письмо, но удерживается.)* «...и чьи несравненные перлы: «Уланша» и «Петербургский госпиталь» наизусть знаю, взял я на себя скорбное и весьма опасное для меня поручение сообщить Вам о неприятности, постигшей вашего ввука». Боже мой! Это не в шутку. Это всерьез, хотя и дурак писал. «Ваш ввук находится под арестом и лишен связи с внешним миром...» Господи, не оставь! Ох, чуяло мое сердце!.. «Он взят под стражу за приписку к стихотворению «На смерть поэта» и распространение оной...» Что я говорила, Аграфена? Знала, всегда знала, что не пройдет даром эта дерзость! Только обманывала себя. Обедом обманывала, шампанским, устрицами, цыганами!.. «Допрошенный графом Клейнмихелем, господин Лермонтов во всем признался и сейчас ждет решения своей участи. Видать, пошлют его на Кавказ в армию тем же чином усмирять непокорных горцев...» *(Издает глухой стон и закрывает лицо руками. Пересилив*

себя, читает дальше.) «Прошу Вас, милостивая государыня, письмо мое тотчас уничтожить. Я человек маленький, а коли сведают, что г-ну Лермонтову услужил, полный мне фиаско выйдет...» Болтун! Фиаско ему выйдет. (Никите.) Кинь в печку. А фиаско-то нам вышел. Полней некуда. Чего я больше всего боялась, то и случилось. Горцев усмирять!.. Как бы они не усмирли — пулей или кинжалом. Господи, всеблагой, не дошли мои молитвы, не тронули тебя? И чем я тебя прогневила, старуха жалкая, что отнимаешь всех, кого люблю? Ничего ты мне не оставил. Один внучек был, и того — под пули черкесские!.. (Ударяет тебя кулаком в грудь.)

Аграфена подходит к ней, хочет усадить в кресло.

Отстань! Ступай в людскую: пусть всякое дело бросают и о благополучии раба божьего Михаила молятся. И чтоб поклоны клали истово. Кто шпшек на лбу не набьет, задницей поплатится.

Аграфена выходит.

Господи, сохрани его под пулями, а уж я сама добьюсь прощения. Довольно слез, надо сильной быть, настойчивой и цепкой, как репей. Вцеплюсь в горло моим сородичам и вельможным друзьям, я старуха, мне все позволено. Сяду — не слезу, пока не вернут мне внука!..

В дверь просовывается страшная харя.

Кто таков? Ну и образина! Из преисподней, что ль? А, ряженные! (Подходит к дверям и широко распахивает створки.) Давай сюда! Не робей!

Вваливается жуткая, как в бреду, ватага в вывороченных тулупах, в немалом тряпье, волосы всклокочены, у кого мукой присыпаны, у кого свекельным раствором крашены; щеки горят от боляги; накладные усы, бороды, приставные посы, рога. В руках — метлы, трезубцы, рогожные кули на палках.

А ну, ходи веселей, вшивая команда! Жги, не жалея сапог! Кружись, пляши, дери глотку! Всех вином напою! Никита, шампанского для дорогих гостей! А ну, наддай!..

Оробевшая поначалу, шатая загикала, засвистала, заблеяла, завзжала и пошла выкидывать коленца в чудовищной пляске-кривлянии вокруг Арсеньевой. И она сама притопывает, избоченясь. Понурив голову, глядит на барыню верхний Никита.

3

Тарханы — именные Арсеньевой. Светелка в барском доме, служащая Арсеньевой и малой гостиной, и комнатой для дневного отдыха. Мебель красного дерева; у окна рабочий столик, за которым прилежно трудится Аграфена; к стеклу прижалась щедро облиственная ветка клена. В углу божница; над диваном большой портрет императора Николая I.

Елизавета Алексеевна Арсеньева приметно изменилась за минувшие четыре года: голова совсем побелела, прибавилось морщин, в углах рта образовались две глубокие горькие складки. Но стан по-прежнему прям, движения сухи и четки, голос чист от старушечьего пришепетывания. Она все еще Марфа Посадница, хотя и побитая жизненными невзгодами и вечным страхом за единственного любимого.

Арсеньева. Растревожила меня графиня Ростопчина своими стихами. Уж лучше бы и не присылала. Лестно, ничего не скажешь, от доброй души написано. Она искренне Михаила Юрьевича любит, не просто любит, а преклоняется перед ним. Поэт поэта всегда поймет. Вынь-ка вату из ушей, послушай стихи.

Аграфена бросает на барыню укоризненный взгляд.

Ладно тебе! Слова нельзя сказать. Знаю, что лучше меня слышишь. Только стихи другим ухом слушают... Есть у тебя такое ухо, иначе б не стала читать. Экое самолюбие у старухи!

Но есть заступница родная,
С заслугою преклонных лет
Она ему конец всех бед
У неба выпросит, рыдая.

Ошиблась графиня: не доходят до неба мои молитвы, а до земли — просьбы. Глух стал ко мне господь, а того глуше — граф Бенкендорф. Что уж там Мишенька нашкольничал — не знаю, но озлился на него граф — хуже некуда. Неужто из-за машкерада? (*Хихикает.*) Знаешь, старая, что Мишенька отчуждился? Увидел двух дам в домино, взял их под руку и стал прохаживаться. А то были царственные особы. Они не могут себя выдать, а он, плут эдакий, делает вид, будто не узнал. Все так и обмерли, граф Бенкендорф от бешенства перчатки порвал, а что поделаешь — машкерад! С Мишенькиной стороны это, конечно, шалость непростительная, но с другой стороны: или сиди себе во дворце, или терпи, коли под маской пришла. Да уж больно они к славе своей ревнивы. Иные думают, что дуэль с заносчивым Барантом, сыном французского посланника, Мишеньку подвела. Нет, тогда великий князь его под защиту взял, мол, негоже русскому офицеру перед иноземцем тушеваться. А тут все Мишенькины покровители враз отвернулись. Михаил Павлович давно сердит был, для него воинский порядок и дисциплина на первом месте, а у ввучка то ворот мундира опущен, то эполеты не надеты, то сабелька не подвязана, то еще какое самовольство. Другие же Бенкендорфа страсть боятся, а он Мишеньке — первый враг. Он свое призвание в том видит, чтоб русских поэтов преследовать. Что делать? Одно остается: пасть в ноги государю. А ну-ка и он не снизойдет?.. Мишенька, когда о прошлый год в Тарханах гостил, признался, что ему на Кавказе долго не выдержать. Я, говорит, на выслугу надеялся, на прощенье, но чувствую, что все для меня закрыто. К Владимиру за храбрость представили — отказали, к золотой сабле — отказали, в чине не повышают. А нынче Монго Столыпин описал: решено и вовсе Мишеньку в деле не использовать. Храбрость его отчаянная всем известна, так, чтобы не отличился, пусть в сражениях не участвует. С одной стороны оно и лучше: горская пуля меткая, с другой — нешто только от чечни погибают? Выходит, его там как декабриста держат, даже хуже, тем выслуга не заказана. А надзор — и тайный, и явный — за Мишенькой ничуть не слабже. Да разве согласится он на такую жизнь? Он и раньше говорил, что

опротивела ему эта война. Но в боевой потехе он хоть забывался, а бездельничать возле войны — какой толк? Сорвется Мишенька, непременно сорвется. Раньше я люто сражений боялась, а сейчас не знаю, что для Мишеньки хуже — звон оружия или тишина. Плохо, плохо все обернулось, хуже некуда. Не ждали мы такого. Знаешь, в последний свой приезд в Петербург он самым модным человеком был. У него стихи вышли, роман. С ним все носились: и знаменитые писатели, и мыслящие люди, и первые светские дамы, прямо нахват мой голубчик шел. И радовался он, сердешный, порхал, как бабочка, доверчивый, бесстрашный и наивный... А ведь успех в свете — палка о двух концах. Прощают тем, кто знатен, влиятелен или сказочно богат. А коли ты личными достоинствами взял, сразу являешься завистники и хулители. Пошли клеветы и наветы, доносы по начальству. Кто на эпиграмму обиделся, кто жену — свою или чужую — приревновал, третьему что нож вострый — успех мальчишки-офицера, а еще вспомнили, что он в опале, в кавказской ссылке, а ведет себя в Петербурге, как светский лев, и ни перед кем не заискивает, не стелется. Пушкина припомнили со старой злобой. Одного, мол, сбыли, другой объявился. Собралась черная туча над Мишенькиной головой, и грянул гром. Прочь из столицы на Кавказ, в армию, но не в дело, а под надзор. Как жизнь переменялась, Аграфена! Помнишь, когда Мишеньку за стихи арестовали и еще юнкер-дурак письмо прислал? Достало у меня сил Мишенькину участь смягчить. И позже, когда с Барантом дрался. Дрался!.. Барант ему бок и руку шпагой проткнул, после пульей убить хотел, а Мишенька в воздух выстрелил. Видать, Баранту Дантесовой славы захотелось. Но ему ничего не было, а вся кара на Мишеньку пала. Опять немилость, опять ссылка. Кабы не великий князь, могли и в солдаты упечь, с лишением дворянства и всех прав состояния. Вот тогда же я поняла, как Мишеньку ненавидят — двор, власти, вся светская чернь. Ох, худо, ох, страшно!.. И чего я здесь сижу? Чего жду! Под лежач камень вода не течет. Надо в Петербург ехать, Мишеньку спасать. Неужто государь не склонит слух к просьбе старой дворянки? Я ведь не только Арсеньева, я Столыпина, наш род всегда опорой трона был. Мы верно царю служили, с первыми вельможами водились, от нас не отмахнешься!.. *(Подходит к икоте, тяжело опускается на колени.)* Господи, всеблагой, умилостави государя!.. Господи, защити и помилуй внука моего единственного!.. Никого ты мне больше не оставил, господи!..

Аграфена тоже молится.

(Поднявшись.) Ну, хватит богу надоедать, а то еще разгневется. Слушай, Аграфена, бог меня сейчас надоумил, вроде как видение наслал, а не женить ли Михаила Юрьевича? Найти ему невесту, знатную и со связями, чтобы родня перед государем заступилась. Михаил Юрьевич не безродный, не нищий, он в славе и собой молодец. Чем не жених? Пора ему остепениться. Он о журнале думает, о серьезном литературном труде. В гусарской компании не больно потрудишься: пиры, развлечения, романы, шалости, а потом сожалее-

ния о пропавшем без толку времени, грусть и нежелание жить. А тут — жена-красавица, добрая и умная, детишки. Михаил Юрьевич страсть детей любит. Он дочери Вареньки Лопухиной, своей любви единственной, чудные-пречудные стихи посвятил!.. Ах, господи, неужто возможно такое счастье — увидеть Мишеньку желатым, спокойным, занятым серьезными думами и трудами? И чтоб забылись, как дурной сон, Кавказ, черкесы, армейская служба и пустое молодечество, недоброхотство начальства и вечный топор над головой. Господи, нешто я о чем дерзком мечтаю? Все люди так живут, а для Мишеньки это недостижимое счастье. Только вот хочет ли он такого счастья? «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»

Со двора доносится тихая песня — лермонтовская колыбельная, которую поет простым голосом крестьянская женщина над своим ребенком.

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.

(Прислушивается. Подходит к окну, выглядывает наружу.)

Стапу сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю...

Слышишь?.. Чужая баба поет, не тарханская и не михайловская. А спроси, откуда песня, скажет, народ сочинил. Вот так-то! Я из-за Михаила Юрьевича многое понимать стала, о чем раньше и не думала. Стихи, признаться, в грош не ставила, так, забава, пустяк. Ну, песня хорошая — другое дело, да там напев главное. А теперь знаю: в стихах страшная сила. В них такое выразить можно, что простой речью нипочем не скажешь. «Демон» — какая силища, а начни пересказывать — не демон, а домашний черт получится, каким девок пугают. Я понимаю теперь, почему Мишенька все в людскую шастал и в девичью, когда еще не знал, для чего девки нужны. И почему любил с деревенскими ребятами возиться, в войну играть, а после кулачные бои устраивать. Из этой потехи «Песнь о купце Калашникове» родилась. Поэт у народа речь берет, а после народу же возвращает. Только лучше, чище, красивей. Странное дело, Аграфена, вроде бы я Мишеньку воспитывала, я его под арсеньевский, под столыпинский уклад ломала, а сейчас мне кажется, что он меня обломал. Нет, «обломал» плохое слово. Я не обломанное дерево, я еще ветвистей стала. Я и раньше не такой была, какой меня представляли. Родня думает, что во мне рано все женское угасло. Нет, дело прошлое, и я тебе признаюсь. Это уже после смерти мужа неверного было — полюбила я дворового человека Ивана Яковлева. Он на Лушке красивой хотел жениться, а я не позволила. Помнишь, он меня в церковь на шарабане возил? Я тогда лошадей боялась, и Яковлев сам впрягался, заместо жеребца, и духом к церкви доставлял. Но

почти всегда оземь грохал. Он нарочно чеку вынимал, и колесо отваливалось. Всех удивляло, что я его не наказывала и даже не ругала. Другому кому сразу б велела полголовы обрить, а этому все с рук сходило. Жалко мстил мне бедняга, что с Лужкой разлучила. А когда дочка преставилась и Мишенька на руках моих остался, вся страсть на него перешла, и Яковлев из шарабана выпрягся. Истинно, страсть, какую я и к мужу моему не испытывала, хоть влюблена была без памяти, и к черту глазастому Ваньке Яковлеву, которому жизнь разбила. Я за Мишеньку всю кровь из себя по капле отдам, на костер взойду. Я страшной жизнью живу, но до краев полной. Нет на свете никого несчастнее меня, нет, наверное, и никого счастливей. Любая весточка от него — счастье, стихотворение новое — бал души, облачко над его головой — мне буря. Во всем я оббрана: в женской доле, в детях, а могу сказать о себе, что жила, а не тлела. И я свою судьбу ни на какую другую не променяю. Будь Мишенька просто молодым человеком, каких тринадцать на дюжину, я все равно б любила его без памяти, но разве может мое сердце не цвести, когда его гением называют? Вот вам и золотушный, вот вам и сутулый, вот вам и кривоногий. Монго Столыпин — красавец писанный, а если его и вспомнят, так только потому, что в Мишенькиных друзьях ходил. Ладно, раскудахталась! Лучше о деле думать. Женитьба, конечно, выход, только вряд ли кто за опального дочь отдаст. Нет сейчас таких людей. Робкий век, рабы души. Нет, как ни крути, а надо прощение вымолить. А потом уже о невестах думать. Надо, чтобы он в Петербург вернулся, в отставку вышел, журнал завел, доказал властям, что уж не мальчик, а степенный муж, и тогда... Скажи, Аграфена, только честно: видишь ли ты Михаила Юрьевича угомонившимся, солидным в речах и поступках? Я, по правде говоря, не вижу. Он сейчас школьничает почище, чем в юнкерском училище, только поэм скабрёзных не сочиняет. И чем ему грустнее, безысходнее, тем больше проказничает. Не хочет, чтоб люди знали, что у него внутри. Никому он не позволяет в себя заглядывать, даже мне. Но я-то и без позволения все вижу. За тысячу верст вижу. И знаю, что надо мне в Петербург поспешать. И так сколько времени потеряно. Бог не оставит меня. Государь суров, строг, но небезжалостен. *(Звонит в колокольчик.)*

Входит камердинер Никита.

Никита, вели возок готовить. В Петербург еду. Со мной — Аграфена, слуга Василий, кучером Никодим. А ты соберись не спеша, с толком, как следует, и за мной следом. Я тебе подробную инструкцию оставляю. Ступай!

Никита выходит.

Нахвасталась я тебе, что полная моя жизнь. Слишком полная. Устала я. Душа во мне устала. Сердце устало. Косточки устали. Мне ж под семьдесят, а Мишенька меня гоняет, как девку молодую. То в Петербург, то в Тарханы, то назад в Петербург. А я ведь по-старому лошадей боюсь. Мне б полежать, отдохнуть, понежиться, нет, только

п знаешь, что из очередной беды его вызволять. Пиши этому, пиши другому, ищи встречи с третьим. Клянчи, моли, грози, плачь, заслуги предков поминай, свою старость и немощь. Нельзя ж так! Дай мне хоть немножко покоя, внучек, ослабь хомут, отпусти вожжи, устала лошадка, ох как устала старая кляча! Мне давно на живодерню пора, а я все везу, везу, с горы на гору, ноги сбиты, холка в крови, спина изъедена... *(Вытирает слезы.)* А иной раз закроешь глаза, размечтаешься: послал господь чудо, и все само устроилось. Не знаю уж как, да ведь бог все может, коли захочет. Вдохнет добро в грудь Мишенькиных врагов, и отпустят они ему его бедные вины. И явится он — загорелый, возмужавший, спокойный, радостный...

С улицы слышится колокольчик.

Господи! Аж сердце екнуло. Кого это припесло?.. Не хочу никого видеть. Пойди глянь...

Входит слуга и протягивает Арсеньевой конверт.

Письмо? Откуда?.. Поддай очки! Что-то страшно мне стало. *(Дрожащими руками надевает очки.)* Мишенькина рука. Слава те, господи! И чего я, дура, так перепугалась? *(Разрывает конверт.)* «Дорогая бабушка, пишу Вам с того света. Когда Вы получите это письмо, меня уже не будет в живых...» Что это с ним? Кахетинского, что ли, перебрал? Нешто можно так шутить?.. «Завтра у меня дуэль с Мартыновым, Мартышкой, черкесом с большим кинжалом. Сам виноват; не шути с дураком, нарвался на вызов. Стрелять я в него не стану, а он выстрелит и не промахнется. Я понял по его злобному взгляду. Письмо это перед самой дуэлью передам Монго...» Свят, свят!.. Нет, не буду дальше читать. Не для меня такие шутки... Да тут еще записка вложена. От Монго, узнаю его лапу. *(Читает.)* «Я подлец — недоглядел Мишеля. Он убит на дуэли...» *(Стоит недвижно.)*

Аграфена кидается к ней, хочет поддержать.

Поди прочь! Я — Столыпина. Нас с ног не собьешь. *(Падает как подкошенная.)*

4

Та же комната через несколько часов. Арсеньева лежит на кушетке, укрытая пледом. Но вот она зашевелилась, открыла глаза, попыталась встать, но слабость повергла ее назад.

Арсеньева *(чуть слышно)*. Помоги встать-то...

Аграфена приходит на помощь своей барыне. С Арсеньевой произошла разительная перемена, она превратилась в дряхлую старуху. Исчезла осанка, согнулась спина, обвисло, почернело лицо. С белыми волосами, в длинной белой рубахе, она похожа на привидение. Аграфена накидывает ей на плечи халат.

(Далеким голосом.) Какой сон страшный мне приснился: Мишенька под горой лежит, а над ним ворон кружит. К чему бы это? К болезни или... Постой, ты плачешь?.. *(Сжимает голову руками.)* Значит,

это правда? И не приснилось?.. (Потерянно.) А как же я живу еще?.. Разве я имею право жить? (Подходит к киоту.) Ответь, господи! Что ты все молчишь? (Зажегшимися темными глазами глядит в равнодушное лицо бога.) Открой свой замысел. Забрал молодого мужа, дочь чахоткой спалил, внука злодею под ноги швырнул. Зачем ты отнял у земли Лермонтова, господи, лучшее твоё создание, твой самый драгоценный дар людям? Неужто ты так скуп, боже? Дал и сразу забрал. Ты не меня одну, ты всю Россию осиротил, отнял ее звонкий голос. Зачем ты так мучаешь детей своих? Или сам не ведаешь, что творишь?.. И ты, заступница, где милость твоя? Я ли не молила, ты-то ведь знаешь, каково сына терять! Может, слаба стала? Что же тогда сыну или мужу своему словечка не замолвила?.. Я богохульствую?.. Ладно, пусть хоть раз услышат правду цари небесные. А кто там истинно царь, поди разберись. Небось не бородатый старик и не сын его, а тот, о ком Мишенька поэму сочинил. Нету у меня больше бога, умер мой бог!.. Аграфена, помоги снять образ-то. Пусть его в каменную церковь отнесут. Мне он не помог, может, кому другому поможет.

В божище остается четырехугольная пустота на месте святого образа.

Письмо... письмо Мишенькино где?..

Аграфена подает ей письмо.

Никто с того света писем не получал, а мне пришло. Никому его не дам, в могилу со мной ляжет. (Читает.) «Милая бабушка, не убивайтесь слишком по мне. Жалеть можно того, кто цепляется за жизнь, а я не цепляюсь. С меня хватит. Хватит злобы, клевет, преследований, тупой жестокости одних, рабьего смирения других, хватит отечественной духоты. Я уже не хочу ни славы, ни Петербурга, ни новых испытаний страстями. Я все узнал, прожил не одну, а несколько жизней, с меня довольно. Теперь я всегда буду с Вами, милая бабушка, больше не надо за меня бояться, просить, умолять, хлопотать, со мной уж ничего плохого не случится. И ни в чем, ни в чем себя не упрекайте. Вы сделали для моего счастья больше, чем это в силах смертного человека. Но что поделаешь, если у Вас такой нелепый внук. Простите меня, милая, родная моя, любимая, последняя мысль будет...» (Голос Арсеньевой пресекается.) Что это? Ничкак ослепла?..

Аграфена подходит и приподымает ей веки. Она отталкивает руки старушки и сама держит дряблую кожу.

Веки от слез ослабели. А хоть бы и не видеть... Не видеть, не слышать, не говорить — ничего не надо. Уйти бы скорее. Уйти, а убийцу Миши жить оставить? (Она встает, и что-то от бывшей стати появляется в ее согбенной фигуре.) Как же так вышло, что никто за Мишу не заступился? Ведь это ж не дуэль, а убийство. И Монго Столыпин хорош! Еще рыцаря из себя корчит. Как же он допустил?.. Ну, ладно — дворянская честь... Хотя какая честь в такой дуэли? Он же видел, что Мишенька не хочет стрелять, значит, это убий-

ство. Почему не пристрелил он Мартынова, как бешеную собаку? Не при-вя-то!.. Так вызови его за друга! Вызови и убей. Там же еще секунда ты были. Никто, поди, и не пикнул. Трусые они, что ли, или дураки отпетые? Михаил Юрьевич за Пушкина сразу вступился и кинулся Дантеса искать. А Мартынова и искать нечего было, стоял перед ними, обгаренный кровью. Ничтожные друзья, ничтожные души! Мишенька всех насквозь видел и жалел в их ничтожестве. Великан среди карликов. Даже убийцу своего жалел. Но я-то не жалею. Раз нет мужчины, чтобы отомстить, я сама негодяя вызову. Дрались я раньше женщины на дуэли. Я русская дворянка, хорошего рода, обязан Мартыш проклятый мой вызов принять. Не примет — оскорблю публично, в рожу наплюю. Все равно, откажется от поединка — так прикончу. Он же стрелял в беззащитного. *(Снимает со стены старый дуэльный пистолет, держит его двумя руками, пытается поднять, но «кухенрейтер», чуть ли не екатерининских времен, тяжел ее слабым рукам.)* Небось как увидит дуло пистолета, сам за другой схватится. Такой за шкуру свою и старуху застрелит. Только я ему не дам, я его раньше расшибу. *(Пытается взвести курок и роняет пистолет.)*

На шум поспешно входит камердинер Никита.

Чего уставился? Подними. Не по руке мне он. А ведь молода была, стреливала из пистолета мужу на потеху. Да еще как метко стреливала. Не драться мне с Мартыновым. Ну, подыму я пистолет, а прицелиться все равно не смогу. Не увижу злодея. Кто же отомстит за Мишенькину смерть? Монго?.. Кабы хотел, сам бы догадался. Видать, за карьеру опасается. С дуэлянтов строго спрашивают. Значит, и с Мартынова спросят? А он и так в отставке. В деревню сошлют. Велика кара! В поместье своем будет сидеть, вином и яствами тешился, девок щупать и горюшка не зная. А потом его простят, появятся в свете, будет интересничать, как же — второй Дантес! Ему небось многие руку пожмут. Потом женится, волчья сыть. Детей-мартышек наплодит. А лермонтовское древо под корень срублено. Неужто это ничтожество, ноль на вожжах будет жить да еще похваляться своей отвагой? Вся кровь свертывается, как подумаешь!.. *(Взгляд ее падает на портрет императора Николая I.)* Вот кто за Михаила Юрьевича отомстит! *(Подходит к портрету.)* Отмщенье, государь, отмщенье! Покарай злодея, великий государь. Столыпны верой и правдой престолу служили и бились за царя и отечество, живота своего не жалея. Покарай убийцу, государь. Слава русская — твоя слава. Худо, что на твоей мантии кровь лучших поэтов русских. Сотри ее. Бог с ними, со Столыпными. Вся их служба одной лермонтовской песни не стоит... Я знаю, ты гневался на Лермонтова, да не по злобе он шалил, от избытка молодых сил. Двадцать шесть, всего двадцать шесть лет ему было, разве можно с него так строго спрашивать? Он лишь становился мужем и не стал... Накажи Мартынова, государь, лиши его жизни, или в рудники сошли, или в солдаты без выслуги. Ты умеешь карать, государь. Я еду к тебе за справедливостью. *(Камердинеру.)* Вели запрятать. Сегодня выедем!

Никита (*с возрастающим волнением слушает страстную мольбу своей барыни, его благообразное кроткое лицо натекло темной кровью*). Нет!.. Нет!.. Никуда ты, матушка, не поедешь!

Арсеньева (*потрясенно*). Ты что?.. Ты заговорил, когда тебя не спрашивали? Да еще прекословить вздумал?..

Никита. Сто лет молчал, а сейчас скажу. И что хочешь со мной делай. (*По лицу его текут слезы.*) Нечего тебе в столице делать. Михаила Юрьевича пулей убили, а тебя стыдом убьют. Не хотел показывать... Но коли так... читай! (*Протягивает ей письмо.*)

Арсеньева (*растерянно*). От племянника твоего?.. Помню! Мишенька ему протезировал. Вольную выпросил. В университет до-слал. (*Читает.*) «...когда же царю донесли о гибели Михаила Юрьевича, он сказал: «Собаке собачья смерть»... Как ты посмел, холопья душа? Да я с тебя живьем шкуру спущу. Аграфена, кликни конюхов!

Никита. Не надо. Сам пойду.

Арсеньева. Нет, стой!.. Постой, Никита... Ты любил Мишу, племянник твой любил. Не мог он зря написать. Да и кто осмелится клеветать на государя? Значит, ведомы эти слова в Петербурге... Боже мой!.. Царь это о Лермонтове сказал, об убитом. О поэте великом. Экая злота низкая!.. Теперь все понятно. Знал Мартынов, кому его выстрел угоден. Будто повязка спала. Вольно же тебе, царь Николай Романов, без капли романовской крови, так с подданными своими обращаться, но уж не взыщи, что и мы с тобой по-свойски обойдемся! (*Подходит к портрету царя и с неожиданной в ее старом теле силой срывает со стены.*) Я тебе больше не подданная. И весь род наш убийце коронованному не служит... (*Растерянно.*) Какой род? Арсеневых? Да кто они мне и кто я им? Столыпина? Если уж ближайший друг и родич предал... Да и какая я Столыпина? Я — Лермонтова! Спасибо, внучек, за подарок твой посмертный, дал ты мне истинное имя. С тем и останусь навсегда при тебе — последняя Лермонтова. Развязались все узы, нет у меня ни царя небесного, ни царя земного. (*Никите.*) Собирайся в Пятигорск за телом Михаила Юрьевича. Останки его фамильный склеп примет, а душу — Россия...

5

Тот же архивный подвал, что в прологе. Архивариус на своем обычном месте. Входит Дубельт. Следом за ним два жандарма вносят толстые папки, кладут на стол и удаляются.

Архивариус вскакивает и угодливо кланяется.

Дубельт (*приветливо*). Здравствуйте, почтенный Павел Николаевич. Садитесь, садитесь!.. (*Разглядывает его с легким неудовольствием.*) Вы что-то осмелели, не икаете, не дрожите... Ну вот, дело Пушкина окончательно завершено. Самое длинное дело в нашей практике. Собственно, теперь это как бы два дела в одном — Пушкина и Лермонтова. Тем больше пищи для любознательного ума. Государственная телега скрипит, но катится.

Архивариус подсовывает Дубельту какие-то листки.

Фи, какая безвкусица!.. Черная рамка, траурный шрифт... Можно подумать, умер сановник или генерал. А всего лишь из списков Тенгинского полка вычеркнули ссыльного офицера. Господа литераторы ни в чем не знают меры. К тому же общеизвестно отношение государя... Это дерзкий вызов.

Архивариус, тихонько похихкивая, кладет перед ним другую писанину.

А, знакомые инициалы! Чахоточный господишчик возводит Лермонтова в гении? И что это за намеки?.. Совсем распустились! Печальные примеры ничему не учат. Придется уделить особое внимание этому борзописцу. *(С досадой.)* Так мы никогда не закроем проклятого дела!

Архивариус *(сильным голосом)*. Всех не перебреешь.

Дубельт *(погрязенно)*. Что-о? Вы что-то сказали?

Архивариус *(громче)*. Всех не перебреешь!

Дубельт. Архивная сырость разъела вам мозги, уважаемый.

Архивариус. Никак нет! Парикмахер у нас бритвой зарезался. И записку оставил: «Всех не перебреешь».

Дубельт с ужасом смотрит на развеселившуюся «архивную крысу».



ОДИН НА ОДИН

В этой повести я изменил своему правилу — называть персонажей их подлинными именами. Конечно, мало-мальски сведущий читатель без труда узнает участников рассказанной здесь истории, но пусть сам поставит настоящие имена. За исключением главного героя, приговорившего себя к смерти, все остальные — живы, и мне представилось, что в данном случае удобнее прибегнуть к псевдонимам (примечание автора).

Кордова, жемчужина Андалузии, знала многих великих людей — и отважного исторического действия, и дерзкой, опережающей время мысли, и парящей духовности. На уютных, красивых площадях старинного, затканного цветами города высятся бронзовые и каменные герои, мыслители, поэты: Сид-Кампеадор, Аверроэс, Маймонид, Лукан, Сенека, де Ривас. Но самый большой памятник, занимающий чуть ли не всю площадь перед церковью Санта Мариа де Агуас Сантас, посвящен человеку, который никогда не напрягал мысль ради познания тайн вселенной, не славил божий мир ни стихами, ни прозой, ни кистью, ни резцом, ни звуками музыки, ничего не открыл, не построил, не завоевал, не оборонил, но пока был жив, заставлял сердца испанцев биться сильнее, а кровь быстрее бежать по жилам, был праздником своей страны, ее счастьем, и болью, и величайшей гордостью сограждан — что Аверроэс, Лукан и Сенека перед лучшим матадором всех времен Манолете, уроженцем Кордовы!

Его небольшую, стройную фигурку в тесном костюме матадора не сразу обнаруживаешь в огромном и перегруженном монументе. Впереди двое сильных юношей держат за холку горячих, вздыбившихся коней, сзади голые бескрылые ангелочки разглядывают массивную голову быка с огромными острыми рогами. Кони и обуздавшие их юноши, бескрылые ангелочки и подножие изваяны из светлого камня, фигура матадора, держащего перед собой мулету, отлита из бронзы, постамент сложен из необработанных плит песчаника. Скульптор точно передал позу матадора, спокойно и уверенно поджидающего быка, но ничего не сказал о лице Манолете — оно бесхарактерно, лишено индивидуальных черт; это от бездарности ваятеля: у всех больших матадоров лица выразительны, безликим не тягаться со смертью. Но испанцы этого не замечают, они заполняют пустоту своей любовью, своей не утихающей с годами болью утраты — небольшой бронзовый человек кажется им прекрасным.

Этот памятник построен на деньги, собранные среди жителей города и провинции Кордовы.

Манолете был в зените славы, когда его вовлек в смертельное соперничество — мано а мано — юный, безрассудно смелый матадор Луис Мигель Домингин. Мано а мано (один на один) случается раз в поколение, это схватка не на жизнь, а на смерть за право считаться первым матадором мира. Обычно в корриде участвуют три матадора и шесть быков, а в мано а мано два матадора убивают быков поочередно. Вот что пишет об этом Эрнест Хемингуэй, большой знаток корриды: «Бой быков без соперничества ничего не стоит. Но такое соперничество смертельно, когда оно происходит между двумя великими матадорами. Ведь если один из боя в бой делает то, чего никто, кроме него, сделать не может, и это не трюк, но опаснейшая игра, возможная лишь благодаря железным нервам, выдержке, смелости и искусству, а другой будет пытаться сравняться с ним или даже превзойти его, тогда стоит нервам соперника сдать хоть на миг, и такая попытка окончится тяжелым ранением или смертью».

Случилось то, что должно было случиться: опыт и мастерство не смогли противостоять напору беспощадной молодости. Манолете был слишком гордым человеком, чтобы уступить, и принял смерть от рогов быка. Вся Испания оплакала гибель своего бога Манолете, и вся Испания признала его победителя Домингина. Но все же он не стал богом, ибо бог един, пребывает ли он на земле или на небе. Домингин стал королем корриды, получил неслыханную ставку Манолете, усвоил его трюки, вызывавшие особый восторг у публики, а затем и уловки, обеспечивавшие сравнительную безопасность. Но память о Манолете осталась священной для испанцев. Когда Хемингуэй в книге «Опасное лето» позволил себе критически отозваться о покойном, испанцы предали анафеме любимого прежде автора. Они простили и возвеличили Домингина, уничтожившего жизнь Манолете, но не простили писателя, бросившего тень на репутацию их кумира. К тому же Домингин был испанцем, и сделанное им служило вящей славе родины корриды, а Хемингуэй — чужеземцем...

1

Лишь когда позади остался таможенный досмотр и все шестнадцать переворошенных таможенником чемоданов благополучно легли на тележки слабогрудых носильщиков, Эдвард Клифтон поверил, что Испания будет. Он не верил этому, когда они летели со своего острова в Нью-Йорк, когда перебирались из аэропорта в гавань и садились на пароход «Конституция», когда пересекали океан в компании веселых и общительных пассажиров, когда ранним розовым утром входили в уютный порт Малаги, когда, невыспавшиеся и немного одурелые, брели по сходням, а потом по влажному после поливки асфальту к морскому вокзалу, где предстоял паспортный контроль (чиновник едва глянул на их паспорта — американцы ездят в Испанию без виз), когда ждали свои чемоданы и сдергивали их с конвейерной ленты, пахшей теплой резиной, ставили на металличе-

ческий прилавок перед маленьким желчным таможенником, неуважительно и ловко щелкавшим замками и погружавшим смуглые волосатые руки в теплый порядок хорошо и плотно уложенных вещей, — он все еще не верил, что снова увидит Испанию. Он подумал, что прав в своих опасениях, когда оказалось, что надо зарегистрировать ружья, но это не заняло много времени.

А ведь то был уже третий его приезд в Испанию после войны. Но когда он поехал в первый раз, имея серьезные и веские основания для тревоги, то был совершенно спокоен. Нет, он, конечно, волновался, да еще как, у него кровь носом пошла, когда он ступил на испанскую землю, но не из-за встречи с франкистскими властями, а из-за встречи со страной, которую любил больше всего на свете после своей родины. Что же касается властей, то его друзья, конечно, прошупали почву. Все-таки мало кто из писателей, даже дравшихся на стороне республиканцев, так часто и ожесточенно нападал на Франко, как Клифтон, а каудильо ко всем остальным милым чертам своего характера был на редкость мстителен. Но франкистские власти дали понять: если не будет лезть в политику и болтать лишнее, пусть едет. Зеленые американские доллары значили для испанского правительства больше, чем розовый или красный цвет убежденный заокеанского пришельца.

Но было и еще одно в той легкости, с какой решился вопрос о его первом приезде, который он про себя называл возвращением. Он это понял уже в Испании, пораженный странным безразличием испанских чиновников. Он ездил на машине во Францию и обратно через Пиренеи, потом в Гибралтар, и хоть бы раз задержался на нем с вниманием взор властей предержавших. Медлительная по природе и привычке, запуганная не любящим шутить режимом, испанская администрация никак не отличалась снисходительностью, быстротой решений, изяществом исполнения. Ее неотъемлемые качества — нерасторопность, тугодумие, подозрительность (в каждом — и не без основания — видят противника режима каудильо); испанский чиновник каждую бумажку на свет посмотрит, понюхает, потрет да и отложит в сторону, занявшись чем-нибудь другим, при этом он будет исподтишка, остро и как-то жалко поглядывать на вас: может, вы отказались от своего тайного и опасного намерения. Ведь бумажка, не запечатленная им, — единственное препятствие вашему губительному умыслу. А как только он стукнет резиновой печатью, предварительно согрев ее скисшим от страха дыханием, зашатаются и рухнут старые стены Эскуриала — резиденции свергнутых королей и утвердившегося на их месте каудильо. Но генералиссимус уцелеет, вывернется из этой напасти, как выворачивался всю жизнь, а от маленькой чиновничьей мухи и пятнышка не останется. Поэтому бдительность и еще раз бдительность. И стало быть, волокита.

Тем более странно, что Клифтону, чьи книги были запрещены в Испании, открыли зеленую улицу. Чуть глянут в бумаги — и распахиваются двери, щелкает турникет, подымается шлагбаум. Несомненно, о его приезде сообщили каудильо, и тот снизошел до мести пре небрежением писателю, столько раз предрекавшему ему скорое и по-

зорное падение. Но он не пал, даже не пошатнулся вопреки всем пророчествам, он единолично правил Испанией уже полтора десятка лет и будет править ей до самой смерти, а там царственным жестом завещает страну принцу Хуану Карлосу, законному наследнику последнего короля. Пока этот писака разорялся на бумаге в своей Америке — так или примерно так должен был думать, по мнению Клифтона, каудильо, — он протасил Испанию сквозь вторую мировую войну, откупившись от своих требовательных и настырных друзей, водворивших его в Эскуриал, одной, якобы добровольческой, «Голубой дивизией», избежал расплаты за поражение свастики и знай себе катил дальше, с каждым годом укрепляя свое положение, неторопливо и уверенно вылавливая рыбу в мутнейших водах современной политики. Как это ни грустно, Франко нечего бояться, ничто не может пошатнуть его положения. Ему страшно лишь то, что страшно любому диктатору, — пуля или кинжал фанатика. Но и от этого он надежно защищен. А на пустомелю-писателишку он плевать хотел. Пусть приезжает в Испанию, без которой жить не может, дышит ее воздухом, обливается потом на тесных улицах неистовствующей Памплоны и на переполненных трибунах цирка, пусть пьет, жрет и разлагается под равнодушным взглядом темных глаз генералиссимуса, глядящих отовсюду, комар, раздутое ничто в кровавых играх века! — заходясь и пьянея от бешенства, поносил себя от лица каудильо Эдвард Клифтон.

Да, в тот, первый вояж он пустился с незатуманенным челом. Он и вообще не задумывался тогда над последствиями своих поступков. Надо сделать, а там видно будет. Сейчас он так не мог. Возраст делает человека осмотрительнее и... беспокойнее. Неверно, будто годы песут умиротворение: Клифтону во всяком случае жить стало неизмеримо тревожнее и труднее. Он был убежден в справедливости всех своих беспокойств, терзавших его с самого отъезда.

Впервые взял он с собой так много чемоданов. Ему хотелось быть полностью экипированным на все случаи жизни и не тратить денег в поездке ни на что, кроме еды, питья, жилья и развлечений. Он взял с собой всю охоту и всю рыбалку: ружья для себя и жены, оптические прицелы, патронташи, набитые патронами, ягдташи, щелочь и масло для чистки стволов, комбинезоны с теплой подстежкой и болотные сапоги, палатку и надувную лодку, складные удочки, спянинги, подсачники, брезентовые ведерки, наборы блесен, крючков, поплавок, грузил, искусственных мух и червей, он взял с собой восемь костюмов, включая смокинг, который приобрел для банкета в честь вручения ему Нобелевской премии, но в последний момент раздумал ехать в Швецию, при этом он знал, что не расстанется с любимым мягким и помнувшимся гонконгским пиджаком из твидовой ткани и серыми фланелевыми брюками; он обеспечил себя одеждой па все времена года и на все климатические пояса; не забыл он о носильном и постельном белье, обуви, спальнях мешках и клетчатых шотландских пледах, всевозможных туалетных принадлежностях и бритвенных приборах, хотя не собирался трогать свою густую седую бороду, скрывавшую неопасный кожный рак. Два чемодана

были набиты книгами, но свои книги он побоялся везти в страну, где был под запретом, а в первый раз не боялся и привез все, что оказалось под рукой, в том числе «крамольный» роман о гражданской войне в Испании.

Прежде он отправлялся в путешествие с рюкзаком, ружьем в твердом чехле и складной удочкой. А сейчас он не собирался ни охотиться, ни рыбачить, ружья и удочки были взяты на всякий пожарный случай. Конечно, все это можно купить на месте или одолжить у знакомых. Но не любил он новых, непривычных руке вещей, не любил одалживаться — за это платишь сторицей. Он и вообще потерял доверие к людям, магазинам, товарам, издательствам, газетам, журналам, летчикам, шоферам, капитанам судов, офицантам, служащим отелей, чиновникам всех ведомств и особенно к государственным деятелям; он еще верил животным — диким больше, чем домашним, и верил в бой быков. Полагаться можно лишь на самого себя. Тут дело верное, этот парень, насколько он помнил, никогда его не подводил, даже из двух авиационных катастроф, случившихся одна за другой, вытащил, что так же невероятно, как взять дуэлом двух антилоп куду.

Анни уверяла, что с такой экипировкой можно отправиться на необитаемый остров и с полным комфортом скоротать там остаток жизни. Анни не понимала его теперешнего, еще не понимала. Но она скоро поймет, бедная, судя по дряблеющей на шее коже. Желatina может долго сохранять молодость естественным и искусственным образом, но шея всегда выдает настоящий возраст, тут уж ничего не поделаешь. Но пока Анни держала форму. Она сравнивалась с ним во всех мужских делах: отлично стреляла, плавала, скакала верхом, неплохо забрасывала спиннинг, была отличным ходоком и не размякала от двух-трех порций виски, а отплясывать могла всю ночь напролет и потом мчаться в машине хоть к черту на рога. Недаром ее называли «маленьким Клифтоном». Такую можно взять даже в Памплону, хотя в этот безумный, яркий и неопрятный рай брать женщин не рекомендуется.

Клифтон ненавидел слово «старость» и даже мысленно не произносил его в применении к себе. Какой же он старик в свои шестьдесят? Старость — это поражение, опущенные книзу уголки рта, это разочарование и сдача на милость победителя. Жизнь была его без пощады, но победить не могла, он стал хитрее и осмотрительнее, но меж бородой и усами его большой, крепкий рот улыбался по-прежнему упруго и молодо. Он не был старым, но мог черпать из опыта старости, который ему открылся и в большом и в малом. Поэтому он взял шестнадцать чемоданов. Что, если ему взбредет в голову поохотиться на горных коз или половить форель? Все снаряжение под рукой. Ведь он же не таскает сам тяжелые чемоданы, для этого есть шоферы и носильщики. Его дело только следить, чтобы их не сперли или не отправили куда не надо. Правда, следить за чемоданами оказалось более хлопотным, нежели он представлял, нужно все время помнить о них и не лениться пересчитывать, это надоело. Но он дал себе слово, что отменит поездку, если пропадет хоть один

чемодан. Не потому, что был барахольщиком, но все эти вещи он сам выбирал по вкусу и по качеству, вещи первоклассные, удобные, надежные, полностью отвечающие своему назначению, не все можно купить за деньги, нужны еще время и удача, а и того и другого остается все меньше, и он не имел права на ротозейство.

«Бедный Дядя! — вздохнула Анни, называвшая мужа этим всемирным прозвищем. — Как он суетится из-за несчастных чемоданов. Поистине, старость не радость, если корежит даже такую личность!..»

Сильно тревожил Клифтона и паспортный контроль. От американцев не требуют виз, но ведь он был необычным американцем. И кто знает, что взбредет в голову Франко. В первые его приезды месье каудильо проявилась в полном пренебрежении властей к заядлому республиканцу, не исключено, что сейчас приготовлено более острое блюдо. Беспокоил и таможенный досмотр. Он не вез ни наркотиков, ни фальшивых бриллиантов, но в бесправном государстве запрет может быть наложен на что угодно: на твидовые пиджаки, спиннинги, бинокли, очки-консервы, запасные крючки. А он не собирается расставаться ни с чем из своего имущества.

И еще он боялся, что Анни доломает ногу, подвернутую в нью-йоркском порту. Она недавно избавилась от костылей — трещина в голени, полученная при неудачном прыжке через ограду на пони-двухлетке, — и уже успела получить новое, хотя и легкое увечье. Конечно, Анни не привыкать, без переломов не обходилась ни одна поездка — недостаток фосфора в организме; она ездила на сафари с за гипсованной ногой и прошла на костылях половину Кении, но в Памплоне калеке делать нечего, там и на двух ногах устоять мудро, когда беснующаяся толпа запрудит узкие улицы.

И последнее, что могло расстроить поездку, — это какое-нибудь несчастье с юным матадором Хосе Орантесом, ради которого Клифтон и отправился в Испанию. Орантес был сыном его старого друга и героя первого романа «Ярмарка», принесшего ему мировую славу. По счастью, сезон еще не открылся и Орантесу не грозили травмы на арене. Но воздух кишит бактериями, и дуют сквозняки, и простудно холодна вода горных речек. Вроде бы с чего болеть двадцатитрехлетнему здоровяку, но и в раю и в аду любят посмеяться над жалкими расчетами смертных. Было бы неудивительно, хоть и невыносимо грустно, если б у Орантеса вдруг обнаружился вирусный грипп, инфекционная желтуха или пневмония. К тому же случаются автомобильные и мотоциклетные аварии, хорошо еще, что суеверный матадор не летал самолетом. А без Орантеса ему нечего делать в Испании. На Орантесе замкнулось кольцо его любви к стране, бывшей для него и самой большой радостью и самой мучительной болью, стране, одарившей его литературной славой, давшей ему мужскую душу и самые большие дружбы. Ради Хосе Орантеса нарушил он свое слово никогда не дружить с матадорами, ибо нет ничего на свете столь хрупкого и недолговечного, как настоящий матадор. Если же настоящий матадор обретает долголетие, как отец Орантеса Педро, то это достигается путем отказа от собственной сути и судьбы, иначе говоря, капитуляции, а это еще хуже, чем смерть. Но юный андалуз-

ский полудыган, естественный, как сама природа, ловкий, изящный и сильный, как зверь, и, как зверь, умный точностью своих инстинктов, неспособный быть пошлым, банальным или низменным, покорил его и заставил взять назад данное себе слово. Орантес вернул ему молодость — и манерой боя, и врожденным благородством движений, и красотой смуглого, черноглазого, горбоносого лица он напоминал своего отца в юности. Катрин, первая жена Клифтона, была без памяти влюблена в Педро Орантеса, и муж настолько понимал ее, что даже ревновать не мог. Но Хосе не только пробудил в нем воспоминания молодости, а дал ему новые связи с настоящим. Орантес принадлежал сегодняшней Испании, которую Клифтон почти и не знал, а юный матадор дарил радостным ощущением, что и в этой чужой стране звучит былая музыка, пленившая его в далекие двадцатые годы.

Раньше, чем с Орантесом, Клифтон подружился с его шуринном, знаменитым Мигелем Бергаминном, победившем легендарного Маноло. Они сблизились в пору, когда Бергамин, взявший от корриды все, что только возможно: славу, богатство, любовь красивейших женщин и дружбу значительнейших мужчин, — перестал выступать. Он купил скотоводческую ферму, построил роскошный дом и украсил сад собственной бронзовой статуей. Если исключить последний штрих, выдававший недостаток вкуса, то Мигель Бергамин резко выделялся по всем показателям среди тореро. Сын матадора, ставшего крупным дельцом, брат матадоров, ныне промышленявших антрепризой, и очаровательной Мерседес Орантес, единственной женщины, вышедшей на арену с мулетой и шпагой, Бергамин был человеком довольно образованным, с острым, язвительным и, главное, самостоятельным умом. Он был неизмеримо развитее Орантеса и куда зрелее характером, что неудивительно при большой разнице в возрасте, но настоящей дружбы с ним у Клифтона не получилось. Связи Бергамина, с одной стороны, уходили к двум Пабло — Пикассо и Казальсу, к художественной аристократии, с другой — к старой знати и вуворишам, пришедшим вместе с Франко. Его любили богачи, военные и министры. К тому же Клифтон не видел его на арене, а дружить с матадором, не имея представления о его искусстве, все равно что глухому дружить с музыкантом, а слепому с художником, это возможно, но есть тут что-то уродливое. Светскость Бергамина раздражала, но куда больше раздражало другое, чего Клифтон никогда не формулировал, боясь обнаружить какую-то мелкость в себе самом. Он всегда старался подчеркнуть свое уважение и приязнь к Бергамину. Уважение он и в самом деле чувствовал, а вот приязнь... Но через Бергамина он узнал Орантеса, свою радость, свой праздник, и уже за одно это будь благословен торговый дом «Мигель и К^о», как называл про себя Клифтон большой и преуспевающий возле быков клан Бергаминнов.

Преданно любя Орантеса и смертельно боясь за него, Клифтон весь долгий путь через океан ждал, что ему принесут телеграмму, известящую о каком-то несчастье с его другом. Слава богу, такой депеши не было. Уже на пристани в Малаге он с испугом озирался,

отыскивая измазанное горем лицо Мерседес. Раз-другой он принял за нее каких-то красивых молодых испанок. Нет, Мерседес спокойно сидела в Мадриде. Похоже, что с Орантесом не стряслось никакой беды.

— Ну, успокоился? Понял, что ты в Испании? — послышался веселый голос Анни.

И когда она так сказала, сразу запахло Испанией. Запах страны — это запах ее трав и цветов. Маки — цветы дивной испанской весны — лишены запаха, как и олива и пробковый дуб — деревья Испании. Пахнут розы в парках, садах и маленьких двориках, но это всесветлый аромат буржуазного благополучия. Запах страны — это запах ее кухни. И едва вопрос жены проник в его сознание, Клифтон почувствовал чесночно-луковично-оливково-перечно-мясной запах, тянувшийся, видимо, из кухни аэродромного ресторана.

— Здравствуй, Испания! — вполголоса проговорил Эдвард Клифтон.

2

...В свой первый после долгого и вынужденного перерыва приезд в Испанию Эдвард Клифтон утратил обычную выдержку, впад в какой-то томительный полусон. Он не вспоминал, не думал и почти не страдал, туманные образы наплывали на душу, тесня ее и тревожа, но не успевали окоптуриться, не то что обрести смысл или хотя бы стать отчетливым чувством.

Состояние полубреда он поддерживал обильными возлияниями. Просыпался лишь изредка — при встречах со старыми друзьями, их почти не осталось, или когда его что-то сильно удивляло. Так случилось на ферме Мигеля Бергамина, где он, к величайшему изумлению, застал Аду Гарпер, некогда научившую его ценить библейскую красоту и библейскую эротiku. Она снималась в одной из его экранизаций, единственной, от которой его не тошнило. Фильм был спасен правдивостью поведения актрисы, теплотой ее интонаций. Клифтон никак не ожидал такого от избалованной кинозвезды. Живая Ада была куда менее естественна, чем на экране, но еще привлекательнее. Никогда не видел он таких тяжелых черных глаз, готовых излиться влагой наслаждения на крутые прохладные скулы, таких полных и нежных, безвольно размыкающихся при вдохе губ — у ребенка это означало бы аденоиды, а у нее — удушающую силу вождения. Когда они расставались, Ада, покорная, бедная, растерянная, как будто просила прощения, что не перенесет разрыва. До чего же быстро это беспомощное дитя нашло успокоение в падежных объятиях красавца матадора! И еще две-три встречи вышибли его из состояния сонной одури, в котором прошло его первое свидание с Испанией. Наверное, иначе и быть не могло. Где занять трезвости, спокойствия, рассудительности, если ты возвращаешься к тому, что сделало тебя тобою, научило любви и ненависти и казалось безвозвратно утраченным? Возвращение могло быть только бредом, оно и было бредом.

Но в следующий приезд, года через три, он вернул себе способ-

ность видеть, вспоминать, сравнивать. Тогда, находясь в Мадриде, он очень много ходил, на какое-то время дома стали ему важнее людей. Он обошел все отели, где жил в двадцатые годы и в дни мадридской обороны, отыскивая на серых стенах следы снарядов и осколков фугасных бомб, и порой ему это удавалось; со сложным чувством разглядывал необитаемое, с пустыми оконницами здание, которое занимали сражавшиеся на стороне Республики русские командиры, а также военные и политические советники; дом не восстанавливали и не сносили, к нему словно боялись прикоснуться, и он стоял темный, почти черный, будто обожженный, пустой и мрачно значительный. Он побывал во всех барах, начиная со своего любимого «Чикотес», ресторанах и пропахших луком харчевнях, в чудесных лавчонках, где висят связки глухарей, куропаток, фазанов над кругами сыра и бледной спаржеи.

Внешне Мадрид мало изменился, особенно в центре: те же улицы и площади, дворцы и соборы, правительственные здания и учреждения, музеи и банки, доходные дома, магазины, антикварные, книжные и сувенирные лавки с толедской сталью, веерами, пышными юбками для фламенго, мулетами, бандерильями и прочими причудами для любителей корриды; все так же трусят на своих одрах Дон Кихот и Санчо Панса и смотрит им в спину огромный костлявый Сервантес; целы все памятники, и бьют все фонтаны, не изменили привычным маршрутам трамваи и автобусы; постоянна нарядная безликость этого самого испанского города Испании, если забыть о Пуэрто-дель-Соль, хорошо пропахшей чесноком, дешевым вином и горелым оливковым маслом. Лишь больше стало кинотеатров с кричащими рекламами, да всюду висят портреты каудильо.

Мадрид мало изменился и при этом стал неузнаваем. Ведь главное не внешний вид, а дух города. Толпа стала чужой. От нее больше не шли привычные токи, которым он так чутко отзывался. Та же вежливость, та же приветливая серьезность, что и прежде, но чего-то не хватало — открытости, доверчивости, люди были заперты, заперты на сто замков, к ним не пробиться.

Чем пристальнее вглядывался он в окружающих, тем сильнее чувствовал, что не только он им чужой, но они чужие друг другу. Он помнил испанцев, живших надеждой, помнил живших борьбой, помнил, как исступленная вера в победу сменялась отчаянием, но никогда не видел их просто существующими — без надежды, веры, готовности к отпору и гибели. Сейчас люди жили машинально, изо дня в день, подчиняясь простой физиологии, необходимости есть, пить, воспроизводить себя в потомстве. Для удовлетворения этих потребностей они должны были работать столько-то часов в день, а чтобы иметь работу, строго выполнять все предписания режима и главное — молчать. А ведь были среди этих молчащих, запертых людей участники боев за Республику — бывшие солдаты, шоферы, телефонисты, санитары, чье плечо он ощущал, вжимаясь в сухую степку окопа, с кем делился глотком теплой воды из фляги и плесневым сухарем, с кем трясся на горных дорогах в изрешеченных пулями и осколками грузовиках, с кем обменивался шутками, и руга-

тельствами, и адресами, чтобы списаться и встретиться после победы. Конечно, многие были расстреляны, замордованы в тюрьмах, сосланы в колонии, другие бежали — он встречал бывших бойцов-республиканцев в разных частях света, больше всего их осело во Французском Марокко. Но ведь кто-то уцелел и продолжал жить при новом режиме, пусть под подозрением, пусть дрожа за свою жизнь, но постепенно свыкаясь и с дрожью, и с непрочным сном, и с затычкой во рту, которую не выталкиваешь ни спяна, ни в любовном забытьи, ни в запальчивости. Но они не давали себя обнаружить. Клифтон думал о том, что своим детям они с самых ранних лет внушают правила лжи, двоедушия и умалчивания, что тоже ложь, хоть и пассивная, учат их двойной бухгалтерии бытия — для дома и для общества. И как безмерно и страшно пластичен человек, если пепел Герники, пепел всех уничтоженных свинцом, сталью, огнем, пенькой палаческих захлесток не стучит ни в одно сердце. Нет, это невозможно, ведь есть же память, как ни истребляй ее, память о свободе, память о борьбе, память о том легендарном времени, когда ты был человеком; но тщетно пытался Клифтон разбудить эту память в людях, с которыми удалось сойтись покороче. Возможно, он и будил эту память, но никто не признавался в том хоть взглядом, хоть вздохом. Он заговаривал с пожилыми барменами, со стариками портье, со слепцами, продававшими лотерейные билеты на углах центральных улиц, но все ускользали от разговора в глухоту физическую и душевную, в беспамятство, в идиотизм. А иные давали злобный отпор, и он чувствовал себя провокатором, правительственным шпионом. Не существует людей, которым нечего терять. Привратник мог лишиться чулана под лестницей, слепцы — лотерейных билетов, паралитик — грошовой пенсии, бродяги — простора.

И Клифтон оставил бесплодные попытки извлечь из мертвых кукол память Овьедо, Гвадалахары, Карабагчеля. В конце концов он не для этого сюда ехал. Он ехал на фиесту, как жизнь назад, ибо минувшие с его первой Великой фиесты годы вместили целую жизнь — и не только его собственную, но и мира. И поколение сыновей, опередив отцов, уцелевших в первой мировой войне, сошло в братскую могилу второй мировой. Но опять как ни в чем не бывало зазвенит Памплона своей ярмаркой, прольется кровь быков и кровь человеческая во славу бесцельного и благословенного мужества. Хорошо, что Памплона остается Памплоной, может, это самый верный залог того, что Франко невечен, что его режим, такой прочный в своей безнадежности и такой безнадежный в своей прочности, — лишь черная страница в исторической жизни народа, который в основе своей остается все тем же: добрым и жестоким, суеверным и беспечным, храбрым, гордым, честным, на редкость мужественным и вместе с тем приученным подчиняться силе — и живым, живым, вопреки всему живым!..

И Памплона его не подвела. Все было как в старое доброе время. Та же великолепная, брызжущая весельем, самозабвенная, лихая толпа, орущая песни до хрипоты, ночь напролет отплясывающая риорио, подставляющая спины возбужденным быкам, когда их гонят по

узким улицам из стояла к цирку, полупьяная, вояющая потом, чесноком и дешевым вином, задиристая и добродушная толпа, не думающая ни о чем, кроме праздника, и напрочь забывшая о маленьком, злом и всемогущем человеке, пытающемся остановить время. А потом началась коррида и свершилось явление Орантеса. И Клифтон понял, что стоило прийти в этот мир лишь ради того, чтобы увидеть Хосе на арене. Его ките было верхом совершенства, с мулетой он работал безукоризненно и убивал с таким изяществом, что хотелось стать быком и получить этот несовершеннейший удар в загривок. Он был лучше своего отца, лучше всех на свете. На памяти Клифтона никто не работал так близко к быку, на пределе риска, так бесстрашно и легко, даже Бельмонте поры расцвета. Ну, что там много говорить: он был как Гойя, как Лев Толстой, как Сезанн, как Джо Луис, как ди Маджио, как самые великие в человечестве.

Остальные матадоры в подметки ему не годились. Это чувствовала даже малосведущая публика. Клифтон сразу понял, что настоящие знатоки корриды выбиты гражданской войной и с этой и с той стороны, удивляться тут нечему, война уничтожает в первую голову лучших мужчин. А потом пришел Маноло и развратил зрителей своими трюками, не имеющими ничего общего с честной работой. Наверное, он был великим матадором, но от него ждали трюков, поскольку он умел их делать, и он пошел на поводу у толпы. Маноло блестяще имитировал опасность, но обманывал быка, а не побеждал, раскрывая, чего тот стоит, он обманывал зрителей, которым грош цена. Ко всему еще, быков ему готовили: им спиливали кончики рогов и тем лишали опасных локаторов. Вызвав Маноло, юный Бергамин заставил его отказаться от трюков и посадил на рога. А, заняв место Маноло, Бергамин воспользовался многим из арсенала своего предшественника. Их бездарные подражатели и последователи вовсе развратили публику. Клифтон никогда не видел, как работает Бергамин, недавно вернувшийся на арену, но чувствовал, что его стиль ему не понравится, оставит холодным, сколько бы мастерства тот ни проявлял. Так оно и оказалось впоследствии, так или почти так... В Орантесе, считал Клифтон, возрождалась классическая, честная, благородная и бесстрашная манера старых мастеров, вроде легендарного Педро Ромеро из Ронды. Орантес стал не просто его матадором, но и его Испанией, им связалось прошлое с настоящим, и Клифтону начинало казаться, что в его жизни будет еще два фиеста...

...И вот сейчас он сидел в кафе «Чайная роза» возле Прадо и ждал Орантеса. Он нарочно назначил встречу не в гостинице, не в каком-нибудь маленьком, укромном ресторанчике, где, уединившись в темном углу или за кадкой с лимонным деревцем, можно чувствовать себя отрезанными от всего мира, а в большом караван-сараяе, на скрещении всех туристских троп, где всегдалюдно, шумно, бестолково, жарко, на редкость неинтересно и неуютно. Здесь надо было чуть не по часу дожидаться простейшего заказа вроде кофе с рюмкой козьяка или мороженого со сливками. В «Чайной розе» довели до

абсурда известное всему путешествующему миру бескорыстие испанских официантов, чье расположение не купишь ни за какие чаевые, по можно обрести улыбкой, шуткой, уместным замечанием о корриде, скачках или футболе. Здесьних официантов вы могли осыпать золотом чаевых и золотом самых лучших слов, а в следующий раз так же тщетно взывать о милосердии. Они не уважали место своей службы, считая его проходным двором, без устава и традиций, в грош не ставили разноязычных посетителей, которые не могли стать настоящими клиентами, завсегдатаями в силу краткости гостевания в стране и потому были им вовсе не интересны. Испанцу по-настоящему интересен только испанец или тот, кто в силу своего характера, обстоятельств, связей, пристрастий или чужачества ставит испанские дела выше собственных. Так было с Клифтоном, его влюбленность в корриду и матадоров, а позднее в Республику, участие в борьбе испанского народа за свободу, рассказы и романы, посвященные Испании, сделали его своим или почти своим в этой стране. Его знали здесь не только писатели, журналисты, художники и музыканты, но и тореро, жокеи, наездники, бармены и официанты. Последнее — знак высшего признания. Когда он приехал сюда после многолетнего отсутствия, пришлось заново налаживать связи, но это оказалось не так трудно, в этой среде его помнили, он был фигурой почти легендарной — единственный янки, разбирающийся в быках и тореро, не повышающий голоса даже после бутылки виски и написавший об Испании книги, где лучшая под солнцем страна, как бы ни испытывал ее господь, выглядит похожей на самое себя. Его частенько узнавали на улицах, всегда радостно узнавали в ресторанах, барах, кафе, пидарнях, подвальчиках, харчевнях, особенно когда он перестал ворошить прошлое, но никогда не узнавали в «Чайной розе» возле Прадо, как не узнали бы Христа в терновом венце — из безграничного равнодушия.

Вот это паршивое, челепое, неуважительное место выбрал Клифтон для встречи с Орантесом. Он не хотел поддержки, если встреча не заладится, если не почувствует в Орантесе ответного огня, не хотел обманчивого спасения уютом добрых стен, вниманием знакомого бармена, заботой расположенных официантов, потому что встречу действительно можно спасти, но не спасешь того, что с этой встречей связалось. Ставка была слишком крупной, она исключала и малый проигрыш и малый выигрыш. «Компаньоны» ли они по-прежнему, так ли он важен для Орантеса, как тот важен для него, будет ли фиеста, растворится ли он до конца в настоящем, как в далекие счастливые времена, или будет по-прежнему волочь привязанное к ноге ядро прошлого, — надо понять это сразу и чтобы ничто не усыпляло его провинительности. У него не было ни малейших оснований сомневаться в Орантесе, но что поделаешь, если он разучился верить в хорошее. Надежда, опавшая на него в порту, когда он услышал родной запах Испании, потускнела, сменилась неуверенностью и тревогой. Он даже зачем-то пересчитал чемоданы в номере гостиницы и, недосчитавшись одного, впал в горе и ярость, но потом вспомнил, что Анни забрала свой чемодан, расставаясь с ним в Малаге;

Она хотела погостить у своих друзей и съехаться с ним позже в Памплоне.

Да, он правильно выбрал место встречи. Здесь все работало па разьединение людей: хамы-официанты, горластые, бестолковые туристы, задевающие столики локтями, коленями, задами. Особенно бесцеремонно вели себя немцы в тирольских, натирающих розовые потные лбы шляпах, рослые, похожие на лошадей богатые американские старухи с костлявыми головами, качающимися на тонких, жилистых шеях, и веселые краснолицые старички в клетчатых пиджаках, а также шумные невоспитанные дети, словно бы потерявшие родителей, что их нисколько не огорчало, равно как и родителей, охваченных туристским трансом. Эта толпа вдруг стала ему душна. Он чувствовал себя как рыба в воде в давяльне пампловской лавины, в любой человеческой сутолоке, будь это в цирке, на стадионе, на ипподроме, в переполненном кабачке. Но здесь ему стало не хватать воздуха и заболела поврежденная в авиационной катастрофе спина, то была словно реакция на опасность, неужели они нападут сзади? Вспотел лоб, и пот потек за очки. Он пытался расчленить толпу, чтобы лишить ее грозной монолитности: вот эти с брезентовыми мешками за спиной и бесцветными лицами — скандинавы, жердилы, торчащие над толпой и не поддающиеся ее напору, — англичане, яйцеобразные, черные, с толстыми, плавающими, как сало на сковородке, жепами — индийцы; а были странные люди из какой-то мировой провинции, которые требовали в кафе протертый суп и бифштекс и получали молчаливое презрение официантов. Но это занятие скоро надоело, об Орантесе тоже не стоило думать, как не нужно матадору думать о быках перед корридой. Он постарался думать о Прадо, где только что побывал и впервые обнаружил, что Веласкес выцвел. Да, выцвел, так выцвел, что невозможно составить представление о его красках, а стало быть, и о живописи Веласкеса, о его божественной живописи!

И неожиданно для самого себя Клифтон вскрикнул. Этого еще не хватало! Он вконец разложился. А чего другого ждать, когда в тебя всю жизнь стреляли и кидали бомбы, когда твои машины и самолеты бьются раз за разом, когда ФБР роется в твоём прошлом и настоящем, а налоговое управление затягивает петлю на твоей шее и кругом обман, корысть и неверность? И стальные нервы не выдержат. Но коли до того дошло, надо действовать, одно спасение — в поступках. Толкнув столик, он вытянулся во весь свой громадный рост, поймал плечо пробирающегося мимо официанта и гаркнул ему в рожку:

— Виски!

— Не держим, — пробурчал официант, тщетно пытаясь вывернуться.

— Джин-кампари! — пахнуло ему в лицо жестким дыханием зверя.

— Си, сеньор!

Официант сумел оценить клиента, заказ был выполнен молниеносно, и в стакане оказалось достаточно льда.

Клифтон выбросил соломинку и припал к стакану. С каждым ле-

дням глотком утишалась жалкая буря внутри него; он будто собирался нацельно из разлетевшихся во все стороны кусков.

— Добрый день, Эдвардо! — услышал он мягкий звучный голос, повернулся и едва не вскрикнул.

Перед ним стоял юный Педро Орантес. Земля бешено раскрутила вспять всю намотанную на себя ленту времени. Не было этих десятилетий, наполненных войнами, потерями, победами, поражениями, болезнями, стонами боли и стонами любви, обманами, ошибками, терпением и мужеством, была молодость вселенной, сильные мускулы, чистое дыхание, безграничное доверие к жизни и святая вера, что все дружно — до гробовой доски. Педро стоял перед ним — кто сказал, что он превратился в морщинистого, сухонького старичка? — крепкий и гибкий, как стальной прут, огромные, влажные, радостные глаза на бронзовом лице, нет в мире других таких черных, сияющих ласковых глаз. О, есть! — никогда еще Хосе Орантес не был так ошеломляюще похож на своего отца, как в эту незабвенную минуту в «Чайной розе».

То было последним содроганием прошлого в Клифтоне, затем вопарилось настоящее. Сразу с той самой минуты, что они встретились, Клифтон начал жить, а не вспоминать, не проводить изпуряющих, обескураживающих и бесплодных сравнений между «теперь» и «прежде», не увязывать настоящего с минувшим. Все и так увязалось в нем без всяких натужных усилий, самим существованием этого дивного мальчика; прочь со свалки отжитого времени, сегодняшняя жизнь кипит и гремит вокруг, и довольно ковыряться в ней, надо ею жить, какая она ни на есть, новые матадоры ждут своих быков, и новые быки ждут своих матадоров, молодое вино вышибает днища бочек, а бурдюки алчут опорожниться тонкой и сильной струей в пересохшую от жажды глотку, звонок смех, и горячи глаза женщин, и сколько прохладных рек, тенистых деревьев и вкусной еды! И есть еще силы в шестидесятилетнем наломанном теле, есть выносливость; сердце, желудок, кишки, печень, легкие справляются со своей работой, башка крепка к алкоголю, и даже спина, черт бы ее побрал, сразу прошла, как только он отважился нырнуть в жизнь...

3

Они крепко наколобродили с Орантесом в первый же день. Такого триумфального шествия по кабакам не было у Клифтона с освобождения Парижа. Даже непьющий, как все матадоры, Орантес порядком накачался. Но, может, это только так казалось Клифтону, потерявшему счет выпитым стаканам. Но Клифтон, хоть и нагрузился сверх меры, сохранил ясную голову и верную руку, что блистательно доказал в баре «Чикотес», полюбившемся ему еще в пору гражданской войны. Там они наткнулись на подгулявшую компанию журналистов, а журнальная братия действовала на Клифтона, как тряпка на быка, возник спор — он не помнил из-за чего, да это и не было важно, спор все равно был неизбежен. Почему-то в руках у него оказалось пулевое ружье — откуда оно взялось в баре? — а у Оран-

теса зажженная сигарета в зубах. Он должен был сбить пулей пепел на расстоянии двух метров. Задача не ахти какая для такого стрелка, как Клифтон, не раз бравшего призы на стрельбищах, правда, тогда у него в желудке не плескалось столько виски, вина и пива. Он хорошо прицелился и вдруг почувствовал какое-то неудобство в плече. Сморгнув цель, он поправил приклад и снова взял на мушку серый кончик сигареты. Орантес улыбался, он в самом деле ничуть не боялся, а находил все это чертовски забавным и радовался, что Дядя покажет себя с самой лучшей стороны горластым пижонам. Ощущение неудобства в плече прошло, Клифтон спокойно спустил курок. Пуля прошла в дюйме от губ Орантеса, но тот удержал сигарету в зубах. Наверное, такие номера проходят только с теми, кого любишь. Будь на месте Орантеса другой человек, глаз мог изменить, рука дрогнуть, но когда отвечаешь за близкую тебе жизнь, все получается как надо. И Орантес не боялся, потому что знал: от Дяди плохого не будет.

Когда уже на рассвете они расставались возле отеля, Орантес сказал своим легким и звучным голосом:

— Ты вовремя приехал. Ты ведь никогда не видел маню а маню. Хмель мгновенно улетучился из головы Клифтона.

— Кто с кем? — спросил он хрипло.

— Не притворяйся, Дядя! — засмеялся Орантес. — Конечно, мы с Мигелем. Шурин вернулся на арену и снова хочет считаться первым.

— А как он?

— Увидишь. Он хорош, но он не первый.

— Это очень опасно, сынок.

— Мигель получает вдвое больше моего! Дело не в деньгах, хотя и в деньгах тоже, мы с Мерседес не богаты... Но у меня есть самолюбие!

И даже с избытком — это чувствовалось по его заострившемуся незнакомому голосу, громкому дыханию, такого Орантеса Клифтон еще не знал, но этот новый Орантес ему нравился. Хорошо, когда человек без ущерба для своей цельности многослоен; просто милый, беспечный смельчак — этого маловато, но коли есть самолюбие, страстность, непримиримость — из такого материала строится незаурядная личность.

— Почему ему все?.. Я тоже хочу ферму и нарядный дом для Мерседес и сад...

— И бронзовую статую, — подсказал Клифтон и поднес кулак к лицу боксерским защитным приемом, но Орантес не понял насмешки.

— А что?.. И бронзовую статую, — произнес он чуть смущенно, но с вызовом.

«Молодец, что признался. У тебя это не дурной вкус, а наивность. Ты все-таки темный андалузский цыган, мой милый! — с нежностью подумал Клифтон. — Тебе больше всего хочется бронзовую статую, куда больше, чем ферму, — зачем цыгану ферма? — больше, чем дом для Мерседес, манит тебя роскошный прижизненный памятник. И ведь для этого нужны не только деньги, но и право, а между то-

бой и правом стоит непобежденный Мигель Бергамин. Но разрази меня гром, ты получишь это право. Я не видел Мигеля ни в дни расцвета, ни сейчас, но еще не было удачного возвращения на арену, даже великий Бельмонте потерпел фиаско. Мне бы только хотелось скорее убедиться, что Мигель тебе действительно не страшен». Но Орантесу он больше не сказал ни слова. С матадорами и вообще не следует говорить об опасности, тем более с такими суеверными, как Орантес. Он возил с собой по городам походную церковь — с иконами божьей матери и образками своего покровителя св. Иосифа, с увесистым каменным распятием и косточками каких-то божьих угодников в лакированном ящике; перед выходом на арену он в одиночестве молился на коленях. В религиозных пристрастиях молодого цыгана Клифтону зрелось что-то языческое, он бы не удивился, если бы среди культовых предметов Орантеса оказалась глиняная фигурка быка. Но суеверие Хосе оборачивалось бесстрашием на арене, он верил, что его безопасность обеспечена свыше, и работал на пределе риска.

Смертельная дуэль дальнейшему обсуждению не подлежала, но одно Клифтон обязан был сказать:

— Мне будет чертовски неловко перед Мигелем, но выбора нет. В конце концов он сам виноват, надо было потесниться. Считаю меня, Анни и всех наших друзей в своей куадрилье.

— А как же иначе, Дядя! — засмеялся Орантес, вновь став милым, беспечным мальчиком. — А Мигель все поймет, ты не бойся...

4

Утром, едва проснувшись в отеле, Клифтон вспомнил о разговоре с Орантесом и тут же потребовал в номер льда и содовой — виски у него было свое, — чтобы привести нервы в порядок. Он блестяще преуспел в этом и дал несколько толковых телеграмм: в журнал «Лайф» — вместо обещанных путевых очерков они получат куда более пряное блюдо, издателю Скрибнеру, чтобы прислал договор на новую книгу, которую он привезет из Испании, и в «Кроникл», чтобы резервировали место для двух подвалов о Памплонской ярмарке и о лучшем бое быков начала сезона. При этом он все время уговаривал себя, что будет предельно объективен в своих писаниях, воздаст должное Бергамину и сохранит его дружбу, понимая, что это невозможно, и мучась своим ложным положением, но к вечеру все чувства вытеснились страхом за Орантеса, и он срочной телеграммой вызвал Анни из Малаги. Пусть будет рядом, он уже не рассчитывал только на себя...

(Из записок Д. Вуда, профессора Мичиганского университета):

«...В Памплоне мы неожиданно встретили Эдварда Клифтона с женой и целой сворой друзей, в большинстве случайных. Такие дружбы легко заводятся на улицах Памплонь. Мы с Клифтоном знакомы много лет, но настоящей близости между нами так и не возникло — не по недостатку взаимной симпатии, а лишь по недостатку времени — мы виделись только на бегу. Меня Клифтон давно инте-

ресует не столько как писатель, я люблю Пруста, и мне пустынно в голой прозе Клифтона, а как самобытнейшая личность. Он, наверное, единственный среди наших писателей, кто осмеливается быть самим собой, не пытаясь притереться к требованиям времени, моды, правил хорошего поведения. В Клифтоне есть что-то от дикаря в лучшем смысле слова.

Эдвард отнесся ко мне сердечно, что объяснялось отчасти расположением, но больше количеством принятого натошак. И он и его верная Анни ведут сумасшедшую жизнь: не спят, едят где попало, мечутся, как угорелые, но иначе, видимо, не вписаться в местную жизнь. Центром клифтоновской компании является не сам Клифтон, а его друг, молодой матадор Орантес, любящий испанской публики. Орантесу предстоит смертельная дуэль, mano a mano, с другим знаменитым матадором, Бергамином. Нам с женой оказали честь, с ходу зачислив в свиту Орантеса. Меня едва ли назовешь любителем боя быков, зрелища, по правде сказать, препротивного. Когда обалдевшего от боли, ран, издевательств, воплей толпы, скользкого от крови быка приканчивают на арене — далеко не всегда артистично, зачастую вульгарно и мерзко, как на бойне, — я чувствую позывы к реоте. Но мне интересна предстоящая дуэль и особенно роль Клифтона во всем этом. Матадоры уже померились силами, но заочно, а после Памплоны схватятся впрямую. Клифтон говорит, что победа Орантеса вне сомнений. Он сильнее во всех стадиях боя, кроме бандериллий. Тут Бергамин эффектнее за счет высокого роста и длинной шеи. Убивают оба превосходно, но Орантес чуточку точнее. Клифтон уже посмотрел бои Бергамина и считает, что тот в неважной форме. «И все-таки он сильнее, чем я думал, — задумчиво сказал Клифтон. — У него есть мастерство и обаяние, и он по-настоящему любит бой. На арене он забывает о своем богатстве, а это редкое качество. Но его стиль меня не волнует. Слишком все рассчитано, нет вдохновения. К тому же он привык работать с ослабленными быками, а это размагничивает. Вообще его песенка спета». — «Но ведь у него огромный опыт». — «Несомненно. Поначалу я очень волновался за Орантеса, он слишком горяч и заносчив, а Мигель дьявольски горд, к тому же уверен в своем мнимом превосходстве — это страшно опасно. Но теперь я совершенно спокоен. — И верно, голос звучал благостно. — Финал может быть только один — гибель Бергамина. Трагично, но ничего не поделаешь, это предопределено». Я был поражен и самим сообщением, и главное — тоном, каким оно было сделано. «Насколько мне известно, вы дружите с Бергамином». — «Да, его общество доставляло мне большое удовольствие. Но что поделать, — продолжал Клифтон философски, — приходится выбирать. Я предпочел бы, чтоб никакого mano a mano вовсе не было, но ведь несправедливо, что Орантес считается вторым, он получает куда меньше Бергамина, а работает лучше. Мальчика тоже можно понять». — «Неужели человеческая жизнь так дешево стоит?» — «Если матадор не готов оплатить жизнь свою репутацию, лучше ему заняться другим делом, собирать устриц, например. Бергамин знает, что такое mano a mano, он отправил на тот свет милейшего Маноло. Пришел его черед». — «Ни-

чего не понимаю, — сказал я. — Насколько мне известно, Орантес тесно связан с семьей Бергаминов. Сестра Мигеля — его жена, старший брат — менеджер, младший — тоже из его куадрильи. И все спокойно ждут, когда он прикончит Мигеля?» — «С чего вы взяли, что спокойно? — захохотал Клифтон, разевая чистую розовую пасть зверя. — Они волнуются. Ну, а если серьезно, Орантес тоже рискует, к тому же у Мигеля есть шанс отделаться увечьем. По мне, смерть лучше, чем постепенное разрушение. Настоящего мужчину можно убить, но нельзя втоптать в грязь».

Я впервые задумался над отношением Клифтона к смерти. Что-то тут не в порядке или слишком в порядке, в таком порядке, до какого мир еще не дорос. Я и раньше замечал, что Клифтон, подобно своему учителю Толстому, вечно возится со смертью. В литературе вообще много смертей, что неудивительно: в человеческом бытии нет ничего значительнее любви и смерти. Но ни у кого не умирают так много, разнообразно и подробно, как у Клифтона. Только первый его роман обошелся без смертей, наверное, потому, что в основе его лежит еще более страшное — смерть мужского начала в мужчине. Зато в других... Почти всегда гибнет главный герой, иногда для разнообразия его жена, гибнут почему зря второстепенные персонажи, особенно часто — дети и животные. Обычно героя убивают, но иногда ему дается возможность покончить самоубийством или скончаться от мрачной болезни. А его африканская книга — мясная лавка! Он по-дикарски алчен к антилопим рогам и никогда не вспомнит, что рога растут на голове. Его охотничьи очерки мне всегда были отвратительны. Клифтона хлебом не корми, а дай ему описать какое-нибудь особенно жестокое умирание, с гниением заживо, с нечеловеческими болезнями и муками. Но еще сподручнее ему уничтожить кого-нибудь по-ходу, чтоб была только физическая смерть, без психологии. Его влечет война, потому что там много немотивированных смертей. Писатель Клифтон не воет малой кровью. Я и раньше замечал, что многие смерти у него вовсе не обязательны, они нужны лишь автору. А его пристрастие к бою быков, охоте, ловле большой рыбы, только большой, он сам об этом говорил, ибо смерть маленькой рыбы незаметна. Но смерть меч-рыбы — это как падение Трои. В эти дни, когда мы ездили за город, он стрелял по ястребу, голубям, суслику и белке — просто так, чтоб помочь им умереть. У него отец застрелился, когда он был маленький. Он очень любил отца, а мать ненавидел и называл стервой. Может быть, тогда что-то случилось с ним. Ведь у мальчика уже была душа Клифтона. Странно применять к нему сентиментальное и старомодное слово «душа». Лучше говорить «психофизическая организация», если такой термин существует. Что-то случилось с его психофизической организацией — чуткой, болезненно ранимой, как у каждого истинного художника. Смерть отца его потрясла, возможно, он во всю силу своей незаурядной личности испугался смерти. И расщепел на свой страх. Он чудовищно самолюбив и весь подчинен комплексу мужчины. Смолоду до старости он как-то натужно геройствовал. В первую мировую войну он был ранен, но это его не остудило. Он всегда мчитя в сторону вы-

стрелов, хотя может преспокойно сидеть дома. Клиф неутомимо подтверждает свою храбрость, как средневековый ремесленник — звание мастера. Он профессиональный смельчак, наш дорогой Дядя. В его легенде храбрость стоит на первом месте. И наверное, он многому научился. Научился смотреть в лицо смерти. Он бесстрашно вел себя во время двух авиационных катастроф, правда, Анни вела себя не хуже, но ведь женщины вообще мужественней нас, это общеизвестно. Но в чем он несомненно преуспел — это в бесстрашии перед смертью, когда она грозит другим. Тут он не отводит глаз. Никто не ведет себя хладнокровней во время боя быков, чем Клиф. Он любит смотреть на покойников — это не портит ему аппетита. И что значит смерть какого-то матадора перед лицом такого спокойствия, лишь бы все произошло по правилам мужской чести?! В Клифтоне всегда было что-то трогательное и страшновато детское. Но, общаясь со смертью на войне, на корридах, на охоте, убивая своих героев, он убивает страх смерти в себе самом. Дай бог, чтобы он не до конца убил этот страх. Если он в самом деле научился не бояться смерти, до самого конца не бояться, то мне страшно за него. Тяжелая болезнь, большая неудача, ослабление творческой воли — и преодолешему страх смерти ничего не стоит вызвать огонь на себя, как пишут военные романисты. Без этого праздничного человека мир станет куда скучнее. Ему не скоро найдется замена. А на корриду мы с его компанией не поедем; мне совсем не улыбается смотреть, как молодой Орантес, вдохновляемый немолодым Клифтоном, доконает Мигеля Бергамина...»

(Из письма Анни Клифтон матери):

«...Милая мамочка, снова сажусь за письмо к тебе, которое никак не могу кончить. Но ты не любишь коротких отписок, а на хорошее, большое письмо у меня физически нет времени, такую сумасшедшую жизнь мы ведем. Ты удивляешься и даже негодуешь, как я могу увлекаться боем быков, и — называешь меня «кровожадной». Когда-то ты так же не понимала, как я могу стрелять невинных антилоп и невинных львов. Но, мамочка, милая, нельзя быть женой Клифтона и бояться крови. Он помог мне избавиться от ханжества и предрассудков: трупоеды — а мы трупоеды, коль не вегетарианцы — должны не бояться убивать животных, когда это нужно. Есть что-то стыдное, что за нас это делают другие. Мне куда больше по душе фермер, который сам режет и свежует барана, чем друг животных, смакующий жиго в ресторане с таким видом, будто понятия не имеет, из чего сделано дорогое блюдо. Быков забивают на бойне, и это никого не трогает, разве что толстовцев, если они еще сохранились, а коррида считается варварством. Тогда откажитесь от бифштекса. Да разве кто откажется? Дядя уверен, что для настоящего хорошего быка смерть на арене предпочтительнее всякой другой. Прежде, чем его убьют, он узнает, чего стоит. Матадор раскрывает и возвеличивает быка, да и что может быть лучше смерти на поле боя. Мне нравится Дядино рассуждение и нравится коррида, думаю, что и быкам она нравится. Но больше всего мне нравится наш дорогой

Дядя, он вносит во все такую детскую серьезность, что остальные рядом с ним кажутся шарлатанами, даже матадоры с их похоронными лицами. Ты не представляешь, мамочка, какое у них трагическое выражение на арене! Кажется, вот-вот заплачут, и даже наш дорогой Хосе утрачивает свою обычную веселость и становится тмур, как лондонское утро. И все же Хосе не идет в сравнение со своим шурином Бергамином, тот просто факельщик в похоронной процессии. Впрочем, у него есть основания для печали. Дядя говорит, что он по всем статьям проигрывает Орантесу, а ведь у них дуэль за право считаться первым. Никто лучше Дяди не разбирается в корриде, как и во всем остальном, но мне больше по душе Бергамин. Ради бога, не проговорись Эду, он меня убьет или, что куда хуже, бросит. Он совсем помешался на Хосе Орантесе, тот действительно очарователен — настоящее дитя природы, но в Бергамине больше благородства. Он волнует, как старинные портреты, гобелены, зеркала, нет, не то, в Испании есть такое слово «гидальго», означающее совершенного джентльмена. Правда, гидальго знатен, а Бергамин из простых, но в нем есть врожденный аристократизм. Недаром его так любят знать и женщины. Его жена, первая красавица Европы и знаменитая кинозвезда, рассталась ради него с экраном. Если с ним случится беда, все женщины наденут траур. Я вдруг вспомнила: Кэтрин, первая жена Эда, была до безумия влюблена в отца Орантеса, некогда знаменитого Педро, не хватало, чтоб и последняя жена тоже влюбилась в матадора.

Дядя упоен маню а маню, он опекает Хосе, придумывает для него всякие развлечения и сам резвится, как мальчишка. Орантес не должен думать о быках, не должен думать о предстоящих боях, и Дядя из кожи лезет вон, чтобы его любимец ни о чем не думал. Впрочем, достаточно изъять быков из сознания Хосе, чтобы там сразу образовался вакуум. Не слушай меня, мама, я просто ревную Эда. Орантеса учат играть в бейсбол, стрелять по движущейся мишени — сброшенным в воздух бутылкам, пикник следует за пикником, после сумасшедшей Памплоны мы устроили двойной день рождения — Дяди и очаровательной Мерседес, жены Орантеса. Съезались гости со всего света, Дядины поклонники, даже магараджа был настоящий! Дядя напился, стрелял по сигарете, которую Орантес держал в зубах, — это его любимый номер, потом сигарету держал магараджа, и Дядя чуть не отстрелил ему кончик длинного носа. Потом был фейерверк, пожар, — словом, мы повеселились, как в лучшие дни. Я не знаю, что произошло, но Дядя удивительно изменился к лучшему. Ты знаешь, как он огорчал меня последнее время: издерганный, подозрительный, нетерпимый. Правда, меня он щадил, но со всеми остальными, даже с самыми близкими, был очень тяжел. Он всех подозревал в каких-то кознях. Я даже опасалась... но не буду об этом. Эдвард здоров, бодр, весел и неутомим, как юноша, с ним может сравниться разве что Орантес, но тот ничего не пьет, кроме сангрии — лимонада с красным вином, а Дядя пьет все, кроме сангрии. И спина у Дяди не болит и затылок. Он говорит, что это оттого, что он сейчас нужен, нужен Орантесу. Можно подумать, что он больше

никому не нужен. Но ему кажется, что его высшее назначение — быть секундантом Орантеса, и раз это дает ему радость, то пусть так и будет. Я готова пойти в горничные к Мерседес, если это полезно для Дяди. И еще он сказал очень важное: это первое лето без воспоминаний, лето само по себе.

Вот так мы живем, мамочка, весело, даже слишком весело, а за смех, как известно, расплачиваются слезами. Но не хочется думать об этом, я верю, что прошла «зима тревоги нашей», и пусть Орантес убьет всех быков, какие только есть, на радость Дяде и растопчет своего соперника. Мне все-таки жаль Бергамина, он настоящий джентльмен. И хотя Дядя, можно сказать, возглавил вражеский штаб, Бергамин при встрече держится на редкость дружелюбно. К Дяде прислушиваются, каждое его слово подхватывается и разносится по всему миру, и, конечно, до Бергамина доходят Дядины отзывы и прогнозы, но он пропускает все дурное мимо ушей. Печально, что два великих матадора не могут ужиться. Неужели им настолько тесно, что один должен непременно уничтожить другого? Дядя говорит, что это неизбежно, а уж он-то знает. Вчера в Малаге Мигель Бергамин был удивительно хорош. И хотя он и Хосе получили поровну ушей, хвостов и копыт убитых быков, не удивляйся, мамочка, так награждают по требованию публики отличившихся матадоров, Бергамин был эффектнее, и это все почувствовали. Дядя ходил мрачнее тучи, но вечером, подбодрившись кальвадосом, сказал: «Я недооценивал Бергамина. Это великий матадор. Но Орантес — величайший...»

...Милая мамочка, я вынуждена была опять прервать письмо, потому что мы срочно выезжали в Бильбао. Дядя, как всегда, оказался прав: сейчас, когда я пишу тебе, все уже кончено — бедный Мигель Бергамин с тяжелой раной отправлен в госпиталь. Можешь себе представить, его ранило точно в старую рану, полученную в начале корриды, но сейчас рог проник глубже, опасаются, что затронута брюшина. Никто не понимает, как это произошло, впечатление такое, будто он сам напоролся на рог. Дядя говорит, что именно так и бывает, когда матадор хочет превзойти себя самого. Дядя навещил его в госпитале. Мигель очень плох, к нему вылетела жена из Мадрида, но держится он прекрасно и даже сказал Дяде несколько ласковых слов, прежде чем впал в беспамятство. «Это великий дух, — признал Дядя, — но лучше бы ему не приходило в сознание». Вот этого, мамочка, я не понимаю. Бергамин еще молод, очень богат, у него прелестная жена и крошечный сын, которому при таких родителях суждено стать чудом века. Но Дядя говорит, что, если мужчина не может заниматься своим главным делом, ему незачем коптить небо. Он все равно будет лишь обломком себя прежнего. Мне это не нравится, особенно тон, каким это говорилось. И вообще я ждала, что после победы своего любимца Дядя воспарит под облака, а он как-то сник. Может быть, все слишком быстро кончилось и на смену чудовищному возбуждению пришли тишина и пустота? Или сказалось страшное нервное напряжение всех этих дней, не знаю. Дядя наорал на меня: ни черта он не сник, просто всерьез задумался о книге,

наброски для которой делал все время. Когда только он успевал? Но один большой кусок уже появился в «Хроникл». О наших дальнейших планах, милая мамочка, я напишу, как только они прояснятся...»

Анни Клифтон нравилась почти всем ее знавшим, но едва ли кто считал ее личностью. Казалось, она вся, без остатка растворилась в своем муже. Она любила все, что любил он, делала все, что делал он, конечно, хуже, поскольку была женщиной, поэтому насмешники называли ее бледной копией Клифтона. Эти люди ошибались. Анни во многом совпадала с Клифтоном, ей легко было разделять все его увлечения и пристрастия, без всякого насилия над своей сутью она стала той женой, которая нужна Клифтону. Но близость с этим огромным человеком не уничтожала ее собственного «я». Она спасалась своей любовью и жалостью к мужу, которого должна была оберегать. Она знала малые возможности своей охраняющей силы, не выходила за их пределы, но все-таки приносила пользу мужу, насколько это возможно с таким человеком. Она была умнее Клифтона — на земле, а не в горнем царстве, где царил он, умнее потому, что ничто не застило ей зрения. Клифтон же преобразовывал простой и грубый кусок жизни, едва прикасаясь к нему, творчество слишком сблизилось у него с наблюдением.

Из всех спутников, окружавших тогда Клифтона, Анни одна заметила странную смуту, охватившую мужа после Бильбао. Все остальные находились в сладком изнеможении от блистательной и неожиданной победы Орангеса и полагали, что Дядя разделяет общее чувство. Но Анни слишком любила Клифтона, чтобы ее можно было провести. Колокола их звонницы трезвонили вовсю, но в одном колоколе появилась трещина, которую никто не слышал, кроме нее. Это был Дядин колокол. Ей стало неуютно и захотелось домой.

Сам Клифтон, хоть и отругал жену за женскую дурь, в который раз подивился ее пронизательности. Теперь он и сам чувствовал: что-то не в порядке, а что — не понять! Все вроде было на высоте, но настроение испортилось. Не стоит ломать голову. Спасбо лету. Праздники кончились, надо всерьез браться за книгу...

5

...В тот уже далекий ясный подвечер, когда пароход «Конституция» с четой Клифтонов на борту приближался к берегам Европы, знаменитый матадор Мигель Бергамин, недавно вернувшийся на арену, в полном одиночестве пил кофе в своем загородном доме. Утром он отвез жену и малыша Мигеля в Мадрид — сыншпка два раза кашлянул, и требовалось срочно показать его консилиуму профессоров. Они остались в городе до полного излечения наследника, а он вернулся на ферму тренироваться с двухгодовалыми бычками. Коррида не за горами, а форма набиралась туго. Особенно много хлопот было с мулетой — его руки никогда не отличались особой крепостью.

Когда он начал пить кофе, в комнате было много красного заходящего солнца. На полу, на потолке, на стенах, затянутых серо-го-

лубой тканью, на светлой мебели лежали его густые, как вишневое варенье, пятна. Рубиновым светом горели стеклянные глаза прибитого над дверью чучела бычьей головы. Громадной, черной, со стальным отливом головы, увенчанной такими могучими и острыми рогами с белыми кончиками, что непонятно было, как мог не дрогнуть восемнадцатилетний мальчишка, проводивший свой первый бой, и уложить чудовище с одного удара. Эту голову подарил ему тогда отец, умерший от рака год назад. Сам тореро в прошлом, отец сказал: «Ты прославишь нашу семью!» И ему не пришлось взять свои слова назад. Бык был не только огромен — он так и остался самым большим за всю карьеру Бергамина, — но и свиреп, упрям, на редкость подвижен для своего чудовищного веса и неумолим, пришлось-таки повозиться, чтоб подготовить его к удару. И когда Бергамин ударил, в полных, выпуклых, таких же вот рубиновых, но не от солнца, от прилившей крови глазах было тупое удивление. Бык будто не верил, что смерть могла прийти к нему от худенького, долговязого мальчишки, которого ничего не стоило поднять на острые, дьявольски чувствительные, словно видящие, неподпиленные рога. Подпиливать рога Бергамин стал в последние годы перед уходом с арены, оказавшимся временным. Тогда у него уже не было соперников, трагический пример Маноло раз и навсегда отбил охоту у кого-либо тягаться с ним, и он позволил себе немного позаботиться о собственной безопасности. Маноло всегда подпиливал рога, и толпа с ума сходила от его фокусов, но в мано а мано быки идут по жребью, тут не подпилишь, и Маноло сподобился памятника от своих сограждан. Когда рога подпилены, у быка ослабляется ощущение расстояния, что дает лишний шанс матадору. Конечно, не надо преувеличивать, и с подпиленными рогами бык чрезвычайно опасен, требует внимания и внимания и железной собранности. Так что не стоит подымать шума из-за подпиленных рогов. Но на него, впрочем, этот шум не действует. Жизнь слишком хороша при всех печалях, разочарованиях, потерях, чтобы постесняться принести ей в жертву кончик бычьего рога. А свое бронзовое изображение он поставил сам, избавив сограждан от лишних хлопот и расходов. Надо все иметь при жизни, даже памятник.

Он твердо решил превзойти всех — и прежних и нынешних матадоров — в долголетьи на арене и в долгожительстве на земле. Он умрет глубоким, хорошо склерозированным и просоленным до полного окостенения стариком. Умирать надо долго и постепенно, как знаменитый библейский кедр в Ливане, уже века не дающий семян, цветов и побегов, почти безлиственный, но еще чующий сквозь дрему солнечное тепло, слышащий шум ветра и шорох дождя и без страданий погружающийся в забвение. Вкусив сладость долгой жизни, надо вкусить сладость долгого умирания. Прекрасно изжить, почувствовать все до конца: бытие и смерть. Конечно, потом будет еще загробная жизнь, что тоже интересно, и встреча с богом — он думал об этом со слезами умиления и нежного восторга, полагая в глубине души, что вседержитель не останется равнодушен к свиданию с лучшим матадором. Вот только будут ли быки в загробной жизни?

Быки-то будут, в раю полно животных, но будет ли бой быков — это весьма сомнительно. Разве что безрогие быки будут играть с безоружными матадорами. Но это для ангелов. Тревога о загробной корриде смущала Бергамина в его добрых мыслях об ином мире. Нет ничего лучше боя быков: ни богатство (оно быстро приедается), ни женщины (они однообразны и взаимозаменяемы), а быки все разные, нет двух одинаковых, и каждый требует особого подхода.

Но почему он всегда спотыкается на мысли о подпиленных рогах, почему не может скользнуть по ней с той легкой, воздушной поступью, что сводит с ума его поклонниц и соперников-тореро, не постигающих, как можно так изящно двигаться в обжиме тесных матадорских штанов? Дело в том, что толпа в цирке, беснуясь и восхитаясь, вызывая его и требуя ему в награду уши, хвосты и копыта, никогда не забывает об этих подпиленных рогах. Да какое им дело? Ведь он выгадывает этим возможность работать так же раскованно, как в двадцать лет. Никто не может сказать: о, если б вы видели его в молодости! Он сейчас ничуть не хуже, быть может, даже лучше, как и всякий взрослый мужчина, в совершенстве владеющий своим физическим и психическим аппаратом, лучше зыбкого недоросля. Пыльца юности очаровательна, но человек начинается, когда эта пыльца слетает. Нет, не толки на его счет раздражают — толпа во тьме своих глубин хочет не яркого зрелища, не красивой победы человека над зверем, не крови, наконец, а убийства: никто не признается, но каждому охота, чтобы на его глазах был убит матадор, да и не просто матадор, а знаменитый. Ведь это все равно что причаститься вечности. Подумать только: на глазах этого замухрышки погиб Маноло, об этом будут говорить дети, внуки, правнуки — в роду был человек, видевший гибель легендарного Маноло! А разве плохо звучит: «На моих глазах был забадал Бергамина. Да, рог прошел насквозь. Он очень мучился, бедняга, но держался, как настоящий мужчина, отошел без стога». Психология толпы ничуть не изменилась со времен римского Колизея: «Крови!.. Крови!..» Но не бычьей, это никого не волнует — бык заранее обречен. До чего же обобран сильными зрелищами современный человек по сравнению с его предками! Христиан уже не швыряют на растерзание диким зверям, нет ни аутодафе, ни публичных казней, ни пыток огнем и железом. А ведь человек не изменился, он по-прежнему жесток и любопытен, так же хочет трагедий, кошмаров и зверства, лишь бы при этом оставаться на местах для зрителей. Толпа сердится, что Бергамин обманул смерть, обманул тайные, стыдные ожидания своих исступленных почитателей: увидеть последний бой и последние минуты великого, незабвенного матадора.

Он все еще возился с этой докучной мыслью, а рассеянный взгляд его скользил по комнате, следя за бледнеющим, потухающим солнечным светом. Луч оставил чучело бычьей головы — погасли рубиновые капли — и сейчас задержался на рисунке Пикассо: матадор, приподнявшись на носки и чуть откинув верхнюю половину туловища, готовился поразить быка — характерная удлинненность фигуры, прямая, гордая шея не оставляли сомнений, кого изобразил великий

Пабло. Луч перескочил на портрет матери, и взгляд Бергамина произвольно смягчился; затем глаза его почтительно и грустно остановились на портрете отца в черной раме, перевитой крепком, после бога он всем был обязан своему замечательному отцу. Затем взгляд его заметался, не находя больше алого на потемневшей стене, — солнце скрылось и луч вобрался в себя, словно щупальце. Теперь Бергамин видел лишь полированную гладь столика черного дерева, фарфоровый кофейник, и чашку, и свою узкую кисть с длинными пальцами, защемившими витую ручку чашечки, пальцами скрипача, а не матадора. Он любил и ненавидел свои руки — ловкие, гибкие, но недостаточно сильные. Он делал их сильными упорной тренировкой, но они эту силу не держали. После естественных или вынужденных перерывов ему ничего не стоило войти в форму, но подводили руки. Ноги с железными икрами никогда не слабели, тело сохраняло пружинную крепость и гибкость, а руки обвисали плетью. Странно, но самый ценный совет, как лучше их укрепить, дал ему не специалист, а писатель Клифтон: тренируйтесь с тяжелым плащом и двойной тяжести клинком.

Клиф был человеком поразительно многогранным и самонадеянным: он давал советы боксерам, бейсболистам, гонщикам, жокеям, наездникам, охотникам, рыбакам, матадорам. Считается, что он все знает, все может, воевал на всех войнах, всех победил, убил всех львов в Кении и всех антилоп в Танганьике, поймал всех акул в Карибском море. Он помогает создавать мифы о себе: за мифом непобедимости идет миф неотражимости, затем миф неуязвимости, назревал миф провидчества: то Геракл, то Парис, то Ахилл, то Кассандра. Разве мало быть большим писателем, быть может, лучшим среди живущих — Бергамин делал уступку общественному вкусу, ибо сам не очень любил книги Клифтона, — его лапидарный стиль действовал замораживающе, даже старый, болтливый, вышедший из моды Бласко Ибаньес трогал его куда сильнее, особенно в изображениях корриды. Зачем так усложнять свою репутацию, взбивать ее, словно сливки? Может, там что-нибудь не в порядке?

Известный американский журналист писал в связи с Клифом что-то об искусственных волосах на груди. Тут имелось в виду не мужество на поле битвы, а то, о чем знают только двое. Клиф по-свойски расправился с острием, расквасив ему нос, но ведь это не доказательство. У него всегда были знаменитые любовницы, что все знали о любовных победах Дяди Клифа. Но и у тебя тоже были знаменитые любовницы, иной раз те же, что и у Дяди, а что это значит? Ты их не добивался, они сами выбирали тебя и швыряли к своим ногам. Дядя не нравится женщинам и знает это. Он их завоевывает, укрощает и не любит терять. А кто любит? Отчего твоя хандра? Оттого, что ты увидел из машины Аду Гарпер. Почему она в Мадриде? И с кем она в Мадриде? Но это тебя уже не касается. Ты женатый человек и любишь свою жену. Ты расстался с Адой, еще не зная, что грядет Джулия. Ты никогда не прогонял женщин, даже самых дешевых, даже самых дорогих, первых было немало в пору юности, вторых — в дни успеха. Ты только разжимал руки.

Клиф прозвал тебя смесью Дон Жуана с Гамлетом. Когда изживает себя очередной роман, ты становишься Гамлетом, таким же меланхолическим, несчастным, чуточку сумасшедшим и очень нуждающимся в матери, которой нет. Ты проваливаешься в какую-то холодную пустоту, здоровый инстинкт самосохранения гонит женщину прочь из твоего дома, где каждая на время становилась полноправной хозяйкой. Им всегда стыдно своего бегства, чувство вины сутулит им спины. Тебе никогда не приходилось объясняться с ними. Ты не знал жалких сцен с укорами, угрозами, мольбами. Виновата ушла и черпоглазая Ада, избалованное дитя Голливуда, с твердыми прохладными скулами и горячим нежным ртом.

Долгая, медленная улыбка, всплыв из самых глубин его существа, задержалась на гладком продолговатом серьезном матово-смуглом лице Бергамина. Клифтон невзлюбил его из-за Ады — вот в чем вся штука. И он чутко уловил эту нелюбовь, замаскированную дружелюбием, потому что его редко не любили. Какие свирепые глаза сделал Клиф, увидев Аду у него на ферме! Он не отбивал Аду у Клифа, разрыв произошел раньше, и у Ады уже были другие связи, но Клиф не ставил в грош всякую безымянную мелюзгу, а то, что Ада воцарилась в доме Мигеля, подняло дыбом искусственные волосы у него на груди. Есть такие самолюбивые мужчины, которым невыносима мысль, что после них женщина может быть счастлива с другим. Клиф из числа этих мужчин. Он, правда, сразу взял себя в руки, был довольно мил и остроумен, дал ему великолепный совет, как укреплять руки, и даже сам поработал с молодым бычком, чтобы показать, как это делается. «Ах, Дядя, мне бы ваши руки!» — любезно сказал Мигель, но Клиф, обычно падкий на лесть, пробурчал в ответ что-то нечленораздельное. Черные глаза Ады и ее крепкие прохладные скулы лишили Мигеля расположения Дяди. А ведь казалось, что они подружатся. Уезжая, Клиф вел себя почти сердечно, добродушно подшучивал над бронзовой статуей, но на Аду не взглянул. А та вскоре выпала из жизни Мигеля, как некогда выпала из жизни Клифа, и вот сегодня он увидел ее мельком из окошка машины, и его как спицей прокололо. Обычно, встречаясь с бывшими возлюбленными, он чувствовал лишь тихое удовлетворение, что это осталось в прошлом. Но с Адой что-то не изжилось до конца, что-то еще трепетало. Конечно, можно отыскать Аду. Мадрид не такой уж большой город, только нет в этом смысле, рухнувшие отношения пельза оживить. Но все-таки было тоскливо, и затаившийся летний день до смерти надоел. Скорей бы уж началась коррида, тогда побоку все мысли, воспоминания, сожаления, ты делаешь свое единственное дело, и на душе покой.

Солнце зашло, но еще долго будет меркнуть за окнами сперва золотистый, а потом прозрачно-синеватый свет, прежде чем вечер зажжет звезды, и все дневное исчезнет, и возникнет другой Мигель, какой — неизвестно, и, может быть, этот другой Мигель кинется все-таки разыскивать Аду, чтобы, найдя, не подойти к ней, а может быть, помчится на машине в горы, рискуя сломать шею, может, позовет гитаристов из соседней деревни и будет петь с ними всю ночь на-

пролет, во всяком случае, он выйдет из той прострации, в какую впал из-за внезапного отъезда жены, видения Ады и нахлынувших мыслей.

Про себя он знал, что и жена, в которую все еще был влюблен, и Ада, не переставшая его волновать, были знаками какой-то иной тоски, иных утрат. Когда поселилась в нем эта тоска? Порой ему казалось, что она всегда с ним. В памяти вырисовывался живой, смелый, на редкость любознательный мальчишка, заводила всяческих проделок, порой довольно опасных, у которого просто не было времени для грусти. Затем — предприимчивый и честолюбивый молодой человек, нацеленный на одно: стать первым матадором своего времени. Вот тогда отец сказал ему: создай свой стиль на арене и в жизни. Мигель знал, как идет грусть к его серьезному, чуть удлиненному лицу с большими черными глазами, и, весь исполненный молодых, кипящих трепещущих сил, напустил на себя загадочную печаль. Когда же он стал зрелым мужем, гордо и спокойно сознающим совершенство обретенной формы, то вдруг обнаружил, что печаль, которую он поселил в глазах, в ранних морщинах высокого лба и уголках губ, пробралась к нему внутрь. Печаль, или, вернее, странная тоска, словно он узрел на миг то единственное, чего жаждет его душа, и потерял, не успев коснуться. И когда он понял, что тоска его истинна, хоть и непостижима, то захотел скрыть ее от окружающих, но это оказалось ему не по силам. Он знал, что многие считают его притворой и позером. Но знал также, что Клиф, называя его «смесью Дон Жуана с Гамлетом», не вкладывает в прозвище насмешки. Он никогда и никому не говорил о своей тоске, ставшей невыносимой, когда он ушел с арены. Но однажды, не выдержав, он открылся отцу, единственному человеку, которому доверял до конца. «А женщины тебе не помогают?» — спросил старик. «Помогают, когда я влюблен, но это же не может длиться бесконечно». — «Влюбляйся почаще, сынок, но все-таки быки надежней». Он оценил совет и вернулся в цирк. Не из-за денег, как болтали одни, — ему своих некуда девать, не из тщеславия, как утверждали другие, — он ничего не выгадывал для славы и репутации, мог лишь потерять. Но когда он выходил на арену и делал свою филигранную работу, ему было хорошо. В перерывах между выступлениями тоска тихо дремала в нем, но кончался сезон, затихал праздник, смолкала музыка, рассеивалась толпа, и далеко не всегда за воротами его поджидала новая любовь. Время замедляло бег, день становился огромен и трудноодолим, как крутой подъем, который никуда не ведет, и он шептал с меланхолической улыбкой: «Ну, входи!» И тоска входила, и он почти радовался ей, потому что это ведь тоже заполнение пустоты. Дела на ферме, по дому и саду, новые для него семейные заботы не заполняли пустоты. А между ним и женой слишком быстро появился третий — очаровательный мальчишка, черноглазый и черноволосый; он родился в шапке крепких волнистых бергаминовских волос и забрал всю любовь матери. То, что рассеяно уделялось из остатков мужу, унижало его гордость...

Он услышал дробный постук каблучков в коридоре. Мерседес!

Только ей позволено являться без предупреждения. Всем остальным, даже братьям и шурина, полагалось заранее извещать о своем приезде. Мигель Бергамин был человеком церемонным, торжественным и не любил, когда его заставляли врасплох. Он встречал своих близких и друзей с подобающей честью, освобождая душу от всякой омраченности, но для этого ему нужно было подготовиться.

Мерседес не злоупотребляла своим правом, но и не пренебрегала им. Ее визиты не были результатом взаимного наития, чаще всего она заранее знала, что поедет, но ленилась поднять телефонную трубку, а может, не хотела, ей нравилось ее избранничество, что она может внезапно явиться к знаменитому брату и не увидит даже тени досады на его красивом, серьезном до чопорности лице.

Каблучки стучали все громче. Мигель Бергамин представил себе быстрый, сухой шаг маленьких ног Мерседес с очень крутым подъемом и как напрягаются ее крепкие икры в черных чулках — Мерседес признавала только два цвета: черный и лиловый; то были ее собственные цвета — лиловые глаза, лиловая помада на смуглых губах, цвета вороньего крыла волосы и оливковая кожа в каких-то поворотах тоже отливают лиловым, и соски ее маленьких острых грудей были лиловыми и тень под нежным животом. Мерседес до замужества любила показываться брату обнаженной — на пляже, в бассейне, в купальне, она чувствовала его восхищение, и это ей было нужно.

Стук каблучков все ближе и ближе, скрипнула дверь, и вот они уже застучали по самому сердцу Мигеля Бергамина, причинив острую и сладкую боль, и он узнал имя своей неизбывной тоски: Мерседес.

Какая странная беда выпала ему на долю: открыть, что лучшая женщина на свете, самая, да нет, единственно достойная любви и поклонения, единственно способная утолить его тоску, — родная сестра. Случай был безнадежен. Нет и не может быть второй Мерседес в мире. Но разве господь бог не всемогущ? «Мигель! — скажет она, задыхаясь от волнения. — Мы разбрали бумаги отца — выяснилась страшная тайна, я не сестра тебе, я приемш».

— Мигель, — чуть запыхавшись, сказала Мерседес. — Завтра в Испанию приезжают Клифтоны. Дядя будет писать о корриде.

— Здравствуй, сестра, — церемонно произнес вставший с ее появлением Бергамин.

Она небрежно сунула ему руку, он наклонился и медленно поцеловал ее тонкие пальцы с лиловыми ногтями.

— Ладно тебе! — Она отняла руку. — Ты не считаешь, что пришло время использовать Дядю?

— Можно тебе предложить кофе?

— Да. И рюмочку коньяку.

Мигель позвонил. Вошел шоколадный слуга-бербер, выслушал приказание, поклонился и молча вышел.

— Как у тебя вышколены слуги! — восхитилась Мерседес. — Моя горничная если и соизволит откликнуться, то лишь когда я начисто забуду, зачем ее звала.

Она болтала, облизывая языком темные лиловые губы. Почему у нее пересыхают губы? «Она взволнована, хочет попросить меня о чем-то и не решается,— гадал Мигель.— Но она же знает, что я вполне любую ее просьбу. Видимо, сейчас она в этом не уверена или же просьба такого рода, что с ней трудно обратиться. Как все это странно!»

Слуга принес кофе. Поставил поднос на столик. Мигель жестом показал, что разольет сам, и слуга бесшумно вышел. Не дожидаясь, пока Мигель совершит священнодействие с крошечным кофейником и кукольной чашкой, Мерседес плеснула себе в рюмку коньяку и залпом выпила. Ее слишком современные манеры шокировали Мигеля и волновали. Он был чашкой, которой касались губы Мерседес, горячим напитком, омывающим ее нежный зев и скользнувшим в желудок, был огненным коньяком, опалившим ее небо, а сейчас стал сигаретой в длинных пальцах и гладкой ронсоновской зажигалкой в кулачке другой руки. Вот он вспыхнул желтым лепестком огня под нажимом большого пальца и, сочетавшись с собой же — кончиком сигареты, заалел круглым огоньком у лиловых губ.

И сразу новое превращение — голубым дымом он вытолкнулся из округлевших ноздрей. Каким ценным и наполненным оказывается каждое мгновение, когда рядом любимое существо, и сколько ради этого приходится одолевая пустой жизни!

Он испытывал благодарность к Мерседес за ее подвижность, она словно заключена в сеть малых, безостановочных, несуматошных, четких движений: она затягивалась сигаретой, всасывая щеки, выдыхала дым, сбрасывала пепел мимо пепельницы, пила кофе и коньяк, меняла позу в кресле: то откидывалась на спинку, то наклонялась вперед, натягивала юбку на круглые колени, закидывала ногу на ногу, спокойно и целомудренно показывая смуглое тело выше длинных чулок, поправляла волосы, падающие на глаза, поводила шеей, как будто ей душно, и вдруг резко выпрямлялась, напрягая высокую грудь, не знакомую с лифчиком. И она была чудесно озвучена: то тихонечко и очень музыкально напевала, то вдруг по-детски (или по-телячьи) шумно и глубоко вздыхала, шелкая крышкой портсигара, звякала ложечкой, чуть покашливала от дыма или от табачинки, залетевшей в горло, слегка посмеивалась какой-нибудь мелкой неловкости или от внезапного столкновения с ним глазами, от затянувшейся паузы, от того, что в сильном электрическом поле между ними что-то смецалось и смех был отзвонм на эти смещения. В бессознательной активной жизни молодого существа не было ничего болезненного, нервического, во всем ощущалась перехлестывающая через край упругая сила.

Вот так бы смотреть на нее, слушать творимую ею тихую музыку, и ничего больше не надо. Но мировая суета не знает пощады.

— Так ты понял: Клифтон завтра будет в Мадриде.

— Очень рад,— сказал он равнодушно.

— Он в Испании — на все лето. Сперва, конечно, поедет в Пампелону, потом вместе с друзьями будет сопровождать Хосе в его турне.

— Почетная свита!

— Да! Что за человек Клифтон?

— Вот те раз! Вы же такие друзья! И видите с ним куда чаще, чем я.

— Часто видется — ничего не значит, — сухо сказала Мерседес. — Он повернут к нам одной стороной. Мы видим его неизменную от уха до уха улыбку, как на рекламе зубной пасты, но ведь он не всегда улыбается.

— Нет, конечно. Ты ждешь характеристики Клифтона? Это мне не по силам. Он прежде всего писатель, и тут я молчу.

— Покойный отец говорил: кто понимает в быках, понимает и в людях.

— Писатель — это не совсем человек. Вернее, это человек и еще что-то. Поэтому мне трудно говорить о Клифтоне. Итак, он прежде всего писатель. Большой, признанный, знаменитый, невероятно популярный, создавший стиль Клифтона, но не перестающий считаться с другими писателями, в том числе с умершими. Значит, он не так уверен в себе, как кажется. Со стороны Клиф — самонадеяннейший из смертных.

— Это, конечно, слабина в нем, — заметила Мерседес.

— «Слабина»? Что это — сленг?

— Да, не обращай внимания.

— Он много воевал...

— Стоп! — прервала Мерседес. — Меня война не интересует. Каков он в дни мира?

— Не сбивай меня. Я не знаю, как к нему подступиться. Он, такой большой, шумный, открытый, очевидный, выскальзывает из рук, как угорь. Главное, повторяю, он писатель, отсюда все его достоинства и недостатки. Понимаешь, он не просто живет, как все мы, он живет для того, чтобы потом написать об этом. Сам он так не считает, он уверен, что живет, как все, и наслаждается жизнью. Но неважно, каким он себя видит. С ним все в порядке, раз в результате появляются прекрасные книги. Он может пить, хвастаться, лезть не в свое дело, такой, как он есть, Клиф набирает все необходимое для своих книг. Ясно тебе? — произнес он беспомощно, чувствуя, что говорит совсем не то, что от него ждут, но Мерседес кивнула с серьезным видом, и он снова вломился в чащу. — Понимает ли он людей? А что это значит? Можно ли вообще понять человека? В узком пространстве конкретного дела — да. Таким пониманием обладают бизнесмены, менеджеры, антрепренеры, аферисты. Ну, а что мы вообще знаем о человеке? Что мы знаем о наших близких? Ничего, кроме плоских очевидностей их темперамента. А писателям (я это понял недавно) вообще не надо знать людей, они их выдумывают и этих выдуманных людей вполне понимают. — Мигель облегченно улыбнулся.

— Значит, он не понял отца Хосе? — все так же серьезно спросила Мерседес.

У Мигеля возникло странное и неуютное чувство, будто его толкают в спину, заставляя идти дорогой, которую он не выбирал. Со-

средоточенный, из страшной глубины лиловый взгляд Мерседес завораживал, лишал воли. А он-то как раз почувствовал, что мог бы что-то сказать о цельной, будто из одного куска, и вместе необычайно сложной и противоречивой личности Клифтона, но Мерседес гнала его, как мула, вперед — к одной, ей ведомой цели.

— Он взял от него то, что ему было нужно. Понял ли он живого Педро — не знаю. Скорее всего он и не стремился к этому. Он придумал своего Педро Орантеса, и все его приняли. А до мотылька-однодневки, послужившего прообразом героя, никому и дела не было.

— Ну, а сам-то Клифтон угадал в Педро однодневку? — настаивала Мерседес.

— Едва ли... — с сомнением произнес Мигель. — Он очень удивлялся потом и горевал, что Педро так быстро сошел. У него где-то есть об этом...

— Оставим литературу в покое, — важно сказала Мерседес.

— Нет, — возразил Мигель, улыбувшись ее апломбу. — Коли речь идет о Клифтоне, литературу нельзя оставить в покое. Я начинаю понимать, что тебя интересует. Проницателен ли Клифтон? В житейском смысле нет, в литературном — очень.

— Значит, он не понимает, что Хосе — копия своего отца? — почти свирепно спросила Мерседес.

— Что ты имеешь в виду? — пробормотал Мигель, боясь поверить жестокой прямоте молодого существа, так беспощадно говорящего о любимом муже.

— То, что он повторяет судьбу Педро.

— Ты ведьма! — сказал Мигель без улыбки. — Ты этого не можешь, не должна, не смеешь знать. Это тебе нечистый напештал.

— О нет! Но я так часто вижу своего свекра. Какое у него бедное, обобранное лицо! И это бывший красавец, покоритель женщин! Дядя не узнал его в прошлый раз при встрече, а Педро Орантес даже не обиделся. Но на глазах у него были слезы. Это ужасно, Мигель!

— Я все-таки не вижу...

— Зато я вижу... и ты видишь, не лги, что Хосе — вылитый отец. У него такое же короткое дыхание. Век на арене не продлишь, но можно другое — сделать его королем. Педро погубило, что у него не было большой победы, триумфа. Он быстро сошел, пал духом и опустился. Ты скажешь: а как же наш отец и братья? Но они дельцы, а Орантесы — цыгане. Если Хосе уйдет прославленным, богатым, уйдет победителем, он останется человеком. Он же мне муж, Мигель. Мы будем путешествовать, ездить на сафари. Клифтоны давно уже нас зовут, народим кучу прелестных цыганят. Он заведет себе лошадок...

— Что же вам мешает? — чуть нетерпеливо спросил Бергамин.

— Ты, Мигель, ты нам мешаешь, — прозвучало со странной теплотой искренностью.

Прямота ответа обескуражила Бергамина.

— Я понимаю тебя, Мерседес... Но Хосе в превосходной форме, и он моложе меня...

— Время, время! — вскричала Мерседес. — У него не хватит времени тебя одолеть. Он сойдет, а ты останешься. Ты двуличный.

— Значит, мне надо уйти? — печально спросил Бергамин. — Едва вернувшись, опять уйти?

— Нет, это ничего не даст. Трон пустовал почти пять лет, а претенденты лишь топтались вокруг. Надо свергнуть старого короля, чтобы занять трон. Как ты сверг Маноло.

— Что же ты хочешь? — Углы губ затвердели, и улыбка не получилась. — Мано а мано?

— Да, мано а мано.

— А ты помнишь, Мерседес, как года три назад один импресарио соблазнил меня вернуться на арену и выступить мано а мано с Хосе, ты закричала: «Замолчите! Они убьют друг друга!»

— Я была молода и наивна.

— Да, теперь ты куда опытней, — сказал он с горечью. — Поскольку Хосе надо создавать прелестных цыганят, роль трупа отводится мне?

— Молчи! Что за мерзкие шутки! — Казалось, ее набухшие лиловые глаза чернильными каплями стекут на смуглые скулы.

— Прости, Мерседес. Но я вовсе не шучу. И если тебе надо...

— Не мучай меня, Мигель, — попросила она. — Давай говорить серьезно. Пусть Хосе соберет больше наград. Клифтон раздует до небес его победу, и дело сделано.

— Нет, — твердо сказал Бергамин. — Так мы не проведем ни публику, ни Клифтона, при всей его доверчивости. Имей в виду, здесь замешана литература, ты же сама говорила, и он мгновенно почувствует любую фальшь! Ушами, хвостами и копытами не отделаться. Нужна кровь — моя и Хосе, чтобы Клифтон поверил. Лишь пройди по самому краю, на волос от гибели, мы выиграем игру. Испанскую публику вокруг пальца не обведешь, но сработает Клифтон, ему верят больше, чем собственным глазам. Его страх за Орантеса, его волнение, его несправедливость ко мне — гарантия правды происходящего. Но у нас все получится, только если Орантес будет с нами.

— А ты сомневаешься?

— Захочет ли он обмануть своего друга?

— В каком веке ты живешь, дорогой?

— Неужели он согласился?

— Он в восторге! Надуть гринго! Это мечта каждого испанца и уж подавно каждого цыгана.

— И ему совсем не жалко Дядю? — Назвав Клифтона не к месту «Дядей», Мигель выдал себя: сделка его коробила.

Но Мерседес то ли не уловила, то ли пренебрегла его проговором.

— Я объяснила, что это будет самое счастливое лето в Дядиной жизни. Он же никогда не видел мано а мано. Он вдосталь поволнует, пошумит, отпразднует победу своего любимца и напишет замечательную книгу, которая прославит всех нас. Хосе хохотал и ра-

довался, как дитя, когда я рисовала эту заманчивую картину. Кстати, он искренне расположен к Дяде.

— От Хосе потребуются три вещи: возмущаться в присутствии Дяди моими заработками и претензиями быть первым, на арене не зарываться и поэфффектнее убить последнего быка, когда со мной будет покончено.

— Я думаю, все это нетрудно, — заверила Мерседес. — Особенпо первое.

— И разок ему придется подставить зад под рога.

— Это хуже. Но будет сделано.

«А все-таки Хосе подонок, — подумал Мигель. — Красивый, милый, обаятельный, храбрый, веселый подонок. Но я его люблю. Мне следовало бы ненавидеть его из-за Мерседес, но я его люблю. Ему принадлежит сон Мерседес, ее ночное дыхание, ее стоны, ее тайны, вся ее незримая жизнь, и этим он драгоценен для меня».

— Ты очень любишь Хосе?

— Конечно. Он мой муж. Ты же не можешь быть моим мужем.

— Это ужасно, Мерседес! — вырвалось у Бергамина.

— Хорошее признание для молодожена. Но успокойся, Мигель, так лучше для нас обоих. Я бы убила тебя в первую же брачную ночь.

— За что?

— Ты слишком нравишься женщинам. Это невыносимо.

— Я был бы верен тебе.

— Это не играет роли. Я бы все равно не выдержала.

— А разве Хосе не нравится женщинам?

— Нравится. Но, конечно, не так. И он к ним совершенно равнодушен. Видит только меня, и как же я ему за это благодарна! Хосе мой, только мой, навсегда мой, я могу делать с ним все, что захочу.

«Боже мой! — думала она. — Если б можно было не сравнивать. Хосе — прекрасная гитара, но с одной-единственной струной. Виртуоз и на одной струне может совершить чудо. Я виртуоз. И Клифтон виртуоз: из вечно хорошего настроения молодого, отменно здорового и озорного цыгана он извлекает редкие богатства, не подозревая их мнимости. Но какое счастье взять в руки шестиструнную гитару!»

— Я уйду! — Она встала с кресла, брат тоже поднялся. — Дай я тебя поцелую.

Она вся вытянулась вверх, обняла его высокую шею, сильно прижалась к нему грудью и животом и почти отделилась от пола.

— Не порть мне отношений с всевышним, — сказал он, отстраняясь. — Мне понадобится его помощь.

— Я больше полагаюсь на тебя.

— Моя маленькая Мерседес будет королевой.

— И мы получим чудесную Дядину книгу!

— А я — чудесную рану в пах.

— Я поцелую твою рану. — И Мерседес не стало.

Странно, пока они разговаривали, то видели друг друга в давно сгустившемся сумраке. Мигель различал не только лиловые пятнышки ее глаз, губ, ногтей, но и блестящую чернь волос, отличную

от цвета ночи, завладевшей комнатой, а когда она ушла, в комнате воцарился такой непроглядный мрак, что он не видел собственных рук, лежавших на невидимых коленях. Но зажигать свет не хотелось. Он словно признавал, что происшедшее между ним и Мерседес принадлежало царству тьмы. А потом все это выйдет под яркое солнце, на глаза десятков тысяч людей и еще одного человека, чей взгляд может оказаться опасней всех или слепее всех — в зависимости от того, какая страсть возьмет верх — житейская или литературная.

Что ни делается — все к лучшему. В конце концов и ему надоело его полупризнанное первенство. Надо со всем этим кончать. В погоне за славой мальчишка скоро перегорит. Пусть уйдет коротким торжеством, деньгами, газетной шумихой и выйдет из игры. Все встанет прочно на свои места. И он окажется единственным матадором в истории корриды, который вынес два мано а мано...

6

...События развивались по четкому плану, разработанному Бергаминном. До начала мано а мано он участвовал в нескольких корридах, где Клифтон впервые его увидел. Он показал почти все лучшее, на что был способен, но, как и следовало, не понравился Дяде. Ничто не в силах поколебать предвзятого мнения, тем более если оно сложилось у такого самоуверенного человека. Правда, Клифтон признал, что он «*torego muy largo*»¹, и на том спасибо. Но Бергамин добился куда большего, чем это признание: Клифтон испугался за исход мано а мано и за судьбу Орантеса. Конечно, сочинив образ Бергамина заранее, Дядя на такую филигранную работу не рассчитывал. Он разволновался, распустил язык и к началу прямого соперничества чудовищно накалил атмосферу. Клифтон наивно полагал, что, избегая журналистов-интервьюеров, он сохраняет свое мнение про себя и соблюдает строгий нейтралитет и полнейшую корректность в отношении Бергамина. Но его замечания и выкрики на трибунах, разглагольствования в барах и ночных кабачках немедленно подхватывались стоустой молвой. К его словам прислушивалась вся Испания.

Состязания между двумя соперниками начались в Сарагосе. Оба показали себя в лучшем свете. Орантес превзошел Мигеля в работе с плащом, но Бергамин лучше воткнул бандерильи — то был его конек. Некоторый моральный перевес оказался на стороне Мигеля. У его последнего быка отвалилось копыто, он прикончил больное животное и с разрешения президента выставил быка от себя. Публика оценила жест матадора ценою в 400 тысяч песет, и, когда бык был убит, Мигелю присудили оба уха и хвост. Орантес же за своего последнего быка удостоился только уха. Вечером в стане Орантеса царило уныние. И Клифтон, тяжело переживая за своего любимца, раз и навсегда покончил с игрой в нейтралитет и беспристрастие. Что, собственно, и требовалось.

¹ Здесь: «тореадор, который умеет все» (нем.).

Но уже при следующей встрече в Валенсии Бергамин взорвал плавное течение мано а мано. Превосходно отработав с двумя быками, он подставил себя под удар третьему. Ему помог сильный ветер. Уведя быка на середину арены, он дал ветру подхватить утяжеленную по погоде мулету, умница бык тут же подsunул под нее голову, и Бергамин унесли в операционную с убедительной, хотя и не опасной раной в паху. Он был доволен собой: никто не заподозрит умысла. И главное, как точно он угадал, что этому быку можно довериться. Недаром же говорят, что он знает быков лучше, чем они самих себя.

Клифтон навестил его в госпитале. Добрый человек, он так мучился, что не может до конца искренне сочувствовать Бергамину в постигшей его беде!

Но Дядю быстро осадили: выступая один в Пальма де Майорка, Орантес подставил быку бедро и тоже лег на больничную койку. Состязание только началось, а уже полилась кровь. И тут громко заговорили, что мано а мано кончится лишь смертью одного из участников. А затем было авторитетно уточнено, кого именно...

Раны вскоре зажили, и дуэль продолжалась с еще большим ожесточением. Дядя брал все приманки подряд. Его профессиональная наблюдательность помогала Бергамину. В одном из боев бык наступил ему на ногу, к счастью, копыто соскользнуло, не повредив костей. Боли он не чувствовал, но, совершая круг почета и поравнявшись с местом, где в окружении почитателей и друзей восседал Клифтон, Бергамин не захромал, а стал чуть волочить ногу, будто желая скрыть хромоту. Клифтон, конечно, сразу «раскусил» его уловку, и все вечерние газеты поместили сообщение, что Бергамин охромел.

Вспомнив, что недавно минула годовщина со дня смерти отца, Бергамин надел на рукав куртки креп, который в сочетании с устойчиво меланхолическим выражением его лица должен был толкнуть живое воображение Дяди к похоронным образам. И тут же в интервью Клифтона, которое — он божился — взяли обманом, появилась фраза, что Бергамин носит траур по своей гибнущей репутации.

Убивая быка, Бергамин поднимал шпагу усталым движением, усталость была в его запавших глазах, слабой улыбке, когда он выходил раскланиваться. Толпа далеко не всегда приметлива, но Клифтон все наматывал на седой ус и не давал окружающим пройти мимо этих явных признаков упадка. С бесценной помощью Дяди, о чем тот, разумеется, не подозревал, Бергамин тщательно обставлял свое поражение. Даже преданные его почитатели должны поверить, что проигрыш закономерен.

В Малаге Мигель разыграл спектакль на заданную тему: выложился до конца. С быками он работал так же близко, как Орантес, и был дважды опрокинут наземь. Из-за этих падений зрителям казалось, что он работает ближе соперника, и ему устроили овацию. Свои коронные приемы он проделал на высшем уровне и убивал быков безукоризненно — с одного удара. И он и Хосе получили равные награды, но ему достался больший успех.

И он подумал, что надо кончать. Сговор сговором, но они оба горячие, смелые, дьявольски самолюбивые люди, и борьба захватила их против воли. Того гляди заведутся так, что одному из них не сносить головы. Со странным, томительным, влекущим и мерзким чувством Бергамин понял, что повторение Малаги, пойдя он на такой риск, может погубить необузданного цыгана. И сразу взял себя в руки.

Бергамин не любил Бильбао, где к нему всегда относились холодно, как и к учителю его Маноло, здесь он и решил поставить точку. На этот раз задача была куда сложнее, чем в Валенсии, там ему помог сильный ветер, а здесь даже слабого дуновения не ощущалось в тяжелом от зноя воздухе. Подмога пришла в лице растяпы пикадора, на редкость неудачно подставившего себя и свою клячу под удары быка. Демонстрируя безрассудную отвагу, Бергамин втиснулся между дураком на лошади и разъяренным быком, подставив рогу старую рану, — зачем ему новая дыра в теле? Всего не рассчитаешь — бык ударил сильнее, чем хотелось бы. По особой, туманящей сознание боли Мигель понял, что затронута брюшина. Но он не позволил себе лишиться чувств в операционной, пока не узнал, что Хосе прикончил своего последнего быка, правда, с третьего захода, сложнейшим старинным приемом ресибленде, на который никто не отваживался чуть ли не со времен легендарного Педро Ромеро из Ронды, жившего двести лет тому назад. «А теперь ни о чем не думать, — приказал он себе, — и спать, спать...»

Ему было очень плохо. Из Мадрида срочно вызвали жену. Она была в палате, когда ворвалась заплаканная и сияющая Мерседес, откинула одеяло и поцеловала рану брата сквозь окровавленные бинты, гордо глянула на Джулию и вышла, не утерев крови с губ. Хорошо воспитанная итальянка и бровью не повела, все испанцы казались ей немного сумасшедшими, и она уже привыкла ничему не удивляться...

...Всего не рассчитаешь. Слава, деньги, заманчивые предложения обвалом рухнули на Орантеса. Он загребал жар обеими руками. Работал на арене вдохновенно, безумно смело, но со срывами. Хватило его ненадолго. Уже через год он начал выдыхаться. И Бергамин и Мерседес надеялись, что он продержится хоть несколько сезонов. С ним случилось худшее, что может случиться с матадором: быки мерещились ему денно и ночью, он не знал покоя и отдыха, в воображении бесконечно сходилась с быками и побеждал их. Но это значило, что быки уже победили Орантеса.

Блестящая, хотя и несколько поверхностная книга Клифтона поддержала быстро скисающую славу. Мигель прочел эту книгу, в которой ему не поздоровилось. Дядя искренне хотел быть беспристрастным, он отдавал должное мастерству и, главное, характеру Бергамина, но в целом это были похороны по первому разряду: с венками, музыкой и высоченным могильным холмом. С легким злорадством Бергамин заметил, что Дядя тоже выдохся, — там, где касалось боя быков, он перепевал свой старый роман «Ярмарка». Ему казалось, что он описывает Мигеля и Орантеса, а это опять были

Бельмонте и отец Хосе. Клифтон то ли уже не видел, то ли разучился передавать виденное и бессознательно обворовывал самого себя. Но, кажется, этого никто не заметил.

Конечно, на Орантеса еще ходили бы и ходили, Клифтон зажег большой костер в его честь, беда была в том, что он сам уже не мог появляться на арене. И тогда настал час Бергамина...

Очевидцы говорят, что это было похоже на смерть. Он участвовал во всех, каких только возможно, корридах: в Испании, Португалии, Италии, Франции, Южной Америке, не зная неудач, работая, как и прежде, с трюками в духе Маноло и с подготовленными быками, но так уверенно, красиво, элегантно, что публика, вначале сдержанная — трудно поверить в человека, потерпевшего столь жестокое поражение, — буквально бесилась от восторга. Нередко, мрачно улыбувшись, Бергамин кончал быка старинным приемом ресибиенде, но с первого удара. И все поняли, что вернулся настоящий король.

Испанцы, народ гордый, самолюбивый, ненавидящий оставаться в дураках, старательно помалкивали о знаменитом и загадочном ману а ману, но иногда, увидев на улице открытый «роллс-ройс» Орантеса с пышно расцветшей Мерседес и двумя черноглазыми близнецами на заднем сиденье, прохожие обменивались понимающим взглядом, в котором сквозила насмешка над собой...

7

...За окном не было привычного: раскаленной, растрескавшейся земли, гигантской пыльной акации и очумевших от зноя кошек, и старый, купленный Клифтоном еще во время бно американский дом казался ему чужим. Почему-то чаще всего вспоминались кошки, не собаки, которые куда важнее и значительнее, а кошки. О собаках он старался не вспоминать, чтобы не думать о старом Джеке, убитом бородатым революционером, так испугавшимся дряхлого беззубого пса, что не пожалел на него целой обоймы. Правда, потом революционер очень сокрушался, душевно просил прощения, но Джека это не вернуло к жизни. Так и осталось для Клифтона первое свидание с революцией мертвым черным телом Джека, медленно истекающим кровью в прах земли. А революционеры пришли сказать, чтобы он ничего не боялся и спокойно жил в своей финке под охраной революционного порядка.

Кошек было не меньше семидесяти, а может, и куда больше — последнее время их не пересчитывали. Коты имели имена, кошки, кроме нескольких древних матерей, прародительниц кошачьего стада, оставались безымянными. Он не питал особого пристрастия к кошкам, хотя больших пушистых котов любил, просто не мог топить котят. Поначалу на острове был большой спрос на породистых котят, но затем рынок оказался насыщенным до отказа, и все новорожденные котята остались в доме. Почему он, так хладнокровно стрелявший по любой дичи, включая нежных, грациозных, с девичьими глазами антилоп, не мог утопить слепого, еще не очнувшегося в жизнь котенка? Быть может, потому, что человек, низведший пред-

ставителя отряда тигровых до малости уютного домашнего существа, как бы взял на себя ответственность за него. Измельчавший хищник отказался от всех своих инстинктов, кроме одного, потребного человеку: ловить мышей, он стал полностью зависим от своего хозяина и тем вверил ему свою жизнь. Правда, хозяева не больно задумываются над своей ответственностью и преспокойно топят котят в ведрах, тазах, чанах, унитазгах, прудах, речках и других водоемах. Но уж коли ты задумался над этим, то рука не подымется утопить котенка. В результате кошачья несметь наполнила усадьбу.

За кошками смотрят слуги, вяло думал Клифтон, а что будет, если он навсегда покинет остров? А почему он должен его покинуть? Уж он ли не приветствовал революцию, покончившую с одной из самых омерзительных диктатур в Латинской Америке? И революция признала его своим и, убив по ошибке Джека, взяла под охрану как памятник старины или иную достопримечательность. Но он не мог там остаться. На острове ненавидели американцев, вполне это заслуживших, он и сам не слишком жаловал своих соотечественников, но любил Америку, и ненависть к ней была ему тяжела. В свое время он поселился на острове, потому что ему нравился тамошний климат, он всегда мечтал жить на море и ловить большую рыбу, но к омерзительному режиму не имел ни малейшего отношения. Сейчас к власти пришел народ. У Клифтона не было оснований для отчужденности, но и отделять себя от американцев, которым на каждом шагу предлагали выкатываться вон, он тоже не мог. Сложная и мучительная проблема. Впрочем, торопиться с решением некуда, большую часть времени он проводит теперь не дома, а в одном из тех таинственных лечебных заведений для избранных, которые, щадя репутацию клиентов, скрывают свою зловещую суть под маской закрытого пансионата. Как он там очутился? Кровяное давление. Железная скоба, сжимающая затылок. Сжимающая так, что кровь не орошает мозга. И сухой, как ядро грецкого ореха, мозг не может выдать ни строчки. Это самое ужасное. Он готов вынести любую боль, любую муку, только дайте ему тысячу слов в день. Ну, хоть полтысячи, хоть сотню. Он знает, как ни тщательно это скрывается, что за ним числят не только гипертонию, но и его страх перед ФБР и налоговым управлением, и даже нашли какое-то паршивое медицинское определение для неотвязной тревоги опытного человека, слишком хорошо представляющего, как интересен он своим прошлым, связями и даже основным местожительством первому управлению и литературными доходами — второму.

Идиоты в белых халатах то и дело заводят разговоры о его отце, прощупывают по части наследственности. Его отец, добрый, великодушный, грустный, словно так и не узнавший себя человек, хороший, бескорыстный врач, даром лечивший индейцев, сделавший много полезного окружающим и оставшийся безнадежно одиноким и в семье и среди других людей, покончил с собой выстрелом из охотничьего ружья без всяких объяснений и неперменной просьбы никого не винить. Едва ли он мог винить кого-то определенного, даже жену-стерву, отравившую ему жизнь, но немного виноваты пе-

ред ним были все: почему не научили своему умению не сойти с ума в этом печальном, безнадежно разобщенном мире? Об отце говорили как о сумасшедшем. А что это такое? Прозрение безвыходности? Невозможность вырваться из собственной тесноты, которую принимаешь за тесноту мира? Ему тоже тесно и душно и хочется вырваться, но куда, как? Вот его и суют в клинику. Для его же пользы. А какая может быть польза, если все кончилось: ему заказан даже глоток виски, он не может спать с Анни и за целое утро чудовищного напряжения не в силах сложить одной фразы...

Он увидел из окна, что привезли почту: толстую стопу газет и журналов, связку писем, проспектов, множество ярких бандеролей с книгами. Он всегда с нетерпением ждал почту в надежде, что восстановится связь с миром, но эта надежда гасла с последней, раздраженно отброшенной газетой и пустым бессмысленным письмом. Стоящие люди писем не пишут. В газетах хоть изредка что-то бывало о боксе, бейсболе, в письмах — никогда ничего: просьбы, обычно денежные, попытки установить родство, завести знакомство, связь, привлечь в какой-нибудь клуб или к липовой благотворительности, иногда просто чушь и блажь, вроде предложения сделать совместно талантливому и умного ребенка, бывали и непонятные угрозы и ничем не мотивированная брань, порой спрашивали советов, как стать писателем, о чем писать и сколько это приносит. Очень редко говорилось о литературе, и то о вещах старых, забытых. Исключением оказалась последняя книга — о корриде. Все письма были из Испании. Соотечественники Маноло дружно поносили его за оскорбление их кумира. Но эта была такая тяжелая история, что думать о ней не хотелось. И все же думалось. Пусть он позволил себе раз-другой куснуть Маноло, но он открыл испанцам глаза на другого великого матадора — Орантеса, должно же это хоть несколько его обелить. Но испанцы, видимо, не разделяли его точки зрения, что одно стоит другого. Они и вообще вели себя непонятно. Чего уж так ожесточаться?..

Какая тоска и духота! А ведь мир редко был так подвижен, так переменчив, так конфликтен и неустойчив, как сейчас. Но частные люди не жили катаклизмами, мировой трагедией, эпохальными событиями, все глубже забиваясь в свои норы, в свое укромье, куда не достигал вой исторических ветров. Наверное, это происходило оттого, что все проблемы стали неразрешимыми и сильные мира сего лишь притворялись, будто они пытаются что-то разрешить, все слова обесценились, все измерялось ложной мерой, взвешивалось на врущих весах, причем все это знали и продолжали обманывать друг друга, а главное, самих себя, обманывать самую идею жизни, и нет выхода, нет спасения. Стоп! А может быть, вовсе не мир износился — и есть герои, и верующие, и прекрасные безумцы, а износился ты сам, твоя плоть и кровь, твой дух и твоя вера? Почему ты не едешь ловить большую рыбу? Кубинец-рыбак был куда старше тебя, а поймал самую большую меч-рыбу в Карибском море, и не его вина, если добычу отняли. Как хорошо и радостно писалась ему эта история, с первых же слов пришла уверенность, что слова совпадут с сутью. До чего счастливым было время, до чего счастливым человеком он был!..

Клифтон увидел, что маленький Микки, сын шофера, взял в охапку газеты и побежал к дому. Эту привилегию ему даровал сам Клифтон в память о другом мальчике, Пепе, внуке садовника финки. Остальную почту принесут позже в столовую, он любил за обедом проглядывать письма и листать новые книги. Газеты слишком воняют мочой, чтобы подавать их к столу.

Послышался звук сандалет (когда приближался Пепе, доносилось шлепанье босых ног), и, как всегда, без стука (тут оба мальчика совпадали), ворвался Микки и вывалил на широкое кожаное кресло стопу газет. Согласно ритуалу, Клифтон протянул руку к деревянному ящичку прекрасных кубинских сигар и дал мальчику ароматную гавану. Тот принял ее с наивно-удивленным видом, будто не знал, как распорядиться подарком. Пепе вел себя иначе, он брал сигару, нюхал ее с видом знатока и совал за ухо, мол, выкурю на досуге, но относил дедушке. Притворщик Микки выкурит сигару сам за милую душу. И тот и другой его обманывали, но первый с благородной целью, второй от испорченности. Так же вот различились и две его жизни — прежняя и теперешняя.

Мальчишка ушел. Клифтон лениво шевельнул газеты, и в руке оказался лист «Кроникл» с огромной фотографией матадора, нанесящего удар. От длинной, красиво изогнутой фигуры, чуть напоминающей вопросительный знак, пахнуло чем-то таким знакомым, близким, нужным его измученному духу, что защипало глаза, а с языка сорвалось: «Орантес!» И в этом имени вылилась вся его тоска по той последней счастливой, настоящей жизни, какую ему довелось прожить. Он нашел очки, дрожащими руками заправил дужки за уши. С газетного листа смотрело печальное лицо Мигеля Бергамна.

И как могло ему прийти в голову, что это Орантес? Еще в прошлом году, когда он в последний раз ездил в Испанию, откуда его почти выгнали мстительные поклонники Маноло, стало ясно, что Орантес кончился. Издерганный бессонницей, желто-бледный, он жаловался на какие-то мнимые болезни, хотя единственная его болезнь — та самая, что поражает всех разбогатевших матадоров: страх перед рогами. Будем же справедливы, эта болезнь обошла Маноло и Бергамна. Но как бесстрашно и уверенно дрался Хосе в то незабвенное лето! А что, если его уверенность коренилась не только в отличной форме, силе и мастерстве? Почему так сказочно ожил раздавленный Бергамин и пошел крушить направо и налево? Клифтон еще раз с острым любопытством поглядел на красивое, печальное лицо и прочел на нем то, что прежде почему-то ускользало: выражение непреклонной воли.

Внутри стало пусто, как в брошенной казарме. И гулко прозвучало в пустоте: они надули тебя. Не было никакого вызова, был сговор. Недаром же, когда все кончилось, у него вдруг возникло ощущение, будто он выпил скисшего вина. Анни, милая, умная, любящая Анни сразу это поняла. Все было продумано, взвешено, рас-

считано заранее: ажиотаж, доведенный до иступления присутствием знаменитого писателя, который один заменил целое рекламное бюро, поведение участников, ход поединка. В раскаленной атмосфере два профессионала высшей пробы хладнокровно делали свое дело. Впрочем, от одного требовалось лишь хорошо и чисто работать, другому было куда труднее: расчетливо жертвуя собой, превратить первого в короля. Можно было бы восхищаться мастерством, отвагой и силой воли Бергамина, вложенными им в семейное дело, если б тут не умерщвлялось последнее, что сохранил Клифтон от Испании. И как мог Орантес так предать дружбу? Да он даже не думал об этом. Была возможность сделать карьеру, крепко заработать, все остальное ничего не значило. А к Дяде он искренне расположен. Ужас в том, что все согласились играть краплеными картами. А он не согласен. Не потому, что он чистоплюй, а потому, что ему это неинтересно. Лучше выйти из игры. Да, он устарел — ископаемое, мастодонт, Майн Рид. Впрочем, есть утешение: карты крапленые, но ведь и деньги фальшивые, так стоит ли серьезно относиться к игре? Но он не может иначе, не умеет, не хочет, его игра всегда шла всерьез, хотя он, как и всякий игрок, случалось, блейфовал, но это совсем другое дело. Рыбак Саннедро, проигравшийся в пух и прах, видел во сне львов, с его проигрышем увидишь разве что шакалов.

Все сгнило. Все обман, даже бой быков. А чего он, собственно, ждал от страны, где правят насилие и страх? А мальчик казался таким чистым, искренним, правдивым! С незамутненным взором делал он жалкого дурака из пожилого человека, полюбившего его как сына. Тот, старший, по крайней мере сильно рисковал, ведя свою дьявольскую игру. О нем думается с невольным уважением, хотя и брезгливым. Но этот юнец, быстро превратившийся из боевого быка в быка-производителя! А, бог ему судья! Все огадилось, все оболгано. Но остается одна правда — правда последнего выстрела. Бедная Аяни.



КАК БЫЛ КУПЛЕН ЛЕС

Жгутов резко остановился, косо вверх задрав тяжелую голову, будто конь, наскочивший на плетень. Из полуоткрытых окон второго этажа опять звучал низкий, грудной голос хозяйки, порой заглушаемый роялем:

Нет, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал
И как я стражду...

Впервые Жгутов, которому за минувшие дни в ушах настряли и слова и мелодия, заметил, что хозяйка поет о себе, будто о мужчине: «как я страдал». И ему подумалось, что поет она правильно. Барыня Надежда Филаретовна и по характеру, и по сухой, крепкой стати, и по жесткому лицу, и по голосу, и по манере вести дела, заглядывая в самый корень и мгновенно ухватывая главную суть, впрямь походила на мужика. Но голос ее, хоть и низкий для женщины, был все же с подвизгом, чего Жгутов терпеть не мог. Он басов любил и сам в молодые годы подтягивал на клиросе свежим, чистым баском. Но потом застудил горло, осип, да и не до пения ему стало. Впрочем, раздражал его не столько голос поющей, сколько эта изо дня в день повторяющаяся песня, которую управляющий Василий Сергеевич называл «романцем». Она звучала за высокими, полуоткрытыми по теплоте, даже жаркому октябрю окнами обычно за полдень, когда мальчишка-посыльный возвращался с почты.

Барыня ждала какого-то письма, а письма все не было. По выработавшейся с годами привычке думать лишь о своем деле, отменяя чужие заботы, Жгутов поначалу не проявил ни малейшего интереса к этому обстоятельству. Сговорившись с управляющим имениями фон Мекк — он уже имел с ним дела к обоюдному удовольствию, — Жгутов живо прикатил из своей Заграпезовки, но узнал, что барыня «не в духах» и нужный разговор откладывается до более благоприятной минуты. Это его не особо удивило и того менее встревожило. За четверть века, что он ворочал крупными делами, скупая лес, землю, запущенные и вовсе разоренные имения, бездоходные заводики и убыточные фабрики, Жгутов привык к изменчивому, причудливому нраву людей благородного звания и знал, что самое верное средство против их капризов — терпение, выдержка.

Правда, Надежда Филаретовна казалась ему не такой: она была прямая, решительная, твердая в слове, недаром же деловой мир величал ее «мужик в юбке». Но, видать, мужик в юбке не настоящий мужик. Совсе не по-деловому повела она себя на сей раз. Конечно, он, Жгутов,— черная кость, вчерашний крепостной, и далеко ему до мекковских миллионов, но коли выгорит у него нынешнее дельце, глядишь, вскорости и самое Меккшу обставит. Главное же — мысль эта странно и щекотно ласкала угрюмую душу Жгутова,— зашибет он капиталец на том самом железнодорожном строительстве, что в сказочно краткий срок принесло покойному инженеру фон Мекку все его миллионы. Правда, Жгутов не собирался сам строить дорогу, ему еще не по чину такой разворот. Читал он по складам, писать почти вовсе не умел, только подписывался, зато счетом владел отменно. Вообще-то построить дорогу не такая уж мудреная штука, вот концессию в Петербурге получить — для этого надо быть не Ивашкой Жгутовым, а фон Мекком или партнером его фон Дервизом. Ладно, мы и на шпалах свое возьмем. Но для этого надобно прежде всего купить лесу, и не где-нибудь, а у Надежды Филаретовны, под боком тех мест, где пройдет новая железная дорога. И купить сегодня же, пока никто еще, включая самое Меккшу, не проведаль о предстоящем строительстве, пока цены на лес не подскочили выше самых высоких сосен.

Лес Надежды Филаретовны ценен не только своей близостью к будущей стройке, но и особым качеством: в самом что ни на есть возрасте, дерево к дереву, его б на мачты, а не на шпалы пустить! Да чего там, другого такого леса не то что по всей губернии, а и по всем окрестным землям не сыскать. Везти же издалека — половины прибыли лишиться. Если же к тому добавить громадную взятку за подряд, то наивыгоднейшее, сказочное дело — такое разве присниться может — становится и мало доходным, и настолько хлопотным, что уж лучше и вовсе отказаться. Нет, лес купить надо у фон Мекк, благо она и цену запросила самую божескую. Тут уже Василий Сергеевич, управляющий, расстарался. Цена настолько была умеренной, что, послушав денек-другой чувствительный романец, Иван Прокофьевич сам накинул малую толику да и управляющему посулил прибавку. Не то чтобы обычная выдержка изменила Жгутову, но дорог был каждый день. Он конкуренции опасался, а более всего — как бы не проведаль а строительстве сама Меккша. К исходу недели он стал всерьез подозревать, что до нее дополз какой-то слухок. Может, ожидаемое письмо только предлог, чтобы потянуть время и все разнюхать, а может, еще проще — письмо-то и должно внести ясность по части леса.

Правда, Василий Сергеевич глухо говорил о каком-то сердечном интересе хозяйки, но Жгутов не придавал значения его словам. Не любил он пустопорожней болтовни о том, что его не касалось, и вообще не любил, когда на людей напраслину возводили. И года не минуло, как умер супруг Надежды Филаретовны, достославный Карл Федорович фон Мекк, наживший такое неслыханное состояние, и не положено ей было ни о ком другом думать, да нешто и

поставишь кого рядом с покойным! Разве что компаньона его, фон Дервиза. И годы у Филаретовны не те, к пятидесяти подступает, и семья огромнейшая, и забот полон рот, нет, глупость какую-то обронил управляющий. А может, вовсе и не глупость то, а хитрость? Морочит ему голову на пару со своей барыней? А сама тем часом с кем другим сговаривается или, того хуже, с инженерами-железнодорожниками стакнулась? Свой свояка чует издалека. Небось фон Меккша запах чугушки за сотню верст слышит; у ней все богатство, весь нажиток шпальной смолой, варом да паровозной гарью пропах.

Гляжу я вдаль, нет сил,
Темнеет око.
Ах, кто меня любил,
Где он?.. Далеко...

В голосе не было обмана. Звучал он чисто, слышно и печально: О муже покойном тоскует, решил Жгутов. Сорок шесть — бабье лето... Но мысль эта не принесла желанного успокоения. Оставалось письмо, загадочное письмо, за которым каждое утро, не дожидаясь прихода почтальона, гоняли на почту двенадцатилетнего Ванька, рыжего, веснучатого сына кухарки и швейцара. Письмо тревожило. Карл Федорович не пошлет о себе вестей с того света, особливо по почте, а какие сведения с этого света могла ожидать вдовствующая богачка с таким волнением и болью? Трудно представить, чтобы после незабвенного Карла Федоровича его вдова могла испытывать душевное расположение к другому человеку. Темна вода, ох темна!..

Жгутов пересек двор и вышел за ворота. Перед ним горбато изогнулся, весь в золотой листве, Рождественский бульвар. Листья кружились в воздухе и пластались на еще зеленую траву, на песчаные дорожки. Совсем не по-городскому пахло сухим нагретым листом, травой, почвой. Паутинка проплыла в воздухе и тишайше коснулась лица Жгутова. Он закрыл глаза, и все городское окончательно исчезло, сильнее запахло землей, травой, лесом. И закачались в чуть одурманенном мозгу Жгутова прямые, высоченные сосны его леса. Ах, боже мой, нет больше таких лесов во всей средней полосе. Где вы, прежние леса? Одно гнилье осталось да молодые посадки, начинающие сохнуть и хиреть, не войдя в возраст. Ах, что за лес ждет его не дождется, богатырь, красавец, мечта, — самое время валить его и разделявать на шпалы!..

«Подкину Сергеичу пяток «лебедей» сверх последнего уговора, пушай нынче же добьется мне встречи с барыней», — решил Жгутов, спимая со щеки липучую, нежную паутинку. И будто отпустило в груди. Ведь когда решаешься на трату, все становится простым и доступным.

Жгутов вернулся во двор. На верхушке старой липы покрикивала резким, стеклянным голосом все еще не отбившая в теплые края голубая цапля, прилетавшая, как говорили, каждую весну на это самое дерево. Жгутов опасно обошел липу, чтоб цапля не нагадила на голову. Противная птица, если что не по ней, брызжет сверху, жидким и клейким пометом, потом его не отмыть, не отскоблить;

Задержавшееся летнее солнце перевернуло все в природе. Вторично зацвели вишневые деревья в глубине двора, и сирень, похоже, собралась наново распуститься, в траве выжелтились и высинились ранние летние цветочки, а голуби разворковались с такой грубой страстью, что хоть уши затыкай. Беспорядок охватил мироздание, и Жгутова это раздражало, как всякое нарушение правил. А что вседержитель думает? Установил законы, так уж следи, чтоб они соблюдались!..

Сделав указание богу, Жгутов направился к флигельку, где управляющий жил во время своих наездов в Москву. Семья его оставалась на Украине, поблизости от главных владений фон Мекк. Василий Сергеевич питался в людской, хотя ему полагался господский стол. Происходя из городских мещан, он имел пристрастие к простой русской пище: грибным щам с кашей и картофельной запеканке... Готовила же здешняя кухарка, мать писмоносца Ванька, отменно. Потому и сам Жгутов столовался в людской вопреки всем уговорам управляющего. Но до обеда было еще далеко, и Жгутов задумался, где искать Василия Сергеевича, как вдруг его рослая, представительная фигура возникла у каретного сарая. Управляющий не выходил оттуда и через двор не шествовал, иначе бы Жгутов увидел его раньше. Многих изумляла чудодейственная способность этого крупного, приметно-нарядного человека появляться по-воробыному — из воздуха.

На управляющем был темный сюртук аглицкого сукна и такие же брюки, ниспадающие на подъем черных кожаных сапожков, однорбортный жилет с обтяжными пуговицами, рубашка тончайшего полотна и черный атласный галстук. Прямо-таки барин московский! Увидев Жгутова, он заулыбался своим плотным, чуть продолговатым, гладко выбритым лицом с колбасками густых каштановых бакенбард и двинулся навстречу купцу, чуть разведя пухлые, с холеными кистями руки.

— Утро доброе, почтеннейший Иван Прокофьевич! — радостно улыбаясь, еще издали произнес управляющий.

В его открытой улыбке и радушном жесте не было ни малейшей фальши. Он действительно от всей своей корыстной, но вовсе не злой души почитал Ивана Прокофьевича. Управляющий смотрел на кряжистую, купую, нелепую фигуру гостя, облаченную в длинный, до щиколоток халат кафтанного покроя, на ситцевый шейный платок, потемневший от пота, на высокий черный картуз, венчающий глубоко ушедшую в плечи, большую, как котел, голову, и восхищение все усиливалось в нем, расширяя грудь. Господи, думал Василий Сергеевич, так одевались разве что целовальники во дни моей юности! Если перевести на деньги все, что на нем есть, это не составит стоимости моих спитых на заказ сапог. А дома он вовсе в пестрядиной рубахе навывпуск да полосатых штанах щеголяет, как московский мастеровой. А чего я перед ним стою во всем моем наружном великолепии? Он меня вчетверо сложит и в карман сунет. Давно уже в сотнях тысяч ходит, к миллиону подбирается. А тут хитришь, ловчишь, крутишься как белка в колесе, из себя выворачиваешься,

а того не скопишь, чтобы какое ни на есть дельце собственное завести! И вроде бы господь ни умом, ни памятью, ни внешностью не обидел, верный нюх на людей дал, а поди ж ты!.. Вот что значит с нуля начинать. Покойный родитель хорошо свою линию вел, а напоследок разорился и семейство нищим оставил. А жгутовский батка, даром что так крепостным и помер, всем четверым сыновьям по капиталу завещал, вот и пошли они крутить. Конечно, Иван Прокофьевич против братьев куда способнее, оборотистее, он давно их обставил, хотя один из всех не променял на город деревенское житье. Так и обитает в отцовских хоромах с земляным полом, духотой, вонью и тараканами. А у самого три имени отличнейших, и в одном — настоящий барский дом с колоннами. Но он не спешит переезжать туда со своим немалым семейством. А может, потому и взошел Жгутов так высоко, что не соблазнился ни жильем роскошным, ни одеждой модной, ни тонкими винами, ни прочей «тревогой мирской суеты», как поет барыня Надежда Филаретовна чудеснейший романс недавно открытого ею московского композитора Чайковского.

Жгутов подошел к управляющему, снял картуз, сунул его подмышку, достал из кармана допотопного кафтана фуляр и вытер лысеющее темя в слабых русских волосках. Спрятал платок, надел картуз, оставив на лакированном козырьке дымный, тающий следок своих пальцев. Потом посунул широкоскульное, смугловатое, пористое лицо к уху управляющего и сказал несколько слов хрипатым, непрокашлянным голосом.

Управляющий всплеснул холеними, мягкими руками, которые каждый день вымачивал в уксусе, чтобы сохранить благородную белизну.

— Господи, Иван Прокофьевич, благодетель! Пойду, конечно, пойду, только, поверьте, без пользы мое хождение будет. Мы ведь не набиваем цену, поверьте, господин Жгутов! А мне ваше доверие всего важнее. Чай, смею надеяться, не в последний раз...

— Ладно,— перебил Жгутов,— в завтрева нечего заглядывать. Дай с нынешним днем рассчитаться. Она ведь ума-то не решилась. Объясни ей, по человечеству, мол, не может покупатель дольше ждать, дела у него стоят, хозяйство брошенное, семья там, детисшки плачут.

— Все, все уже говорил! На другой день, как они из Италии возвратились. И намедни опять речь завел. На все один ответ: не до леду мне сейчас.

— Ступай,— коротко, не повышая голоса, сказал Жгутов.— Авось господь милостив.

Василий Сергеевич тяжело вздохнул. Он держался за место управляющего, боялся прогневить барыню, но понимал Ивана Прокофьевича и себя самого понимал: другого такого шанса у него не будет. У Прокофьевича, может, и будет, даже наверняка будет. Ну, пусть малость похуже, он-то свое все равно возьмет, а вот ему, Василию Сергеевичу, едва ли жизнь такой подарок вторично подкинет. Хочешь не хочешь, а надо идти...

Управляющий на своем веку сменил не одно место. Нигде не жилось ему лучше и нигде не жилось труднее, чем у фон Мекков. И жалование и содержание были вне сравнения, к тому же проницательное доверие хозяйки как бы признавало молчаливо ту скромную дань, которую взимал с доходов имения управляющий в свою пользу. Это ее устраивало, и Василий Сергеевич знал, что, пока не перейдет черты, может быть спокоен. А душевный покой он ценил почти так же, как деньги. Собственно говоря, он и деньги ценил лишь потому, что они лучше всего другого обеспечивали душевный покой. Но у фон Мекк было множество мелких причуд, досаждавших служащим ей людям сильнее иных крупных несправедливостей. Она требовала не только от лакеев и горничных, но даже от мажордома и самого управляющего бесшумной поступи. Боже упаси, чтобы твои шаги прозвучали не то что громко, а хоть сколь-нибудь слышимо. Правда, и лестницы, и коридоры, и все комнаты, кроме зала, были устланы восточными коврами и ковровыми дорожками, глушившими шаг, но ведь и подметка может скрипнуть, и голенище хлопнуть воздухом, да и оступиться легко с ковра на паркет или на дубовые ступени лестницы. А слух у Надежды Филаретовны был острейший. Она слышала малейший шум сквозь стены и двери, и у нее тут же каменела маленькая нижняя челюсть. И тогда к ней лучше не подступаться ни с докладом, ни с просьбой, ни с важной вестью. Особенно бесил ее звук захлопываемой двери. Надо было так отворять и закрывать двери, чтобы и с комариный писк не напугать. Убирать у нее в комнатах, по словам лакеев, было горше всякой муки. От таких впастей Василий Сергеевич был избавлен своей должностью, да и не состоял он безотлучно при особе Надежды Филаретовны, все больше находясь в разъездах, но многие запреты распространялись и на него. Громко не дышать, не сопеть носом, не кашлять, не отхаркиваться, не вешать чревом, не пахнуть щами, луком, печеным тестом, постным маслом, пивом, не говоря уж о спиртных напитках, табаком и хлебом — под этим подразумевалась всякая нечистота, невесть откуда взявшаяся, которую мгновенно унюхивала своим тонким носом Надежда Филаретовна. Прислуживающие ей люди то и дело полоскали рот, жевали освежающие пастилки или травки, опрыскивались одеколоном, ежемесячно отпускаемым кастеляншей. Как будто мелочь, пустяк, да и что значит для вчерашних крепостных, знавших и арапник, и розги, и зуботычины, подобная чепуха, а вот люди не держались подолгу у Надежды Филаретовны, хотя сама она редко кого прогоняла, разве что за тягчайшие провинности, вроде воровства, соблазнения горничных или пьяного дебоша. Просто не выдерживали слабые нервы вчерашних дворовых вечного напряжения, и люди поступались отличным жалованием ради своих слабостей, привычек, даже простой беспечности, а в сущности, ради собственного лица. Но Василий Сергеевич не собирался поступаться своим положением и жалованием, он-то не на орешки играл, и беспрекословно подчинялся железной дисциплине.

Подойдя к черной лестнице, ведущей со двора в господские по-

кон, Василий Сергеевич потянулся, ощутил упругую послушность мышц и крепость суставов, размял стопы, хрустнул пальцами рук, устраняя возможность лишних шумов в организме, сунул пастилку в рот, старательно разжевал и, придав лицу спокойно-почтительное выражение, а фигуре осанистость, проник в двери, словно дух или привидение, почти не стронув с места чуть приоткрытые створки, поднялся, вернее — вознесся на второй этаж, прислушался к тишине, вещественно, плотно наполнявшей весь большой, красивый дом, и услышал слабый шорох в малой гостиной, где стоял любимый рояль хозяйки из розового дерева. Он скорее угадал, нежели услышал, тихий звук отпахиваемой крышки. Так и есть, Надежда Филаретовна снова собиралась играть. Теперь остается одно: замереть и не двигаться. Василий Сергеевич так и поступил, и все же внезапный громкий аккорд заставил его сильно вздрогнуть. Укорив себя за отсутствие выдержки, он снова обратился в изваяние, но после второго аккорда рояль смолк, затем громко хлопнула крышка, и управляющий вновь не удержал вздрога. Надо заметить, самой себе Надежда Филаретовна разрешала любой шум.

Напряженный слух подсказал управляющему, что Надежда Филаретовна прошла в кабинет. Мысленно препоручив себя богу, Василий Сергеевич скользнул по коридору и царкнул ногтем дверь кабинета.

— Да!.. — слышался резкий, нетерпеливый голос фон Мекк.

...Она стояла у окна, держась длинными худыми пальцами с коротко подстриженными ногтями за складки штофных гардин, и не обернувшись к вошедшему, хотя знала, кто это, в чем управляющий не сомневался. В людской говорили, что Надежда Филаретовна «видит спиной».

— Осмелюсь доложить... относительно... господина Жгутова.

— Какого Жгутова? — незнакомым, далеким голосом произнесла Надежда Филаретовна, и было в звуке ее голоса что-то такое, отчего озабоченное сердце управляющего на миг потревожилось добрым порывом к чужому человеку.

— Я докладывал вашей милости... Который лес покупает. Он теперь крайнюю цену дает... и передать просит, что дальнейшее...

— Вон, — будто уронила фон Мекк.

— Что-с? — не понял управляющий.

— Ступайте вон! — своим обычным сильным голосом сказала Надежда Филаретовна.

Управляющий, пятясь, вышел...

«О чем он?.. — будто возвращаясь из сна, подумала Надежда Филаретовна. — Лес... Какой лес?.. Ах, лес!.. Боже мой, какое мне дело до леса?.. До чего же одинок каждый живущий в этом мире. Пока ему хорошо, он всем мил и угоден, особенно если этот человек способен давать другим деньги, удобства, внимание, комфорт, любую выгоду. С ним носятся и близкие и далекие. Но когда ему плохо, когда он растерян, смятен, болен душой, когда его сердце занято собственной мукой, когда рука не подымается для милости, он остается один, в пустоте. От него отворачиваются дети, полные юного

эгоизма, к нему теряют интерес родственники и так называемые друзья, паразиты худшего разряда, и даже слуги, которые служат тебе лишь в той мере, в какой заставляют тебя служить им. Этот взяточник и вор управляющий ведь знает же, что я не могу, не хочу думать о делах, о каком-то лесе, который он за бесценно сбывает другому жулику, чтобы положить в карман жирную взятку, но с маниакальной настойчивостью пристаёт ко мне с того самого рокового дня, когда вернулась из-за границы и узнала, что писем нет. Но бог с ним, с этим ничтожеством!.. Какое мне до него дело, если в круг моей пустоты не вступит с рукой, протянутой для помощи, даже Юлия, дочь-подруга, если крошечная Милочка глядит волчком! Быть может, страдающие люди источают какой-то запах, по которому другие существа, даже такие неразумные, как четырехлетняя Милочка, угадывают неблагополучие, недуг души и брезгливо, опасливо отстраняются?.. Куда подевались все эти горничные, няньки, мамки, гувернантки, от которых не повернуться было? Истаяли, как нежить, с первым криком петуха. Неужели так отчетлив зажатый в груди, в горле крик боли, что он проник в их замурованные, карликовые сердца?..

Петр Ильич, милый друг, что же вы сделали со мной? И с собой...» — произнесла она мысленно, обращаясь к миниатюрному портрету Чайковского, выполненному на фарфоре искусным миниатюристом Севастьяновым, выходцем из Мстеры. Тонко прописанное лицо Петра Ильича в окладе седеющей бороды сияло почти ангельским благообразием. Розовая тонкая кожа, алый рот, блестящие, отливающие синью глаза, живые и вместе усталые, не то вопрошающие, не то виноватые, — лицо оставалось одухотворенным и прекрасным даже под «мелочной» кистью мстерского искусствника. Такое лицо и должно быть у человека, создавшего Первый фортепианный концерт, «Франческу да Римини», сочетающие страсть и печаль, восторг и предчувствие гибели. Но что ей до внешнего облика творца этой музыки! Будь он безобразен, черен, крив, горбат, ее восхищение, ее преклонение, ее высокая одухотворенная любовь к нему не стали бы меньше. Внезапно ее шатнуло прочь от окна. Она не хотела признаться себе, что понимает силу и смысл толчка, заставившего ее пересечь комнату, отпахнуть дверь зальца, пройти его какими-то странными зигзагами, отражаясь в зеркалах и стеклах высоких дверей, затянутых с другой стороны штофной материей, и увидеть себя как сильный росчерк или как смещение цветных плоскостей, красочных пятен, смотря по тому, где отражалась ее высокая прямая фигура в бледно-зеленом, отливающим изумрудом домашнем платье с гладкой спереди и сильно присборенной сзади юбкой. Пояс с металлической пряжкой помогал прямизне ее чуть сухопарого стана. Она знала, как выглядит, скорее по ощущению своего тела, нежели по зыбким образам, мелькающим в отражающих плоскостях. Замерев у рояля, она должна была вплотную приблизить лицо к его глянцевиной крышке, чтобы зримо всплыть себе навстречу. Она увидела высокий чистый лоб, чуть тронутый двумя продольными морщинами, бледные щеки, узкий тонкогубый рот, маленькую, усечен-

ную нижнюю челюсть, не соответствующую крупному лицу, и, будто полумаску, — темные, широко и спокойно лежащие в затененных глазницах, блестящие, прекрасные, почти незрячие глаза, которым, дабы увидеть предмет, надо было чуть ли не вобрать его в себя; эти, почти бесполезные, глаза были великолепны и спасали, в о з н а с и л и лицо Надежды Филаретовны.

Глаза сообщали своей владелице так мало сведений об окружающем мире, что в восполнение ущерба в ней достигли удивительной тонкости иные чувства, в первую очередь слух. Конечно, слухом она была одарена от природы, но развила и довела до нынешней, почти болезненной изоценности не столько даже музыкальными занятиями, сколько постоянным, напряженным вслушиванием в голоса, шумы и шорохи мира и в какой-то ранее не ощущавшийся ею шумовой фон, принимаемый обычным слухом за тишину. В пустоту этой мнимой тишины и насылает свои волны музыка сфер, ее-то и слышала Надежда Филаретовна. Именно слух дал Надежде Филаретовне редкую полноту восприятия жизни. Звуки содержали и рисунок и цвет. Фон Мекк, видевшая мир четко оконтуренным и ярко расцветенным лишь в лорнет — для невооруженных глаз окружающее едва проступало из одноцветного тумана, как на картинах Каррера, — обретала четкость линий, форм и красок окружающего мира в музыке не умозрительно, а ясным и острым внутренним зрением. Не потому ли она вечно испытывала музыкальную жажду? После смерти мужа и отпадения большинства светских обязанностей она населила музыкой дом, заведя небольшой, но превосходно подобранный оркестр. Он замолкал лишь в часы отдыха, сна и хозяйственных занятий Надежды Филаретовны, а в остальное время аккомпанементом сопровождал все, чем был заполнен ее день: чтение, мечты, разговоры с дочерьми и сыновьями, примерку платьев, рукоделие и даже стрельбу из пистолета — занятие, доставлявшее Надежде Филаретовне опять-таки слуховое удовольствие, ибо в цель она никогда не попадала.

С некоторого времени репертуар оркестра, весьма многообразный, резко сократился — играли чуть ли не одного Чайковского. А в последние дни оркестр вообще замолк: Надежда Филаретовна не могла слышать музыки, кроме тех внезапных страстных и мучительных звуков, которые вырывались вдруг из ее горла или из-под пальцев, которые она как будто пыталась размозжить о клавиши.

И вот сейчас ее пальцы сами потянулись к желтоватой слоновой кости и странно скрючились, словно хотели сомкнуться на горле музыки, которая вот-вот родится.

Нет, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймет, как я...

Слезы прихлынули к глазам. Надежда Филаретовна запрокинула голову и стояла так в позе «Молящейся» Луки Кранаха, пока слезы не отхлынули назад, лишь чуть увлажнив уголки глаз. Шаги в коридоре были как полет ласточки, и все же Надежда Филаретовна

услышала их и мгновенно узнала. Она выпрямилась, упокоила голову на долгой, прямой шее и не оглянувшись, когда дверь бесшумно отворилась. Словно свист рассеяемого телом птицы воздуха, и худые теплые руки обвилились вокруг ее плеч.

— Мама, простите мое вторжение, но вы пели так горестно, что я... не выдержала... Вы так никогда не пели!.. Что с вами, мама, милая? У вас какое-то горе, поделитесь со мной. Я так люблю вас!..

Люблю!.. Истрадавшееся и не понимающее себя сердце Надежды Филаретовны мгновенно откликнулось этому слову. Она повернулась к Юлии и растроганно поцеловала ее в лоб... Они были очень похожи друг на друга, но в лице Юлии все черты матери отразились в смягченном, ослабленном виде: и недостатки — подбородок Юлии был круглее, женственней, и достоинства — черные материнские глаза были у Юлии просто красивыми глазами, а не божьими колодцами.

— Вы здоровы, мама?

— Совершенно здорова... обычные мигрени...— Надежде Филаретовне впервые после смерти мужа захотелось опереться о чью-то руку.— Меня заботит... нет, терзает, мучает судьба Чайковского. Я места себе не нахожу!

— Вы так его любите, мама? — тихо спросила Юлия.

Надежда Филаретовна сжала тонкие губы, но ответила мягко, терпеливо:

— Это не та любовь, о какой ты думаешь. Ту любовь я изжила до конца с твоим отцом.— И, говоря так, она была искренна.— Я боготворю Чайковского, преклоняюсь перед ним и жалею его. В той, другой любви надо видеть человека, быть с ним,— мне не нужно видеть Чайковского, мне надо лишь знать, что ему хорошо, не страшно, что будет его музыка, дающая мне ни с чем не сравнимое наслаждение. Ему плохо сейчас, я это знаю... сердцем знаю.

— Он вам писал... что ему плохо? — осторожно спросила Юлия.

— Нет. Последнее письмо пришло две недели назад. Я спрашивала его о Четвертой симфонии, о нашей симфонии...— голос ее пресекался.

Юлия взяла ее руку и поцеловала. Она с печалью заметила, что нежная, тонкая кожа матери начала грубеть... Бедная, бедная мама!..

Надежда Филаретовна овладела собой, лишь голос чуть напрягался обузданным волнением.

— Это письмо — самое удивительное и проникновенное из всего написанного о музыке. Я дам тебе прочесть. Оно все о музыке. Ни слова о себе, о своих невзгодах. Удивительная, необыкновенная скромность! — Темные глаза ее сверкнули.— Это даже неделикатно в отношении такого друга, как я. Он должен сделать свою боль моей болью, свою муку моей мукой, свою беду моей бедой...

— Но, может быть, вы заблуждаетесь, мама, и ему вовсе не так плохо?

— Я не ошибаюсь,— почти гневно произнесла Надежда Филаретовна.— Я знаю все, что происходит с ним, с такой же точностью, как если б это было со мной.

— Мама, я хотела просить у вас прощения за один наш разговор... Я была не права. Я дурно думала о господине Чайковском... Наверное, я ревновала вас к нему. Простите, мама. Он достойный, высокопорядочный человек...

Некоторое время назад Чайковский попросил в письме разрешения посвятить Надежде Филаретовне Четвертую симфонию. Они с Юлией вместе читали это письмо, держа его за уголки. «Он посвящает мне Четвертую симфонию!» — вскричала Надежда Филаретовна. «Он просит у вас взаймы, мама!» — холодно заметила дочь, успевшая дочитать письмо до конца. «Я впервые достаиваюсь такой чести!» — «Почему, у вас многие просили взаймы?» — «Я говорю о симфонии». — «А я думала о деньгах». — «Вы очень непонятливы, дочь моя. Господин Чайковский оказывает мне величайшее доверие своей пустяковой просьбой и величайшую честь посвящением музыки. А теперь оставьте меня!»

Надежда Филаретовна дословно вспомнила ничтожный разговор, настолько далекий от тех горних высей, где душа ее пребывала возле души Чайковского, что не мог ни обидеть, ни задеть ее. Но задел слова Юлии: «достойный, высокопорядочный человек». И это о Чайковском!..

— Вы снова ничего не поняли в господине Чайковском, дочь моя! — надменно сказала фон Мекк. — Все эти жалкие слова хороши для обывателей. Господина Чайковского нельзя мерить обычной меркой, он — гений!.. — И, на миг обратив к дочери сверкающую тьму прекрасных, почти невидящих глаз, вышла из комнаты...

...Поразительно, что даже Юлия не понимала главного, Юлия, близкая ей всею кровью. И рядом с досадой в Надежде Филаретовне вновь заговорило тайное торжество ее безмерного открытия. Никто не понимал и не понимает Чайковского, даже преданный ему Николай Рубинштейн. Это она, Надежда Филаретовна фон Мекк, осмелилась назвать Чайковского великим. Это она открыла в нем гений. В скромном профессоре Московской консерватории, пишущем музыкальные сочинения, она признала гения, подобного Баху, Моцарту, Бетховену. И тут не было ни каприза, ни оригинальничания богатой меценатки, позволяющей себе в необузданном своеправии казнить и миловать, возвышать и развенчивать, ничего, кроме правды безошибочного слуха, музыкального и душевного. Надежда Филаретовна твердо знала, что рано или поздно, но наверняка при жизни Чайковского ждет мировое признание, он станет знаменит, как ни один русский композитор, его слава не уступит славе Моцарта. Это было для нее настолько очевидным, что она больше дивилась глухоте окружающих, нежели гордилась собственной проницательностью. Но она никому не позволяла догадаться о странном своем торжестве. Об этом ведал лишь дух Карла Федоровича фон Мекка. Не веря в бога, Надежда Филаретовна верила в бессмертные души. Чайковский был ее выигрышем, тем великим выигрышем, каким для молодого, страстного, легко бледнеющего инженера фон Мекка была Курско-Киевская железная дорога, принесшая ему первый миллион. Тогда этот желторотый птенец оказался прозорливее, находчивее, умнее, реше-

тельнее и талантливее старых матерых волков и взял Великий приз. Сейчас барынька со странностями, какой считали ее в свете, восторженная любительница музыки, прозрела то, что не распознали ни знаменитые братья Рубинштейны, ни всезнайка Ларош, ни сам Стасов, ни пронипательный Балакирев, ни музыкальный генерал Кюи. Она взяла реванш у Карла Федоровича за то чувство превосходства, которым он сам, возможно того не желая, давил на нее всю совместную жизнь. Он был всем, она — ничем. Перед мощью его практических достижений все остальное обесценивалось, становилось игрой, заполнением времени, «своим мирком» — этим жалким прибежищем слабых, не состоявшихся в творчестве или действительной жизни душ. И вообще-то нет ничего неблагодарнее и бесплоднее изнурительного труда любительщины. Расход душевной энергии не дает почти никакой отдачи. Меценат выглядит куда лучше, хотя и в этой роли есть что-то ущербное. Впрочем, история знает примеры, когда меценат ставился чуть ли не вровень с тем, кому покровительствовал. Но без ложной скромности можно сказать, что немногие явили такую пронипательность, как Надежда Филаретовна, ибо куда легче открыть и возвысить безвестность, нежели человека с уже испорченной репутацией. Не надо вспоминать даже о шумном и в чем-то справедливом провале опер Чайковского — его симфоническим, а равно и камерным произведениям выпало куда больше брани, издевательств, насмешек, нежели похвал. «Маленьким», «жалким» печатно называл Чайковского друг его юности Ларош, и Петр Ильич даже не обижался. Конечно, его творения играет Николай Рубинштейн, и это уже кое-что. Но ведь Рубинштейн отверг посвященный ему Первый фортепианный концерт, лучшее произведение Чайковского. Стало быть, Рубинштейн не понял истинной ценности столь доверчиво поднесенного ему дара. И то, что Чайковский так готовно, так страдальчески-радостно откликнулся ей, подтверждает, что он смертельно устал от непонимания, что знает о своем праве быть понятым, «открытым». Они вдвоем одолели разделявшее их расстояние. Все люди бесконечно далеки друг от друга, но кто измерит пространства и бездны между непризнанным вищим консерваторским профессором и вдовой миллионера? С быстротой мысли, с мгновенностью страсти оказались они рядом, душа приникла к душе, но о встречах вживе рещили — этого никогда не будет.

Ей казалось прекрасным и то, что Петр Ильич почти сразу попросил взаймы. Все люди, приходящие в соприкосновение с семейством фон Мекк, рано или поздно заводили речь о деньгах. Большинство — рано, и то были порядочные и бесхитростные люди. Куда бóльшую опасность представляли выжидавшие своего часа, будто в засаде, чтоб вернее нанести удар. С ними кончалось нередко разрывом, ибо сумма, на которую претендовал терпеливый скромник, обычно превышала разумные пределы щедрости и снисходительности Надежды Филаретовны. Чайковский попросил в долг сразу — сумму хоть и круглую, но отнюдь не чрезмерную — и этим не только покори́л Надежду Филаретовну, но и облегчил задуманное ею — установить ему пенсion, избавить от хлопот о хлебе насущном. В ее

делах существовал строгий порядок, к тому же она не собиралась делать тайны из своего покровительства Чайковскому, — расходы на композитора заносились в графу бюджета: музыка. Эта же графа включала расходы на домашний оркестр и на молодого скрипача Пахульского, недавно принятого на службу. Пахульский предназначался для той роли, какую исполнял при дворе князя Эстергази знаменитый Иосиф Гайдн. Впрочем, от Пахульского не требовалось собственных сочинений, достаточно было, чтобы он переключивал для маленького оркестра все сочинения своего учителя Петра Ильича Чайковского.

И вот едва начавшаяся жизнь сердца была потрясена известием о женитбе Чайковского. Конечно, он волен поступать как ему угодно, в их негласном договоре не было пункта о безбрачии, и вообще ее не касалась интимная жизнь композитора, по слухам, весьма аскетическая. Ему приписывали лишь короткую и неудачную любовь к итальянской певице Дезире Д'Арто — ей посвящен романс «Средь шумного бала», — ни с какой другой женщиной имя Петра Ильича не связывали. Надежда Филаретовна, конечно, не собирала сплетен, но ведь сплетни, подобно запахам, проникают сквозь все преграды, независимо от нашего желания и даже вопреки ему. Узнала же она о Дезире, о страстной любви и внезапном, необъяснимом разрыве, хотя в ту давнюю пору еще не успела заинтересоваться Чайковским и была равнодушна к певице. Прослышала она и о Милюковой Антонине Ивановне еще до того, как Петр Ильич сам оповестил ее о своих matrimониальных намерениях.

Антонина Ивановна первая написала Чайковскому. Положа руку на сердце, Надежда Филаретовна не могла осудить ее за этот весьма смелый для девицы поступок. Уж если придерживаться такого ханжеского взгляда, то и вдове не слишком прилично писать первой холостому незнакомому мужчине. Но вдова отнюдь не стыдилась своего поступка. Антонина Ивановна объявилась в ту пору, когда Петр Ильич, мечтая о новом оперном сюжете, уже приглядывался к «Евгению Онегину», и письмо бывшей посетительницы музыкальных курсов, предложившей ему себя столь же чисто, доверчиво и скандально, как пушкинская Татьяна Онегину, дало Петру Ильичу ключ к опере, которую злоязычный Ларош тут же окрестил, перефразируя Евангелие, «Онегиным от Татьяны».

«Евгений Онегин» имел какой-то особый смысл в отношениях Надежды Филаретовны с Чайковским. Признавшись однажды в своей нелюбви к Пушкину и любви к Писареву и выразив надежду, что он, Чайковский, вырвется из «жалкого романтизма и унесется в высшие сферы человеческого духа», она получила суровую отповедь от милого друга. Чайковского жестоко огорчило, удивило и возмутило, как может Надежда Филаретовна с ее редкой музыкальностью восхищаться Писаревым, приравнивающим любовь к музыке любви к... соленым огурцам и ставящим Бетховена в один ряд с поваром ресторана Дюссо! И хотя удар получился увесистым и довольно неожиданным, ибо милый друг был сама деликатность, сама тонкость, Надежда Филаретовна после легкого потрясения почувствовала себя

обрадованной и даже польщенной этим нагоняем. Она поняла, что Чайковский впервые заговорил с ней на равных, прямо, серьезно, без обиняков, как говорят о самом важном с теми, кого уважают. И это было прекрасно в нем, стеклянной хрупкости человеку, обремененном мучительной необходимостью прибегать к помощи состоятельной поклонницы. Но когда дело доходило до главного, Петр Ильич отбрасывал прочь компромиссы. Он не терпел бесчинства перед лицом искусства и потому отвергал Писарева и не спустил нигилистской выходки своей корреспондентке.

Он впервые заставил Надежду Филаретовну усомниться в том, что изо всех поэтов романтической школы достоин признания лишь Лермонтов. И впрямь ли не слышит она музыки пушкинского стиха или просто отдает дань моде, благородному заблуждению времени, его глашатаю Писареву? Господи, устало подумала Надежда Филаретовна, при чем тут Пушкин? Петр Ильич превращает в музыку все, к чему ни притронется. И я давно примирилась с «Евгением Онегиным», не только примирилась, но стала нетерпеливо ждать оперы, как и всего, что выходит из-под его рук. И примирилась с этой нелепой женитьбой, коль из нее возникает новая божественная музыка...

Надежду Филаретовну задело, больше чем задело — ранило, что Петр Ильич так поздно посвятил ее в свои обстоятельства. Он писал ей письма, просил займы, рассуждал о музыке, о своей будущей опере и ни словом не обмолвился о том, что так тесно повязалось с оперой, что заставляло его, по свидетельству скрипача Котека, сомнамбулически бормотать пушкинское: «Мой идеал теперь хозяйка, да шей горшок, да сам большой». Не по-божески это, милый друг! Хоть маленький намек могли вы себе позволить, ну, хотя бы ради того, чтобы избавить преданного человека от бестактного замечания о «тривиальности сюжета «Евгения Онегина». Вот уж действительно не в бровь, а в глаз угодила! Прелестное «мо» для какой-нибудь востренькой мешаночки, но не для госпожи фон Мекк. Довернем оберегают друзей от ошибок. Вы своего друга не оберегли.

По свежему следу злосчастного письма узнала она о женитьбстве Петра Ильича и устыдилась своей непреднамеренной бестактности. Так ли уж устыдилась?.. А может, в тайнике сердца была обрадована возможностью высказать — пусть косвенно — свое настоящее отношение к выбору Петра Ильича, достойному какого-нибудь помощника столоначальника, но никак не гения. Французы говорят, что не важна бутылка, важно опьянеть, но ведь следует проявлять вкус и в выборе бутылки. А может быть, тут что-то другое?.. Гёте, Жан-Жак Руссо — сложным натурам в бреду каждодневности нужна крепкая, надежно-простая опора. Но ведь Антонина Ивановна, похоже, нечто иное, более сложное. Она красивая, ну если и не красивая в том высшем смысле, какой принято вкладывать в это понятие, то хорошенькая, привлекательная. Профессор Ланге, у которого короткое время занималась Милюкова, на просьбу Чайковского нарисовать ее устный портрет ответил коротко и ясно: «Дурал», а потом все же прибавил в порыве добросовестности: «Но смазливая дурал!» Милый Котек рассказал даже об этом, думая угодить Надежде Фи-

ларетовне. Неужели Котек, да и все остальные думают, что она видит в ничтожной Милюковой соперницу? Да и в чем соперницу? Госпожа фон Мекк не претендует на руку и сердце Чайковского, ей нужна его душа, творящая высшее на свете блаженство, а этого никакие милюковы не могут у нее отнять. Так ли?.. Антонина Ивановна училась музыке, значит, не вовсе чужда миру Петра Ильича. И почему-то из всех холостяков Москвы, а их немало, она остановила выбор именно на Чайковском. И ведь она знала, конечно, что Петр Ильич человек вовсе не богатый, что жить с семьей на консерваторское жалованье и случайные доходы от издания музыкальных сочинений почти невозможно. Петру Ильичу и в одиночку не удавалось сводить концы с концами. Не могла же Антонина Ивановна прозреть покровительство фон Мекк? Конечно, нет! И все же она написала Чайковскому, не затворнику, конечно, но уж никак не сердцееду, призналась в своей любви, любви к человеку и музыканту. Она спародировала поступок самой Надежды Филаретовны, хотя, разумеется, не ведала о том. Правда, Надежда Филаретовна не предлагала себя любимому композитору, да и как отважиться предложить такой товар?.. Она почувствовала, что при этой мысли закружилась голова и отращивание сухой рот. Тело сорокашестилетней женщины, давшей жизнь одиннадцати детям. Да нет же, она и не думала ни о чем подобном! Ну, зачем уж так?.. — прервала себя Надежда Филаретовна. — Человек думает о чем угодно и в мыслях имеет порой такое, за что мало колесовать, сжечь живьем или до конца дней поставить к позорному столбу. Если бы судили за мысли, едва ли бы кто избежал виселицы. Даже святые схимники, не то что стареющая грешная женщина в самой опасной поре бабьего лета, как принято называть печальную пору последнего цветения, за которым пустота, бесплодие, холод умирания.

И все же, положив руку на сердце, — продолжала убеждать себя Надежда Филаретовна, — мне ничего не нужно было от Петра Ильича, кроме музыки. Но ведь музыка неразрывна с человеком. И если мне нужна была только музыка, зачем же понадобилось вступать в переписку с композитором? Значит, и человек мне нужен. Да, Человек — торжественно, с большой буквы, но не муж и не возлюбленный. И не надо в самоуничижении ставить себя на одну доску с замоскворецкой девицей, — поверим этой святой лжи, — Милюковой Антониной Ивановной. А имею ли я право подвергать сомнению честность намерений Антонины Ивановны? Да, я не верю ей. Не верю наивности ее порыва, заставившего написать незнакомому, известному, одинокому мужчине. Да, не верю! И потом, девица, приближающаяся к тридцати, — уж очень перезрелая и, надо полагать, опытная девица. «Перестарок», — как говорят у меня в людской. И вы знали, кому пишете, Антонина Ивановна! Не то чтобы вы знали истинную цену человеку, которому писали, понимали его музыку. Из писем Петра Ильича я пошла по каким-то неуловимым признакам, что бывшая посетительница музыкальных курсов даже не знает музыки Чайковского, а если и слышала ее, то безотчетно, не загоревшись, не заболев этой музыкой. Зато вы знали, что обращаетесь к человеку наив-

тому, не искушенному в женских хитростях, не защищенному ни от лукавства, ни от дешевой игры, которую в два счета разгадал бы и высмеял среднее опытный мужчина. Вы пошло и грубо обманули большого ребенка, затащив его к себе, а потом разыграв, весьма запоздало и холодно, девичий стыд и намерение покончить с собой. А он поверил, бедный, поверил, что ваш охладелый труп обнаружат в Канаве против Болота или в Москве-реке против Девичьего монастыря, что куда поэтичнее. Исполненный веры и жалости, обманутый собственной оперой, в судьбу которой вы с такой дьявольской удачливостью вплелись, понуждаемый к тому же семьей, страшившейся его одиночества и неприкаянности в будущем, Петр Ильич принес себя в жертву вашей корысти, своей несвоевременной щепетильности и рыцарственному отношению к слабому полу.

Несчастный, в последней отчаянной попытке спастись, ибо в угрожающей близости толстой, вульгарной, смазливой и алчной бабы заколебались все рыцарственные устои, он стал убеждать вас, какой у него тяжелый, непереносимый характер, какой он раздражительный, нервный и нелюдямый человек. Он изобразил себя ипохондриком, угрюмым отшельником, человеконенавистником, почти извергом, к тому же без гроша в кармане. Но вы, чувствительная натура, обрекающая себя на гибель за одно-единственное, невинное посещение, с выдержкой спартанского героя и равнодушием врача лепрозория, которому жалуются на простуду, и бровью не повели в ответ на этот жалкий лепет. Ведь у вас же не было иных намерений, кроме как холить и лелеять эту одинокую душу. А Петр Ильич, к вашему сведению, вовсе не так одинок. У него есть близкие, которых он нежно любит, а сестру Сашу и вовсе боготворит, есть ученики, есть сильный покровитель Николай Рубинштейн, есть друг, готовый оборонить его от всех напастей, бед и невзгод, готовый сделать его жизнь безоблачной, готовый убрать с его дороги любой камешек, да что там, лечь ему под ноги, если понадобится!.. Но что значат отчий дом, сестра, что значат учитель и ученики, что значат друзья перед женщиной, которую он уже мысленно назвал женой!

И тут уже не в Милюковой дело, не в этом ничтожестве. Вы обманывали меня, милый друг. Не потому, что вам хотелось обмануть меня, а потому, что обманывались сами. Да, да!.. Люди тешат себя мыслью, что видят других насквозь. И так действительно бывает в отдельных, редких случаях, когда объект наблюдения руководствуется плоскими и прямыми вожделениями, преследует грубо практические цели. На самом деле это не значит «видеть насквозь», а всего лишь — какую-то малую, хоть и существенную сторону человека. Остальное — скрыто. И вообще мы удивительно плохо знаем друг друга. И не только тех, кто вдалеке от нас. Мы не знаем близких, самых близких людей, тех, в ком мы заинтересованы всей кровью, которых мы видим изо дня в день, наблюдаем сознательно и, что куда важнее, бессознательно, ибо знать их нам жизненно необходимо. Родители не знают детей, а дети — родителей, муж не знает жены, с которой спит четверть века в одной кровати, а жена не знает мужа, любовники не знают друг друга и не стремятся узнать, ибо

тогда они перестанут быть любовниками, подчиненные не знают хозяев, а хозяева в той же мере — подчиненных. Все главное в человеке запрятано в такие глубины, что туда не проникает луч света. Но вот самое важное, милый друг, мы не знаем себя, как не знаем других. И я не в обиде на ваш невольный обман — самообман. Вы, пренебрегая честью мужчины, признавались в письмах, что жена внушает вам чуть ли не физическое отвращение, хоть и не произносили самих слов. А на деле вы... вы испытываете к ней если не страсть, то влечение, почти равное страсти?..

Надежда Филаретовна горестно гордилась своей пронзительностью, умением читать между строк, извлекать истину со дна бездонного колодца, а между тем ее умозаклучения не имели, да и не могли иметь, никакого отношения к Чайковскому. Она ни спом, ни духом не догадывалась о трагикомедии перевертня, решившего зажить обычной жизнью, стать как все, и с отчаянием убедившегося, что этот путь ему заказан.

Страстная, бескомпромиссная душа Надежды Филаретовны, распятая на пыточном станке необъяснимым молчанием Чайковского, когда он должен, обязан был говорить с ней, могла либо навсегда осудить Петра Ильича за обман, либо полностью снять с него вину. «Он сам заблуждался в существо своего чувства к Антонине Ивановне и невольно ввел меня в заблуждение» — это был уже оправдательный вердикт. Но чего-то она все-таки не могла простить Петру Ильичу. То не было его нынешним молчанием, ибо за этим молчанием могли оказаться болезнь, беда, несчастье, нечто грозное и лишь до поры неизвестное...

Я не могу простить вам, Петр Ильич, что вы пробудили во мне слишком много женского, с чем я давно простилась. А уж если начистоту — чего даже не испытала в своей прежней жизни с мужем. Впрочем, мне претят категорические утверждения. Я никогда не изменяла Карлу Федоровичу, даже это беспорное утверждение справедливо лишь до какого-то предела. Я без числа изменяла Карлу Федоровичу, но только с ним самим. И это тоже грех, если не идти на моральные сделки. Тем менее могу я утверждать, что никогда не ревновала покойного мужа. Он, правда, не давал мне прямых оснований для ревности; и все же я ревновала его — и не только к работе, делам, поглощавшим почти все его существо, но и к молодым красивым женщинам. При этом довольно было чуть задержавшегося взгляда, изменившейся интонации, дрогнувших век, чтобы во мне вспыхнула ревность. Я вообще ревнива. Я ревновала своих детей к кормилицам, мамкам, гувернерам, гувернанткам, к подругам и товарищам детских игр, друг к другу, к отцу особенно, даже к животным — собакам, кошкам, лошадям. Но я никогда не ревновала низко. Я расхваливала женщину, привлекающую взгляд мужа, и не пыталась унижить ее, бросить вскользь, что она косит или у нее дурно пахнет изо рта, да мало ли пакостей, на которые так щедры ревнивые жены. А сейчас я унизилась до выслушивания сплетен об Антонине Ивановне, хотя и в глаза ее не видела, до высказывания вслух каких-то колкостей в ее адрес. И печально, что эти колкости никогда не до-

стигнут ее слуха. Тем хуже... Я думала о ней скверно, низко, мелко, желала ей зла. Пусть никто об этом не знает, но я-то знаю и не прощаю себе. И я продолжаю ее ненавидеть. Я боюсь этой самки, дуры вабитой, недоучки, сладкоежки, полуживотного. Боюсь по-женски и не прощаю вам этого, Петр Ильич. Я сама не понимаю, откуда во мне столько злобы и низости. Со смертью Карла Федоровича кончилась моя женская жизнь, я удалилась из общества, стала жить только домом, детьми, их учением, играми, заботами. Я оставила для себя лишь музыку и в ней сохраняла прежний мир чувств. И я была счастлива и ни о чем не жалела, кроме безвременной смерти моего дорогого мужа. И вдруг в мою тишину и чистоту ворвалась баба, ревнивая, злобная, завистливая, ненавидящая, неопытно страдающая. И эта баба я сама. Боже мой, какой стыд! Старуха! Бабушка! Моя старшая дочь давно уже бывает в свете, мой старший сын — правовед. У меня седые пряди в волосах, кожа потеряла гладкость, стала сухой и жесткой, я забыла время, когда была женщиной, когда открывалась своему мужу и приносила ему детей. Природа была щедра ко мне, одиннадцать раз становилась я матерью. Слишком щедра, это иссушило меня до срока, — подумала она с внезапной злостью, и тут же нестерпимый стыд румянцем ожег ей щеки. Не хватало еще, чтобы она стала роптать на природу за самый лучший ее дар из многих даров, излитых на нее, — за то, что она дала жизнь стольким прекрасным человеческим существам. И почему она называет себя старухой? И пяти лет не прошло с тех пор, как родилась ее младшая, Милочка, так заинтересовавшая Петра Ильича. Трогала и волновала непонятная взаимная тяга композитора и девочки. Милочка подолгу рассматривала портрет Петра Ильича, и в конце концов Надежда Филаретовна не без сожаления подарила ей фотографию композитора с дарственной надписью, адресованной, разумеется, матери, а не дочери. Однажды, когда она писала милому другу, девочка спросила: «Кому ты пишешь?» — «Господину Чайковскому». — «А почему ты ему все время пишешь?» — «Потому что люблю господина Чайковского!» — «Почему же ты не пишешь королю Баварскому, ведь ты его тоже любишь?» — сказала с чуть смутившей Надежду Филаретовну сложной интонацией четырехлетняя Милочка. Конечно, через мгновение мать поняла, что сама сочинила эту сложную интонацию, на самом же деле тут не было ничего, кроме очаровательной детской наивности. Надежда Филаретовна как-то обмолвилась при Милочке, что любит короля Баварского за его отношение к музыке и музыкантам. Цепкий детский ум запомнил эту фразу. И странно было, что Петр Ильич, которому она написала о смешной и трогательной выходке дочери, сухо промолчал в ответ. Ей захотелось сейчас же увидеть Милочку, эту живую связь с ее недавней, совсем недавней молодостью, — крепкую, крупненькую, здоровую и красивую Милочку.

Когда Надежда Филаретовна вошла в детскую, Милочка поспешно поставила на столик фотографию Петра Ильича. И Надежде Филаретовне привиделось нечто мистическое в том, что ее меньшая тоже пребывает с Петром Ильичом Чайковским. Радость или горе

сулит столь удивительное совпадение? Подобно многим атеистам, Надежда Филаретовна была суеверна.

— Ты рассматривала карточку господина Чайковского, маленькая? Не правда ли, какое у него прекрасное лицо?

— Да, мамочка.— Дитя сподобья глядело на мать.

Надежда Филаретовна на мгновение поднесла к глазам фотографию и поставила на столик. Милочка с большим облегчением поняла, что мать не заметила крошечных дырочек в зрачках композитора, проколотых булавкой. Милочка только что произвела обряд страшной мести, ослепив Петра Ильича.

— Ты любишь господина Чайковского?

— Очень,— хладнокровно ответило дитя.

— Люби его, маленькая. Он замечательный, редкий человек! И величайший композитор.

— Я и люблю,— поспешила заверить Милочка.

Поцеловав ее в лоб и темя, прикоснувшись губами к тому нежному, благоуханному, что было залогом и ее дрящейся молодости, Надежда Филаретовна со слезами на глазах вышла из детской.

...Возвращаясь к себе, она глянула в залитый луной дворик. В серебряном свете небывало огромной, какой-то праздничной луны вемудреный московский дворничко с чахлыми кустами сирени и высохшим плющом на брандмауэре соседнего дома, с каретным и дровяным сараями напоминал итальянское патио, задумчивое, исполненное грусти и тайны. Под необлетевшим кустом персидской сирени сидели на лавочке двое и тихо беседовали. Один из них курил, и красный огонек сигарки описывал плавные дуги в невидимой руке. По этой плавности жеста, сопровождающего речь, фон Мекк угадал своего управляющего. Другой собеседник был ей невидим и неведом. Внезапно она почувствовала острый укол зависти к этим безмятежным людям, которым нет никакого дела до всех ее забот, мук, сомнений, тревог; они вышли покурить и почесать языки в теплый вечер благодатной осени и, накурившись, надышавшись прелой листвой, теплой землей, наслушавшись отдаленной, затухающей музыки громадного города, спокойно завалятся спать и крепко проспят до самого утра, в то время как она лишь перед рассветом, когда пепельно обозначатся шелковые шторы, забудется коротким, не дающим утolenия сном.

Надежда Филаретовна заблуждалась в отношении людей во дворе. Собеседникам под персидской сиренью не было ни спокойно, ни по-вечернему безмятежно на душе. Им было весьма тревожно, и предмет их тревог совпадал с тем, что не давал покоя Надежде Филаретовне.

— Неужто и слушать не стала? — тяжелым своим голосом спрашивал Игудов.— Может, какая другая причина ихнего нерасположения? Не темнишь ли ты со мной, Василий Сергеевич?

— Грех вам так думать, Иван Прокофьевич, не то что все прозносить! — искренне огорчился управляющий.— Кажется, не пер-

вый год дела ведем. Да и какая мне корысть обманывать вас? Говорю и повторяю: в трауре она, ихний протееже, господин Чайковский, писать не изволит.

— Протееже — это как понять?.. Кем он ей доводится — сиппатеией или кем другим?

— Никем. Композитор он, музыку пишшет.

— Нешто ее пишшут? — удивился Жгутов. — Я думал, поют или играют.

Наивность Жгутова не дала управляющему даже секундного ощущения собственного превосходства. Он лишь умиленно подумал: «Господи, да он даже не знает, что музыку пишшут! Одет как чучело огородное, живет в избе, куда и скотина заходит погреться, а ведь одним зубком меня перекусит. И меня, и жену мою, душеньку, и сыпков-гимназистов перекусит, как ласка птичье горлышко. Кто я против тебя: нуль без палочки». Он ответил обстоятельно и серьезно:

— Музыку сперва сочинить надо и записать нотными крючками, а там пой, играй, пляши, как твоя душа пожелает.

— И какую же он музыку сочинил?

— Всю, какая есть. И церковную: «Разбойника благоразумного», «Псалмы Давида», и светскую: «В пустынных дева шла местах», «Блоху», «Стонет сизый голубочек», «Тигренка»...

Василий Сергеевич перечислил все известные ему наиболее значительные музыкальные сочинения, о каких, быть может, слышали и Жгутов. К тому же он полагал, что хоть часть этих выдающихся вещей действительно принадлежит Чайковскому, иначе и поведение Надежды Филаретовны, и гонор композитора не имеют оправдания.

— Надо же! — удивился Жгутов и продолжал строгим голосом: — А чего же он барыне не пишшет? Такую капитальную женщину огорчает.

— Он сам генерал... Но, — Василий Сергеевич понизил голос, словно опасаясь, что у ночи есть уши, — все подчистую в карты спускает, и барыня наша ему за это пенсioen выплачивает. Видите, почтнейший Иван Прокофьевич, насколько я с вами доверителен и весь нараспашку. Если до барыни дойдет, как я об ихнем протееже рассуждаю, быть мне без места.

Но Иван Прокофьевич вроде бы не слышал этих признаний, он что-то соображал своей большой и тяжелой, как котел, головой. И сообразил:

— Коли так... коли ты правду мне говоришь, должно быть письмо. Долго ему не продержаться, напишет. Вот только когда?

— Да... — вздохнул управляющий, — мы и сами ждем. Каждое утро мальчонку на почту гоняем, почтаря дожидаться не можем. Малый туда птицей летит, обратно едва ноги волочит и загодя ревя ревет.

— Это почему же? — рассеянно спросил Жгутов.

— А ему непременно по затылку влетает, что пустой пришел. Хотя, с другой стороны, чем малец виноват?.. — справедливо рассудил управляющий и втоптал в землю окурок. — На боковую никак пора?

— За ворота выйду, — сказал Жгутов.

— А что бы по столице пройтись? — оживился управляющий. — Все-таки громадный городишко! У нас тут неподалеку, на Трубе, увеселения всякие, балаганы, полпивные и настоящие рестораны с шампанским, блинами, икрой! И насчет всего прочего, если пожелаете, — он снова понизил голос почти до шепота, — очень свободно. И заведения... и можно по-благородному комнату снять. Вот дом Малюшина на Сретенке — молодые девицы и замужние дамочки, даже из благородных случаются.

— А ты почему знаешь? — хмуро спросил Жгутов. — Или пользовался? Может, компанию составишь?

— Мне нельзя... Меня тут каждая собака знает. А вы человек приезжий, вольный...

— Без интереса! — грубо оборвал Жгутов. — Я за воротами постою.

— Как будет угодно, — поклонился управляющий.

...Иван Прокофьевич вышел за ворота. Довольно крепкий, хотя и теплый, ветер тревожил пламя газовых фонарей, отчего тени домов, деревьев, заборов на булыжной мостовой и плитняке тротуара находились в непрерывном движении. Они смещались то в одну, то в другую сторону, наслаивались друг на дружку, сливались и размыкались, и казалось, сама улица раскачивается на волнах ночи. Ивану Прокофьевичу не понравилось шальное поведение улицы, и окончательно отбило у него охоту знакомиться с этим большим и сомнительным городом, где скопилось столько богатств, столько золота и товаров, где заключаются ежедневно бесчисленные сделки, где все продается и покупается, где и по ночам горит свет, играет музыка, льется рекой вино, где спускают в карты целые состояния, где коммерческие дела зависят от записульки, которую музыкально-карточный генерал не удосужился послать чувствительной и ивдральной барыне, вдове самого ловкого дельца, самого бесстрашного воротилы Российской империи. И кой черт его, человека семейного, богобоязненного, в делах строгого и точного, занесло в этот чертов вертеп? Не плюнуть ли на все да и махнуть домой? Дел и так не счесть, всех денег не заберешь, что-то и другим оставить нужно. Тут проиграл, там выиграл... Да и чего он такого проиграл? Ну, потерял неделю, зато хоть Москву повидал, когда ехал на извозчике с Казанского вокзала на Рождественский бульвар, будет что рассказать старухе и про колокольный звон, и сколько тут церквей, крестов золотых, и какой пышный белый хлеб выпекают, и как чудно люди одеваются. А что, если впрямь зайти в дом Малюшина на Сретенке, переночевать там с какой-нибудь чиновницей или майорской вдовой и по утреннему холодку двинуться восвояси? Но близко, рукой достать, чернели убегающие вправо и влево нерослые деревья бульвара, и они вновь прикинулись стройными великанами, лесом, принадлежавшим ему по праву.

«Нет, погожу еще день, — решил Иван Прокофьевич, — авось напишет этот гуслир, а там, может, чего прояснится...»

...Из своего окна Юлия всегда могла определить, погашен свет

у матери или нет. В этот вечер, тревожась за мать, она уже несколько раз вставала с кровати. И за полночь у матери все горел свет. Но в доме существовали правила, нарушить которые возбранялось и самой нежной любви. Надежда Филаретовна не терпела, чтобы к ней заходили в спальню. Лишь старая камеристка видела ее в утреннем беспорядке, остальным домочадцам, даже крошечной Милочке, она являлась при всех доспехах. «А как же у нее было с отцом? — краснея, думала Юлия. — Наверное, маму выручал наряд темноты...»

Некрасивая Юлия давно исключила для себя возможность счастливого брака. Замужество без любви она отвергла всей гордостью и душевной опрятностью. «Не я одна такая, — смиренно думала Юлия, — очевидно, для высокой игры господа бога зачем-то нужны и такие, навек одинокие. Нужно, чтобы существовал какой-то свободный резерв любви, которым господь может располагать по своему усмотрению». Но пока Юлия не получила знамения свыше отдать свою любовь страждущим — она даже не очень отчетливо представляла себе, где находятся эти страждущие, рисовавшиеся ей чем-то вроде нахальных нищих Петровского пассажа, — все тепло души изливала на мать. Юлия не только любила мать, восхищалась ею, но порой страстно жалела, она постоянно думала о ней, о сильной жизни ее духа и плоти, способных во всем доходить до края. Сама Юлия, начиная задыхаться от слишком пристального взгляда молодого скрипача Пахульского, хотя он вовсе не правился ей, с восторженным ужасом думала о том жизненном грузе, какой несла на своих прямых плечах ее мать. Дело не в том, что семнадцатилетняя девушка отважно и вполне сознательно согласилась разделить судьбу непростого и очень взрослого человека — Карла фон Мекка, и не в том даже, что, кроме самой Юлии, она дала жизнь еще десятиным, а в том, сколько любви, сил, заботы, волнений излила она на каждого из них, не теряя при этом ничего в собственной личности, собственных, непричастных семье и детям интересах (нет, это слово слишком пресно, когда речь идет о таком человеке, как ее мать).

После смерти отца мать удалилась в некий внутренний монастырь. Все, что ранее широко, щедро тратилось на внешнюю жизнь и на мужа, теперь обратилось только на дом и детей. Ее чрезмерная требовательность, властность, неожиданная склонность к фаворитизму создали из домашней жизни некое подобие двора времен Анны Иоанновны. И какая-то угрюмость вдруг обнаружилась в ней. Она сама называла это звучным словом «мизантропия», но в русском варианте заграничная смесь из тоски, разочарования, отчуждения и нелююдности отдавала Салтычихой. При всей своей безграничной любви к матери, а может, вследствие этой любви Юлия видела ее без прикрас, без розового флера. И тем радостнее было для нее, что она куда чаще заслуживала восторга, нежели осуждения. А потом мать придумала себе Чайковского, и мизантропию как рукой сняло. Юлия улыбнулась собственной дерзости. Она знала, что мать не «придумала» Чайковского, а пришла к нему путем души, но ей нравилось так вольничать про себя. И в доме вновь стало легко, весело, музыкально. Она никогда не была так близка с матерью, как в «дни

Чайковского», и невольно испытывала благодарность к нему за это сближение, хотя где-то рядом с добрым в ней все время шевелилась ревность.

Мать давала ей читать письма Петра Ильича, часто они читали их вместе. Играли в четыре руки музыку Чайковского, пели в два голоса его романсы, говорили о нем. И вскоре Юлии перестало быть в ревнивую тягость постоянное присутствие третьего лица. Ее любовь к матери не была эгоистической, захватнической, а кроме того, она узнала о договоре, заключенном между матерью и композитором: никогда не встречаться. Быть может, если б милый призрак материализовался и стал возле матери во всей грубой несомненности своего земного образа — при бороде и усах, — отношение к нему Юлии стало бы менее снисходительным.

Впрочем, в последнее время ее отношение к Чайковскому сильно поколебалось. Прежде всего Юлию оскорбило, что Петр Ильич так неловко соединил в письме свое намерение посвятить Надежде Филаретовне Четвертую симфонию с просьбой о деньгах. Получилась будто бы обменная сделка. Но гнев матери и собственное размышление убедили ее, что бьющая в глаза очевидность такой неловкости оправдывает Петра Ильича, свидетельствуя о его почти детской наивности. И Юлия была до конца искренна, когда просила у матери прощения за дурные мысли. Правда, она опять не угодила, она позволила себе выразиться о Чайковском как о смертном человеке, а он, оказывается, бог, не подлежащий людскому суду. Но если он бог, то бог жестокий. Ему доверилась высокая, патетическая душа, а он то и дело повергает ее в отчаяние...

Сперва эта нелепая женитьба, затем какое-то судорожное, почти истерическое раскаяние в содеянном, страшное, черное письмо, а после короткого просвета, когда повеяло прежним Чайковским, творцом благодати, новый взрыв горести — и вдруг необъяснимое смирение перед судьбой, готовность принять случившееся и, наконец, провал в неизвестность. Мать все чего-то ждала, она не показала Юлии последнего письма Чайковского, лишь глухо сказала, что желает ему покоя, раз нет счастья, что худой мир лучше доброй ссоры. Ото всех этих тривиальностей, столь чуждых Надежде Филаретовне, веяло душевным смятением. Но и это было не так страшно, как теперешняя растерзанность. Это началось, едва они вернулись из Италии и переступили порог дома. Первый вопрос Надежды Филаретовны был о почте. Ей подали всю скопившуюся за время их отсутствия корреспонденцию. Она расшвыряла конверты, убедилась, что письма от Чайковского нет, и почти зримо рухнула душой. Почему ей так важно было это письмо? И что вообще в судьбе и жизни господина Чайковского может так болезненно затронуть мать? В конце концов, у матери к нему интерес чисто музыкальный, конечно, и дружеский, но опять же через музыку. Впрочем, мать всегда доходит до края в своих привязанностях, так же как и в своих антипатиях. Чайковский нанес удар ее гордости, вмешав в их отношения ничтожную, глупую мешающую. Неприятно, конечно, но отнюдь не смертельно. Жизни и здоровью Петра Ильича ровным счетом ничто не угрожает, страхи

и терзания матери лишены всякого основания и коренятся лишь в ее могучем, необузданном нраве. Придуманый господи Чайковский не состоялся, его реальный образ оказался куда сложнее, мутнее, хаотичнее. Чрезмерную самостоятельность мать трудно переносила и в людях, вовсе от нее не зависящих, отсюда ее вечные контры с мятежным Николаем Рубинштейном, в людях же зависимых — морально или материально — вовсе не терпела. Вот в чем истинная причина страданий матери, — содрогаясь от собственной провинительности, решила Юлия. И пришла к выводу, делающему честь ее доброй душе: все взять на себя. Пусть это и не слишком прилично, она сама напишет Чайковскому. Видать, ему на роду положено получать письма от незнакомых женщин. Она скажет одно: не будьте жестоким. Он поймет, ответит, и мать получит назад свою поломанную игрушку...

...Юлия ошибалась, думая, что Надежда Филаретовна томится бессонницей. Обморочный сон свалил ее мгновенно, и она просто не успела погасить ночника. Это был не сон даже, а какое-то новое существование. В этом странном сне она плакала настоящими слезами и чувствовала свои мокрые глаза; она кричала и слышала свой крик, все, что происходило с ней в этом сне, она ощущала телесно, и, когда очнулась, испытанное оставалось в костях и мышцах.

Ей виделась Москва, московский поздний вечер, промозглый вечер с ледяным ветром и мелким, секущим дождем. И Петр Ильич в черном длинном пальто с поднятым воротником и кастровой шляпе, глубоко надвинутой на глаза, все тащил ее куда-то, сильно, настойчиво и бесцеремонно сжимая ей локоть. Надежде Филаретовне был и радостен и чем-то страшен властный жим его руки, она хотела спросить, куда они идут, но вопрос не получался, словно она забыла, как произносятся слова. А Петр Ильич, догадываясь о невысказанном вопросе, раздраженно твердил: «Надо!», «Надо!», «Надо!» — «Почему надо?» — наконец вырвалось у нее. Спутник не ответил, и тут они оказались у высоких мрачных зданий, бывших одновременно соборами и театрами. Там шла вечерня, но отправляли ее не богослужители, а актеры, и у входа продавались билеты. Это не столько удивило Надежду Филаретовну, она готова была к чему-то подобному, сколько укрепило в тягостных предчувствиях. Она вдруг обнаружила, что храмы безмолвствуют и все вокруг погружено в мертвую тишину. «Звуки умерли!» — нетерпеливо и еще более раздраженно пояснил Чайковский, снова угадав ее вопрос. «Неужели вы сами не знаете, что звуки умерли». Но она знала это, только почему-то скрывала и от Чайковского, и от самой себя. Обеззвучились все скрипки, виолончели, флейты, трубы, рожки, ни один клавиш рояля не родит звука, ни одно горло — песни. Музыка умерла, потому что свершилось предательство. Какое — она не умела назвать. Музыка умерла в Петре Ильиче, оттого все смолкло вокруг. И чудовищные храмы-театры возникли из того, что всякая суть утратила свой образ.

Она не удивилась, когда черные громады зданий раздались и будто истаяли в воздухе, а они оказались у темной маслянистой

воды. Она сразу узнала Канаву, рукав Москвы-реки и место — возле Большой Полянки, за Малым Каменным мостом. В мгновенно сгустившихся сумерках отчетливо рисовался округлый угол того ушедшего в землю дома, который, по слухам, строил Баженов. Тут все было привычно, как в яви: и высокая каланча в глубине улицы, и аптека против дома Баженова, и фонарь на углу. И две монашки, прошагавшие им навстречу грубым мужским шагом, обметая мокрый булыжник тяжелыми захлюстанными подолами, принадлежали обычной жизни, так же как и солдат-инвалид, пытавшийся раскурить трубочку с помощью огнива, прикрывая тлеющий шнур полóй куртки. И вместе с тем все это: дождь, ветер, лужи, набережная, аптека, монашки, солдат — были знаками какого-то иного, оскудевшего, опустошившегося бытия, в котором не осталось никакой малости, ради которой стоило бы жить. И она вдруг покорилась неизбежному, утормошила шаг и первая вышла к каменной лесенке, сбегаящей к воде. Река противно хлюпала, будто чмокала спросонок толстыми губами. И что-то плыло по темной, мутной, нездоровой воде — как-то деревяшки, банки, трупы мелких животных, всякая городская нечистота, ворочаясь, неслась по течению, чтобы в конце пути раствориться в море.

Петр Ильич, чуть отставший, подошел к ней странной, дергающейся походкой, словно его поразили нервный тик, снял шляпу, перчатки вместе с тростью протянул ей. Надежда Филаретовна удивилась, зачем он это делает, и Петр Ильич сказал все так же раздраженно: «Неужели вы не знаете, что шляпу, перчатки и трость следует сдавать в гардероб?» — «А пальто?» — робко и бессмысленно спросила Надежда Филаретовна. «Мы не в театре! — резко ответил Петр Ильич. — Ведите себя прилично!» И тут он вдруг напустился на Карла Федоровича фон Мекка, не потрудившегося за столько лет совместной жизни научить жену, как надо вести себя при самоубийстве. «Инженер-дворянин! — язвил Петр Ильич. — Остзейский дворянин!» — добавлял с дьявольской иронией. Надежде Филаретовне казалось, что мужа он мог бы оставить в покое. Но вообще Петр Ильич необыкновенно нравился ей в эти минуты. Нравился даже дерзким необоснованным осуждением остзейских дворян, допускающих грубые пробелы в воспитании своих жен. Он был очень хорош, Петр Ильич, — выше ростом и стройнее, чем она привыкла думать, суше, подбористее фигурой, лицом колючее, резче. Было в нем что-то мужское и победительное вопреки тому поступку слабости, что он намеревался совершить. И это так заворожило Надежду Филаретовну, что она не пыталась ни остановить, ни отговорить Петра Ильича.

Меж тем Петр Ильич уже вошел в реку. Предварительно он потрогал воду ногой в черной лакированной туфле, как это делают робкие купальщики, и произнес что-то похожее на «б-р-р!». Затем стал медленно погружаться: по щиколотки, по колени, по бедра — вот уже всплыли вокруг него полы длинного пальто. Она чувствовала своей плотью, как смертельный холод подымается у него от ног к животу, груди. А Петр Ильич шел все дальше, погружался все глубже, брезгливо отталкивая от себя гнилые доски, пустые бутылки,

картонные коробки. И тут Надежда Филаретовна наконец поняла, что Петра Ильича больше не будет, он скроется под водой, а потом всплывет далеко отсюда, и его тоже понесет к морю черная равнодушная вода. Она страшно, пронзительно закричала. Петр Ильич испуганно повернул голову: «Замолчите! Услышит полиция!» Но она продолжала кричать и проснулась под этот крик и уже наяву видела идущего к ней мокрого негодующего Чайковского. «А ведь я спасла его», — подумала Надежда Филаретовна и проснулась окончательно. И сон вовсе не показался ей таким уж диким. Петр Ильич говорил в письмах о своем намерении развязать все узлы смертью. Всезнайка Котек писал, что Петр Ильич пытался смертельно простудиться и для этого действительно ночью залез по горло в Москву-реку. Почему Надежда Филаретовна столь внимательная ко всему, что касалось Чайковского, пропустила эти строки мимо себя с рассеянно-брезгливой grimасой? Надежда Филаретовна могла бы принять эту весть как метафору, выражающую последнюю степень крайности, до которой дошел милый друг. А тут не абстрагироваться надо было, а проглянуть простую и страшную суть. Чайковский вовсе не простудиться хотел в теплой воде Москвы-реки, а утопиться, покончить все расчеты с омерзительной жизнью. Но что-то вспугнуло его, заставило поспешно выйти на берег. «Ему помешал мой крик», — решила Надежда Филаретовна. — Это закричала моя душа, незримо следовавшая за ним...»

Позднее выяснится, что Петра Ильича и впрямь испугнул чей-то крик. Мазурики, которых полно в этой части города, кого-то грабили, и пострадавший громко зывал к полиции. Петр Ильич смертельно боялся всех представителей власти, особенно дворников и городских, он поспешил выскочить из воды, когда от небытия его отделяли какие-нибудь полшага. И Надежда Филаретовна, узнав об этом, окончательно уверилась, что то был ее спасительный крик, хотя прозвучал он в хриплом горле прохожего, подвергшегося нападению. Юпитер для достижения своих любовных целей не брезговал преображаться в быка, почему бы мистической цели Надежды Филаретовны не использовать гортань какого-то простолюдина, дабы спасти Чайковского!..

Странный сон как-то успокоил Надежду Филаретовну: нет, Петр Ильич нисколько не преувеличивал своих мук с этой женщиной, он заблуждался лишь относительно возможности длить свою жизньazole нее. На деле ни о каком втором дыхании чувства не может быть и речи. Он вернется к своему настоящему другу, будет письмо, не может не быть, с первой же почтой...

...Еще один человек в доме провел дурную ночь, но не утешился пробуждением — Жгутов Иван Прокофьевич. Заснуть ему мешали мысли о племянниках, сыновьях вдовой и небогатой сестры, на которых оставил дела. Всю ночь он с тоской и злобой думал, как они там без него хозяйничают. А хозяйство у Жгутова скопилось немалое: в одном имении — конезавод, при другом — смолокурня, в третьем строилась ситценабивная фабрика, а еще было два постоянных двора и питейное заведение. Племянников его несмышленишамп

никак не назовешь — все четверо были люди на возрасте, женатые, крепкой кости, низколобые, скуластые, узкоглазые, они при своей зверьей внешности отличались редкой пройдохливостью. Иван Прокофьевич держал их в ежовых рукавицах, награждал скудно, и тем не менее каждый сколотил капиталец, с каким можно и собственное дельце завести. И это при том, что он не оставлял их без досмотра больше чем на два-три дня. Сейчас его отсутствие длилось без дня неделю, за такой срок и менее оборотистые люди много чего успеют. Конечно, убытка прямого они ему не нанесут, не дураки, но, пользуясь безнадзорностью, могут слишком глубоко сунуть свои носы куда не следует. В деловом мире нередко бывает, когда близкий родственник, вчерашний друг и компаньон, становится конкурентом и лютым врагом. Племяши были хороши в нынешнем своем положении, нельзя им рук развязывать. И Жгутов настоял, чтобы управляющий ходил к барыне еще до получения почты. Сейчас она в утренних надеждах, отоспавшись и к роялю еще не прикасалась, может, выгорит дельце с налету. Ведь он знал, как быстро, решительно и точно умела вершить дела Надежда Филаретовна, достойная супруга, а ныне, увы, вдова незабвенного Карла Федоровича.

Управляющему до смерти не хотелось идти. Но потом он сообразил, что может увязать продажу леса с ремонтом сахарного завода, о чем Надежда Филаретовна писать изволила еще из Италии, а по приезде напрочь забыла, как и обо всем другом, не менее срочном. Перекрестившись, он отправился в господские покои.

А Жгутов заглянул в людскую. Там сидел веснушчатый недоросток по имени Ванек, отпрыск кухарки и швейцара, Гермес этого дома, которого каждое утро отправляли на почту, дабы не ждать хромого, медлительного почтальона. Мальчонка был легок на ногу, растропен и грамотен.

— Не ходил еще?

— Никак нет, господин Жгутов, — отозвался Ванек.

— Коли принесешь письмо, получишь четвертак, — пообещал Жгутов и зачем-то погрозил Ваньку пудовым, в рыжем волосе кулаком.

Потрясенный громадностью суммы, Ванек решил не дожидаться сложа руки милостей судьбы. Двадцать копеек стоил билет в балаган, где показывали русалку. А на пятак можно закупить тянучек, липучек и постного сахара. Пойди дождись такого!.. Раздобыл у своего золотоокантованного отца бумаги и чернил, он уединился во дворе и, напрыгавшись всем трехклассным образованием, сочинил письмо. Это письмо он вручит Жгутову в обмен на четвертак, после чего затеряется до отъезда купца. Последнее на тот случай, если госпожа фон Мекк заподозрит подделку. Вот что он написал:

«Милая Надя! Во первых строках своего письма сообщая что жив здоров чего и вам желаю. Я сочиняю всякую красивую музыку больше церковную в карты играю только по маленькой в самой лучшей компании. А еще кланяются вам все наши и желают счастья в вашей цветущей жизни. Остаюсь вашим мил другом, господин Чайковский».

...Он сложил вдвое листок бумаги и сунул за пазуху. Нахлобучил шапку и побежал на почту, вдруг ему повезет и он доставит настоящее письмо Чайковского, а если нет, то запечатает собственное послание. Конечно, только так говорится — побежал. Времени у него было предостаточно, и он тащился по улице, полной всевозможных соблазнов, тем разболтанным, медлительным шагом, какими слоняются по городу все московские мальчишки, даже когда им сказано: одна нога здесь, другая там. А Ванек был москвичом недавней выпечки. Швейцар забрал сына из деревни два года назад. Он шел вверх по крутизне бульвара. Полюбовался на голубей, сладко встревоженных теплой, совсем весенней погодой, посмотрел, как мужик нахлестывает клячонку, с возом березовых дров рывками и зигзагами одолевающую крутой подъем, повернул было за разносчиком фруктов с лотком яблок, коричневых груш и мраморных слив на голове, задержался возле слепой нищенки и долго вглядывался в ее глубокие глазницы, где слезились узкие бедные щелочки, пытаюсь понять, вправду ли она не видит или притворяется. Пока он стоял, в кружку нищенки со звоном падали медные монетки. «Чего уставился? — грубым голосом сказала нищенка. — Шел бы себе!» И он пошел дальше, подсчитывая в уме, сколько она насобирает за день, если при нем — минуты за три-четыре — ей кинули шесть грошиков и копейку. Сумма получалась настолько солидная, что он несколько раз проверил счет, прежде чем уверился в громадном доходе старухи. Даже если вычсть морозные и дождливые дни, когда по улицам никто не ходит, получалось, что быть слепцом выгоднее, чем, скажем, лакеем, швейцаром или почтальоном. Зато скучно — стой как прикованный, заводи глаза под лоб и канючь тонким, жалостным голосом. Никаких денег не захочется.

Ванек вышел к Сретенским воротам, оглушившим его многоголосьем толпы, скрипом тележных колес, цокотом копыт, дребезжанием пролеток, уханьем бочек, скатывающихся в винные подвалы братьев Перхушковых, что сразу за углом бульвара, криками торговцев сладостями и фруктами. Он нырнул в толпу, как в омут, радуясь ее бессмысленному возбуждению, будто все были малость под хмельком, и сам хмелея от толчеи, запахов, шумов и вдруг укрепившейся веры, что четвертак у него в кармане и он увидит русалку и досыта наестся тянучками, липучками и постным сахаром. В этой светлой уверенности он добрался до почты, вошел в припахивающую склепом контору и узнал, что писем для госпожи фон Мекк нету. Он не то чтобы легко, а как-то ожесточенно-весело перенес удар. Купил конверт и самую дешевую марку с изображением царской короны. Натерев пяточок чернилами, он отпечатал его несколько раз на обрывке подобранной с пола газеты, затем бледно отшлепнул на марку. Написал адрес по всем правилам: «Москва Рождественский бульвар. Ее высокоблагородию госпоже фон Мекк в собственном доме». Спрятал письмо за пазуху и тем же путем отправился домой.

...За время его отсутствия произошло очередное изгнание управляющего из кабинета госпожи фон Мекк. На сей раз она была пастроша вроде бы мягче, притихшая, сосредоточенная в себе, будто

решала в укроме какую-то важную для себя задачу. Она даже не спросила о почте, указала управляющему на стул и сама села напротив, за маленький инкрустированный столик. Похоже было, что она рада отвлечься чем-то посторонним от своих дум, да и вид рабочего столика, за которым она подписала столько важных бумаг, подействовал на Василия Сергеевича ободряюще, и он совершил неправую ошибку. Ему бы сразу выложить главное дело, но над ним тяготел хитрый план, одобренный Жгутовым, да и вид Надежды Филаретовны располагал к неторопливости, и он завел речь насчет ремонта сахарного завода. Он еще не добрался до конца, когда Надежда Филаретовна устало и спокойно сказала:

— Хорошо, Сергейч, я все это знаю и писала вам еще с дороги: приступайте. Зачем вы докучаете мне одним и тем же? Вы разве не видите, я плохо себя чувствую, мне не до вас. Почему люди такие жестокие, господа, почему?! — произнесла она с выражением, поразившим управляющего до дна души и приведшим в действие его слезные мешки.

Истинное горе обладает свойством затрагивать даже самые замшелые души. А управляющий вовсе не был дремучим человеком. Ему стоило громадного труда побороть в себе слабость чисто человеческого сочувствия фон Мекк и продолжить свою линию.

— Я осмеливаюсь беспокоить вашу милость, ибо возникает необходимость в дополнительных средствах. В связи с этим обстоятельством прошу обратить внимание на предложение купца первой гильдии господина Жгутова о приобретении леса...

Фон Мекк давно не слушала управляющего, вновь погрузившись в свою ночь. Но знакомое слово «лес», связавшееся в силу чисто временного совпадения с молчанием Чайковского, со всей ее мукой, пропизало глухоту невнимания и угодило пскрой в пороховой погреб.

— Подите воп! — сказала она, побледнев от бешепства...

Управляющий вышел и поплелся по коридору, волоча ноги, совсем забыв о том, что барыня не терпит шарканья. Его мысль перескочила сейчас почему-то на прокламацию, невесть кем подброшенную намедни во двор. Он с гневом порвал ее и кинул в печку, возмущаясь равнодушием полиции, допускающей распространение таких злокозненных воззваний. Там говорилось о царской власти и всех тех, кто поддерживает трон, и вывод был — надо с этим кончать. Василий Сергеевич думал, что при всей глупости листовки в ней содержится кое-что справедливое. Только потому, что Мекк какая-то «фон», она позволяет себе выдерживать в прихожей такого человека, как Иван Прокофьевич Жгутов, которому по уму и деловитости в подметки не годится. Россия вечно будет отставать от других стран, пока не сменятся порядки и у власти не станут люди, подобные Жгутову. Управляющий, сам того не ведая, пришел к сознанию необходимости буржуазной революции в России, то есть совершил громадный скачок в своем внутреннем развитии...

...Вернувшись с почты, Ванек сразу наткнулся на господина Жгутова, поджидавшего в воротах.

— Ну?! — грозно молвил Жгутов, схватив мальчонку за худое плечо.

Тот почувствовал тяжесть руки Жгутова и не посмел сказать свою ложь.

Жгутов в сердцах тряхнул Ванька, из-под рубашки выпало письмо. Жгутов нагнулся, ухватил письмо и отпустил Ванька, но тот и не думал бежать. Сильнее страха был в нем интерес, как воспримет Жгутов его писанину.

Купец осмотрел письмо, повертел его так и эдак, глянул на просвет, чуть ли не понюхал, задержался взглядом на штемпеле и спокойно разорвал конверт. Медленно шевеля губами, прочел письмо.

— Неужто сам сочинил? — спросил он без улыбки. — Важно составлено! — И не в лад словам трижды стукнул мальчонку по лбу костяшкой согнутого указательного пальца.

Тот собрался было зареветь, но с удивлением обнаружил, что удары не причиняют боли, палец не наказывал, скорее поощрял.

— Четвертачок с вашей милости, — сказал Ванек, собравшись с духом.

— Что-о? — Полуприкрытые тяжелыми веками глаза Жгутова распахнулись двумя неожиданно синими озерцами.

— А как же, — осмелел Ванек. — Уговор дороже денег. Обещали ведь: за письмо четвертак...

— Большие способности у щенка, — будто про себя сказал Жгутов и полез в карман.

Он вынул два пятака и пятиалтынный, погромел ими в ладошке и опустил назад в карман.

— Не дам, — сказал он, — за промашку твою не дам. Такие дела надо чисто делать. Чтoб комар носа не подточил. А ты штемпель не туда шмякнул.

Но отношения Ванька и Жгутова на том не кончились. Восхищенный способностями мальчишки, который в столь нежном возрасте проявил недюжинную деловую сметку, Жгутов решил забрать его к себе. Хорошо иметь близкого доверенного и толкового человека, который был бы тебе всем обязан, тобой выращен и вознесен. К сожалению, судьба обидела Ивана Прокофьевича, наградив его двумя курицами-дочками и сыном-дурачком. Дочек — бог с ними — выдаст замуж, даст за каждой сколько следует, и разговор окончен, но коли в сыне чужая кровь — это беда. Для него отцовы дела и заботы — ничто. Ноль внимания, фунт презрения! И бил его отец, и на хлебу воду сажал, и лишением наследства грозил — все тщетно. Парню шестнадцатый год, а он только и знает, что всяких мошек да бабочек собирать и в коробку булавками прикалывать. Смотреть противно и перед людьми совестно. Словом, сын — зачеркнутая строка жизни. О племянниках Жгутов после задержки в Москве и думать не мог без злобы. Конечно, он использует их сколько можно, но при себе удерживать не станет. Тертые калачи! Когда рядом, впритык, живешь — не замечаешь, а издали все видно. А вот такой Ванек лет через шесть-семь будет незаменим в любом деле. И, не откладывая в долгий ящик, Жгутов в тот же день переговорил с родителями

мальчика: важным глупым швейцаром с громадными, чисто промытыми бакенбардами и черпявой, похожей на галку, кухаркой, готовившей на челядинцев. Те, ясное дело, и не знали, как благодарить великодушного купца.

Пройдут годы, и сын Жгутова станет крупным ученым, членом Российской академии наук. Его именем назовут три вида бабочек, подвид жуков-дровосеков и красивую изумрудную муху, разносящую кожную болезнь, по его книгам будут учиться студенты-энтомологи... Ванек же не сделал карьеры, ошибся в нем Иван Прокофьевич. Характера он оказался шаткого, рассеянного, любил компанию, увеселения разные, рюмочку и гитару. Так и остался рядовым приказчиком, выделяясь среди других разве тем, что иногда подделывал векселек на мелкую сумму, бывал бит, сживал в кутузке...

...После ухода управляющего Надежде Филаретовне долго пахло лесом. Так иной раз бывает: мелочь, мелькнувшая в разговоре, будто заноза вбивается в душу, хотя весь остальной разговор ушел из памяти. Стоит задуматься, чем тебя задела, встревожила или рассердила пустая малость. Но Надежде Филаретовне не хотелось утрудить себя, она попыталась прогнать запах леса простым способом: дискредитацией собеседника. «И чего привязался хитрый дурак управляющий с этим лесом? Наверное, немалый куш с купца содрал. Но ведь тот как будто хорошую цепу предлагает?.. О господи,— оборвала она себя.— Какое мне дело до этого купчишки и его расчетов?..» Но запах леса не уходил, тревожный и горький, он повел ее привычным путем к Чайковскому, хотя лес вроде бы не играл никакой роли в их взаимоотношениях. Стоп!.. Играл-таки! Пусть не впрямую, а все же играл!

Петр Ильич связывал с лесом, принадлежащим Милюковым, какие-то жалкие расчеты. Да, да, Аптопина Ивановна уверила его, что есть лес в Клиском уезде и есть покупатель на этот лес, что это ее приданое, совсем немалое по тем стесненным обстоятельствам, в каких находился Чайковский. Бедный великий человек! Он надеялся с помощью леса разделаться с долгами, заткнуть зияющие дыры, оплатить расходы по свадьбе, свадебному путешествию и устройству дома. Он с важной и наивной горделивостью писал Надежде Филаретовне об этом лесе. Впрочем, горделивости, может, и не было, но вера в облегчение жизни, несомненно, звучала в его письме. И еще: в лесе ему виделась гарантия какой-то если не респектабельности, то хотя порядочности сомнительной семейки Милюковых. Как ни прост и ни доверчив Петр Ильич, он, натура художественная, с обостренным чутьем и безотчетно угадывает истинную ценность людей, вещей и событий. И верно, не сама Антонина Ивановна вызвала в нем тот взрыв отвращения, который привел к попытке самоубийства, а позор открывшегося обмана. Покупатель, как водится, в последний момент надул, а на лес предъявили наследственные права дальние родственники. Если только этот лес существовал не в одном разгоряченном воображении Антонины Ивановны. Да и певятица, которую столь

точный в письмах Петр Ильич допустил в изложении лесной истории, убеждала, что он не дал веры неуклюжим объяснениям Антонины Ивановны.

Так рухнули «лесные» планы Петра Ильича, и ему, надевавшемуся перевести дух, пришлось обращаться к своему милому, но чуточку обиженному, чуточку обманутому, чуточку заброшенному другу с просьбой о деньгах. Да, Петр Ильич умеет просить, не унижаясь, не теряя чувства собственного достоинства, ибо знает цену себе и знает цену мне, — подумала с гордостью Надежда Филаретовна. Но на этот раз ему было тяжело и неловко. Только успел он поверить в свою независимость, обеспеченную не мною, а наследственными владениями бояр Милюковых, как пришлось просить деньги на бракосочетание и даже на брачную постель. Конечно, просьба Петра Ильича была выполнена незамедлительно и с предельной деликатностью. Я позволила себе лишь самую крошечную месть, приказав управляющему зачислить эти деньги в графу: «нуждающимся музыкантам». Но, ей-богу, это вовсе не страшная месть, дурак управляющий ничего не повял, а больше никто о моей выходке не узнает. А мне нужен был хоть какой-то выдох, чтобы не разорвалось сердце.

Теперь ясно, что разочарование Петра Ильича в браке с Антониной Ивановной было полным и несомненным: он не нашел в ней Татьяны. Не нашел ни пылкой возлюбленной, ни жены-матери, заботливого, всепонимающего, опекающего друга; не нашел и тонкого слушателя, а уж этого он, во всяком случае, мог ждать от бывшей посетительницы музыкальных курсов; не нашел в ее семье тех добродетелей, о которых мечтал, одушевленный стремлением к собственному очагу и горшку наваристых щей; не нашел, наконец, и малой передышки в вечной своей материальной неустроенности. Зато увидел ложь, обман, лицемерие, мешчанскую пошлость, птичий умок и железную хватку хищницы, впевнившейся намертво в свой «последний шанс». И музыка замолкла в нем. По счастью, выдался короткий перерыв, позволивший закончить вчерне «Евгения Онегина» и приступить к инструментовке. Но Четвертая симфония, наша симфония, моя симфония, где она?..

Петр Ильич отказался выполнить маленький ее заказ — пьеску «Упрек» по теме Коне, сославшись на отсутствие необходимого творческого расположения. Все, что он написал по этому поводу, было очень интересно, глубоко, приоткрывало дверцу в тайное тайных художника. Но грустная истина состояла в том, что одержимость творчеством вообще покинула его. Он всегда утверждал, что работает как сапожник, так же неустанно, упорно, изо дня в день, в поту и в мыле; что, отнюдь не отвергая вдохновения, счастливого подъема всех душевных сил, ценит куда больше каждодневный кропотливый труд, без которого все эфемерно, ненадежно и лишено истинного величия. Его кумир, хрупкий, изящный Моцарт с детски припухлыми щеками, трудился тоже как сапожник, как настоящий ремесленник, уважающий свое ремесло и знамя цеха (в противопоставлении Моцарт — Сальери, Моцарт — тяжелый труд, а легкость — Сальери), так же работали Бетховен и божественный Рафаэль, создавший за

свой короткий век больше, чем целая художественная школа. И сам Петр Ильич умел так работать, а сейчас что-то сломалось в этом могучем и вместе хрупком механизме. Почему пет закона, оберегающего творцов? Почему в них можно стрелять, как Дантес в Пушкина, Мартынов в Лермонтова? Почему их можно распинать на кресте бытовых невзгод, порой столь же смертельных, как выстрел? Общество должно защищать своих гениев и в крайних случаях даже вмешиваться в их личную жизнь. Расторгнуть брак Чайковского и сдать Антонию Иванову в арестантские роты! Нет, это, конечно, чрезмерно, достаточно сослать в уезд под материнское крылышко, чтобы старая сводня устроила ее судьбу с уездным казначеем, аптекарем или мелкашом-борзатником. Но, боже мой, Петр Ильич никогда не допустит этого! И не только из благородства, готовности жертвовать собой для других, но и потому, что есть последнее письмо, где он ясно и недвусмысленно пишет о своем намерении любой ценой наладить жизнь с Антониной Ивановной. Почему я то и дело забываю об этом письме, почему делаю перед собой вид, будто его не было? Ведь в нем ключ ко всему происходящему. Да, если признать его соответствие сути вещей, а этого я как раз не могу и не хочу...

Надежда Филаретовна высоко ценила французских энциклопедистов. Ей нравилось, что, утверждая превосходство разума, они были людьми страстными, нежными, чувствительными. Да, они считали, что надо доверять разуму, что нет лучшего советчика во всех делах, чем могучий человеческий разум. Но они же умели беззаветно любить, умели быть нежными, преданными, даже надменный Гримм, не говоря уже о душевном Дидро. И Надежда Филаретовна решила проверить холодным разумом то, что принадлежало державе чувства. Тут не будет ничего унижающего ее отношения с Чайковским, если на сегодня она станет придирчивым следователем. Она просмотрит все письма того недоброй памяти дня, когда он известил ее о своем женитьбстве, и постарается понять ход его душевной жизни. Тем самым она уловит истинный смысл последнего письма и нынешнего молчания, узнает, остался ли при ней господин Чайковский или ей следует навсегда вычеркнуть из бюджета эту статью душевных, а равно и материальных расходов. И тут она сама испугалась своей сухой улыбки, больно напрягшей уголки губ.

Доставая письма из шкатулки слоновой кости, стоявшей на столике возле окна, Надежда Филаретовна не столько увидела, сколько угадала провал двора за окном. И ее странно царапнула мысль о многочисленных обитателях дома, существующих за счет семьи фон Мекк, связанных с ней маленькими надеждами и расчетами, страхом лишиться теплого места и при этом совершенно непричастных душевной сути своей хозяйки, равнодушных, не заинтересованных, ничего не ведающих и даже не стремящихся сделать хоть шаг в сторону от своего эгоизма. Снова и снова за последние дни гордая и нелюдимая фон Мекк подумала если не с болью, то с оттенком горечи о преградах, разделяющих людей. Упаси боже, она вовсе не хочет, чтоб ей сочувствовал лакей Петрушка, или выжига управляющий, или кухарка Марфа, или красноносая гувернантка мадемуазель

Бланш, или пахнувший крепким трубочным табаком мистер Джонс, гувернер мальчишек, или кучер Ерофей, или швейцар Никита Саввич, но есть что-то жутковатое в этой человеческой разобщенности, в одиночестве Несчастливого.

Откуда было знать Надежде Филаретовне, прожившей тепличную жизнь и едва ли не впервые соприкоснувшейся с настоящим страданием в собственной душе, как заняты люди делами друг друга, порой и вовсе бескорыстно. Как пристален мир к тем, от кого хоть что-то зависит! И как же заняты и озабочены обитатели дома фон Мекк всем происходящим с их властной хозяйкой!..

...Надежда Филаретовна запретила себя тревожить. Впервые запрет распространился даже на Юлию, к великому отчаянию той, даже на Милочку, которая быстро утешилась с няней, существом куда более интересным и приятным, чем мама.

И всех домашних, ожидавших, что по возвращении Ванька с почты опять начнется музыка и тяжелые всплески низкого рыдающего голоса, тяжело поразила воцарившаяся тишина. Эта мертвая тишина была куда страшнее любой бури, и люди окончательно пали духом.

Надев заказанные в Амстердаме очки с мощными стеклами, Надежда Филаретовна — она даже близким не показывалась в этих очках — в который раз, но уже по-новому перечитывала письма Петра Ильича. Ей казалось, что странички истончились, словно бы прикосновение пальцев неприметно снимало с бумаги слой за слоем. Это испугало ее, не хватало, чтобы письма перестали существовать.

Надежда Филаретовна с глубокой серьезностью предавалась непосильному занятию — прочитать письма будто со стороны, с полным беспристрастием, как архивный работник. Но каждая строка вызывала такое сердцебиение, что она вынуждена была то и дело прерывать чтение и даже принимать ландышевые капли. И все же постепенно ей удалось овладеть собой, волнение и слезы, набегавшие на глаза, уже не мешали вдумываться в смысл прочитанного. Надежде Филаретовне даже стало казаться, будто и впрямь возможен беспристрастный анализ, — чувства чувствами, а нож хирурга не дрогнет в руке. Конечно, нож дрожал, скользил, прыгал, кромсая где не надо, да иначе и быть не могло. Разве в силах была Надежда Филаретовна превратиться в другого человека, равнодушного к личности Чайковского!

Она как бы заново проходила путь Петра Ильича на Голгофу. Но то была и ее Голгофа. Нет сомнения, он жестоко страдал, когда обнаружил, что Антонина Ивановна отнюдь не Татьяна Ларина и что «щей горшок», оплаченный такой ценой, не послужит насыщению. Прозрение пришло к нему не сразу, но письмо от 18 апреля как будто поставило все на свои места:

«...Как только церемония свершилась, как только я очутился наедине со своей женой, с сознанием, что теперь наша судьба — жить неразлучно друг с другом, я вдруг почувствовал, что не только она не внушает мне даже простого дружеского чувства, но что она мне ненавистна в полнейшем значении этого слова. Мне показало

лось, что я или, по крайней мере, лучшая, даже единственная, хорошая часть меня, то есть музыкальность, погибла безвозвратно...»

Ну что ж, милый друг, поняв главное, вы должны были тут же порвать с этой женщиной, хотя и считали ее «ни в чем не виноватой». Но вы жалостливы и робки, вы подумали о самоубийстве, вспомнили о своих близких и укатили к сестре в Каменку. Наверное, ваша сестра необыкновенное существо, раз вы так любите ее, и муж у нее прекрасный человек, прелестные дети, очаровательны и ваши братья-близнецы, о которых вы пишете с такой трогательной нежностью, уважением и добротой, что душа во мне становится горячей и влажной. Среди этих людей, в милой вам природе, вы опять обратились к музыке и даже прислали весть о нашей симфонии, и мне показалось, что я вновь обретаю Чайковского — милого друга, пусть израненного, истерзанного, пусть даже что-то утратившего, мне еще трудно разобраться в этом, но моего Чайковского. Я вдруг уверилась, что бред вашей московской жизни остался навсегда позади, и, признаюсь, хотела помочь вам распутать мучительные узы. Но нет, судьба делает еще один невероятный зигзаг. Отдохнувшие нервы, заладившаяся работа вдруг настроили вас на лад примирения с женой, вьющей в Москве «гнездышко». Вы стали надеяться на обезболивающее воздействие привычки, даже вспомнили своего любимого Пушкина: «Привычка свыше нам дана, замена счастию она».

От вашего бессильного оптимизма мне стало невыразимо грустно. Я почувствовала, что мизантропия опять накрыла меня своей черной тенью, и сказала вам об этом. Вы отозвались странным, написанным в два приема письмом, которое, по собственному признанию, не хотели отсылать, а потом все же отослали с припиской куда-то страннее самого письма, а главное — начисто зачеркивающей его смысл. Что произошло тогда с вами, Петр Ильич, откуда такой крутой поворот чувств? Но коль поворот состоялся, зачем надо было посылать письмо, оборванное на словах ненависти к вашей жене и завершенное словами полного примирения с пей? Вначале вы пишете, что понимаете и разделяете мою глубокую тоску, и считаете, что «смерть есть действительно величайшее из благ», и призываете ее всеми силами души. Вы были искренни, когда писали это. Но минули два часа, и вы уже не думаете о смерти, с той же искренностью, которая так мила и притягательна в вас, вы говорите о готовности примириться с Антониной Ивановной, жить с ней в добром согласии.

Так что же все-таки произошло за эти два часа? Надежда Филаретовна сжала виски худыми длинными пальцами. Она стала перечитывать письмо, пронося слова вслух чуть ли не по складам, как бы стремясь нанести их резцом на запоминающую ткань мозга. Итак, он говорит, что не хотел посылать письма, но не может оставить меня без ответа. «Между тем писать вам неправду я тоже не могу». Неправду — запомним это слово. «Весьма вероятно, что очень скоро тяжелое состояние духа пройдет и успокоится. Нужно пройти через трудные минуты, — я это предвидел...» Когда и где, милый друг?.. «Сядь за это письмо, я хотел прийти на помощь Вашей тоске

и недовольству жизнью. Мне очень бы хотелось Вас утешить, но я не могу Вам сказать ничего, кроме того, что глубоко сочувствую Вам, Надежда Филаретовна, ищите утешения и примирения с жизнью посредством созерцания природы». Ну, это уж чересчур, милый друг, вы же не мой домашний доктор, чтобы прописывать мне прогулки, воздух, купание и никаких волнений. Ваше сочувствие начинает звучать слишком уж холодно и отчужденно. А следующая фраза — просто дерзка. «Преимущество богатства в том и состоит, что оно дает возможность всегда убежать от людей и быть вдвоем с природой, которая в Италии лучше и роскошнее, чем где-либо». Нет, милый друг, преимущество богатства в том, что оно дает возможность помогать друзьям. И уж не вам поминать столь двусмысленно о моем богатстве!..

С каждым словом вы все сильнее отдаляетесь от меня, исполненный непривычной самоуверенности, особенно громко звучащей в конце приписки: «Я инструментовал первую часть симфонии». Почему же не «нашей» симфонии? Или она уже перестала быть нашей? «Теперь несколько дней я буду привыкать к новой жизни и работать не стану». Странно, что вы подчеркнули слово «привыкать», а не слово «новой». Вы вернулись к своей жене, Петр Ильич, и хотя всей вашей совместной жизни без году неделя, однако жизнь эта уже не новая. Во всяком случае, никак не выглядит такой в первой половине письма. Напротив, создается полное впечатление, что вы вернулись к старому, опостылевшему, с самого начала невыносимому и ничуть не изменившемуся быту, если не считать чисто внешних аксессуаров. Вы не ощутили новой ни новую квартиру, ни новую обстановку, вы ощутили лишь прежнюю болезненную неприязнь к жене и ко всему, что ее окружает, и вы восхваляете смерть-освободительницу. И вдруг эта жизнь становится для вас новой, и вы стремитесь к ней привыкнуть.

Вы пишете: «Когда же почувствую потребность в труде — первый признак нравственного выздоровления, — примусь или за инструментовку оперы, или за доканчивание симфонии, смотря по тому, что окажется нужнее». Простите, милый друг, но вы совсем заговорились. Неужели вы забыли, что симфония посвящена мне, а опера если не посвящена, то, во всяком случае, связана узами единственности «Татьяниного письма» с Антониной Ивановной? И как понять выражение «окажется нужнее»? Я полагаю в своей дилетантской наивности, что понятие нужности, столь важное для любимого мною и ненавидимого вами Писарева, здесь совсем не к месту. Или, милый друг, вы чувствуете себя тем ласковым телянком, который двух маток сосет?.. Но ведь я шла на это! — прервала она себя с болью. — Не собиралась же я, в самом деле, посягать на место Антонины Ивановны? Конечно, нет! Оставим кесарю кесарево, а богу богово. Антонине Ивановне — быть законной супругой Чайковского, а мне — человеком, которому посвящена Четвертая симфония. Да, все это так... Но я вправе была надеяться на большее, вся наша переписка убеждает меня в этом... На что надеяться, очнись, старуха! Что за девичьи грезы в твоём возрасте?..

Ей стало нестерпимо стыдно и странно от этих вдруг прорвавшихся из глубин ее существа чувств и мыслей. И страстное желание тотчас же избавиться от стыда подсказало ей выход. Моя щепетильность перед самой собой, в первую очередь перед самой собой, — сказала она себе, — чрезмерна, ведь я рассчитывала на владение лишь душой художника, и то отнюдь не феодальное. Я ни в малейшей мере не претендую на брэнную сущность Петра Ильича, в этом смысле нам нечего делить с профессоршей Чайковской. Какое вам дело до сердца, души и мозга вашего мужа? Вас касается лишь его кошелек и положение в обществе, о первом позабочусь я, о втором — он сам, вернущись к работе.

Но зачем я вновь и вновь приплетаю сюда Антониину Ивановну? При чем тут это ничтожество? Она, поди, и о самом существовании моем не слышала, разве что в связи с покойным Карлом Федоровичем, золотым кумиром российских обывателей. Все дело в Чайковском. В резком, неправдоподобном изменении его тона и чувств па малом пространстве одного письма. Но и это можно понять. В артистической, музыкальной, сверхчуткой и податливо гибкой душе свершился новый поворот. Он успел возненавидеть Антониину Ивановну уже в купе поезда, увозившего их в свадебное путешествие, на кратком перегоне Москва — Тверь; он открыл в ней неведомые достижения за два часа, разделяющие начало и конец письма. Боже мой, мужчине иной раз надо еще меньше времени, чтобы открыть для себя женщину. Достаточно мгновения, взгляда, поцелуя. Плененный, очарованный Петр Ильич вдруг узрел не фурику, а Психею, Пенелопу, Андромаху, Бавкиду в одном лице. Наконец-то я пришла к пониманию случившегося, к тому, что гнала от себя прочь, когда с любовью и нежностью всепрощающей дружбы отвечала на вздорное послание. Я не верила, не хотела верить в окончательность этого поворота, этого скверного чуда, приведшего Петра Ильича в объятия Антониины Ивановны. И, боясь нового разочарования, казавшегося мне неминуемым, посоветовала ему уехать в Италию, оглянуться издали на уют милюковского гнездышка. И я верила, что меня ждет в Москве новое письмо, и оно будет совсем иным. «Если захотите утешить меня Вашим письмом, Петр Ильич, то пишите, пожалуйста, на Рождественский бульвар в собственный мой дом». Но эта смиренная просьба не возымела действия, Петр Ильич замолчал. Что ж, молчание тоже ответ, и едва ли не самый красноречивый...

Не будем предаваться излюбленной игре слабых душ в неизвестность: что-то случилось — болезнь, внезапный отъезд, трагическое столкновение, крушение поезда... Чепуха! Петр Ильич здоров, иначе так называемые друзья поспешили бы довести до моего сведения слухи о его смертельном недуге. Он не отправился ни на Кавказ, ни на Балканский театр военных действий, не погиб на дуэли. Петр Ильич никогда не вынет шпаги, поле его доблести не там, где льется кровь. И ни одного железнодорожного крушения не случилось за последние недели, что довольно большая редкость. Он и не уезжал никуда, привязанный к своему новому приглядному дому, да и нужны деньги для путешествий. Случилось куда худшее — Петр

Ильяч счастлив. Его молчание — эгопстическая немота счастливого, сытого и душой и плотью человека. А я не сытый человек, хоть и богачка, как справедливо напомнил мне Петр Ильич, могу иметь все, что покупается за деньги, но, увы, далеко не все можно за деньги купить. Впрочем, физический голод я вполне могу утолить, ведь у меня второй день росники маковой во рту не было.

Надежда Филаретовна глянула на часы. Уже минуло время всех трапез. Ну что ж, она поужинает одна: чашка крепкого бульона вернет ей силы. Она позвонила горничной и велела подать одеваться. Она с отвращением отвергла свой обычный домашний туалет — все такое неприлично, светлое, пестренькое, легкомысленное, словно она молодая верхихвостка, а не старуха, бабушка. Она выбрала платье, которое носила по окончании официального траура по мужу. Строгий туалет скорби из темной тафты. К платью полагался белый батистовый чепчик и бархатные, в цвет платья, туфли. Ничего трагического не случилось, она не понесла никаких потерь, просто погас в душе какой-то тонкий лучик, вот по нему и надела она этот чолу-траур. А Петр Ильич напишет когда-нибудь, да, напишет, он же дружелюбно расположен к ней, посвятил симфонию, да и не хватит ему средств на жизнь, которая с появлением Антонины Ивановны едва ли стала дешевле. И их переписка возобновится, переписка невидимок, теперь уже навсегда невидимок. И Надежда Филаретовна, славившаяся своим умением держать себя в руках при любых обстоятельствах, заплакала так горестно, как не плакала по мужу, как плакала лишь однажды в жизни, когда крупозное воспаление легких едва не унесло трехлетнюю Милочку. Она быстро скрылась в ванной комнате, чтобы горничная не заметила ее слез.

Она вышла оттуда с белым, не тронутым румянами, мертвым лицом и сухими, горящими глазами. Юлия попросила позволения разделить с матерью поздний ужин, она тоже ничего не ела весь день — мигрень. Ее поразили вид матери и темное, почти монашеское платье. Юлия понимала, что в монастырь можно уйти и не переселяясь в келью, не принимая обета. Ее охватило отчаяние. Она уже убедилась, что бессильна помочь матери. Всю ночь напролет сочиняла она в уме письмо господину Чайковскому, но когда утром попыталась предать его бумаге, то запнулась на первых же словах. Она не знала, как обратиться к Чайковскому. «Милостивый государь!» — звучит до оскорбительности сухо. «Уважаемый Петр Ильич» — слишком развязно. «Г-н Чайковский» — фальшиво, канцелярски. Мать установила помимо ее воли некий призрачный контакт между нею и композитором. Они не были знакомы, никогда не виделись, но Юлия, как и Милочка, фигурировала в переписке матери и Чайковского. И это создавало дополнительные трудности. Можно было обойтись вообще без обращения, разве думают об этом, когда зовут на помощь, просто кричат: «Караул!» Но Юлия была так строго воспитана, что предпочла бы погибнуть, чем совершить бестактность, причем, ради матери она пошла бы и на любое нарушение приличий, если бы только знала, что написать Чайковскому

и как написать. В душе у нее были сильные и горькие слова, но они странно обесценивались, соприкасаясь с бумагой.

...Надежда Филаретовна приняла очень сильную дозу снотворного, заснула мгновенно и проснулась, как ей показалось, в ту же минуту. Но за окнами был яркий свет зрелого утра, прошла целая ночь без сновидений, без тягостных ночных опоминаний, когда, возвращаясь в короткую полуявь, словно приподымаешь на миг крышку гроба, чтобы тут же опустить без сил. Ах, если бы можно было так же перемогать явь! Но этого не дано. Надо вставать, надо снова ждать и уговаривать себя на жизнь, лишённую света. Она увидела свое темное платье, небрежно брошенное на спинку кресла,— она отпустила горничную и разделась сама,— и вид этой мрачной брони доставил ей странное удовольствие. Платье было глухим футляром, хранящим и скрывающим ее хрупкую сущность.

Надежда Филаретовна посмотрела на свои маленькие ступни, и ей невыносимо жалко стало себя какой-то воюющей, крестьянской, бабьей жалостью. Она упала лицом в подушку, раскинула руки крестом и всласть, в усталость выревелась. Потом долго отнашивала лицо с помощью горячих полотенец, выстуживала, протираала, пудрила, и движения ее были медлительны и неуверенны,— старуха!..

Внизу тоже царил уныние. Иван Прокофьевич Жгутов уезжал. С утра был послан лакей за билетами на Рязанский вокзал для него и Ванькэ, заказан извозчик. Заплаканная кухарка собирала сына, наготовив ему всякой снеди: сладких пирогов, жареных кур, крутых яиц, колбасок. Управляющий, непривычно мятый, красноглазый, с сочащимся носом — он всегда простуживался после выпивки, то и дело забегал в людскую попить холодного огуречного рассола с медом,— не пытался удержать Жгутова. Он и сам потерял всякую надежду и справил крутые поминки по своим рухнувшим мечтам.

Жгутов ни в чем не упрекал его и даже намекнул на возможность других дел, когда Надежда Филаретовна вернется в разум. Но управляющий не верил в последнее и при всем своем разочаровании уже ни в чем не винил фон Мекк. Он понимал, что тут затронуты такие струны человеческой души, что бедная Надежда Филаретовна не подлежит суду.

Ванек, одетый тепло, справно, по-дорожному — подпоясанный армячок из серого сукна и картуз на вате,— выговорил себе разрешение в последний раз сбежать на почту. Он не рассчитывал на мзду, да и в балаган не успеть до отъезда, просто хотелось в последний раз пройтись знакомыми улицами, проститься с Москвой, кто знает, когда еще здесь побываешь.

Ванек ушел и вернулся неожиданно быстро, в руках у него было письмо. Этот беленький клочок, собравший на себе все утреннее солнце, первым заметил Жгутов, выглянувший со скуки за ворота. У него мелькнула диковатая мысль, что Ванек в неизъяснимой глупости повторил вчерашний номер, обернувшийся для него крупным выигрышем. И купец первой гильдии даже вспотел при мысли, что везет с собой из Москвы круглого идиота. Но Ванек приближался

па рысах, красный, задыхающийся, взволнованный, и Жгутов крикнул во двор управляющему, только что вышедшему из людской:

— Сергеич, слышь, парнишка-то с письмом!

Жгутов не мог взять в толк, каким образом управляющий в мгновение ока очутился возле него. Он потом точно измерил расстояние от людской до ворот, получилось без малого сорок шагов. Только с помощью катапульты можно было совершить этот чудовищный прыжок.

— Оно! — сказал управляющий, вырвав письмо из рук Ваньки и сразу узнав почерк, каким был написан адрес.

Перед ним всплыли черные, будто глядящие в самих себя, пострадавшие глаза Надежды Филаретовны, он вскрикнул, сунул руку в карман, выхватил горсть монет и сунул Ваньку. Тут уже Жгутов поверил, что письмо настоящее, и хотел было от себя наградить вестника, но удержался, дабы не разбаловать отрока, и так благодетельствованного сверх всякой меры.

— Пошли! — кивнул управляющий Жгутову и, даже не проверив, последовал ли тот его повелительному призыву, ринулся в дом.

Жгутов покачал головой и размахисто зашагал следом.

Толстые, ворсистые ковры смягчали, почти вовсе поглощали шум шагов, но грубой кожи сапоги Жгутова громко скрипели в переломленном подъеме и шумно выдыхали воздух из голенищ, и странно, тревожен был этот вульгарный шум, падавший в кладбищенскую тишину дома. Ковры, зеркала, мрамор, бронзовые статуи на лестничных площадках, все отроду не виданное великолепие ошеломило Жгутова. Он, не придававший никакого значения виду и убранству жилья — было бы сухо и тепло, — вдруг ужаснулся уродству, нечистоте и смраду своего почти зверьевого логова. «Живут же люди!» — думал он, зыркая вокруг себя цепкими синими глазками. Видать, для каждого дела у них свое помещение: для жратвы, работы, спальни и приема гостей. И дети не путаются под ногами, а сидят в своих комнатах, их круглые мордочки мелькнули раз-другой в испуганно приоткрывшихся дверях. И возле них всякий раз появлялось ослепительное женское лицо, и Жгутов думал: сама! Но управляющий даже не оборачивался, и Жгутов прибавлял шагу, чтобы не отстать. Они миновали полутемный высокий зал с рядами кресел, по одной стене протянулись серебряные трубы, заключенные в дубовую раму. «Это чё?» — спросил он на ходу у Василия Сергеевича. «Орган», — бросил тот, но это не объяснило Жгутову назначения серебряных труб.

— Жди меня здесь, — почему-то перейдя на «ты», сказал управляющий. — Дам знак — сразу заходи, а чего говорить, сам поймешь! — Он положил руку на медную, ослепительно надраенную ручку, толкнул высоченную дверь и, не дожидаясь разрешения, ринулся в комнату. Дверь он оставил неплотно притворенной, и Жгутов мог видеть все происходящее в комнате.

Надежда Филаретовна в темном монашеском одеянии стояла посреди кабинета, закаменев от гнева. Черные огромные глаза на алебастровом лице были страшны, словно не человечески глаза, а ведьми-

ны очи. Она давно уже слышала омерзительный шум, наполнивший дом, и кипела от бешенства. Но разнузданная, преступно наглая выходка управляющего парализовала ее. Он ввалился в кабинет с той зловещей развязностью, с какой входят в царскую опочивальню царубийцы, черная решимость в собственной шумной наглости.

— Что это значит? — грозно, хотя и тихо, сказала она. — Вы пьяны! Ступайте вон!

— Не извольте гневаться, матушка барыня! — от радостного сознания своей неуязвимости и в предвкушении счастливого эффекта управляющий заговорил в какой-то ернической, псевдорусской манере. — Соболаговолите принять!.. — И театральным жестом протянул Надежде Филаретовне письмо.

Робко, словно не веря, она взяла письмо тонкими, вмиг задрожавшими пальцами — ее обхудавшее бледное лицо облилось алым, чудно помолодело, — разорвала конверт, поразилась, что письмо отправлено из Швейцарии, но после первых же слов не смогла читать, заплакала своими огромными глазами. И управляющий, плут и выжига, всхлипнул, забыв о лесе, о всех расчетах, только радуясь чужой радости, и обрел в этом бескорыстном чувстве миг высшей и лучшей жизни.

Строчки прыгали перед глазами фон Мекк, сильный лорнет туманился, и все, что ей удавалось прочесть, шло к ней из тумана несповедимости.

«Надежда Филаретовна! Вы, вероятно, очень удивитесь, получив это письмо из Швейцарии... Я провел две недели в Москве с своей женой. Эти две недели были рядом самых невыносимых мук. Я сразу почувствовал, что любить жену не могу и что привычка, на силу которой надеялся, никогда не придет. Я искал смерти, мне казалось, что она — единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, во время которых душа моя наполнялась такой лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее...»

— Милый! — в упоении шептала Надежда Филаретовна. — Он несчастен! Он страдает! О радость!..

«В это время я получил телеграмму от брата, что мне нужно быть в Петербурге... Не помня себя от счастья хоть на один день уйти из омута лжи, фальши, притворства, в который я попал, поехал я в Петербург. При встрече с братом все то, что я скрывал в глубине души в течение двух бесконечных недель, вышло наружу. Со мной сделалось что-то ужасное, чего я не помню. Когда я стал приходить в себя, то оказалось, что брат успел съездить в Москву, переговорить с женой и Рубинштейном и уладить...»

Свободен! Свободен! — пело в Надежде Филаретовне. Конечно, эта ехидна так просто не отпустит Петра Ильича, она потребует выкупа, и немалого. Но коль дело из тонкой сферы чувств перешло в область материальных расчетов, Надежда Филаретовна опять была

в силе. Уверенная, что в письме изложены условия Антонины Ивановны, она пропустила страничку — все равно письмо это будет читаться и перечитываться десятки раз — и заглянула в конец. Она опшиблась. Петр Ильич просил о деньгах, но пока только для себя. *«Мне нужны опять деньги, и я опять не могу обратиться ни к кому, кроме Вас. Это ужасно, это тяжело до боли и до слез, но я должен решиться на это, должен опять прибегнуть к Вашей неисчерпаемой доброте...»*

— Сергееч, — с увлажнившимися глазами сказала Надежда Филаретовна. — Переведи три тысячи господину Чайковскому.

— В какую графу зачислить? — улыбнулся управляющий. — Помощь нуждающимся музыкантам?

«А ведь этот плут все знает!» — на удивление самой себе без всякого недовольства подумала фон Мекк.

— Нет, графу переименуем: милому другу... Нам понадобится много денег, Сергееч. Пусть лежат наготове десять тысяч, чтобы по первому требованию выслать по тому же адресу.

Еще в барышние Наденьке Фроловской знакомые отмечали редкое сочетание романтической мечтательности с трезвым мужским расчетом. Свои женственно-лирические свойства Надежда Филаретовна унаследовала от отца, а деловую сметку — от матери. Вот и сейчас, в минуту высшего упоения, цепкий бухгалтер, сидевший в госпоже фон Мекк, с безошибочной точностью назвал сумму, которую в самом ближайшем времени потребует Антонина Ивановна за освобождение Петра Ильича от семейных пут.

— Сделаем, сударыня-матушка, — чувствуя себя чем-то вроде Бирона или светлейшего князя Потемкина, заверил управляющий и, покосившись на дверь, выразительно подмигнул Жгутову.

Купец первой гильдии не заставил себя ждать. Он ворвался в кабинет и с размаху рухнул к ногам фон Мекк. Жгутов все видел, все слышал, оценил тончайшую — при внешней грубости — игру управляющего и выступил в той же роли смиренного подданного.

— Матушка, не погуби!.. Кормилица, яви милость!..

— Что хочет этот человек? — умягченная и расслабленная собственными переживаниями, заботливо спросила фон Мекк. — Отчего он так страдает?

— Лесу он хочет, — слезливым голосом ответил управляющий.

— Продай лесу! — сухо рыдал Жгутов. — Настоящую цену дам!

И вновь суровое материнское начало сработало в Надежде Филаретовне, открыв ей, что ее обманывают и что хорошая цена Жгутова не настоящая цена, какую можно взять сейчас за лес. Но одновременно в душе зазвучали другие, отцовские струны. Лесом обманула Чайковского Милюкова, пусть он и спасен будет лесом, только принадлежащим другой.

— Хорошо, хорошо, — скрыв улыбку, сказала фон Мекк. — Продай ему лесу, Сергееч, пусть не мучается.

— Благодетельница,— холодно сказал Жгутов, подымаясь с колен.

Приход Юлии ускорил завершение переговоров. Жгутов, пятась и раскланиваясь, выкатился из кабинета.

— Мама! — вскричала Юлия. — Какая вы красивая!.. Боже, какая вы красивая!..

Да, я должна быть сейчас красивой,— подумала Надежда Филаретовна. — Человек становится красивым в самые решающие мгновения своей жизни. Как красив за роялем тучный большеносый Николай Рубинштейн. Как красив был матадор Маноло, когда убивал своего последнего быка на корриде в Толедо. Как дивно красивы Христос на кресте и пронзенный стрелами Себастьян. Каким достоинством красоты покрывает каждое, даже ничтожное, лицо добрая сестра смерть, ибо смерть — это высший миг каждой жизни. Ничего прекраснее уже не будет в моей жизни, я узнала, что люблю Чайковского, люблю как женщина, ничего не утратившая в своем сердце, в своем теле, в своей способности любить. И я найду силы сказать ему об этом...

Но лишь через два года в письме, исполненном поразительной любви, искренности и силы, сказала она Чайковскому о своем чувстве и о том, чем явилась для нее его женитьба. «Я ненавидела эту женщину за то, что Вам было с нею нехорошо, но я ненавидела бы ее еще в сто раз больше, если бы Вам с нею было хорошо...»

Покинув фон Мекк, Иван Прокофьевич Жгутов вместо ожидаемого облегчения ощутил какую-то странную опустошенность, за которой таилась не то злость, не то зависть, не то ревность, а может, то были все эти чувства, вместе взятые, да его терпкая обида на свою темную, неопрятную, лишенную всякой красоты жизнь.

«Нет, далеко еще нам до этих фон Мекков,— думал Жгутов, топая сапогами по коврам, паркету и мрамору. — Зашибить деньгу умеем, а жить еще не можем. И что за радость, коли мощна тугая, а дома вонь, грязь, угар и мрак? Богатством пользоваться надо. А эта... Меккша — ничего себе, в пропорции, даром что на возрасте и ребят дюжину нарожала. — Он вспомнил свою Дарью Игнатьевну, квашню в засаленном салопе. — Эк же ее развалило, разнесло всего от трех ребят!» И ему стало еще горше на душе.

«Пора и купечеству себя показать. И у нас будут зеркала и лестницы, статуи и органы, цветы и рояли, и баб наших научим одеваться, а не научим — других возьмем, этого добра завались. А Чайковского мы у нее отберем,— подумал злорадно. — Пусть он там барин и генерал, на золото любая рыбка клюнет. Будет он нам сочинять и духовную и для услаждения чувств распрекрасную музыку. Картишки-то бросить придется, такого баловства не потерпим. Стол, одежду, фатеру, жалованье, девиц — этого по первое число предоставим, но с картишками — все, и с грубиянством — все! Чтоб писать нам письма, как положено, полный чтобы, значит, отчет!.. А залягаешься, мы ведь не «фоны», мы купечество, отдерем как сидорову козу, р-раз и в квас...»

...Иван Прокофьевич заработал все деньги, какие можно. Он стал крупным железнодорожным подрядчиком, владел фабриками, заводами, давно перебрался в город, купив там прекрасный старинный дом-дворец, принялся было за ремонт, но за недосугом все не мог закончить. Тут его разбил паралич, досуга появилось сколько хочешь, но пропало желание достраивать свои хоромы. Он недвижно лежал и думал о прожитой, вернее, промелькнувшей жизни и вдруг вспомнил о композиторе Чайковском, которому много лет назад прочил выдающееся положение при своей особе. Своим новым, непослушным, будто потолстевшим языком он потребовал, чтоб срочно вызвали Чайковского и взяли на службу. Домашние долго не могли понять, чего он хочет, выручил случившийся тут приказчик Иван, бывший Ванек.

— Да ведь Чайковский помер лет десять назад.

— По-мер?..— повторил старик и заплакал — не над Чайковским, над собой, над своей тоже окончившейся жизнью, в которой он все откладывал что-то важное, быть может, более важное, чем все великие и ловкие дела...



КОГДА ПОГАС ФЕЙЕРВЕРК

— Что вы хотите, наконец? — негромко, но очень внятно — почти по слогам, оскорбительно внятно, будто обращалась к людям, плохо знающим русский язык и неспособным ни постигнуть, ни выразить простейшей мысли, произнесла Надежда Филаретовна фон Мекк. — Что вы хотите от меня?

И рухнула запруда. Этим, хорошо воспитанным, привыкшим уважать, чтить, даже побаиваться мать, крепко вышколенным, но озлобившимся людям нужен был какой-то толчок — упрек, знак презрения, снисходительная усмешка, чтобы излиться бурным потоком долго таимой ненависти, ревности, жгучей обиды. Они добросовестно пытались добиться своего в рамках приличия: полунамекami, приглушенными вздохами, замечаниями «в сторону», красноречивыми, порой увлажненными взглядами, многозначительным покашливанием, как только разговор касался интересующей всех темы и личности, словом, они вправе были считать, что за долгий и пустой дачный день достаточно ясно высказали свое отношение к «известному обстоятельству». К тому же тема эта уже поднималась осенью прошлого года, когда нависла угроза над акциями Рязанской железной дороги — основы материального благосостояния семьи фон Мекк. Но Надежда Филаретовна, как и всегда, пренебрегая недомолвкам, оставила без внимания деликатные, хоть и настойчивые намеки, мелкие слезки, то и дело выбегавшие из выцветших глаз Лидии Карловны, по мужу Левис, хмурый бормоток Николая, ошалело-растерянные всхлипы Сашонка, пугавшие в пору его малолетства приметой какого-то детского несчастья, первические взрывки старшего Владимира, глубокомысленную насупленность Сашки — графини Беннингсен, покрасневший носик Юлии и стыдливую суетливость младшего Макса.

Перебивая друг друга, они не говорили — кричали, надсаживались, плевались возмущенными, злыми, оскорбительными недоговорами:

- Давно пора кончать!..
- Это позорит всю семью!..
- Помогать можно бедным!..
- В «Стрельне» кидает по двести за ужин!..
- Поймите же, мама, ему только деньги ваши нужны...

Это кто же нанес удар — неуклюже и больно? Ну, конечно, Лидия, только женщины умеют так подло бить.

— Он смеется над тобой!.. И вся его свора смеется!..

Молодцом, Володя, ты, верно, испугался, что сестра превзойдет тебя в пизости.

— Он купил дом во Фроловском!..

Спасибо, Сашонок, ты все-таки лучше других, — даже желая сказать дурное, ненароком доставил мне радость. Твоя мать — урожденная Фроловская. По милой игре случая, нет, высших таинственных сил жизнь привела Петра Ильича в деревню, посящую одно со мной имя. И, растроганный странным совпадением, он даже намеревается купить там дом.

— Позвольте, господа, надо различать материальную и моральную стороны!..

Ого, кажется, нашелся заступник. Ах, это ты, Николай? Что-то не верится мне, сынок, в твою искренность.

— Все взаимосвязано!.. — Вот он, прокурорский голос Володи — твердый и пустой.

— Маман вольна продолжать переписку с господином Чайковским или прекратить. Но при наших материальных затруднениях...

— Чепуха! Если не оборвать все разом, мы от него не отделаемся.

— Он опять начнет канючить...

Фу, Лида, откуда этот язык — от Левисов?

— Господин Чайковский неприличен!

— Я попросил бы!.. Он все-таки брат моей тещи.

— Молчи, Николай! Ты сам знаешь, что репутация его скандальна.

Остановись, Володя, ты бьешь не по Чайковскому, а по своей матери. Ах, дети, дети! Какие вы были нежные, беспомощные, пугливые, доверчивые, радостные, смешные! Вы пахли мылом, травой, цветами, пахли детством, а сейчас, даже при открытых окнах, в комнате спертый дух от сигар, вонючих пахитосок, припахивающего коньяком, вином и нездоровой печенью дыхания, разгоряченного тела. Раньше вы спрашивали свою мать тонкими, потрясенными голосами: кто это? что это? — о самых простых жителях земли — жуках, бабочках, червяках, а сейчас бесстрашно окунаете руки в кровь матери, не тревожась никакими сомнениями, не задаваясь никакими вопросами.

Что с вами случилось? Почему сумрачны ваши судьбы? Ведь редко кто выходил в жизнь столь оснащенным, как вы, мои злые, глупые, несправедливые и все равно безмерно и слепо любимые дети! Нет, не слепо. Я вижу все ваши недостатки и слабости, но от этого еще больше жалею вас. Жалеть — любить, — говорят в народе. Ох, как я это понимаю! Наверное, потому и не могла я по-настоящему любить Карла Федоровича, что его не за что было жалеть. Я восхищалась, восторгалась им, удивлялась яркой игре его сильной и подвижной личности, порой испытывала почти благоговенные перед его находчивостью, волей, сокрушительной энергией, верой в свою звезду,

но он никогда не был мне жалок. Вот этого чувства, без которого нет русской бабе душевной полноты, он не мог вызвать даже усталый, больной, даже во власти мучительного сердечного недуга. Он всегда был на коне и умер о конь, так и не растопив мне сердца слезой. Иное дело Петр Ильич, вот кто умеет вызывать жалость! Невозможную, смертную жалость. А ведь он куда значительно моего покойного мужа. Нет, не верно. Карл Федорович был тоже необыкновенно значительной личностью, но совсем в ином роде. Талантливейший практик. Богато одаренная натура, но не гениальная. А главное — не художественная. Петр Ильич до седых волос остался стеклянным мальчиком, как его окрестили в детстве. Он и сам знал свою исключительность, с самых ранних лет. Однажды его, шестилетнего, больно отдубасил сверстник. Маленький Петя распустил такие длинные нюни, что даже мать, чрезмерно опекавшая его, возмутилась: «Ну, чего ты реवेशь? Мальчик ты или нет? Дай ему сдачи». — «Но я не могу, мама, — сказал он серьезно и даже плакать перестал. — Ты же знаешь, что я не такой мальчик. Я совсем другой мальчик». И вот этого мальчика, теперь уже старого, пятидесятилетнего, у меня хотят отнять мои собственные — вовсе не стеклянные, но тоже жалкие дети. Почему ополчились они так дружно на Петра Ильича? Потому что все они в той или иной мере банкроты. И суровый прокурор Владимир с вконец расстроеной нервной системой от неудовлетворенного честолюбия и крушения надежд, что из него выйдет второй Карл фон Мекк. То, что отец создал, ты разрушил, Володя. Я всегда покрывала тебя, защищала с яростью тигрицы, но ведь глаз на глаз мы-то знаем, кто главный виновник наших потерь, из-за кого ушли к немцам акции Либаво-Роменской железной дороги, а нас ославили как плохих патриотов. Я ли не спасала тебя как могла, и министру писала, и частью своих средств пожертвовала, но тебя неудержимо тянул на дно свинец деловой бездарности.

И Сашонок, у которого расстроены не только нервы, но и состояние, педалюк ушел от брата. Вольно же было воображать себя умелым коммерсантом — столь частое заблуждение мечтательных и неспособных к жизненному действию натур. Как умно и осведомленно рассуждал он о ценах на мировом рынке, о выгодности нынешнего курса рубля для экспортеров «сырого продукта»! А где его деньги? Превратились в мясо, сгущенное за бесценок в Лондоне. Стоило бросать правоведение, чтобы оказаться у разбитого корыта. Ты думаешь, шесть тысяч Чайковского тебя выручат, сынок? Тебя, разбазарившего целый капитал? Да ведь на эти шесть тысяч есть и другие претенденты, хотя бы твоя сестра Левис, новоявленная незадачливая помещица и прирожденная вымогательница.

А ты, моя гордая Беннингсен? Какую ты ищешь выгоду? Ты прекрасно сочетала капиталы фон Мекк с громким именем Беннингсенов, за которым гром побед двенадцатого года, сверкание касок, звон сабель, разрывы ядер, цоканье копыт и чуть менее героические звуки — звяканье шпор и торопливый топот ботфортов по коврам, чтобы скорее достигнуть спальни императора и затянуть офицерский шарф на тонком горле полубезумного российского самодержца. Тебя

п твоих высоких родичей правда так срамят мои отпошения с Чайковским? Или тебя поразил подсчет, произведенный моим братом Александром Филаретовичем: за тринадцать лет композитору выплачено семьдесят восемь тысяч. А такая сумма кое-что значит и для дома Беннингсенов, у которых много недвижимости, но мало зато наличных. Кстати, братец ошибся — восемьдесят четыре тысячи. Уже предчувствуя ваш заговор, я выслала Петру Ильичу очередную бюджетную сумму вперед. Ваша мать еще не совсем потеряла деловой рассудок, бесценные мои!

Но восприемником Петра Ильича не прочь стать и мой справедливый, мой велевой и властный Николай. Недаром же предложил он разделить материальную и моральную стороны вопроса. Он не видит ничего компрометирующего в моей переписке с дядей его жены, но возражает против «вспомоществования». Петр Ильич несколько не нуждается в унижающих его «подачках». Почему-то сам Петр Ильич ничем не обнаруживал этого унижения, просто и с достоинством принимая пенсию, естественную дань, какую ископол веку люди богатые, но бесталанные платили людям генпальным, но бедным, выгадывая тем у господ бога. А в подачке, и весьма крупной, нуждаешься ты, сынок, прикинувшийся помещиком с тем же основанием, с каким Сапонок вообразил себя коммерсантом, а Володя — железнодорожным магнатом. Сто пятьдесят тысяч отвалил ты за имение, которое начало разрушаться, едва заключили купчую. Теперь нужна не меньшая сумма, чтобы залатать бесчисленные дыры, а где взять? Дурную услугу оказал тебе тесь-советчик, премудрый хозяин Лев Васильевич Давыдов. Впрочем, это наивному и доверчивому Петру Ильичу муж возлюбленной сестры рисовался сельским гением, хотя у того недород сменялся потравой. Милый друг даже в управляющие его мне прочил. Но Петр Ильич — человек не от мира сего, но ты-то, выросший средь брайловских полей и так любивший вникать во все статьи хозяйства, что порой это оскорбляло меня видимостью контроля, ты, кичившийся своей пронциательностью, ясностью мышления, деловой сметкой, что же провалился так в первом же своем самостоятельном поступке? И ты тоже считаешь себя вправе судить меня, меня, спасшую вас от окончательного разорения?

Да, у нас сейчас снова затруднения, жестокие затруднения, но то не моя вина, а правительства, будто задавшегося целью разорить владельцев немногих хороших железных дорог России. Это не катастрофа, о нет, опыт подсказывает мне, что мы выпутаемся без больших потерь. И уж во всяком случае, мы не потеряем того, что с такой легкостью, безмятежностью и самоуверенностью спустили вы, дети мои. Тут нет моей меньшей Милочки, княгини Шигицкой-Шихматовой, но ее незримое присутствие несомненно — оно в печально-укоризненных глазах моей доброй Юлии, с чего-то взявшей на себя неблагодарную роль Милочкиной представительницы. Я отдала князю Шихматову по его пастойчиво бесцеремонному требованию, так бестактно и жалко поддержанному Милочкой, попечительство над всем Милочкиным состоянием. Но укоризненно молящю

Юлины взоры намекают, что князю мало и полумиллиона рублей, полученных за Милочкой.

Но Милочку я не могу ни в чем обвинить. Я кругом виновата перед ней. Далекая от тайны этого ребенка, я позволяла бедному мотыльку крутиться вокруг моего огня. Не догадываясь о глубинном смысле наивных — упорных и жадных — ее расспросов, я словно глухому, которому все равно не слышать, свободно говорила, что люблю Чайковского. Я думала, в Милочкиных ушах это звучит столь же невинно, как объяснение в любви к кукле или старой нянюшке. Но девочка укладывала в свой цепкий, не по годам острый умок совсем другое — истинную суть моих признаний. Я научила Милочку ревновать меня к Чайковскому, невидимому, но оттого еще более страшному, ревновать за себя самое и за покойного отца. Боже мой, души младенцев куда непрогляднее взрослых душ. Оказывается, Милочка выкалывала глаза Петру Ильичу на всех фотографиях, которые я ей сдуру дарила. Я рано научила Милочку жить сердцем, жить страстью, я воспитала в ней, желая как раз обратного, ненависть к Чайковскому и жгучий интерес к существу мужчины. Я пробудила в ней раннюю чувственность. В шестнадцать лет, когда Юлия мучительно переосмысливала образ анста на более реального дарителя жизни, Милочка созрела для немедленного действия любви. Этот плод могла сорвать самая немогущая рука, а тут подвернулся смазливый хлюст, дерзкий, лощеный, с обманчивой видимостью богато одаренной натуры. Где уж было устоять моей бедняжке! А сейчас она уже мать, боящаяся за будущее своего гнезда. Прости меня, Милочка, твой крест — мой крест, но, право же, Петр Ильич не обездолил тебя и твоего князеньку.

— Она не слушает нас!..

Вон как — «о н а» о матери! Спасибо, Володя! Помнишь, как ты хотел сесть на деревянную лошадку и почему-то ужасно боялся ее косящего лилового глаза? И тогда я закрыла ладонью этот теплый, беспокойный, щекотно моргающий глаз, и ты дал посадить себя на широкую, изъеденную слепнями спину. Я взяла тебя за голое, тоже теплое колено и побежала рядом с лошадкой, а ты воображал себя рыцарем — Ланчелотом, Амадисом Галльским, Роландом, об этих смелых, верных, благородных паладинах ты узнал от меня, сыночек! Но где же твое рыцарство?

— Мы должны заставить выслушать себя!..

Каким образом, Коля, с применением физической силы или только нравственного давления? Когда у тебя был дифтерит, сынок, и ты задыхался, и врачи опустили руки, знаешь, кто сохранил тебе жизнь со всеми ее радостями, любовью, вином, цветами, деревьями, звездами, борзой охотой, дальними путешествиями? Я, твоя мать. Я отсосала дифтеритные пленки из твоего горлышка. У меня было девяносто девять шансов из ста заразиться дифтеритом, смертельно опасным для взрослого человека. Но я вынула счастливый номер.

— Мы давно выросли из детских штанишек!..

Ты так думаешь, Сашонок? Почему же при первом жизненном испытании ты растерял все свое мужество? А ведь в детские годы

ты не боялся смелых и опасных поступков. Правда, при свете солнца. Ночью ты становился пуглив, слаб и жалок. Просыпаясь в темноте, ты горько плакал и звал маму. И никто не мог утешить тебя в ночном страхе — ни няньки, ни бонны, ни гувернер, только мама умела делать черный мир нестрашным. И мама приходила, измученная мигренью, бессонницей, а еще хуже — вырванная из благодати наконец-то наставшего сна, и сидела с тобой, пока ты не засыпал. Ты и сейчас ищешь спасения у матери, но твой жалкий детский голос стал груб, требователен, и всю жестокость, какой тебе не хватало для борьбы, ты обращаешь на мать.

— Мы не дети!.. У нас самих дети, мы должны о них думать!..

Ты-то никогда не была ребенком, скучная моя Лидия. Ты была всегда госпожой Левис — сперва крошечной, потом весьма крупной. Ты от купели предназначила себя своему удручающе правильному Фредерику. Зачем дали имя прекрасного и горестного Шопена этому среднеарифметическому? А думать о детях на твоём языке — значит тянуть с меня деньги под любым предлогом. Но и деньги не украшают вас, не делают вашу жизнь изящнее, веселее, разнообразнее. Фей, превращающая все, к чему ни прикоснется, в серую обыденность, вот кто ты, дочь моя. Сколько я измучилась с тобой, чтобы спасти твои зубы, рано испортившиеся зубы неумерной сластены. И спасла, как спасала вас от всего — от болезней, переломов, вывихов, ушибов, страхов, детских пороков, юношеских заблуждений, дурного влияния, скверного чтения, плохой музыки и пошлого мышления. Только на Милочку не хватило мне зоркости.

Я пустила вас в жизнь с чистыми, здоровыми, сильными телами, крепкими нервами, хорошим, незамутненным мозгом. Вы умели хорошо улыбаться, смотреть прямо в глаза и крепко отвечать на рукопожатие. Вам было дано еще одно, быть может, величайшее благо в наш трудный и страшный век — независимость. Неопытная, несведущая в делах женщина, я сумела уберечь от расхищения и капитал, и все громадное дело покойного мужа, хотя множество жадных, корыстных, подлых рук тянулись к нашему состоянию. И если позже мы понесли значительные потери, то, видит бог, не я тому виновой. Но я взяла потери на себя, и доля каждого из вас ничуть не уменьшилась. Да, я спасла вас от всего, только не от душевной бедности.

Как рано иссякла сила рода! Ее не хватило даже на прямое потомство Карла Федоровича. Неужели он, собравший столько богатств, один растратил главное — родовую мощь духа? Банкроты! Нет другого слова для моих детей. Банкроты. И неприличная эта вакханалия — от несостоятельности. Потому и выглядит все происходящее так негордо, невысоко, неразборчиво в словах и жестах, будто разыгрывается не в нашем доме, а в лачуге какого-нибудь мастерового, обитателя дна.

— Молчите! — неожиданно для самой себя громко сказала фон Мекк и стукнула сложенным веером по ручке кресла.

Удивленный форум примолк.

— Как смеете вы бесчинствовать перед лицом искусства? Да

если о всех нас и вспомнят люди, то лишь потому, что мы причастны к судьбе господина Чайковского!

Настала мертвая тишина. Надежда Филаретовна уже жалела о своей вспышке. Унизить их так легко, но унижение детей — ее ужасение. Да, они не гении, даже не таланты, дюжинные, средние люди, из которых и состоит человечество. Они безвинны в своей посредственности, неяркости и даже жизненной неумелости. Их слишком берегли. Да, да, об этом ты не подумала: чрезмерная бережность губительна для формирующегося характера. В конце концов Сашонок и Коля попытались разорвать пути предначертанной всем мужчинам дома фон Мекк юридической карьеры и найти свой путь. Сама попытка заслуживает уважения. Бог мой, зачем прикрашивать их бессильные потуги, заранее обреченные на неудачу. А сами дерзатели не смогли даже стойко принять поражение. И все же не мне их унижать. Даже во имя Чайковского. Он избранник, они не замечены богом. И не их провалы терзательны для меня, а их душевная малость и жестокость. Ну, дайте дожить матери, как она хочет. Не вам следить за моей нравственностью. И какая хула, какие сплетни могут коснуться шестидесятилетней старухи, обрешекшей себя аскетической жизни еще в пору бабьего лета? Вам недостаточно, чтобы я просто прекратила выплату Петру Ильичу положенного пенсионера, вам нужен полный и окончательный разрыв. Даже Николай — при всех оговорках родственного достоинства ради — в глубине души хочет разрыва, пусть не мгновенного, подчеркнутого, но полного и безоговорочного. Вы боитесь, дети мои, что я распоряжусь принадлежащей мне частью капитала в пользу Чайковского? Надо оскорбить его, чтобы он не мог ничего принять от меня, даже в наследство. Так-то!..

Злые, горестные мысли Надежды Филаретовны были прерваны властным вторжением закатного солнца в сумеречную гостиную. То ли сплыли, то ли рассеялись облака, накрывавшие небо на западе, но солнце, казалось бы, давно закатившееся, вдруг жарко, медно ударило по саду, по окнам, полузабранным диким виноградом, и преобразило все вокруг. Исчезли бледные, покрытые испариной лица, сюртуки и пиджаки, платья и мантильки в перепутанице ярких, трепещущих пятен с провалами лиловой тьмы, словно в трубке калейдоскопа. Сиену жженую уделило солнце плоскостям лиц, киноварь — рукам, червецом облило русые головы; слепяще сверкали бронзовые крылатые и высокогрудые девы-львы ампирной мебели; на стеклах пламенели бордовые мазки, цветастый персидский ковер будто испарялся в продымленный сигарами и папиросами сиреневый воздух, и казалось, все обставшее Надежду Филаретовну вспыхнет огнем, не испепеляющим, а возрождающим, как тот костер, что дает новую юность фениксу. И она стала счастлива, словно не было, да и быть не могло, всего этого страшного сборища, и вернулось Браилово, лучшие из браиловских дней.

Да, не было в жизни Надежды Филаретовны ничего чудеснее того далекого Браилова, давно уже проданного князю Горчакову. Такого не было даже в благословенной Флоренции, где они жили по сосед-

ству на тенистой, зеленой виале деи Колли, на правом берегу Арно. Ах, то были тоже прекрасные дни! Каждый божий день, когда солнце подымалось над порто Романо и во всю летнюю тосканскую мощь било сквозь листву аллеи прямо в окна Чайковского, проходила Надежда Филаретовна со всем двором мимо виллы Бончигиани, снятой ею для Петра Ильича. Рядом с ней шла Юлия, держа за руку вертящую Милочку, чуть позади Сашонок и Коля под наблюдением строгого гувернера, затем малолетки: Макс и Миша с француженкой, замыкал шествие рослый лакей с фигурой Атланта, призванный оборонять путников от назойливых итальянских нищих.

Надежда Филаретовна в платье из палевого или светло-серого шелка, с шелковыми же рюшами и обтяжным лифом шла своей четкой, твердой, почти мужской походкой, очень прямо держа спину и высокую шею и тщательно следя за мускулами лица, на котором от крайней близорукости возникало порой растерянное, даже жалкое выражение, чего Надежда Филаретовна терпеть не могла.

В тот первый раз Надежда Филаретовна никак не думала, что Чайковский будет поджидать их, стоя в окне, и вдруг Юлия обмирающе прошептала: «Боже мой, Петр Ильич!» Непроизвольно Надежда Филаретовна вскинула свои огромные, бездонные, почти незрячие глаза и слепо-прямо воззрилась туда, где должен был находиться Чайковский. Она услышала сдавленный крик, уловила некий светлый промельк в темном проеме окна, и ставни захлопнулись. Она поймала рукой шнурок лорнета с сильными стеклами, заказанными в Амстердаме. Коричневые деревянные ставни стремительно приблизились, на стыке створок, посредине, было вырезано сердечко. Солнце било в прорезь, и сердечко казалось огненно-красным, будто налитым кровью.

— Как странно,— сказала Надежда Филаретовна небрежным тоном, стыдясь тривиальности символа и все же наслаждаясь им.— Я увидела сердце в окне Петра Ильича.

— Господь с вами, мама,— отозвалась Юлия,— тут во всех ставнях прорезано сердечко.

— Ты же знаешь, как я близорука,— недовольно проговорила Надежда Филаретовна, а про себя подумала, что предпочла бы остаться в неведении относительно этого флорентийского обычая.

В смутных, как загорелое тело, ставнях наивно и доверчиво алено сердечко, и вдруг что-то там изменилось, алость осталась лишь по контуру, отверстие задернулось темным, и обвалом сердца Надежда Филаретовна угадала глаз Петра Ильича, и, хотя между ними существовал договор: не встречаться, не видаться, в последующие дни они продолжали ту же волнующую игру. Надежда Филаретовна обращала лорнет к смуглым ставням, к алтому сердечку, и алость внезапно и неизменно заполнялась влагой робкого и любопытного взгляда. Если уж кто нарушал договор, так это Петр Ильич, он смотрел прямо на нее и видел, она же скорее догадывалась о его подглядывании.

Какой я кажусь ему сверху? — спрашивала себя Надежда Филаретовна.— Он видит мой черный бархатный ток, выпуклость лба,

мои широкие плечи под шелковой тканью, глухой корсаж, а когда я вскидываю лорнет, то опрокинутое лицо, мое печальное, сухое лицо с маленьким подбородком и бледными щеками, а лучшее, что в нем есть, темные большие глаза, пучатся в толстых амстердамских стеклах, как у рака или тех крабиков, которых Сашок ловил на пляже в Ницце.

От этих мыслей можно было впасть в отчаяние, но спасало одно соображение, связанное с визитом Петра Ильича в ее дом на Рождественском бульваре. Надежда Филаретовна знала о том со слов своего дотошного камердинера Ивана Васильевича.

После тяжелого кризиса, пережитого Чайковским в связи с неудачной женитьбой, он места себе не находил в Москве. И Надежда Филаретовна, бывшая в ту пору за границей, предложила ему пожить в ее просторном и комфортабельном доме на Рождественском бульваре. Петр Ильич хотел было воспользоваться любезным щедрым приглашением, даже прибыл в назначенный день и час с саквояжем и нотами, был по-дарски принят Иваном Васильевичем, но потом опроретью бежал, потрясенный внезапной встречей с ней...

А было так.

Чайковский помедлил выйти из наемной кареты, остановившейся против подъезда дома фон Мекк, глядевшего на горбатый чалый бульвар. Суровая тяжесть каменных львов натурального цвета, охранявших вход, торжественные и печальные фонари по сторонам парадных дверей, с глухими толстыми стеклами придавали дому мрачную неприступность, и он вдруг усомнился, что действительно приглашен сюда. Ему почудилось, что львы потягиваются, готовясь встретить непрошеного пришельца. Глупость, расстроенные нервы... И все же двери, тяжкие двери с непроглядными стеклами, замкнутые на сто засовов, никогда не откроются перед ним, ибо ему не явлены слова, подобные: «Сезам, откройся!», а грозные стражи не откликнутся на жалкое бытовое обращение. И Надежда Филаретовна заблуждается, полагая, что из своего далека может распоряжаться этим бастионом. Задрожавшими пальцами он нащупал в кармане пальто скомканное письмо и, приблизив к окошку кареты, прочел то, что знал почти наизусть: «...до меня дошли слухи, что Вы не очень хорошо устроились в Москве. Милый, бесценный друг, почему Вы это скрыли от меня? Мы задерживаемся за границей до зимы, мой дом на Рождественке к Вашим услугам. Вас там ждут. Обещайте мне, милый друг, побывать во всех комнатах и сыграть на моем старом «Шредере» наши любимые вещи». Все ясно: он неправильно читал это письмо раньше. Речь идет лишь о том, чтобы побыть в доме и сыграть на рояле. Помузицировать в пустующих покоях в честь отсутствующей хозяйки. Это не милость, скорее просьба об одолжении. Что ж, он готов оказать любую услугу своему милому другу, если это не выходит за рамки их договора — не встречаться. А насчет того, что дом «к Вашим услугам», — пустая вежливость, улыбка доброй души. Итак, он должен пойти и сыграть на старом «Шредере». Только и всего. Вперед!

Оставалась надежда, что никто не отзовется на потерянный треньк дверного колокольчика. Но, будто по мановению волшебного жезла, внутренние двери слышимо отворились, на толстые стекла наружных дверей легла какая-то тень, и створки бесшумно, плавно распахнулись перед Чайковским.

— Милости просим, сударь!

Чайковский вошел в просторный, припахивающий воском свечей вестибюль. И уже чьи-то заботливые, ловкие руки помогали ему снять пальто, избавляли от папки с ногами, палки, шляпы. Этот служитель госпожи фон Мекк превосходил монументальностью даже внушительного Марселя, брайлового камердинера. В отсутствие госпожи фон Мекк Петр Ильич уже пользовался брайловским гостеприимством.

— Вы предупреждены о моем приходе? — робея, спросил Чайковский. Ему казалось, что он обращается к конной статуе.

— Как же-с! — приятно улыбнулся камердинер и представился: — Иван Васильев сын. Имею собственное из превосходительства приказание, когда пожалуют господин Чайковский, принять, проводить по дому, показать покои, библиотеку, орган, картины, рояль и баню. Коли пожелают, — продолжал он с важным видом, гордясь тонкой сложностью поручения, — оставить одного насколко угодно будет. Ничем не беспокоить, исполнять малейшие желания. Обед и ужин подавать, когда скажут, прислуживать во время трапезы самолично, а равно убирать в комнатах и сопровождать в баню. Никого посторонних не пускать, кроме как с соизволения их милости. — Он закончил заученный на зубок перечень и улыбнулся простой, доброй улыбкой пожилого, притерпевшегося в жизни человека.

— Спасибо, Марсель Карлович.

— Иван Васильев, — осторожно поправил камердинер.

— Простите, Иван Васильевич, я вас с брайловским коллегой спутал.

Иван Васильевич зажег свечи в шандале и, держа подсвечник у левого плеча, двинулся вперед.

— Я люблю свечи, — сказал Чайковский, — с ними теплее и уютнее.

— Сейчас в хороших домах освещению Яблочкова начали предпочтению оказывать, — заметил Иван Васильевич, — как в Париже-с.

Он толкнул какую-то дверь и пропустил Чайковского в приготовленную для него спальню. Поставил шандал на мраморную крышку ночного столика и деликатно вышел.

Чайковский увидел кипу нотной бумаги, остро, как он любил, отточенные карандаши и пачку бостанжогловских папирос. Он взял папиросы и вдохнул крепкий и сладкий запах табака.

— Откуда она знает, что это мои любимые? — вслух подумал Чайковский и с испугом отложил папиросы.

Взволнованный, он вышел из спальни. Странное чувство владело им: он словно не был один в этих покоях. Казалось, чьи-то глаза неприметно наблюдают за ним, чья-то тень бесшумно скользит по пятам.

Каждый скрип половицы, каждый шорох заставлял его вздрагивать, испуганно озираться. Сотрясаемое его порывистыми движениями, колебалось пламя свечей в канделябрах, черные тени пронеслись по стенам и потолку, усугубляя его смятение.

— Вы здесь? — прошептал он, останавливаясь посреди гостиной.

В ответ донесся тихий вздох, чуть шевельнулась портьера, и какое-то смещение бликов свершилось в темной глубине отпахнутой крышки рояля. Петр Ильич прижал руку к сердцу. Он знал: что-то должно случиться — и нельзя противиться неизбежному.

Он сел к роялю и попробовал играть из Четвертой симфонии. Кошунственно громкие в этой тишине звуки ударили его по нервам. Он убрал пальцы с клавишей. И снова слабый вздох шевельнул пламя свечей. Чувствуя слабость в ногах, Петр Ильич заставил себя встать с винтового табурета и двинуться дальше. Он оказался перед высокими дверями. И, уже готовый к тому, что должно произойти в следующее мгновение, обеими руками, жестом нетерпения и отчаяния распахнул створки двери. Готовность к грозному чуду не помогла, он страшно вскрикнул, и колени его подломились. Прямо на него, худая и огромноглазая, в бледном парчовом платье шла Надежда Филаретовна. Минули секунды, прежде чем он понял, что перед ним большой, в рост, низко висящий портрет. Но открытие не придало ему бодрости, он не мог подняться с пола.

В таком виде и застал его величественный Иван Васильевич.

— Кушать подано, — произнес он спокойно — значительным голосом вышколенного слуги, привыкшего не удивляться барским причудам.

Петр Ильич попытался встать. Иван Васильевич подхватил его под локоть. Странен, диковат был облик Петра Ильича: галстук сбился набок, волосы растрепались, язык быстрым шарком облизывал пересохшие губы.

Повинуясь Ивану Васильевичу, Чайковский прошел в столовую, но даже не взглянул на изящно сервированный стол.

— Где тут выход?.. Домой хочу. Проводите.

— Неужто чем не угодил? — всполошился камердинер и даже слез на миг с коня, умалился до обычной человеческой стати. — Экая беда, прости господи!

— Да что вы, Марсель Карлович, виноват, Иван Васильевич, вы мне всем угодили. Я благодарен... чувствительно благодарен... Но я здесь не останусь, не могу... дела, дела... важные дела! — бормотал Петр Ильич.

— Могу ли доложить барыне, что выполнил все ее распоряжения?

— Да!.. Да!.. А что не остался, барыня поймет... Да... Портрет там... Какое сходство!.. Живая, живая, выйдет из рамы и пойдет. — Петр Ильич провел рукой по глазам, будто снял паутинку.

Иван Васильевич подал ему пальто.

— Прикажете лошадей заложить?

— Нет, нет... Я доберусь. — И без оглядки Чайковский выбежал вон...

Надежда Филаретовна не знала всех подробностей визита Чайковского, но она знала, что портрет ее потряс Петра Ильича. Надежда Филаретовна запрещала себе думать об отношениях с Чайковским как бы со стороны. Ее охватывало нестерпимое раздражение, стоило представить, что придет время — и серьезные, ученые люди будут копаться в том милом и тайном, предназначенном лишь для них двоих, что составляло предмет их переписки, их сокровенных дум и дрожи чувств. Но ведь человек наедине с собой думает обо всем на свете, в том числе и о неполюбованном. Нет ничего невероятного, что честный Брут, когда «иды марта уже наступили, но не прошли», подумал: а не изменить ли заговору против его благодетеля Цезаря? И что загуманилось на миг полудетское лицо Джульетты сожалением о тихой жизни, уничтоженной страстью Ромео. Возможно, и несчастная Франческа в вечном кружении прикинула: не переместиться ли из объятий меланхолического Паоло в крепкие руки другого кавалера, завихряющегося рядом, некоего дона Жуана Тенорио. И Надежда Филаретовна, брезгливо кривя сухие губы, думала не раз, что по милости Петра Ильича ее век не исчерпается физической жизнью, — еще предстоит жить в истории, и там досужие умы будут создавать лживую легенду о людях, и никогда не видевших друг друга. И непременно отнесут за счет Чайковского всю непреложность единственного в своем роде договора: дружить, не встречаясь. Да, таково было условие Петра Ильича, но оно соответствовало и ее намерениям. Чтобы стать партнером в этой странной, порой жестокой игре, надо нести в себе возможности невидимки. Много ли найдется людей ее круга, которые сумели бы обычаю и свету вопреки не быть на свадьбах собственных детей, лишь бы не обременять себя знакомством с новой родней? А именно так поступала Надежда Филаретовна, не допустившая в поле зрения ни родных своей дочери Иолшвиной, ни Левисов, ни сиятельных Ширинских-Шихматовых, ни мадам Попову, тещу Владимира. Она была лишена бабьего любопытства и тяги к личному общению. Она могла стать достойной партнершей Чайковского в их сговоре.

Но при всем том они виделись, и не раз. И почему-то бесило, что творцы легенды о невидимках обойдут молчаливым их встречи, порой пос к носу, как было в Париже, в концертном зале Шатле, когда она впервые охватила взглядом всю статую Чайковского, или во флорентийском театре, когда она успела заметить печальную тень его глаз и скульптурность высокого открытого лба. И в Бравлове они сталкивались ненароком, во время лесных прогулок. Все домашние тому свидетели. Но эти встречи мешают «чистоте» легенды, о них постараются забыть. Труднее будет лишить их встречи во Флоренции, на площади Микеланджело, откуда открывается вид на желтую мутную Арно и город с сухими красными крышами и каменной громадой купола Брунелески, город, кажущийся отсюда тусклым, жестким, неприветливым и вовсе лишенным очарования, этот едва ли не лучший город Италии. Впечатления не может скрасить даже хорошо просматриваемая башня Джотто из розового и серого мрамора — не человеческих рук дело, а богово озарение. Но когда ты знаешь

и любяшь Флоренцию, доставляет удовольствие и этот скупой образ. Кажется, что город нарочно накинул на плечи плащ нищеты, чтобы не дарить своей красоты чужим и непосвященным. Так вот, на площади Микеланджело их экипажи съехались в густой и вязкой, как засахаренное мороженое, флорентийской толпе и никак не могли разъехаться. И многие флорентийцы, наслышанные о странной русской богачке и нелюдимом композиторе, живущих бок о бок и видящих друг друга лишь сквозь прорезь в ставнях, с веселым любопытством наблюдали молчаливое, но полное значительности и скрытого драматизма представление. Элегантный господин средних лет, мелово побледнев, приподнялся с сиденья и, сняв канотье, склонился в глубокою поклоне, и задрожал лорнет в руке пожилой, сухопарой дамы, ярко вспыхнули худые щеки и колыхнулись страусовые перья на шляпе. И что-то детски бестактное закричала семилетняя девочка в коляске русской дамы, то ли дочь, то ли внучка, и еще ниже склонилась седеющая голова господина, и совсем поникли трепещущие страусовые перья на шляпе дамы, нежно-розовые и жемчужно-серые, как мрамор башни Джотто. И живой, отзывчивой, чувственной итальянской толпе передалось напряжение чужой жизни. Толпа разломила свою толщу и дала экипажам разъехаться.

В глубине души Надежда Филаретовна давно тяготилась столь опрочметчиво заключенным договором. Ей хотелось, чтобы они с Чайковским прочно материализовались друг для друга. Нежданные и негаданные встречи, сколько бы их ни было, не утоляли, не давали выхода чувству, промелькивали по неподготовленной душе, оставляя едкую горечь сожаления. Быть может, лишь продолжительная встреча на площади Микеланджело обладала красками и горьким вкусом действительной жизни. Браиловские же неловкие встречи принадлежали чему-то смущавшему трезвый рассудок Надежды Филаретовны примесь сверхъестественного. Она знала распорядок дня Чайковского и заведомо рассчитывала каждое свое перемещение в браиловском пространстве, чтобы пути их не скрещивались, но какие-то странные, вовсе не свойственные ни ей самой, ни ее вышколенному штату оплошности: задержки, убыстрения, непонятные уклонения в сторону, а равно вдруг зашпешившие или отставшие часы — приводили к нелепым столкновениям.

Она расплачивалась за невесту кем подстроенный обман мгновенной утратой внимания, отчего ей доставался лишь зигзаг, описанный загорелой рукой Петра Ильича, снявшего шляпу, или смещение каких-то плоскостей в слепоте не успевших вооружиться глаз, в то время как пальцы лихорадочно нащупывали пшурок лорнета.

А может быть, все это происходило оттого, что устарела их игра? Искусственно и неумолимо навязывали они жизни жестокие ограничения, в которых давно уже отпала пужда. Особенно близки друг другу стали они в незабвенное лето 1879 года, когда Петр Ильич вторично гостил в браиловском имении. В их переписке появилась спокойная товарищеская доверительность, житейская интимность, неведомые их прежним отношениям. Они дошли до обсуждения достоинств и недостатков слуг, что у других представлялось Надежде

Филаретовне верхом безвкусицы, а у них выглядело чарующе мило. Петр Ильич не доверял новому браиловскому управляющему Тарашкевичу и всерьез советовал воспользоваться услугами своего зятя Льва Васильевича Давыдова, несравненного сельского хозяина. Надо отдать должное Надежде Филаретовне — при всей очарованности заботой милого друга она ни на минуту не приняла всерьез его рекомендации, хотя и рассыпалась в благодарностях. Сохраняя их новый пленительный деловой тон, она осведомилась, где, мол, Лев Васильевич достает «минеральных туков для удобрения и по чем пуд». Когда рука ее выводила эти житейские, низкие слова, волнуящее чувство, что она вышла к Петру Ильичу в утреннем беспорядке, чуть заспанная, излучающая ночное тепло, туманило ей рассудок. И то же сладостно-стыдное чувство близости охватывало ее, когда Чайковский — по новой ее просьбе — разузнавал у зятя о травопольной системе. Петр Ильич с добросовестностью гения описывал, как чередуются на тучных — вечный недород! — полях зятя зерновые, свекла, кормовые травы и пар. Но поцелуем на рассвете было его подробное письмо о «расходе производства на один припятаый в завод берковец» (о, милый, бесценный), составляющий «1р. 64 копейки, не считая цены свекловицы, и при цене дров в 20 р. за сажень».

Никогда еще в их письмах не было так густо представлено житейское, теплое, домашнее, малое. Душевная катастрофа, недавно пережитая Петром Ильичом, исчезла из их переписки, даже музыка потеснилась, чтобы дать место нежным, зоревым признапням доверчиво раскрывающихся душ. В их письмах были лавдыши (любимые цветы Петра Ильича), грибы, тенистые аллеи, леса, поляны, прозрачность речных вод и самоварные привалы на лоне природы; в них привольно обитали слепые певцы и мужики-раскольники в красных рубашках и ямщичьих шапках, Марсель Карлович и слуга Лёвошка, кучер Ефим и верный Алексей, чьими учеными занятиями — ради получения льготы по воинскому призыву — не переставала интересоваться Надежда Филаретовна. Она возлагала большие надежды на этого просвещенного и крепкого православной верой юношу в отпоре католическому влиянию на браиловскую дворню. Конечно, юноша Алексей, занимавший непроизвольно много места в их переписке, был лишь знаком иных, таинственных, высших сил.

Радостное проникновение Петра Ильича в браиловскую жизнь, во все ее мелочи, обретавшие нежданный смысл и значение только потому, что они попадали в его поле зрения, подвигло Надежду Филаретовну на смелое, даже дерзкое предложение. Собираясь сама в Браилово, она предложила Чайковскому поселиться поблизости от нее, в принадлежащем ей фольварке Спамаки, или Симаки, как убедительно произносила дворня. Таким образом, предстоял флорентийский вариант на русский лад. Правда, тут не было территориальной близости, как на виале деи Колли, Спамаки находились в нескольких верстах от Браилова, но раскованность сельского бытия обладала своими маяющими преимуществами. Конечно, она не думала о том, чтобы печально-нарочно столкнуться с милым другом

в лесу или на реке, нет, но можно уловить привет в самоварном дымке, всплывшем над садом или потянувшем с опушки леса, в звуках рояля, пронизывающих вечернюю тишину, можно обмениваться скромными знаками внимания: кошелка собственноручно собранных грибов, букетик полевых или лесных цветов, корзиночка земляники.

Да, приглашая Чайковского, она и самой себе не признавалась, что под десятым дном того кощеева ларца, каким является каждая человеческая душа, таится надежда на встречу лицом к лицу, с открытым забралом. Надежда Филаретовна едва начинала догадываться о том, что несколько позже, уже в пору пребывания Петра Ильича в Сиемаках, открылось ей со всей очевидностью: она устала от игры в прятки, шапка-невидимка давит ей голову, как пыточный обруч. Ее увядающее, но еще сильное и тревожное тело не хочет больше мириться с навязанной ей призрачностью. Конечно, она давно уже знала, что любит Петра Ильича большой и тяжелой женской любовью, но знала также, как легко спугнуть трепещущий, робкий дух художника, эту безмерно оберегающую себя хрупкую суть. Потому и не допускала она до сознания конечной цели приглашения Петра Ильича в Сиемаки. Это обеспечивало искренность интонации, безупречность всего поведения.

Из дали лет Надежда Филаретовна могла признать, что приглашение Петра Ильича в фольварк Сиемаки было лишь частью той летней наступательной кампании, которую она полубессознательно развернула еще в дни одинокого пребывания Петра Ильича в брайловском доме. Попытка заполучить к себе на все лето детей Александры Ильиничны Давыдовой, матримониальные планы в отношении сына Коли, еще не достигшего совершеннолетия, и малолетней племянницы Чайковского Наташи-Таси, — торжественному уму Надежды Филаретовны это рисовалось чем-то вроде тех ранних помолвок, что приняты в королевских домах Европы, когда монаршая расчетливая воля отдает в суженые младенцу-инфанту малютку-принцессу; повышенный интерес к хозяйственным мероприятиям Льва Васильевича с туманными прожектами о его верховном наблюдении за брайловскими угожьями — все это были звенья одной цепи.

Петр Ильич, очевидно, догадывался, что в Сиемаках его ждут испытания посерьезнее флорентийских, и мучительно колебался, принять ли любезное приглашение. Но уже само это колебание вместо мгновенного и резкого отказа обнадеживало. Зная великую осмотрительность милого друга во всем, что касалось его свободы, Надежда Филаретовна будто в яви видела метания растревоженного духа Чайковского. Но медленно, томительно и неуклонно он шел к тому, чтобы согласиться. Так и произошло. Свое окончательное согласие он изъявил с непонятным, почти болезненным восторгом, словно ему предлагали не маленькую дачку в глубине старого сада, а сказочный дворец в райских кущах. Может быть, в глубине души он тоже истосковался по яви близкого человека, трудно питать дружбу одним лишь воображением. А уж он-то понимал, что идет на очень непростую жизнь, и если у него подогнулись ноги при виде

портрета Надежды Филаретовны, то в Сиамках его подстерегали куда более грозные видения.

Первый пробный камень Надежда Филаретовна бросила довольно скоро по вселении Петра Ильича в Сиамки. Надоумила своего домашнего скрипача Пахульского повезти Милочку в гости к Петру Ильичу. Она все еще пребывала в заблуждении, что младшая дочка души не чаёт в милом друге. Это поставило Петра Ильича в на редкость трудное положение, и Надежду Филаретовну против воли и чувства восхитила решительность, проявленная «стеклянным мальчиком».

«Простите меня, милый друг, посмейтесь над моим маньячеством,— писал он,— но я Милочку к себе не приглашаю, и вот отчего. Мои отношения к вам таковы, как они теперь, составляют для меня величайшее счастье и необходимое условие для моего благополучия. Я бы не хотел, чтоб они хоть на одну йоту изменились. Между тем я привык относиться к Вам как к моему доброму невидимому гению. Вся неопенимая прелесть и поэзия моей дружбы к Вам в том и состоит, что мы с Вами незнакомы в обыденном смысле слова. И незнакомость эта должна распространяться на ближайших к Вам лиц. Я хочу любить Милочку так, как любил до сих пор. Если б она ко мне явилась, *le charme serait rompu*»¹.

Пришлось Надежде Филаретовне все свалить на Пахульского. Это ему, наивному и горячему молодому человеку, пришла вздорная мысль познакомить Петра Ильича с Милочкой. Впрочем, и Пахульский не столь уж виноват — Милочка без устали приставала к нему, чтобы он взял ее с собой. Это было правдой — ненависть ничуть не менее любопытна, нежели любовь.

Недоразумение разъяснилось, но Надежда Филаретовна не думала сдаваться. Памятуя о сильном впечатлении, произведенном на Петра Ильича ее городским домом, она решила затащить его в Браилово, когда сама всем семейством уедет на долгую прогулку. Браиловское обиталище стало совсем иным, чем в пору недавнего гостевания Петра Ильича. Тогда оно выглядело безличным, как номер отеля,— образцовый порядок и холод, ибо к обстановке прикасались лишь расторопные и равнодушные руки слуг. И не было ни картин, ни ковров, ни цветов, ни тех безделушек, которые, даже не находясь в высоком чине искусства, интимно выражают внутренний мир хозяев,— разных там статуэток, вазочек, коробочек, вышивок. Когда там жил Петр Ильич, все своеобразие жилья сводилось к серому попугаю по кличке Чика, «самому умному животному после человека и слона», как уверял Брем. Чика то и дело орал душераздирающим голосом: «Матрена!» Откуда прицепилось к старому аристократу простое русское имя и почему так полюбилось ему, оставалось тайной. Марсель Карлович рассказывал хозяйке, что Петр Ильич пытался научить попугая имени Надежда. Он мог часами заниматься с Чикой, будто взявшимся опровергнуть лестное утверждение Брема.

— Ну, скажи Надежда,— упрашивал он.

— Матрена,— отзывался попугай.

¹ Очарование исчезло.

— Надежда.

— Матрена.

— На-де-жда!

— Ма-тре-на! — и Чика зарывался толстым загнутым клювом под крыло.

— Ну и дурак!

— Сам дурак! — радостно вскидывался Чика и переступал на жердочке, словно готовясь к драке.

Но Петр Ильич со вздохом соглашался:

— Пожалуй, ты прав.

Так ничего у них и не вышло. Но однажды — Надежда Филаретовна пила чай в маленькой гостиной, где висела клетка с попугаем, — Чика саданул железным клювом по железным прутьям и негромко, проникновенно произнес:

— Надежда.

Надежда Филаретовна вздрогнула, угадав интонацию Петра Ильича. Когда-то Петр Ильич написал ей, что «научился слышать ее голос, угадывать музыкальный, мягкий тон его». Как удалось это милому другу, трудно было понять. Возможно, его сверхъестественная чувствительность помогла, но теперь и она знала голос Чайковского, пусть он прозвучал в горле попугая.

Но до того, как Петр Ильич дал согласие на посещение браиловского дома, случилась неловкость, и не совсем ясно, по чьей вине. Петр Ильич чуть поторопился с выездом на прогулку, а Надежда Филаретовна с детьми приметно запозднилась в лесу, и четверка Чайковского съехала на широкой лесной просеке с двумя экипажами Мекков. В первом сидела сама Надежда Филаретовна с Милочкой и Юлией, во втором — мальчики и Пахульский. Вспыхнув до корней волос, Петр Ильич все же нашел в себе силы для любезного и не лишнего изящества поклона. Надежда Филаретовна, напуганная своим промахом, растерялась до чрезвычайности. Она даже не сумела ответить Петру Ильичу с должной учтивостью, как будто не сразу узнала его. Она стала зачем-то вертеть Милочку, дергать ее за руку, словно девочка в чем-то провинилась и не хотела признаться в своем проступке.

В холодноватом письме, посланном на следующее утро, Петр Ильич не преминул извиниться за то, что поставил Надежду Филаретовну — пусть невольно — в неловкое положение перед Милочкой, наверное, опять пришлось объяснять девочке, почему таинственный обитатель Симаков не бывает в доме, хотя пользуется браиловским гостеприимством.

Надежда Филаретовна сумела не только ответить достойно, но и обратить себе на пользу досадное недоразумение. Она могла бы лукаво принять извинения Чайковского, могла бы «великодушно» взять всю вину на себя; могла бы, наконец, сделать вид, что история эта выведенного яйца не стоит. Но Надежду Филаретовну постигло вдохновение, она нашла совершенно иной, неожиданный ход. Она решилась пройти по самому краю пропасти. Она не извинялась и не считала нужным извинять в чем-либо Чайковского, хотя отнюдь

не относилась случившееся к разряду пустых мелочей. Она была в восторге от неожиданной встречи и не могла передать, до чего хорошо на сердце ей стало, когда она убедилась в «действительности присутствия» Чайковского возле нее. Да, все сбылось по высшей ее мечте, ей дано было почувствовать Чайковского не как миф, а как живого человека, которого она любит и чьим присутствием в мире беспрерывно наслаждается.

На это письмо Чайковский не ответил, точнее, ответил лишь на последние, чисто деловые строки, касающиеся приезда из Москвы брата Пахульского — Генриха. О главном же он промолчал, и это было как бы немым признанием права Надежды Филаретовны на испытанную ею радость, уважением к чувству, которое он впускал другому человеку.

И Надежда Филаретовна еще смелее взялась за приручение Чайковского. Она настояла на его визите в пустой брагловский дом, где все было тщательно и тонко подготовлено, чтобы создалось впечатление застигнутого врасплох. Петр Ильич никогда не видел знакомое жилище таким нарядным, милым, уютным и радостным, хотя на всем лежал отпечаток некоторой изящной небрежности: на террасе забыта книга с замшевой закладкой, на спинку кресла брошена мантилька, на ковре — Милочкина кукла с закатывшимися глазами, словно без сознания, на скатерть осыпались пунцовые лепестки георгинов. И чай, поданный на террасу, оказался особенно вкусен, видать, для хозяйки заваривали; и приглянулся ему вдруг ужасный вышитый бандит в его бывшей комнате и того же художественного достоинства малороссийская девушка в маленькой гостиной, где небывало чудесно звучал мастерски настроенный «Шредер», и почти до слез тронуло, когда в семейном альбоме он обнаружил две свои карточки. Ощущение теплого, скромного, несмотря на все богатство, милого и надежного человечьего гнезда так сильно сказалось в душе Петра Ильича, что он впервые приоткрыл вечно сомкнутые створки и завещал Надежде Филаретовне самое дорогое, лакея Алешку, преданного и вконец избалованного малого. В порыве доверия и новой близости к милому другу поручил он Надежде Филаретовне заботу об Алешке после его, Чайковского, смерти. Он не сомневался, что умрет раньше Надежды Филаретовны, поскольку не мыслил себе жизни без нее.

Вопреки этим мрачным мыслям, письмо заканчивалось возгласом непривычного оптимизма: «Давайте жить, милый, добрый, дорогой друг мой! Умереть всегда успеем...»

Надежда Филаретовна могла поздравить себя с крупным успехом. Теперь нужно было сделать следующий шаг к сближению. Предстояли большие торжества — празднование имения Сашонка с лодочным катанием, иллюминацией и фейерверком. Неужели милый друг не захочет взглянуть на этот праздник из какого-нибудь укромья? Он может прийти даже в парк, и она ручается, что его никто не потревожит. Пусть приходит в час вечернего чаепития, когда вся семья сидит за самоваром и в парке могут оказаться лишь окрестные жители, любующиеся фейерверком.

Конечно, в глубине души Надежда Филаретовна надеялась, что Петр Ильич не выдержит несколько смешной в данных обстоятельствах роли прятуна и произойдет желанная встреча. При свете фейерверковых огней, под звуки музыки и взрывы ракет свершится явление Петра Ильича малому народу ее семьи. И когда она воображала, как Петр Ильич, бледный, взволнованный, с легкой испариной на высоком, просторном челе, с темными грустными и глубокими глазами, выходит из-за деревьев и медленно приближается к ней, слезы забивали ей горло.

То была бы достойная плата за всю ее бескорыстную службу. Пусть это произойдет так вот приподнято, театрально, почти на грани дурного вкуса, высокий балаган уместен в обиходе серьезных, патетических душ, а до чего ж редко большие жизненные события являютя в красивой раме! Да возникнет Петр Ильич в блеске огней, в звуках музыки, да проникнутся все окружающие величием минуты, с которой начнется новое летосчисление.

Не только чувственная любовь способна рассчитывать, прикидывать, составлять диспозицию боя, но и такое полное чувство — и земное, и духовное, и материнское, и страстное, — как любовь Надежды Филаретовны к Чайковскому. И тут нет ничего странного, любовь — творчество, а следовательно, включает все возможности личности.

Недоверчивый, настороженный, предельно собранный, как и всегда во время опасности, Петр Ильич не дал затуманить себе голову успокоительными посулами. И все же ему хотелось увидеть этот праздник. Страшась небесного и земного огня — молний и пожаров, он по-детски обожал фейерверки, иллюминации. И не было сомнений, что у Надежды Филаретовны огненная карусель будет заверчена на невиданный лад.

Весь дом фон Мекк включился в подготовку к празднику. Исключение составлял лишь сам виновник торжества Сапонок, мечтательный и рассеянный, — кто мог подумать, что из него выйдет такой ловкий коммерсант! — он с утра до вечера увлеченно и фальшиво наигрывал на разбитом рояле сонаты Бетховена, пачкая ноты отпечатками грязноватых пальцев, — юный мечтатель не отличался опрятностью в отличие от своих братьев и сестер. На кухне стоял дым коромыслом — пекли, варили, жарили и парили. Призванные из деревни мужики конопатили и смолили рассохшиеся лодки, на которых праздничный кортеж поплывет мимо снамаковских берегов, где в кустарнике или в стоге сена будет хорониться Чайковский. Марсель Карлович, тонкий знаток вин, делал ревизию погребу. Юлия вязала гирлянды из ярких августовских цветов, Соня, Макс и Миша клеили китайские фонарики, а Милочка мешала им. Пахульский репетировал с оркестром последние произведения Чайковского. Новый садовник составлял сказочные букеты для праздничного стола. Лакеи чистили столовое серебро и подсвечники. В доме шла генеральная уборка: неистовствовали полотеры с воцеными оранжевыми пятками, визжало под сильными руками мойщиц стекло зеркал и окон, обшаривала потолочные углы и гипсовую лепнину проныр-

ливая щетка на длиннющей ручке. В примыкающую к покоям Надежды Филаретовны комнату перенесли шредеровский рояль, бюро красного дерева, турецкий диван и чайный столик; на стены повесили прекрасную копию Мурильо, а также вышитого бандита и малороссийскую девушку. Надежда Филаретовна собственноручно принесла сюда изящные письменные принадлежности, остро отточенные карандаши, нотную бумагу и бостанжогловские папиросы. Домашние делали вид, будто не замечают этих таинственных приготовлений. Только Милочка все домогалась, зачем передвинули рояль в другую комнату. Пришлось на место «Шредера» перенести разбитый рояль сверху, на котором упражнялся Сашонек. Мплочке перестановка эта ничего не объяснила. Тогда ей пригрозили наказанием. Каким? — поинтересовалось дитя. Вопрос важный — среди различных воспитующих мер были и такие вестрашные, как лишение вечернего поцелуя, без чего Милочка отлично обходилась. «Выпорю!» — сухо сказала Надежда Филаретовна. Это уже было серьезно, и свет понимания мгновенно озарил Милочкин рассудок. «Ну да, — сказала она, — к «Шредеру» Сашонка не подпускают, а играть паверху ему скучно. Он же любит, чтобы у мамочки от его игры голова болела». Милочка давала взрослым людям урок добросовестности во лжи.

А затем Надежда Филаретовна убедилась, что у нее есть деятельный помощник. Она побежала на задний двор, где в лачужке, пахнувшей жженым порохом, обитал старый-престарый фейерверкер. Молодым человеком он помогал своему отцу, придворному пиротехнику, в устройстве фейерверковых потех в честь побед императора Александра над Наполеоном Бонапартом. Покойный Карл Федорович, любивший все, что связано с огнем, будь то деревенские костры в честь Иоанна Крестителя, называемого на Украине Иваном Купалой, или столичные иллюминации, небольшой сельский пожарщик или петергофские феерии, детские шутихи или огонь испепеляющий, нередко со вкусом расспрашивал старика о пиротехнических чудесах, которыми его отец поражал петербургский двор начала века. О затейливых огненных фигурах, что летали, вращались, плавали, ныряли и разрывались с оглушительным треском и россыпью блестящих искр; об огненном дожде — массе золотых капель, создаваемых мелкими ракетами, вылетающими из мощных фугасов; об огненных букетах и гирляндах, мельничных крыльях, бриллиантовых пирамидах и знаменитом «солнце», что не угасало часами.

При всей занятости Карл Федорович завел и собственный, весьма недурной пиротехнический арсенал, но после его смерти огненная потеха захирела в Браилове. Лишь время от времени старику заказывали немудреный детский фейерверк с шутихами, свечами и малыми петардами, вычерчивающими в небе зигзагообразный след. И замечательное искусство мастеров пропадало втуне. Но вот ему снова представилась возможность показать все, на что он способен. Бедный старик ужасно разволновался, сам съездил в Каменец-Подольский, накупил сухого пороха, новых фитилей для контурного

изображения родового вензеля фон Мекк и с первых петухов до поздней ночи мудровал над изготовлением разных невидалей.

Надежда Филаретовна, привыкшая вникать в каждое домашнее дело, решила проведать старика. В дверях халупки высилась рослая, плечистая фигура Николая. Хозяйственный Николай уже спускался в погреб к Марселю Карловичу, распустил садовника за грубый вкус, а кондитера за отсутствие воображения, а теперь вот и до фейерверкера добрался.

«Молодой хозяин», — с улыбкой прошептала Надежда Филаретовна, любуясь ладной статью сына.

— Смотри, старик, ты мне головой отвечаешь за вензель, — строго говорил Николай.

— Неужто, сударь, мы этого не понимаем? Александру Благословенному угрождали, Николаю Павловичу... Ваш батюшка Карл Оттонович и то доволен бывал. Неужто стану я срамиться на старости лет?

— Распустились тут!.. — ворчал Николай.

Надежда Филаретовна подумала, что сын метит в нее, но не рассердилась, скорее гордость почувствовала. Нравились властность и твердость Николая. Его хозяйственность обещала ей освобождение от докучных и трудных забот землевладения. Хоть от чего-то освободит ее толковый сын, и, дай бог, удачнее, нежели в свое время Володя. Ей нужна свобода для душевной жизни, она не намерена вечно тратить себя на дела, имение и семью.

— Состав для фитилей пробовал? — сведущим голосом спросил Николай. — Смотри, чтобы контур не оборвался.

«А ведь я не догадалась бы спросить об этом!» — восхитилась Надежда Филаретовна.

— По старинному рецепту стоговил, — чуть обиженно сказал старик. — Сроду у нас такого не бывало, чтоб контур не соблюсти. Это ж последнее дело, ежели контур...

— Ладно, ладно!.. Фонтаны чем подсветишь?

— На Аврору, сударь, рубин дадим, а на Нептуна — изумруд.

— Заряды покрепче ставь... Я тебя еще проверю, — пообещал Николай и, не заметив матери, пошел напрямик через низенький плетень, на птичник, где сейчас казнили кур и цесарок для предстоящего обеда.

— Это уж как угодно-с... — пробормотал вслед ему старик.

Откуда у Николая такая фанаберия? — вдруг удивилась Надежда Филаретовна. — Карл Федорович, которого этот старик почему-то величает на лифляндский манер «Оттоновичем», был сильным человеком, но с подчиненными, к тому же честными и добросовестными, обращался вежливо, будто с ровней. Я тоже не из воска слеплена, держу окружающих в узде, но добиваюсь этого не угрозами, а строгостью к самой себе. А что, если под наружной властностью Николая скрывается растерянная и слабая душа? Но ей не хотелось думать сейчас о дурном, тревожном. Подойдя к фейерверкеру, она ласково поздоровалась с ним и спросила о самочувствии.

— Какое там самочувствие, — равнодушно отозвался старик. — Давно в землю пора.

— Зачем же так, Федотыч? Ты нам еще нужен. Второго такого мастера поискать!

— Пустое! — отмахнулся старик. Ему было скучно с ней, еще скучнее, чем с Николаем, который, как все юнцы, тяготел к пороху и взрывам.

Но Надежде Филаретовне не хотелось так просто оставить старика, трудившегося во славу Чайковского.

— У нас нынче особый гость будет, Федотыч. Таких еще не бывало.

— Это кто же, государь император или ихняя супруга? — вяло полюбопытствовал старик. — А может, конечно, гофмейстер, — возразил он сам себе, извлекая смутное придворное звание из глубин дряхлой памяти.

— Выше забирай, Федотыч! — засмеялась Надежда Филаретовна, странно умиленная этим дурацким разговором.

— Выше идут только ангельские чины...

— Он великий музыкант, Федотыч!

— Капельмейстер, значит, — понял фейерверкер. — Я всегда полковую музыку читал, особо самую наибольшую трубу.

— Будь здоров, Федотыч. — И легкой походкой Надежда Филаретовна удалилась.

— Как же, однако, эта труба называлась? — вспоминал Федотыч, начиня ракету порохом в количестве достаточном, чтобы взорвать все Браилово. — Забыл, забыл, ну и бог с ней совсем.

...День выдался роскошный, совсем не по лету, то хмуро и влажно ветреному, то сухо-пыльному, с долго заходящими и не раздражающимися грозами. А тут, вознаграждая браиловцев за все невзгоды, с утра горячо, но незлобно засверкало солнце. Омытая росой земля исходила свежестью и не августовским, чуть усталым ароматом, а палитой июльской сочностью. Над рекой висели синие стрекозы на сухо шелестящих слюдяных крылышках. Плескались и выпрыгивали из воды голавли и шелешеры, где-то была крупная рыба — сом или щука, порхали и судачили камышевки, взволнованные непривычным зрелищем кортежа.

Николай командовал как заправский капитан; Сашонок, наклонившись к воде, пытался сорвать кувшинку на тугом резиновом стебле; Милочка приставала ко всем, проплывут ли мимо Смамаков; Юлия, подтверждая тревожную догадку матери, глаз не сводила с оживленного, похорошевшего Пахульского. Челядинцы, как и положено, все делали вкривь и вкось. Потеряли весло, утопили уключину, на одной лодке оборвали рулевые тяги, а другую прочно посадили на мель, но вопреки обыкновению вся эта разладица бытовой жизни ничуть не раздражала Надежду Филаретовну, скорее даже веселила. Она свято верила, что сегодняшний день принесет ей счастье, но, будучи в глубине души немного язычницей, как и подавляющее большинство людей, радовалась мелким искупительным жертвам, отводящим зависть и гнев богов.

Ее даже не слишком огорчило, что милый друг соблюдал совершенную незримость. Главное, чтобы он видел их. Надежда Филаретовна знала, что и сама она в свободном бархатном пальто с перелиной из светлого газа, и безукоризненно элегантная Юлия, и юные англазированные джентльмены Сашонок с Николаем, и меньшие дети, одетые как маленькие принцы и принцессы, выглядят нарядно, наивно-торжественно, странно и мило в несоответствии своих туалетов сельскому обставу: задумчивой реке, кувшишкам, лилиям и поросшим боярышником берегам. В этом было что-то от речных прогулок времен Елизаветы Петровны — европейский блеск, наложенный на древнюю Русь.

Проплыли по тихой и ясной воде, попили в лесу чаю с вареньем, медом и сладкими пирогами: севрский фарфор, будто растворивший в своем нежном теле солнце, мило дисгармонировал с лесной порослью и прелью, скромными цветами и травами.

А по возвращении был великолепный обед, и Надежда Филаретовна произнесла серьезный и трогательный тост за Сашонка, задевший отвлеченную душу юного мечтателя. И было долгое течение праздничного дня с поздравлениями империнника заездными соседями, с приходом брайловских мужиков-старообрядцев в красных рубашках и картузах и мужиков-католиков в пестрядинных рубахах, с почти не умолкавшей музыкой. Маленький домовый оркестр был спрятан в искусственном гроте, и казалось, сама земля источает музыку в чистый гулкий вечерний воздух. Не скрипки и виолончели, валторны и флейты играли музыку Чайковского, а изумрудный, с вороненым отблеском английский газон, стеклянные шары на клумбах ярких осенних цветов, дорожки в красноватом песке, акации, клены и буки, первые звезды, проклюнувшие небо, и молодой месяц, наливший бледным золотом прозоры между деревьями. В мире, погружающемся в ночь, все напряглось ожиданием чуда, и вдруг душен показался Надежде Филаретовне свежий, прозрачный воздух.

Она сменила свое светлое дневное платье на темное вечернее. Почти невесомое, оно казалось тяжелым из-за лифа-кирасы и драпированной юбки с длинным треном. Большой, черной, прекрасной птицей металась Надежда Филаретовна по саду и парку, ее худые, приоткрывшие тень щеки и грудь под газом пылали, лихорадочно сверкали глаза в пещерах глазниц. Она приводила в смятение всех, кто к ней приближался. От нее заряжался электричеством воздух, как в предгрозе. Чувствительную и тоже наэлектризованную Милочку предельно ударило, когда мать протянула к ней руку, чтобы поправить бант.

И тут, давая не истинную, а обманчивую разрядку скопившемуся в Надежде Филаретовне и вокруг нее напряжению, над садом и домом, над парком и окрестностями, над всем миром вспыхнул багрянцем родовой вензель фон Мекк. Безукоризненный контур заставлял думать о неземной руке, начертавшей огненные письмена на бархатистой глади неба. Все закричали, захлопали в ладоши, а Николай, ущипнув себя за припухший уголок рта, проворчал:

— Ведь может, каналья!..

Новые ослепительные вспышки заставили позабыть о чудо-вензеле. Старый фейерверкер, видимо, понимал, что другой такой возможности не представится, и дал волю своей истосковавшейся по большому огню душе.

Усадьба и все сущее на ней то распахивалось в алых, багровых, золотых сполохах, то накрывалась непроглядным мраком, лишь в зеркальных шарах дотлевали кровавые отблески. Порой казалось, будто красные табуны пропосытся через сад, с грохотом и треском руша все на своем пути.

Но вот завертела крыльями ветряная мельница, ставшая на облаке, и по блистающей воде пруда поплыли гордые лебеди, быстрые утицы, запрыгали дельфины, и все младшее поколение с воплями кинулось к водоему, а Надежда Филаретовна, воспользовавшись тем, что о ней забыли, устремилась прочь, в безлюдье, где только и мог — для нее одной — обрисоваться во тьме Петр Ильич и, став плотью, выйти из полубытия и навсегда остаться при ней теплой человеческой жизнью.

Далекie, не имеющие земного подобия огоньки манили ее. Но огонек погасал раньше, чем ей удавалось приблизиться. Старый фейерверкер расстреливал ночь во всех направлениях, один свет вливался в другой, разрывы слагались в единый бесконечно затянувшийся раскат.

Взблески света в себе самом вконец ослепили ее слабые глаза. Она потеряла ощущение, что близко, а что далеко, где что находится: дом, парк, ограда, где свое, родное, где опасность чужого предела. Иногда она слышала нежный зов: «Мама!» — то из встревоженной гортани Юлии, то из просторной груди Софьи, еще неоформившейся груди будущей певицы, но не отзвывалась, утратив смысл отклика. Она искала, окрыленная, взвихренная, чуждая даже тени страха, что Чайковский может не прийти или прийти на свой лад — оставаясь невидимым.

Гордясь своим трезвым реализмом, — верная последовательница Чернышевского! — Надежда Филаретовна необычайно широко трактовала это философское понятие. Так, она верила в беспредельность возможностей человеческой личности и потому считала прозрения, передачу мыслей на расстояние, совпадение душевных озарений и прочий сверхчувственный — в глазах тупиц — обиход вполне приемлемым с точки зрения материализма, хотя наука еще не познала природу этих явлений. Она не допускала мысли, чтобы милого друга могли не достигнуть исходящие от нее веления, чтобы он не понял символического языка огней и не откликнулся им, он, творец Четвертой симфонии, умеющий заглядывать за зримый образ вещей. Подобная нищая трезвость нереальна, ибо унижает великую человеческую суть: и ее, подающей сигналы, и его, принимающего.

Низко, в рост человека, покотился по воздуху к парку огненный колобок. Надежда Филаретовна, немедленно откликнувшись сказке, устремилась за ним. Что-то упруго толкнулось ей в ногу, раз-другой,

и она не сразу сообразила, что это дог Рекс. «Не мешай, Рекс, пошел прочь!» Обдав ее сильным запахом разгоряченной пасти, Рекс прыгнул во тьму, но, видимо, успел сбить с дорожки. Рослая трава запуталась в длинном трене, юбка нагрузла влагой, мешая движениям. А колобок стремительно удалялся, и надо было во что бы то ни стало настичь его. Надежда Филаретовна подхватила юбку с двух сторон и, не разбирая пути, побежала за огненным кругляком, а он юркнул за деревья, да и был таков. Он обманул ее, вокруг ничего не было, кроме темноты и сыроватой прохлады листьев, и впервые тревожное чувство шевельнулось в груди Надежды Филаретовны. И тут она заметила маленькую беседку, о существовании которой совсем забыла. Затянутая то ли диким виноградом, то ли плющом, она стояла под деревьями, открытая в сторону пруда. И с чего-то захотелось спрятаться, исчезнуть. Вход в беседку находился с другой стороны. Раздвинув влажные, туго растянутые по веревкам побеги, Надежда Филаретовна вошла в черную непроглядь. Вытянув вперед руки, пересекла малое пространство, коснулась листьев, сжала их в ладонях и вновь увидела буйство огня — пустое, обманное. И когда казалось, что сердце откажется от ненужной работы — гнать кровь в пустыню тела, она вдруг ощутила себя живой, напряженной, трепещущей. Этому не было ни внешней, ни внутренней причин, но что-то, наверное, было, — радость обдавала ее волнами, сладостно сжималось сердце, нежно слабел колени.

Казалось, кто-то невидимый обволакивает ее своим дыханием, своей аурой, всем теплом своего существа. Ее бросало то в жар, то в холод, она дрожала. Надежда Филаретовна закрыла глаза, тревожимые вспышками фейерверка, чтобы ничто не отвлекало ее в эти лучшие мгновения жизни. Она почти верила, что Чайковский возле нее, что его руки окутывают ее сетью легчайших касаний, тепло его тела мешается с ее теплом. Лишь страх прогнать наваждение помешал ей раскрыть объятия. «Не оборачивайся!» — сказал ей голос, как некогда жене Лотты, и она удержала уже родившееся в мышцах движение. Пусть все это обман, но волшебный обман! Она еще сильнее смежила веки, и в забытьи ворвался капризный и ненавистный сейчас голос Милочки:

— Нет, мама там!.. Я видела!..

— Не говори глупостей.— Голос Юлии звучал напряженно.—
Перестань!

— Пойдем туда!

— Я что сказала?

Милочка пискливо заплакала, видно, Юлия насильно потащила ее прочь. Холодный мокрый лист прижался к горячей щеке Надежды Филаретовны. Наваждение кончилось. Она открыла глаза. Было темно, как в шахте. Затем она обнаружила в паружной тьме несколько красных точек, там, где догорали потешные огни, — у пруда, возле клумбы, да в вышине, на опорных шестах попскривал, умирая, вензель рода фон Мекк.

— Вот и погас фейерверк, — сказала Надежда Филаретовна и заплакала и медленно, волоча трен по траве, побрела к дому...

...Петр Ильич мог быть доволен. Он не обидел гостеприимную хозяйку отказом и ловко избежал капкана. Нечаянно-нарочно, как это бывает у людей, таящих заднюю мысль, он чуть запоздал с выходом из дома — тщательнее обычного занялся туалетом — и увидел лишь хвост лодочного кортежа. По тихой, зеленоватой от травянистых берегов воде в сторону заката удалялся диковинный бело-розовый цветок. Это было красиво и странно, и он даже подсадовал на свою чрезмерную осмотрительность. Ведь можно было и не выходить на берег, а заpastись сильным биноклем и досконально рассмотреть туалеты дам. Петр Ильич был равнодушен к одежде и, в отличие от большинства мужчин, вообще не замечающих, как одеты женщины, все видел и оценивал до тонкости. Он знал, что и Надежду Филаретовну, и Юлию, и даже Сонечку одевают лучшие парижские портнихи, и представлял, как должны быть очаровательны их изысканные туалеты в раме сельской простоты. Но что ни делает господь, все к лучшему. Так, легко отбыв первую половину дружеской повинности, он без тревоги ожидал вечернее продолжение, там на него будут работать ночь, деревья, прочная изгородь. Радость свободы наполняла его весь день, а вечером пришло необъяснимое смятение.

Испуг охватил его, когда, сам не зная с чего, он приказал Алешке подать фрак.

— Чего? — обалдев, переспросил Алешка.

— Фрак, дурень! — нетерпеливо сказал Петр Ильич, почти никогда не повышавший на Алешку голоса, тем более не прибегавший к ругательным барским окрикам.

— Неужто вы к ним пойдете? — не обидевшись вопреки обыкновению на бранное слово, спросил Алешка.

Лучше бы ему помолчать! Петр Ильич и так весь обмер, сказав о фраке. Но оставалась спасительная неопределенность: коли праздник, значит, фрак положен... Диковато, конечно, подглядывать во фраке с бугорка или, того лучше, из-за плетня за чужим весельем, но человек одевается прежде всего для себя самого — существует такая банальность. В конце концов, этим фраком он как бы общается к празднику милого друга, оставаясь по обыкновению невидимым. Своим проклятым любопытством Алешка пробудил мучительную тревогу — уж не собирался ли он впрямь с визитом к госпоже фон Мекк? Нет, о том, чтобы пожаловать в открытую, и речи быть не может. Он никогда не отважится на столь дерзкий и самоубийственный поступок. Но он может поставить себя в такое положение, что поступок станет неизбежен. Достаточно попасться на глаза Марселю Карловичу в этом дурацком фраке, и тот силком его затянет — попробуй кого-нибудь убедить, что целью парада был бугор, изгородь или угол сарая. Да и лакей Лешка может донести: мол, ушел во фраке. На что это похоже? — спросил он себя рассеянно и огорченно. На изру гоголевского Подколесина? Раз на барине фрак, уж не хочет ли барин жениться... Да разве там о фраке речь шла? О чем-то другом. И все равно похоже. Но сходство неизмеримо возрастет, если меня туда заманят. Тогда я, как Подколесин, — в окошко —

и вся недолга. Я выпрыгну, честное благородное слово, выпрыгну!

Странно, но эти вздорные мысли успокоили Петра Ильича. Они подсказывали спасение — на самый крайний случай. Уйти всегда можно, не в дверь, так в окно, не в окно, так в замочную скважину.

— Поддай фрак,— сказал он больным голосом.— И собирайся, мы завтра уезжаем.

— Это как же — ни с того ни с сего? — всполошился Алешка.— Нехорошо барыню обижать.

— Молчи, невежа!

Обвинение в невежестве было самым ненавистным для Алешки. В браиловской дворне он считался человеком высокообразованным — изучал русский, французский, арифметику и закон божий. К тому же обидное слово напомнило ему о запущенной подготовке к экзаменам на военную льготу. Он скис, насупился и молча помог барину одеться.

Петру Ильичу необыкновенно шел фрак, и пластрон, и черный галстук. Его ладная, но чуть сыроватая фигура обретала стройность, даже некоторую жестковатость, тугой воротничок напрягал шею, и голова чуть откидывалась назад, придавая облику горделивость, движения становились сухими и четкими. При этом он не любил парадной одежды,— качества, придаваемые ему фраком, не были свойственны его натуре, его внутреннему существу, и этот обман был ему неприятен.

Он приказал Алешке следовать за ним. На смиренной четверке, с Ефимом на козлах, они быстро добрались до Браилова, как раз зажегшего первые огни. Почти разом вспыхнули китайские фонарики, а в вышине юркой мышью забегал красный огонек, прочертив в небе сложный вензель дома фон Мекк.

— Вот это да! — воскликнул Алешка.— Люминация первый сорт!

— Иллюминация, дубина!

— Что это вы, сударь, нынче в ругательном расположении? Я ведь и обидеться могу,— предупредил Алешка.

— Прости, дружок, что-то с нервами у меня. Как бы ударик опять не хватил.

— Может, повернем? — беспокоился Алешка.

— Нет, нет! Нельзя!.. Ефим, голубчик, подхлестни-ка своих носорогов.

Ефим с оттяжкой прошелся по лощеным крупам. Четверка хрястнула копытами по передку экипажа, будто собираясь пуститься в галоп, но даже не прибавила рыси.

— Давай вон туда.— Чайковский показал Ефиму на замшелую каменную ограду, уходившую в густые заросли.

— Да там не увидишь ничего,— заметил Алешка.

— А я перелезу.

— Ну-ка, собаки!..

Чайковский как-то странно посмотрел на него.

— Здесь мне плохого не сделают. Подсобил!..

Они вышли из экипажа, Алешка присел, Чайковский узвятился

за каменный столб, оперся коленом о крестец парня, прочно стал ему на спину, примерился и, замахнув хвостами фрака, этаким чертом скакнул за ограду. Он слегка ударился коленом о какой-то пенек, и, хотя твердо верил, что в доме фон Мекк ему нечего бояться, сердце отчаянно заколотилось, когда из темноты прынул громадный пятнистый дог. Черное в его шерсти сливалось с тьмой, казалось, что у него полморды и дыры по всему телу.

Петр Ильич знал, что собака чувствует, когда ее боятся, и пуще свирепеет, но ничего не мог поделать с собой. Он остановился, прижав локти к груди и кистями защищая горло. Сопя, отфыркивая и сбрасывая тягучую слюну с угла губ, пес обнюхал Петра Ильича, что-то соображая в своей усеченной голове. Может быть, он припоминал запах Сиамаков, гарантирующий надежность посетителя? Дог отпрыгнул и скачками понесся прочь...

Петр Ильич вытер лоб и двинулся дальше. Фейерверк разгорался все ослепительнее. Крупные фугасы расплывали небесный свод, обнажали его тревожный рельеф с громадами облаков. Инстинкт самосохранения оставил Чайковского. Он не сознавал, что движется напролом, сквозь кусты и деревья, к самому средоточию праздника. Роса забрызгала ему брюки до колен, промокла нога в лакированных сапогах, он чувствовал холод и влагу в плечах и лопатках. Когда он вышел к пруду, золотая свеча зажглась над самой его головой. Ему почудилось, что он открыт взглядам всех обитателей дома, любующихся искусственными лебедями, утками, дельфинами. Он метнулся назад, но сразу сдержал шаг, поняв, что его не могли разглядеть на фоне темных деревьев. Зато он удивительно полно и отчетливо охватил все нарядное многолюдство. За какие-то мгновения он успел разглядеть и детей Надежды Филаретовны: стройных юношей Сашонка с Николаем, подростков Макса с Мишей, формирующуюся, неуклюже-прелестную Сою, строгую Юлию, крошечную Милочку, и немногочисленных гостей, и лакеев, разносящих прохладительное, и в глубине пейзажа старого фейерверкера в допотопном мундире, и его подручных, младших слуг, наряженных в красивые шелковые рубахи. Не было лишь одной Надежды Филаретовны. Он не мог пропустить ее, увидев так много. Главное действующее лицо отсутствовало.

Две грациозно-костлявых русских борзых с опасным щучьим оскалом подбежали к Чайковскому. Между лап у них крутился черный, коротко стриженный пуделек. Петр Ильич знал его по прежнему гостеванию в Брашове.

— Крокет, Крокет!..

Пуделек узнал его и завиллял всем каракульчовым телом. Борзые поверили своему меньшому приятелю и, успокоенные, убежали прочь. Петр Ильич подумал, что собаки могут его выдать. Надо было избрать более надежное место для наблюдения. Неподалеку от пруда виднелась беседка, увитая плющом. В прозоры между листьями можно спокойно любоваться и прудом, и фейерверком, и всеми насельниками дома. Он вошел в беседку, и, прежде чем успел оглянуться, мимо него метнулась высокая женская фигура, задев его подолом

платья. Ухватившись руками за веревки, по которым тянулись побеги плюща, женщина стала, тяжело дыша.

Он невольно попятился, хрустнула под ногой сухая ветка. Надежда Филаретовна чуть повернула голову на высокой стройной шее. Па Чайковского пахло теплым ароматом духов. Ничего не обнаружив, Надежда Филаретовна отвернулась. В руке у нее был веер, она стала обмахивать лицо, грудь, и легкие волосы Чайковского взлетели под рожденным ею ветром.

Чайковский подался вперед и протянул руки, словно собираясь заключить ее в объятия. Он провел ладонями от ее висков до плеч, затем до талии, точно следуя рисунку фигуры, оконтуренной огнем фейерверка. Странно, что она не слышала его громко стучащего сердца. Осмелев, он водил руками над ее прической, почти касался маленьких ушей и нежных волос на долгой шее. Тальма соскользнула, и ее сильные округлые плечи матово белели в темноте.

Внутренне лицо Петра Ильича плакало от странного, горестного счастья. Они были так близки сейчас и так безнадежно раздвинуты. И казалось, Надежда Филаретовна ощущает нечто, удерживающее ее в беседке, но не позволяющее оглянуться. Она дышала прерывисто, раз даже тихонько застонала, и жалоба эта странно отозвалась в Чайковском. Некогда испытанное к Дезире Д'Арто вновь ожило в нем.

В полубреду услышал он какие-то голоса: капризный — детский и резкий, недовольный — взрослый. И тут Надежда Филаретовна прошептала: «Боже мой!», выбежала из беседки, и шаги ее зашуршали по песку...

Петр Ильич с трудом перелез через ограду и свалился прямо в руки Алешке.

— Господи, а я-то маюсь! Думал, несчастье какое.

— Ври больше, небось в три листика играл.— Петр Ильич шатнулся и жалобно попросил: — Дай руку, Алешенька...

Ночью, лежа без сна, Петр Ильич сочинял письмо Надежде Филаретовне, произнося слова шепотом вслух:

«...Прекрасная, дорогая и, да позволено мне будет раз сказать открыто, навсегда любимая Надежда Филаретовна. Когда Вы получите это письмо, меня уже не будет в Сиамаках, не будет больше в Вашей жизни. Мы доиграли до конца нашу высокую игру. Вы защитили меня от всего, но не от самой себя. Когда-то вы говорили: я должен любить музыку, а не женщину, но я нарушил закон своей жизни и потому бегу. Я больше, неизмеримо больше теряю в Вас, нежели Вы теряете во мне. Но что поделать? С Вами, под Вашим большим и теплым крылом моя душа утешится в нежности, надежности, блаженстве. Она уснет, и ее не разбудить никакой музыкой. Да и откуда возьмется музыка? Вы сами музыка, Вы больше, величайшее чудо света — Человек, Женщина, Жена, Мать. Я все еще верю, что моя музыка кому-то нужна. Могу ли я ради собственного счастья отказаться от того обязательства, которое дал неведомо когда, неведомо кому, неведомо где, но дава, это я твердо знаю. Я сам лишь инструмент, на котором играет неведомый дух. Иногда я пло-

хой инструмент, расстроенный, дребезжащий, но я еще стану хорошим инструментом. Моя главная песня не спета, и я не знаю, когда я спою ее. Знаю лишь, что спою только на своем одиноком пути. Мне больно, мне страшно писать это...»

Он так и не предал бумаге это самое искреннее и соответствующее — без обиняков — правде переживания письмо свое к госпоже фон Мекк. Вместо него он послал обычный тщательный отчет о проведенном дне, но не о том, чем был для него на самом деле этот прекрасный и страшный день. Он даже написал, что любовался праздником возле беседки, неподалеку от пруда. Он и сам не знал, зачем он это сделал. Конечно, он ни словом не обмолвился, что видел ее. И вскоре вслед за тем покинул Сиамаки. Его поспешный отъезд напоминал бегство...

...Возвращаясь в темноте из беседки, Надежда Филаретовна едва не наступила на ползущего по дорожке человека. Он обшаривал кусты боярышника, высаженные вдоль аллеи.

— Ты что тут делаешь? — строго прикрикнула чуждая страха Надежда Филаретовна.

— Да Марцеллу ищут, — отозвался человек слабым голосом старика фейерверкера. — Вроде бы здесь упала...

— Какую еще Марцеллу? — Надежда Филаретовна подумала, что у старика от трудов и усталости ум за разум зашел.

— Да главную мою ракету. Которая на звездопад заряженная. Красивше ее не было. А Николай Карлович не смогли запустить. Она вон ушла и не взорвалась.

— Успокойся, Федотыч! Все хорошо было, просто отлично. Завтра приходи за вознаграждением.

— Да на кой оно мне, матушка?.. А Марцелла не взошла. Экая беда!..

— Другой раз запустишь, — жалея старика, сказала Надежда Филаретовна.

— Когда он еще будет, другой-то раз? Мне и не дожить. — И старик пополз на четвереньках.

Как раз но устроен мир! — подумала Надежда Филаретовна. — Для меня праздник был в Петре Ильиче, для детей в самом празднике, а для старика в «главной ракете», чтоб она взошла и рассыпалась звездами. Ему и дела нет до моей печали, моей тайны. Что случилось в беседке? Почему мне было счастливо и ужасно, а, старик? Какая тебе забота, когда в траве сыреет прекрасная Марцелла. И это справедливо...

...Лорнет выпал из руки Надежды Филаретовны, едва она дошла до строк письма Петра Ильича: «Я находился все время близ беседки на пруду». Милый друг, вы не умеете лгать. Между беседкой и прудом не раз пробегали мальчики, проходила Юлия с Милочкой, я слышала их разговор. Там негде укрыться. Даже я при всей близорукости увидела бы вас. Но ваше убежище и так было раскрыто, дорогой. Милочке непременно хотелось в беседку. Она-то

знала, кто там находится. И Юлия догадалась об этом и не пустила ее туда. Одна я, слепая тетеря, ничего не видела, хотя и чувствовала, нестерпимо сильно чувствовала вас рядом. И только глупое суеверие, недостойное такой реалистки, как я, помешало мне протянуть к вам руки. А ваши руки были протянуты ко мне, теперь я это знаю. Вот откуда шло электричество, вот почему мне хотелось плакать от тоски и счастья. Милый друг, даже самая верная дружба не заряжает так другого человека, не опалает ему кожу. Хотите вы или не хотите, но вы любите меня, и дай-то вам бог скорее понять это. Фейерверк не умер, самая сильная и прекрасная ракета лежит в траве, пачиненная звездным дождем. Надо только суметь найти ее и зажечь.

И Надежда Филаретовна написала Чайковскому поразительное по откровенности и силе чувства письмо — страстное признание в любви. Чайковский отмолчался...

...Что же было потом? Милый друг научил ее терпению. Она все искала свою Марцеллу. Не смущаясь ни годами, ни наступающей старостью. Она верила, что над дивной ракетой не властно время, не властны ни дожди, ни снега, ни бури, что в свой час она вспыхнет и станет звездой.

Она поняла, что не будет звездного дождя, что фейерверк навсегда погас лишь сегодня, в этой летней гостиной, перед лицом ее детей — мучителей, как погасло закатное солнце, вернув комнате, вещам и людям их обыденный злоецащий вид.

Неужели вспышка памяти была прощанием? Неужели я уже сделала выбор? Наверное, так, хоть и сама еще не верю этому. Конечно, я должна выбрать слабейшую сторону. Мой дорогой, седой, стеклянный мальчик, вы сильнее не только моих детей, но и самого Геракла. Хрупкий, непрочный, боящийся мышей и покойников — вы боялись даже своего любимого Рубинштейна и подходили к его гробу с закрытыми глазами, — вы не побойтесь взглянуть в лицо смерти и тем осилите ее, как осилили всех и вся: время непонимания, глухоту «знатоков», злобу недругов, уозость друзей, холод вечного одиночества и мое притяжение. Но я уже не разделю с вами этого последнего торжества. Простите меня за отступничество. Вам будет очень не хватать вашего старого друга, куда больше, нежели вы можете представить. Ведь была же, была беседа, Петр Ильич, был фейерверк и не вовсе погас в наших увядших душах. Но сейчас конец. Не судите слишком строго ни меня, ни моих детей: в природе часто жизнь нового оплачивается смертью старого — детеныши поедают свою мать. Это естественно, и над ними нет суда.

Но они, ее дети, не поверили свободному великодушию матери, губящей себя ради них. И новый вульгарный всплеск сотряс гостиную:

- Мы так и не услышали ответа!..
- Поразительная глухота и слепота!..
- Когда сам государь!..

- Все общество!..
- Нам только скандала не хватает!..
- На незапятнанное имя отца!..
- Молчите! — вскричала Надежда Филаретовна и задохнулась.
- Довольно падить!..
- Дядя, вы как старший!..

Александр Филаретович Фроловский — великий устроитель чужих дел и плохой собственных — поднялся во весь свой саженный рост. Это была его минута. Он вовсе не думал о том, что причинит смертельную боль сестре, которую по-своему любил. Но человеку второсортному и зависимому так сладко ощутить в ладони тяжесть карающего меча.

— Молчите!.. Не хочу... — Надежда Филаретовна зажала уши. — Запрещаю!.. — Тонем ниже: — Считайте, что все уже сказано, самое мерзкое, самое страшное, на что способна злоба. Грехи Петра Ильича искуплены его музыкой, и ваши грехи тоже, и мои...

— Он что же — Иисус Христос? — насмешливо крикнул Владимир.

— Да. Наконец-то вы поняли. Вы хотели распять его, но он уже не в вашей власти. Вознесение опередило Голгофу. Так-то, дети мои... А мама опять с вами, — сказала она почти ласково, жалея их за презрение, какое испытывала к ним. — Со всеми денежками, заботой, тревогой, вся целиком. Я сообщу господину Чайковскому о прекращении выплаты бюджетных сумм. Всю остальную переписку, если таковая возникнет, примет на себя любезнейший господин Пахульский. Как видите, капитуляция полная.

И, предупреждая фальшь благодарного сочувствия, когда безжалостное дело уже свершилось, сказала спокойно и властно:

— Ступайте, пейте чай, играйте. Я хочу остаться одна.

Они повиновались, не заметив странной обмолвки «играйте» применительно к взрослым людям...

...Что же было дальше? Надежда Филаретовна вернее рассчитала судьбу Чайковского, нежели свою собственную судьбу. Поша оказалась ей не по плечу. Приступы черной меланхолии, случавшиеся порой и прежде, стремительно перешли в неизлечимую душевную болезнь. Физически она пережила Чайковского, но то уже не было жизнью. Она окончила дни в сумасшедшем доме, не помня о том, кого так долго и трудно любила.

А Чайковский вроде бы справился с нанесенным ему неожиданным ударом. Речь идет, разумеется, не о денежной потере. К этому времени он уже был человеком обеспеченным, правда, от безалаберной щедрости — особенно к близким — деньги утекали у него между пальцев. Но не это волновало его. Самозванные охранители посмертной чести Чайковского, стыдливо поджимающие губки и потупляющие глазки, когда дело касается материальной помощи композитору со стороны фон Мекк, почему-то не помнят горьких писем Чайковского братьям, написанных по свежей боли разрыва. Эти письма куда лучше говорят о подлинном бескорыстии Чайковского, чем паршивенькое умолчание. Если уж Надежде Филаретовне грозит

разорение, писал Чайковский, то пусть она не откажется принять моей помощи. Он страстно мечтал стать для фон Мекк тем, чем многие годы была она для него.

Чайковский не стал богачом даже в самый славный период своей жизни. А фон Мекк, хотя и понесла чувствительные потери, отнюдь не разорилась, сохранила значительное состояние. Петр Ильич не понимал причины разрыва, тягостно страдал и продолжал стучаться в запертую дверь. Его письма Пахульскому, ставшему мужем Юлии фон Мекк, нельзя читать без острой жалости. Похоже, он только теперь начал понимать, что значила в его жизни Надежда Филаретовна.

Госпожа фон Мекк не ошиблась в главном. Петр Ильич достиг своей конечной цели: глянул в лицо смерти и не отпрянул в ужасе и отчаянии. «Патетической» назвал он последнюю симфонию, вершину своего творчества. Он не оставил себе иллюзии, что за смертью что-то есть, кроме пустоты, и принял такой исход, ничуть не обесценивающий чуда жизни. Сказав же громко «да!» жизни и смерти, он умер — сразу и так вовремя, что смерть его породила множество легенд. Нас эти легенды не интересуют, нас интересует другое. Умирая в петербургской квартире своего брата Модеста, умирая тяжело, мучительно и неопратно, он заставил всех близких выйти из спальни, чтобы они не видели его физического унижения. Три человека, припавшие к двери, слышали измученный, томящийся, но отчетливый голос умирающего:

— Надежда!.. Надежда!.. — и вновь зовом, молитвой: — Надежда!.. — и со скрипом зубов, с невыносимой болью: — Проклятая!..

То было его последнее слово среди живых. А затем настало бессмертие. И они вошли туда рука об руку — Композитор и его Дама. В этом есть проияя, но есть и правда.



РАССКАЗЫ



ОГНЕННЫЙ ПРОТОПОП

— Собирайся, распоп! — сказал стрелецкий десятник с наискось разрубленным лицом; по краям широкого сборчатого шрама narosло дикое мясо.

— Ав емь протопоп, а не распоп, — огрызнулся Аввакум, подымаясь со своего ветошного ложа.

Лицо десятника налилось темной кровью, а шрам и дикое мясо остались в своем цвете, ибо лишены были кровавого орошения, — мертвая бледная борозда усугубляла жестокость звероватых черт, но воин смолчал на дерзость узника.

— И ты, Епифашка, шевелись! — обратился он к соузнику протопопа.

— Поймей уважение к инокескому сану! — одернул его протопоп.

В пауродованной глазище десятника косо сидел темный сухой глаз. Сейчас этот глаз почти выкатился на щеку.

— Он такой же расстрига, как и ты, — медленно проговорил стрелец.

Послышались странные звуки, будто вдалеке зашлепали вальки по мокрой тканине, и аж под сердце полоснуло протопопа забытым ладом вольной жизни. Полоснуло и осталось болью — это Епифаний замотал огрызком дважды урезанного языка, зачавкал вислыми губами, силясь что-то произнестъ.

Первый раз усекли язык Епифанию, и равно и попу Лазарю, и дякону Федору, томящимся в соседнем срубе, еще в Москве, во дни церковного собора, но тогда языки отросли у них. Епифаний же из воздуха поймал пучок языков, выбрал наилучший и в рот себе вложил. Мига единого не оставались в безмолвии миленькие! Эти повые языки им урезали под корень уже в Пустозерске. Гладко у них во рту стало, протопоп сам пальцами шарил, да милостив господь, снова отросли языки, маленько тупей прежнего, а для речи годные. И вот отнялся язык у Епифания. В наиважнейший, роковой час лишился, беденький, дара звучащего слова. Господь ли его забыл или Епифанию не по плечу пришлась ноша и отвернулся он от господа бога в душе своей?.. Сему последнему отказывалось верить сердце. Надо так подгадать, еще одна мука ниспослана страдальцу Епифанию, дабы испытать стойкость его веры. Но царь небесный с Епифанием сам разберется, а перед людьми за онемевшего инока заступником он, Аввакум.

— Сей старец тебе не то что в отцы, в деды годится, вопи! — ска-

зал Аввакум.— Обращайся с ним по достоинству его лет, мудрости и благочестия.

— Заткнись! — коротко приказал воип.

— Меня и государь великий Алексей Мпхайлович, царствие ему небесное, молчать не научил, тем паче не замкнет мне уст ничтожный тюремщик.

Он угодил в самое больное место стражу. Стрелецкий десятник любил поле и сечу и ненавидел свою нынешнюю службу. Он был уже не молод, но крепок, как дуб, и мог бы за милую душу погрызть саблей и бердышом на беспокойных границах русской земли. Ужасной своей ране был он обязан тому, что перевели его из-под Белгорода в царев стрелянный полк. Велика, конечно, честь, да царя с души своротило, когда увидел он изуродованную харю десятника. И загнали стрелца на край света для скучной и унижительной ратнику тюремной службы.

— Больно ты бьешь, Аввакум,— сказал он сумрачно, по без злобы, ибо уважал всякое мужество.— И по заслугам получаешь.

Протопоп не ответил. Он задумался о том, почему его обошли карой, совершенной над его сподвижниками. Ведь им не только языки урезали, но и десницы отсекли. У Лазаря всю кисть, у Федора поперек ладони, у Елифания персты. Правда, и здесь господь не поскупился на чудо: Елифанию персты удлинил, а отрезанные члены Лазаря и Федора сохранил в нетленности. Федор — дурак, сам виноват, что съезжилась и загнила его отрезанная рука, которую он прятал в узилище, ибо стал блевать на святую троицу. У Федора-окаянного не троица есть бог, а единица сливная, как будто могут быть три в одном! Вот до какой мерзости договорился его духовный сын. Пришлось Аввакуму не только в послании чадам церковным его заклеить, но и тюремщикам донести, дабы отняли у Федора зловредную писанину и огню предали. Выходит, и враг может па что доброе согдиться. Но с того времени испортилась, изнемогла Федорова отсеченная длань, и он сам со стыда велел ее в землю бросить.

Иное дело с Аввакумом. И язык многоглаголивый не покидал звучной пещеры его рта, при нем же остались и длинные сильные персты, равно цепкие, хватистые и к гусиному перу, и к рыбацкой сети, и к веслу, и к мелкому телу крестимого младенца, и к тугой, доброй груди протопопицы Марковны, сладкой подруги всей его жизни.

Бесхитростный и ясновидящий старец Елифаный уверял, что покойный государь Алексей Михайлович, расположенный к устному и письменному слову, виршевым согласиям и комедийному строению — пуще души спасения любил позорища, миленкий! — не хотел лишать себя Аввакумовых словес. Огненноустый, как его называли, протопоп был равно слеп и в звучащем, и в начертанном пером слове. Крепкие памятью людишки записывали для царя речения Аввакума, а краснописцы переписывали те послания, кои не для цар-

ских очей предназначены были. Впрочем, и сам царь-батюшка не был обойден посланиями и челобитными неленивого Аввакума.

Всю кисть оттяпали у Лазаря, дабы не брался за перо твердый верой, но тусклым нетворящим разумом пош; усекли руку у писучего, но не богатого дарованием дьякона Федора, а надо бы по плечо отхватить, во еже не срамил святую троицу. А не чуждому нежных словес плетению Епифанию лишь подкоротили персты, дабы не мог лба перекрестить по старому канону. Но не позволил тронуть царь-словолюбец словотворца-протопопа.

Думая обо всем этом, постиг Аввакум и светлую мысль старца Епифания, понудившего его написать свое житие — сказ о бурях житейских, о видешом и претерпленном, а не поучение, не проповедь, не наставительное, утешительное, челобитное или обличительное послание.

Поначалу смущало протопопа — а кому нужно такое вот, вроде бы не устремленное к цели писание? Да и не святой он, не пророк, не схимник, чтобы его житие людям надобно было. Но поверил бесхитроственному и ясновидящему сердцу инока, покорно и бесстрашно прошагавшего с клюкой и котомкой от Соловецкой обители до Москвы на суд скорый, жестокий и неправедный. Епифаний направлял его руку. Своим затупленным, дважды резаным языком требовал он от Аввакума полной обстоятельности: где да и когда на свет появился, от каких родителей, как встретился с кузнецовой дочкой, четырнадцатилетней Настасьей, и сочетался с ней совокуплением брачным, обрета на всю жизнь друга ко спасению. И о жестоком соблазне плотском — никому прежде не признавался в том протопоп, даже Марковне, от которой не имел тайн, — а искусила его невольню юная блудница на исповеди, столь воодушевленно живописавшая свой грех, что он, недостойный врачеватель, сам разгорелся блудным огнем. По счастью, осенило его — огонь пожирающий огнем же и изгнать. На пламени церковной свечи жег он правую длань, покуда не наполнилась исповедальня обвоью горелого мяса и не утихло внутреннее раздражение. На весь свет, понуждаемый Епифанием, раззвонил Аввакум об этом сраме. Да нешто позорит человека, даже иерея, преодоленный соблазн?

И о первых мучительствах — а сколько их ему выпало! — рассказав Аввакум в подробности. О буйных жителях села Лопатицы, чуть не до смерти убивших его в отместку за скоморохов, которых он изгнал, изломав их ухари и бубны и отняв медведей; о Василии Петровиче Шереметеве, повелевшем сбросить его в Волгу за то, что отказал он в благословении его сыну Матвею, срамному бритобрадцу; и о печальном начале своего протоиерейского служения в Юрьевце-Повольском, где прихожане, подзуженные начальниками-блудодеями, люто избили его батошьем и рычагами.

Начнешь вспоминать и не кончишь!.. Только перевел он дух в Москве, куда бежал из Юрьевца-Повольского под крыло друга, протопопа Неронова, как вошел в силу Никон, призванный царем на патриарший престол. Властолюбивый, хитрющий, мозговитый толстогуб принялся насаждать в церкви греко-римскую блудню. Сие угодно

царю Алексею было для его политики противу турецкого султана. Прямым наследником и заступником византийского упадка выходил теперь царь Великий, Малыя и Белья России. Да неугодно ему было, что Никон сам над царской властью подняться возжелал. Но это уже много после оказалось, а в те ранние поры новый патриарх, во всем от царя доверенный, повел православную церковь под греко-римское ярмо, безжалостно расправляясь с супротивниками: кого в тюрьму, кого в ссылку, кого на тот свет.

Тут и лучшие зашатались!.. Сам Неронов, настрадавшись по дальним монастырям, осунувшись плотью до лепестковой тонины, утратив надежду на торжество правды, приняв три перста да с тем и отошел. Ему, миленькому, хоть тонкий лучик надежды, как в щели от лампадного огня, потребен был, дабы соблюсти душу. А ты выстои без надежды, без тонкого лучика света, в непроглядной темени земляной могилы, где и хлеб едят, и ветхия испражняют; выстои, когда жена твоя и чада тоже брошены в мерзлую тундряную землю; да и не просто выстои, а укрепляй через тысячи верст преданных истинной вере и сокрушай вероотступников; выстои в грязи, смраде и духоте, когда достаточно тебе сложить трехперстную дулю — и сам царь тебя в объятия примет и с целованием к груди прижмет. Конечно, не вынешный, скудный духом молодой Федор, а могутный отец его Алексей, прозванный Т и ш а й ш и м, хотя крови больше самого Грозного пролил. Любил он в тайности чувств своих Аввакума, хотел мира с ним, в чем и царице открылся. Ближнего боярина и самого верного человека Артамона Матвеева сколько раз к нему посылал и сам возле его темницы в Николо-Угрешском монастыре со вздохами и стенаниями бродил в надежде размягчить душу протопопа. И Аввакум жалел его, сердцем жалел заблудшего государя, да ведь не бывает двух правд, правда одна, и коль сведения она тебе, то и держись ее до смертного часа. Но не ему Неронова судить. Может, потому и не снес искуса, беденький, что не сподобил его господь дара письменного слововыражения. Не было выхода его душе.

Аввакум узнал, какая великая милость дарована ему господом богом: глаголом души опалая, когда направил иериснарху всея Руси свое первое послание, сочиненное купно с Даниилом, костромским протопопом. Оценили царь с патриархом по достоинству сие творение: Даниила в Астрахани терновым венцом венчали и в земляной тюрьме уморили, а Аввакума Борис Нелединский со стрельцами прямо от всенощной, которую он на сушиле у Неронова служил, взяли и в Андроньевом монастыре на цепь посадили. И вот тогда впервой заступился за него царь: не дал расстричь, обошлось дело сибирской ссылкой.

Обошлось!..

Уехал он туда священником, пусть и потерпевшим от скорого на расправу Никона — да таких уже немало было в русской церкви, — а вернулся мучеником за веру и народным ироем. Возвели его в этот высокий и страшный сан страсти, претерпленные от воеводы Пашкова, покорителя Даурии, лютейшего из лютых самоуправцев, собственное непокорство, мятежный дух — казаков на бунт подбивал —

и огнеустые послания царю, никонианам, наставления чадам духовными.

Как ни лют, ни беспощаден был собиратель земель сибирских, ратный муж Пашков, не мог бы он так зверовать над священнослужителем в протонерейском сане, если б не тайное повеление от самого Никопа. Он и бил нещадно Аввакума, и в яму бросал, и топил в сибирских холодных реках и в глубоких озерах, и морозил в снегах, и голодом морил — что волк или медведь оставит, тем питалось Аввакумово семейство, сосновую кашу за лакомство почитали, — под конец и вовсе огнем и железом пытаться хотел, мстя за сына, пропавшего в Монголии со своей дружиной. Пашков-сын у волхвов об удаче похода просил, а не у святой православной церкви, за что и был проклят протопопом. Уже похороненный и оплаканный близкими, сын вернулся в тот самый миг, когда огонь уже опалил бороду протопопу. И поник своей головой гордый воевода, надломился его могучий дух. Он давно уже об одном только мечтал — услышать хоть слово смирения от протопопа, — но не дождался. И какая-то робость поселилась в косматом сердце завоевателя, привыкшего ломать и гнуть всех без разбору. Бросив Аввакума с семейством без продовольствия и снаряжения посреди враждебных инородцев, воевода ушел в Москву, как бежал. И спрашивал себя протопоп: кто же кого больше мучил, Пашков его или он Пашкова? Похоже, что осплил вооруженного до зубов воина иерей в затасканной рясе.

Два года добирался Аввакум до Москвы. Он шел, громко проповедуя слово божье, обличая никонианскую ересь: как труба перихонская, раздавался его голос по сибирским городам и весям. Великая сила наливала его обхудавшее, сухое тело, и, одолевая трудные версты, слава до хрипоты святую тропцу, он по ночам на привалах, под кедрачами или на теплых полатях, в лодке, вывоченной на берег, или в шалаше из елового лапника крепко обнимал, любил и брюхатил сладкую, горячую свою протопопицу.

И, как положено мужу и жене, все пополам делили: и великие муки, и малые радости, и раз выпало каждому из них рухнуть ослабевшей душой и быть спасену силой другого. Они шли по замерзшему Иргень-озеру, то и дело оскальзываясь и убиваясь о лед и едва поспевая за двумя полудохлыми клячонками, тащившими сани с рухлишком и детенками, когда на упавшую протопопицу мужик-сопутник повалился и намертво ко льду прижал. Оба кричат, плачут и не могут встать от истощения. И тогда многотерпеливая протопопица, отвалив из последних сил омороченного мужика, возопила с гневом и отчаянием: «Долго ли мука сия, протопоп, будет?» И ответил протопоп единственными, быть может, словами, способными поднять ее на ноги: «Марковна, до самых до смерти!» И она, вздохнув, молвила: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

И побрели, и до Москвы добрали. Отдохнувший в долгом пути от издевательства и побоев, отведший душу неустанной проповедью, согретый жадным вниманием, даже восторгом тьмы людей простого звания, узнавших в нем заступника перед господом богом от царского и патриаршего гнева, и при всем том принятый царем с вели-

ким почетом, растекся Аввакум, как дерьмо в оттепель. Покою ему захотелось, умиротворения. Ах, как вспомнишь об этой слабости, так сами вскипают со дна души слова отвращения: «Кал и гной есмь, окаянной — прямое говно! Отовсюду воняю — душой и телом!» И тогда, заметив его сумление, сведомилась протопопица, что, мол, притемпился, отец? И он, свинья злосмрадная, да что там свинья, та от естества воняет, а он от греховной хитрости своей, все на семью, на детушек скинул — вяжут-де ему руки, уста замыкают — и, хоть зима еретическая на дворе, не может он уста для обличения распечатать. И протопопица, святая душенька, ведь сама только чуть отгrelась душой и телом, салопчик-другой завела, шубейку теплую справила, детушек отмыла да подкормила — впервой вкус медового пряничка узнали, миленькие! — так ему рекла: «Аз тя с детьми благословляю: дерзай проповедовать слово божие, а о нас не тужи; догдеже бог позволит, живем вместе, а егда разлучит, тогда о нас в молитвах своих не забывай. Поди, поди в церковь, Петрович, обличай блудню еретическую!»

И он склонился перед женой своей, и восстал из грязи, и пошел обличать с прежней силой никонианскую ересь, а вскоре и царю-батьшке zelo крепкую грамоту отправил.

Тут и пошло. Его и просили, и совестили — совести в помине не имеющие! — и казнями всякими стращали: участь Павла Коломенского, за правду удавленного, у всех перед глазами стояла, но больше на уговор брали, на обещание великих милостей, должностей высоких, по протопоп Аввакум уже был тем пеумолимым правдолюбом, каким остался и по сей день. Не хотел он никаких сделок с властями, даром что семейство его возросло и забот, и силы-защиты, и средств для пропитания куда больше требовало, но, коль жена на подвиг его благословила, не спихнуть Аввакума с пути правды ни царю, ни боярам, ни церковным начетчикам хитроумным.

Не хотелось царю отдавать на правезь своего писателя. Раз встретились они лицом к лицу, поглядели друг на друга и молча, печально разошлись. Подивился он глубине взгляда широко расставленных царевых глаз и прочел в них свой приговор. Вскоре пришло повеление сослать его с семьей в Мезень. Что ж, так и на этой земле положено: царю царствовать многие лета, а проповеднику мучиться многие лета. А как отойдут они в вечные дома, так уж господь по-иному распорядится.

Далека Мезень, а и там люди живут. Промышлял он рыбкой, от соседей гостинчик перепадал, и по-прежнему наставлял людей доброй вере, обличал и язвил супротивников.

Далека Мезень, затеряна за лесами дремучими, за болотами непролазными, посреди мхов, снегов да дерев-кривулин, путь к ней — где водой, где волоком, где чуть не вскок по кочкам — ах как долог! Но крылаты человечьи слова. Уму непостижимо, с какой быстротой достигали и речи, и писания протопопа не только Москвы-столицы, но и отдаленных окраин Государства русского: Сибирь, Даурии, где лютый воевода хотел его извести.

Иные дурачки шепотно, в оглядку пророком его называть стали. Пустые и богопротивные то речи. Но, видать, жгло его слово людские души, как в древности глаголы библейских пророков. А в такие огненальные времена, полные искусного витийства, разносящегося не только с амвонов, но и с царского печатного двора, не так-то просто быть услышанным, да еще из тундрыной дали!

И опять затребовали его в Москву. А там все то же: отрекись да отрекись! Уговаривали, умоляли, на спор пытались взять, грозили. И дабы скорее открылся ему свет истины, в Пафнутьевом монастыре на чеши держали. А потом на Угрещу, к Николе свезли, кружным путем — волоками да грязью, чтоб не сведали черносонные да не отбили своего печальника. И там ему бороду под корень отхватили. И сказал он в боли и унижении: «Выпросил у бога светлую Россию сатана, да и очервленил кровию мученической. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо — Христа ради, нашего света, пострадать!»

Семнадцать недель продержали его у Николы в студеной палатке, и не замерз он только потому, что являлся ему его ангел-хранитель и тепло в сердце дувал. И случалось, царь подходил к темнице, вздыхал жалобно да и прочь отходил. Казалось бы, что общего между задумчивым, в науках сведущим, к чтению приверженным, богомольным царем Алексеем и звероватым язычником, воеводой Пашковым? А ведь и тому, и другому равно нужно было, чтобы взмолился Аввакум: «Помилуйте». И Пашков разом отложил бы кнут и батожье, и царь отворил бы темницу, только запроси он пощады. По душе это им нужно или от чего другого? Просто и не ответишь... Пашков не своему делу служил — государеву. Не больно Тишайшего заботило, что казаки Пашкова от голода кобыльи кишки немые с калом пожирали, что мертвым зверям и птичьим мясам причастны стали, что кнутобойничал над ними Пашков без всякого удержу. Нет, Тишайшему земли за Байкалом надобны были, а как добывает их Пашков, ему и горюшка мало. И Пашков знал это и гнул напропалую. И еще Тишайшему надо было, чтобы на всем пространстве Великия, Малыя и Белья России мертвая стояла бы тишина и покой, чтобы не разгибал спины пахарь, не озирали очами творящееся вокруг и не ждал помощи от неба. Где ожидание, там надежда, где надежда, там и стремление. А стремление бунтом чревато. И разве не берется за колья, косы и вилы то там, то здесь замордованный крестьянский и посадский люд? Разве не потрясли крепкий трон государев монахи Соловецкой обители, уподобившиеся воинству небесному?

Нет, не прав свой потешить хотели великий царь и пес его лютый Пашков, когда ждали — Большой со вздохами и стенаниями, Малый с кровавой бешеной слезой — его, Аввакума, мольбы о пощаде. Был он им что рыба кость в горле — стала поперек, колет и глотать мешает. Не давал он им Русь проглотить. И веры в себя лишал. У них и войско, и оружие: пушки, ядра, осадные машины, мушкеты и пистолы, мечи, сабли, бердыши, а у него только слово. А что такое слово — звук, дуновение, а вот поди ж ты!.. Он раз упрекнул Артамона Матвеева: «К чему зверуете? С теми, что меч поднимают, мечом и деритесь, а тех, кто лишь слово имеет, словом же и побь-

вайте. А коли сами в слово свое не верите, нет у вас правды. Нешто Христос огнем и мечом истине путь пролагал? Нет, у ста ми. Слабым уст шевелением богочеловек, свет паш, уловлял людские души и вел ко спасеню».

А все же уважлив к слову был царь Алексей Михайлович. Куда менее Аввакума перед пим виновных отдавал церковникам на суд, расправу, кнутный бой, удов отсечение и сожжение в срубах, а писателя не уступил. Не плоть Аввакума, а дух сломить он хотел. Иначе не будет прямо его сидение на высоком золотом троне, не покойны в деснице скипетр, а в шуйце держава, не прочна на главе высокая, расшитая алмазами и земчугом шапка Мономаха и душна, как удавка, золотая цепь нагрудного креста. Вот какой затеялся спор между сыном спившегося деревенского попика и самодержавцем государства Российского, вторым царем из рода Романовых.

И, отстояв, отохав под стенами Аввакумовой темницы, царь совсем было решился отдать его в руки палачей, да царица отмолила его от смерти. Снова свезли его на худой телеге к Пафнутию и забыли о нем на время. Сильна была при царе царица, да не настолько, чтоб в государевы заботы соваться. Нарочно придумано сие было, чтобы знал протопоп — достиг он предела царева терпения.

Выдерживали его в Пафнутьевом монастыре без малого год, и вовсе неспроста. Ожидала его баталия велпкая на церковном соборе с вселенскими патриархами и многомудрыми богословами. Ожидалось, что светочи греко-православной церкви, зело в науках преусневице и даром витийного слова украшенные, сокрушат и повергнут в прах мужицкого пона. Славно готовили его к этому спору! Келарь Никодим завалил окошки и дверь, а топили келью по-черному, дыму идти некуда, к тому же смрад ужаснейший от сцанья и сранья. Думал Аввакум, конец ему пришел. Да господь милостив. Даже ангела-хранителя не стал посылать, обошлось обычным добрым человеком. Дворянин Ивац Камынин был щедрым вкладчиком в обитель, его побаивались. Так он сам все разломал и дал узнику отдух. Когда же в отверстие окошко смрад из кельи наружу рванул, то шибавуло спертой струей пролетавшего мимо воробышка, и он мертвым на землю пал, а куст пунцового чертополоха разом обвял. Протопопа же ответной чистой струей без чувств на пол повергло.

И вот поставили его в Кремле перед вселенскими патриархами: Макарием Антиохийским, Паисием Александрийским, Иосафом Вторым Московским, а при них еще саповитых голов сорок. После Артамои Матвеев, редкого ума и страшной грусти человек, будто провидел сквозь весь почет, пышность и удачу горестную судьбу свою, сказывал, как двоилось сердце царя Алексея в дни яростных сражений Аввакума с князьями церкви и светилами богословия. Ждал, сердешный, ох как ждал, что сломают они хребет Аввакумовой вере, а вечером в терему говорил царице, поглаживая густую темную округлую бороду длинными и сильными перстами: а наш-то мужичок нижегородский носом в лужу вселенских воткнул! Две души было в царе. Да нет, так не бывает. Одна душа — с лица государственная, как ад, страшная, с рубашки — домашняя, мягкая да теплая. Будь он не

царем, а простым человеком, ему б цены не знали. Но он самодержавие, ему бы только успевать, вдаль и вширь ползти — на кой, спрашивается, ляд? — и сок кровавый из людшек тягловых жать для силы власти своей и тех, кто возле трона. А зачем сила и власть и государства просторы безмерные, если нет добра и правды, если сир, наг, измучен, истощен народ? Нешто Россия — земля, Росспя — человеки, неужто царю непонятно? Он же башковитый. А коли понятно, да все равно на свой угол гнет, значит, преступник перед богом и людьми.

О чем бы речь ни заходила, об азах ли, как креститься — дулей или пятью перстами, как аллилуйю возглашать или о поучениях святых апостолов, срамил и на позор выставлял протопоп всю их римскую блудню одной лишь верой, одной надеждой на свет Христа. И выходило: вера сильнее науки! Вроде бы и аза не умел протолковать мятежный протопоп и даже имя собственное забыл, но выходил на ристалище, воспламенялось в нем сердце, и косил он от плеча несейный плевел среди пшеницы. И все начетчики — с копытец долой! И со злобы, что скovyрнул он их идолов, кинулись скопом бить его церковники. Но он их апостолом Павлом окоротил: «Убивше человека, как литоргисать станете?» Вот вам и по науке — враз откатились.

Спорили, бранились, руками размахивали, так что пот вструй за пазуху тек, а у протопопа на челе и дланях телесная роса кровью окрашивалась, и трепетали вселенские, но ничуть не укротились злобой. Чаляли они через свою победу всю Русь под себя подобрать. Царь же супротив думал — через них еще шире силой своей распространиться. А тут распоп с выдранной бородежкой, нещадно битый, пытаный, осрамленный, поперек всех этих великих расчетов втиснулся.

В редком почете он тогда жил. Его со сподвижниками: старцем Епифанием и попом Лазарем стрельцы в отхожее место с бердышами провожали. Такой чести самому царю не оказывали. Может, опасались, что вознесутся они со своих куч? Царь с царицей чуть не каждый вечер ближних людей за благословением к нему посылали. Артамон Матвеев, твердая душа, именем царя заклинал: «Соединись с вселенскими хоть какой малостью!» Ишь хитрые какие — царь с советниками! В малу дырку и море утечет! И он отвечал царю через Артамона Матвеева: «Аще умерети мне бог изволит, с отступниками не соединюсь. Ты мой царь, а им до тебя какое дело? Своего царя потеряли, да и тебя проглотить сюда приволоклись! Я не сведу рук с высоты небесной, дондеже бог тебя отдаст мне!»

И царь сказал: где бы ты ни был, не забывай нас в своих молитвах. И понял Аввакум, что царь прощается с ним. Так оно и оказалось. Вкупе с Епифанием, Лазарем и дяконом Федором сослали его в Пустозерск, место болотистое, пустое, тундряное. Его с Москвы в целости отпустили, а им языки урезали. Кинули их сперва в избы, после в срубы деревянные, в землю вкопаные, в каждом срубе скважина-оконце, в него и пищу подают и лайно извергают, на полу вода не просыхает. Округ срубов тех ограда крепкая, за оградой стра-

жа зоркая. Почет или осторожность? Коли почет, так не заслужили, коли осторожность — так зряшная, бежать отсюда невмочь, да и некуда. А слову стены и стража — не препятство. И Аввакумовы, и Федоровы послания свободно слуха русского достигали. А если и осеклось напоследок у Федора-дурня, то по его, Аввакумову, доносу. А с царем расстриженный протопоп твердым словом попрощался: «Видишь ли, самодержавие! Ты владеешь на свободе одною русской землей, а мне сын божий покорил за темничное сидение и небо, и землю. Ты возьмешь гроб и саван, аз же, присужденнем вашим, не сподоблюсь савана и гроба, но наги мои кости псами и птицами небесным растерзаны будут и по земле влачimy; так добро и любезно мне на земле лежати и святом одианну и небом прикрытым быти; небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь — бог мне дал, а его ж выше того рекох».

И с правым, и с виноватым разделяется беспощадное время. Нету уже царя Алексея. По словам близких царскому семейству людей, чуть не до последнего дня читывал он вслух царице Аввакумово житие. А в иных местах отводил глаза от строк и наизусть, будто свое или из священного писания, негромким, но звучным и глубоким голосом произносил. Особенно любил он описание роскошеств земли сибирской: «Лук у них растет и чеснок, — больше романовского луковичи и сладок зело. Там же растут и конопля благорасленные, а во дворах — травы красныя и цветы и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей, — по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем — осетры и таймени, стерляди, и омули, и сиги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем: во окяне — море большом, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо на нем; осетры и таймени жирны гораздо, нельзя жарить на сковородке, жир все будет. А все то у Христа того наделано для человеков, чтоб, упокоясь, хвалу богу отдавали. А человек... скачет, яко козел; раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съестъ хочет, яко змия; ржет, зря на чужую красоту, яко жеребья; лукавит, яко бес; насыщаяся довольно; без правила спит; бога не молит; отлагает покаяние на старость и потом исчезает и не веет, камо отходит: или во свет, или во тьму, — день судный коегождо явит...»

А पुще того любил государь историйку про курицу-пеструшку, подаренную протопопу еще цыпушкой за то, что отмолил он и уврачевал от слепоты куров боярыни Евдокии Кирилловны, сердобольной невестки лютого воеводы Пашкова. Аввакум в сем деле на бога надеялся, да и сам не оплошал. Куров он и святой водицей прыскал, и ладаном обкуривал, аж руку с кадиллом заломило, после сколотил из лесин новое корытце для пиши — и перестали слепнуть несущики, а тороватая боярыня отблагодарила целителя цыпушкой. «А та птичка одушевлена, божие творение, нас кормила, и сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или рыбки прилучится, и рыбку клевала, а нам против того по два яичка в день давала». Страшен для древлего благочестия был тишайший царь, и для крестьянства, и для посадского люда страшен, хуже царя Ивана, хоть тот грозен, а этот тих. Но не по праву он жестоковал — по уставу

власти своей. Читая же о доброй курочке, слезами прозрачными плакал.

И, думая сейчас обо всем этом, протопоп вспоминал казавшиеся ему прежде темными и даже глуповатыми рассуждения Епифания, что этой вот курочкой да утицами, да сверчками, вниманием ко всякой твари, всякой малости, населяющей божий мир, отличен он, Аввакум, от всех причастных гусиному перу грамотеев России. По совести, Аввакуму чуть ли не укоризной почудились тогда сии слова, а сейчас, у последнего предела, открылась ему глубокая истинная честной похвалы инока.

Даниилово велеречие, коему и он, Аввакум, порой поддавался, не впадая, впрочем, в непроворот, тьму и заушь древних акафистов, воспаряется в такие выси, что неразличимы оттуда мелкие подробности простой жизни. Потому ни цветка, ни пичужки, ни веточки не сыщешь у митрополита Даниила и других отечественных словослагателей. А что за жизнь без цветка, пичужки, веточки? Вот ведь и узники пустозерские в смрадном своем заключении радовались, как малые дети, и клочку синего неба в оконце, и дикой утице, или гусю, или иной какой птице, мелькнувшей в отдале, и месяцу двуроному, и звездочке, и мошке или травинке, взметенной выспрь ветром. А земля из узилища не проглядывалась — больно глубоко были оконницы.

Тринадцать долгих лет! Сколько народу за сей срок отошло! Нету двух месяцев, двух ластовиц сладкоглаголивых, сестер Феодосьи Морозовой и Евдокии Урусовой, замученных в боровской тюрьме, нету Федора-юродивого, принявшего мученическую смерть, нету Церонова, бедного отступника — да не судим он будет, — нету тьмы приверженцев старой веры — редко кто ушел своей смертью, — и вот уже старость подступила, и куда истратилось время? Ведомо куда — на противоборство.

Во все концы Руси летели его грамотки: и в Соловецкую обитель, дабы поддержать ратный дух у скромных иноков, опоясавшихся мечом и потрясших гордую державу царя Алексея, и в скиты, монастыри, в царские остроги, в патриаршие подземелья, к князьям и воеводам, боярам и дворянам, к черносошным крестьянам и посадским людишкам, к игуменам и чернецам, к духовным дочерям милым, ко всем ищущим живота вечного, и к семье многострадальной, и к царевне Ирине Михайловне, любимой царевой сестре, и к скромнейшей Маремьяне Федоровне, жене священника домовою церкви княгини Анны Милославской. Одних надлежало поддерживать, иных наставить на путь истинный, иных укрепить в гонимой вере, а кого и отругать без всякого снисхожденья. Как доставалось от него Феодосье Морозовой, любимейшей духовной дочери, когда занеслась боярской спесью перед Федором-юродивым, но и утешить ее в гибели любимого сына он один сумел. А сколько сил и гнева забрала борьба с Федором-соузником, блюющим на святую троицу. И с царями всевластными не прекращался у него крутой разговор. Нет, протопоп, не вышло у тебя разговора с Федором Алексеевичем.

А почему-то вадеялся он, что младой Федор склонит слух к приверженцам истинной веры, от молодых всегда чего-то доброго ждешь.

Но, зная, сколь слаб духом и незрел умом этот отпрыск царя Алексея от первого брака и сколь властолюбивы, самоуправны родичи его по матери, Милославские, указал он ему и воеводу твердого да умного, чтобы помог перепластать всех никонниан. Был ли рад и утешен князь Юрий Алексеевич Долгорукий, что узрел в нем пустозерский узник верного помощника для расправы с церковной блудней, сие осталось неизвестно, царь протопопу не откликнулся, не в пример покойному отцу.

А ведь не в захожего молодца, в родного отца уродился Федор. Любо ему словес плетение, сам инова псалмы сочиняет. Ни к брашну, ни к вину, ни к девкам, ни к соколиной охоте не влечет младого царя. Но и к Аввакумовой правде не преклонил он слуха, чуждо, отвратно прямое мужицкое слово выученику блудного байника Симеона Полоцкого.

Так и не достучавшись до государева сердца, зело рассвирепел протопоп. На берестяных хартиях изобразил он царския персоны и высокие духовныя предводители с хульными надписаниями и направил в царствующий град Москву приверженцам старой веры. В день светлого богоявления, когда царь Федор с духовенством и свитой шествовал на Иордань, с колокольни Ивана Великого взметнулись голубьями в морозное небо подметные свитки. Зело уязвленный лютого яда прелестью сих рисунков, вспомнил наконец-то царь Федор об Аввакуме...

Нет, не благовестом прозвучал пустозерским узникам хриплый, износившийся голос стрелецкого десятника, приказавшего им собираться и выходить.

А какие тут сборы-то? Сидели они в такой грязи и прелой духоте, что и одежда им была без надобности. Один крест на гайтане, от пота черном и почти истлевшем, — вот и весь их наряд. «Срамотники», — ругался десятник и велел кинуть какое-то тряпье. Аввакум так и не понял — ряса не ряса, халат не халат, вроде бы мешок с дырками для головы и рук. А и такая одежда хороша, небось не в палаты царские и не в крестовую к патриарху зовут.

Ну, старец Епифаний, терпеливый сосмрачник мой, тронулись в дорогу! Невелик, недалог путь, и пройти его надо без сраму.

Срам не в нагом грязном теле, как мнится стрелецкому десятнику — нешто узники виноваты, что их так худо соблюдали? — а в слабодушии. Никто не ждет, что выйдут они в шелковых мантиях или парчовых ризах, благоухая амброй, но вся Русь сведает о том, силу или слабость, красоту или гнусь духовную явили страстоносцы, и по ним о всех приверженцах старой веры судить будет.

И шестидесятидвухлетний Аввакум, полтора десятка лет просидевший в смрадном гноище, напрягся каждой мышцей, раздвинулся в каждом суставе, разъялся в позвонках и, весь заюнев, гоголем шагнул мимо посторонившегося стрельца к ветхому порожку.

Он вышел в малый простор тюремного двора, его шатнуло, чуть не опрокинув на мерзлую землю. Будто чем-то мягким, но увесистым шибануло под вздох и в голову. Он едва удержался на худых своих большестопных ногах, расхоженных тысячеверстыми сибирскими до-

рогами, — так вдарило после спертой и смрадной темницы свежим предвесенним духом. Эта ядреная, морозная, пронзительная струя ворвалась в черный спекшийся рот протопопа и омыла все его застоявшееся нутро. И когда прошло головокружение, угомопились круги и стрелы в очах, стал протопоп чистым, свежим, прохладным — не с лица, конечно, с исподу, — как часть пробуждающегося, мглистого, еще во власти ночи и зимы, но уже ощутившего вей апрельских ветров северного мира. «Вот, тринадцать лет невылазно населяли утопленные в земле срубы, и хоть бы что — молодцы молодцами!» — распространяя на друзей прилив доброй силушки, радостно подумал Аввакум.

Он оглянулся на «молодцов», и опять его шатнуло, затрясло, и мрак хлынул в зрачки. Господи, что же с ними поделалось? А, господи?.. Не верил себе протопоп. Может, извечный враг человеческий порошком каким в глаза сыпанул и скривил, изуродовал ему зрение? Да разве это люди выползли на свет божий? Сухие, темные стрючки, пустая оболочка без следа теплой жизни. Как дряхл, как безнадежно ветх ипок Епифаний! Пепельная мертвая кожа, всос щек и рта, голые немигающие глаза — неужто он еще и ослеп? С твердого, как кость, пятнистого черепа свисают длинные тонкие нити серых волос, лезут в глаза, в ноздри, в запавающий рот, а Епифаний не замечает, не пытается ни отмахнуть, ни хоть отдуть докучный волос. А замечает ли он хоть что-нибудь округ себя? Или только истомным биением сердца еще принадлежит жизни?..

— Богоугодный старец!.. Отче Епифаний!.. Миленький!..

Ничто не тронулось в бескровном лице, и слабой искоркой не пробило зрачков. А ведь казалось, что до последнего дня общались они со старцем. Аввакум делился с ним всем самым сокровенным, совета спрашивал, научения и вроде ответ получал. Одобрял и укреплял его старец. Неужто все это только в воображении Аввакума сотворялось? Выходит, он жил за двоих: за себя и за старца. Ведь старец, бедненький, и словечка вымолвить не может. С чего взял Аввакум, будто вернулась Епифанию речь? С чего наградил его новой рукой, когда из дыры в мешке свешивается плетью беспалая культипка?

А ведь сколько раз писал и вещал протопоп о явленном господом чуде — отрастании усеченных языков у всей троицы и отрезанных перстов Епифания! Да нет же, было чудо, было, разум сроду не отказывал протопопу, даже в самые горькие минуты. Значит, господу для чего-то надобно отнять пыне у страдальцев дареное, вернуть им первоначальный образ жертв. Может, для того, чтобы на том свете спросили они у собаки Никона: а где наша откромсанная плоть? Бог все с толком и значением делает, и, коли сама вера не сподобливает тебя к открытию истины, лучше не пытаться решать высокие загадки творца слабым своим умишком.

Но что же ухайдакало так Федора? Осанистый, крупный, чреватый дякон стал ровно уголек — махонький, черный, лишь с маковки пеплом обдугый. Неужто это я тебя сокрушил, науськав стрельцов забрать ересь твою окаянную и в огонь кинуть?..

Тяжко заломило душу Аввакуму. Как ни был он крепок в правоте своей, а знал, что не токмо с Федором, но и многими, многими единоверцам расходятся в рассуждении святой троицы. И Епифаний-старец, опора его и посох, сердитую хулу за Федора гнул. И за донос, и за самое толкование божественного предмета. Ох, нет, протопоп, жалеть жалеи страдальцев миленьких, но сбить себя с прямого пути не давай. И ради святой троицы не щади ни ближних своих, ни себя самого.

А Лазарь — поп, будто впрямь евангельский Лазарь, только не воскрешенный господом нашим Иисусом Христом, — изжелта-зеленый, трупный и вроде не в понятии. Федор-то-уголек еще теплится, поблескивает живым взглядом из-под черно-седых бровей, а у попа взгляд погас, отрешился, он еще дальше от земной юдоли, нежели инок Епифаний. Что ж, так-то п легче им — до небес полшага осталось.

И все-таки они еще принадлежат жизни, раз дышат, раз в груди стучит, а живые среди живых должны свой чин соблюдать. А ему — предстоять страдальцам. Ну что ж, сполняй последнюю службу, протопоп!

А ничего не хочется, только бы дышать этим апрельским воздухом, только бы чувствовать в гортани, в груди морозную его свежесть, только быть под этим мгlistым небом, процеживающим сквозь хмарную пелену свет восходящего на бесконечный блистающий полярный день солнца.

Земное взыграло в протопопе.

— Эх, щец бы хоть спроворили или гостинчик какой! — неожиданно для самого себя сказал он добрым голосом стрелецкому десятнику.

— Ишь чего захотел! — дернул тот шрамом. — В страстную-то пятницу!

— Так хушь без убойки, с пустой капусткой.

— Разлакомился!.. Тебе, распоп, о божественном думать положено, а не о чреве.

— Что ты понимаешь, воин! — Аввакум усмехнулся тщете всех своих земных желаний, даже таких скромных, как горшочек горячих щец. — Иисус сладчайший тоже не воздухом питался и не акридами, он молочко из титочки сосал, а после хлебец ел и мед, и мясо, и рыбку, и вино пивал за спасение наше. Не читал ты, воин, посланий Аввакума, темен ты и хладен, яко погреб.

— Эх, протопоп, дай мне меч, да поле, да врага не трусливого, увидел бы, сколь я хладен!

— Значит, и тебе не сладко, стрелец? — усмехнулся Аввакум. — Сочувствую тебе, человек. А все ж с нами ты не поменяешься?

— Не поменяюсь, протопоп.

— Лучше измозгнуть заживо, стрелец, чем гореть огнем? — громко засмеялся Аввакум.

— Тебе о том судить, — холодно сказал десятник. — Ты и гнил, ты и...

— Нет, — живо перебил Аввакум. — Не гнил я, даже в смрадной

яме сидючи, как ты на вольном воздухе, землей, морем и снегами пахнущем. Я всегда с человеком играл, а слово мое за тыщи верст залетало.

— А гостинчика захотел? — медленно проговорил десятник.

— Ты не глуп, стрелец! — опять засмеялся словно бы чем удивленный Аввакум. После испытанной им нестерпимой жалости к своим соузникам душой его овладела легкость, даже веселость, потому что и смертную жалость эту сложил к небесному престолу, не усумнился в милости господней, не дрогнула в нем вера. — Оттого и захотел гостинчика, что люблю я людей и все от них приемлю.

— Зачем же злоязычествуешь столь усердно?

— Все от той же любви, стрелец. Спасти людей мне хочется.

— А сам-то вот не спасся!

— С чего ты взял? — прищурился Аввакум, и голос его пожестчал. — Я-то как раз спасся. — И отвернулся от стрельца. — Выше голову, братья! — воззвал он к живым теням, призрачно реющим в то наплывающем, то сплывающем тумане. — Небось не покинет нас господь бог. А мужу смерть — покой есть! — Он обернулся к десятнику. — Отведи своих людей, воин, и сам отыдь маленько, дай нам свершить последнее молебствие.

Десятник что-то хмуро бормотнул стрельцам, и они отсунулись к тылу. Сам он остался на месте, и не потому, что ждал худого от узников, но уж больно важным стало для него свершающееся на глазах. Под толстой черепной крышкой тяжело вызрело: я должен все видеть и слышать, люди спросят меня, коли чего запомнят. Именно люди, а не начальство — пустозерский воевода или царский посланец Лешуков. Но если б стали допытываться, какие такие люди, он затруднился бы ответом. Ну, люди-человеки — и местные, и захожие, и те, каких еще доведется увидеть, здесь ли, там ли, и те, каких, может, еще и на свете нету. Десятник не постигал, откуда у него эти мысли и что они значат, и тосковал в угрюмом сердце своем.

— Отыдь, воин! — загремел Аввакум. — Не то брязну ты по зубам, как Николай-угодник Ария-собаку.

Десятник мрачно глянул на крикуна и отступил на шаг. Не драться же с ним?.. Как он сказал: смерть мужу — покой есть? И самый бесстрашный воин не скажет лучше, чем этот похожий на вороне пугало старик.

— ...кости сожженных держат в честном месте, кажение и целование им приносят от страждавших за Христа — избавителя наших душ!.. Праведна и честна наша смерть в нынешнее огнепальное время!..

Вон как утешает!.. Да только кости ваши кинут собакам, грызущим от голода построжки нарт, и не будет вам ни кажения, ни целования.. А вот и молиться почали И, будь я неладен, шевелятся губы у живых мертвецов, шепчут слова молитвы вслед за бесноватым распопом. А этот рыкает — аж до Мезея слышно. Он и не усиливается громким быть, так уж устроен — пастью, глоткой, грудью, чтобы греметь на весь свет. Такой голосина любую битву покроет. И хотя тощей тощего распоп, а нетрудно увидеть его в доспехе бран-

ном, с мечом в ухватистой руке. Небось Пересвет и Ослябя были в том же пошибе. Неужто он впрямь не страшится того, что его ждет? Быть не может. Раз щец захотел, о гостинчике вспомнил, значит, все человечье при нем: и страх, и тоска, и ужас. Так отчего не выдаст он себя хоть самой малостью? Нет такой силы в человеке и быть не должно. Значит, тут другое. Он приемлет... Огнепальное время... В глухой ночи лишь пожары да костры далече видны...

Облобызались. Поп Лазарь чуть не упал, когда Аввакум выпустил его из объятий. Десятник сделал знак стрельцам. Те кинулись к осужденным и с обычной в таких случаях усердной грубостью — сейчас вовсе не нужной — принялись ломать им руки за спину.

— Прочь, собаки окаянные! — громыхнул Аввакум. — Сами дойдем...

Не положено осужденным самим идти — соблазн в таком смирении или такой гордости. Волочить их положено, локти выворачивать, ноги подрубать, взашей толкать, осыпая отборной бранью, и знал десятник, что царские шиши, наблюдающие тайком из-за тына, каждое слово ловят, каждое движение примечают, но, вздохнув крутой грудью, велел стрельцам отпустить попишек.

И повлеклись бедолаги своей мочью к летнику. Шли, будто по воздуху плыли, шажков-то и не заметишь, но, колыхаясь былинками по ветру, как-то скрадывали расстояние между собой и темным срубом. И странный шорох, шепоток с тоненьким призывом коснулся заросших грубым волосом ушей десятника. Так гуся, улетаая, вывзенивают, вспомнилось ему вдруг.

Это пели осужденные, без слов, недоступных их мертвым ртам, тянули, брусилы что-то невыносимо скорбное, какое-то задушенное стенание, и непонятно, с чего так ликовали черные громадные глазищи яростного вожа их. Опять небось чудо ему грезилось — мол, райскими голосами возносят обреченные немцы хвалу господу богу, а хор ангелов вторит им с горней выси. Глупец, жалкий глупец!..

Слабосильная команда пересыпалась к срубам, и замыкающий хилкое шествие Аввакум, раздвинув руки, загнал их в сруб, как хозяйка по вечеру домашнюю птицу в курятник. И до того это было похоже, что десятник слышно гоготнул. И с этим сумрачным смешком представилось ему, что Аввакум тоже перешагнет сейчас порог сруба и он, десятник, больше никогда не увидит и не услышит этого непонятного, одержимого и притягательного человека. И, не думая ни о стрельцах, ни о государевых шишах, повинувшись чему-то важному в себе, важному, как меч, как сека, десятник пал на колени.

— Благослови, отче!..

И если б Аввакум отказал ему в просимом, он задушил бы, разорвал его собственными руками.

Но спокойно, истово, будто иначе и быть не могло, протопоп благословил звероватого стрелецкого десятника.

И, враз избавленный от внезапно настигшего его смятения и страха, сроду не испытанного ни перед битвой, ни в смертной схватке, ни в луже крови, натекшей из многих ран, повеселевший сверх всякой меры, десятник сказал, выкатив желтое яблоко увечного глаза:

— Ну, пойдем жариться, старик!

— Пойду я, а ты останешься,— почти сострадательно отозвался Аввакум.— Не про твою честь такая кончина. Ты не сгоришь — истлеешь.

— Я еще поиграю сабелькой, старик! — в том же странном возбуждении, избавлявшем от сострадания к обреченным, хохотнул десятник.

— И не мечтай! — отрезал Аввакум.— Отсюда тебе нету хода. Кто в палачах и в тюремщиках побывал, тому в чистом поле не гулять.

— Тяжело бьешь, старик...— будто рухнув с высоты, прохрипел десятник.

— Не я. Господь бог.— И Аввакум, пригнувшись под притолокой, ступил в сруб.

За ним сыпанули стрельцы, дабы привязать осужденных к столбам. Десятник слышал, как они там топчутся по смолю и бересте.

Когда они вышли, вслед им шибануло дымной вонью. Дверь завалили, но была узкая прорубка в стене, сквозь которую десятник мог следить за работой огня.

Сухо, весело, споро горели Лазарь, Епифаний и Федор. Хоть и слаб был костерок — какое топливо на севере? — да помогли мешки-рубахи, пропитанные огнепальной смолкой. Не оставалось в скудных телах ни жира для вытопа, ни влаги, кою выпарить надобно, ни мяса на костях, а сухая пергаментная кожа, обтягивающая скелет, была огню что соломенная кровля. Обуглились, родимые, раньше, чем размычаться успели.

Иное дело Аввакум. Был он моложе соузников и несравнимо с ними крепок составом. Те почти не принимали пищи, так, поклевывали, а протопоп,— хоть и худо — питал свою плоть. Он и Епифаниеву миску опустошал, и гостинчиком, случалось, пользовался. Слал ему и от семьи, и от соловецких братьев, и от иных явных и тайных последователей старой веры когда пирожка, когда сальца, когда копчений, солений разных. Худой и тощий — чтобы обрастить такой костяк, горы брашна надобны! — протопоп все же оставался мясным и кровяным, с ним огню нелегко было совладать. Да и рубище на нем не пропитано ускорительным составом. Так приказали...

Протопоп горел с ног, на низком, вялом пламени. Он стонал, ревел, закидывал косматую пегую голову с желто обгорелыми от искр кончиками длинных волос. И стрелецкий десятник, как некогда воевода Пашков, царь Алексей и патриархи вселенские — о чем, разумеется, ведать не мог,— томительно ждал, чтоб страдалец запросил пощады. Почему неправая власть так нуждается даже в мнимом изъявлении покорности, мнимом раскаянии тех, кого считает виновными в тяжких против нее, власти, преступлениях? Может, потому, что власти нужна не преданность, не союзничество, основанное на единоверии, а только слепое послушание, пусть даже неискреннее, обманное, но полное и безоговорочное, проще — рабье. Тогда власть сознает себя силой. Для десятника покаянный вопль Аввакума означал бы возвращение бранного поля, сабли и бердыша. И когда терьяв-

ший себя от боли протопоп заходиллся волчьим воем, десятнику мерещились седой ковыль, серые гладкие валуны на южном пределе Руси и золотисто вскипающая даль под копытами вражеской конницы. И он приподымался на крепком седле, вбирал в грудь пьянящего, мятой и полынью пахнувшего воздуха, принимал в правую руку тяжесть сабли и посылал коня вперед. Из косо завалившегося глаза на шрам, заросший диким мясом, выкатывалась маленькая холодная слеза и солила уголок запекшегося рта. Но тут в лицо ударяло черным смрадным дымом, и был этот дым будто выдох Аввакумова рта.

— Ну же, сдавайся, поп! — не то про себя, не то вслух требовал десятник.

Но Аввакум не сдавался. Али боль его отпустила, али сам поборол муку, али пришло откуда-то остужение, но с дикой силой рванулось из дыма:

— Ужо будете в моих руках, выдавлю сок-то!..

Поник стрелецкий десятник, и перестало ему пахнуть мятой и полынью. И понял он, что отныне лишь этой сладковатой вонью будут смрадить его дни, остатние пустые дни жизни, в которой он все растерял, неведомо где и как: жену, семью, дом, коня, поле и самого себя, да и этого вот корчащегося на костре старика, который один мог дать ему что-то взамен утерянного. Но кругом были шиши государевы, шиши патриарховы и самые кровожадные — шиши добровольные — навадники, были стрельцы, а среди них тот, кто только и ждал случая, чтобы занять место своего начальника. Как бы низко ты ни стоял, всегда найдется нижестоящий, алчущий заместить тебя, а рубленный в боях воин — он знал это теперь прозревшим и навеки съезжившимся сердцем — не обладал мужеством. Он не мог раскидать костер и спасти мученика.

Протопоп Аввакум и думать забыл об этом войне, ничтожном знаке недоброй житейской суеты. Земные образы, провизавшие его муку и грозную осиянность, когда боль становилась нестерпимой и он будто переносился в иные пределы, эти исполненные света, чистоты и сладостной прохлады образы принадлежали тем, кого он любил после бога сильнее всего: Настасье Марковне, детушкам, боярыне Морозовой и сестре ее Урусовой, Федору-юродивому, Неронову, дочери духовной Маремьяне, старцу Епифанию. Он силится им что-то сказать, хоть повторить некогда говоренное, он не помнил, кто жив из них, кто помер, да это и ничего не значило...

— Ластовица, помощница ко спасению!.. — зывал из черного дыма протопоп. — О вы, скрижали света, жезл Ааронов прозябший... две херувимы одушевленные. Не обижайте Федора... блаженны нищие духом!.. Дочь духовная, не уйдешь от меня ни на небо, ни в бездну!.. Грядет господь грешников мучити, праведников спасти!..

Много еще выкрикивал задыхающийся протопоп, вроде бы бессвязно, но все имело прочную связь в нем самом. И все-таки, многожды думая об уготованном ему конце, рисуя в сильном своем воображении ждущие его муки, Аввакум не ждал, что ему будет так больно. А говорили, что смерть на костре не страшнее любой другой казни, даже легкой. Человек вроде бы еще жив, и корчится, и даже

глас подает, а уж сердце стало угольком и не живет, не болит. Да кто это мог знать?.. Когда же наконец обуглится его сердце? Нет сил терпеть... Господи, неужто ты оставил меня?.. Нет!.. Нет!.. Я все вынесу, только будь со мной!.. Господи, боля твоя!..

Он хотел сказать «воля», но оговорился «боля». Господь принял смиренную его оговорку и послал ему остужение. Опахнуло протопопа, рассеяло дым на мгновение, и в тонком золотом лучике, пронизавшем тьму грядущего, узрел он тех, кто через века подхватит его слово и его подвиг. И сразу радостно затосковал о них Аввакум. С тем, кого он любил при жизни, он встретится скоро, с иными — лишь только кончится эта телесная мука и господь примет его освободившуюся душу в свежесть рук своих, с другими — малость позже, когда придет их недалекий черед, но те, что подымут, оберегут и попесут дальше его слово, еще томятся во тьме предбытия, они родятся на свет божий еще ох как не скоро! И пройдут века-века, прежде чем он встретится с ними в раю.

Шиши царевы, шиши патриарховы, доносчики всех мастей, стрельцы, праведники, тайно пробравшиеся к Аввакумову костру, пустозерские жители и ставший сплошным ухом стрелецкий десятник, невеста кем обязательный сохранить всю память об исходе Аввакума, тщетно напрягали слух, трудили мозг, но так и не постигли последних слов, донесшихся из пламени. Мудрейшие царевы советники, думные дьяки, богословы и начетчики, толкователи снов, пророчеств, видений, даже чернокнижники, бывшие запанибрата с преисподней, не смогли перетолмачить последних зовов, заклятий Аввакума, прежде чем крохотная искра, пронизавшая его от пят до груди, обратила в уголек его вечно сердце.

С этого пустозерского пламени возжегся костер великой русской прозы.

НАДГРОБЬЕ КРИСТОФЕРА МАРЛО



— Если чума в Лондоне продлится хотя бы еще месяц, Дентфорд несомненно обретет высокий чин города,— говорил Кристофер Марло, актер и поэт, молодому аристократу по имени Кеннингхем.— Кабаки растут, как грибы, что ни день открываются новые гостиницы и постоялые двory. Вчера зажегся красный фонарь первого публичного дома.

— Он скоро погаснет,— меланхолически произнес высокий, стройный, весь в черном, Кеннингхем.— Местным дэвкам не выдержать конкуренции нахлынувших сюда лондонских шлюх.

— Лондонских дам, хотите вы сказать.

— Это одно и то же,— небрежно уронил Кеннингхем.— Профес-

сиональные плюхи верны Лондону. Они там нарасхват. Чума неизмеримо повысила цену наслаждения. А дамы, нашедшие приют в Депфорде, вознаграждают себя за утрату столицы языческой свободой.

— Да...— согласился Марло и притуманился, замолчал.

Они стояли посреди главной улицы селения, пыльного большака, заросшего по обочинам лопухами, подорожником, чертополохом, еще не распустившим свои пунцовые, душно пахнущие соцветья. Сельский вид улицы не соответствовал ее населенности, нарядности толпы, изысканным туалетам дам, обметавшим пыль Дептфорда атласными и бархатными юбками. Пересохшая в майское бездождье глинистая почва порошилась красноватым прахом, ярко окрашивая женские подола, головки мужских замшевых сапог, копыта лошадей, колеса карет и телег. Гарцевали всадники, искусно горяча статных, тонконогих коней. За стеклами карет мелькали перья, меха, драгоценности, по гербам на дверцах можно было узнать самые громкие имена Англии. Каретам уступали дорогу, опасно сворачивая вприпрыжку к домам, телеги, груженные мясными тушами, битой птицей, мешками с мукой, вонькой рыбой в бочках. Не в силах прокормить нахлынувшие толпы, Дептфорд скупал продовольствие в окрестностях.

— А что погнало сюда вас — Кристофера Марло, чувствующего себя в царстве смерти едва ли не уютнее, чем среди живых? — Кеннингхем улыбался редко, и узкая, неразвернутая улыбка неожиданно шла к его удлиненному, бледному до проголуби, как у всех рыжих, лицу проблеском далеко запрятавшего мальчишества.

— Боже мой, Кеннингхем, театр бежал из Лондона, едва первая чумная крыса завертелась волчком. Вы же знаете, бедные, бездомные, отрешенные служители Мельпомены осторожны и пугливы, как олени. А что я без театра? К тому же я скоро заканчиваю новую пьесу и хочу ее тут поставить.

— Надеюсь присутствовать на премьере, — церемонно произнес Кеннингхем.

Марло знал, что слова эти продиктованы вовсе не пустой любезностью. Едва ли был в Лондоне человек, так ценивший и понимавший драматическую поэзию, как Кеннингхем, никогда не прикасавшийся к перу. В последнем Марло был уверен, иначе Кеннингхем хоть бы раз проговорился ревнивой завистью. Но все его оценки отличала чистота искренности и бескорыстия, при живой, даже страстной заинтересованности, хотя спокойная, чуть меланхолическая, печально-важная повадка молодого аристократа, казалось бы, исключала всякое представление о сильном чувстве.

Но Кристофер Марло видел его куда пронизательнее, нежели другие люди из окружения Кеннингхема, принадлежащие к породе друзей-собутельников. Холод, достоинство, важность не по годам — Кеннингхему не было и тридцати — защищали душу нежную и ранимую.

— А вы, Кеннингхем, неизменный председатель пиров в зараженном Лондоне, почему вдруг покинули ее величество чуму? Сюда

доходили слухи, что вы поклялись хранить ей верность до конца, как некогда Вальсингам.

Бледные щеки Кеннингхема чуть порозовели.

— Что стоят клятвы в наше время? Мери вдруг захотелось жить. Вы помните Мери, Кристофер?

— Конечно! — воскликнул тот, и перед ним живо встал милый образ молоденькой девушки, почти девочки, которую Кеннингхем перед самой чумой привез из своего корнуоллского поместья.

Она была простолюдинкой, но, видно, голубая кровь Кеннингхемов подмешалась к алой струе, гулявшей по жилам ее предков. На округлом деревенском личике с матовой, не поддающейся загару кожей плакали без слез иссиня-черные, огромные, удлинненные глаза с поволокой. А рот, большой, нежный и вместе решительный, рисунком и цветом палевых губ смягченно повторял смелый рот Кеннингхема. Им хорошо и удобно целоваться, вскользь подумал Марло и почему-то вспомнил, что наложницу-певунью Вальсингама тоже звали Мери.

— Мери обнаружила, что любит меня, и захотела будущего. Но кто знает, не носим ли мы уже смерть в себе.

— До сих пор никто из беженцев не заболел.

— И это странно. Сомнительно, чтобы бежали только незаразившиеся.

— А если они потому и бежали, что здоровы? А те, в ком уже гнездится болезнь, лишены спасительного побуждения?

— Значит, Мери здорова, — задумчиво сказал Кеннингхем, — она рвалась прочь из Лондона. Она, такая покорная, тихая и... обреченная. Мне казалось, что ее уже поманила смерть и — природе вопреки — она решила вырвать для себя немного жизни и любви. Признаюсь, Кристофер, когда я целую Мери, то всегда вспоминаю слова Вальсингама из «Гимна чуме» о свежем дыхании девы, быть может, полном чумы.

— Неужели вы так боитесь смерти? Вы, черный председатель чумных пиров?

— Вы полагаете, я говорю о смерти из страха? Смерть — самый красивый символ Творца и самый непонятный. И мне с отрочества хотелось постигнуть его тайный смысл. Мне кажется, поняв это, я пойму все... На чумных пирах — ваше выражение — меня порой будто осеняло что-то. Еще бы немного, чуть-чуть и... Но вот этого чуть-чуть всегда недоставало. Я наблюдал окружающих, самого себя, если только возможно наблюдение над собой. И, в сущности, не увидел ничего нового: разные степени страха, заглушаемого вином, бравадой, хвастовством. Впрочем, случались и взрывы истинного отчаяния. Это было глубже. Но даже чующие смерть в себе, верные кандидаты в покойники, ни словом не проговорились. В Лондоне злоязычили, что наши пиры разнузданны, оргиастичны, что все кончается чуть ли не свальным грехом. Возможно, тут сказалась память о шестидесяти пятом годе. Вальсингам допускал многое. Он хотел забыть. Потеря жены, потом матери что-то нарушила в нем. Но вы же знаете меня, — разве я позволю?.. Да еще в присутствии Мери. Конечно,

были и поцелуй, и объятия, шные пары уединялись, но так происходит всегда, когда люди много пьют. И не в этом состоял смысл. Гости собирались и ждали, чье место окажется незанятым. Тогда подымали тост за выбывшего или выбывшую, отдавали должное погасшему человеку. Потом начинался пристойный, истовый пир. Кто-то пел, кто-то читал стихи, а кто-то беззвучно плакал. Порой смех сменялся стоном, шутка — криком боли. Но распускаться никому не дозволялось. И тень вечности склонялась над нашим столом. Тон задавали — важность, достоинство, сосредоточенность.

И скука, добавил про себя Марло. По мне куда лучше оргии Вальсингама. Недаром так бесились церковники!.. Марло не любил разговоров о смерти, ибо считал, что настоящая, действенная жизнь налита сутью до края, как заздравная чаша вином. Потусторонний мир хорош для литературы. Марло не верил в него, хотя никогда в том не признавался. Загробная жизнь — поэтическая предпосылка, обретавшая под пером Марло пряный, густой аромат настоящей мускульной жизни. Он не соблазнялся раем, не боялся ада. Он верил в Океан. Там были бури и постигаемая беспредельность. Там, в глубине зеленых вод, обитали загадочные существа, неизвестные формы жизни и, быть может, потонувшие миры. Там были острова и земли, населенные страшными и прекрасными людьми с черной, как сажа, и красной, как вино, кожей. Там скрывались неисчерпаемые сокровища — золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг. Там возбуждался человеческий дух, подымался до подвига, безоглядного риска, разбоя, убийства. Но это — пена, сметаемая ветром с тяжелых океанских волн. А сам Океан, неукротимый, беспредельный, — чист и безгрешен. Омыть душу Океаном, что может быть прекраснее на свете!

— Я не участвовал в сражениях, — гнул свое Кеннингхем, — не испытывал морской бури, убийца не заносил надо мной кинжала, и самое сильное, что я испытал, — это чума. Лишь она дала мне податься над обыденностью.

— О, Кеннингхем, — все еще во власти захватившего его образа произнес Марло, — чуму разносят крысы. А есть Океан!..

Кеннингхем с любопытством посмотрел на собеседника.

— Скажите, Кристофер, что для вас самое важное, самое главное в жизни?

Марло почему-то ждал этого вопроса. Он хотел повторить: Океан, но понял, что тут будет подмена изначальной сути чем-то производным. Ответить же надо было всерьез, без кокетливого сдвига.

— Поэзия, — сказал он со смутным ощущением неточности.

— Нет, — сказал Кеннингхем, — так мог бы ответить я, если б для меня не было самым главным — любимая женщина. А для вас — творчество.

Марло наклонил голову. Он не произнес этого слова только потому, что оно звучало высокопарно и стыдно в применении к себе, он безотчетно пощадил Кеннингхема. Возможно, любимая женщина и была для него главным счастьем, но главной мукой — творчество, вернее, отсутствие творческой силы. Приверженность Кеннингхема

к поэзии не была любительской — платонически безопасной страстью ценителя, знатока, литературного гурмана. Нет, она горько отдавала осознанностью собственного бессилия. Бедный Кеннингхем!.. Но как странно, что бывает творческий позыв без способности к деянию. Это все равно что родиться для полета с грудью-килем и воздухом в костях, но без крыльев. Жестокая и бессмысленная игра природы!

— А что самое главное в творчестве? — допытывался Кеннингхем с наивным любопытством мальчика, старающегося выяснить, кто сильнее — кит или слон.

Всякого другого Марло, не задумываясь, послал бы куда подальше, — он ненавидел «литературные» разговоры, — но не славного Кеннингхема. И он ответил серьезно:

— Верить в то, что ты пишешь. Тогда все получится, как бы невероятно, дико, даже глупо это ни выглядело в замысле.

Кеннингхем молчал, он ждал пояснений.

— Простите, что сошлюсь на собственный пример, но ведь себя лучше знаешь. Вам знакома немецкая лубочная сказка о докторе Фаусте?

— Конечно. Еще с детства.

— И ваше впечатление?..

— В детстве — чарующее. Позже — грубое, убогое... Да, а Марло взял эту глупую выдумку и возвел в ранг высшей поэзии. Теперь я понимаю, вы верите во все это, в возвращенную юность, в Елену... — И он тихо прочел:

Так вот оно, то самое лицо,
Что бросило на путь исканий сонмы
Морских судов могучих и сожгло
Вознесшися башни Илиона.
Елена, поцелуй меня. О, дай
Бессмертье мне единым поцелуем!
О, ты прекрасней, чем вечерний воздух,
Одетый в красоту миллионов звезд...
Лишь ты одна возлюбленной мне будешь.

О, ты прекрасней, чем вечерний воздух!.. — повторил он, с силой вбрав в легкие аромат летнего подвечера, принявшего в себя дыхание трав с лугов, молодой листвы, раскрывшихся цветов и осилившего вонь харчевен, колесной мази и навоза. — Смотрите, Марло, ваш Фауст, в отличие от своего прообраза, выбирает не бога и вечное спасение, а Елену и вечность мига наслаждения. Значит, все-таки главное — любимая женщина?

— Мне трудно сказать вам «да», дорогой Кеннингхем, я еще не встретил своей Мери. Вернее, каждая женщина, когда я с ней, кажется мне Мери — единственной и вечной, простите, что злоупотребляю именем вашей прекрасной возлюбленной. Я без колебаний готов на смерть ради той, с которой нахожусь, но смерть не наступает, а жизнь незамедлительно уводит меня прочь. И не было случая, чтобы я пожалел об этом.

— Так, верно, и должно быть. Любовь — творчество неодаренных натур. Лишь здесь они могут подняться до бога.

Можно сказать, что и чума была творчеством для Кеннингхема. Эти важные пиры, на которые допускались лишь избранные — аристократы духа, а не крови... Удивительно, что одно часто совпадало с другим. Казалось бы, людям, самим рождением поставленным над окружающими, избалованным, счастливым, труднее расставаться с жизнью, нежели пасынкам мира, а между тем последние зачастую проявляли куда больше жалкой растерянности перед лицом гибели. Наверное, расстаться с жизнью, не вкусив ее сладости, труднее, чем изведать насыщение. Впрочем, едва ли это рассуждение справедливо. Что он знает о простых людях Лондона, тех, кто и в дни чумы продолжают тянуть привычную лямку, не одурманенные тяжелым вином, любовью, музыкой, извращенным тщеславием? Быть может, высшее мужество — в лачужках, а не в пышных декорациях, дающих уют красивой обреченности. Кстати, милый Кеннингхем и тут не проявил творческого духа. Он заимствовал и маску, и самую идею пира у таинственного Вальсингама. Конечно, он придавал всему отпечаток собственной личности, но все равно, если это и творчество, то эпигонское...

Разговаривая, они медленно двигались по улице в сторону базарной площади. Чуть не из каждой двери тянуло кислым запахом пива — добропорядочные домики превратились в распивочные, а их владельцы с чадами и домочадцами — легкой наживы ради — перебрались в сараи, овины, погреба. Но все равно не хватало места под крышей всем желающим залить внутренний жар, и, подобно знаменитой лондонской Пивной улице, с краю базарной площади раскинулась поднебесная пивная. Гигантские бочки стояли прямо на земле, в окружении лотков с копченой, вяленой, солевой, жареной рыбой, подсоленными ячменными хлебцами, оливками и моченым горохом. И жаждущие заливали в свою бездонную утробу золотистую благодать из четырехпятилитровых оловянных кружек.

— Прекрасная тема — чума-созидатель, — со смехом сказал Марло. — Никакие победы отечественного оружия, успехи ремесел, открытия новых земель, завоевания и торговые союзы не обогащали так Дептфорд, как чума. Сколько новых зданий построено и строится, сколько увеселительных мест возникло, сколько денег и товаров притекло, сколько золота прибавилось в сундуках, как утончился вкус, облагородились нравы. Сейчас в Дептфорде — лучший английский театр, красивейшие женщины, изысканнейшие кавалеры. Дептфордцы узнали, что с обидчиком можно расправиться не только с помощью дубинки, но и благородной сталью, что куда надежнее. И не обязательно обращаться к мировому судье в случае тяжбы, можно подослать наемных убийц. Они услышали модные песни, узнали новые игры и новые способы плутовства. Они впервые увидели Аристократа, Ученого, Поэта, Актера, Франта, Мота, Шулера, Авантюриста, Шлюху. Не знаю, завезут ли сюда чуму, но сифилис — непременно. Наверное, им трудно будет возвращаться к прежней сельской идиллии, отведав столь хмельного напитка. Я склонен думать, что

селение уже погублено без чумы. Добрые дептфордцы развращены шальными деньгами, продажной любовью, азартными играми, пошлостью бивачных настроений.

— Позвольте! — засмеялся Кеннингхем. — Вы собирались произнести похвальное слово чуме. Чуме — созидателю. А свернули на скучное морализирование. Вы все-таки не любите чуму, Кристофер!

— Нет, — признался Марло, — хотя мне по нутру возбуждение, которое она с собой несет. Но смерть от чумы не имеет ничего величественного, даже просто привлекательного. Она мучительна, неприятна, вонюча. Как источник гибели прекрасен Океан, он поглощает тебя без остатка, и ты не гниешь заживо, отравляя воздух. Ты скрываешься в пучине и, кто знает, быть может, очутишься в сказочном подводном городе.

— Почему вы не подались в корсары, Марло? Они обычно тем и кончают.

— Возможно, я еще сделаю это. Порой я чувствую такое напряжение жизни, что ни сцена, ни стихи, ни любовь не приносят утешения. И тогда я мечтаю об Океане.

Кеннингхем пристально посмотрел на Марло, на его сильное, поджарое тело, худое лицо с тонкими, раздувающимися ноздрями и трепетными ресницами, страстное, тревожное и незащищенное лицо человека, подчиненного какой-то тайной власти, и губительное предчувствие сжало ему душу.

— Послушайте, Кристофер, мы живем в дурном, грубом, разнузданном мире. Высшая доблесть — не вступать в обмен ударами...

— Почему вы мне это говорите? — недовольно прервал Марло. Ему претили наставления даже от близких людей.

— Не знаю. Мне хочется, чтоб до бессмертия вы как можно дольше топтали нашу несовершенную землю.

— А я и не собираюсь умирать.

— Не умирайте, Марло, прошу вас. Хотя бы ради меня.

— Скажите, Кеннингхем, — Марло улыбался, но в голосе его против воли пробилась тревожная нотка. — Вы так долго пробыли в царстве чумы, что, наверное, видите скрытое от других. Может, на моей шкуре уже проступили знаки болезни?

— Господь с вами! Просто я люблю вас и мне беспокойно.

— Напрасно! Знаете, что я сейчас сделаю? Пойду к своей любовнице и проведу с ней тихий, семейный вечер, достойный дептфордского обывателя.

— Боюсь, что у вас несколько ложное представление о досуге здешних обывателей. Но бог вам в помощь. Пойдите!.. — сказал он, заметив движение Марло. — Я слышал, в «Глобусе» пошла ваша новая пьеса «Тит Андроник», почему вы ничего не говорили о ней?

Всей судорогой мышц Марло тянулся к жизни, а Кеннингхем еще не утишил литературного зуда. Марло пересилил себя ради друга.

— По той простой причине, что у меня нет такой пьесы. И это уже не первый случай, когда мне приписывают чужое. Наверное, я мало пишу.

— А кто же автор?

— Некто Шекспир из Стратфорда на Эвоне.

— Ничего особенного?..

— Старые драмодеды перекрестили его в «Потрясателя сцены». Если начинающий автор с ходу вызывает зависть маститых коллег, он далеко пойдет. Я читал в списке его поэму. Клянусь, Кепнингхем, о нас вспомнят только потому, что мы были современниками этого парня.

— Меня увольте. Я — современник Марло.

— Спасибо, Кеннингхем. Мой почтительный привет Мери. Приведите ее в театр на моего «Эдуарда».

Не плачь о Мортимере, этот мир
Презрел он и, как путник, прочь уходит,
Чтобы открыть неведомые страны!..

И он устремился прочь упругой, неслышной, кошащей поступью, ловко скользя в толпе, запрудившей площадь, и вскоре скрылся из вида...

...Марло нашел свою возлюбленную в задних комнатах третьего по счету трактира, куда он заглядывал в поисках темных глаз, белой груди и звонкого смеха. Они условились встретиться в другом месте, но Катарина почему-то предпочла их последнее убежище.

Она сидела у камина, в кресле с прямой, высокой спинкой, впол-оборота к жаркому огню. Крупная и плотная, Катарина постоянно мерзла, уверяя, что виной тому впитавшийся в кожу лондонский туман. Меж колен ее пристроился молодой человек, давно примелькавшийся Марло, хотя имени его он не помнил. Он постоянно наткался на этого молодца в театре, кабаках, знакомых домах, — тот был, видимо, из хорошей семьи и всюду вхож. Ловя на себе зачастую его собачий взгляд, Марло относил молодого человека к скучной и докучной когорте поклонников. И сейчас, застав его в позе весьма недвусмысленной — он обнимал пышный стан Катарини и ласкал ее полуобнаженную грудь, Марло в первые мгновенья как-то не придавал ему значения, сморгнул прочь, словно соринку. Он видел лишь Катарину, большую, праздничную, безмерно желанную, ее золотистые волосы и агатовые глаза, свежий рот и высокую белую грудь, которую она так охотно открывала ему навстречу. Он не осознал поначалу, что сейчас эта грудь открыта вовсе не в его честь, что Катарина нагло, бесстыдно прелюбодействует у того же огня, что еще утром согревал их нагие тела, распростертые в блаженной усталости на зальсой шкуре белого медведя. Он видел только свое желание, ставшее нестерпимым вблизи утоления, — столь полного он не знал ни с одной женщиной, — и с присущим ему самозабвением уже погружался в сладкий омут счастья, как вдруг непредвиденная помеха жлестнула его по глазам репьевой метелкой.

Ничтожная помеха, если б дело касалось другой женщины. Ничего не стоило прогнать этого щенка хорошим пинком в зад. Но он любил Катарину, сам не признаваясь себе в этом чувстве, любил, даже сделав окончательный вывод, что она законченная шлюха. Может быть, из-за этого он любил ее еще сильнее и обостренней. Она

выдавала себя за знатную даму, попавшую в затруднительные обстоятельства. Как-то смутно тут участвовала чума, запутанное дело о наследстве, — Катарина носила вдовий траур, — козни врагов и судейская волокита. Она брала деньги с таким видом, словно намереваясь в ближайшем будущем не только вернуть все сторицей, но и озолотить своего любовника. Впрочем, что значили для нее его театральные гроши, когда она умело ошпыливала таких вот богатеньких юных джентльменов, как этот Арчер, — вдруг вспыхнуло в памяти имя.

Марло привык иметь дело со шлюхами, их было у него почти столько же, сколько дам из общества, и он легко закрывал глаза на то, что давало им хлеб насущный, наряды и теплый кров. Он знал то выражение покорности и усталой скуки, с каким они отдавали себя клиенту. И гордился тем, что пробуждал в них бескорыстную женскую радость. Зачастую они вовсе не брали с него денег. Но эта дрянь умела совмещать корысть с наслаждением. Ее увлажненные губы были полуоткрыты, голова то и дело откидывалась назад, будто она подставляла лицо солнцу, а Марло слишком хорошо знал, что это значит.

— Мадам, младенец, которого вы угощаете грудью, несколько великоват, — произнес он звенящим голосом. — Я думаю избавить вас от него. Защищайся, мерзавец! — гаркнул он и, выхватив из-за пояса кивжал, кинулся на соперника.

Фрэнсис Арчер неловко вскочил. Он был года на два-три младше Марло, но выше ростом и много тяжелее. Рослый, плечистый детина, вскормленный деревенским молоком и маслом, сын разбогатевшего крестьянина-овцевода, выбившегося в джентри, не аристократ, не воин, не артист, не спортсмен, он оказался в неподходящей и крайне затруднительной для себя роли. На его благообразном, красноватозагорелом лице сменялись удивление, растерянность, испуг, жалкая надежда, что все происходящее окажется шуткой, горестная обида. Слепленный гневом и ревностью, Марло все же успел заметить эту странную игру чувств, как и железное самообладание Катаринны. В той не было ни растерянности, ни тени страха. Какая-то брезгливая досада растянула и утончила ей губы. А не поспевшие за злобным чувством агатовые глаза победно сияли.

Так вот оно, то самое лицо,
Что бросило на путь исканий сонмы
Морских судов могучих и сожгло
Вознесшиеся башни Илиона.
Елена!..

Тонкая, острая сталь готова была коснуться груди Фрэнсиса Арчера, пронзить ему сердце, навеки лишив возможности обнимать женщин, пить вино, покупать красивую одежду, ходить в театр, восхищаться талантом Кристофера Марло и хвалиться перед друзьями знакомством с великим человеком.

Что ни говори, Марло проглядел своего величайшего поклонника. Арчер был тяжело помешан на Кристофере. Некогда его манила сцена и он мечтал стать актером, лишь угроза отца лишить наслед-

ства — весьма солидного — удержала его от решительного шага. Он увлекался поэзией и даже издал за свой счет небольшой сборник буколических стихотворений, не растопивших ледяных сердец современников. Но его тяжеловесный дух не перестал томиться желанием славы. Где, когда и с чего прозвучала столь неподходящая мечта сына богатого овцевода, остается тайной. Он не желал славы военачальника, морехода, проповедника или ученого, славы государственного деятеля, покровителя искусств или коллекционера, он хотел лишь славы Кристофера Марло, слагающего звонкие стихи и бросающего их с освещенной свечами сцены в потрясенный зал и за стенами театра остающегося таким же неистовым и прекрасным. Ему хватило трезвости довольно скоро понять, что на такую славу нечего рассчитывать. Он узнал, что Марло учился в Кембридже, следовательно, ему пришлось порвать со своей средой, чтобы стать актером. А он, Арчер, не смог расстаться ни с деньгами, ни с ласкающим душу званием эсквайра. И он смиренно решил: с него довольно и отблеска славы Кристофера Марло.

Фрэнсис Арчер не пропускал ни одного спектакля с участием Марло, он раздобыл списки всех его неизданных стихов, поэм, пьес и выучил их наизусть, стал бывать во всех домах и кабаках, где появлялся поэт-актер, ухаживал за теми же женщинами, спал с теми же шлюхами, сорил деньгами, одевался, как Марло, и так же заламывал шляпу, но никак не мог привлечь внимание к своей личности. С поразительной слепотой окружающие не хотели догадаться, на кого похож Фрэнсис Арчер. Возможно, вся беда заключалась в том, что ему не удалось стать достаточно близко к Марло. Он был слишком ничтожен, безличен, чтобы поэт заметил его. Не исключено, что порой Марло казалось, будто его тусклое отражение мелькнуло в зеркале, его тень скользнула в сумерках, его смех прозвучал в табачном дыму кабака. Но он не задерживался на этих странных впечатлениях, а другие люди, менее чувствительные и наблюдательные, вовсе не подозревали о потугах Арчера. Даже его именитые пикто не мог толком запомнить. В часы бессонья он с ужасом думал, что Фрэнсис Арчер, эсквайр, безнадежно канет в небытие, едва завершит свой безрадостный земной путь.

Не надо только думать, что Арчер любил Кристофера Марло и что к его тщеславным мукам примешивалась сердечная боль неузнанности. Нет. Кеннингхем, тот действительно любил Марло и всем существом отзывался его поэзии. Арчер же пьянел от шума вокруг прославленного имени, все остальное играло второстепенную роль. Он был жалок в своей прикованности к образу Марло, но не трогателен.

Почему он оказался здесь, у груди Катарисы? Арчер последовал за Марло, когда тот понял, что не может оставаться без театра в чумном и веселом городе, и стал нести свою службу подражания и сопутствия, как прежде. Он вовсе не был роковым человеком, этот Фрэнсис Арчер, эсквайр. И никогда не рассчитывал сыграть роль в судьбе Марло. Ему бы хоть немного отраженного света... Едва увидев ту, которую называли «последней любовью Марло», он почувст-

что может небывало приблизиться к своему кумиру. Не очарованный, не отуманенный яркой красотой и небрежной повадкой Катарини, Арчер сразу разгадал в ней обычную потаскушку, ловко наживающуюся на кутерьме чумы. И Марло не поддался бы обману, если бы не воспаленное время, возвеличивающее мнимости и унижающее истинные ценности. Людям почему-то нравилось водить самих себя за нос. Как женщина Катерина вовсе не привлекала его, Арчеру нравились маленькие сухощавые блондинки, но она была дамой сердца Кристофера Марло! Арчер быстро сумел найти к ней путь и договориться о свидании. Смысл всей затеи был в лестных слухах. «Слышали, Фрэнсис Арчер отбил любовницу у Марло». — «Какой Арчер? Театрал, немного поэт, славный малый?» — «Он самый. Марло рвет и мечет. Но что поделаешь, красавица сделала выбор». Все это было упоминательно. Смущало лишь одно — «рвет и мечет». Арчер слишком хорошо знал необузданный нрав поэта, чтобы воображать, будто тот хладнокровно примет случившееся. Но Арчер надеялся, что оскорбленная гордость поможет прозрению Марло, и тот не станет ломать копий из-за продажной твари. Хуже было бы столкнуться нос к носу у Катарини. Тогда, без сомнения, Марло задаст ему знатную взбучку, а он не сумеет постоять за себя. «Вы слышали, Марло надавал пинков Арчеру». — «За что?» — «Застал его у своей любовницы». Ей-богу, и это звучит не так уж плохо. Особенно если представить себе завистливую интонацию, с которой передается сплетня. А пресловутые пинки — всего лишь условное обозначение мужского столкновения. Считается, что обиженный муж или любовник всегда расправляется со счастливым соперником пинками, — таков устоявшийся фольклор, которому всерьез никто не придает значения.

Арчер не ждал одного — что в дело вмешается острая сталь. Он считал Марло слишком умным, великодушным, да и циничным для этого. Потому и мелькнула на его лице надежда, что все разрешится бранью, туманом, шуткой и пониманием низкопробности происходящего. Ему невдомек было, что кравленными картами играли он и Катерина, но отнюдь не Марло.

Не знал он и того, что в подобных играх поэты всегда проигрываются в пух и прах. А ставка — их собственная жизнь, причем от противника они не принимают равной ставки. И вовсе не потому, что поэты безруки и неловки от природы в мире активного действия. Очень часто великолепная физическая оснащенность: сила, грация, точность жестов — отличают сновидца. Поэт безоружен перед противником по другой причине. Так было, так есть, так будет всегда. Сколько раз выходил поэт на ристалище с твердой рукой, безошибочным глазом, во всеоружии правоты, в сборе всего своего существа, а на носилках все равно уносили его. Поэту мешает нанести смертельный удар то, что лежит вне его физической сути и заведомо делает из него жертву.

Могуч, стремителен и упруг был не кошачий — тигриный прыжок разгневанного поэта, крепка, как кленовый свиль, мускулистая рука, привычная к мечу и кинжалу, молнией взблеснуло лезвие,

но все это было лишь порывом, всплеском волны, головокружительным цирком.

А противстоял ему дюжинный человек, персть земная, обыватель, безмерно привязанный к своей шкуре. И когда сверкнул книжал, в нем мгновенно прекратилась всякая игра, вытесненная угрюмой серьезностью самозащиты. Деревенский увалень, чье тело не цивилизовала спортивность, присущая лондонской молодежи, оказался своронистее сухопарого, натренированного Марло. Тот — при всей искренности оскорбленного чувства — все-таки давал высокое представление на тему: любовь — ревность — месть, этот без дураков спасал себя, единственного — родное вместилище для пудингов, окороков, вина и пива. Арчер не пожелал той единственной славы, какой заслуживал, — пасть от руки Марло. (Ему это вовсе и не грозило, па самый худой конец — легкая рана, царапина, несколько капель крови.) Нужно было лишь побороть инстинкт самосохранения, и он стал бы человеком. Да куда там! Самозащита мгновенно превзошла грозностью нападение. С удивительной для его грузного тела ловкостью Арчер шарахнулся в сторону и что есть силы ударил кулаком по локтевому сгибу руки Кристофера, сжимавшей книжал. Рука мгновенно согнулась, и кончик лезвия угодил прямо в глаз поэта. Он расск прозрачно тело хрусталика, проник сквозь глазницу в мозг, в драгоценное вместилище снов и слов, и пронзил нежный образ Елены — последнее земное желание и бессмертную мечту поэта. И все. Океан нахлынул и поглотил Марло.

Что было дальше? Грубая суета происшествия. Топот ног, женский визг, свалка. Какие-то доброхоты навалились на Арчера, ломали и скручивали ему руки. Совершенно напрасно, — потрясенный содеянным, он не думал ни бежать, ни сопротивляться. Потом его куда-то волокли, нагажда затрещинами и пинками. А затем вступили в действие законы доброй, старой Англии. Арчера отпустили под залог, в назначенный день судили и оправдали. Свидетели, а их оказалось неожиданно много, дружно показали, что подвергшийся нападению, безоружный Арчер лишь защищал свою жизнь. Да, это правда, если не заглядывать за поверхность события. В конце концов Марло был всего лишь актеришкой и стихоплетом, а Фрэнсис Арчер — богачом и эсквайром.

Когда недолгое судопроизводство кончилось, Марло уже похоронили, и вдовствующая Катарина не прочь была продолжить столь бурно начавшееся знакомство с Арчером. Но тот даже не вспомнил о ней. Зачем она ему без Марло? Катарина была не в его вкусе. Он поспешил на могилу Марло. Им владело странное чувство к покойному, будто тот обманул его, оставил в дураках. Марло позволил глупо и бездарно, по ничтожному поводу убить себя и лишил Арчера той крупицы славы, на которую он был вправе рассчитывать. На само убийство Арчер не возлагал никаких надежд — поговорят, поговорят да и забудут. Он не без труда отыскал могилу за чертой Дентфорда. Ненавидевшие Марло церковники не разрешили похоронить умершего без покаяния актеришку на поселковом кладбище. Свежий

бугор глинистой земли, обложенный зеленым дерном, был придавлен чугуновой плитой. И с обмершим сердцем Арчер прочел надпись:

Кристофер Марло
убит
Фрэнсисом Арчером
1-го июня 1593 года

Бедный Кеннингхем хотел навечно пригвоздить убийцу к позорному столбу, но даровал ему бессмертие. Фрэнсис Арчер мгновенно понял это, и горячие слезы счастья покатались по его загорелому лицу. Отныне они неразрывно вместе — Марло и он. Так, об руку, пройдут они через годы и столетия, и всякий, кто придет поклониться праху Марло, поклонится и ему, Арчеру.

С глубоким умилением смотрел Арчер на скромный холмик и плиту — залог памяти вечной — на общей их с Марло могиле. Мог ли мечтать он о чем-либо подобном!..

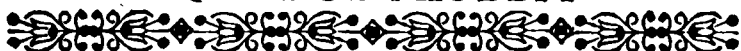
Никто не срывает банк дважды. Фрэнсис за всю последующую жизнь не проявил себя больше никаким поступком. Да он и не стремился к этому. Дело было сделано, и он спокойно ушел в тень. Его не встречали ни в театре, где воцарился Эвонский лебедь, ни в кабаках, ни в излюбленных местах гуляний золотой лондонской молодежи. Он и вообще не появлялся в Лондоне. Купив дом в Дептфорде, он посвятил себя уходу за могилой Марло, которую мысленно называл «наша могила». Он посадил вокруг нее кусты жимолости и боярышника, поставил красную чугунную ограду и удобную чугунную скамью, на которой проводил в сладком раздумье многие часы. Он приносил сюда свежие розы, зимой выращивая их в горшках, время от времени подсеивал траву, подсаживал цветы. До последнего дня своей долгой жизни не изменил он этой заботе. Он даже не потрудился оставить распоряжение о собственных похоропах. Ему было совершенно безразлично, где зароят его бренное тело, коль еще при жизни обрел вечное успокоение под боком у Марло.

До сих пор в густой заросли — перепутанице многих дикорастущих, перевитых вьюнком и дроком, можно увидеть старую замшевую плиту — органическая жизнь внедрилась в чугун, обратив его поверхностный слой в почву и покрыв зелеными плюшевыми пашлепками, — и разобрав полустершуюся надпись:

Кристофер Марло
убит
Фрэнсисом Арчером
1-го июня 1593 года

Добросовестности ради следует сказать, что в нашем правдивом рассказе есть одна неясность. Председателя чумных пиров, друга Кристофера Марло, предавшего земле его тело, по одной версии звали Кеннингхемом, по другой — Корнуоллом, по третьей — Дорестом. В памяти потомков этому человеку, не совершившему убийства, повезло значительно меньше, чем Фрэнсису Арчеру, эсквайру.

ОСТРОВ ЛЮБВИ



1

— Трость! — стараясь придать голосу внушительность, потребо-вал Тредиаковский.

— Не ходи, родимый, не ходи, кормилец! — завела жепа, скидывая пальцем мелкие слезки, то и дело выбегавшие с уголков бледно-голубых глаз.

С того памятного люто-студеного февральского дня, когда принесли его домой на шипельке, ободрапного, хуже сидоровой козы, ее слезный мешок принимался источать влагу от любого беспокойства, от самой пустой малости. Она плакала почти непрерывно, сама того не замечая.

— Должен пойти!.. — сказал он строго.

Но какая твердость не размякнет в столь влажном климате? Василий Кириллович был непреклонен и грозен лишь за письменным столом, сжимая в перстах гусиное перо, в прочей жизни из него разве что ленивый веревочек не вил. Вот и сейчас он сразу свел па нет силу своего убежденного решения.

— Ну как же я не пойду?.. Все пойдут, а я не пойду. Ну-ко замятятся?..

— Да хоть бы!.. Тебе-то что?..

— Как же так?.. А коли нароку в том узрят? К бунтовщику сочувствие?..

— Василий Кириллыч, отец!.. — Она даже оборвала свой нескончаемый беззвучный плач. — Очунись! Ну кому же такая дурость может впасть? Сколько ты от него мук принял, чуть жизни не лишился!..

— Что мне муки? Тело зарастет, а вот иное уязвление...

— Гнет спинка-то... — И опять тонкий палец забегал возле раз-ляпного переносья.

— Зажвет! — бодро сказал Тредиаковский. — Бурсадская шкура крепкая. А пойти я должен! И не страху ради пред ушаковскими шишами, — вопреки горделивым словам голос его понизился до шепота, хотя чужих в доме не было, — а только себя самого ради.

Вовсе того не желая, жена разбередила его раны. Не те, что упорно не хотели заживляться на спине, а иные, незримые, в самом сердце.

— Василий Кириллыч, государь, неужто в тебе отомщевательное засвербило?

— Не мщенья, а справедливости я жаждал! — торжественно сказал Тредиаковский. — И сбилось по-моему. Он меня лютой казнью казнил, смертью убить хотел, а я жив есмь, в силе ума своего и всех

чувств, и богом отпущенных мне дарований. А он повержен и сокрушен и ныне всенародно и позорно от жизни отвержен будет.

— Эх же ты со своей бедой носишься! — сказала она осудительно.

Ей-то самой его обида куда сильнее болела, да не хотелось, чтобы он на казнь Вольпского шел, боязно чего-то было, и она силилась отвести мужа от мстительных помыслов, но только сильнее разжигала костер.

Он вовсе не был горяч, задирчив или просто неосмотрителен, какой там! Разве что в молодости, когда полземли шагами измерил, выищущи долю себе по душе. А ей он достался уже поломанный, научившийся гнуть спину. Да и как не гнуться сыну астраханского попишки, допущенному ко двору, в академию? Кто он есть в кто округ? Князья, графья, баровы, да шляхта, да иноземцы заносчивые, коим и титулы звучные ни к чему, и без того сильны. Но было у Василия Кирилловича одно, сводившее на нет его скромность, смирение и всяческое самоуничижение. Коли он чего за столом своим надумал и бумаге доверил, того держался нерушимо и, защищая плод духа своего, забывал о собственном худородстве и мнил себя ровней с кем угодно. Мог и самому Шумахеру, первому лицу в академии, неудовольствие причинить, мог и архиереев, и вельмож в ярость вогнать. Марья Филипповна догадывалась, что и сейчас столкнулась с чем-то, уходящим в недоступную ей глубину его покладистой в домашнем бытстве натуры. Прежде, когда меньше знала его, думала: мягок, да вздорен, брыклив. Нет, тут другое. Недавно подлеты прохожего на Мойке грабили. Он им все без звука отдал: платье дорогое, деньги, перстни с алмазами, а образок грошового, медного, позлащенного отдать не захотел. Стражники отбили его чуть живого, полунагого, окровавленного, а в кулаке образок зажат. У Василия Кирилловича таким образом словеса были, особенно те, что в виршевое согласие приведены. Это можно было бы считать дуростью, порчей, безумством, да ведь от словес тех все семейства кормятся. И нет другого занятия у Василия Кирилловича, не размахивает он кадиллом, как его родитель, не хрипнет от крика на военном плацу, не назидает юношество, не строит дворцов и храмов, не ведет торговлишки, не знает с ремеслами. Ни железа, ни глины, ни камня не касались его мягкие, слабые, полные руки. Одно только гусиное перышко сжимать ловки. Строчит, строчит, сердешный, и с тех листов перепачканных исходят его семье и пропитание, и одежда, и тепло очага, и даже всякое баловство деткам. Может, и нужны его упрямство и заносчивость, когда дело тех словес касается, не Марья Филипповна, едва грамоте обученной, о том судить да рядить. И уж подавно не могла она сыскать разумного объяснения нынешнему заскоку.

Укор жены задел Третьяковского. Он напыжился крупным, мясистым лицом своим, набухли и полиловели толстые жилы на висках, но не от гнева или обиды — от бессилия растолковать ей, что те побои жестокие, то поношение великое нанесено не безродному попову сыну, мелкочинному секретарышке при академии, а первому

пшиту молодой русской поэзии. В нем музы и сам Фебус-Аполлин уязвлены и оплеваны были. Да ведь не объяснишь такое доброй и недалекой Марье Филипповне. Сколько раз пытался он растолковать ей про Фебуса-Аполлина, а она светлого бога искусств языческому Яриле уподобляет и сердится, что православного священника отпрыск идолищу кадит. И выходит, что Марья Филипповна в ту же дуду дует, что и кидавшиеся на него церковники.

Тредиаковский сказал значительно:

— В суровые вимы Вольтинскому вчинили, что зверовал надо мною в приемной герцога Курляндского.

— Господи! — охнула Марья Филипповна. — Неужто мало, что он государыню сковырнуть хотел?..

— Мало не мало, а вчинили... — пробормотал Тредиаковский, и лицо его налилось кровью.

В другое время проникательная — при всей своей недалекости — Марья Филипповна сразу вранье разгадала бы. Но сейчас отнесла пламень румянца за счет развороченной в душе мужа скверны. Тредиаковскому же было стыдно. Как и все люди его времени, причастные дворцовой жизни, он не только умел хладнокровно врать, но лишь тем и занимался, переступая высокий порог, и почитал это не грехом вовсе, а «политикой». Но дома, перед женой врать не умел, не хотел, да и толку не было, раз она его сразу на чистую воду выводила. Кажись, впервой солгал удачно, но испытывал не радость, а стыд и огорчение: коли такую чистую и проникательную душу обманывать можно, значит, правда сама себя сроду не оборонит.

Наврали же он всего-то вот столечко! Вольтинскому и впрямь был в вину указан, в ряд с иными, тягчайшими преступлениями, скандал, учиненный в приемной всеильного Бирона, но имя Тредиаковского при сем не упоминалось. Неважно, кого он наземь поверг и ногами топтал с громкими криками и поношениями, важно лишь, что оказал тем самым неуважение фавориту Анны Иоанновны. А писалось это в одну строку с государственной изменой. Свой респект герцог Курляндский ставил вровень с потрясением монаршего трона.

— Держи палку-то!.. Василий Кириллыч, где ты, родной?.. Вернись!.. — услышал он будто издали.

В руку ему тыкалось что-то твердое. Он почувствовал гладкое теплое дерево, затем прохладно-шершавый металл — палисандровая трость с серебряным набалдашником, привезенная им из Франции. Василий Кириллович вял трость и с шутовской напыщенностью изрек на библейский лад:

— И даде в руку ему посох!..

Вслед за тем провалился в то февральское утро, когда невиданный в Петербурге мороз гнал дымы столбом в высокое синее небо, камешками падали замерзающие на лету воробьи в сухо искрящийся снег и расписанная диовинными пейзажами, призолоченная валедей окон не давала проглянуть улицу и двор. В ту пору важным переживанием была охвачена его душа...

В академию пришло письмо из Фрейберга от обучающегося там горному делу академии ученика Михайлы Ломоносова. Был о нем Василий Кириллович и допрежь того много наслышан, ибо жадничал ко всем слухам о сем молодом человеке, повторяющем его собственную судьбу. Когда-то астраханский попovich, не удовлетворенный обучением у католических священников, невесть почему оказавшихся в устье Волги,— лишь разожгли, но не утолили жажду к словесным наукам святые отцы,— бросил отчий дом, старых родителей, молодую жену и бежал тайком в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию, а проче — в Заиконоспасское училище. А через восемь лет после него с другого края русской земли, из-под Архангельска, славного морской торговлей, прибред в белокаменную помор, рыбацкий сын Ломоносов и в то же училище определился. И дальше сходно у них пошло. Томимый тягой к знанию, Тредиаковский через два года покинул бурсу и подался сперва в землю Голландскую, а оттуда в Париж, куда прибред пешком со сбитыми в кровь ногами и животом, прилипшим к хребту. И если б не князь Куракин, русский посол во Франци, пожалевший жадного к знаниям юношу и приютивший в своем богатом доме, был бы тут конец странствиям Василия Кирилловича. Ломоносов оказался терпеливее, да и времена изменились. По окончании Заиконоспасского училища он был определен в университет при Санкт-Петербургской академии наук и оттуда, явив недюжинные способности, отправлен в немецкий город Марбург для усовершенствования в науках. Здесь он обнаружил приверженность, опять-таки родившую его с Тредиаковским, к стихотворчеству и размышлению над способами сложения российских стихов. Занятия сии он продолжил и во Фрейберге.

Люди, бывавшие за границей, много рассказывали о его сильной и гордой упряжке, удивительной в человеке столь низкого происхождения,— ни от кого не стерпит насмешки или слова грубого,— о многих его талантах и глубоких познаниях в самых разных науках. Все это приятно было Василию Кирилловичу, но жгучий и недобрый интерес к помору возник у него недавно, когда в адрес академии пришло послание от Ломоносова, содержащее «Оду на взятие Хотина» с присовокуплением к сему рассуждения о способе слагать стихи. И тут весьма неожиданно обнаружился дерзкий, даже грубый вызов ему, Тредиаковскому, первому стихотворцу российскому и отцу нового тонического стихосложения. Вызов был и в самом поэтическом произведении, созданном будто вопрекор прославленной оде Василия Кирилловича «О сдаче города Гданска», но куда искуснее. Сие неудивительно, свою торжественную оду Василий Кириллович сочинял по старому силлабическому канону, ибо не пришел еще к тому, что всего три года спустя открылось его окрепшему и широко раскинувшемуся разуму.

Тогда-то и осенило Василия Кирилловича, что башня русского силлабического стихосложения, чей фундамент — Симеон Полоцкий, верхушка — Феофан Прокопович, а островершек — Тредиаковский,

обречена на слом. Силлабический способ полагает в стихе некоторое известное число слогов и согласие слогов последних, но это еще не есть стихи, а зарифмованная проза. Прямой же стих имеет меру стоп с падением, приятным слуху, от чего стих поется и тем от спотыкливой прозы разнится. Сию распевность выслушал он в народном русском стихосложении и потрясенной душой прозрел высшую истину.

Надо сказать, что у иных поэтов, включая самого Василия Кирилловича, в коротком стихе иногда появлялось тоническое начало — ритм, но не по расчету, а как бы невольню. Впрочем, короткие стишки Василия Кирилловича серьезной поэзией не почитал, его заботил героический стих: тринадцатисложный «российский эксаметр» и одиннадцатисложный — «российский пентаметр», кои единственно годны для изображения предметов возвышенных.

Мир не без добрых людей. Нашлись злопыхатели, обвинившие Василия Кирилловича в том, что он просто пересади на русскую почву французское стихосложение. Спокойно, без запальчивости, ибо знал свою правду, отвечив сим малоумным хулителям Тредиаковский, указав на первоисточник своего открытия: «...поистине всю я силу взял сего нового стихотворения из самых внутренностей свойства нашему стиху приличного; и буде желается знать, но мне надлежит объявить, то поэзия нашего простого народа к сему меня довела. Даром, что слог ее весьма не красный, от неискусства слагающих; но сладчайшее, приятнейшее и правильнейшее разнообразных ее стоп, нежели иногда греческих и латинских, падение подало мне непогрешительное руководство к введению в новый мой эксаметр и пентаметр оных выше объявленных двухсложных тонических стоп. Подлинно, почти все знания, при стихе употребляемые, занял я у французской версификации; но самое дело у самой нашей природной, надревнейшей оной простых людей поэзии... Я французской версификации должен мешком, а старинной российской поэзии всеми тысячью рублями...»

Видимо, хорошо проштудировал Ломоносов в свободные от горючего дела часы работу Василия Кирилловича, но в рассуждении, коим снабдил звонкую свою оду, и словом не обмолвился о создателе нового русского стихосложения. И все, что касалось тонического способа, от себя подал, будто собственное открытие. Но это от пренебрежения, а не из желания присвоить чужое. Его саркастические замечания, пасленки и уязвления откровенно метили в академию секретаря. Расходился же он с Василием Кирилловичем во многом. Прежде всего, Ломоносов распространял новый способ на все размеры, а не только на эксаметр и пентаметр, коим вообще отказывал в главенствующем значении. Но что особенно задело, даже ранило Василия Кирилловича, он решительно превозносил иамбический размер над хореем. Можно подумать, будто он вообще открыл иамб для русской поэзии, а между тем Василий Кириллович в своем «Способе» тоже о иамбе говорил, хотя примеры выбирал только с хореем.

Ломоносов швырнул ему перчатку из далекого Фрейберга и угодил метко — прямо в лицо не ждущему нападения противнику. Тре-

диаконский ведать не ведал, чем навлек на себя гнев даровитого помора. Пути их не пересекались, они никогда не виделись и счетов между собой не имели. Но дерзкий вызов Василий Кириллович принял сразу и с той яростью, какую от века русские сочинители в свои споры и несогласия вкладывали. На русском Парнасе приличий сроду не ведали, как и тихого, вразумительного разговора. Здесь уста сразу кровавой пеной вскипают, здесь бьют наотмашь и только под дых. А благодушествовать Василию Кирилловичу не с чего было. Страшнее рассуждений смелых, спесивых и для него уязвительных была сама ода, написанная ненавистным, тайно влекущим и недающимся ямбом. Поверх всех своих пристрастий, самолюбия и гордости Тредиаковский не мог не чувствовать красоты, силы и звучности этой оды. Перед собой можно признаться, что такого звонкого и распевного стиха не знала русская поэзия. И пусть хоть архангеловы трубы возвестят о твоей правде, сию сладкозвучность им не заглушить. Никому и дела не станет, что ты первый указал способ к стихосложению, коль не смог в живом слове своего превосходства доказать. И посему, да останется под спудом ломоносовская ода, покамест он сам из Фрейберга не явится и собственноручно о судьбе ее озаботится. Академии секретарь в том ему не помощник, напротив, сделает все, дабы ода сия в типографию академическую не попала.

Но это еще не главная забота. Надо послать горных дел ученику сильный и хлесткий ответ, пусть на всю жизнь запомнит, кто первый, а кто второй. Но отповедь отповедью, а стоит крепко подумать — нет ли и чего разумного в ломоносовских уязвлениях. Трехсложный размер — дактило-хореический стих? ...Похоже, тут Ломоносов его поймал. Но за ямб мы еще поборемся. И неумно утверждать, будто стопа, называемая ямб, сама собой имеет благородство и потому ею высокая материя поется, а хорей нежен и сладок и лишь для элегического стихотворения годен. Никакая стопа сама по себе не имеет ни нежности, ни благородства, все зависит только от изображения, которое стихотворец в сочинении своем употребляет. И хореем способно восславлять и бранный труд, и побед упоение. Тут мы прижмем хвост ретивому помору.

Внезапная мысль обожгла Тредиаковского. А что, если переписать оду «О сдаче города Гданска», родившуюся в глубини силлабического стихосложения, по тоническому способу, хореической стопой?

Кое трезвое мое пианство
Слово дает к славной причине? —
Чистое Парнаса убранство,
Музы! Не вас ли увижу ныне?

А ежели так —

Кое странное пианство
К пению мой глас бодрит!
Вы парнасское убранство,
Музы! Ум не вас ли зрит?

Эким же бодрым, звонким, докотливым становится стих! Ну, берегись, помор, еще поглядим, кто кого. Ты быстр, дерзок и заносчив,

я визок, сердит и упрям... Снова горы работы выросли перед Василием Кирилловичем, но чего-чего, а работы он не боялся. Недаром же царь Петр, при посещении астраханского Латинского училища, выделил среди представлявшихся ему учеников скромного обликом попovichа и сказал о нем: «Вечный труженик!»

Как в воду глядел великий государь! Вся жизнь Василия Кирилловича — непрерывный, сплошной, без усталости труд. В парижских стихах своих — писанных по-русски и по-французски — любил он изображать себя жувром, мотыльком, порхающим с цветка на цветок, а цветы те — нежные или галантные утехы. На деле же и в блистательной Лютеции позволял он себе отвлечений немного больше, чем в душно-вонюхой Астрахани под присмотром родителей и католических наставников. Здесь за ним присматривали Буало-Депрео, Корнель, Вольтер, Фенелон, над коими он денно и ночно корпел, славная поэзия французская, коей он упивался, собственный усидчивый и плодотворный дар. Соблазнами галантной столицы были для трудолюбивого русского мужичка не прелести доступных Цирцей, а библиотеки и лотки уличных книгопродавцев на Сенской набережной, прокопченная галерея «Комеди франсез», где давали Расина и Мольера.

...В то далекое утро, охваченный зудом нового труда, азартом и нетерпением битвы, Василий Кириллович засучивал рукава, разминал пальцы, чтобы вклиниться в гусиное перо и не выпускать его до глубокой полночи. И тут появился кадет...

Кадет как кадет, среднего роста, сухонарый, округлое надрванное морозом лицо в юношеских угрях, а голос уже табашный, водочный — сиплый, с хрипотцой и отхарком. И этим несвежим голосом кадет изрек, что Академии наук секретаря Тредиаковского немедленно требуют в Кабинет ее императорского величества. Если бы ядро чугунное, каленое, в окно, взвевен, влетело, не был бы Василий Кириллович столь ошеломлен, испуган и огорошен. Ноги его подкосились, и он кулем рухнул в кресло. Вызов в Кабинет означал что-то грозное, ужасное, хуже немилости и опалы. Отсюда мог быть только один путь — в Тайную канцелярию к страшному Ушакову, а там дыба, крючья и казнь лютая. За что?.. За что?.. В чем он виноват? Живет в неустанных трудах, в угождении сильным, ни помыслом, ни жестом не посягая на их власть. Ратоборствует лишь со словесами. Никому никакого ущерба не чипит. Да разве можно с ними что наперед знать? Разве угадаешь, что им померещится, — до того подозрительны, до того к славе своей ревнивы, что ровню и ничего обиду себе добывают. Как в той арабской сказке, которую он по-французски в Париже читывал. Ел персики некий купец и косточки прочь отбрасывал. Вдруг перед ним джинн, зело громаден и зело разъярен. «Сей час я тебя жизни лишу!» — «За какую провинность, великий джинн?» — пал на колени купец. «А ты сына моего убил». — «Да тут, окромя моего осла, никого не было». — «Глупец, сын мой незрим для очес людских, он округ тебя витал, а ты его персиковой косточкой пришиб...»

Прогневал джинна в свое время и Василий Кириллович. И хоть оправдавший у него поболее купцовых оказалось: не ел он вовсе персиков, стало быть, и косточек не кидал, а вышел из передрыги со сломанной хребтиной, пусть его и пальцем не тронули. Был тогда Василий Кириллович прям, в себе уверен, в мыслях независим и смел. Привык он в заграничные свои дни под доброй рукой князя Куракина zelo свободно себя чувствовать и, в Россию вернувшись, не менее сильного покровителя обрел в лице главы православной церкви Феофана Прокоповича, сподвижника Петра, пииты изрядного, просвещенного ума человека. И когда архимандрит Платон Малиновский возлютовал на него за пересказ Таллемаповой «Езды в остров любви» и развратителем русской молодежи обозвал, то Василий Кириллович из-за крепкого плеча Феофана масляный кукиш ему сунул. Не менее яростно накидывались российские тартюфы и на его любовные песни. Малиновский прямо угрожал «пролить еретическую кровь» того, кто «атеистический дух из Франции вывез». Да не пролил, а сам стараниями Феофана Прокоповича в Сибирь заслан был.

Зело угодивший придворным «Островом любви», Василий Кириллович был введен в узкий круг сестры императрицы великой княгини Екатерины, а уж ею поручен вниманию самой монархини. При торжественном въезде Анны Иоанновны в Петербург, куда она через два года после воцарения из любви ее сердцу Москвы переехала, не кто иной, как Тредиаковский, встречал государыню речью похвальной и приличествующими случаю стихами, за что сподобился великой милости — допущению к ручке императрицы. А уж место в Академии наук и должность секретаря сами собой с того целованья возникли.

Громадное неовозделанное поле простерлось перед Василием Кирилловичем, и он, поплевав на ладони, принялся то поле вспахивать. Немало было им сделано и для усовершенствования русского языка, его грамматики и синтаксиса, великое множество стихов, песен, торжественных од, хвалебных гимнов сочинено и несметь поэтических упражнений академических немцев на русский язык перетолмачено, уж и «Новый краткий способ к сложению российских стихов» свет увидел, когда неожиданно-негаданно с ясного неба ударил гром. Вызвали Василия Кирилловича в Тайную канцелярию. А уж лучше к наизлюбнейшему джинну в лапы, чем в пыточный застенок Андрюшки Ушакова. И хоть не ведал он за собой никакой вины: ни большой, ни малой, а чувствовал дурноту и очес помутнение, перешагивая порог страшного дома.

А пред лицом ушаковского помощника его и вовсе чуть не стошнило. Была у того какая-то кожная болезнь, поразившая уши и горбину хищно изогнутого носа. Переносье лоснилось каленой краснотой, а большие вялые уши лохматились неопрятными серыми шелушинами. И видать, чесалась эта лохматура, потому что без устали скреб он уши пальцами, тер ладонями, соря на столешницу кож-

ными обдирками. И так ушел в свое занятие, что внимания не обратил на студенисто колыхающуюся от страха фигуру Тредиаковского. Когда сора накопилось достаточно, помощник сгреб его в кучку, ссыпал в правую ладонь, как делают иные с хлебными крошками, и опорожнил горстку за плечо.

Все дело выеденного яйца не стоило. Его песнь на коронацию Анны, написанную еще в Гамбурге и начиняющуюся словами: «Да здравствует днесь императрикс Анна», пашли в списках у нерехтинского дьячка Савелия и костромского попа Васильева. Кому-то померещилась хула на государыню в обращении «императрикс». Обоих любителей словесности доставили в Петербург, где им учинили допрос с пристрастием, но так и не доискались до поносного смысла непривычного титула. Дрожая и заикаясь, Тредиаковский объяснил, что назвал императрицу на латинский лад не в умаление, а ради возвышения ее священного сана. «Нешто российскую императрицу возвышает чужеземное величанье?» — с неожиданной остротой спросил шелудяк, сдирая бахрому с ушей. «Сей титул носили победоносный Юлий и божественный Август», — пролепетал Тредиаковский и вдруг лишился голоса. Откуда-то снизу, будто из-под самых ног, донесся задушенный стон, оскольз железа о железо, затем мягкий, глухой удар. «Там пыточная!» — стукнуло в голову, и Василия Кирилловича неудержимо потянуло пасть на колени и во всем покаяться. Он не сделал этого лишь потому, что не осенило его смятенный ум, в чем бы принести покаяние.

— Все сорншь, гнида? — послышался сочный, с раскатцем, мужской голос.

Шелудяк поспешно стряхнул со стола ушные очистки и вытянулся. Был он низенек, худ, но чреват, будто беременная баба.

Рослый, с потными волосами, налипшим на высокий смуглый лоб, в расстегнутом кафтане, Андрей Ушаков размашисто оседлал скамью. «Да он сам пытается!» — догадался, омертвев, Тредиаковский. Но случается так на последнем пределе, за которым гибель, без смерти смерть, что очумевший от ужаса человек вдруг находит единственно нужные, спасительные слова. И Тредиаковский, то и дело лишаясь дыхания, но вполне вразумительно объяснил правителю Тайной канцелярии, что стихи его, переданные князем Куракинским господину Бирону, удостоились лестной похвалы всемилоштивейшей императрицы.

— Императрицы, вишь, а не императрикса, — поймал его Ушаков, но ссылка на Бирона сделала свое дело, голос прозвучал почти милостиво. — А пишешь ты бойчее, нежли говоришь. А потому ступай и отпиши все в подробности до сего случая касаемое. — И, пожалев бедного стихотворца, добавил: — А посля катись пах хаузе, как говорят в вашей Российской академии.

И, довольный своей шуткой, хохотнуть изволил. И Тредиаковский издал какой-то мышинный писк, означавший почтительный смехок, кстати, вполне искренний, — уж он-то довольно натерпелся от иноземного засилия в академии. Срамотно сказать, но в Российской

академии на всех корфов и шумахеров не было до сих пор ни одного русского профессора!

Этим счастливым писком и завершилось жуткое приключение Василия Кирилловича, но вышел он из Тайной канцелярии совсем иным человеком, чем вошел под ее мрачные своды. Исчез парижский петиметр из российских бурсаков, вольнодумец Феофанова круга, беспечный певец любви, самоуверенный ученый, научивший россос слагать стихи, остался верноподданный, сиречь раб.

Конечно, отдышавшись дома, он постарался собрать себя нацельно и даже перед самим собой делал вид, будто ничего не произошло. Вернее, так: случилось некое малое недоразумение, подтвердившее его совершенную перед тронном чистоту. Раз уж ты переступил порог ведомства Андрея Ушакова, то хорошо, коли тебя оттуда живым вынесут, распрекрасно, коли сам на карачках выползешь, а чтобы своими ногами выйти, очищенным от всех подозрений, как сподобился Василий Кириллович, такого, почитай, и не бывало. Там ведь не одно, так другое найдут, не найдут — пришьют. Раз уж попал к ним в руки, добром не отпустят. А его отпустили, и сие означает, что прошел он великую проверку и являет собой нанчистейшего, наинадежнейшего, наипрозрачнейшего, наибелейшего подданного русского престола.

Но почему-то эти спасительные мысли плохо помогали самочувствию Василия Кирилловича. Наружно он пыжился, выкатывал грудь, но внутри съезжился, согнулся. И вот что странно: неужели окружающие наделены такой зоркостью, чтобы заглядывать под шкурку? Или они нюхом чувят, что с тобой неладно, что стал ты робче, слабей, пугливей, хоть и тщательно скрываешь происшедшую перемену? Василию Кирилловичу стало казаться, что к нему переменились. Он подмечал косые взгляды, усмешки, его слуха достигали глумливые и глупые замечания насчет его внешности, бородавки на щеке, стихов, манеры выражаться. Не только надменный Бирон, который с людьми обращался, как с лошадьми, и лишь с лошадьми по-человечески, или властный, грубый Волинский, но и мелкая придворная сошка, обшлага его кафтана не стоящая, и глупые шалуны камер-юнкеры стали небрежничать, даже нагличать с ним. Может, все это и прежде бывало — смешки, грубости, небрежение, — нешто в привычку чванной, надутой и невежественной знати, будто сошедшей на дворцовый паркет из Кантемировых сатир, общество поэта, чье значение и достоинство не в предках или вотчинах, не в титулах и чинах, а в чистой сфере духа? Они даже не поинимали толком, кто он есть и почему на равное со всеми обращение претендует. Придворный — не придворный, лекарь — не лекарь, шут — не шут, но государыня балует, к ручке своей допускает, табакерки с алмазами дарит, значит, приходится терпеть. Ведь терпishь и худшее — приставания и гнусные выходки бесчисленных, вконец обнаглевших дураков и карлов императрицы. Конечно, иной раз не удержишься и смажешь по гнусной харе или по горбу, да тут же и откупишься, чтоб государыне не накаловались. Со стихослагателем такого, конечно, не требуется, он себя смирно ведет, покамест

вслух читать не заставят. Тут он весь растопырится, как кречет на заре, напыжится да как пойдет завывать во всю мочь без малейшего стеснения, словно не во дворце, а в хлеву. Но государыне то любо, значит, помалкивай. Сейчас при всех безызъятно европейских дворах виршеплеты заведены. Ничего не попишешь — мода. Но поставить лишний раз на место тучного, рассеянного и самоуверенного пинту тоже не помешает. Может, и даже наверное, так оно и раньше случалось, но, безразличный к пене придворной жизни, Василий Кириллович просто внимания не обращал на титулованное хамство. Он был выше этого. Насмешки и дерзости отскакивали от него, как горох от стены. А сейчас он стал до болезненности чуток и равим. Он оробел, съезжился, ощутил опасность внешнего мира, которым раньше пренебрегал, веря в свою защищенность, и люди каким-то образом провели о его ущербе и мгновенно разнуздались.

Ему казалось порой, что он подмечает на лицах придворных ту особую, брезгливую гримасу, какой отзывались они на разные докуки шутейного сброда Анны Иоанновны, и это пугало его до сжатия сердца и холодного пота. Русская знать, известно, привержена дуракам, но придворных шутов и шутих все ненавидели дружно за их развязность, наглость, склонность к доносительству, а более всего за то, что их слишком любила монархиня...

4

Высокая, тучная, мужеподобная дочь слабоумного царя Ивана Алексеевича таила в грубых чертах своих странное сходство с великим дядей, корень коего видать в царе Алексее Михайловиче. Эта схожесть мало кем подмечалась в силу глубочайшего внутреннего различия между дядей и племянницей. Пустая, ленивая, незначительная, угрюмая и при этом помешанная на развлеченьях, Анна меньше всего заботилась о сохранении Петрова наследства. Ей было наплевать на Россию, которую она оставила в ранней юности, выданная замуж за герцога Курляндии, не знала своей родины, да и знать не желала. У нее была одна страсть — конюший Бирон, с которым она сошлась после смерти мужа. Склонная к единобрачию и верности, но бессильная сделать Бирона хотя бы тайным мужем — он был женат, Анна осыпала его бесчисленными милостями. Он стал оберкамергером ее двора, в 1737 году получил Курляндское герцогство, а заодно и всю Россию, которой бывший конюший распоряжался куда бесцеремоннее собственной вотчины.

Намаявшись скукой, бедностью, интригами ничтожного Курляндского двора, Анна Иоанновна, выйдя на широкий российский простор, превратила свою жизнь в сплошное увеселение, в нескончаемый праздник. Бирон, не занимавший никаких государственных постов, показывался на этих балах в атласном кафтане небесного цвета, так идущем к его серо-голубым холодным глазам, при ордене и ленте, весь в сверкании драгоценных камней, окруженный угодливостью и лестью, рослый, красивый, надменный, он купался в лучах своего величия, и Анна Иоанновна была счастлива. Но каж-

дый бал, даже «нескончаемый», рано или поздно все-таки кончается. Бирона уводили прочь дела и заботы будней: семья — ревнивая Анна со странным смирением признавала права этой ненужной, мешающей семье и даже подружилась с Биронихой; конюшни — шталмейстер Бирон был по нутру просто конюх, обожавший лошадей, запах стойла и навоза. То была единственная бескорыстная страсть временщика, и тучная, неуклюжая Анна, сделав над собой великое усилие, научилась превосходно ездить верхом. И герцог уже не мог помешать ей заглядывать в конюшни и сопровождать его в дальних верховых прогулках. От государыни после этого крепко пахло конским потом, и, прискучивший ее липкой привязанностью, Бирон испытывал прилив нежности. Но была у него еще и такая жизнь, куда русская императрица не могла вступить, даже если бы и пожелала. И когда Бирон делал собственную политику: строил козни, плел сети, учинял заговоры противу русских людей, их достатка, земли, прав, Анна оставалась одна, и свинцовая тяжесть одиночества наваливалась ей на грудь. Мучительное это чувство, ведомое всем Романовым, начиная с первого, Михаила, возросло у Анны до размеров душевного недуга в загоне тухлого Курляндского двора. Неспособная в дикой мозговой лениности ни к государственным делам, ни к чтению, ни к серьезной беседе, она находила спасение лишь в шутах. В их возне, ссорах, драках, визготне, сплетническом тараторе рассеивалась ее угрюмость, она отвлекалась от тяжелых мыслей о близящейся старости и вечном нездоровье.

Причудлив, жутковат, даже грозен был шутейный штат императрицы. И хоть русские баре известные до шутов охотники, — рядом с богом обиженным, хуже черепахи изуродованным каждый зело умным и пригожим себя зрит, — но царицыных дураков все боялись и ненавидели. Среди обычных шутов в пестрых костюмах — одна штанина красная, другая синяя, полосатая, колпак с бубенчиками или шапка с ослиными ушами, в руке погремушка с горохом, всевозможных уродцев — горбунов, гномов, колченогих, косоглазых, ласторуких, самовароподобных, бляющих, мычащих, кукарекающих, пузыри пускающих, слова путного молвить не умеющих, — попадались ражие молодцы чужеземного происхождения, скрывающие под шутовским нарядом острый ум, ядовитую злость, отвагу и литые мускулы наемных убийц. Предерзкие художества, кои они творили, пользуясь своей безнаказанностью, озадачивали даже выдавших виды придворных, из них выделялись португалец Лакоста и смуглый итальянец, чье благозвучное имя Петро Мира не случайно переделали в Педриллу. Темные пронзительные глаза этих авантюристов, прикрывшихся скоморочьим колпаком, повергали придворных в смятение. Рядом с ними иной вельможа не только не полагал себя умнее и выше, а дрожал от страха, как бы с этими шутами местом не поменяться. А что?.. Были среди богом обиженных и людьми униженных выходцы из самой родовой знати. Так, под кличкой Квасинна ходил в шутах князь из стариннейшего, знатнейшего рода Голицыных. Опала, плаха, изгнание были в привычку этой беспокойной фамилии, но в шутах и квасниках пикто еще не состоял. Некогда юный

князь Голицын, посланный с поручением к папе римскому, в угождение наместнику бога на земле принял католическую веру, за что и был в шуты определен. Конечно, не блистал умом князь Голицын, но и не умнее его люди исполняли и придворную, и посольскую, и военную, и какую хошь службу, он же гостей квасом обносил. Его ущерб состоял в одном: он всегда хотел угождать окружающим, делать людям приятное, и уж вовсе не способен был кому-либо противустоять. Он угадал желание святого отца и вернулся домой католиком. Нельзя сказать, что Голицын-Кваснин особо страдал в своей новой службе, ибо доставлять людям всевозможные удовольствия, радостно подчиняться, потворствовать чужой воле было всегдашним стремлением его натуры. Таким уж создал его господь. А все-таки жутковато иной раз становилось при виде того, как другие шуты князя-боярина валтузят. Да, был у Анны старый счет с домом Голицыных, пытавшихся урезать ее власть.

А молодой Волконский, тоже принявший католическую веру и угодивший в шуты? В нем и вовсе никаких вывихов не наблюдалось, и в свою позорную должность угодил отнюдь не за измену православию, а по мстительности Анны Иоанновны, возревновавшей к его красавице жене. Лишь раз пресыщенный, равнодушный к женщинам Бирон смягчил льдистый блеск своих глаз, узрев юный, статный облик княгини Волконской, и недалекий добряк ее муж был, аки гусь, посажен в плетеную корзину у покоев императрицы.

Если люди родовитые не чувствовали себя защищенными от колпака с бубенчиками и гусиной плетушки, то что же должен был испытывать придворный пинт, коего тоже для развлечений употребляли, словно горбатенького и ушастенького швейцарца по кличке Магистр, искусно пиликавшего на скрипочке с одной струной?

У шутов была премерзкая манера замешивать, «заигрывать» в свою возню разных почтенных особ, так что иной раз не отличишь, кто шут, а кто не шут. Исключение составлял один Бирон. Но даже сам грозный кабинет-министр Волынский нередко подвергался их наскокам. Крепкий, как кленовый свиль, сановник — происходил из мелкой астраханской шляхты и начинал рядовым солдатом — сразу пускал в ход кулаки, и шуты с воплями разбегались. Но такую самозащиту не каждый позволить себе мог — шуты были первыми доносчиками при императрице и фаворите и могли замарать так, что не отмоешься.

Бирон, любивший лошадей как богово совершенство, натурально не мог испытывать к шутам ничего, кроме брезгливости. Он и вообще-то людей ни в что не ставил, а тут какие-то людские ошметки. Но ему угодно было их наущничество и то, что в его отсутствие императрица ими утешалась. Это было куда лучше, чем если б иной утешитель выискался, ну хоть бы наглый, ловкий и ядреный Волынский.

С шутами приходилось считаться, но, боже упаси, чтоб они это почувяли! И бедный Василий Кириллович, потерявший всякий кураж после визита в Тайную канцелярию, изо всех сил напрягался, чтобы оборонить свое скромное достоинство от вельмож и наипаче

от шутов. У него вроде болезни стало — страх в шута превратиться. И всякий раз, возвращаясь из дворца в свой бедный дом, он с трепетом спрашивал себя: не случилось ли чего такого, что его ниже допустимого уронило, не сломилась ли его фортуна от академии к шутовой команде? И хотя чуткие, как собаки, к чужому страху шуты что-то про него смекнули и обнахальничали против прежнего, шанки с ослиными ушами все же не решались напялить на крупную голову первого русского стихотворца. Может, тянулось за ним покровительство князя Куракина, числившегося в близких людях герцогу Курляндскому? Это его спасало, это и едва не погубило...

5

Пока ТрEDIAKОВский бестолково и растерянно собирался, теряя то очки, то кошелек, то пуговицу с кафтана, кадет сосредоточенно и угрюмо ковырял в носу длинным бледным пальцем, не стесняясь присутствием ни самого академика секретаря, ни его жены. Кадет явно не штудировал «Юности честного зеркала», где прямо указано: «чистить перстом нос возбраняется». ТрEDIAKОВский, пережив первый испуг, несколько овладел собой и решил, что Кабинет ее величества еще не Тайная канцелярия, там не пытаются, не вздергивают на дыбу, а повод для вызова может оказаться самый ничтожный: навет академического коллеги или жалоба церковников, что куда хуже, но в последнее время он их не задевал, а старое быльем поросло. Конечно, ничего нельзя знать наперед, коли имеешь дело с властью, но и отчаиваться рано. Вышел же он невредим от самого Андрея Ушакова. И, приободрившись, хотел сделать внушение кадету, дабы не сорил из носу на чистый пол в присутствии почтенных особ, но тут ему под дых ударило сходство нарочитого свинства кадета с тошными действиями ушаковского шелудяки. Что это — случайное совпадение, или людям гнусных занятий вообще свойственно манкировать приличиями, или подготовка жертвы к лишению прав человека? Худо, худо, ох худо!.. И ТрEDIAKОВский оставил выговор при себе.

— Скоро там? — сипло спросил кадет и отхаркнул через плечо, доказав тем самым некоторое знакомство с наставлением шляхетскому юношеству.

— Скоро!.. Уже иду!.. — жалким голосом отозвался Василий Кириллович, беспомощно топчась перед женой, пришивавшей ему пуговицу...

Когда они вышли на улицу, синее небо, крепкий, кусачий мороз, каленый, бодрящий, заставили Василия Кирилловича особенно горько ощутить обрушившуюся на него беду. Хрустело под ногами, колкий воздух хорошо студил грудь, искрились опушенные деревья и крыши под толстым снегом, плотные прямые дымы казались столбами, поддерживающими небесный свод, столько радости было в мироздании, в сияющем божьем дне, что невмоготу стало измученному сердцу Василия Кирилловича, и он потянулся за сочувствием к другой душе, к угрюмому паршивцу кадету, есть же и на нем хоть

слабый свет человека. Задыхаясь от быстрого шага и пресекающего дыхание мороза, Треднаковский пожаловался на немилостивую судьбу. Живешь и муки не обидев, токмо о славе государыни печешься, никаких сил ради пользы российской не жалеешь, а вместо благодарности в Кабинет ее величества волокут.

— В какой еще Кабинет? — прохрипел кадет, не глядя на Треднаковского. — Тебя к кабинет-министру Волинскому доставить велено.

Треднаковский аж вспотел на лютom морозе. Мгновенно колючий пней naroc на бровях, над верхней губой, затянул волосатые ноздри. Он остановился, достал фуляр, высморкался, утер лицо. Эж же он ослышался! Конечно, и вызов к кабинет-министру ничего доброго не сулит, гордый и грубый Волинский не больно его жалует, а все же — какое сравнение с тем, что ему от страха померещилось! Волинский в большой силе, да ведь он человек, и есть другие человеки — защитят. Сама матушка-государыня не даст в обиду своего певца, коли он супротив нее не виноват. Но хорош этот кадетишка — прогугнил что-то себе под нос, заместо того чтобы толком сказать, и в такой испуг вогнал.

Заметив, что Треднаковский остановился, кадет остановился тоже. Оп, видать, сильно продрог в шинелишке, подбитой ветром, и торопился в тепло. Но Василий Кириллович не собирался потакать бесцеремонному мальчишке. Он был человек тучный, с одышкой, придворный поэт, секретарь Российской академии, муж ученый и трудами своими славу снискавший, нечего ему воробышком лететь по прихоти капризного вельможи. Он не спеша приблизился к кадету и сделал тому строгое внушение.

— Негоже, сударь мой, так с почтенными людьми обходиться. Ты горло от кнастера не прочистил, хрипишь невесть что, а мне воп какие ужасы померещились. Таким объявлением человека можно вскоре жизни лишити или, по крайней мере, в беспамятство привести.

Кадет пробормотал какую-то грубость, вроде посоветовал уши прочистити. Василий Кириллович, преисполняясь все большего достоинства по мере того, как росло и ширилось ликующее чувство освобождения, сурово заметил кадету, что уши у него в полном порядке, он слышит не токмо все земные голоса и звуки, но и музыки сфер, а вот иным недорослям не мешало бы помнити правила приличий, предписывающие освобождать нюхало от табака и соплей с помощью фуляра, а не указательного перста. Кадет по-волчьи зыркнул глазами, уткнул подбородок в воротник и быстро зашагал вперед.

6

По мере их продвижения к дворцу в природе происходили какие-то перемены. Небо утратило чистоту, замутилось, по забелевшей голубизне проносились быстрые тощие облака, солнце за ними стало круглой золотой монетой, на которую можно взирать

без рези в глазах. Чуть приметно потянуло ветерком с залива. Мороз не умерился, по похоже, что в ближайшее время он пойдет на убыль.

Вблизи дворца от Невы ударило по глазам ледяным пламенем. Аж слезы вышли пронзительно-ледяной сверк. Василий Кириллович защитился рукавицей от блистающих лезвий. Это стал меж недостроенным Зимним дворцом и Адмиралтейством ледяной дом, измышленный усердием Волынского для развлечения педужащей императрицы. С тех пор как Анна занемогла — лекари не умели называть болезни, обглодавшей ее, как собака кость, — Волыпский изощрялся в устройстве все новых и новых увеселений, машкерадов, шутейных потех, одна причудливей другой. Государыня хоть и опала телом, почернела с лица, ставшего вовсе мужским, с притемью под носом и на подбородке, а порядка жизни не меняла, даже еще жаднее цеплялась за удовольствия. Но сейчас гораздый на выдумки Волынский превзошел самого себя. Поговаривали, правда, что задумка принадлежала Бирону. Раздраженный успехами Волынского, он надоумил государыню потребовать невозможного: статочное ли дело дворец изо льда возвесть! Но Волынский доказал, что нет для него невозможного в угождении государыне.

В краткий срок, отпущенный завистливой злобой фаворита, отыскали и доставили в Петербург с разных копцов страны редких искусников. Лед брали с Невы, нарезали кирпичами и складывали стены по всем законам строительного дела, используя для крепежа невскую воду. Так, шаг за шагом, возвели по чертежам даровитого зодчего, задушевного друга кабинет-министра Еропкина дворец — восемь саженой длины, две с половиной ширины, три высоты. И вот оно, хрустальное чудо с колоннами и шпиром, с крыльцом и окнами, с ледяными светильниками перед парадным входом, где в чашах будет гореть нефть, — чудесный, хрупкий, недолговечный памятник мимолетного монаршего каприза, жутковатый символ пустой растраты народных сил, мастерства, выдумки, таланта, пышный, сверкающий и бессмысленный, как и все это царствование. И как это в духе Волынского! От него, младшего птенца гнезда Петрова, ждали свершений великих, дел громких, к вящей славе России служащих. Но, кроме подписания выгодного Исфаганского торгового договора с Персией, что еще во дни Петра было, прославил он себя лишь крутым губернаторством в Астрахани и Казани, участием в австро-русско-турецком конгрессе в Немпروه, приведшем к заключению Белградского мира с Турцией, по которому Россия за здорово живешь лишилась всех своих завоеваний, русской кровью окупленных. А допрель того Волынский приложил руку к другому громкому делу — возглавил суд над Дмитрием Михайловичем Голицыным, вознамерившимся поставить над волей монаршей Верховный совет из старых бояр с подмешкой новой знати. Престарелый князь отправился умирать в Шлиссельбургскую крепость, а Волынский стал бы первым человеком при государыне, кабы не Бирон.

Дойдя в своих мыслях до князя Голицына, Василий Кириллович ощутил внутри себя какое-то неудобство вроде щемления. Он постарался выкинуть это из головы, вернуться к широкому размышлению

о судьбе даровитого выкорымыша эпохи преобразований, который в пынешнее личтожное время строил и украшал лишь собственное гнездо, но щемливое беспокойство не проходило и наконец навело на след. К роду Голицыных принадлежал жалчайший из шутов — Кваснин, которого в апофеозе празднеств, посвященных ледяному дому, должны обвенчать с распутной и злой шутихой Бужениновой, прозванной так в честь любимого блюда Анны Иоанновны. Случай-цо ли вповь повязалось имя Вольтинского с одним из Голицыных или то был выбор самого кабинет-министра, не изболевшего ненависть к славному и несчастному роду, пред коим он, Вольтинский, куда б ни забрался, все равно хам и выскочка; то ли ему казалось, что нынешним малым злодейством он как бы подтверждает справедливость большого прежнего, когда подвел под топор старого «верховника», — сподобился тот каземата, взамен плахи, лишь милосердием государыни. Поди разберись в чащобе такой дремучей души, как у Артемья Вольтинского!

Для него, Василия Кирилловича, тут заключалась своя каверза: песьколько дней назад бросил ему Вольтинский вскользь, через плечо: сочини вирши на сию свадьбу. «Я виршей не пишу!» — гордо ответствовал (про себя) Тредиаковский, отвесив поклон. Но потом крепко озадачился — всерьез или в насмешку сие распоряжение? Не было ничего страшнее и ненавистнее для Василия Кирилловича быть запутанным в шутовские дела. Вольтинский не любил его, даром что земляк, ибо числил ошибочно — по князю Куракину — за Бироновым подворьем. Невдомек министру было, сколь натерпелся академии секретарь от наглости чужеземцев, опирающихся на Бирона. Да и сам фаворит не пропускал случая унизить, высмеять, поставить в глупое положение Василия Кирилловича. Он боялся, но и презирал от всей души невежественного, чванного, брезгливого ко всему русскому курляндца. Но не о том сейчас забота. Ломоносовский выпад напрочь вышиб из памяти Тредиаковского поручение Вольтинского. И хорошо, что вышиб. Иначе по слабости душевной и привычке подчиняться сильным мира сего — чем не Голицын-Кваснин? — накатали бы он свадебную песнь шутам и осрамился бы в собственных глазах и перед потомством. Ему ли, императрикс и Россию поощему, шутов величать!.. А если б Ломоносову сие предложили?.. Вспомнились слова младого Салтыкова, встречавшегося с Ломоносовым в Фрейберге: «Меня подмывало обломать трость об этого наглеца, но не решался, такой и убить может!» Он, Тредиаковский, никого не может убить, но постоять за честь русской поэзии может, и, если Вольтинский впрямь ради шутовского величания его вызвал, он скажет ему — смиренно, но твердо — о своих заслугах перед российской словесностью. «Не буду писать, и все тут!» — решил Василий Кириллович, присаниваясь...

7

— Где вирши? — спросил Вольтинский, едва Тредиаковский переступил порог кабинета.

— Нету, — упавшим голосом сказал поэт.

— Как это «нету»? Завтра свадьба.

— Негоже ниуту скоморошествовать, — довольно твердо произнес Третьяковский, и крепкая, упрямая скула молодого помора проплыла перед ним.

Волынский медленно поднял тяжелую голову. Его немолодое, но еще красивое лицо было помято, желтые взболтанные глаза глядели сумрачно и нездорово. Он всегда много пил, но прежде сон смыл с него следы попойки, и после разгульной ночи с девками и тройками он выглядел свежим, нетерпеливо бодрым, а ныне, постарев, погрузнев и озаботившись, тащил собой в день дурноту и тяжесть похмелья.

Волынский поднялся, вышел из-за стола, в движениях его все было прежней сухой легкости.

— Ты астраханский? — спросил он скучным голосом.

Третьяковский чуть отсунул лицо от его сивушного дыхания.

— Как же, — сказал он с насильственной улыбкой. — Ваш земляк.

— Земляк, значит... — Волынский прикрыл глаза, будто что-то соображая, его тонкие веки чуть трепетали, сверкнул очистившимся, светлой ярости взглядом и что было силы ударил Третьяковского в зубы.

Голова Третьяковского дернулась, хрустнул шейный позвонок. Он попытался, и новый страшный удар расквасил ему нос. Хлынула кровь — и залила перед кафтана. Почему-то первая мысль Василия Кирилловича была об этом кафтане: как будет браниться и сокрушаться Марья Филипповна, корпя над засохшими, несмывающимися вятнами, а уж потом безобразие и подлость случившегося заломили ему душу.

— За что?... — проговорил он гнусаво сквозь кровь, забившую нос, и слезы налили ему уголки глаз. — Да как вы можете так?..

— Земляк, говоришь? — повторил Волынский, словно было что-то усугубляющее вину Третьяковского в этом обстоятельстве, и огрел его по уху.

Третьяковский трясущимися руками извлек из кармана фуляр и приложил к лицу.

— Он ругался на вас, зачем вызвали, — прохрипел кадет.

— Нешто посмел бы я... — Третьяковский отнял от лица пропитанный кровью платок. — Совести у тебя нету.

— Ругался! — мстительно подтвердил кадет. — Чего, мол, такую важную персону по пустякам тревожат. Кабы еще государыне замарался, а тут всякое пыжало от дел отрывает.

— Побойся бога! — только и молвил Третьяковский.

Волынский остро глянул на кадета.

— Дай-кось ему по соплям. Неохота руки марать. А ну!.. — И кабинет-министр крепко ткнул кадета кулаком меж лопаток, видать за «пыжало», придуманное, как он сразу догадался, злобной фантазией кадета.

Тому не нужно было говорить дважды. Как ни закрывался и ни увертывался Василий Кириллович, твердые кулаки находили незащищенное место. Видать, в отцовой деревне этот недоросль зело

преуспевал в кулачной потехе. Заплыли глаза, уши стали как олады, кровь текла из носа, изо рта слабого плотью кабинетного мужа. Отступая, Василий Кириллович споткнулся на ковре и упал. Кадет ударил его сапогом в живот.

— Хватит! — сказал Волынский прежним скучным голосом. — Ковер запачкает... А ты, сволочь, чтоб к завтраму были вирши. Не то раздавлю. Пошел вон!..

И Тредиаковский пошел. Он пошел, как был, в порванном, испачканном платье, с разбитым, окровавленным лицом во дворец Бирона принести жалобу на кабинет-министра. Он не ждал серьезной кары для Волынского, слишком высоко тот стоял, но и нескольких суровых слов императрицы, сказанных публично спятельному животрезу, было бы достаточно. Придворные увидят, что никому не дозволено подымать руку на поэта-ученого. Ждал Василий Кириллович и для себя сочувственной ласки: хоть перстенок какой должны ему в утешение пожаловать.

В приемной у фаворита было по обыкновениюлюдно, и, хотя появление избитого и окровавленного поэта произвело впечатление, пустить его вперед никому на ум не вспало. Тредиаковский занял очередь и стал рассказывать случившемуся тут знакомому гвардейскому капитану о претерпленном надругательстве. Он так увлекся живописанием своих страстей, что не заметил, как в приемную вошел кабинет-министр Волынский в сопровождении давешнего кадета и жердиль-приказного. Нехорошую тишину, воцарившуюся в прихожей, он принял за повышенное внимание к своему рассказу.

— Ты здесь, гнида? — Хмурый голос Волынского оборвал ему сердце. — Витийствуешь?.. Жаловаться пришел?..

Волынский сапогом ударил его в грудь. Василий Кириллович повалился на гвардейского капитана, тот посторонился, и поэт рухнул на пол. По знаку Волынского кадет и приказный подхватили его под мышки, вытащили на улицу, кинули в возок и куда-то помчали...

Потом уже Василий Кириллович сведал, что на шум из кабинета выглянул Бирон и, увидев разъяренного Волынского, сказал гнусаво, что было у него признаком подавленного гнева:

— Что тут происходит? Опять вы?.. Здесь вам не конюшня.

— Конюшня — это по твоей части, — дерзко ответил Волынский. — А коли я наглого слугу проучаю, то мне никого не касается.

— Слуг вы у себя дома наказывайте, — побледнел Бирон. — Я слышал голос академика секретаря Тредиаковского. Он к холопам вашим не принадлежит.

— А это мы сейчас увидим!.. — в бешенстве вскричал Волынский, выбежал из приемной, вскочил на лошадь и прибыл в караулку в одно время с возком.

И началось такое безобразие, какого нигде, кроме святой Руси, не увидишь. Когда-то в Париже Тредиаковский слышал, что оскорбленные Вольтером вельможи подсылали к нему наемных головорезов, чтоб избить палками, а некий французский маршал, высмеянный Мольером, при встрече обнял драматурга, прижал к груди и поца-

рапал ему лицо орденами. Но эти поступки, о которых говорилось с отвращением и гневом, казались невинными шалостями по сравнению с тем, что учинил над русским поэтом русский вельможа. Он велел содрать с Тредиаковского кафтан и рубашку и лупцевал его палкой по голой спине, пока тот сознания не лишился. Ушат холодной воды привел его в чувство. Волинский снова принялся за дело и свирепствовал до плеча онемения. После этого Тредиаковского передали в руки солдат, и экзекуция возобновилась по строгому воинскому уставу. Поэта распластали на холодном захарканном полу караулки, один воин сел ему на голову, другой на ноги, а третий отмерил пятьдесят палок. Тредиаковский снова обмер и снова был возвращен в сознание ледяным окатом. Ненасытный Волинский приказал дать ему еще тридцать палок. Полуживой от боли, унижения, обрыва всех внутренних сцепов, собирающих человека в личность, Тредиаковский каким-то образом запомнил палочные порции и впоследствии точно назвал их в своей жалобе Академии наук.

Он долго не постигал лютости Волинского, необъяснимой цепкости, с какой первый сановник государства, обремененный многими делами и заботами, впился в слабого, незащитного человека, отважившегося на свой жалкий бунт. Лишь когда стало известно о «заговоре Волинского», кое-что приоткрылось Василию Кирилловичу.

8

Предвидя скорую кончину Анны и регентство Бирона, Волинский разработал проект «О направлении государственных дел». Еще творя суд над князем Голицыным, он серьезно задумался над попыткой верховников ограничить царскую власть советом государственных мужей. Крепко запали ему в душу слова, кои старший князь отпел свое дело: «Пир был готов, но званые оказались недостойными его; я знаю, что паду жертвой неудачи этого дела; так и быть, пострадаю за отечество, мне уж и без того остается немного жить, но те, кто заставляет меня плакать, будут плакать дольше моего».

Не тех, кого следовало, позвал на пир Голицы, за то и поплатился. Шляхетство боялось власти верховников, полагая, что с ними вернется засилие старинных боярских родов, уничтоженное Петром. Анна Иоанновна не своей решимостью разорвала подписанные ею голицыньские кондиции, а по настоянию гвардейских офицеров и дворян. Молодое русское дворянство, добровольно надевшее на себя ярмо, получило в благодарность бироновщину и слезами горящими поплатилось — прав был старший князь! — за свою преданность престолу. Волинский полагал, что ныне шляхетство вполне созрело, дабы создать из себя сильный представительный орган для обуздания самодержавия и свержения Бирона.

И Волинский начал плести свою сеть: искать и вербовать сторонников, прощупывать гвардию, одновременно всячески улещивая большую, капризную и ненасытную к развлечениям государыню. Его вкус к помпезным зрелищам, кои он довольно пагледелся в Персии,

размах и богатое воображение помогали заворачивать такую карусель, какой не видывал пресыщенный двор. Бирон вздумал подставить ему ножку затеей с ледяным домом, но все шло к тому, чтобы еще более возвысить Волынского во мнении императрицы. Сейчас Волынский страшился не зависти, злобы или ревности Бирона, а лишь пронизательности, которой этот спесивый и вроде бы туповатый курляндец обладал с избытком. Все мелкие и даже крупные каверзы герцога не были опасны Волынскому, он знал, как прогнать нахмурь с потемневшего чела государыни, вызвать улыбку на запавших устах. Другое дело, если герцог пронюхает о «Проекте» и прочих расчетах Волынского, тогда ему недобровать. И участь князя Голицына завидной покажется оступившемуся честолюбию. Жестокость временщика могла сравниться лишь с его алчностью.

Волынский следил за каждым своим шагом, словом, жестом, следил, чтобы его поведение ничем не отличалось от всегдашнего. Упаси боже, чтобы Бирон и его клеветы заметили, что он осторожничает, затаился, стал рассчитывать свои поступки, он, знаменитый своей необузданностью и удалой ширью истинно русской природы. И он заставлял себя пить, кутить, якшаться с непотребными женщинами, хотя ему было совсем не до того, совершать продуманно опрометчивые поступки.

Ледяное празднество было задумано с невиданным размахом. Триумфальные шествия победоносного Петра равно и ошеломляющие выходы всепитейшего собора должны были поблекнуть перед великолепием карнавала Волынского. Он хотел надолго ослепить и оглушить государыню, чтобы на спокойе двинуть вперед свое дело. Бедного российского поэта, как былинку, как палый листик, засосало в вихрь государственных страстей, не на жизнь, а на смерть борющихся властолюбий. Он думал, что скромно отстаивает собственное достоинство, а может, и достоинство тех, кто придет вслед за ним на ниву отечественной словесности, а сам, того не желая, сунулся под колесо разогнавшейся во весь дух телеги кабинет-министра.

Волынский просыпался по утрам с тревожной мыслью: не ударила ли оттепель. Тогда все пропало — потекут, оплывут сложенные с таким искусством ледяные стены, в мутную лужу превратится хрустальное диво. Но окна сверкали морозной росписью, красноречиво свидетельствуя, что зима прочно сковала столицу. Волынский вздыхал облегченно и тут же начинал беспокоиться о другом: вдруг посреди шествия понесет непривычная к городскому обиходу оленья упряжка плосколицых насельников северных окраин государства Российского, или, вспугнутые огнями, фейерверковыми вспышками, ринутся на толпу индийские слоны, или какая другая непредвиденная поруха испортит плавное течение праздника. А тут не олень с тяжело колышущейся гривой, не слон с могучими бивнями, а гнида, мелочь, землячок астраханский, словоблуд, шут без колпака поперек сунулся. Пужны Волынскому его паршивые вирши — это государыня пожелала, чтобы было прочитано стихотворное приветствие брачующимся шутам, — питала она страшное пристрастие к

стихоплетству. И уж если такая тля осмеливается прекословить, вместо того чтобы с благодарностью руки лизать, то сколь же трудно будет поднять людей на большое дело, подчинить их себе, привести к победе и, возглавив новый, силу и власть имеющий Сенат, набив шляхетству рот разными привилегиями, стать при наследнике Анны подлинным властелином России. К той же великой цели стремился некогда и Александр Данилович Меншиков, да проворонил юного Петра II и в березовскую ссылку, в курную избу угодил вместе с красавицами дочерями. Волынский так не обмишулится. Но известно, что больше предприятия нередко гибнут из-за мелочей. Потому и расправился он беспощадно с ничтожным Тредиаковским. К тому же в мозгу мелькнуло: уж не Бирон ли подбил стихотворца к неповиновению? Что, если ушлый курляндец прощупать его хотел? Человек, замысливший большое тайное дело, не станет по-пустому шум подымать. И Волынский нарочно разуздался в Бироновом доме. Ко всему еще он окончательно уверился, что Тредиаковский — с подворья ненавистного временщика. Кабы Волынскому не было что таить, он, верно, не стал бы учинять скандал в покоях щекотливого фаворита, но в данном случае такое вот откровенное, простодушное, неосмотрительное хамство хорошо маскировало серьезные намерения. В караулке же он от души дал себе волю. Этот противник самодержавной власти, устроитель российского парламента, не терпел и малейшего противодействия своей воле...

9

Избитого, мокрого, окровавленного Тредиаковского заперли на ночь в караулке, чтобы он сочинял веселую свадебную песнь. Лязнул засов, Тредиаковский остался один. Под потолком ютилось малое окошечко, за которым мерцала белесая от снега ночь. Но Тредиаковскому казалось, что прошла целая жизнь между светлым утром, когда он почувствовал в себе благородную ломоносовскую упрямку, и ночным опаматованием в мерзкой луже посреди караулки. Он постарел на целую жизнь за этот день. О каком достоинстве, какой чести можно думать, когда живешь под властью рукосуев, палочников, душегубов? Что для них заслуги, ученость, слава — награда терпеливому труду, это же заплечных дел мастера под личиной вельмож!

Но не стоит трудить этим душу. Его искус не кончился, чаша не испита до дна. Как еще распорядится им завтра Волынский, какую роль отведет на ледово-шутовской свадьбе? Может, вовсе в шуты зачислит? Неужто допустит матушка-государыня?.. Тредиаковский тяжело вздохнул. Разве можно положиться на кого из этих великих, всяк своему нраву служит, а маленький человек для них что муха, прихлопнут и не заметят. Но он должен завтра прочесть стихи, иначе не видать ему ни дома, ни жены, ни детушек. А ему ничего не надо, только бы увидеть их. Пусть шутом, пусть кем угодно, ползком или на карачках, только бы добраться до их родного тепла. Вспомнив о семье, Тредиаковский заплакал. Он плакал, выползая

из мерзкой лужи, подымаясь на ватные ноги, устраиваясь на лавке, приткнутой к стене. Лечь он не мог, так болела ободранная спина. Он скорчился в уголке, найдя наименее мучительное положение для разбитого тела, руками упиравшись в лавку, виском прижавшись к холодной стене. Ну же, стихоплет, сочиняй веселые стихи во славу Голицына-Кваскина и красавицы Бужениновой! До чего ж вдохновительный для твоего таланта предмет! Брак, узы Гименея... А твою Марья Филипповна нешто лучше себе долю выбрала, пойдя за сочинителя, чем шутиха Буженинова? Что она думает сейчас, сидя одишенька в бедной их берложке, без вести от него, не зная, вернется домой кормилец или навсегда сгинет, как случилось со многими людьми всякого звания в это душегубное время. Не Кваскин с Бужениновой дураки, истинные дураки они с Марьей Филипповной, что задумали пожениться, детей завести, жить как положено людям. И он сказал вслух своим разбитым ртом, обращаясь не к царским дуракам, а к себе самому и своей половине: «Здравствуйте, женившись, дурак и дурка!» И будто прорвало — потекли злые, непристойные, издевательские строчки. Шутейного, ядреного, похабного, забортного захотели — получайте песнь свадебную с солью, с перцем, с собачьим сердцем, с матюшками, с подлостью всяческой, пусть и государыня послушает, и весь ее блестящий, гнилой с исподу двор. Тредиаковский не жалких дураков срамил, он бил по всем, и в первую голову по себе самому, по своему унижению безмерному, по сытым мордам придворной черни, тешащейся гадкими забавами, по вельможам — скифам и самой скифской царице. Стихи были оскорбительны для слуха, безобразны, разнузданны...

И он угодил Вольтерскому. Выслушав утром свадебную песнь, министр расхохотался и повторил вслух особо понравившиеся строчки:

Не жить они станут, по зоблут сахар,
А как устанет, то будет другой пахарь...

— Можешь ведь, коли захочешь! — сказал он милостиво. — Только голос у тебя гнусный и вид неотребный, будто ты всю ночь с солдатами бражничал, дрался и блевал.

Разговор происходил в покоях Вольтерского, куда доставили Василия Кирилловича. Министр хлопнул в ладоши и велел привести Тредиаковскому горячего молока с медом для прочистки горла, большую чару водки для общей бодрости и машкерадный костюм.

Последним Василий Кириллович не слишком огорчился, заметив на диване другой машкерадный костюм, пышный, яркий, отделанный жемчугами и драгоценными камнями, видать, предназначенный самому Вольтерскому. Следовательно, тут нет намерения выставить его шутом. Более огорчительным оказалось, что читать песню придется в маске, к тому же несатой. Лицо Василия Кирилловича было так обработано, что все усилия искусного цирюльника, пустившего в ход примочки, мази, пшеничную муку мельчайшего помола, не могли скрыть следов побоев. Ошечалился Василий Кириллович, когда напялили на него глухую черную бархатную маску с толстым изогнутым клювом, как у заморской птицы-попугая, оставляющую

для обозрения лишь бледные губы и мясистый запудренный подбородок.

Может, от огорчения, что все-таки привели его в шутовской вид, может, от слабости и дурноты, — он ничего не ел целые сутки, только ожег вутро крепкой водкой, — прочитал он на празднике свою песнь без обычного воодушевления, тихо, тускло, жалостно. Белый подбородок дрожал, кривились разбитые губы, он горбился от боли в спине и ежил плечи и со своим попугайским носом был впрямь похож на старую большую птицу. Слух о расправе над ним успел распространиться во дворце, и любому из расфракченных придворных очень легко представить себя на его месте, и это тоже не способствовало шумному успеху. К тому же государыня, вопреки обыкновению, не выразила удовольствия, даже не улыбнулась, а сидевший справа от нее Бирон сердито хмурился. Он уже пожаловался императрице на грубость Волинского, и Анна Иоанновна наказывала кабинет-министра своей холодностью.

Обернулось же все это против Третьяковского. Разозленный Волинский велел отправить его назад в караулку и повторить наказание. Но несчастному поэту было уже все равно. Он решил про себя, что не выйдет живым из переделки, и поручил душу господу. После первой дюжины палок он потерял сознание, и подвыпившие в честь карнавала, благодушно настроенные солдаты оставили его в покое.

Очнулся он от холода и колтыхавий, его куда-то несли по морозцу на шинельке. Был он в том же машкерадном костюме, только накрыт шубейкой, с маской на лице. Картонный нос отвалился, как у больного дурной болезнью.

— Куда вы меня несете? — спросил он солдат-носильщиков. — На кладбище?

— Домой, куды же еще! — ответили ему...

За минувшие часы произошел крутой поворот в настроении императрицы. Сколько ни напрягалась она гневом в угоду фавориту, но не могла устоять перед чудесами, порожденными щедрой фантазией кабинет-министра. Поистине ошеломляющим было шествие насельников бескрайного государства Российского — полтора ста разноплеменных пар в ярких народных костюмах поочередно радовали взор. Они мчались на оленьих, собачьих и козьих упряжках, скакали на конях, трусили на ослах, колыхались на верблюжьих горбах, медленно влеклись на упрямых волах и даже на откормленных свиньях. Поистине такое увидишь только в России, разве хоть одно другое государство собрало под своей крышей столько разных народностей? Тут были и самоеды, и остяки, и зыряне, и финны, и татары, и башкиры, и калмыки, и киргизы, и малороссы, и белорусы. Ну а сами россы нешто на одно лицо! Щеголеватые, ражие ярославцы, стройные, гордые новгородцы, быстрые, жильные московиты, кряжистые задумчивые рязанцы, да всех не перечить! И уж на что равнодушна была к своей родине государыня Анна Иоанновна, но и в ней шевельнулось чувство удивленной гордости за обильную и могучую страну, коей призвана она управлять. Невообразимо уморителен — животники падорвешь — был обряд венчания, соединивший дурака Кваспина

с душой Бужениповой, а сами молодые имели вид до того пакостный и ничтожный, что давши недужившая Анна приободрилась, взыграла, осушила кубок сладкого, густого греческого вина с пряпостями и совсем развеселилась, не обращая внимания на кислую физиономию фаворита. Волянский был допущен к ручке, удостоен весьма лестных слов и понял, что выиграл кампанию. Под уклон праздника он вспомнил о Третьяковском и велел его отпустить, а коли идти не сможет, отвести домой.

Вот и отправился Василий Кириллович в обратный путь, как знатный французский барин, на носилках, правда, носилки те были из солдатской шинелишки, а несли не вышколенные слуги, а полупьяные солдаты, то и дело предельно ронявшие его на мерзлую землю.

Когда вышли к Неве, Василий Кириллович увидел в мятущемся, по уже замученном пламени нефтяных светильников и смоляных факелов что-то огромное, бесформенное, безобразное — то был оплавляющийся в потеплевшем воздухе ледяной дворец. В непрочном, тающем чертоге, насмешливом даре императрицы Голицыну-Кваснину, оставались лишь брошенные всеми пьяненькие новобратные. Теплый ток воздуха с залива не дал несчастным шутам замерзнуть до смерти.

10

Дома, едва придя в себя, Василий Кириллович попросил письменные принадлежности. Поминутно мутясь сознанием, он принялся писать завещание. За годы изнурительного неуставного труда познанный не нажил ни палат каменных, ни угодий, никакой собственности. А берложка их и рухляк и так семье остаются, кто посягнет на жалкое имущество бедняка? Дадут и нищенское вспомоществование, он в этом не сомневался, а Марья Филипповна, женщина хотя и младая годами, но умная, оборотистая и во всем умелая, не даст погибнуть их детям, вытянет и в обучение определит. Не пропадут! В России люди как трава растут, без заботы, без солнца и тепла, а все равно вытягиваются из тончей почвы одним лишь упорством — жить, жить, жить вопреки всему. Так отчего ж не стать на поги и ихним детям при такой разумной, твердой сердцем матери?

Но было у Василия Кирилловича одно сокровище, о нем-то и болела душа в эти последние, как он полагал, часы, — его библиотека. Он начал собирать книги — печатные и рукописные — еще отроком в Астрахани. И сундучок с бумажным сокровищем таскал за собой повсюду: в Москву, в Амстердам, в Париж. Из столицы Франции он уже не мог сам перевезти книги, столько скопилось, их отправил ему вслед в Петербург князь Куракин, благодетель.

Редкие рукописи — собственноручные послания отцов православной церкви и раскольников грамоты, среди них самим протопопом Аввакумом и соизнаниками его писанные, соседствовали с французскими романами, поэмами и сборниками гривуазных стихов, частично приобретенными на Сенской набережной, частично полученными в

дар от того же Куракина и от парижских друзей, среди коих было немало сочинителей. У него были полный Корнель, Расин, Мольер, Вольтер, Буало, сочинения Малерба, Фенелона, Барклая, шестнадцатитомная «Римская история» Роллена, его же «Древняя история», Кревьеровы «Истории об императорах»; были у него книги английских, итальянских, немецких, голландских, испанских, португальских прозаиков и поэтов, греческие и латинские грамматики, жизнеописания великих воинов, государственных мужей, служителей духа, оды Горация и любовные песни Катулла, множество сочинений по философии, географии, медицине, языкознанию, теологии, астрологии и, конечно, вся русская поэзия от виршей князя Хворостинина и творений Сильвестра Медведева, Федора Поликарпова, Кариона Истомина в русле церковно-дидактической традиции до острых сатир князя Антиоха Кантемира, а равно записи народных песен, комедий, сказок, раешников, жития святых мучеников и редкие издания Евангелия... Неумная жадность к познанию, распиравшая Василия Кирилловича, выразилась в этой богатейшей книжнице. Он тратил на книги каждую лишнюю копейку, не стеснялся и выпрашивать их, и вымогать, а при случае, не видя в том греха, и присваивать, где плохо лежит. Ежели умеючи действовать, то библиотека — золотое дно. Но откуда у Марьи Филипповны такому уменью взяться? Разбазарит она дуром, за бесценок, все эти сокровища. Тут Василий Кириллович малость себя обманывал, оглупляя смекалистую Марью Филипповну. Но при слезной жалости к семье, оставляемой без всяких средств, он еще горше печаловался сердцем о деле своей жизни, немалой частью коего была и эта любовно, самоотверженно собранная библиотека. Сохранности ради бесценных рукописей и книг, завещал он самое дорогое Академии наук. Он любил семью, несправедливых шумахеров и корфов, но над всеми его чувствами возвышалась пламенная страсть к науке, просвещению, словесности, стихотворчеству.

Коснеющим языком наказал он Марью Филипповну вручить завещание сразу после его кончины профессору Шумахеру. Марья Филипповна всплакнула, заверила: «Все сделаю, болезный мой!» — и сунула сложенную вчетверо бумагу за пазуху. После в светелке, малость владея грамотой, она свела последнюю волю умирающего, снова всплакнула, обозвала его «иродом» и спрятала завещание за образа, решив вовсе уничтожить, коли муж не раздумает помирать. Сама она твердо верила в его выздоровление. Она отпаивала страдальца целебным отваром, а на спину ему клала примочки из травяного настоя. Во дни девичества Марью Филипповну называли колдуньей: от ее трав, высушенных, растертых в порошок, запаренных, перемешанных с разными смесями, любую хворость как рукой снимало. Правда, нелегко было собирать нужные травы в болотистых, скудных окрестностях Петербурга, все же и здесь ее составы знатно помогали страждущим.

И Василий Кириллович вскоре опаматовался настолько, что стал писать zelo крепкий ответ Ломоносову, это дело он почитал наиважнейшим, и, лишь отправив его, составил обстоятельную жалобу на Вольтерского, которую, как и письмо к Ломоносову, адресовал Акаде-

мии наук для дальнейшего употребления. Он не верил, что академия даст ход его жалобе,— хоть и сильны были немцы при Бироне, а против кабинет-министра, в фаворе пребывающего, пойти не посмеют. Конечно, избиение, коему он подвергся, уязвляет честь академии, но вместе с тем спесивые чужеземцы не допускали мысли, чтобы и с ними могли поступить сходным образом. А на русскую шкуру им наплевать. Но Василию Кирилловичу важно было послать жалобу — пусть знают все и сам гордый Вольтерский — слух-то все равно пойдет,— что не смирился он с наспием и не задушил в себе протестующего голоса. Он бессилен защитить свою плоть от здоровенных рукоусев и солдатни, но душу его не убили. Какие-то новые, странные силы пробудились в кротком человеке, он знал теперь, что бы с ним ни делали, как бы ни изгалялись, в шута все равно не превратят. Он стал даже тверже, чем во все годы, следовавшие за вызовом в Тайную канцелярию. И Марья Филипповна, ознакомившись с новыми посланиями мужа, не стала подвергать их участи завещания, а передала по назначению. Она удивлялась и не сочувствовала дерзости Василия Кирилловича, который, дыша паром изо рта, осмеливается спорить и жаловаться, но уважала эту непонятную силу в нем и не хотела ей перечить.

Однако академия рассудила по-своему и оба послания оставила без движения. В отношении жалобы на Вольтерского никаких объяснений не требовалось, а на послании к Ломоносову было наложено такое заключение: «Сего учеными спорами наполненного письма для пресечения долгих, бесполезных и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на платеж за почту денег напрасно не терять...»

11

Тредиаковский стал жить дальше. Он долго болел и отсиживаясь дома. Много читал, работал. Спина упорно не хотела заживать. Только подсохнет, станешь рубашку сдергивать, опять замкли ранки. И все же с каждым месяцем гнойнички уменьшались, затягивались, целебный бальзам хоть и медленно, но оказывал заживляющее действие. Василий Кириллович стал выходить, вернулся к исполнению своих обязанностей в академии и при дворе. Но внутри у него не заживало. Врожденная отходчивость, поэтическая безмятежность, доверчивость, не вовсе оставившие его после ушаковского застенка, исчезли без следа. Характер его изменился, он стал колюч, скрытен, зол, и хотя по-прежнему гулся перед высокостоящими, но и они смутно чуяли, что этот смиренник может выпустить яд, и не спешили задевать его. Даже шуты, народ весьма понятливый, не посягали на Тредиаковского. А в темных, глубоких и умных глазах Педриллы он подмечал что-то похожее на сочувствие с примесью чуть ли не уважения.

Не радовала Василия Кирилловича происшедшая в нем перемена. Он не был ни злым, ни твердым, ни кусачим; по природе своей доб-

рый и мягкий, он хотел любить людей. Если не любишь людей, то зачем и писать для них? Нынешняя ожесточенность лишила его даже той малой внутренней свободы, какой он обладал раньше. Эта его свобода покоилась на убеждении, что, как бы плохо ни обращались с ним порой, он все же приятен людям со своей неленивой музой. Что там ни говори, а поэзия протачивала ходы к душам людей даже при азиатском дворе Анны Иоанновны. Люди привыкали к стихам и начинали чувствовать потребность в них. Пусть не все, пусть немногие, но что-то сдвинулось. Василий Кириллович тяжело переживал внешнюю свою отчужденность. Но вскоре все померкло перед ошеломляющим известием, что всесильный кабинет-министр изблещен в государственной измене, взят под стражу и отдан в руки Ушакова.

В народе об этом говорили всякое и, как обычно, наибольшую веру давали дичайшим слухам: Бирон застал его с государыней — и та в угоду первому любовнику пожертвовала вторым; Вольтинский намеревался русский трон опрокинуть и себя пад Россией поставить. Эти слухи, подобно древним легендам, в искаженных образах отражали некую подлинность, ведь и Змей Горыныч скрывал исторического половецкого хана. Так в народных толках преображались намерения Вольтинского ограничить царскую власть Сенатом, свернуть шею Бирону и стать первым мужем в государстве.

При дворе же царило мертвенное молчание. Испуг сковал все уста. На пострадавшего от злодея-изменника Тредиаковского поглядывали с почтением...

Но в потоке людей, спешащих к месту казни, Василия Кирилловича не узнавали и потому толкали пребольно. Впрочем, он почти не замечал этих уязвлений плоти, погруженный в мысли о причудливой судьбе своего супостата.

Он слишком хорошо знал бывшего кабинет-министра, чтобы верить в его вольнолюбие. Но коль Бирону светило регентство, у Вольтинского не оставалось выбора. Рассчитал он все широко и смело, да только Россия не Англия и не Швеция, и российское шляхетство не готово соответствовать замыслам Вольтинского. А Бирона час когда-нибудь пробьет, вдруг понял Василий Кириллович, только случится это на русский лад, по-домашнему, кулаками полупьяных гвардейцев. Дворянство же вовсе не так уж глупо и косно, просто никому не хочется ставить над собой Вольтинского вместо Бирона. Хрен редьки не слаще. Он вспомнил, как, исторгая водочный перегар, российский Кромвель месил ему лицо кулаками, и ноги сами прибавили шагу.

До чего же охоч простой люд до кровавых зрелищ! Пожалуй, и на ледяную потеху так не валили, как на законное смертоубийство. Конечно, сне представление позабористее. Там морозили, да недоморозили в апофеозе географического праздника двух шутов, а здесь обезглавлят одну из первых фигур в государстве. Петербург не избалован подобными зрелищами, не то что старая столица, матушка-Москва, одной казью стрельцов навек насытившаяся. Да и нет у людей

сочувствия тому, кто вознесся над всеми аки солнце, перед кем шапки ломали, пресмыкались, на колени падали, кто сшибал и давил их своими пьяными тройками, кто волен был над их достоинством, свободой и животом. Справедливо, наверное, и все же Тредиаковскому стало как-то не по себе, что он замешан в эту потную, душную, гадко-радостную шуваль, исторгающую тяжкий смрад под палящим июльским солнцем. Вернуться?.. Нет, он должен глянуть в лицо своему истязателю, должен стать близ лобного места живой, здоровый, годный к труду и радости, а тот, кто терзал, топтал, смертью убить его хотел, а в нем то большее, что божьим даром называется и дается одному за многих и ради многих, примет позорный конец. Это перст божий. Каждому воздастся по делам его. Василий Кириллович почувствовал, что своя обида, своя месть истанвают в его душе, очищающейся от злого, себялюбивого, мелкого. На черном торжестве возмездия он будет служить не своей обиде, а всем униженным, затравленным, битым, замученным словотворцам.

Он оттолкнул какого-то малого в кожаном фартуке, остро воняющем рыбой, отстригал тощего мастерового, растопырил локти, покрепче сжал трость и напористо устремился через запруженную народом площадь к плахе.

Удивляло обилие женщин. Попадались среди них и совсем юные, с кожей нежной, как персик, с влажными телячьими глазами, светившимися испугом и радостным ожиданием. Иные небось тайком от старших сюда продрали. Бедна новизной и развлечением русская жизнь, даже в столице. А если б эту жадность, этот интерес, горящий в молодых глупых глазах, на доброе и разумное обратить?

— Ведут!.. — стоном прокатилось над площадью.

Деревянная подвесь заполнилась людьми: гвардейцы, солдаты, палач в красной рубахе, его подручные, приказные. И все это множество ройлось вокруг старого человека со связанными за спиной руками. Тредиаковский протер глаза, несколько раз моргнул, как от пыли. Нельзя было поверить, что этот худой, согбенный старик в грязном, расстегнутом на впалой груди кафтане и есть Волынский. Ему было чуть за пятьдесят, но сейчас, без парика, седой, с маленькой, острой головой, с небритым всосом щек и заваленным ртом — зубы ему выбили, — он выглядел на все семьдесят. Да, крепко поработали над ним пыточных дел умельцы! Поразило Тредиаковского, что в темных и по-прежнему пытливых глазах Волинского не было одури от испытанных мук, ни ожесточения, ни злобы, а какое-то странное, мягкое любопытство. И, притянутый этим светом, Василий Кириллович рванулся вперед, разъяв сцеп плотно сбитых тел, и оказался у самого эшафота...

12

Волынский прошел через сущий ад, и, если б его даже помиловали, это лишь ненадолго оттянуло бы мучительный конец. Он был весь размолот внутри и не мог жить. Он с самого начала знал, что

обречен, и ни признание истинной или придуманной вины, ни чисто-сердечное или куда более убедительное фальшивое раскаяние, ни самое низкое предательство, ни даже заступничество государыни не могли спасти его от смерти. Бирону нужна была такая вот, устрашающая публичная казнь, чтобы парализовать всех недовольных перед объявлением его регентом. Волынский сразу смирился со своей участью и лишь молил в душе, чтобы скорее пришел конец. Когда же услышал приговор, то испытал не ужас, а великое облегчение. И с этим пошел на казнь. В его искалеченном теле оставалось достаточно жизни, чтобы обрадоваться свежему воздуху и свету после смрада и темени подземелья. Оказывается, дышать полной грудью и видеть солнце — уже счастье. Поздно же ему это открылось!.. Мешала лишь толпа, и Волынский пожалел, что его не прикончили тихо, в каком-нибудь укромном месте, где не было бы никого, кроме исполнителей приговора. Но сетовать на это бессмысленно, и он спокойно, даже благожелательно рассматривал человечью несметь, удивляясь, что ни на одном лице, мужском или женском, молодом или старом, не было и тени сострадания. А ведь он не сделал ничего плохого этим людям, не соприкасался с ними, за что же им его ненавидеть? Впрочем, ненависти, может, и нету, а лишь равнодушие с примесью злорадства: хвалился, мол, хвалился — да под стол и завалился! А разве мог он чего другого ждать? Конечно, нет! Между ним и этими слетевшимися на казнь, как воронье на падаль, петербургскими людишками зияла пропасть.

Если же глянуть поверх голов дальше, за цепь солдат, где грудилась в шелку, атласе и бархате вся курляндская шайка с прихлебателями — сам-то, поди, в карете схоронился! — то даже оторопь берет, что твой исход кому-то столь радостен. Странно подумать, что был ты ребенком, и матушка на коленях тебя качала, называла «золотцем» и «теленочком», и не было для нее ничего дороже на свете. Сейчас, матушка, вашего теленочка палач заживо разделает.

Остальные придворные держались сзади. Неохота им было с осужденным глазами встречаться. Еще пожалеет шляхетство, что отдало его на растерзание. Впрочем, нет у него теперь ни в чем уверенности. Не уловишь разумом кривых и темных путей истории. Лучше не смотреть туда, ну их всех к богу!..

Обегая взглядом толпу, Волынский вдруг оступился о знакомые черты: высокий лоб, мясистые щеки, бородавка, вытаращенные голубые глаза. Надо же, и этот притащился! Ну что ж, распотешь свою душеньку, битый стихоплет, надутая пустышка. Волынский отвернулся, но что-то заставило его еще раз оглянуться на Тредиаковско-го. Господи!.. Из мертвячьей коловерти, бездушной несметы на него смотрело человеческое лицо, исполненное жалости и сострадания. Бедный дурачок, даже ненавидеть по-настоящему не умеет. И он улыбнулся Тредиаковскому.

Казалось, тот начал что-то быстро, быстро жевать, его челюсти, рот, заушины, даже скулы и брови ходуном заходили. Да он плачет... Добрый человек! — осенило Волынского, и сердце его засочилось. Он был близок к тому, чтобы понять на своем исходе что-то очень боль-

шое и важное, к чему никогда не подступала его жестокая и целенаправленная душа. Но ему не дали. По знаку палача подручные накинулись на него сзади и стали сдирать кафтан, причиняя мучительную, лишнюю боль. Он не увидел, как рванулся к плахе Тредиаковский, что-то крича перекошенным ртом, как испуганно раздалась толпа и кто-то схватил поэта, заломил ему руки и потащил прочь...

13

Эти страшные минуты остались смутными в памяти Тредиаковского. Он хорошо помнил появление Волинского на плахе, согбенного, старого, с маленькой острой головой, и как мгновенно обесценилась в его душе вера в право возмездия. Был несчастный, истерзанный, страдающий человек, остальное не стоило и полупенки. Он всем нутром понимал Волинского. Если уж он, черная кость, многожды колоченный бурсак, так переживал свое унижение, то каково этому гордому, властному, привыкшему повелевать человеку? Страннее побоев и пыток было для Волинского злобное торжество врагов, презрение тех, кто еще вчера перед ним пресмыкался. Но, сострадав ему, истерзанному, ему, униженному, ему, поверженному, Василий Кириллович думал о Волинском как о живом. Лишь когда палачи опрокинули Волинского, в сердце и в мозг ударило: да ведь его убьют!..

И вот тут память изменила Тредиаковскому. Кажется, он закричал, но что? — он не помнил, кажется, рванулся вперед — зачем? — он не знал. В его поступке не было ни разума, ни смысла, а поплачься он мог свободой, даже жизнью, но ни о чем этом не думал смешной поэт, никем не узнаваемый, не угаданный Предтеча, в чьем безотчетном порыве родился жест великой русской литературы — к страждущему...

14

Тредиаковский обрел память вместе со страхом, что его схватили и тащат в Тайную канцелярию. Впрочем, страх почти тут же сменился равнодушием — будь что будет, а равнодушие — раздражением, что опять над ним куражится чужая воля. Он уперся, забарахтался и вырвался из цепких рук.

Перед ним был молодой человек лет двадцати пяти с тонким и мужественным лицом. Резкий, прямой нос, загорелые скулы, темный пушок над красивым, чуть улыбающимся ртом. Даже при великом испуге его нельзя было счесть за ушаковского приспешника, а Василий Кириллович устал бояться.

— Кто вы такой? — сказал он сердито. — Я вас не знаю.

— Но я знаю того, кто подарил России «Остров любви», — с улыбкой сказал молодой человек.

— Что вам от меня надо? — все так же сердито спросил Тредиаковский.

— Ничего. Просто мне не хотелось, чтобы вас забрали. «Слово и дело», любезный Василий Кириллович, говорится и по меньшему поводу, чем сочувствие государственному преступнику.

— Да вам-то какая забота?

— «Начну на флейте стихи печальны, зря на Россию чрез страны дальны!» — тихим, музыкальным голосом прочел молодой человек. — Я много лет был в обучении на чужбине и все твердил ваши прекрасные строки.

— Ломоносов! — вскричал Тредиаковский, пораженный внезапной догадкой.

Молодой человек рассмеялся.

— Я никому носов не ломал. Даже в трактире. Не любитель.

— Прости, юноша, — смущенно сказал Василий Кириллович. — Я принял тебя за одного студюоза, проходящего обучение горному делу в Фрейберге и зело поэзии приверженного.

— Я обучался мореходству в Амстердаме, — сказал молодой человек. — Стихов же слагать не умею, хотя помню множество, и не только русских. Но, долго от родины отлученный, я в русских стихах слаще всего в тоске моей утешался. «Россия мати, свет мой безмерный!..» Как же скучаешь там по родине, как молишься на нее, а вернешься — и об одном только думаешь: скорее бы ноги унесть.

— Не навестишь ли ты меня, благородный юноша? — спросил растроганный Тредиаковский.

Тот покачал головой.

— Благодарствую. Мне надо еще родителей проведать, а завтра уже в плавание. «Канат рвется, якорь бьется, знать, кораблик понесется!»

— Милый юноша, — чуть не со слезами сказал Тредиаковский, — дай бог тебе во всем удачи. Кабы ты только знал, сколь утешна моему сердцу встреча с тобой. Вижу, не зря все муки и бдения, отзывается в чьих-то душах мое слово. Если случится быть в Париже, поклонись от меня сему граду:

Красное место! Драгой берег Сенский
Тебя не лучше поля Элисейски..

И молодой человек подхватил:

Всех радостей дом и сладка покоя,
Где ни зимья вет, ни летнего зноя...—

и, низко поклонившись Тредиаковскому, скрылся в проулке.

Василию Кирилловичу стало одиноко и грустно. В памяти всплыла улыбка Волинского, которому не с кем было обменяться прощальным взглядом перед смертью. Как же пустынно человеку в мире! Лишь поэзия разрывает тенета одиночества. Стихи подарили ему дружбу этого юноши-морехода. Ах, пока есть на свете нежный хорей и притягательный, неуловимый ямб, стоит жить! И Тредиаковский бодро зашагал к своему дому.

О ТЫ, ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ!...



Он велел подать себе фрак. Старого слугу Фридриха это не удивило: уже перевалило за полдень, а г-н тайный советник Гёте, случалось, надевал фрак и к завтраку, когда что-то внутри него требовало торжественности. При этом он вовсе не ждал, что домашние последуют его примеру и облекутся в парадные одежды. Его щегольской, странный и строгий вид являл резкий контраст с утренней небрежностью и покойной советницы, которой после ежевечерних танцев до упаду и обильных возлияний было не до туалетов — дай бог как-нибудь натянуть капот на жирные тела, и сына Августа, франта, но только не спросонок, когда голова трещит с похмелья, и пребывающей в рассеянном утомлении от балов и поклонников невестки Оттилии, и ее вздорной, всегда прибранной сестры — бедняжка слегка повредила голову, уроненная в вальсе нерасторопным кавалером. Г-н тайный советник, вовсе не строивший из себя аскета — он много и со вкусом ел, любил общество и ежедневно осушал двести бутылок рейнского вина, — как бы противопоставлял свою подтянутость, порядок внутри себя распаду близких людей. А может, хотел вдохнуть в них бодрость, уверенность: мол, продолжайте в том же духе, дорогие, я крепок, я на посту. Относясь с удивительной снисходительностью к людским слабостям, он не делал исключения и для родственников, прощая им все заблуждения, ошибки, даже пороки.

Старый Фридрих так долго находился при Гёте, что в конце концов научился думать. Он и сам не мог сказать, как проникла в него эта зараза, но вместо прежних вялых видений, обрывков каких-то воспоминаний, всплывающих со дна памяти, которые он не пытался ни продлить, ни сочетать с другими, дабы получить цельную, законченную картину смутных образов, вдруг возникающих из тумана и вновь поглощаемых им, ныне под черепной крышкой свершалась непрерывная работа, причинявшая немалое утомление, но вроде бы и удовольствие, когда в результате крайнего напряжения он приходил к каким-то выводам. Фридрих не отдавал себе отчета, зачем ему это нужно, — чуждый лакейским сплетням, малообщительный, он все свои наблюдения, соображения и умозаключения хранил про себя, но, если бы даже захотел сейчас, не смог бы остановить беспокойного, изнурительного шевеления в голове. И, положив руку на сердце, едва ли бы согласился вернуться к прежнему умственному сну, дарившему невозмутимое спокойствие. Наблюдать за г-ном тайным советником было интересно, а еще интереснее — разгадывать загадки его величаво-ровного со стороны, на деле же весьма странного и непредсказуемого поведения.

Казалось бы, свет не видывал лучшего семьянина, чем г-н Гёте, столь внимательного, снисходительного, заботливого, готового — при всей загроуженности государственными делами — вникать в каждую

мелочь домашней жизни, если это могло помочь его ныне покойной жене или новой хозяйке г-же Оттилии, равно и столь деликатного, когда его вмешательство не требовалось. Фридрих, впрочем, сомневался, можно ли считать Оттилию, на редкость безразличную к дому, мужу и семье, новой хозяйкой, скорее уж на это звание претендовала ее сестра — до того как ее уронили на скользком паркете. И во дни Христины, которую г-н тайный советник, спасая свое изнемогшее в скорби сердце, даже не проводил до места успокоения, и в нынешнее междуцарствие он охотно погружался в хозяйственную жизнь дома — пустейшая кухонная забота казалась ему стоящей внимания, и при этом мог без подготовки и предупреждения разом все бросить и уехать надолго в Йену, где у него было холостяцкое убежище, или на курорт. Он, правда, и оттуда не оставлял советами брошенное семейство, но коли собственное присутствие не способствовало поддержанию порядка в расплывающемся доме, то уж подавно бессильными оказывались наставления издалека.

После смерти жены г-н Гёте стал проводить по полгода в Карлсбаде, куда уезжал еще до открытия летнего сезона, а возвращался осенью, в последнее же время сменил карлсбадскую клубящуюся испарениями целебных источников скалистую шель на плоский, как лепешка, Мариенбад — не из-за лечебных свойств этого преимущественно женского курорта, а ради темных глаз юной Ульрики Левецов, дочери энергичной дамы, которую он некогда дарил своим вниманием. Наверное, в ту далекую пору, думал Фридрих, эта дама занимала более высокое положение в обществе, а сейчас, будучи владелицей большого и мрачного дома, содержала гостиницу, служившую, как болтали злые языки, и для скоротечных свиданий.

Вспомнив о г-же Левецов в этот солнечный мариембадский полдень, когда г-н тайный советник потребовал фрак, Фридрих привычно присовокупил к ней недавно узнанное от гостей хозяина и пленившее его выражение: «следы былой красоты». Слова эти околдовали развившийся ум Фридриха; приглядываясь к гуляющим по царядным улицам модного курорта удрученным женскими болезнями дамам, Фридрих отыскивал в их чертах следы былой красоты. И он научился угадывать даже самые слабые, занесенные прахом лет и недугов знаки минувшей прелести на увядших лицах. Но на просторном и чистом лице г-жи Левецов следы эти были столь очевидны и щедры, что Фридрих искренне недоумевал: зачем его господин хлопочет, точно шмель, над нераспустившимся цветком — пад девятнадцатилетней Ульрикой, когда к его услугам чуть пожухший, но еще пышный и яркий бутон — старшая Левецов? В конце концов, г-н тайный советник, первый министр Великого герцогства Веймарского, далеко не юноша...

Фридриха огорчало, что язык того светского круга, в котором он преимущественно вращался, обслуживая друзей и гостей хозяина, остается ему зачастую непонятен. Ускользало одно-единственное слово, а с ним терялся весь смысл. Фридрих налег на справочники и толковые словари, которые брал из хозяйской библиотеки. Они рас-

ширяли кругозор, обогащали множеством неужных сведений, по чаще лишь сгущали туман. Фридрих прослышал, что в пору своего увлечения старшей Левецов г-н тайный советник называл ее Пандорой. И прозвище сохранилось по сию пору. Обратившись к энциклопедическому словарю, Фридрих выяснил, что Пандора — имя женщины, созданной Гешэфтом (так ошибочно прочиталось имя Гефест) и наделенной наряду со множеством достоинств и редкой красотой, хитростью, любопытством и коварством. Ее послали на землю, чтобы погубить род людской, снабдив ящиком, наполненным всякой мерзостью. В словаре не было объяснено, знала ли Пандора о своем предназначении и о содержимом ящика. И почему его открыла — из неумемного бабьего любопытства или по сознательной злобе. Так или иначе, она выпустила наружу всю нечисть, а на дне осталась лишь обманчивая надежда. Что имел в виду г-н тайный советник, назвав г-жу Левецов — в пору своего увлечения — Пандорой, оставалось неясным: то ли ее избыточные прелести, то ли тайное крик души, то ли готовность дамы выпустить в мир омерзительных чудш. Нынешнее сближение его господина с семейством Левецов тревожило лакея Фридриха.

И сейчас, в последний раз обмахивая метелочкой из черных страусовых перьев тугую гладкость фрака, прекрасно сидящего на крепкой фигуре хозяина, Фридрих изо всех сил напрягался мыслью, чтобы постигнуть то новое, что исподволь вышло в размеренной марненбургской жизни и достигло критической точки сегодня, когда г-н Гёте после визита к нему герцога Веймарского Карла-Августа, которого, пользуясь старой дружбой, принимал по-домашнему, хотя величал даже с глазу на глаз «ваше королевское высочество», потребовал подать весь парадный доспех.

Он придириливо осмотрел черную пару, атласный жилет, рубашку и шейный платок, велел убрать звезды и усыпанный алмазами орден на шелковой ленте, глазами показал на несколько седых волосинок, приставших к воротнику, и с обычной неторопливой энергией принялся одеваться. Помогая своему господину, Фридрих жадно следил за ним, но тайный советник ничем себя не выдал: движения его сохраняли обычную механическую четкость, он сразу попадал в штаны и рукава, садился, когда надо, и, когда надо, вставал, гибкое тело безотчетно облегчало работу слуги. Но что-то необычайное все-таки было... О да, блеск, «лихорадочный блеск», вспомнил Фридрих подходящее выражение, темных, глубоких глаз г-на тайного советника.

Поразительно, что семидесятичетырехлетний старик сохранял такие живые, горячие, черно-сверкающие глаза. Впрочем, г-н Гёте и вообще замечательно сохранился. Ему даже вино шло на благо, нежно поддурманивая чистую кожу мясистого, но ничуть не обрюзгшего лица с крупным, решительным носом и тронутым лишь над бровями долгой тугой морщиной высоким, крутым лбом, слегка потеснившим к темени плотные белые волосы, красиво вьющиеся на висках и затылке. Прямая спина, неторопливый твердый шаг, гордый постав головы придавали ему величавость.

Но сегодня г-н тайный советник не просто выглядел молодожаво, он и впрямь был молод и сам чувствовал в себе эту молодость. Он напрягал икры, что было заметно сквозь тонко-плотную ткань панталон, поводил плечами, выпячивал грудь, его переполняла жажда движения. Но выйти из дома он почему-то не мог. Наверное, кого-то или чего-то ждал. Он ненавидел пустой расход времени, того мешканья, до которого столь охочи все несобравные люди, особенно женщины. Человек уже давно собрался, а все не может сделать решительного шага, мнется, мельтешит, шарит по карманам, хлопает ящиками бюро, открывает и закрывает дверцы шкафа, но он ничего не ищет, просто страшится переменить обстановку. Нет, г-н тайный советник Гёте всегда знал, чего хочет, и находил кратчайший путь к цели. Если он собирался из дома, то был готов к выходу в ту же секунду, когда заканчивал сборы, никогда ничего не терял, не забывал, хотя делал сотни дел, держал в памяти весь предстоящий день, наполненный работой, диктовкой секретарю произведений изящной словесности, научных трудов, деловых бумаг, распоряжений, встречами с разными людьми, официальными и светскими визитами, прогулками — пешком и на коне — и бог весть еще чем. День г-на Гёте был неизмеримо насыщенной и словно бы длиннее дня любого другого человека. Вынужденный прервать диктовку, порою не на минуты, а на часы, он продолжал с того самого места, на котором остановился, хоть с полуфразы. Фридрих изо всех сил старался сделать свой ум таким же цепким и ясным, но, хотя забот у него было куда меньше, ничего из этого не вышло. Стоило одному делу валожиться на другое, и Фридрих настолько терялся, что забывал оба дела.

Г-н тайный советник конечно же и сейчас не испытывал колебаний и сомнений в отношении того, что ему делать дальше, он просто ждал. Неторопливо ждал какого-то известия, чтобы начать действовать, но известие запаздывало, и это нарушало его спокойствие. Сама собой тугая, медленная, но не сбивчивая мысль Фридриха связала нетерпение хозяина с той переменной в его жизни, которая с некоторых пор стала казаться неизбежной.

Когда умерла старая хозяйка, Фридрих мог бы кошелек, набитый талерами, поставить на заклад против кружки пива, что г-н тайный советник навсегда останется вдовцом. И вовсе не потому, что он так пламенно и верно любил жену, с которой прожил почти тридцать лет. Конечно, ее смерть явилась для него тяжелым ударом, он даже изволил пролить слезу, впрочем, слеза была тем единственным напутствием, которым он провожал в небытие самых близких людей: жену, баронессу фон Штейн, г-на Шиллера... Не было случая, чтобы он хоть взгляд бросил на дорогие, но уже заострившиеся черты. То ли г-н тайный советник хотел сохранить живой образ усопшего, то ли боялся смерти, то ли слишком презирал ее. Возможно, он считал, что там, где начинается держава смерти, кончаются его солнечные владения, и прекращал всякие отношения с теми, кто предпочел госпожу Смерть его обществу.

Отдав дань извинительной слабости, омыв — и смыв — слезой дорогой образ, г-н тайный советник возвращался к делу жизни с осо-

бой энергией, словно бы освеженный и помолодевший. Что касается покойной советницы, то задолго до ее кончины он предоставил и себе и ей полную свободу: ей — веселиться, танцевать до упаду и кутить в обществе бравых офицеров (шампанское денилось вокруг г-жи Гёте, как пена морская вокруг Афродиты), себе же оставил уединенный труд, государственные заботы, встречи с замечательными людьми, красное вино и летом — восторженный щебет молодых женщин.

После смерти жены г-н Гёте словно принял на себя обретенную ношу усопшей, обрел вкус к балам, пикникам, повесничанию и долгому уединению с юными красавицами. Казалось бы, что может быть лучше такой жизни, дающей все радости и почти ничего не требующей взамен, но с некоторых пор рассеянный свет его внимания собрался, как в фокусе, на юной Ульрике Левецов. Это не было похоже на другие, быстро проходившие увлечения. Крепко запала в душу Фридриха фраза, оброненная как-то г-ном Гёте за семейным обедом, когда несдержанный, всегда раздраженный Август в очередной раз спешился с откровенно презирающей его Оттилией: «Вся беда в том, что наш состав неполон». Занятые своей ссорой, молодые люди пропустили слова главы семьи мимо ушей, они и вообще не баловали его почитательностью, а может, сочили бессильной жалобой вдового старика, лишь повредившаяся в уме сестрица Оттилии метнула в его сторону короткий злобный взгляд. А им стоило бы прислушаться, ибо г-н тайный советник впервые — и сознательно — проговорился о своих намерениях.

Смущало Фридриха лишь одно: наивность этого заявления, — неужели великий ум может настолько заблуждаться в своих близких? Появление новой тайной советницы внесет такой же мир и лад в смятенную жизнь дома, как содержимое ящика мифической Пандоры. И даже обманчивой надежды не останется. Конечно, Август и Оттилия объединятся в ненависти к новой «мамочке», ущемляющей их наследственные права, но едва ли об этом мечтает г-н Гёте.

Ныне Фридрих склонен был фразу, услышанную за столом и оставленную без внимания молодым поколением, связать с лучезарно-беспокойным обликом г-на тайного советника. Не должно ли сегодня решиться то, что сделает полным «семейный состав», принесет мир и покой дому, — «кошмар и ужас», твердо определил будущее своего хозяина научившийся мыслить Фридрих. Для себя лично он не ждал перемены, ибо принадлежал к тому священному и неприкосновенному обиходу г-на тайного советника, который был исключен из домашних потрясений. И все-таки ему было не по себе...

Ну а как же иначе? Ведь не было у Фридриха другой жизни, кроме той, что уже несчитанные годы незаметно день за днем проходила в доме г-на тайного советника Гёте. Бывает, что слуги, при всем своем зависимом положении, не только влияют на домашние и прочие дела хозяина, но и направляют их, — поведению советника полиция Бруннера в семье и на службе целиком зависит от того, с какой ноги встал и как обходил его красноносый лакей Михель, брызга и пьяница, с которым хозяин не расстался бы за все блага мира. Фрид-

рих не пользовался влиянием на своего хозяина, и никто другой не пользовался: г-н тайный советник умел закрывать глаза на домашние безобразия, но не плясал под чужую дудку. Фридриху достаточно было наблюдать и делать выводы — совершенно бескорыстно, ибо он и так имел все необходимое для душевного довольства: четкий круг необременительных обязанностей, сносное жалованье, независимость, обеспеченную подчинением лишь одному человеку, добрый стол с хозяйским вином, крепкий табак, опрятную постель, хорошее платье и достаточно свободного времени, чтобы посидеть в погребке и перекинуться шуткой с какой-нибудь Кеттхен или Лизхен. Будучи лишь немвогим моложе хозяина, Фридрих, подобно ему, не держал двери на запоре. Он знал, что г-н тайный советник неисповедимыми путями — доверительных разговоров меж господином и слугой не велось — осведомлен о его галаптных похождениях и относится к ним с одобрением. Г-ну Гёте было по душе всякое проявление жизненной силы, но омерзителен, как бы ни скрывал он свои чувства, пьяный, грубый разврат Августа.

Фридрих желал счастья своему господину, но неужели тот действительно верит, что избалованная девочка поможет обуздать бешеного Августа и своеправную Оттилию? Эта мысль так озоботила Фридриха, что он перестал обмахивать вечником плечи г-на тайного советника и замер с поднятой рукой, сжимающей букет из облезлых страусовых перьев.

— Я разрешаю вам обратиться ко мне с вопросом, Фриц,— с улыбкой — не губ, а глаз — сказал г-н тайный советник.

— С каким вопросом, ваше превосходительство?

— Не лукавьте. Вас давно томит вопрос: уж не хочет ли барин жепиться?

Взгляд Гёте вдруг отдалился, затуманился и вовсе покинул остекленевшие глаза. Непостижимым образом Фридрих угадал выпадение своего господина из данности, вслед за тем с легкой дурнотой ощутил, что и его затягивает, заверчивает странная, не из яви воропка и брезжит что-то не имеющее ни образа, ни подобия, из какого-то чужого обихода, с чужими запахами, чужим воздухом, чужой заботой, он понял, что это барин затащил его туда, где ему вовсе незачем быть, и тоска сдавила сердце.

А Гёте, не в первый раз пережив мгновенное погружение в стихию иного времени, иного бытия, предстоящего ему, видимо, после пзнаса этой жизни и этого образа, опять, как и во всех прежних случаях, кроме одного-единственного, относящегося не к будущему, а к прошлому, где он оказался могучим туром, зазывно трубящим в золотистой лесной просеке, тщетно пытался ухватить тот сдвиг, из которого возникла странная, не свойственная ему фраза. Снова ничего не получилось, он уловил лишь, что там была не Германия, может, и вообще не Европа, но и экзотикой не повеяло, самое же поразительное, что рядом с ним по-прежнему находился Фриц, другой, как и он стал другим, — новая ипостась Фрица. Неужели возможно такое вот спаренное перевоплощение?.. По чести, он предпочел бы, чтобы не Фриц, при всех его несомненных достоинствах, со-

путствовал ему в новом существовании... Ах, если бы договорить, деспорить с Шиллером!.. А увидеть вновь юную Фридрику, доверчивую, трогательную Фридрику, которую он так внезапно бросил, не воспользовавшись плодами победы, спасая себя от нее, а ее — от себя, — почему в молодые годы им владела неодолимая страсть к разрывам? Наверное, то было безотчетное, самосохраняющее чувство: кто-то в нем, более умный, нежели он сам, знал, что чудо жизни даровано ему не для того, чтобы изойти томлением и восторгом у женской юбки. Но как они были прелестны! И Фридрика, навек запечатлевшаяся в нем тонкой болью, и нежная Шарлотта Буфф, ставшая г-жой Кестнер и тем подарившая ему и всю «Вертера», и страстная, смелая Лили, так бурно любившая, готовая бежать с ним в Америку, и стойкая, гордая, измучившая его больше всех женщин, вместе взятых, прежде чем подарить своей близостью (неудивительно, что перетянутая струна вскоре лопнула), баронесса фон Штейн, и обреченная пленять всех, кто неосмотрительно приближался к ней, Минна Херцлиб — сам Эрот придумал эту фамилию, — и даровитая, таящая пламень под личиной холодного прекраснотушия Марианна Виллемер, с которой он вновь стал Вертером, правда, умудренным годами и застрахованным от поражения. Но все самое нежное, трепетное и одухотворяющее сосредоточилось в его последней любовнице Ульрике Левецов, нет, все же не любовнице, хотя были и поцелуи и объятия, такие пылкие! — а ведь ей всего девятнадцать, это он, седовласый, разбудил невинное создание для чувственной любви. Да будет с ним лишь она, одна она, во всех последующих превращениях, его душенька, его богиня, которую он вскоре назовет женой перед небом и людьми.

Гёте не сомневался в чувстве девушки, да и не было такого, чтобы его страсть не вызвала ответной страсти. Даже Шарлотта Буфф, кладезь немецких добродетелей, невеста честного Кестнера, олицетворение долга, порядочности, житейской трезвости и расчета, потеряла на миг голову, ясную и озабоченную голову, спокойно и прямо сидевшую на крепких плечах юной хозяйки большого дома овдовевшего отца, и так ответила ему на воровской поцелуй, что сладостный его яд обернулся выстрелом Вертера.

И все-таки тогда он потерпел поражение. Впрочем, он сам отступился от Шарлотты — из дружеской преданности к Кестнеру, так это выглядело, на деле — все из той же самозащиты, ведь, разрушив их помолвку, он брал на себя обязательство, которых втайне страшился, как и всю жизнь страшился официального закрепления связи; он и на брак с Христиной решился после восемнадцати лет совместной жизни, когда погасла страсть и вошел в возраст сын-бастард. А сейчас он открыто и радостно готовился к таинству брака, призванного увенчать его последнюю и самую большую любовь. Правда, последняя любовь всегда казалась ему самой большой, то было заблуждение незрелости, но в семьдесят четыре года человек не обманывается в своих чувствах. Благотворительная природа сотворила для него великое чудо, воскресив его сердце, наделив второй молодостью, не только душевной, но и физической. «У нас будут

дети! — думал он горделиво. — И я уже не упущу их, как упустил бедного Августа».

В Ульрике с ее тугими локонами, удлиненными, широко расставленными глазами, глядевшими то с детским доверчивым удивлением, то с пронизательностью мудрой, хотя еще не осознавшей себя души, таинственно сочеталась наивная непосредственность с той глубокой женственностью, что важнее опыта и ума. Без этого дара женский ум даже высшего качества сух, бесплоден и несосен. Вечно женственное обладает бессознательной способностью проникать в скрытую суть вещей и явлений, перед его интуитивной силой пасует просвещенный, систематический ум мужчины.

В Ульрике поражала отзывчивость — на мысль, слово, чувство, прикосновение. Ее все захватывало: минералогия, ботаника, зоология, физика, химия, лингвистика, история; никому и никогда не излагал Гёте с таким удовольствием и уверенностью, что его поймут, свою теорию цвета, как этой девятнадцатилетней девочке; а как обрадовала и воодушевила ее идея о прарастении, над которой все издевались, — видимо, тут что-то соответствовало ее жажде цельности и художественной завершенности мироздания; музыка и стихи слезили ей уголки широко расставленных глаз, а когда Гёте прикасался губами к ее ароматной головке, она вздрагивала, прижималась к нему легким телом, сжимала отвороты его сюртука и полуоткрытым, прерывисто дышащим ртом искала его губы. Если б он меньше любил Ульрику, то сделал бы своей, но зачем ему ворованное наслаждение, раз они скоро свяжут судьбы?

Никогда, даже в расцвете лет, Гёте не пользовался таким успехом у женщин, как в пору, которую люди слабодушные и невыносливые считают угасанием, хотя, быть может, только тут человеческая личность находит свое окончательное воплощение. И потому разница в возрасте ничуть не смущала Гёте — он был уверен в себе и в Ульрике, и если попросил великого герцога Веймарского быть его сватом, то единственно из легкого недоверия к г-же Леведов. Конечно, Пандора была его другом, некогда другом весьма нежным, она знает ему цену и, надо полагать, осведомлена о чувствах своей дочери, но кто поймет этих мамаш! Может, у нее на примете другой претендент, не уступающий Гёте ни богатством, ни положением, но обладающий — в глазах глупцов — преимуществом молодости; нельзя исключать и чисто бабьего расчета: Пандоре может взбрести в голову, что бывшему возлюбленному уместнее взять в жены ее, коли уж пришло жениться, а Ульрику получить в дочери — с бюргерской точки зрения это куда естественней; наконец, она может возревновать к дочери или просто не поверить в окончательную серьезность намерений «старого ловеласа», каким считает его курортное общество, или же посчитать молодой блажью склонность дочери к седому поэту. Короче, нужна гарантия серьезности, чистоты и достоинства его намерений. Державный сват явится достаточно веским поручителем.

Старый бурш, как называл Карла-Августа умный и насмешливый Меттерних, был одним из самых взбалмошных, распущенных и не-

путевых немецких князей; любивший пуще души охоту, вино, баб и войну, он к старости не только остепенился, но удивительным образом преуспел во всех своих непродуманных начинаниях. Ввязавшись в войну с Наполеоном, испытав жестокое поражение, позорное бегство, потерю всех земель, он в конце концов оказался в стане победителей, а его заштатные владения расширились и стали Великим герцогством; сочетая распутство с многолетней влюбленностью в красивую, но малоодаренную и вздорную актрису Ягеман, он, овдовев, женился на ней и возвел на великокняжеский трон; проведя полжизни на кабаньей и оленьей охоте, беспощадно вытаптывая крестьянские поля, он вдруг дал своей стране конституцию и привлек к управлению третье сословие; то сорвался, то мирясь с Гёте, сместив его в угоду Ягеман с поста директора театра, он сумел намертво привязать «величайшего немца» к Веймару, превратив свою крошечную столицу в духовный центр Европы, место всесветного паломничества, и, наконец, не только сохранил при своей особе многолетнего друга-врага, но даже оказался его доверенным лицом в самом деликатном деле. Что это — набор случайностей, стечение обстоятельств, колдовство, влияние тайных сил или характер? Наверное, тут намешано всего понемногу, но в одном не откажешь Карлу-Августу, — в отличие от всех немецких князей, он способен быть не мелким.

Гёте хотелось так думать сейчас. Чем крупнее казался ему Карл-Август, тем сильнее вера, что посольство его удастся. А разве может оно не удаться? Неужели Пандора не поймет всех выгод этого брака — и сейчас, и особенно в будущем?..

Благообразное лицо Фридриха, исполненное почтительного внимания, напомнило ему, что он так и не получил ответа на свой шутиливо-странный вопрос.

— Я, кажется, спросил вас о чем-то, Фриц?

— Не смею беспокоить ваше превосходительство своим недостойным любопытством, — с политической уклончивостью, достойной Меттерниха, отозвался Фридрих.

— Напрасно, Фриц. Вы живете в моем доме, и вас не могут не интересовать предстоящие перемены. Так вот, друг мой, ваш господин женится.

— Разрешите принести свои поздравления, ваше превосходительство.

— Спасибо, Фриц. Я уверен, что вы сами давно обо всем догадались. Вы тонкая бестия, Фриц.

— Премного благодарен, ваше превосходительство, — поклонился слуга.

Своеобразный демократизм Гёте состоял в том, что он относился с интересом к каждому человеку и уважением — к каждому труженнику, если тот знал свое дело (Фридрих был образцовым слугой), но как только эти люди собирались вместе для любого действия: протеста, защиты своих прав, тем более восстания, участия в каком-то выборном органе или даже для выражения верноподданнических чувств, — как тут же становились для Гёте толпой, и он со вкусом

повторял изречение Аристотеля: «Толпа достойна умереть прежде, чем она родилась». Было вне сомнений, что Фриц никогда не сольется с толпой, презирая ее своим лакейским сердцем едва ли не сильнее, чем его господин — бюргерским, и Гёте испытывал к нему ту полноту доверия, которая позволяла говорить о вещах интимных. А сейчас он как никогда нуждался в собеседнике, чтобы заговорить растущую тревогу, поскольку Карл-Август задерживался.

К сожалению, Фридрих был слишком вышколенным слугой и слишком осторожным человеком, чтобы позволить втянуть себя в чересчур доверительный разговор, о котором хозяин рано или поздно пожалеет. Гёте сердила лакейская хитрость Фридриха, хотя он понимал, что ничего иного нельзя ждать от человека, всю жизнь находящегося в услужении. Было бы дико, если б Фридрих вспыхнул вдруг захлебной откровенностью своего тезки Шиллера или рассыпался в доверительно-септиментальных сарказмах Гердера.

— Жизнь нашего дома изменится, Фриц, сильно изменится! — Гёте распахнул свои огромные пламенные глаза, словно пораженный величием предстоящих перемен, но не поколебал каменной невозмутимости лакея. — Молодость войдет в наш дом, Фриц! — нескреним — от раздражения — тоном продолжал Гёте. — Нам обоим придется помолодеть.

— Ваше превосходительство и так хоть куда! — отважился Фридрих на уместную, как ему подумалось, фамильярность. — А мне поздновато.

— Что вы мелете? — вскинулся Гёте. — Вы же моложе меня на шесть лет.

— Не равняйте себя с другими людьми, ваше превосходительство. У вас другой счет времени.

— Что это значит, Фриц? — серьезно спросил Гёте, пораженный замечанием лакея, которое не могло родиться в его черепной коробке.

Фридрих и сам почувствовал, что высказал нечто сверх своего разума, но, доверяясь странной несущей силе, продолжал, не вдумываясь в смысл произносимых слов, входивших в него словно из нездешнего бытия:

— Вы каждый день проживаете целую жизнь, ваше превосходительство, но время не имеет над вами той власти, что над другими людьми. Для вас у него иная длительность. Вы не старше меня на шесть лет, а моложе на четверть века. Время — не абсолютная категория, ваше превосходительство.

«Этот шельмец обставит меня в каком-то очередном воплощении», — с досадой подумал Гёте.

— Как можете вы все это знать, Фриц? Где вы набрались такой премудрости?

«А и верно, где? — удивился Фридрих. — Черт его знает, что лезет в башку! Надо подтянуться. Не хватало еще слуге наставлять господина. Такого господина!.. Это плохо кончится. Но и господин тайный советник хорош — зачем принуждать подневольного человека к неподобающим рассуждениям?» У каждого свои обязанности,

его, Фридриха, дело — чистить платье и убирать в комнатах, а для умных разговоров есть господин Эккерман. Хорошо бы улизнуть. Иначе пытка доверием до добра не доведет.

Фридрих так и не понял, откуда явилось спасение. Но взгляд пламенных глаз, ставший вдруг нестерпимым, словно ему открылось нечто, недоступное зрению простого смертного, соскользнул с его скромной особы, унесся ввысь и потерялся там, а широкая белая кисть Гёте дважды сделала нетерпеливый и недвусмысленный жест, означавший: пошел вон!

Фридрих поспешно ретировался, благословляя неведомого избавителя, но и чуть досадуя на старческие причуды своего господина, прежде за ним не наблюдавшие.

А Гёте видел Ульрику. Видел так ошеломляюще ясно и материально, что на мгновение ему почудилось, будто он может коснуться ее рукой и ощутить тепло округлой щеки и розовой просвечивающей мочки. Он видел черные точки в кобальтовых радужках, ямку в уголке губ, приютившую порошок темной родинки; двойная нитка кораллов обвивала стройную шею и убегала за обшитый кружевами корсаж. Жаркое легкое девичье дыхание чуть вздымало и опускало шелковую ткань на груди, и он застонал, потому что благодать облика его любимой стала болью. Как мог он сравнить ее с другими, кто промелькнул прежде в его жизни, точно с этой его любовью могли сравниться все прежние бедные влюбленности. Да, всего лишь влюбленности, потому что любил он впервые. Наверное, так и должно быть с тем, кого природа лишь насыщала и совершенствовала с годами, ничего не отнимая, кроме заблуждений, и укрепляя в главном — творческой силе и даре любви.

— Его королевское высочество!.. — Голос Фридриха, грубо врывающийся в очарованную тишину, будто подавился самим собой, — знать, принц оттолкнул слугу от двери.

— Я никомушний сват! — вскричал Карл-Август. — Напрасно вы доверились мне.

Гёте поглядел на красное лицо старого кутилы и борзятника с узкогубым брезгливым ртом, так не соответствующим жизнерадостному настрою своего владельца, с цепкими, очень неглупыми глазками и не понял смысла сказанного.

— Простите, ваше королевское высочество...

— Ох, старина, хоть бы в такую минуту — без китайских церемоний! — с досадой сказал Карл-Август.

Его раздражал принятый Гёте с некоторых пор обычай величать его этим пышным титулом; мнимая почтительность скрывала дерзость, ибо устанавливала между ними дистанцию, которую герцог не признавал, стремясь вернуться к прежней короткости, но старый упрямец неизменно отталкивал его от себя.

— Слушаюсь, ваше королевское высочество...

— Несносный старик! — в сердцах сказал Карл-Август. — Так пожалуйста: вам отказали.

— Что это значит? — отшатнулся Гёте.

Герцог посмотрел на задрожавший рот, на смятение, охватившее

величавое еще миг назад, прекрасное лицо, и впервые по-человечески пожалел Гёте.

— Пандора открыла свой ящик... Правда, сделано это было весьма деликатно, не придерешься, но гады выпущены на волю. А если без иносказаний — мне объяснили, что Ульрика слишком молода и сама не знает своего сердца. Ей нужно время, много времени, чтобы разобраться в собственных чувствах.

— Но Ульрика?.. Почему не спросили ее?

Карл-Август колебался. Он думал, что Гёте примет отказ с большим мужеством и гордостью и не захочет знать подробностей этой, в общем-то, унижительной истории. Он отошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу и услышал первые такты «Турецкого марша» Моцарта.

— Я не знаю, — он говорил, стоя спиной к Гёте, — было ли у них отрепетировано заранее или старая Левецов решилась на экспромт. Конечно, на экспромт, хорошо подготовленный. Ваше предложение не явилась для нее неожиданностью, она ждала его. Смутила лишь фигура свата. Но отдадим должное Пандоре — она быстро овладела собой и сама позвала Ульрику.

— И Ульрика?..

— Сказала, что всегда относилась к вам только как к отцу.

— Но это неправда!..

— Ах, старина! Вы же сами знаете, каким влиянием пользуется Пандора на свою дочь. Ульрика — мягкий воск... Если б мать захотела, Ульрика сразу поняла бы, что ее привязывает к вам совсем не дочернее чувство. Но у матери другие планы, и бедная девочка всерьез поверила, что дарила вам лишь детские поцелуи. Ульрика совсем не бунтарка, ее очарование — в готовности принять любую форму. Этим она вас и прельстила. Но авторитет матери выше. Поймите это и смиритесь. Господи, да что, на ней свет клином сошелся? Кругом столько красоток!..

Гёте не отвечал, и Карл-Август, незаметно для себя перешедший на игривый тон, бодро обернулся, но то, что он увидел, потрясло его крепкую солдатскую натуру. Вместо величавого вельможи перед ним был согбенный старик с пергаментной кожей обвисшего лица и потухшим взором.

— Боже мой!.. Что с вами? — вскричал пораженный Карл-Август. — Нельзя же разваливаться из-за юбочки! Да будьте мужчиной, черт побери! Вы испытаны в страстях, как оперная дива, возьмите себя в руки!..

Гёте молчал.

«Похитить Ульрику и обвенчать их тайно? — пронеслось в голове старого бурша. — А хрычовку мать припугнуть, чтобы не подымала шума. Да не пойдет на это наш поэт. А жаль!..»

— Может, тряхнем стариной? — предложил Карл-Август. — Помните, как мы повесничали в старое доброе время? Плюнем на этот тухлый Мариенбад и махнем в Вену. Инкогнито.

— Вы очень добры, ваше королевское высочество, — слышался тихий, но уже окрепший голос. — Примите мою глубочайшую бла-

годарность, а также искренние извинения, что я обременил вас столь пеловкой просьбой, но я должен сам объясниться с Ульрикой.

«Он будет жить! — восхитился Карл-Август. — Это железный старик!»

...Восемь дней осаждал Гёте Ульрику Левецов, и лучше не было бы этих восьми дней в его жизни. Он оставил попытки говорить языком страсти, ибо Ульрика тут же превращалась в обиженного несмышленища. Он укротил чувство и положился на разум. Бесплодное и мучительное занятие: подавляя крик боли и страсти, доказывать девятнадцатилетней девушке языком железной логики полезность и даже необходимость брака с семидесятичетырехлетним стариком. Изохряясь в казуистике, он вбивал в хорошенькую и смекалистую головку мысль о тщете, безнадежности сопротивления избирательному средству, так открыто заявившему о себе в их случае. Потраченного им ума, вдохновения и волевого напора хватило бы, чтобы закончить вторую часть «Фауста», растянувшегося на всю его жизнь, но великое, изощреннейшее витийство разбивалось о глухое упорство девушки, не желающей покидать страну, название которой юность.

Впрочем, Гёте казалось, что Ульрикой правит не внутреннее веление, а посторонняя сила, которую можно одолеть, ибо неодолимо лишь то, что вне рассудка, вне разума. Пророк Моисей говорил, что ему ведомо все, кроме одного — что происходит в голове сумасшедшего, поэтому тут кончается его власть. Сфера чистой эмоции сродни безумию, она непостижима и неуправляема, но Ульрикой, как он думал, двигала чужая воля. Оп отнюдь не преуменьшал влияния Пандоры; у нее были преимущества места — всегда рядом с дочерью, — пола и крови. Перед всем этим оказывается бессилён ум. Ну, а сила личности, а гениальность?.. И он стал гениален, отдав этой девочке больше, чем всему «Западно-восточному дивану», но не продвинулся ни на шаг, хотя чувствовал порой, как загорается ее отзвучивая душа. Что-то намертво развело их. Что?.. Нет смысла ломать голову. Пандора могла выпустить из своего ящика таких гадов, что и думать о них противно. Но зачем это нужно Пандоре? Быть может, она боится, что необузданный Август и далеко не кроткая Оттилия разрушат помолвку или сделают жизнь его молодой жены невыносимой? Такая тревога оправданна. Но почему бы ей не сказать ему об этом? Он бы ответил прямо: я возьму в руки кнут и усмирю их. Я никогда этого не делал, но сделаю ради Ульрики. Может, объясниться с Пандорой, развеять ее материнское беспокойство, дать какие-то гарантии? Этого не принимала душа. Получить Ульрику в результате сговора? Да будь дело только в его семейных сложностях, практичная г-жа Левецов давно бы навела разговор на волнующие ее обстоятельства, но она и не подумала этого сделать. Нет, она просто не хочет его для своей дочери, и все тут! Осилить ее можно было бы лишь с помощью Ульрики, но ту словно подменили. Неуловимая, недоступная и оттого лишь более желанная, она утратила свою горячность и непосредственность, стала рассудительной, осторожной, контролировала каждое слово, каждый жест. Даже позволяя порой

увлечь себя мыслью, образом, полетом воображения, она все время оставалась начеку. Когда же ему изменяла выдержка и он не мог сдерживать гневной боли, она остужала его чужими, заученными словами:

— Не надо сердиться. Будьте молм добрым, мудрым другом.

И он отступился, поняв, что ему не пробиться к маленькому, сжавшемуся в тугой комок сердцу...

Прощаясь с Ульрикой перед отъездом — карета ожидала его у дверей,— Гёте заметил промельк смятения в кобальтовых, с черными крапинками глазах: пусть на мгновение, но тайная душа ее проговорила о чем-то таком, чего не знало дневное сознание девушки. И в недобром прозрении он сказал:

— Если б вы были только красивы, только очаровательны и по-женски умны, Ульрика!.. Я был бы спокоен за ваше будущее. Но вы слишком значительны и слишком глубоки для обычной женской доли. Вы еще сами не понимаете этого, но когда поймете, будет слишком поздно. Вы обрекаете себя на безбрачие, бедное дитя мое. Нет ничего грустнее бесплодной смоковницы. Прощайте, мы никогда больше не увидимся.

Ульрике было грустно расставаться с Гёте; до чего же нелепа жизнь, если нельзя сохранить его в качестве друга, собеседника, наставника, нет, главное, в качестве друга, очень, очень близкого друга! — ей так нравилось целовать темные огненные глаза, заставлявшие забывать о его годах, но прощальная угроза задела женскую гордость, и, хотя у нее хватило вкуса, такта и снисхождения промолчать, даже потупиться с печальной покорностью: мол, что поделаешь, раз такова моя участь, — в душе она посмеялась над пророчеством Гёте, не знавшего ни о смуглом кудрявом сыне соседа-аптекаря, ни о байроническом гофрате из Дрездена, с которым она познакомилась на последнем балу, дав из-за него отставку стройному, элегантному геттингенскому студенту...

Чуть приоткрыв занавеску, Ульрика смотрела, как старый рослый лакей Фридрих тяжело подсаживал в карету своего будто обезвоженного господина.

— Бедный, бедный дедушка!.. — вздохнула Ульрика, рассмеялась и вдруг заплакала...

...Трясущийся на козлах рядом с кучером Фридрих с тоской поглядывал на корчмы, трактиры и гостиницы, то и дело мелькавшие по сторонам дороги. Курортный край был насыщен первоклассными заведениями, где усталый путник мог утолить жажду и голод, дать отдых истомленным членам. Они находились в пути уже более семи часов, а Гёте и не думал дергать за шнурок, конец которого был привязан к мизинцу Фридриха.

Конечно, любовный голод вытесняет мысли о пище телесной, и г-н тайный советник в своем теперешнем состоянии не вспомнит о грубой материи жизни до самого Веймара. Но Фридрих не был ни влюблен, ни отвергнут, в животе у него урчало, глотку саднило, а

голова упрямо клонилась к груди, но голод и жажда отгоняли спасительный сон. Не знал сердечных ран и кучер, но этот здоровяк с каленным лицом настолько привык к дорожным лишениям, что в нем не найдешь союзника. Надо полагать, что и ехавший сзади в двухместной карете секретарь тоже не понес любовного поражения, но разве осмелится он потревожить высокий покой или скорбное томление г-на тайного советника! Оставалась одна надежда на малорослых лошадок с лоснящимися крупами. Крепенькие и резвые, но порядком забалованные, они привыкли к бережному отношению и недвусмысленно выражали свою обиду, то и дело сбиваясь с ходкой рыси на фальшивую трусцу, и кучеру приходилось покрикивать на них и даже взмахивать кнутом. Это ненадолго помогало, но, когда он по-настоящему пустит его в дело, лошади наверняка взбунтуются.

Фридрих вообразил себя лошадью, уже восьмой час идущей в упряжке, взявшей с натугой множество подъемов, круто осаживавшей на спусках, отчего хомут налезает на уши, он ощутил напряжение в паху и подмышках, ломоту в крестце, услышал, как екает в брюхе селезенка и как зудит кожа, накусанная слепнями, чешутся глаза, облепленные мелкими мушками, — проклятые твари норовили выпить зрак, и Фридрих сгонял их, хлопая жесткими ресницами; ягодицы ему натерла шлея, он ерзал, чтобы утишить резь; огромный, шершавый, закоженевший язык не помещался в пересохшем зеве, и он свесил его наружу через нижнюю губу... Тут кучер, видать, дернул вожжу. Фридрих, послушный конь, хотел взять вправо и чуть не свалился с козел. Он очнулся и обнаружил, что его дергают за мизинец. Они тащились мимо старой гостиницы с потемневшей от времени черепичной крышей, замшелыми деревянными стенами и черными кирпичными трубами, исходившими сытым дымом.

— Стой! — гаркнул Фридрих и на ходу соскочил с козел.

Он остуился, подвернув ногу; прихрамывая, заковылял к карете, но тут дверца распахнулась и г-н тайный советник молодо прыгнул на землю, не дожидаясь, когда Фридрих опустит ступеньку. Из второй кареты уже спешил секретарь, на его узком бледном лице Фридрих увидел отражение собственной ошеломленности. Только с г-ном Гёте возможны подобные превращения: его плоть обладала куда большей пластичностью, нежели у доктора Фауста, с которым он так долго возится, тому понадобилось заключить сделку с нечистым, чтобы вернуть молодость, и бесконечно долгие годы, чтобы вновь ее изжить, — г-н тайный советник в течение одного дня мог стать дряхлым старцем и вновь возродиться юным, подобно феиксу, из пламени внутренних сил.

Бодрый, свежий, словно не испытывавший крушения надежд, не похоронивший любви и не намаевшийся более семи часов в тряской карете без пищи и питья, он быстро зашагал к гостинице, на ходу отдавая распоряжения:

— Устройте нам вкусный ужин, Фриц. На закуску два десятка устриц. Проследите, чтобы подали свежайшие. И холодный мозельвейн. — Затем секретарю: — Вы взяли свои письменные принадлеж-

ности?.. Отлично! Мы пройдем в гостиную и кое-что запишем. Фриц, велите подать туда по кружке светлого. И сухих вяленых рыбок.

Позже, когда Фридрих пришел доложить, что ужин подан, секретарь читал своим мелодичным голосом, так нравившимся г-ну Гёте, только что записанные под диктовку стихи, сочиненные, как понял слуга, в карете. Вот почему они так долго не делали привала.

.....
Там у ворот она меня встречала
И по ступенькам шатким в дом вводила.
Невинным поцелуем провожала,
Вдруг кинувшись вдогон, иной дарила.
И образ тот в движенье, в смене вечной
Огнем начертан в глубине сердечной...

Фридрих не любил стихов, но тут пожалел, что не слышал начала.

— Любопытно,— сказал Гёте секретарю, у которого подозрительно поблескивали глаза.— Возраст все-таки чего-то стоит. В юности понадобился «Вертер», чтобы уцелеть, сейчас обошлось одним стихотворением.

...Ульрика Левецов прожила очень долгую жизнь. Она дотянула до нашего века. По свидетельству современников разных поколений, она до седых волос сохраняла тонкую юную красоту, и даже в глубокой старости лицо ее удивляло трогательной миловидностью. Пророчество Гёте сбылось — она так никогда и не вышла замуж; на могильной плите почти столетней старухи было выбито: «Фрейлейн Левецов». В женихах не было недостатка, иным удалось затронуть ее сердце, другим — разум, понимавший, что пора наконец сделать выбор и зажечь естественной и полноценной женской жизнью. Но что-то всякий раз мешало, останавливало у последней черты. Быть может, память о старике с огненными глазами, но кто это знает?..

ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ УТРО



Пушкин проснулся мгновенно и таким свежим, будто не было одури семпчасового сна. И сразу почувствовал свое худое, крепко стянутое в суставах, горячее тело. Он спал голый, под одной лишь простыней, да и та неизменно сбивалась комом в ногах, а утра последних майских дней слюдили приморозком распахнутое окошко, и все же кожа была так сухо-горяча, будто ее нажарило летнее солнце. И до чего же приятно водить прохладными ладонями по мускулам

груди и узким бедрам, остужая тело и согревая руки, и знать, что это ты, твоя суть, которой ты хозяин и верный слуга.

Он вскочил резко, упруго и бесшумно, как хищный зверь, окунул полотенце в ведро с водой, стоявшее в тумбочке ночного столика, и обтерся с головы до ног. Натягивая панталоны, носки и рубашку, он прислушался к тишине спящего лица.

За перегородкой крепко спал уравновешенный, спокойный Пушкин, он просыпался на том же боку, на каком и засыпал, но снились ему неизменно — по собственному признанию — нагие девы; тихо дремал Дельвиг, днем он пребывал в полусне, ночью — в полубуде; беспокойно и шумно — с возгласами, бормотаньем и всхлипами — спал Кюхельбекер; образцово спал аккуратный Корф и барствено, с носовыми руладами — сиятельный Горчаков. Каждый спал, как умел, по устройству своему, привычке и жизненному положению, но сейчас важно было другое: как обошелся Морфей с дядькой Леонтием.

Дядька спал всегда по-разному, и порой казалось, что он — вольно или невольно — пародирует сон воспитанников. То он дремал впологлаза в Дельвиговом пошибе, то выд, вскрикивал, рыдал и хохотал почище самого Кюхли, то был сдержан, как Модест Корф, то разливался самоуверенной княжеской трубой. Это зависело от того, сколько и чего было выпито на протяжении дня — крепость и качество напитков по-разному окрашивали его сон. Сейчас Леонтия не было слышно, но в каком образе он пребывал: безопасном или чутком — сказать трудно...

В последнее мгновение Пушкин все же чуть не остался дома, и, конечно, не из страха перед дядькой. Он случайно глянул на конторку с оглодками перьев и чернозмаранным листом бумаги — незаконченный ноэль, который он обещал прочесть вечером друзьям своим — гусарам. Но образ ждущей, обмирающей от страха, трепещущей Натальи переселил.

Держа башмаки в руках, Пушкин осторожно отворил дверь. Его комната была крайней по коридору и находилась рядом с камеркой дядьки. Дверь туда была открыта. Леонтий спал непробудным сном. Значит, нагрузился предостаточно отечественной сивухой — лишь ей удавалось так вот, намертво, укладывать крепкого к выпивке дядьку.

Пушкин обулся и бесшумно направился к двери в другом конце коридора. Несмотря на ранний час, многие лицеисты не спали. Кто-то молился — монотонно и упрямо, кто-то напевал сквозь зубы, видимо бреясь, кто-то бормотал стихи. И рифмованные строчки, как всегда, приманили Пушкина. В каждом молодом стихослагателе он чувствовал брата, даже в гладеньком и чем-то гаденьком Олосеньке Иллпчевском, даже в кривляке Яковлеве, хотя его поэтические опыты были случайны и ничтожны, не говоря уже о близком всей кровью, одаренном, пусть и чертовски ленивом Дельвиге или благородном безумце и добряке Кюхле.

Пушкин верил: когда господь еще качал колыбель новорожден-

ного человечества, люди говорили стихами — это проще, красивей и более соответствует высокой, неуниженной сути человека, нежели спотыкливая проза. Лишь когда человек окончательно отвернулся от неба и утратил свободу духа, он перестал петь свои мысли и чувства и забормотал презренной прозой. Еще в Гомеровы времена речь людей была ритмически оперена, хотя гекзаметр являет собой первое движение в сторону прозы. Адам и Ева до грехопадения разговаривали четырехстопным ямбом, самым легким, воздушным из всех размеров. С тех пор люди мучительно продираются друг к другу сквозь корявую, затрудненную прозу, ничем не помогающую говорящему и слушающему — ни ладом, ни полетом, облегчающими схват нужного слова, ни ритмом, строящим речь. Но придет время, и люди опять заговорят стихами, и то будет возвращение изначальной гармонии.

Наверное, память о праречи человечества и заставляет юные, послушные естественным велениям души выражать себя через поэзию. Вот и Олосенька, зная, услышал тайный зов. Пушкин сдержал шаг возле его двери и прикоснулся слухом к журчанию ручейкового гладкозвучия. Но слово «дерево» в описании отнюдь не библейского, а чащобного, прелого, мохового русского леса мгновенно обоблило его (неужели, живя посреди царскосельских садов, Илличевский так и не научился различать деревья?), а дикий глагол «вопить» заставил по-обезьяньи вздернуть верхнюю губу и отскочить прочь.

Он оказался против компании самого пезадачливого и непризнанного из лицейских поэтов — Кюхля. В отличие от других воспитанников, Пушкин не чувствовал отвращения к корявой музе Вильгельма, хотя с присущей ему внушаемостью нередко поддавался соблазну злоязычия и отпущал в адрес доверчивого и влюбленного в него друга «вицы», выделявшиеся среди поверхностного лицейского острословия не только своим ядом, но и способностью намертво западать в память. И бедный Кюхля претерпел от понимающего его и даже по-своему ценящего Пушкина куда больше уязвлений, нежели от всех остальных остряков-недоброжелателей.

Со всегдашним чуть досадливым сожалением прислушивался Пушкин к тяжеловесным виршам — Кюхля словно камни ворочал. Казалось, надо особенно расстараться, чтобы из песнеи слов выбрать самое неуклюжее, угловатое, не терпящее никакого соседства. Как же должен он любить поэзию, если способен на подобный синифовой безнадёжности труд!

Если б мне слова и созвучия давались с такой мукой, я бросил бы поэзию. Каждое стихотворение, когда оно отделилось от автора, — это что-то живое, несущее бремя собственного существования. А Кюхля знай себе плодит уродов. Какое мужественное, бесстрашное и стойкое сердце! Его обвиняют в подражании Клопштоку. Но разве у нас нет отечественных бардов, не уступающих немецкому поэту непрыворотом громоподобных словес? На каком страшном, дремучем языке писали не только замордованный всеми Тредиаковский, но и такие властители дум, как Сумароков, Петров, Озеров и

даже великий Державин, чья колоссальная художественная сила продиралась сквозь трясину и бурелом чудовищных слов. А разве нынешние лучше? Один напыщенный и темный, как могила, Ширинский-Шихматов чего стоит!..

Кюхля глух, как тетерев. Может, и другие российские пииты туги на ухо и не слышат живой народной речи? Вот упитый Батюшков и Жуковский, чье вдохновение вспыхивает особенно ярко от чужого огня, вовсе не глухи, но они не потрафляют так сердцу ревнивателя русской поэзии, как дряхлый Державин или допотопный Озеров. А что, если люди просто не узнают поэзии, когда она выражается не высокопарным языком богов, под стать торжественной зауми древних акафистов, а живой человеческой речью?

Беда в том, что литература пошла за Даниловым риторическим велеречием, за этим сладкоглаголивым последователем древнего плетения словес и подражателем Екклесиаста, а не за житейщиной пламенного протоппа Аввакума, воспоющего здоровой мужицкой речью. Митрополит Даниил обнаруживал свою растерянность перед словом в самой неспособности к отбору, он беспильно громоздил совпадающие понятия: «также клеветал, осуждал, облыгал, насмехался, укорял, досаждал...» Так и льется звоп-пустозвоп, а где смысл, точность, простота, прикосновенность к человеческой душе? То ли дело Аввакум! Вон как обращался к несчастной боярыне Морозовой, потерявшей сына: «И тебе уже неково чотками стегать, не на ково поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке неково погладить, помнишь ли, как бывало?» Ведь слеза точит, когда повторяешь эти безыскусственные слова.

Ах, господи, стоит ли терять на это время, когда Наталья ждет не дождется в своей каморке! Ждет, а сердечко колотится все сильнее, ведь рядом, через стену, — ее хозяйка, фрейлина Волконская. Эта костлявая коза беспокойна и зломнительна. Ей вечно мерещатся привидения, духи, разбойники и насильники. Но вместо того чтобы запереться покрепче, она в развевающемся капоте выскакивает из спальни навстречу воображаемой опасности в тщетной надежде, что померещившийся ей шум обернется не призраком, а вполне телесным уланом, юным пажом или хотя бы дворцовым истопником.

Пушкин еще раз оглядел длинный коридор, серые двери пронумерованных комнат, где на узких железных кроватях спали юные князья и бароны, отпрыски помещиков и служилых дворян, будущие чиновники, воины, мореходы, поэты, бунтовщики — каждый уже прозревал свой путь, члены незабвенного лицейского братства, и неожиданно для самого себя сказал вслух, хоть и негромко:

— Спите, дети!.. Бог да хранит вас!..

И выскользнул за дверь.

Можно было пройти через двор, сунув «трингельд» в привычную ладонь швейцара, но Пушкин решил воспользоваться внутренним переходом — через арку и хоры дворцовой церкви. Правда, в темноте там немудрено и шею свернуть, зато меньше риску быть замеченным!

Ему повезло. Двери послушно и бесшумно поддавались легкому нажиму пальцев. В арке с выбитыми стеклами узких окон его хорошо и крепко прохватило стужью утренника — снаружи травы и цветы были в седой припушке. Вскоре иней растает и выпарится туманом, а зелень станет зеленой и яркой. Прежде чем нырнуть в густую, пряную, ладанную темь церкви, он посунулся грудью к пустой оконной раме и принес Наталье свежесть подмороженного майского утра.

Пушкин слышал, как испуганно колотилось и обмирало в ней сердце. Он ласкал ее, успокаивал, говорил, что он с ней и не даст в обиду. Хотя что он мог, недоросль, лицеист, которого лишь недавно освободили от унизительного хождения в паре? Пусть только покусятся на его милую! У него острые зубы и когти, крепкие кулаки и дар неоглядной ярости. Но ведь никто не посягает на нее, не мешает их уединению и счастью, и прочь злые мысли!..

— Тихе, Александр Сергееч, ну, тихе же! — молила Наталья. — Ох, Сашенька, погубите вы меня!..

— Почему ты плачешь? — спросил Пушкин. — Перестань! Дай я вытру твои глаза. Ну что ты, глупая?

— Не знаю, — низким от слез голосом сказала Наталья. — Не сердитесь. Я сама не знаю, чего плачу. Хорошо мне с вами, вот и плачу.

— Мы всегда будем любить друг друга, — сказал Пушкин, веря своим словам.

— Да будет вам! — Наташа рассмеялась странным и отчужденным смехом.

Неприятен был этот взрослый смех, отбрасывавший его в детство. Наташа словно враз стала старше, она знала то, чего не знал он, прочно, сознательно и коротко жила данностью. Это было грустно, обидно и скучно. И еще скучнее стало, когда Наташа невесть в какой связи, а может, и вовсе без всякой связи, принялась рассказывать о своей подруге Маше, актрисе на выходах домового театра графа Толстого, и обмолвилась, что она «тяжела» от графского племянника, улана. Было жалко девушку, Пушкин смутно помнил круглое лицо, наивно приоткрытый рот и ореховые глаза, но к жалости приешалось раздражение.

— Тяжела — гадость! Улан ее обрюхатил, — сказал он резко.

— Фу, Александр Сергееч, ну и язычок у вас! Мы простые и то говорим «тяжела», а вам приличнее выражаться «беременная».

— Брюхата! — вскричал Пушкин. — Неужели ты сама не слышишь? «Брюхата» — полно и кругло, «беременная» — блекот какой-то! А «тяжела» — вовсе мертвечина.

— Ну ладно! — сердито сказала Наташа. — По мне, как ни называйте...

Пушкин резко отстранился.

— Куда же вы? — жалобно спросила Наталья.

— Пора... — сказал Пушкин, чем-то смутно озабоченный.

Нет, не бедою Маши и улана, а чем-то другим, возникшим рань-

ше, а сейчас зашевелившимся на дне души, не обретая отчетливого образа.

— Погодите!.. — сказала Наташа и выскользнула из комнаты.

Движения Пушкина были медленны, затрудненны, хотя он и не отдавал себе в том отчета. Ему нужно было поймать какую-то реющую возле виска, тревожную мысль, но это никак не удавалось. Ну и бог с ней! Важная мысль сама всплывет рано или поздно, а неважная — пропади пропадом.

Он вышел в коридор — непроглядно темный после солнечной комнаты Натальи. Вытянув вперед руки, он двинулся к выходу, и тут бесшумным белесым призраком навстречу ему метнулась Наталья. Нежданное виденье ее разом уничтожило возникший было холодок. Пушкин принял ее в свои объятия, ощутил незнакому худобу под ладонями, в ужасе отстранился, и тут же истерический вопль: «Помогите!» — растерзал тишину дворца. Фрейлина Волконская дождалась своего насильника.

Пушкин стремглав кинулся в долгую тьму коридора, пронизал ее, нигде не споткнувшись, скатился по лестнице и выскочил наружу. Прижимаясь спиной к стене, скользнул под арку и очутился по другую сторону дворца.

Но лишь выбежав в сад, почувствовал он себя в безопасности. Едва ли это приключение сойдет ему с рук. Ей бы помолчать, старой козе, и вкусить от запретного плода, вернее, кочана, доставшегося по ошибке. Небось переполошила весь дворец. Теперь пожалуется Елисавете Алексеевне, та — государю, начнется дознание, и, как всегда, подозрение падет на лицеистов. Ему не выкрутиться, да и не умеет он врать.

В парке было сыро и солнечно. Чесменская колонна то исчезала, то вычерчивалась в реющем тумане. От пруда тянуло холодом. А высокая лестница Камероновой галереи купалась в солнечных лучах, косо падавших из прозоров меж ветвями старых рослых лип. Не чувствовалось даже слабого ветерка, а листья лип ворочались на черенках, подставляя солнцу то лицо, то рубашку. И уже поблекли пурпурные и лазоревые цветы медуницы, лесного копыльца, значит, все-рбез взялась весна.

В стороне Китайской деревни, что за Малым Капризом, щелкал соловей. Да и не просто щелкал, а обучал бою и трелям молодого соловья. Старший был великим мастером, он даже в учебное, замедленное «тех, тех, тех» вкладывал поэзию, а молодой папоминал Илличевского — с легкостью подхватывал любую ноту, выводил любое коленце, но только пусто у него звучало, без тайны и чуда дивного птичьего сердечка, так созвучного сердцу человека. Где творился этот музыкальный урок? Похоже, в сиренях за обиталищем Карамзинных. И сильный полный голос соловья-учителя пронизывал утренний непрочный сон Катерины Андреевны, пошла ей счастья, боже, а мне смирения... Ты предала меня своему умному, образованному, безукоризненному мужу, отдала в его холеные, спокойные руки мое безумное письмо. И он огранчился отеческим внушением с усмешкой

почти невысокомерной, но лучше бы он вонзил мне нож в сердце. Вы обошлись со мной, как с нашальвшим мальчишкой. Но я совсем не мальчик. Просто я не умею защищать свое достоинство, зато я умею помнить обиду. Но тебе я все простил, даже свое унижение, а ему не прощу достоинства. Ты ничего не поняла во мне, взрослая женщина. Бог тебе судья. «Быть может, ты восплачешь обо мне!» «Заплачешь», — поправился он. — Нет, «восплачешь», здесь — «восплачешь». Простота поэзии — это не простота прозы...

Он сам не понял, что заставило его мгновенно обернуться и замереть в заслоне толстого ствола. Спасующее движение опередило испуг. Прижавшись щекой к жесткой влажной коре, он с неправдоподобной, словно под лупой, отчетливостью увидел возле Камероновой галереи рослую, закутанную в плащ фигуру императора, треуголку, наваленную на лоб ниже положенного артикулом, но все же не закрывающую бледно-голубых меланхолических и живых глаз. Белые пухловатые щеки, маленький, надменный, с чуть всосанной нижней губой рот — каждую черточку этого сызмальства знакомого лица разглядел он с зоркостью, дарованной ненавистью.

Пушкин ненавидел Александра всеми фибрами души, ненавидел его двоедушие, позерство, удачливость, глухоту, люто ненавидел этого плащ-майора под личиной либерального монарха, сентиментального отцеубийцу и первейшего лукавца Европы.

Самодержец вел себя странно, он явно хотел остаться неузнанным. Пожалуй, слишком явно. Скрывайся он всерьез, все выглядело бы иначе: можно так закутаться в плащ, что тебя не то что издали, а нос к носу никто не признает, если к тому же заменить примелькавшуюся всем треуголку гусарской фуражкой. Можно, наконец, прятаться за деревьями, а не лезть на свет и не озирается так часто, с таким наигранным, но соблюдающим достоинство смущением. Императору отлично известно, что не только лицеисты, но и дворцовые служители, дежурные офицеры, расквартированные в Царском Селе гусары и уланы ходят в царские сады, как к себе домой, назначая там свидания фрейлинам, актрисам, служанкам, дочкам городских обывателей и даже почтенным супругам их, и весь его условный маскарад гроша медного не стоит, да и не маскируется он вовсе. Во всем лукавец и паяц, он хочет попасться кому-то на глаза и стать героем передаваемой на ушко сплетни, что у галантного императора опять завелась интрижка.

И Пушкин поклялся никому не говорить, что видел Александра в образе любовника, спешащего на свиданье. Это будет моей мезьей. Фальшивое видение умрет во мне, и твой обер-сплетник врач Вилье не напечет тебе о щекочущем самолюбие слухке. Кстати, почему в царской семье говорят: «врач пользует»? Откуда такая галантерейщина?! Лечит, лечит, врач лечит, господа, а не пользует! Смутное недовольство, испытанное им у Натальи, определилось: в столице государства Российского никто не умеет говорить по-русски — от крепостной горничной до императора, от лицейского стихоплета до первого барда все врут в языке, безжалостно и беспардонно. И все ж

язык не умер. Натуральная русская речь, мудро и неспешно обогащаемая общим течением жизни, сохранилась вблизи своих истоков... Ах, господи, стоит ли трудить всем этим душу в такое чудесное утро!..

Пушкин быстро зашагал, а потом побежал по дорожке вдоль озера, свернул на росную тяжелую траву, забрызгавшую до колен его светлые панталоны, перепрыгнул через скамью и оказался в липовой аллее. Он чуть задержался у Девы, разбившей кувшин, и в который раз подивился изяществу ее горестной позы.

Теперь он мчался по аллее, ведущей к искусственным руинам. Солнечная полоса сменялась тенью, кожа успевала почувствовать прикосновение теплого луча и склепий холод, где застыло деревом. Он бежал все быстрее, наслаждаясь ветром у висков и хрустом песка под башмаками и ничуть не боясь, что его обнаружат. На нем была шапка-невидимка, он мог не только носиться по аллеям парка, но и вбежать во дворец, проникнуть в царскую опочивальню и наполнить почпую вазу играющего в блуд императора.

Достигнув опятных руин, созданных дисциплинированным гением одного из царскосельских зодчих, он повернул назад к пруду, но теперь бежал вдоль аллеи, по траве и желтым цветам. Как быстро менялось все в природе! За немногие минуты трава успела обсохнуть, лишь в манжетках покоились серебристые расплюснутые капли росы, туман рассеялся, и обвитый цепями и стрелами Чесменский столп гордо вознесся над водой, заблиставшей всем зеркалом. И в миг наисильнейшего восторга перед утром и солнцем, перед всем весенним напругшимся миром и своим причастием чуду жизни Пушкин вдруг ощутил свинцовую усталость. Колени подогнулись, он почти рухнул к сухому изножию развесистого клена.

Случалось, он засыпал легко и быстро, с осязательным удовольствием погружаясь в сон, по такого блаженства никогда еще не испытывал. Он словно возвращался в защищенность и безответственность своего предбытия. Он был свободен, чист, ничем не обременен, покоен высшим покоем животной безгрешности. Он никогда еще не прятался так хорошо от окружающих и самого себя, как в этот сон посреди разгорающегося царскосельского утра.

Там его и взяли...

Не стражники, не дворцовая прислуга, не первые празднующиеся.

Деревья — они были зачинщиками. Они окружили его, шевеля листвою, скрипя сучьями, потрескивая пугом стволов. И он услышал их мольбу: «Назови нас, назови...» — «Но вы же названы», — удивился он и затосковал во сне. «Не так!.. Не так!.. — мучились деревья. — Наши имена забыты...», «Я вяз, Пушкин, а не дерево». — «А я — клен!..» — «А я — липа!» — «Я — береза!»

Но едва он начал привыкать к грустным и добрым голосам деревьев, как послышался змеиный шип, и малая трава вокруг, обернувшись бескрайним, колышущимся волнами, как в предгрозе, то взблескивающим, то прптепяющим полем, засипела: «И траву не

забудь, Пушкин! Я не трава-мурава, я вся разная. А мурава — спорыш!» И зазвенели цветы, зажуужжали летучие и ползучие насекомые, и кто-то черный подковылял на широко расставленных ногах и, зыркнув железным зраком, прокартавил: «Я ворон, ворон, а не вран, и я сам по себе, а не вороний муж». И разные морды высовывались из-за деревьев, пялились из травы, нависали с сучьев. Всяк требовал себе настоящего имени, всяк хотел быть назван по существу своему и достоинству, и пруд возжелал из глубины громадного чрева быть поименованным по чину, и сизое облако, и само солнце, и — ради этого на миг посмерклось небо — все ночные светила, а дальше пошло такое, что хоть в голос кричать: «Стойте!.. Пощадите!» Не только живые создания, предметы и явления, но сами обиженные слова долбили в мозг нищенской клюкой, все сущее и подразумеваемое, и называющее суть хотело стать самим собой, воплотиться в точное, не искаженное, не униженное косноязычием плъ чужеземным налетом слово. И все верили, что ему, спящему мальчику, под силу этот титанический труд.

Он оторнул от себя всю душную навалъ и вырвался из сна. У него были мокрые глаза. Он вытер их рукавом и вдруг заплакал. Отчего? От провидения судьбы и ноши, ему уготованной? Эта ноша была непосильна его юношеским плечам. Ему хотелось жить, любить Наталью, поклоняться Карамзиной, писать легкие и дерзкие стихи, жалеть старых друзей и восхищаться новым, побеждать на всех ристалищах, чувствовать в лопатках подъемную силу крыл, а не взваливать на себя грехи всех словообидчиков, не сумевших угадать имена населяющих мироздание. Почему он должен расплачиваться за чужую глухоту? Сблизить слова со смыслом, выловить в хаосе звуков истинные обозначения вещей и явлений, дать литературе живую речь, искаженную непрошеными зашельдами, церковникам, пемедками профессорами, — разве по плечу такой труд одному человеку?

Он плакал, потому что кончилось детство. Для тех, кто еще томился в душных спальнях на четвертом этаже лицейского здания, для юных честолюбцев, мечтателей, поэтов, умников и простофиль детство продолжалось, он один выделен судьбой. Прежде ему казалось, что детство кончилось, когда он впервые обнял Наталью в тесной ее каморке, но дух его остался волен. На нем не было ответственности, а лишь это и есть взрослость. И что бы он теперь ни делал, как бы ни бесчинствовал, ему не убежать от своей ноши. К грубчному табаку, к искрящемуся шампанскому, к обжигающему пуншу, к сладости женских губ будет примешиваться горечь взятого на себя — когда и перед кем? — обязательства...

...Не только близкие Пушкину люди, но и наблюдавшие его со стороны — в гостиних, на гулянье, в кругу друзей, за пиршественным или карточным столом — подмечали странную особенность поэта вдруг выпадать из окружающего, проваливаться в какую-то угрюмую бездну, куда не достигали голоса живых. И так сделалось с того царскосельского утра, с того вешего сна, когда кудрявый мальчик узнал, кто он и зачем явился.

ОТ ПИСЬМА ДО ПИСЬМА¹



Уезжая в конце августа 1830 года из Москвы в Болдино, Пушкин отправил Петру Александровичу Плетневу, издателю, поэту и критику, впоследствии ректору Санкт-Петербургского университета, печальнейшее письмо:

«Сейчас еду в Нпжний, т. е. в Лукоянов, в село Болдино. Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха 30-летнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думая о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери — отसेле размовки, колкжие обиняки, ненадежные примирения, — словом, если я и не нещастлив, по крайней мере не щастлив. Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает, — а я должен хлопотать о приданом, да о свадьбе, которую сыграем бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню. Бог весть буду ли иметь время заниматься, и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Качановского. Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Чорт меня догадал бредить о щастии, как-будто я для него создан. Должно было довольствоваться независимостью».

Со скромной гордостью Плетнев говорил, что был для Пушкина другом, поверенным, издателем и кассиром. Ему посвящен «Евгений Онегин», ни с кем, кроме московского Нащокина, не был Пушкин

¹ Примечание автора.

В Болдине посетителям показывают пушкинскую усадьбу с тщательно обставленным барским домом, конторой, службами, парком. При этом не скрывают, что дом стоял на другом месте и выглядел, скорее всего, иначе, что обстановка собрана по признаку типичности для помещичьего быта средней руки тех давних лет, что парка вообще не было. Но это не мешает тысячам людей благоговейно взирать на приблизительно вычисленный пушкинский мир и чувствовать свое сближение с великой тенью.

Если в мире вечно материальном допустимы варианты, тем более дозволены они в сфере духовной. Много неосвященных углов в болдинском бытии поэта, но со временем, надо думать, все прояснится. Давно уже местным людям было известно имя Февроньи Вилляковой, но лишь в последнее время начинает выступать из глубокой тени красивая, рослая девушка, болдинская любовь поэта. У меня нет никаких документальных подтверждений тому, что все было так, как представляется моему воображению, но я твердо убежден (по немногому, ставшему уже известным о Февронье), что связь с этой необычной девушкой не могла остаться нейтральной к самочувствию поэта, к тому поразительному сдвигу в его настроении, который произошел в первые болдинские дни. И я предлагаю свой вариант случившегося, ничуть не менее допустимый, чем материальный вариант пушкинского быта, воплощенный в мемориале «Болдино».

в зрелые годы так прост, откровенен и доверителен, как с Плетневым. Унылое письмо друга огорчило добрейшего Петра Александровича до слез. У занятого сверх головы литератора мелькнула шальная мысль: бросить все да и махнуть в забытое богом и людьми Болдино. Останавливало одно — Пушкин не терпел непрошеного вмешательства в свои дела, это позволялось — по юношеской памяти — одному Жуковскому. Если надо, Пушкин без обиняков просил своих друзей дать займы, защитить от журнальной травли, заступиться перед властями, секундировать на дуэли. Но непрошеного доброхота мог отбрить. Плетнев пребывал в томительной растерянности, когда пришло другое письмо, уже из Болдина, посланное дней через десять после предыдущего:

«...Теперь мрачные мысли моп порассеялись; приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня холера морбус. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши, сколько хочешь. А невеста пуще Цензора Щеглова язык и руки связывает... Сегодня от своей получил я премиленькое письмо: обещает выдти за меня без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Москву — я приеду не прежде месяца... Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; ездя верхом, сколько душе угодно, пиши дома, сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы, и стихов»...

Плетнев возликовал: Пушкин доволен, Пушкин спокоен и весел, ему пишется, значит, кончился долгий застой!.. Непонятно лишь, чем вызвана столь внезапная перемена в его настроении. Быть может, его ошачливило «премиленькое письмо» невесты, готовой обойтись без приданого? Но говорится об этом шутливо, — Пушкин знает, что его избранница не вольна распоряжаться собой. Ему весело удрать от невесты, он вовсе не спешит на зов: «приеду не прежде месяца». Похоже, и холера ему не холера, это при его-то мнительности! Не трудно вообразить, какую прелесть являет собой затерянная на краю Новгородчины глухая разоренная деревушка. Но он радуется, что кругом ни души, что можно до усталости скакать по голой осенней степи. Что ж, остается принять новый образ друга — Пушкин-отшельник, Пушкин-схимник. Поразительная метаморфоза!..

...От Владимира они взяли направо к Мурому. Прямым было быстрее, но Пушкину не терпелось расстаться с «дорогой в одну сторону», как называли Владимирский тракт, которым, с тех пор как Россия разжилась Сибирью, шли несчастные: осужденные на каторгу, в ссылку и переселенцы. Этой дорогой шли декабристы, шел Пушкин — первый друг... И он вздохнул свободнее, когда проклятая Владимирка скрылась из глаз.

Пушкин похвалялся, что проезжает пятьсот верст за двое суток. Как раз столько было от Москвы до Болдина, но дай бог ему доехать за время вдвое большее. Прошли дожди, и дорога, не имевшая водостоков, удобилась набитому грязью корыту с глиняными стенками.

Колеса засасывало по ступицы, старые, костлявые лошаденки, надрываясь, растягивая паха, оскальзываясь стершимися подковами, из последних силенок выдирали карету из вязкой глины,— господи, быть русской лошадию еще страшнее, чем двуногим обитателем богом избранной страны! Пушкина кидало из угла в угол, сбрасывало с сиденья, а по полу елозила, больно придавливая ноги, вместительная шкатулка, обитая черной кожей. В нее он сунул перед отъездом ворох бумаг: черновики, наброски смутных замыслов, разрозненные строки — все, что начинал, бросал или откладывал в последнее, не располагавшее к работе, судорожное время. Манила слабая надежда, что в болдинском уединении на него найдет «дурь», «дрянь», так он называл вдохновение, и хоть какие-то видения обретут завершенную форму.

Случалось, дорога шла на вздым и там крепчала под солнцем и ветром. Ямщик пускал тройку рысцей. Раздражение чуть отступало, он переставал клясть российское бездорожье, алчность будущей тещи, преступную беспечность отца, допустившего разорение болдинской вотчины, и прикидал к окошку. Экая пустота вокруг!.. Леса пропали где-то за Кулебаками, сиротливо сквозили березовые и осиновые рощицы; редко-редко попадались деревеньки, еще реже — село с церковью и погостом, и хоть бы один прохожий человек!.. И деревни казались необитаемыми, а ведь полевые работы кончены, куда же весь народ подевался? До чего пустынна Россия, как необжиты ее все ширящиеся пространства!..

Дорога пошла под уклон, в низину, и сразу испортилась — грязь, рывины, ухабы. Пушкин отстранился от окна. Шкатулка с бумагами вновь заелозила по полу. Он попытался удержать ее своими крепкими ногами завязтого ходока, и какое-то время это удавалось, но потом ему надоело, он поджал ноги. Обретя свободу, шкатулка окончательно разнузданась, она подскакивала под самую крышу кареты. Вышвырнуть вон?.. Жалко, она была верной спутницей в его скитаниях, да и стоит глянуть, что там напихано, прежде чем уничтожить... Почему-то вспомнилось, что Наталия Николаевна равнодушна к стихам. А зачем ей стихи, она сама поэзия. Она ценит в нем не случайный дар, а самую его суть, это лестно, но есть тут какая-то хрупкая неправда. Умный Вяземский говорил о браке первого русского поэта с первой красавицей России, в его словах — глубина. Конечно, достоинство женщины не исчерпывается красотой, а достоинство мужчины — умением рифмовать, но у них особый случай. Она — Мадонна, совершенство, он — поэт, в коем явлен дух России. Он немеет от ее красоты, она зевает над его стихами, а надо бы, чтобы плакала. Если идея, скрытая в словах Вяземского, не воплотится, они будут несчастливы. Наталія еще дитя, ее ум и чувства не развиты, от него зависит... Думать об этом не хотелось. Думать и вообще не хотелось, потому что все нынешние мысли горчили — он переживал неудачную пору. Можно найти утешение в том образе, который он давно лелеял: первый бал. Он входит с молодой женой в балльный зал, и трепещущий свет тысяч оплывающих свечей отражается в ее открытых плечах. Все взгляды обращаются к ним. Его

некрасивость подчеркнута чистой прелестью ее лица, он кажется еще ниже ростом об руку с высокой женой, но все это ничего не значит, тем больше чести победителю. И как бы ни бесились завистники, как бы ни шипели, ни злобствовали скрытые и явные недоброхоты, все невольно склонится перед союзом Первого поэта с Первой красавицей. И это будет его реванш...

Еще не померкло в наплывшей мгле сверкание белых плеч Гончаровой, а мысль, неведомыми путями, устремилась к угрюмо-важному — к новому бремени, которое он принял на свою шею, согласившись стать помещиком. Иного выхода не было: из литературных доходов ему не извлечь те одиннадцать тысяч, которые загадала будущая теща дочери на приданое, будь оно неладно! Пугала канцелярская волокита, но загвоздка не в ней: рано или поздно он сладит с чернильным племенем, вступит во владение «двухсот душ мужеска пола» и тут же заложит их, да ведь эти крепостные «души» обладают живыми человеческими душами, и теперь он за них в ответе. Тут не помогут вольнолюбивые эскапады безумной юности. Он — русский дворянин-земледелец, самой историей поставленный в определенное положение в экономической системе государства Российского. Благосостояние помещика и крестьян тесно связаны. Оброк взаимовыгоден помещику и крестьянину, беда в том, что между ними затесался посредник — язва всех поместных отношений, независимо от того, как он называется: управляющий, приказчик, бурмистр или староста. Тяготы Пушкина усугублялись тем, что в болдинских старостах ходил вор Калашников, отец его старой любви Ольги и дедушка курчавого байстрючка с родовыми ганнибаловскими чертами. Выгнать «дедушку» не станет духа, значит, надо как-то ограничить его хищническую злодеятельность. Калашников разоряет зажиточных мужиков, добрых работников, возлагая на них все поборы и подати, которые должны распределяться между всеми тяглецами. А в пору рекрутского набора ставит в солдаты их сыновей, чтобы содрать выкуп. А ведь рекрутчину можно обратить в регулятор экономической жизни деревни. Сдавать в солдаты надо только бездельников, пьяниц, воров, телесно ущербных, словом, не работников, это очистит деревню, сохранит ее производящие силы и помешает старосте обирать справных мужиков. И тут Пушкин услышал внутри себя дробный издевательский смехок. Опять она!.. С некоторых пор он обнаружил, что в нем поселилась маленькая злая обезьянка. Она может днями, неделями, месяцами не напоминать о себе — и вдруг, в патетическую минуту, в разогреве серьезных размышлений, в подъеме чувств или принятии важнейших решений высунет морщинистую мордочку с желтыми острыми зубками и гнусно захихикает. Он негодует, злится, бесится, но это не производит впечатления на ехидную тварь, и кончается тем, что он сам фыркает и обретает свободу — пусть временную — от высоких чувств и размышлений «басом». В памяти возникла великолепная сцена из шекспировской хроники «Генрих IV», где толстый Фальстаф набирает рекрутов для своего разлюбленного друга принца Галля. Воины Фальстафа носят выразительные клички: Лишай, Бородавка, Мозгляк, Тень! По-

хоже, он хочет распространить на Болдино метод циничного рыцаря¹.

Можешь скалиться сколько угодно, — сказал Пушкин зубастой насмешнице, — меня не собьешь с толка. Каждому овощу свое время. Нельзя требовать от вчерашнего лицеиста мыслей и чувств зрелого, много изведавшего мужа, и безобразно, если будущий отец семейства сохраняет замашки и образ мыслей легкокрылого юнца. Шестисотлетнее дворянство — не шутка, Пушкины никогда не уклонялись от своего долга ни на бранном поле, ни в совете, ни при дворе, ни в сельских вотчинах... Обезьянка так и зашлась от хохота. Возможно, он немного перегнул: ни отец его, ни дядя отнюдь не обременяли себя заботами о сельских вотчинах. Он призван исправить их упущения. Противно, что все его мысли о браке, семейной жизни с тихими радостями... ну, и с балами ипогда, должна же молодая жена ощутить упоение жизни, успех, поклонение, прежде чем дети и дом поглотят ее целиком, — словом, все его скромные мечты о счастье фатально связаны с жуликами управляющими, запашкой, оброком, пьяными, бездельными мужиками, рекрутчиной, закладными, ревизскими сказками, будто он не поэт вовсе, а тот ловкий и дерзкий проходимец, что скупал мертвые души. Прекрасный сюжет, но не для поэзии — для прозы, а это ему покамест не по плечу. Хотя проза давно манит, ох манит, как ни отмахивайся от нее и ни брани «презренной». Если б судьба даровала ему немного покоя, ведь сейчас его заветная пора, когда вся дурь рвется наружу!.. Да разве отпустит чертова карусель?.. К тому же такой сюжет жалко утеснять в маленькую повесть, а пускаться в даль свободного романа на прозаической ладье — боязно. Покой... покой... Покоя нет, покой нам только снится, — произнес он вслух и подумал, что стоило бы записать, тут пахнет стихами, да поленился — он не был крохобором, и слова забылись. Но не исчезли, они унеслись в пространство волнами безбрежного океана, имя которому эфир; оттуда, через много-много лет их выловит чуткое ухо другого поэта и дарует вечную земную жизнь...

Он вернул себе достоинство владельца двухсот душ мужеска пола, когда впереди возник на холме Арзамас лесами строящегося собора. Чем-то Казанский напоминает, — отметилос бегло. В другое время

¹ Примечание автора.

Через несколько лет так оно и станет. Вот список рекрутов, назначенных болдинской экономией в 1833 году:

«Ефим Захаров — течет с ушей

Педышев — рана в ноге

Капрадов — желтью болен

Ананьев — палец левой ноги — крючком»

Кроме того, против каждого помечено «вор». Еще двое в списке были чисты от болезней и увечий, но один из них — Сягин — сбежал по дороге в Арзамас от отдатчика и скрылся в лесах.

Вот какие ратники украсили победоносное воинство русского царя. «Помещицкому» периоду жизни Пушкина мы обязаны не только суровыми крепостническими «Мыслями в дороге», но и горестно-упоительной «Историей села Горюхина» и незабвенным образом Ивана Петровича Белкина, подарившего нам пять бессмертных повестей. Как ни корезит гония — все во благо.

оп паверняка бы задержался в старом русском городе, на скрещении важнейших торговых путей, исторических — тож, но сейчас даже не вылез из кареты, когда меняли лошадей. Он уже четвертые сутки находился в пути и не мог медлить.

А на выезде из Арзамаса путь пересекли обозы, тянувшися со стороны Нижнего. Оказалось, это Макарьевская ярмарка, удиравшая от холеры, что надвинулась на губернию с низовой Волги. Пушкин вспомнил, что и в Москве ходили слухи о холерной эпидемии, но он не придал им значения. И сейчас не оставалось ничего другого, как махнуть рукой на очередную российскую часть.

От Арзамаса до Лукоянова, скучного уездного городишки, шли хорошо, с ветерком, как любил Пушкин. На последнем же перегоне дорога опять испортилась. К Болдину вел не большак даже, а проселок, тянувшийся по жирному чернозему, последнее могло бы порадовать сердце новоявленного помещика, но ленивые кистеневцы и с этой благословенной земли не собирали достаточно урожая, чтобы уплатить барину положенный оброк. И Пушкин досадовал на жирный тук, превративший дорогу в жидко-вязкое месиво. Они не катились, а волоклись, плыли, ползли по псиния-черной грязи. Ко всему из низкой серой тучи безостановочно сочился мелкий дождик, скрывший окрестности, которых, впрочем, и так словно не было. По сторонам ничего не виднелось: ни дерева, ни куста, ни стога сена, только мокрая земля. И так, в сером шепотливом дожде, втащился Пушкин в родовое владение, увидел маленькие, крытые соломой, редко тесом, подслепые избышки, лепившиеся вокруг барской усадьбы, обнесенной завалившимся тыном, и пусто, скучно было на сердце. Вполглаза видел он посыпавшую с крыльца дворню, бородатого старосту Калашникова, мелькнуло бледное лицо Ольги, кажется, она что-то сказала, низко поклонившись, а он пробормотал: «Здравствуй!» На почтительном расстоянии грудилось десятка полтора угрюмых мужиков, баб и сопливых ребятишек. Была какая-то неловкая суета, ни во что не обратившаяся; Калашников, смахивая слезы, разевал рот, но слова застревали в бороде и усах, дурманно возник призрак Арины Родионовны — схожая с ней грузностью и крупным лицом ключница. Пушкин поднялся по шатким ступенькам и вошел в дом своих предков. Здесь пахло печами, сыростью от недавно мытых полов, самоваром и сухими травами. Он находился в историческом гнезде Пушкиных, но волнения не чувствовал, было грустно и неловко.

Проснулся он рано. За окнами занимался сумеречный свет непогожего осеннего утра. Шуршал тонкий, редкий, неиссякаемый дождь; так и будет он тихо сеять весь день на почерневшие соломенные крыши, на жирную грязь, на рано облетевшие деревья, на русые головенки детей, платки баб, гречихники мужиков, на залысую шкуру кляч, на весь этот покорно пнземогающий, забытый богом мир. В воздухе держится влажный белесый кур, застилающий пространство. Из этого кура явятся мокрые, дурно пахнущие староста Михайла и болдинский грамотей, крепостной человек и ходатай по

делам Петр Киреев. Первый — для отчета, оправданий и слезливої лжи, второй — в искренней готовности порадеть барину. Не знающий грамоте Михайла будет во всеоружии неопрятных бумаг и ревизских сказок с точным указанием, кому сколько выдано розог за воровство, пьянство, побитие соседа и старухи матери; Петр Киреев небось уже заготовил прошение на высочайшее имя (такова форма) с кудрявыми оборотами, немислимой орфографией и без знаков препинания, и к этому образцу канцелярского велеречия, взыскующего кистеневских душ, должен будет приложить руку Александр Сергеев сын Пушкин, 10 класса чиновник. Конечно, он не станет разбираться в волшебных ревизских сказках, фальшивых отчетах — все примет на веру, разве что пригрозит Михайле от имени отца лишением доверия, если и впрямь будет утаивать и задерживать оброк; не сможет он дочитать до конца бумагу о «введении во владение» и тем заранее отдаст себя в руки своих подчиненных. Впрочем, о Кирееве он наслышан как о честном малом, беда, что русский администратор даже самого мелкого пошиба тяготеет к усложнениям. А блудный тесть — неизбежное зло, тут уж ничего не попишешь. Да бог с ним, авось как-нибудь все уладится. Пусть хоть ненадолго оставят ему эту прекрасную, дождливую, голую, серую осень с чудными запахами сырых березовых дров, мокрой шерсти и сладкого тления...

Все так и было, как он представлял себе, без неожиданностей. И виновато-фальшивое искательство Михайлы с промельками дрянной доверительности (тестюшка-дед!), и бодрая готовность поверенного Киреева, и тоска ревизских сказок и списков с добросовестным перечнем всех палок, выданных нарушителям сельской тишины (тут Михайла ничего не врал), и велеречивое прошение, которое он, конечно, подмахнул, не прочитав толком, — образец уездной письменности, где «Птицы и протчие Угоды» писались с прописной буквы, равно как и чин автора: «прошение в черне сочинил и на бело переписал Крепостной Его человек Петр Александров, Сын Киреев». Лишь «человек» шел с маленькой буквы. Впрочем, неожиданность оказалась, ее можно было предвидеть, зная легкомысленный характер Сергея Львовича: вместо того чтобы выделить сыну души цельным имением, не сведущий состояния своих поместий «Чиновник 5 класса и Кавалер» отдал ему дворы, разбросанные по всему обширному и беспорядочному Кистеневу. Киреев настоятельно советовал Пушкину ознакомиться на месте с будущими, весьма дробными владениями — новая докука!..

Когда они уже уходили, Пушкин спросил Калашникова, есть ли верховая лошадь. «А как же, барин, небось помним, как вы в Михайловском скакать изволили! — осклабился староста и тут же пустил слезу, намекающую на то, что Пушкин не только скакал во живописным берегам Сороти, но и предавался менее безобидным утехам. — Прикажете подать?» — «Не надо. Я сам. Укажи, где конюшня». Калашников показал. Пушкин натянул сапоги и вышел на заднее крыльцо. Дождь сеялся, как сквозь мелкое сито. За какой-нибудь час его всего измочит до нитки, но не хотелось отступать. Пусть

измочит, пусть он схватит простуду, это скрадывает время, задерживает мир туманом жара, и незаметнее мигнут часы и дни.

Во дворе стоял перослый, плотно сбитый малый лет семнадцати — на каких харчах он так укрепился? — то ли дворовый, то ли просто зевака. Сняв драную шапку, он приветствовал барина. «Ты кто такой?» — спросил Пушкин. «А никто, — ответил малый, добродушно улыбаясь. — В карауле ходил. Меня Михеем звать». — «Ну, Михей, — сказал Пушкин, ничуть не подозревая, что разговаривает с первым народным пушкинистом, который, все так же добродушно усмехаясь, будет рассказывать людям невообразимого двадцатого века о легендарном для них болдинском барине. — Подсобика оседлать лошадей».

Парень оказался расторопным, усердным и даже хотел посадить Пушкина в седло. Это оскорбило ловкого наездника и демократа, не терпящего угодничества. Но Пушкин удержался от тумака — в движении сытого парня не было низкопоклонства, лишь добрая услужливость младшего старшему. «Не убейся, барин, дорога склизкая», — сказал парень озабоченно. «Я крепок в седле», — и Пушкин тронул коня.

Прогулка не оставила приятного впечатления: опасностей он, правда, избежал, но не в силу своего искусства, а по удивительной робости коня, который слушался повода, лишь когда намерения его и всадника совпадали. А быстрый бег по скользкой грязи его намерениям явно противоречил. Пушкин не признавал хлыста, но тут отломил ветку ивы и стал крепко нахлестывать скакуна. В ответ на каждый удар конь обращал к Пушкину недоумевающее и укоризненное лицо, но шага не прибавлял. «Мужицкая закваска!» — подумал Пушкин и перестал требовать невозможного.

Из всей поездки запомнилась лишь встреча с трудолюбивым селянином в близлежащей рощице. Мужик споро, ухватисто и серьезно, как и вообще действуют работающие трезвые крестьяне, когда стараются для самих себя, валил барскую березу. Он поверг ее на глазах подскакавшего всадника и принялся обрубать сучья. Завятия своего порубчик не прекратил и когда Пушкин его окликнул. Оказалось, он слыхом не слышал о приезде барина. «Нешто б сунулся я в рощу? — истоиво говорил мужик. — Хотя, вот те крест, ваше благородие, деревцо позарез нужно. Слепнем в темноте, хошь бы лучинку в светлец сунуть!» — «Ради одной лучинки ты валишь молодую березу? Ей же полста лету. Вот что, братцы! — сказал Пушкин, словно обращался не к одному лесокраду, а к целой сходке. — Подождали бы, право, рубить. Роща молодая — настоящий лучинник, вам же на пользу пойдет. — Он улыбнулся. — Так и скажи мужикам, слышишь?» — «Скажу, барин, все до словечка передам!» — заверил мужик, обрадованный, что сечь за порубку не будут. Но когда Пушкин отъехал, то вновь услышал постук топора, — да ведь не бросать же дерево, коль все равно повалено...

Встреча чепуховая, а разговор даже разумным получился, но почему-то настроение еще ухудшилось. К тому же промок он быст-

рее, чем ожидал. Грязный, взябший, промокший до костей, вернулся он домой, велел согреть воды и налить в чан. Он не ждал, что это поможет от простуды, у него с михайловских дней было заведено: после прогулки — горячая вапна. Вода имелась — для стирки грели, и чан нашелся, но распоряжение Пушкина вызвало оторопь. Здесь мылись лишь по большим праздникам, в печи, и только у немногих зажиточных крестьян топилась баня — по-черному. О банном ублаговторении его лютого деда Лъва Александровича преданий в народной памяти не сохранилось.

Горячая ванна взбодрила, но настроения не улучшила. Простуды тоже как не бывало. Ему предстояло в полной ясности, зверской тоске и раздражении чувств перемогать пустое одиночество...

Другой день его пребывания в Болдине почти ничем не отличался от первого. Все так же лукавил и фальшивил Калашников, озабочивался и бодрился Киреев, старалась мелькнуть бледным смиренным, но в смирении своем требовательным лицом Ольга, створенная за лукояновского пьяницу чиновника, ключница певуче и заботно спрашивала, чем обедать будет? — хотя, кроме гречневой каши и картошки, в доме ничего не водилось. От скуки он принялся проглядывать кляузные бумаги, но скоро утомился перечнем однообразных провинностей и еще более однообразных кар; обращало внимание, что кистеневцев наказывали куда чаще и круче, нежели болдинцев, но и провинности их были крупнее. У болдинцев, отличавшихся приверженностью к горячительным напиткам, дальше дебоша в питейном заведении или в собственном доме не шло, пьяные кистеневцы, оправдывая свое прозвание, пускали в ход кистени, пожи и топоры — проливалась кровь; они были охочи до общественной ржи, барского овса, гречи и конопли, постоянно злоумышляли против чужой собственности и отличались ослаблением патриотического чувства: от рекрутчины уклонялись, сданные в солдаты пускались в бега. Пушкин решил послушаться совета Киреева и съездить в Кистенево, дабы собственным глазом обозреть будущие владения и оживляющие их фигуры, равно и познакомиться с тамошним наместником, по намекам дворни еще большим выжигой, чем Михаила Калашников.

Пока ему седлали лошадь, подошел давешний малый Михей и спросил со своей добродушной улыбкой:

— Барин, а зачем в чане полощешься?

— Для здоровья, — усмехнулся Пушкин.

— Вон-на! — подивился Михей и воздел горé доверчивые голубые глаза.

Когда Пушкин, завернув по пути к роднику с на редкость свежей и сладкой водой — кастальскому ключу, увы, не дарившему вдохновения, — прискакал в Кистенево и спросил прохожего старичка, где найти старосту, тот ответил ласково: «У конторе своей, ваше здоровье». Как могло с такой быстротой возникнуть и разлететься по округе прозвище? Можно подумать, что улыбчивый Михей, обув семимильные сапоги, помчался в Кистенево с ошеломляющим сообщением, что барин для здоровья полощется в чане с горячей водой.

Но ведь нужно время, чтобы родилось прозвище, и разные люди прокрутили его на языке, опробовали на вкус, лишь тогда, хорошо смоченное слюной, может оно затвердеть и навек присохнуть. Даже в городе, где все быстрее, молвь не разносится так стремительно. Без нечистой силы тут явно не обошлось. Прозвище не обидное, но и не уважительное, есть намек на чудаковатость молодого барина. Надо поскорее развеять заблуждение кистеневцев — барин приехал не шутки шутить. Пока он размышлял, как обуздать кистеневцев, пока жевал свою ложь жулик староста, убедив лишь в одном: вникать в путаницу, созданную легкомыслием Сергея Львовича, нет смысла, важно лишь, чтоб шел оброк, а всякое соприкосновение с живым крестьянским обиходом только усугубляет неразбериху, у него угнали лошадь. Об этом восторженно сообщил белобрысый мальчонка, внучек старосты. Лошадь в конце концов отыскалась, вернули ее без выкупа, но Пушкин решил про себя: в Кистенево больше ни ногой.

Еще более огорченный и сбитый с толка неумным охальством замордованных сельских жителей, Пушкин по распогодившейся и сразу сыскавшей где-то багрец и золото, горьковато запахшей осени вернулся домой, принял «оздоровительную» ванну, пообедал щами с гречневой кашей и любимым печеным картофелем и сел к окошку, глядевшему на пустырь за домом.

То была обширная земля, заросшая жесткими высокими травами: таволгой, волчцом с сухими коробочками, набитыми ватой, иван-чаем, от которого остались мертвые метелки на ломких почерневших стеблях. Низкорослый кустарник — больше по краям — тщился вырваться из цепко опутывающих трав и обрести древесное достоинство. Посреди пустоши проглядывала голубым глазком вода заросшего прудишки. Пушкин с раздражением думал о своем деде Льве Александровиче, в котором ценил чистоту русского феодального типа: неверную жену сгноил на соломе в домашнем узилище, а соблазителя-французика то ли повесил, то ли высек на конюшне; ну, что бы старому бездельнику разбить на пустыре сад? Сидел тут, отверженный от двора Екатерины, с краю пустыря и хоть бы пальцем пошевелил, чтобы сделать свою жизнь наряднее и привлекательней. Понятно, почему забитая жена, презрев страх, кинулась на шею обходительному «мусью». На что уж беспечен и неумел Сергей Львович, а и тот завел в Михайловском прелестный сад. Неужто старому ревнивцу не тошно было глядеть на эту пустоту? Хорошие виды открываются из помещичьего дома: по одну сторону сопревшие соломенные крыши, по другую — бурьян, чертополох и «протчая» сорная растительность. Что стоило насадить яблони, вишни, разбить клумбу, увенчав ее стеклянным шаром, проложить песчаные дорожки и высадить вдоль них табачки, дивно благоухающие по вечерам, вырыть порядочный пруд и напустить туда золотых карасей? Чем он занимался томительно долгими днями? Травил зайцев, стрелял мелкую лесную дичь, объедался, пил горькую, сек дворню и наслаждался мучениями узицы-жены. Славный предок!.. Любопытно, что у Пушкиных и Ганнибалов схожие пороки и схожие добродетели,

если легкомысленные, чрезмерную пылкость и склонность к виршенлетству можно считать добродетелями, впрочем, им не откажешь в верности, только не в семейной жизни. И среди Ганнибалов, и среди Пушкиных одни отличались бешеным нравом, другие неправдоподобной беспечностью и тягой к удовольствиям. Неудивительно, что древний русский род и не менее древний — африканский — тянулись друг к другу.

Запоздалое осуждение нерасторопности дедушки Льва и отсутствия в нем эстетического чувства не могло изменить пейзажа за окнами. Пушкин решил удовольствоваться тем, что есть, и прогуляться до запримеченной утром левады с молодой липушкой, сохранившейся на верхушке несколько темных сердцевидных листиков. Он вышел из дома через черный ход, не спеша пересек пустырь и оказался на пасеке, о существовании которой не подозревал. Десятка три синих домиков стояло с края поля, была и опрятная избушка пчелника, крытая корьем, рядом — колодец, а дальше в земляном увале была вырыта скамья и покрыта дерном. Пушкин подошел к скамье, потрогал рукой — сухо, то ли солнце выпарило влагу, то ли унесли на одежде сидевшие тут люди. Он опустился на мягкий, упругий дерн, наконец-то в колючем здешнем мире оказалось хоть малое удобство. Ни в одном крестьянском дворе Пушкин не видел ульев, похоже, это занятие неведомо болдинцам; во владениях Сергея Львовича пасека тоже не числилась, меда к чаю не подавали. Откуда же взялось это медовое хозяйство, отличающееся не болдинской опрятностью и основательностью?

— Здравствуй, барин Александр Сергеевич! — послышался молодой грудной женский голос.

Казалось, голос родился в дреме, он прозвучал не извне, а внутри Пушкина. Он провел рукой по глазам, тряхнул кудрями, поднял голову и увидел высокую, статную девушку в крестьянском сарафане, домодельного полотна рубашке и новеньких лычных писанных лапоточках. Обычная деревенская одежда была такой чистой, свежей, яркой, как будто девушка сошла с картины живописца Венецианова. Она казалась ряженой. Округлое доброе румяное лицо, удлиненные карие глаза и тонкие длинные черные брови, которые называют соболиными, — красивая девушка. Даже слишком красивая!.. Какая-то странная неправда была в ее красоте, как и в нарядной одежде. Под платком у нее угадывались уложенные коронкой девичьи косы, и они подсказали Пушкину, что незнакомка вовсе не так юна: по деревенским представлениям, тем паче болдинским, где шестнадцатилетние невесты идут за четырнадцатилетних женихов, она перестарок.

— Здравствуй, — сказал Пушкин. — Ты кто такая?

— Февронья! — девушка засмеялась. — По-нашему — Хавронья.

— Февронья — прекрасное имя, старинное, сказочное. Хавронья — гадость. Любят у нас издеваться над именами: Елена — Алёна, Флор — Фрол... А чего ты тут делаешь, Февронья?

— То же, что и вы, барин, — снова засмеялась девушка, — мечтаю.

Удивляла ее чистая, не деревенская речь, смелость и слабый привкус насмешки — над ним или над собой? А может, это маскарад и она — барышня, не крестьянка? В такой глуши ум за разум зайдет, вот и придумала себе развлечение бойкая помещичья дочка: вырядиться крестьянкой и поморочить голову приезжему из столицы. Неплохой сюжет для повести. Но жизнь не настолько игрива и затейлива. Это простая девушка, живущая или жившая при господах и обучившаяся городской речи.

— Чья ты? — спросил Пушкин.

— Батюшкина, — она шутливо вздохнула. — Никого у меня больше нету. Матушка умерла, а замуж не берут. Вековуха.

Его огорчило, что он угадал ее возраст.

— Я не о том спросил. Чьи вы с батюшкой?..

— Божьи!.. А были вашего дяди Василия Львовича крепостные люди. Батюшка выкупил нас за десять тысяч рублей.

— Твой отец выложил десять тысяч? Ну и ну! Хотел бы я иметь такие деньги.

— А вы попросите, Александр Сергеевич, батюшка вам не откажет...

— Я подумаю, — пробормотал Пушкин. Он не улавливал ее интонаций — была ли тут только наивность с легкой примесью гордости: вон какой у меня отец, может и помещика выручить, или же Февронья вложила в свои слова насмешку над барином с худым карманом?

Великий остро слов, Пушкин, как никто, умел высмеять, отбрызгать зарвавшегося собеседника, но вся находчивость покидала его от чужой насмешки, особенно — нежданной. Потом он придумывал множество блестящих ответов, едких шуток, разящих выпадов, но было поздно. Осадить Пушкина мог человек вовсе недалекий, простодушная женщина, ребенок. Он злился, что не сумел ответить, но девушка стала ему еще интересней. И что она здесь делает, ведь деревенские не прогуливаются в будние дни. Им нужна цель, чтобы идти со двора: по хозяйственной заботе, купаться на реку, в лес по грибы — по ягоды, в рожь или под стог — на свидание. Для всего этого сейчас не время, для меда — тоже.

— Откуда ты взялась? Я не видел, как ты подошла.

— Я из сторожки вышла, — сказала Февронья, глядя ласково и словно бы ободряюще.

— А чего ты там делала?

— Вас поджидала, — и опять не поймешь: насмешничает или всерьез говорит.

— Чья это пасека?

— Отца моего. Вилянова Ивана Степаныча.

— Тогда понятнo! Значит, я вторгся в чужие владения?

Она улыбнулась.

— Почему ты молчишь?

— А что я должна сказать?.. Вы ведь шутите. Я улыбаюсь вашей шутке.

— Мудреная девушка! — Пушкин тряхнул спутанными кудрями. — А что в сторожке делала?

— Ведь сказала: вас ждала.

— Смелá! Откуда ты знала, что я приду?

— А я и не знала. Просто ждала. Вчера ждала, сегодня, завтра бы опять ждала. Когда-нибудь пришли бы. Куда деваться-то?

— Ну, смелá!.. Неужели я такой старый, что меня и бояться не надо?

— Какой же вы старый? — она говорила серьезно, с желанием, чтобы он поверил. — Девушка к тридцати — перестарок, а мужчине еще молоденький. Волос маленько поредел на макушке, но вы — молодцом и на портрет свой похожи. Мне бабушка из Нижнего привез. Только вы... — она замялась, — не сердчайте, махонький.

— Думала — гренадер?

— Ага. А вы мне по плечо.

— Не беда! — он побледнел от бешенства и облизал враз пересохшие губы. — Обойдусь без лестницы.

Он стремительно шагнул к ней и крепко обнял, вложив в движение излишнюю силу, она и не думала отстраняться. Он почувствовал, как под руками что-то нежно хрустнуло, и ослабил хватку. Всем большим и теплым телом она прикинула к нему, беспомощно навалилась, и пришлось напрячь мускулы, чтобы удержать ее. Он обонял молочный запах чистого тела и полотняной ткани. Пушкину хотелось поцеловать ее в губы, но не дотянуться было. Тогда он стал отступать к дерновой скамейке и вдруг почувствовал сопротивление. Но теперь он верил ей и подчинился. Девушка не просто упиралась — сама влекла его куда-то. К сторожке. У порога Пушкин наклонился, поднял ее, ударом ноги распахнул дверцу и внес в пахнущий душистым сеном сумрак. Он угадал справа лежак, крытый ярдом, и осторожно опустил на него Февронью.

Он ждал отпора, девушка была сильной, но ее готовность, нелюбая, торопливая покорность отрезвили его. Все это уже было. Издалека наплыло жалкое, испуганное лицо Ольги Калашниковой. Потом Ольга полюбила его, так ему, во всяком случае, казалось, но в первое, страшное для девушки свидание ею двигала лишь тупая подчиненность барину, втемяшенная в слабую голову наказаниями Аришны Родионовны. Он не хотел повторения. Не разумом, сама плоть воспротивилась этому.

— Прости, — сказал он хрипло. — Я забылся... Ты красивая, добрая. Дождись своего человека.

— Александр Сергеич, милый друг, — сказала она вразумляюще, как ребенку. — Мне не нужен другой человек. Вы забыли — я же вольная.

Она угадала, что в нем происходит, это говорило о немалом душевном и, наверное, женском опыте. Волна накатила и захлестнула.

Потом Февронья тихо плакала, и он не удержался от ненужного вопроса:

— Почему ты не сказала?

— Зачем?

- Чтоб не плакать.
- Потому и не сказала. Я не честь свою оплакиваю, я — от счастья.
- Странная ты девушка.
- Женщина, — поправила она.
- Ты правда не жалеешь?
- О чем жалеть? Это мечта моя: подарить себя тому, кого люблю. А я вас загодя полюбила. Вы не жалейте, Александр Сергеевич, и ничем себя не упрекайте, не томите. Вы мне счастье дали.
- Что ты — как прощаешься?
- Нет, я не прощаюсь. Будут у нас встречи. Да ведь придется же...
- Придется. Чего мне тебя обманывать? Я — жених.
- Завидую я вашей невесте, Александр Сергеевич! — послышалось с лежачка.

Пушкин расхохотался. И с этим громким, не циничным, но откровенно признающим свою человеческую слабость смехом пришло к нему освобождение, великая, давно забытая легкость, спасавшая его душу во всех тяготах не столь долгой, но бурной жизни. Только сейчас он понял, как тяжело, кромешно, душно жил в последние годы. Духота была во всем: в испрашивании разрешения на каждый, дозволенный любому человеку шаг, в надзоре и слежке голубых мундиров, в вечных подозрениях и придирках властей; духота была в сватовстве, на которое он, человек не чиновный, не занимающий никакой должности, обязан был получить согласие царя; духота в отношениях с тещей — алчной угрюмой ханжой, в домогательствах патриарха семьи, Дедушки, впившегося в него, как клещ, — хотел загнать казне через Пушкина бронзовую Бабушку — статую Екатерины, отлитую в запоздалом угождении на гончаровских заводах, и даже в холодном совершенстве его невесты, замороженной Мадонны, которая когда-нибудь оттает, но только не для него, в сплетнях и пересудах, сопровождающих каждый его шаг, бешеной журнальной травле, а главное — в невозможности хоть на время вырваться из этой духоты и глотнуть свежего воздуха. Но самое печальное: он позволил себя затравить, он расчесывает ранки журнальных укусов — и они не заживают, он утратил тот сосредоточенный покой, в котором перемогалось житейское волнение; нервный, издерганный, легко плачущий, он стал на себя непохож. Но самым нетерпимым был разговор в доме на Никитской: оскорбительные нотации тещи, ее полуобещания-полуотказы, завершившиеся согласием, которому не было веры, настороженность и отчуждение на прелестном лице той, которой он жертвует душевной свободой, своим единственным достоянием, она не дала ему и тени радости, не подарила и жеста доброты. Так бывает на сцене, когда бестемпераментность одного актера заставляет другого играть за двоих. На театре это изнурительно и докучно, в жизни — доводит до отчаяния. Лишь одного добился он: твердой уверенности, что счастье — не для него. Его сильное тело, обреченное на отшельническое воздержание, стало ему в тягость. Он, привыкший быть радостью для женщин, столкнулся с

таким пренебрежением, что потерял уверенность в себе, порой казалось, что в доме на Никитской проведали о каком-то его тайном ущербе, уродливом изъяне.

А сейчас эта чистая, красивая, сильная девушка, отдавшая себя так щедро и полно, вернула ему веру в свое мужское достоинство, вернула к самому себе. И успокоившаяся плоть не докучала больше унижительным скулежом, он вновь был тем Пушкиным, который мог любой женщине подарить и забвение, и счастье. Благодарность, нежность, плавающая сердце, признательность — до горлового спазма — за ничем не заслуженную жертву слагались в чувство, близкое любви.

— Мы будем с тобой, — сказал он. — Долго будем. Каждый день будем...

— Пока вы не уедете, — тихо договорила она.

В сторожке пасечника, на краю левады занялась болдинская осень.

Плетнев раньше всех оказался сведом, что забил небывалый родник. Но он еще не знал, что первым выплеском из таинственных недр была созданная 8 сентября «Элегия», быть может, вершина пушкинской лирики. В этом стихотворении — «программа» болдинских дней:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

И было то невиданное чудо, которое вот уже полтора столетия не перестает поражать, волновать и томить загадкой всех, кто отзывается поэзии, и тех, кто, не отзываясь, ею ведает. В одухотворенной легкости трех дождливых месяцев обрели форму и завершение наброски, так небрежно брошенные в черную кожаную шкатулку, рождались новые стихи, проза, драматические прозведения, критика, первозданными словами оплакивались старые разлуки, возник странный двойник автора — недалекий, смиренный, полуразорившийся помещик Белкин, пересказавший с чужих слов несколько грустных и веселых историй и ставший в поколениях куда реальнее своих современников из плоти и крови, с неутомимого пера стекали эпиграммы, «шалости», капли полемиического яда. Победная легкость, овладевшая поэтом, верно, помогла быстро решить кистневские дела и разобраться в болдинской маете. «Ваше здоровье», сохраняя шуточный тон с мужичками, несколько озадачил их твердым спросом по части повинностей. Даже произнося с церковного амвона проповедь о холере (во исполнение своего помещичьего долга), Пушкин вещал, что погибельная напасть послана мужикам в наказание за нерадение, пьянство и задержку оброка...

Холера меж тем, пощадив Болдино, неудержимо надвигалась на Москву, где в доме на Никитской невеста поджидала жениха. Не боясь холеры для себя, испытывая тот прилив душевной бодрости, которую московский генерал-губернатор Закревский считал главной

защитой от заразы (граф оказался предтечей чреды российских администраторов, зрящих в социальном оптимизме панацею от всех бед), Пушкин удобно придумал, что Гончаровы заблаговременно покинули угрожаемую столицу. Когда же убедился в своей ошибке, то заметался в жестоком беспокойстве. Да, он бесился, рвался в Москву, очертя голову расшибался о ближнюю или дальнюю карантинную заставу, возвращался назад и с поражающей легкостью входил в привычную колею с захлебным писанием, скачкой по раскисшим полям, горячей ванной и любовью Февроньи.

Опутанный запретами чуть не всю сознательную жизнь, Пушкин болезненно ощущал ограничение физической свободы — отсюда его неперестанная тяга к дороге, к перемене мест, создававшая дополнительные трения с Бенкендорфом, а стало быть — с державным цензором. Он был искренен в своем стремлении вырваться из карантинного кольца и соединиться с невестой в холерной Москве, но как странны его письма к Наталии Николаевне! За риторикой отчаяния плохо прячется отменное настроение, не отделимое у Пушкина от юмора. Он слишком много и хорошо острит для несчастного, отторгнутого от любимой, допускает небрежности, повторы. Наталия Николаевна не могла читать развеселых писем, которые он строчил своим друзьям одновременно с «отчаянными» письмами к ней, но в ней пробудилась женская пронизательность, позволившая уловить двусмысленность тона нетерпеливого жениха, так философски смирявшегося с очередной отсрочкой свидания. Она приревновала его к толстой княгине Голицыной, у которой Пушкин разузнавал о холерных карантинах. Это было единственное женское имя, мелькнувшее в письмах из Болдина, и, за неимением ничего лучшего, Наталия Николаевна обратила ревнивый гнев на неповинную толстуху. Ошибка вполне извинительная, но точность женского чутья в юном существовании, угадавшем суть происходящего в Болдине, замечательна! Пушкин с завидным достоинством отводил неуместные подозрения.

Одна Февронья ничего не требовала, не просила, не выгадывала — просто любила. И, отдавая себя всю, получала в награду счастье, единственное на всю жизнь.

Февронья Вилянова не могла слышать о другой девушке — немке Ульрике Левецов, жившей в одно время с ней, которую любил и хотел сделать своей женой гений немецкой поэзии Гёте. Ульрике не хватало широты или бесшабашности, чтобы пойти навстречу року — она отказала Гёте. В этом она отличалась от бесстрашной русской девушки, в остальном судьбы их поразительно схожи: обе прожили долгую, длиною в век жизнь и умерли незамужними; обе не обмолвились ни словечком о проснявшем им в молодости свете. Ульрика обладала правом выбора — Гёте был ей ровня, у Февроньи такого права не было. Зато она получила в подарок болдинские стулья и увезла их в свой арзамасский дом, а Пушкин занял у отца ее Вилянова десять тысяч рублей, которые не успел отдать за преждевременной смертью. Сергей Львович уплатил долг сына землей. Русская история, как положено, — с угарцем, но она теплее...

Приблизился декабрь, и худо стало в летней, неотапливаемой сторожке, любовники дрожали от пронизывающего ветра, дувшего в щели, от сочившейся сквозь плохо пригнанные тесины снеговой воды. Они согревались друг о дружку, из двух остудий рождался жар. И все росло в душе Пушкина чувство вины и перед той, что обречена на разлуку, и перед той, что ждала его. Уже нельзя было оправдываться карантинном, путь на Москву был свободен. Он простился с Февроньей стихами, обращенными к покойной Ризнич — большой, величественной, как Афина Паллада, к ее челу просился сверкающий шлем воительницы — литература сильна и счастлива сублимацией. И Кастальский ключ иссяк.

Живого прощания не было, Пушкин сказал только:

— Я еще приеду...

Февронья не плакала, для этого она была слишком несчастна.

Когда покидали Болдино и тяжелая карета, уже раз обрушившая гнилой мост через Сазанку, опасливо пересчитывала новые бревна, Пушкин спросил себя: куда и зачем он едет? Все было здесь: счастье, любовь, покой, неудержимо льющиеся строки. Чего он ищет — ярма, забот, тревоги, самообмана, страшного опаматования? Все известно наперед, но ничего поделать нельзя, он был обречен.

У КРЕСТОВСКОГО ПЕРЕВОЗА



Он говорил:

— Неужели вы хоть один день не можете провести дома?

Она смеялась: «Ах, Дельвиг!..»

— Я вас прошу остаться! — Это строго. И умоляюще: — Я вас очень прошу!

— Ах, Дельвиг, ну какой ты, право!..

Она что-то делала со своим лицом перед зеркалом, со своим холодным, лживым, прелестным, все еще любимым лицом. Разъединяла булавкой кончики длинных ресниц — ужасная операция, от которой у него щемило позвоночник, длинным ногтем убирала помаду с темной вмятинки в уголке рта, трогала пуховкой подбородок и гладкий лоб, немного загоревший вопреки всем предосторожностям на скудном солнце петербургской окраины, — они опять снимали дачу у Крестовского перевоза, на тихой зеленой Котловской улице.

— Можете вы уделить мне минуту внимания?

— Несносный тиран!.. Я тороплюсь, опаздываю!..

— Куда вы опаздываете?

— Не скажу, тебе это неинтересно!

— Позвольте мне самому судить о том.

— Не судите, да и не судимы будете. — От неуважения она го-

ворпла первый пришедший на ум вздор. Сорила словами, не желая сделать ради него даже маленького мозгового усилия.

Внизу послышался шум подъехавшего экипажа и железный оклиз на булыжнике подков осаженных лошадей. Хлопнула входная дверь, и дом наполнился свежим, грудным, самоуверенным и ненавистным голосом Анны Петровны Керн, спрашивающей прислугу, дома ли барыня и можно ли ее видеть.

— Иду!.. Иду!.. — по-дачному бесцеремонно крикнула Софья Михайловна, но при этом осталась на месте и еще старательнее занялась своим лицом.

— А-а!.. — сказал Дельвиг. — Теперь мне действительно невентресно.

— Вот видишь... — уронила она рассеянно.

О вечная антитеза — поэзия и правда! Анна Петровна Керн, которая в поколениях станет воплощением поэзии, любви и красоты, была для Дельвига просто светской вертихвосткой («Блудница Вавилонская» — называл ее полусхотливо Пушкин), помощней совращению его жены.

И все же, Дельвиг, признайся: утро любви было прекрасно!.. Да, ибо он сумел крепко закрыть глаза на то, что до него юная Софья Михайловна уже пережила бурный роман с неким Гурьевым и еще более пылкую любовь с Петром Каховским, будущим декабристом. Они замыслили бегство, но Софья Михайловна вдруг охладела к Пьеру Каховскому. И вовремя... Отец ее, Салтыков, галломан и «якобинец» — сочувствовал жирондистам, — известный в «Арзамасе» как «почетный гусь Михаил», напуганный темпераментом юной дочери, поторопился принять предложение небогатого и нечиновного Дельвига. Софья Михайловна была заинтересована и взволнована переменной судьбы, и Дельвиг наввно принимал это за ответное чувство.

Молодые поселились на Большой Миллионной в доме Эбелнга, и в холодном, чопорном Петербурге появился теплый угол, привлекавший Пушкина, Одоевского, Плетнева, Яковлева, позже Глинку и гостей столицы: Баратынского, Веневитинова, Вяземского. Молодое очарование и тонкая музыкальность хозяйки, ум, талант и доброта хозяина превратили скромный дом Дельвигов в настоящий литературный салон без пошлости, жеманства и претенциозности других столичных салонов. Да, то был истинный приют муз, ставший настолько необходимым многим достойным и одаренным людям, что Дельвигам пришлось упорядочить свои сборища, придав им форму постоянных литературно-музыкальных сред и воскресений. Дельвиг был счастлив — начали сбываться взлелеянные с юности мечты об идиллическом, безмятежном, овеванном тонкой духовностью бытии об руку с любимой.

Когда пошли трещинами и пятнами белые своды семейной обители? Он и сам затруднился бы сказать. Похоже, с появлением Анны Петровны, вскоре поселившейся для удобства общения в одном с ними доме. Возможно, дело сделалось и до нее, и, познакомившись с Софьей Михайловной, опытная, смелливая «дама Керна» сра-

зу поняла, что обрела верную подругу и сообщницу в своей вызывающе смелой женской жизни.

Все же — так уж он был устроен — Дельвигу и сейчас хотелось лишь одного: опять начать верить жене, взвалив ее грехи на красивую, стройную и выносливую шею Анны Петровны. Одно ласковое слово, одна уступка — никакого раскаяния, оно может лишь все усложнить, — и он забудет о своей ревности, муках, поздних ожиданиях, едких слезах, туманивших очки. Он был способен на большее, нежели прощение, мог выбросить из памяти сердца и памяти рассудка — по очаровательной и наивной классификации Батюшкова — все, что отравляло ему жизнь последних лет. Похоже, Софью Михайловну ничуть не занимали его душевные построения. У другого человека подобная непробиваемость могла идти просто от глупости, неразвитости. Но Софью Михайловну в глупости не обвинишь, ее поверхностный женский ум отличался и тонкостью и остротой. Она любила общество, стихи, музыку и сама превосходно играла на фортепиано, была чувствительна, сострадала чужому горю, умилялась над животными. Но когда феи осыпали новорожденную Софи своими дарами, осыпали щедро, не скупясь ни на красоту, ни на таланты, ни на удачу, к младенческой колыбели не пришла лишь одна фея, та, которая увенчивает добродетелью, — скучная, красноносая, добрая фея морали. Но если отбросить шутки сквозь слезы, то несомненно: в пору, когда закладывается и строится человеческая личность, Софье Михайловне просто забыли объяснить некие общезвестные и общепринятые правила. В бредовом доме Салтыкова такое вполне возможно. И бедняжка не знает, что в мире существуют определенные нравственные нормы. Манон Леско славного аббата Прево — вот ее тип! Женственность, очарование, нежность, безмерная прелесть — и никаких моральных запретов. Если она стала сейчас холодна, уклончива и неприятна, то лишь потому, что ее раз за разом загоняли в угол. А так ничего злобешего, никакой дьяволиады — убийство с улыбкой на устах, безвинное убийство. Она знать не знает, что от этого умирают, и никогда не поверит, что ее удовольствия могут быть смертельными для другого человека. Пока она не научилась отмалчиваться, ускользать, ее большие, ласково-невинные глаза смотрели на разгневанного мужа с кротким, обезоруживающим удивлением. «Ну, что тут такого, господи?!» — читалось в них. К ней не подступишься ни с какой стороны. И все-таки он сделал еще попытку.

— Малышка все время кричит, когда тебя нет.

— Чепуха! — сказала она резко. — Разве она понимает, здесь я или ушла?

— Может, у Даше не хватает молока? Она же кормит своего.

— Если у кормилицы нет своего, откуда взяться молоку? — усмехнулась Софья Михайловна, выщипывая крошечными щипчиками волоски на переносье. — Ты думал, я сама буду кормить?

— А почему бы и нет? Я считаю, каждая мать должна сама кормить свое дитя.

— Прекрасное правило домостроя! Вот бы и женился на Даше.

Она говорила просто так, отталкивая звуковые волны, насылаемые на нее мужем. Его соображения и чувства ничуть ее не занимали. Важно было лишь то, что ждало ее впереди. И тяга была столь велика, сокрушительна, необорима, что он мог бы на коленях молить ее остаться, рыдать, заламывать руки, грозить оружием, стрелять, наконец, — все тщетно. Пока в ней жива кровь, она все равно будет стремиться туда, раненая поползет, как собака с перебитым хребтом. То было явление природы, а не слабой человеческой сути.

— Можете вы раз в жизни исполнить мою прихоть? — сказал он измученным голосом.

— Какую еще, Дельвиг?

— «Еще»! Можно подумать, что я постоянно обременяю вас своими просьбами. Оставайтесь дома.

— Глупенький Дельвиг!.. — Последний быстрый взгляд в зеркало, и вот она уже метнулась к двери, обдав его теплой волной.

— Когда ты будешь? — спросил он вдогон.

— Буду, милый, буду... Куда я денусь?.. Всегда буду с тобой... до гробовой доски... — Голос ее затух, затем всплеснулся, когда она увидела Керн, и дамы приветствовали друг дружку восторженными междометиями. Но вот замер их птичий щебет, натужно скрипнула прележка, и цокнули копыта лошадей. Все!..

А ведь это счастье — так стремиться куда-то! И пусть в апофеозе безудержного порыва — пошлый франт, или раздушенный камерюнкер, или гусар, пропахший табаком и жженкой, — правы француженки: важно хмельное вино, а не бутылка. И в ключья все приличия, обязательства, в ключья сердце человека, которому ты клялась в любви, с которым стояла перед аналоем...

Дельвиг прошел в маленький кабинет, притемненный парусиновыми маркизами. Тяжелое, жаркое, не свойственное Петербургу солнце ломило сквозь плотную ткань, над письменным столом то набухало, то сокращалось пыльное светлое облачко. Он достал из ящика стола недавно написанное стихотворение: «За что, за что ты отравила неисцелимо жизнь мою». Ему казалось, что грубая обнаженность только что разыгравшейся сцены заставит его переписать последнюю строфу, обесценивающую жгучую горечь целого, но тешившую душу каким-то отрицательным проявлением силы. Он вдруг поверил, что может вырваться из рокового круга, очерченного его деликатностью и несчитанием с собой, если, отбросив все приличия, закричит в голос, завоет так, что небу станет жарко, глядишь, и повернется, заскрежетает, ржавая ось его судьбы. Он перечел стихотворение, последнюю строфу вслух:

И много ль жертв мне нужно было?
Будь непорочна, я просил.
Чтоб вечно я душой унылой
Тебя без ропота любил.

И понял, что никогда не перепишет этих слов мольбы и смирения, ибо неоткуда взять ему иных чувств. Пусть он не большой поэт, но всегда оставался в стихах самим собой.

Тут внутри у него произошел некий прочерк, и он задумался о человеке, которым прежде ничуть не интересовался. О генерале Керне, одном из героев Отечественной войны. Когда Керн подымал свои полки в атаку, если только он вообще подымал полки — Дельвиг не знал, в каком роде войск служил генерал, — где-то в усадьбе тихо расцветала прелестная девочка с огромными глазами. Затаив дыхание, она слушала по вечерам рассказы взрослых о злодее Буонапарте, о героизме русских воинов и, засыпая, по-детски мечтала о герое, увенчанном лаврами победы. Девочка стала прекрасной девушкой, и увенчанный лаврами герой предложил ей руку и сердце и свое незапятнанное, овеянное славой имя. Все это легко приняла очаровательная Аннет и стала госпожой Керн, как-то разом отлившись в победительной стати даму. И столь же быстро украсила чело мужа развесистыми рогами, в многочисленных отростках которых потерялся увядший лавровый веночек. И пал духом бесстрашный воин. С любезной, почти заискивающей улыбкой он пожимал руки шалопаям, открыто волочившимся за его женой, играл в карты с ее любовниками, почему-то всегда проигрывая, стал притчей во языцех светской черни, мгновенно забывшей о его заслугах. И — о великая сила литературы! — воспетая дивными стихами Пушкина, Анна Петровна бесстрашно глядела в загадочное лицо вечности, ничуть не заботясь пересудами окружающих. А человек, славно послуживший Отчизне в трудную годину, стыдливо потуплял взор, будто знал за собой что-то дурное. Генерал Керн все же нашел в себе силы уйти от унижения, дав жене развод. Сам он отступил в тень, где не видать стало позорной его короны, и спас лицо. Но любил ли он по-настоящему Анну Петровну или же в нем затронуты были лишь второсортные чувства — самолюбие, тщеславие, гордость? Было ли его отречение смертной мукой или просто умным ходом опытного в житейских бурях человека? И разве Дельвигу лицо надо спасти? Сердце. Ведь он любит Софью Михайловну. Он любил ее на заре, когда видел в ней кладезь достоинств, и едва ли не сильнее любит сейчас, когда все достоинства оказались мнимыми: неверная жена, равнодушная мать, плохой друг.

В чем же тогда ценность и святость любви? В том, что она делает с тобой самим. Когда чужая жизнь становится важнее и дороже собственной, человек подымается над своей малостью, ограниченностью, освобождается от низкой земной тяжести. Все это высоко и прекрасно, но к его случаю отношения не имеет. Прославленное поэтами чувство не только не подняло его, напротив — втоптало в грязь.

Послышались странные, скрипучие звуки. Дельвиг вздрогнул, он никак не мог привыкнуть к сухому, старческому голосу, рождающемуся в нежной гортани его полуторамесячной доченьки Лизы. Каким образом мягкое вещество, составляющее нутро младенца, может исторгать такую ржавь? Да и больно ей, поди! Опять небось нянька заснула?..

Он спустился вниз и вошел в детскую, остро пахнущую младенцем. Окна были плотно затворены. Как будто можно простудиться

при такой жаре. Да и хорошо ли ребенку дышать спертым воздухом? Надо бы с врачом посоветоваться, сам он не посмеет отменить распоряжений Софьи Михайловны. Молодая нянька с красным заspanным лицом старательно трясла Лпзу и «приулькивала» фальшивым, набитым зевотой голосом.

— Опять ты спишь, Мотя?.. Ведь сколько раз говорили...

— Спишь, спишь... Это кто спит-то? Вечно напраслину возводите! — Мотя сразу взяла самую высокую ноту. Он заметил, что она не называет его «барин». Как и все в доме: горничная, кухарка, кормилица, — эта новенькая Мотя полагала барыней лишь Софью Михайловну.

— Кормилица еще не приходила? — спросил Дельвиг, глядя на крошечное обезьянье личико своей дочери с кисло зажмуренными глазками и мучаясь безысходной жалостью к этому уже заброшенному существу.

— Нешто сами не видите? — вовсе дерзко отозвалась Мотя. — Придет, когда надо, — добавила снисходительно по юной доброте.

Дельвиг постоял еще, целовко повернулся и вышел. Полутемный кабинет, прогретый солнцем сквозь маркизы, подарил его ощущением свежести. Он взял гранки «Литературной газеты» и вернул за пах детской — типографский набор всегда отдавал мочой. Прилег на диван и стал протирать фуляром запотевшие очки. Гранки сползли на пол, он не заметил этого... Я мог бы посвятить себя дочери, родилась внутри него торжественная фраза. Но что это значит?.. Заходил бы каждые четверть часа в детскую, натываясь на грубость этой или другой Моти, задавал бы праздные вопросы и, надышавшись спертым воздухом, показывал няньке свою сутулую и невесть почему виноватую спину. Я мог бы следить за форточкой, чтобы ее держали открытой, за кормлением... Но, вспомнив громадную связку грудь с лиловым расплывшимся соском, почувствовал дурноту и скорее перенесся на несколько лет вперед, когда Лпзонька будет обходиться без услуг кормилицы. Сладко, до слез сладко помечтать о союзе двух обиженных: грустно-доброе, еще не старого отца и умненькой, много постигшей своим детским сердцем дочери. К чему только тешить себя несбыточной идиллией? Дочь непременно станет союзницей матери, и, как бы ни напрягался грустно-добрый, еще не старый отец, ему не предотвратить женского заговора. Он слишком вял, толст и безрадостен, чтобы завладеть помыслами дочери. А мать красива, молода, победительна и манища эфирным своим холодком. Отец-герой из него никак не выйдет, а только такому отцу по силам отторгнуть дочь от матери. Девочка очень рано поймет, на чьей стороне сила и удача, и, если у нее окажется доброе сердце, она удержится с домашним парней на той грани, где снисходительная жалость еще не переходит в открытое презрение. Если же она пойдет душою в мать, тогда держись, барон!.. Нынешняя жизнь покажется тебе раем...

Он вздохнул, водрузил очки на широкое переносье, подобрал с пола гранки и не удержал в руках. Их выхватило порывом сквозняка, взметнуло бумажными голубями к потолку, и в распахнутую

дверь ворвался Пушкин. Дельвиг не слышал, как он подъехал, вошел, не притворив за собой уличной двери, взбежал по скрипучей лестнице, но Пушкин, живой и несомненный, скалящий белые зубы, и был перед ним, и весь кабинет, весь дом, вся окрестность, все мироздание заполнились Пушкиным.

При встрече и расставании они целовали друг другу руки. Этот обычай у них остался с юности, и Дельвигу всегда приятно было прикоснуться губами к мускулистой, хорошо пахнущей руке Пушкина и ответное прикосновение сухих, горячих пушкинских губ.

Пушкин был бодр, упруг и чуточку беспокоен. Последнее Дельвиг отнес за счет предстоящих тому перемен. В мае состоялась его помолвка с Натальей Гончаровой, и сейчас он должен был ехать в Москву для окончательного устройства разных дел, в том числе и самых досадительных — денежных.

— Могу ли я засвидетельствовать свое почтение баронессе? — с нарочитой чопорностью сказал Пушкин.

— Увы!.. — Дельвиг развел руками.

Но он вовсе не чувствовал сейчас горечи, столько доброго и радостного поднял в его душе неожиданный проезд Пушкина. Он не сомневался, что Пушкин появится перед долгим исчезновением — еще и в родовое Болдино собирался, — но не ждал сегодня, к тому же днем. Пушкин всего лишь месяц назад вернулся из Москвы, бывал у Дельвигов чуть не каждый вечер, принося свежие новости о революционных событиях в Европе, потом вдруг исчез, и вскоре пронесся слух о новом его отъезде. И как славно, что он нагрянул, будто свежим ветром продуло старый дом.

Дельвигом овладело то счастливо-беспабашное настроение, что придает особый вкус самым обыденным разговорам, самым простым движениям. Они со вкусом поговорили о политике, со вкусом обменялись литературными новостями и сплетнями, со вкусом помянули нескольких добрых друзей, со вкусом пили ломающий зубы хлебный квас — после долгих и тщетных взываний к прислуге Дельвиг сам спустился в погреб, набив шишку на лбу и оплеснув ноги налитой всклень коричневой жидкостью, — со вкусом цитировал наизусть статью Греча в «Северной пчеле», и Пушкин блестяще импровизировал ответ.

Дельвиг не уловил, когда спал его короткий подъем и привычная в последнее время тоска вновь навалилась на сердце. Но он бодрился, громко смеялся, заинтересованно переспрашивал, даже хлопал себя по коленке — развязность, вовсе ему не присущая, лишь бы Пушкин не догадался о его омраченности. Но разве введешь в заблуждение человека столь пронзительного? Ведь Пушкин не слова слышит, не жесты видит, а то, что ими прикрыто, всеми нервами чувствует исходящее от собеседника электричество. Речь его все так же играла и пенилась, так же красиво мелькали узкие смуглые руки, словно выписывая в воздухе фигуры словесных пассажей, но взгляд становился сосредоточенней, сузились, поугрюмели зрачки, он вдруг оборвал себя на полуслове и хмуро, в упор:

— Что с тобой, Дельвиг? Ты нездоров?

— А разве я был когда-нибудь здоров? — меланхолически отозвался Дельвиг. — Мне всегда что-то мешало внутри. Помнишь, в конце я не бегал, не боролся, не играл в мяч...

— Ты обращался к врачам?

Дельвиг пожал плечами.

— Что они понимают?

— Ты просто киснешь. Забрался в такую даль и даже на улицу не выходишь. Пипнешь хотя бы?.. Есть что-нибудь новенькое?

— Так, кое-что...

— Читай, душа моя! Хочу твоих стихов! — с жадностью сказал Пушкин и простонародным жестом потер руки.

Дельвига всегда трогала и чуть удивляла горячность Пушкина к стихам друзей. Тут не было и тени притворства, он от души радовался их скромным удачам, не скупился на похвалы, и устные и письменные, и на справедливую критику, что подтверждало серьезность его отношения, проблески же чего-то большего, чем средний талант, приводили его в восторг. Ему нужны были эти стихи, не только Жуковского или Баратынского, но и князя Вяземского, и Языкова, и его, Дельвига, и поэтов вовсе слабых. И вдруг Дельвига осенила простая разгадка этого феномена. Пушкин больше всего на свете любит стихи, но в отличие от них всех лишен возможности читать... Пушкина.

— Не стану я читать, — подумав, сказал Дельвиг. — Все незаконченное.

— Ну вот! Опять лень-матушка?

— Ах, оставь ты эту лень! — вдруг рассердился Дельвиг. — Я возжусь с проклятой газетой, проворачиваю грудку рукописей, редактирую, отвечаю на письма... Лень! В лицее мы все хвастались своей ленью, воспевали ее в стихах, но ко мне одному прилепилось клеймо ленивца. А я читал тогда больше вас всех и первым стал печататься. Я туп к иностранным языкам, но с помощью бедного Кюхли одолел немецкий...

— Трудолюбивый Дельвиг!

— Да, трудолюбивый! — Дельвиг потянулся за гранками, но не завершил движения. — Эта ваша газета! Я даже не печатаюсь в ней. Несу вахту дружбы бессменную... А стихи всегда рождались у меня трудно, медленно. Я вынашиваю долго, как слониха. Но труд низания слов все время идет во мне...

Многие люди заблуждались относительно Дельвига, считая его куда более простым, очевидным и покладистым, нежели он был на самом деле. Дельвиг не позволял заглядывать в себя посторонним, но Пушкин-то знал, что есть омуты в тихой речке. С Дельвигом творилось сейчас что-то неладное, но он тайлся, и Пушкин рассчитывал, что непривычная вспышка озарит потемки. Этого не случилось, Дельвиг разом выдохся, как проколотый пузырь, и безнадежно махнул рукой.

— И все-таки надо писать, — сказал Пушкин. — Ничего другого не остается.

— А зачем? — уныло спросил Дельвиг. — Чтобы подбрасывать дрова в печь недоброжелательства и злобы? Бестужев-Рюмин вон объявил, что поэта Дельвига вообще не существует: половина написана Пушкиным, другая — Баратынским.

— А разве это так плохо? — лукаво сказал Пушкин. — Я бы не обижался, если бы мои стихи приписали певцу Эдды и даже Пушкину.

— Я и не обижаюсь, — сказал Дельвиг кротко, не улыбувшись шутке. — Но все-таки забавно!

«Забавно» было любимым словечком Дельвига-лицеиста, и душа Пушкина поплыла к царскосельским аллеям и куртинам, где мальчик с сонными медвежьими глазками бормотал стихи и, вдруг загораясь, громоздил небылицы или тихо удивлялся незаслуженным обидам: «Забавно!» Ни в ком так чисто не сохранился лицейский дух, как в Дельвиге, пожалуй, еще в Мише Яковлеве. Но в Яковлеве, пока он не садился к роялю, переливалось и звенело лишь лицейское дручество, от Дельвига же веяло поэзией и грустью тех давних лет.

— Надо мной любят потешаться друзья, женщины, — словно издалека звучал тусклый голос Дельвига, — я уже не говорю о журнальной братии. Опять, как в добрые лицейские дни: «Это стихи? Хи-хи-хи!» «Вестник Европы» додумался, а «Северная пчела» радостно подхватила поросячий визг.

— Ну а «Царскосельский альманах» посвящает тебе свои страницы, — мягко сказал Пушкин. Его не оставляло чувство, что Дельвиг уходит от настоящего разговора и вместо тяжкого, но облегчающего признания хочет просто выжалобиться, выплакаться, как деревенская баба, а тут любой повод хорош. — Там твой литографированный портрет — честь, которую оказывают немногим.

— Господь с тобой, Александр!.. Неужели ты думаешь, для меня это важно!

— Ну, так скажи сам, что для тебя важно, почему ты уныл и печален, как дева над разбитым кувшином. Мы уже не так приближены друг к другу, как прежде, чтобы я сам мог догадаться. У меня и от собственных дел голова кругом, я должен быть счастливейшим из смертных, а во мне неуверенность, тревога...

Пронзительный, гибельный вопль, донесшийся из детской, сбросил Дельвига с дивана. Он опрометью кинулся вниз. Ничего страшного — просто Лизонька перекочевала из колыбели на руки запозднившейся кормилицы. Наверное, все-таки ей причинили боль, иначе чего бы так кричать?

— Экая вы неловкая, Даша! — укоризненно сказал Дельвиг, с испугом отводя глаза от чудовищной сизой массы, исторгнутой кормилицей из корсажа. — Вечно ребенок у вас кричит.

— Есть хочет, вот и кричит, — равнодушно отозвалась Даша и воткнула личико младенца в страшное месиво.

Дельвига передернуло. Он хотел кинуться на спасение дочери, но вместо нового отчаянного крика послышалось умиротворенное чавканье. Он вздохнул и вышел.

Вернувшись в кабинет, он поразился перемене, происшедшей в Пушкине.

Обычно смугловатое лицо его казалось гипсовой маской в раме темных волос п бакенбард. И жутковато на этой белизне горели желтые глаза тигра. Он стоял возле письменного стола, полуотвернувшись от него, в неловкой, насильственной позе, как человек, не завершивший движения. Да он и не завершил отскока от стола, опереженный быстрым и неслышным возвращением Дельвига. Его тело было вывернуто штопором, правая нога полусогнута, левая касалась пола носком узкого сапога. Медленно, будто освобождаясь от пут, Пушкин завершил телесное усилие, отторгся от стола, на котором лежал листок со стихами, адресованными Софье Михайловне. Не было никакой бестактности в том, что Пушкин их прочел, не прочел даже, а разом вобрал в себя — он обладал способностью мгновенного схвата стихов, — не было тут ни малейшей нескромности, ни нарушения дружеского доверия, так у них велось исстари — читать друг у друга открыто лежащее на столе, не спрашивая разрешения. Да к тому же Дельвиг обмолвился, что есть новенькое... Бестактность совершена Дельвигом, оставившим эти стихи на столе и вынудившим Пушкина к стыдному, да еще и не состоявшемуся бегству.

Дельвиг увидел, что Пушкин дрожит. Это не отнесешь за счет даже самого горячего дружеского участия. Так может отдаваться на поверхности лишь бушевание собственных глубин. Но Пушкин, слава создателю, не знает жалких и унижительных терзаний. Он любит и любим и будет так же талантливо счастлив в браке, как и в поэзии. Но отчего же?.. Неужели он вообразил себя на его месте? Когда-то он представил, что его обманывает далекая возлюбленная, и беспильный выговорить в словах свою ярость, захлебнулся многоточиями, судорожно онемев от бешенства и жажды мести:

Не правда ль: ты одна... ты плачешь — я спокоен;

Но если

«Господи! — взмолился Дельвиг. — Избави Пушкина от мук. Я сырой, слабый человек, размокну, растекусь, да как-нибудь выдержу, а и не выдержу — беда невелика, уйду тихо, неприметно и только облегчу других своим уходом. А с ним не так. Страшен, губителен будет его гнев, для него самого губителен. Он твой лучший подарок людям, господи, защити и помилуй Пушкина! Нельзя испытывать такими страстями его душу. Дай ему покой, и радость, и безмятежное семейное счастье. Пронеси чашу свою мимо него, господи!..»

— Ого!.. — фыркнул Пушкин, глянув на часы.

«Он презирает меня, — подумал Дельвиг. — И виноваты стихи. Он и так все знал, а если и не все, то многое, но отдаленно, холодным разумом, а сейчас — стихами — это проникло в него. И он не может простить мужчине того, что представляется ему позорной слабостью. Но я же не ты, Пушкин! — улынулся он своим внутрен-

ним лицом, в то время как зримое лицо его оставалось тихо-печальным. — Во мне не шумит африканская кровь и темные страсти твоих предков, убивавших неверных жен, я мягкий, лимфатический человек со слабым сердцем, нетвердой рукой, подслепыми глазами. И я не увижу своего противника, если выйду к барьеру, и стану смешон. Меня убьют сперва смехом, потом кулею. Помнишь, в молодые годы я вызвал Булгарина, думая, что бывший солдат и офицер обрадуется возможности перейти от словесной брани к бранному делу. Но он отказался от поединка, заявив, что пролил в своей жизни больше крови, нежели я чернил. Трусу аплодировали за ловкий ответ, а надо мной посмеялись. Булгарин просто пачкун, и повод для дуэли был ничтожный, но создавать фарсу, когда трещит сердце!.. Нет!.. Ты сказал обо мне: «В очках и с лирой золотой». Таков я есть, таким уйду. Попасть из кухонрейтерского пистолета я могу лишь в собственную грудь, и, наверное, давно бы сделал это, если б не стихи. Там их не будет, Пушкин! В раю не нужна литература, и музыка небес не заменит мне земных песен, твоих песен, Пушкин!..»

Он исподтишка, но пронзительно глянул на Пушкина. Дельвиг недаром среди всех знавших его считался умным человеком. Но он был куда умнее, нежели то мнилось окружающим, и, пожалуй, лишь Пушкин и Кюхельбекер знали истинную цену спокойному, охватистому и пронизательному уму своего друга. И сейчас Дельвиг понимал все, что происходило в Пушкине, как если б слышал его голос. «Надо драться! — kloкотало в том. — Мне известно все, чем может оправдываться застарелая лень духа, не подвигшая тебя ни на один поступок, кроме этой злосчастной женитьбы. Да и твой ли это поступок? Скорее всего взбалмошный Салтыков окрутил тебя с дочерью, чей пылкий нрав ему осточертел. Но ты взял ее, накрыл, как плащом, своим именем, так и неси за нее ответ на всех путях ее — правых и неправых. Никто не смеет думать, что она виновата перед тобой. И потому дерись, дерись хоть с целым светом!.. Я знаю, Дельвиг, что не трусость мешает тебе совершить единственно достойный мужчины поступок, но это не извиняет тебя в моих глазах».

И Дельвиг ответил, не разжимая губ: «Спасибо хоть на этом, Пушкин. Тучи сгущаются над нашим литературным детищем, и мне вскоре понадобятся все мужество, чтоб держать ответ перед взбешенными властями. Поверь, я не подведу тебя, как не подвел бы и у барьера, если б верил, что поединок — спасение».

Пушкин. Да, спасение! Ты спасешь свою честь!

Дельвиг. Честь? А что такое честь? Неужели то самовлюбленное, мелкое, собственническое, чем мы сами не распоряжаемся, что целиком находится в слабых, ненадежных руках женщины, и называется честью? Да какая ей цена? Цену имеет лишь то, чему ты сам хозяин...

Пушкин. Слова, слова, слова!.. В кровавом тумане я вижу лишь темную фигуру, поднимающую на меня пистолет. Ах, с каким наслаждением всажу я в него пулю!..

Дельвиг. Ну, убью я его... Неважно кого: лицейского друга

Мишу Яковлева, шалопаю Вульфа или добрейшего Сергея Абрамовича Баратынского, влюбленного в мою жену и тоже обманутого ею, или другого, неизвестного, без лица и свойств, просто жертву случая, и взойду победителем на опозоренное супружеское ложе, считая, что кровь чужого и, в сущности, неповинного человека смыла с него грязь?.. И ко мне вернутся доверие, радость, та безмятежность духа, без которой я не мыслю счастья?.. Забавно!..

Пушкин. Нам не столкнуться. Ты верен себе, и это тоже своего рода мужество. Но бывают обстоятельства, когда любой поступок, даже глупый, лучше самых мудрых рассуждений...

— Тебе пора? — опередив его, вслух произнес Дельвиг.

Весь их беззвучный обмен был краток, как взмах ресниц.

— Да, да!.. — поспешно сказал Пушкин. — Надеюсь, мы еще увидимся. Если позволят сборы, я загляну к тебе перед отъездом.

Сборы тут ни при чем. Мы увидимся, если ты сумеешь вырваться из самого себя. Если сам согласишься тому, чем снисходительно оправдывал меня, не желая окончательно терять ленивого, много пьющего, толстого рогоносца, не верящего, что щелк курка и вялая вспышка отсыревшего пороха возвращают человеку душу.

Они простились без обычного обряда.

Дельвиг не успел решить, заняться ли ему гранками или пойти в детскую, где все еще царила кормилица, когда Пушкин вернулся.

— Едем! — сказал он с порога.

— Куда? — в меру удивленный, спросил Дельвиг.

— Какая разница? Едем! Я нанял замечательного извозчика, сам вылитый атаман Кудеяр, а в оглоблях — престарелый красавец с орловского завода.

Дельвиг рассмеялся и вышел одеться. Вот таким он особенно любил Пушкина: веселого, даже ребячливого, ласкового. Милый Пушкин!..

Извозчик глядел совершеннейшим разбойником: смуглое пожевое цыганское лицо, черные острые глаза, черная с просолом курчавая борода и такие же кудри из-под шапки. Конь был стар и тощ, но ни ямы над глазами, ни костлявый круп и торчащие ребра, ни залысины под сбруей не могли унизить благородной стати чистокровного орловца, и какая-то грустная лошадиная тайна угадывалась за этим аристократом, впряженным в «гитару», как называли петербуржцы маленькую линейку, на которой сидят верхом. Пушкин ловко оседлал узкое сиденье, а Дельвиг пристроился поперек, тесно прижавшись к спине друга. Его радовало все это: разбойные очи и борода возницы с просолом, загадочный конь, узкая, неудобная «гитара», заставлявшая его притуляться к Пушкину, и вся их бессмысленная поездка по жарким, пыльным, плохо мощеным улицам петербургской окраины.

Поскрипывают качели в садах, заросших жимолостью и жасмином, из распахнутых окон рвутся задорные звуки полочки, срываемые с фортепианных клавишей, кричат дети, смеется женщина, и вдруг, покрывая все летние шумы, высоко и жалобно разносится вопль разносчика: «Сморода красная!.. Кружовник!..»

Цыганистый возница, будто почуяв шалое настроение седоков, принялся настегивать своего Росинанта, и тот, подергав зальсой шкурой и кинув крупом раз-другой, вспомнил о своей благородной крови и пошел мерить дорогу, циркульно-прямо выбрасывая передние ноги. Золотым хвостом завилась пыль за «гитарой». Разморенные жарой прохожие кто осуждающе, а кто сочувственно оборачивались вослед лихой упряжке. Они вынеслись на слепящий блеск Малой Невки, у перевоза взяли влево, в сторону залива и, не доезжая речки Ждановки, свернули в темную липовую аллею, объявшую их прохладой. Здесь кончилась мощеная дорога и ход «гитары» стал тих и плавен. Возница попрिдержал коня, перевел на прогулочную рысь.

Ах ты, ночь ли,
Ноченька!
Ах ты, ночь лп,
Бурная!..

— Стой! — крикнул Пушкин.

Возница натянул драные вожжи. На скамейке перед бревенчатой избушкой с лубяной крышей и резными наличниками, такой странной среди петербургских дач, словно забрела сюда из сказочной русской старины, уронив пшеничную копну волос на деку мандолины, ражий парень изнывал Дельвиговой тоской:

И с тобой, знать,
Ноченька,
Как со мною,
Молодцем,
Грусть-злодейка
Сведалась!

Голос у него был теноровый, шаткий, но с медовой приятцей. Пел он как будто для себя самого, забыв обо всем на свете, но можно было поклясться, что его трепетно слушают и парень это знает.

И, безродный
Молодец,
На постелю
Жесткую,
Как в могилу,
Кинешься!

И с чувством доиграл аккомпанемент. Пушкин соскочил с ливейки и подошел к парню.

— Слушай, малый, какую песню ты пел?

Тот поднял крупную голову. Был он не петербургской заморенной породы, а сочной ярославской: чистая светлая кожа, ресницы золотыми дугами, синие глаза. И знал он себе цену: спокойно поглядел на вопрошавшего, оценил и лишь тогда почел за нужное встать — спокойно, без суеты: отложил мандолину, спрятал косточку в карман, поднялся, одернул ситцевую розовую рубашку с тонким кавказским пояском.

— Известно какую, сударь, нашу, русскую, — сказал, улыбаясь свежим губастым ртом.

— Сочинил ее кто?

— Уж, верно, не я! — играя синими неробкими глазами, сказал парень. — Завсегда была!

— Ладно тебе, «завсегда»! — рассмеялся Пушкин. Ему нравилась свободная повадка ражего парня. Он и вообще был за подогрев стылой северной крови ядреной среднерусской струей. — А слова чьи?

— Да ничьи... Люди сложили.

Пушкин кивнул парню и вернулся к линейке.

— И ты еще жалуешься, барон! — сказал с насмешливой укоризной...

Дельвиг потом все удивлялся, как щедро тратил себя на него Пушкин в этот столь печально начавшийся и столь радостно продлившийся день. Конечно, они расставались, но столько уж было разлук! И никто не думал, что поездка Пушкина так затянется и он на всю осень застрянет в Болдине в холерном карантине. Его не будет с Дельвигом в то страшное утро, когда распаленный болгаринскими доносами шеф жандармов Бенкендорф оледенит бешенством свой голубой ангельский взгляд и обрушит на издателя «Литературной газеты» омерзительную остзейскую грубость, «тыкая», будто мужика, грозя тюрьмой и каторгой. Но вся его безудержная ярость разобьется о твердое достоинство человека чести, и впервые все-сильному сатрапу придется просить извинения. Не будет Пушкина и когда Дельвиг заболит...

Но это все потом, а сейчас они кутили. Возница доставил их в отличный трактир, где они вкусно поужинали и выпили ледяного шампанского. Гладкие, расторопные и несуетливые половые напомнили Пушкину о ражем певце.

— Пройдут годы, минует век, и другой синеглазый парень запоем «Ноченьку». А наши муки, наши горести и радости, удачи и поражения — кому до них будет дело? И наверное, это справедливо. В конце концов, важны только песни...

В, дымчатых сумерках, которые с уходом белых ночей завораживают Петербург на пороге тьмы таинственной тишиной, недвижимостью воздуха, безмолвием замерших деревьев, они расстались у дома Дельвига.

— До свидания, радость моя!

— До свидания, мой милый! Во всем тебе удача!..

Обряд целования рук.

И замирающий шорох быстрых шагов.

Можно греть спину у чужой славы, думает тот, кто остался у дверей, и, ей-богу, это не так мало!.. И спасибо ему за все его подарки: за этот день, за цыганский выезд, ражего парня, певшего мою песню, за холодное шампанское, согревшее мне душу, и за то, что я ему еще нужен...

У Дельвига при огрузневшей фигуре был легкий, неслышимый шаг. Он миновал прихожую, поднялся по лестнице и прошел в спальню, не родив даже малого шума в старом, разохшемся доме, и сохранил тоненький сон дочери, просыпавшейся с плачем от скрипа половицы, зудения комара, далекого собачьего лая.

Жена спала, раскинувшись вкось двойной супружеской кровати. Свеча, которую Дельвиг зажег в прихожей, выхватила из мрака ее обнаженное плечо и беспорядок локонов. Лицо она зарыла в подушку, отчего дыхание стало хриплым. Приторно пахло духами, пудрой, потом, вином и чем-то чужим — сигарным дымом, который она принесла в волосах и складках одежды.

Дельвиг подошел и взял подушку — ляжет в кабинете. Она отозвалась на его движение легким стоном. Он поглядел на женщину, причинившую ему столько зла, и какое-то странное спокойствие было в нем.

— Друг мой, — прошептал он, — ты можешь сделать еще много дурного, можешь убить меня, но не узнить.

СОН О ТЮТЧЕВЕ



Тютчев вышел на прогулку под вечер. Он и вообще любил переходные часы суток: когда занимается утро или гаснет день, в таинственных стыках сна и бодрствования природа и все мироздание открывают наблюдающему человеку дверь — не в царственные покои свои, нет, но хотя бы в прихожую. Человек остается по-прежнему далек от постижения целей, намерений и символов творца, но может полюбоваться его то веселой, то грозной и никогда не повторяющейся игрой. Тютчева радовала вечная молодость старого бога, позволяющего себе самозабвенные беличьи игры на восходе, на закате, равно и в той обнаженности мировой бездны, что людям в странном заблуждении представляются ночной тьмой.

Но в последнее время у него сильно болели ноги, особенно голени, и ему стало не до прогулок в святые утренние часы. Аврора могла как угодно румянить небо, выгонять серебро росы из трав, укладывая по тяжеленькой, дымчатой и чуть расплющенной собственным весом капельке в каждую седоватую манжетку, пробуждать голоса птиц, раскрывать чашечки цветов, — Тютчев мучился ногами в выстуженных к утру простынях: старое тело не согревалось, в пустую забирая тепло из постели и окружающего сухого, разогретого кафельными печами воздуха, — подгапливать начали с последних чисел июля. И весь в своем недуге, в жалкой, недостойной человека слабости перед болью, он старался забыть, что без него расцветает день.

Ноги мозжило до полудня, потом боль начинала постепенно отпускать, и к вечеру он уже мог выйти на прогулку, недалекую и небыструю, так непохожую на прежние его странствия, и сам ощущал, как странен его медлительный, шаркающий шаг, приличествующий какому-нибудь подагрическому сановнику или генерал-ревматикку, а не худому, ариэлевой невесомости и незаземленности поэту. После

смерти Денисьевой скупая плоть Тютчева вконец истаяла. Его бес-телесность пугала. И жутко прекрасной стала крупная голова с белыми легкими волосами, разметанными словно внутренним вихрем.

Но Тютчев, человек предельно искренний и чуждый позы, не способен был эстетически воспринимать перемену в своем физическом и духовном облике, какую нанесло страдание, не мог постигнуть красоту этой муки, столь полной, открытой и в безысходности совершенной, что перед нею склонилась даже смертельно оскорбленная Эрнестина Федоровна, его законная жена.

Он испробовал все: стихи, слезы, бегство в Ниццу, много значившую в его жизни, политику, все виды самообмана, горячечные, ночь напролет, разговоры с умным, добрым Георгиевским, зятем Денисьевой, понимавшим и чтившим их горький союз. Ничего не помогало. Елена Александровна не отпускала его, выматывала душу не «тоской желаний», как некогда было с ним после другой страшной потери, а безнадежностью запоздалого раскаяния. Чувство вины было не внове Тютчеву. И узнал он его впервые в ту давнюю пору, когда первая жена Нелли пыталась заколоться маскарадным кинжалом. Но с той виной он сумел не то чтобы справиться, а сжиться, просто потому, что был молод. А шестидесятилетнему человеку не уйти от содеянного, не обмануть себя надеждою на искупление.

Двадцать три года прожила Елена Александровна Денисьева, не ведая, как грозен и беспощаден окружающий ее добрый мир. Ее кружение и блистание в свете под снисходительным — поверх карт — взглядом тетки, суровой инспектрисы Смольного института, терявшей близ племянницы свою жесткую прощательность и власть, было безвинным и мотыльково-кратким. Веселость, отвага, беспашабажность, живость, переходившая порой в милую дерзость, — все было сложено в единый миг к сухим, как у оленя, ногам стареющего баловня гостиных, как только она ощутила в нем истинное чувство. Да, чувство было истинным и возникло почти с первого взгляда, когда он пришел в Смольный проведать дочек Дашу и Катю, и вдруг ударом по глазам и сердцу — промельк чудесного, смуглого, с огромными яркими очами существа, и захлебывающиеся, вперевод голоса маленьких сплетниц, мгновенно угадавших волнение отца: «Это Леля Денисьева, инспектрисина племянница... Отец у нее майор, отличился под Фридландом... А Леля тут на особом положении, не как все воспитанницы! — И с восторженно-замирающей интонацией: — Ее уже в свет вывозят!..»

Какой бездонной глубиной, какой страстью и самозабвенной преданностью обернулась безмятежная легкость большеглазой смольнянки! Она сразу превзошла его в мощи, цельности и одержимости чувства. Он устремился за ней, поднялся выше своих обычных сил, опалил крылья, рухнул, но, поддержанный ее мужеством и отчаянием, повис между небом и землей, то безоглядно отдаваясь любви, то испрашивая милости и терпения у Эрнестины Федоровны.

И удивительный, роковой смысл приобрели в отношениях с Денисьевой его стихи. Сама воплощенная поэзия, она не любила стихов, даже его. Но, навеянные ею, были необходимы ей как воздух.

Словно в них одних паходила опа искупление своей грешной, в нарушении всех божеских и человеческих законов, жизни. Существовала ли на свете женщина, настолько созданная для прочных радостей замужества и материнства, как Елена Александровна? Теплая, искренняя вера отличала ее, и лишь крушение внутренних устоев опалило эту веру мрачным фанатизмом. Она жаждала порядка во всем, чтла общественное мнение, а по злomu року жила в удручающем беспорядке, попирая изо дня в день общественное мнение, устав своей среды. И общество выбросило ее вон. Пришлось уйти в отставку и гордой инспектрисе Смольного: Словно две мешапочки, сняли они квартиру в одном из окраинных переулков столицы.

...Самым трудным для него стали первые шаги: сойти с крутого крыльца, пересечь мощный плитняком дворик и выйти за калитку. А там дорога словно подхватывает тебя, помогая тихому, шаткому шагу...

Он шел и думал. Наша любовь дала жизнь трем детям, я совершил жалкий жест порядочности и «простер над ними отцовскую длань», попросту усыновил их. Но что значит эта формальность в глазах света? И дети, которых она безмерно любила, усугубляли ее муки. Она страдала, когда я наклонялся над колыбелью нашего первенца и когда забывал это сделать. Страдала, когда я был с ней и когда уходил, страдала, когда мы ездили за границу — в любом пейзаже и любом окружении. Страдала, когда я целовал, обнимал, желал ее, и еще невыносимее страдала, когда заботы, усталость или спорб отвлекали меня от нежности. Она хотела, чтоб я любил ее непрерывно и вместе чтоб не прикасался к ней. У нее был культ ложа, но каждое объятие наше окрашивалось горечью унижения, незаконности, неосвященности божим благословением. Иногда казалось, что она готова убить меня. Раз так едва не случилось: пушенное мне в голову тяжелое пресс-папье ожгло кожу на виске и обломило угол изразцовоу печи. И это из-за стихов. Она хотела, чтобы я переиздал свои стихи и всю книгу посвятил ей.

Боже, я не понимал даже отдаленно безмерности ее боли, отчаяния, святости ее гнева. Как нежно и умоляюще, как гневно и жаростно просила она меня, а потом требовала, чтобы книжка была отдана ей. Она верила, что мои бедные стихи заменят аналой, дадут ей право глядеть в глаза всему свету — и своим прежним подругам, и своим бывшим наставникам, и своему глупому отцу, порвавшему отношения с «дочерью-блудницей», и своим детям, когда они подрастут, и даже моей семье, и самому господу богу. И как же мал и беден был я перед этой духовностью и святой верой, что браки заключаются на небесах поэзии, коли туло и упорно отказывал в ее справедливом желании.

Какая нищая смесь из жиденькой авторской скромности, презрения и вместе уважения к свету, копейной деликатности к жене, проявившей в свой час спокойное, до жестокости, небрежение к Нелли, помешала ему выполнить великую просьбу Елены Александровны? Правда, было еще одно, от чего так просто не отмахнуться: верность умершим, тем, кого нет и кто беззащитен перед нашей па-

мятью. Нежная, преданная, вечно озабоченная, несчастная и прелестная Нелли, ценою собственной жизни спасшая их детей, — мог ли он отнять у нее «Еще томлюсь тоской желаний» — эту почти единственную плату за всю ее любовь и самоотверженность? Он мог отнять «Геную» у Эрнестины Федоровны или выплакать у нее в подарок, но мертвую не мог обокрасть. Вот что на самом деле помешало ему выполнить заветное желание Лели. Но не осталось у него чувства правоты, значит, была какая-то внутренняя ложь в его поступке. Да, легко изменять живым, — трудно, почти невозможно изменять мертвым. Ну, так Леля и требовала от него подвига во имя их любви. Она же совершила подвиг, горестно и покорно подставив плечи и лоб под клейма. Ее высота оказалась ему недоступной. И как странно, он был податлив и мягок и вовсе не владел своими страстями — под рафинированной оболочкой дипломата творилось древнее азиатское буйство в крови, но какое самообладание, хладнокровие, какую железную стойкость противопоставил он страстному напору своей любимой! А ведь он умел чувствовать страдание близкого человека, как свое собственное. Не ко времени пробудилось в нем дьявольское упорство, позволившее некогда его дальнему родичу майору Степану Тютчеву вопреки приказу командующего и ярости прусской лавины выстоять со своей батареей под Гросс-Егерсдорфом. Безумная и прекрасная Елена Александровна разбилась о него своей искромсанный душой, своим изглоданным чахоткой телом...

И, признав свое поражение, она сказала почти жалеючи: ты еще заплатишься за это!.. Боже мой, в последней предсмертной ясности она видела, как непомерна окажется эта плата...

...Но дорога в жестких морщинах колеи, копытных следах, иссохших колдобинах — давно уже не было дождя, — пустынная серая дорога, медленно уходящая из-под ног, влекла его прочь от самоистязающих мыслей в озноб еще не родившегося, еще безязыкого стихотворения. Чаще всего стихи слагались у него во время одиноких прогулок, а потом ему оставалось лишь записать их или продиктовать кому-то из близких. И как непохожи были эти стихи на те, что сочинялись. Он отнюдь не пренебрегал сочинением стихов — на торжественные, юбилейные даты, на крупные события политической или государственной жизни, на смерти и рождения. Приятно было вгонять неподатливые, упрямые слова в ритмические строки, заставлять их перекликаться друг с дружкой, обретать тот или иной музыкальный тон. Каждое стихотворение — маленькая победа над хаосом. Он не придворный поэт, но и близкие к одическим стихи нужны ему, равно как и эпиграммы, ибо в нем самом заложена жажда отклика на суматоху внешней жизни. Но бывало и другое, обычно в дороге, когда стихи начинались смутным шумом, словно далекий морской прибой, затем в мерном шуме этом прозванивали отдельные слова и вдруг чудно сочетались в строку. Он становился как бы вместилищем некоей чужой работы. Ему нужно было лишь узнавать лучшие, самые необходимые слова, не только наиболее выразительные, но и содержащие что-то сверх прямого смысла, слова, отбрасывающие тень и сияние. Конечно, стихи эти не с неба падали,

их порождала высшая сосредоточенность, настроенность и бесстрашие. Пустынная дорога, идущая травяными полями или нивами, кupy деревьев, лес на горизонте, небо и облака в нем помогали этой настроенности и тому бесстрашию перед богом, что давало ему заключать в слова сотрясающий душу ужас.

И вот оно — сказалось сразу двустороннем:

Были очи острее точимой косы
По зигзице в зенице и по капле росы...

Ах, бог мой, как хорошо! Но не надо. Рано. Ведь даже «сумеречный свет звезд», «мглистый полдень» или «громкопьящий кубок» его юношеского стихотворения вызвали бешенство пишущей братии, доморощенных знатоков отечественной поэзии. Что будет с очами «острее точимой косы»? Нет, не пришло еще время для этих стихов, оно придет через век, быть может, чуть раньше. Он еще раз, словно прощаясь, повторил вслух эти строки и дал им уйти в горло другого, грядущего поэта.

Он, как птицу, выпустил стихи из ладоней, но к острому сожалению примешивалась взволнованная убежденность, что стихи сегодня непременно будут. Да и как им не быть, если завтра годовщина смерти Елены Александровны, если она, что ни ночь, является ему с невysказанным и мучительным укором, словно все еще чего-то ждет от него. Она приходила не во сне, а в предсонный час то тихой и скорбной, то яростно гневной, какой он куда чаще видел ее в последние годы жизни, садилась на постель, чуть сминная стеганное шелком одеяло, и ничего не говорила, даже не смотрела в его сторону, только вздыхала протяжно-прерывисто, с каким-то всхлипом в конце каждого вдоха, и острые скулы ее рдели. Ему хотелось коснуться ее, но худая старческая рука в странном бессилии не дотягивалась до нее, не могла выиграть у пространства какой-нибудь вершок. Иногда она так же тихо удалялась, а иногда глаза ее начинали метать молнии, и у него холодел висок, некогда задетый пресс-папье, расколовшим кафель печи. О, как счастлив был бы он, если бы она овеществилась в удар, в рану, в увечье, он бы молплся на кровавый знак ее снисхождения к нему.

В июле минула пятнадцатая годовщина их союза, и он посвятил этой дате стихи, казавшиеся ему самому хорошими, искренними, но имевшие следствием то, что глаза Елены Александровны источали теперь лишь молнии. Он вызвал гнев ее тени, как вызвал гнев ее сущего образа, и вновь повинны были стихи. Неужели холодными показались ей строки: «15 июля 1865 года»? Мертвая, она умела терзать еще искуснее, нежели живая, и чаша его страданий наполнилась до краев.

...Был тот час суток, который французы называют «между собакой и волком». Солнце еще только погружалось в сизо-синюю тучу, заставшую на западе горизонт, и небо было расплосовано багровыми тяжами, а уже в березняке, с не захваченного закатом края церковной свечечкой затенилась луна, бледно вызолотив прозоры меж стволов. Под небесной распрей затихла земля, ни звука в

просторе, только слабые шаги Федора Ивановича по иссушенной земле звучат сверчковым тиканьем.

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя,—

сладко сказалось в сердце.

Нет, и для этих стихов еще не настало время. Их скажут потом, лет через пятьдесят. Надо что-то оставить будущим поэтам, чтоб новыми голосами понесли в мир его слово.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа...

— Стоп! — пусть, пусть все это скажет в свой час другой во утление собственной боли.

От жестокого, в корявых заусенцах большака опять заломило ноги. Он перебрался через заросшую лопухами обочину и пошел по обгорелой желтой траве, задевая не сдающийся засухе колючий чертополох с пунцовыми цветками, источающими сильный спертый дух.

Он не успел порадоваться облегчению, будто стальными обжимами охватило голени. Он остановился, трудно дыша. И вдруг — от боли, одиночества, от непоправимого своего сиротства в мире — заплакал. Дрожащей рукой вытащил из кармана носовой платок и прижал к глазам. Когда же отнял от лица совсем мокрый платок, вокруг было так темно, будто он все глаза выплакал. Нет, просто померкло ликующее небо, солнце скрылось, а луна, вставшая над рощей, давала свет тихий, пригашенный. Мокрые от слез губы прошептали:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?..

Ветер скользнул по лицу, остудив глаза, щеки, губы. Ему стало язнобо, домой бы повернуть, но зазвучавшие в нем стихи вытеснили все другие соображения. В них не было ничего, кроме утверждения простых очевидностей: он брел именно вдоль дороги, а не по дороге, и угасал день, ему было тяжело, болели, замирали ноги. В поэтический чин эту строфу вознесила последняя строчка, тоже простая, безыскусственная, но тем и прекрасная. Он продолжал, оглянув мглающий простор:

Все темней, темнее над землею,
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

И вскрикнул. Он говорил с Еленой Александровной, с Лелей. Обращение не было приемом. Тут вообще не было никакой поэтической риторики. Душа стала словом и выражала себя напрямую.

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

— Вижу, — тихо и отчетливо произнес глубокий голос Елены Александровны. — Вижу, бедный друг мой, и слышу.

— Сим отпускаеши! — проговорил другой голос почти шепотом, но словно бы под хрустальным куполом — так отгулчив и отзвончив, широк и внятен был резонанс.

И все — тишина, сумрак, одинокий старик у дороги...

...Дома беспокоились. Но Федор Иванович запретил выходить навстречу ему, даже встречать за воротами. И дочь, Анна Федоровна, и приехавший под вечер жених ее Иван Сергеевич Аксаков то и дело, будто между прочим, раздвигали шторы на окнах и пытались проглянуть окутавшую усадьбу темень, — сморщившаяся луна давно ушла в полупрозрачную дымность бегущих туч.

Фрейлина Анна Федоровна, старшая дочь от первого брака, унаследовала от отца блестящее остроумие, полную душевную свободу, опасно обострив ее женской безответственностью и вызывающей прямоотой, что укоренило за ней при дворе кличку Еж. Она связала тягостное состояние отца последних дней и непонятно долгое его отсутствие с завтрашней датой, это немного успокаивало и злило одновременно. Она уважала чувство отца, даже чуть завидовала его способности к сильным и глубоким страстям, ей понятным, но несвойственным (с того, видать, и заневестилась она только в тридцать шесть лет), и все же не могла подавить в себе раздраженно-недоброго чувства к покойной Денисьевой. Анна Федоровна была в какой-то мере поверенной этой любви — отец ездил с ней и Денисьевой на Валаам, — хотя, при всей своей хваленой прощательности (даже вещи сны видела), так и не догадалась тогда о близости старшей подружки-смолянки с отцом. Она была их ширмой, если называть вещи своими именами. Очевидно, это и настроило ее против Денисьевой. Но когда та умерла, мачеха показала, как надо относиться к истинному горю, а ей не хотелось уступать в великодушии Эрнестине Федоровне. И сейчас ее огорчала собственная злость, но она ничего не могла поделать с собой. Если уж не стало этой красивой, несчастной, полубезумной женщины, так пусть мертвый не кусает живого.

К беспокойству же Ивана Аксакова примешивался некий литературный зуд. Он задумал новое издание стихов Федора Ивановича, куда более полное, нежели тургеневское. Десять лет назад Тургенев с присущими ему доброжелательством и обязательностью взял на себя труд издания разбросанных по журналам и альманахам стихов поэта. Труд был бы и вовсе не тягостен для такого пламенного почитателя тютчевской поэзии, как Иван Сергеевич Тургенев, если б Тютчев хоть в чем-то пошел навстречу. Но Тютчев палец о палец не ударил ради такого важного для каждого автора дела. Пушкин был поэтом куда более прославленным, но он с глубочайшей серьезностью и уважением относился к своим издательским делам. Если б господь бог послал ему, Аксакову, хоть тень тютчевского дара, уж он не зарыл

бы клад в землю! Аксаков понимал, что его задача окажется никак не легче тургеневской, но хотя бы добиться согласия поэта на это издание.

И тут оба услышали, как хлопнула в сенях дверь. Анна Федоровна мгновенно успокоилась, поняв по каким-то ей самой необъяснимым знакам, что с отцом все в порядке. Лишенный ее вещего дара, Аксаков опрометью кинулся в прихожую. Слабые звуки, доносившиеся оттуда, позволили Анне Федоровне догадаться, что Аксаков помогает отцу снять длинное, узкое пальто, в рукавах которого всегда по-детски застревали отцовы кисти, вешает это пальто в платяной шкаф, что отец приглаживает свои легкие, ловящие неощутимое дуновение волоса, поправляет черный галстук и идет в комнату. Затем она услышала, как Аксаков хорошим, добрым, сейчас чуть жалобным голосом говорит отцу о задуманном издании:

— От вас требуется так немного, хотя бы уточнить некоторые даты...

«Зачем Аксакову это надо? — думал Федор Иванович. — А может, он просто придрался к моему сборнику, чтобы приехать и провести время с Анной? — Тютчев вдруг молодо и озорно усмехнулся. — Нет, боюсь, что все наоборот. Он и женится-то ради моего сборника. После Гоголя, которого Аксаковы, особенно неистовый Константин, чуть не «на смерть залюбили», по выражению самого творца «Мертвых душ», их пламень перекинулся на меня. Надо держать ухо востро с этим молодцом. Пусть женится на Анне, бедная моя фрейлина настоящий перестарок, но убереги меня господь от аксаковского огня. Кстати, я только что понял, чем Иван вводит в заблуждение. Он безбород в отличие от отца и старшего брата. Видишь его скошенный слабый подбородок, но приделай ему бороду — будет вылитый Константин. Это опасно...»

Фёдор Иванович вошел в гостиную в своем старом узком сером костюме, подчеркивающим его худобу. Анна Федоровна подошла и поцеловала отца в высокий, намятый шляпой, чуть влажный лоб. Он рассеянно скользнул невесомой рукой по ее затылку и плечу, словно березовый осенний листик задел ее в своем падении.

— Какое издание, зачем?.. — сказал он, обернувшись к будущему зятю и морщась, словно от лимона. — Кому это надо?.. — И прошел в кабинет.

Аксаков в досаде и восхищении сцепил длинные пальцы и громко хрустнул — жест, запрещенный в присутствии невесты. Но он был так взволнован, что не заметил гневно подскочивших бровей.

— Ну, что вы на это скажете? — произнес он зазвеневшим голосом — родовым голосом аксаковского умидения, и слезы налились ему уголки глаз. — Что за чудо морское, зверь лесной ваш невозможный отец? Человеку дан такой редкий, удивительный дар! А он в грош не ставит свои стихи! Бывает ослепление гордыней, но ослепление скромностью, ей-богу же, так же губительно!..

«...Как убедить Аксакова, чтоб он оставил меня в покое с этой книжицей?.. Ведь все и так состоялось. Мне отозвался дух умершей, мне был явлен глас неба. Неужели важно, чтоб стихи мои прочел

какой-нибудь коллежский ассессор или учитель словесности?.. Все это пена, я обрел спокойствие, больше мне ничего не надо...»

Да, он обрел спокойствие, Денисьева больше не являлась. Но уже осенью, когда тонким сахаристым ледком затрещали замерзшие лужи, он швырнул небу назад его милость. Он всегда был вежлив с богом, и впервые мольба его прозвучала как вызов:

О, господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей развей —
Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней!..

ЗЛАЯ КВИНТА



Из себя не выбежишь, от себя не уйдешь, не спрячешься. И что толку натягивать на голову драное одеяло, зарываться в сальную, противно теплую, колющую от перьев подушку без наволочки, подтягивать колени к ноющему животу, сворачиваться в клубочек, до боли жмурить глаза от резкого света солнечного июньского полдня, все равно сна больше не будет и полусна тоже не будет, одна лишь маета, и дрожание нервов, и мучительная, душная толкотня каких-то обрывочных мыслей. Ей-богу, он достаточно себя знал, чтобы не надеяться на спасительное забытие добавочного сна. В том бреду, каким давно уже стало его существование, исподволь образовался порядок, столь же непреложный, как размеренная по часам жизнь какого-нибудь педанта англичанина. Правда, у Аполлона Григорьева счет велся не на часы, а на дни. Большой загул длился девять дней, ни днем меньше, ни днем больше: на исходе девятого дня окопательно сдавала печень, не принимавшая больше ни капли вина. Провальный сон распластывал его ровно на сутки, после чего начиналось опаматывание с тошнотой и смертной слабостью — дрожащая рука не могла удержать стакана с водой, желудок выталкивал даже самую безвредную пищу, — но постепенно измученное тело собиралось, крепло в узлах, обретало подвижность, оживлялось, а там и закипала мысль, он вновь радовался, возмущался, ликовал, гневался, страдал, рвался к борьбе, он жил. На этом кончался четкий распорядок: нельзя было рассчитывать, когда внутренний подъем жизни достигнет некой критической точки и потребует вновь открыть шлюзы. Тем более что вмешивались нередко посторонние силы: загулявший приятель мог до срока затянуть в свой омут или похороненный на дне памяти образ вдруг оживал, населял душу невыносимой болью, и не было иного спасения, как потопить его в вине; п на обман он поддавался — случалось, одна-единственная рюмка с устатку разом ломала всю стройную линию поведения, и гитарный аккорд мог сши-

бить с высоты, куда возносила его по-юному горячая и сильная мысль.

Но в нынешний заход давно установившийся порядок впервые нарушился; он гулял ровно десять дней. И удивление перед этим новшеством было первым чувством, пришедшим к нему с возвращением памяти. К добру или к худу такая перемена? Но коли расшаталась, сдвинулась прочная система, то почему бы лишнему дню загула не обернуться лишним часочком сна? Хоть бы еще на час, на один только час оттянуть возвращение невыносимой яви. Но сна не было ни в одном глазу, и, сколько ни корячься на жесткой койке, его не призовешь. Надо вставать, надо пачинать жить. Жить... Пережевать пьяные запой с запойной работой — разве это жизнь? Да, его жизнь. Проклятая, горькая, бесталапная и все еще мплая жизнь. Вроде бы катиться дальше некуда, а ведь не променял бы он несчастную свою жизнь на тихое, благодстное жиронакопление. Менять жизнь — значит самому измениться. А нешто это вообще возможно? Сколько раз собирался он начать новую жизнь, опрятную, трезвую, всю как есть посвященную полезным и добрым делам, а ведь ничего не вышло. И спутниц ко спасению, надо отдать ему должное, находил самых подходящих: в молодости — заневестившуюся Лидию Корш, ставшую в замужестве скандальной, распутной и крепко пьющей барынькой, и в недавние дни — номерную проститутку Марью Дубровскую. Последнее было и вовсе непостижимо. Не связь с проституткой, это ему не внове, а то, что он, человек сороковых годов, выступил в классической роли шестидесятника. Не было, правда, ни швейной машинки, ни фиктивного брака. Было кое-что похуже. «Семейная» жизнь в степном Оренбурге, смеси скверной деревни с казармой, без исторщ, без преданий и памятников, без старого собора и чудотворной иконы, незаконное брачное сожителство со всем тем дурным, что может дать неудачный законный брак: скандалами, бессмысленными сцепами ревности, грязными оскорблениями безответной прислуги и непомерными претензиями, будто «устюцкая барышня» на принца рассчитывала, а ей достался учительшка, с завистью к дамам оренбургского «света» — их туалетам, выездам, раутам. А до этого, еще в Петербурге, были тщетные попытки пайти ей занятие: и языкам иностранным пытался обучать, и музыке, даже на сцену вывел, пспользовав в первый и последний раз свое влияние театрального критика. Ни к чему не оказалось у нее ни терпения, ни таланта. Но, только промучившись без малого год в богом забытом Оренбурге и возненавидев до стопа, до крика, сквозь всю смертную жалость ее глупую, цепкую, как волчек, эгонстическую любовь, не мешавшую ни малым, ни большим предательствам, собственную свою слепоту и глупейшее самообольщение, понял он, что «устюцкая барышня» навсегда останется такой же, какой была в пору их знакомства, пожппая скудные плоды своего холодно и бездарно рассчитанного падения. Они расстались...

Трудно, до невозможности трудно человеку сменить шкуру, и все же он мог бы стать другим, даже сейчас мог бы, позови его та, единственная. Пусть только поманит, пальчиком певельнет. Ради нее

он забудет вино и цыган, разобьет гитару, станет тихим, покорным, смиренным, как последний мещанин, если это надо его душечке. Почему он так назвал ее в песне? «С голубыми ты глазами, моя душечка». Она никогда не была его душечкой. Чистая, невинная, с прозрачно-голубым взором и гладким, бестревожным лбом, источающая какой-то эфирный холодок, она была недоступна для его страсти и то ли не догадывалась о ней, то ли искусно изображала неведение. Потом, когда она уже принадлежала другому, появились стихи, громкие и откровенные, но ни единым словом не отозвалась она его мучительным признаниям. Ни на миг не потревожилось ее чистое и спокойное сердце его бурной, неопрытной страстью. Он лгал в стихах, утверждая противное. Нет, в стихах все было правдой, но то другая, особая правда, не равная скудной истине дневной очевидности. А как сладко, как нежно и больно было сказать ей, недоступной: «С голубыми ты глазами, моя душечка!» Тут и прощение, хотя она никогда ни о каком прощении не просила, да и не признала бы его права прощать ее. Но перед богом — разве не нуждается в прощении человек, причинивший столько зла другому человеку? И он простил ей свою сломанную судьбу, простил безмятежность мраморного лба, не отозвавшегося хоть морщинкой беззвучному вою, каинской тоске его души, простил холодную жестокость невинности, не замечающей на белой своей одежде крови расятого. Да какая она душечка? Душечка — теплая, слабая, нежная, готовая, даже не любя, по одной бабьей жалостливости прикинуть сердцем к больному любовью сердцу. А Леонида — имя-то какое на русский слух пелепое! — швейцарское дитя, вспоенное разреженным прохладным воздухом Альп, ну, чего зря болтать, замоскворецким густым, деготным, ладанным воздухом вспоено дитя обрусевшего швейцарца Визарда; льдышку носит в груди, куда ей в душечки! Но растопилась льдышка, замутился бездонный голубой взгляд, прежде легкое, неприметное дыхание затревожило газовую косынку на груди, когда в доме появился эффектный и пустоватый Михаил Владыкин. И до чего же легко досталась Леонида этому барину и удачливому драматургу! Не уплатив дани мук, страдания, собачьей преданности, тоски, стихов и слез, он с непостижимой быстротой сделал ее своей перед богом и людьми и увез в пензенскую деревню. Они умчались, не заметив, что колеса свадебного возка переехали человечесье сердце. А там семейная тишина скоро наскучила этому удачнику. Он вдруг открыл в себе актера и обернулся Менелаем на московской сцене. Ну и черт с ним, пусть менেলাйствует себе на здоровье, но она-то, Елена этого Менелая, что с ней? Поди, осалошилась, отупела в своей глуши, а может, и на новую линию вышла? Она ведь сильная, умственная, от губельных чувств и от губельных людей хорошо защищенная. За нее нечего бояться...

Господи, уже тринадцать лет тому, как переступил он впервые порог дома Визардов и увидел тихую девушку с голубыми глазами, ни разу не глянувшими на него с вниманием или участием, не говоря о чувствах более горячих. Разве что опасливым и отчужденным любопытством расширялся зрачок, когда он витийствовал в доджихо-

товом или гамлетовом пошибе. И в том, и в другом образе, равно близком его двойственной натуре, оставался он ей чужд, даже враждебен. Почему хорошие женщины избегали его? В юношеские годы крестовая сестра, нежная Лиза предпочла ему наиспокойнейшего Фета; Антонина Корш, первая его взрослая любовь, — рассудительного Кавелина, Леонида — незначительного Владыкина. Быть может, этих положительных, спокойных женщин отталкивал его горячий энтузиазм, незаземленность, невмещаемость в обычные рамки? А успех он имел у сестры Антонины Лидии, страшной, гибельной натуры, у Марии Федоровны Дубровской да еще у одной, сжигаемой чахоткой, с изломанной душевной жизнью и воспаленным сознанием, ну, и черноокие Стеши да Маши его не обижали. Но тринадцать лет, трезвый или пьяный, счастливый или несчастный, здоровый или больной, один или в чужом тепле, он начинал день с мыслей о Леониде, как иные с утренней молитвы. Хоть бы раз она его пощадила, хоть бы раз оставила в покое. Голубоглазый сфинкс!.. В чем причина ее проклятой власти над его душой, в чем сила ее очарования, которому поддавали почти все посетители дома Вязардов? Но ведь те поддавали, а потом безболезненно освобождались от чар, черпая защитные силы в собственной малости и приверженности к рутине. А он так и не освободился, так и не разорвал пут. Неужели до конца дней нести ему эти вериги? Да, ты не избавишься от своей ноши до смертного часа, ибо корень в тебе самом, ты ни от чего своего не хочешь избавиться — ни от любви, ни от пьянства, ни от донкихотства, ни от долгов — и даже гордишься в какой-то своей подпольной тьме, что ты монстр, не похожий ни на кого из окружающих. Пьяни кругом не сосчитать, есть и такие, что тебя перегуляют, и не бедна Русь поэтами, чья лира позвончее твоей, и мыслящими критиками и пламенными служителями идее не обойдена, и нешто когда скудела наша почва чужаками, что не страшатся и платьем ярким, и диковатой повадкой навлекать насмешки и поруганье окружающих, но, чтобы в одном человеке все слилось, спаялось, спеклось намертво — этого в веках поискать — не сыщешь. Может, главное твое назначение, а каждая божья тварь чему-то назначена, не страстные стихи, не умные критики, не борьба за выстраданные идеи, а совсем в другом: явить русскую натуру во всех крайностях, яри и бесчечности, готовности к высочайшему взлету и низжайшему падению. В твоих безобразиях — вызов той удручающей европейской безликости, которую сторонники западного развития пытаются навязать самобытному русскому укладу. И славянофилам — кукиш под нос! Из кожи лезут вон рыцари ракового хода, доказывая, что русский человек по самой природе своей смиренник, скромник, образцовый семьянин и святоша. Какая чушь! Будто земская жизнь возможна без гульбы «до поры, до утренней до зари. Гульба по душе, гульба весеннюю почку, весь денечек, осеннюю почку до святочку». До чего же жалки и смешотворны аксаковские славословия народному смирению! А куда девать тогда Степьку Разина, Прокофия Ляпунова, Минина-Сухорука, Пугачева? А куда девать меня самого?..

Ну, оправдал свое пьянство? — с усмешкой спросил себя Григорьев. Это входит в жизненный распорядок, надо подбодриться, чтобы сделать первый и самый мучительный шаг в явь из благодной тьмы. Потом все равно придет хандра, как называл Григорьев похмельное раскаяние, не признаваясь даже самому себе, что может жалеть хоть о чем-то, сотворившемся с ним по воле его безудержной натуры. Он вредил только себе самому, а окружающим не причинял зла во хмелю, никого не оскорблял, не дрался, если его не задевали, все добрые свойства его незлобивой, мягкой, сострадательной, восторженной и оттого жутковатой порой виде. Он помнил сквозь все напластования, как на второй или третий день загула ему попала на улице жена композитора Серова Валентина Семеновна, и зазвучала в нем музыка «Юдифи», и он заорал, пугая прохожих: «Прегениальнейшая шельма твой Сашка, черт его дер! Как это у него запоет Юдифь: «Я оденусь в виссон», — сапоги готов ему лизать. Гениальнейшая башка у Сашки!» — «Успокойтесь, голубчик, успокойтесь, миленький!» — лепетала Серова. Хорошая баба, одареннейшая, умнейшая, но дура...

И, думая обо всем этом, он понимал свою игру: боится с кровати встать, тянет время. Пока лежишь тихо, даже не знаешь, как тебя размолотило, и кажется, что жить можно. Ну, погуживает в голове, ломит затылок, во рту пересохло, и языком не пошевелить, и нет воды под рукой, чтобы смочить рот, но жить можно. А вот как встанешь, да как поведет тебя, да как закружит, да как подкатит под самое сердце!.. И все-таки встать надо.

Он закинул руки за голову, ухватился за спинку кровати и пемного подтянулся вверх, в полусидячее положение. И сразу боль, дремавшая в нем, как вода в чаше, всколыхнулась, растеклась по телу. Железным обручем сдавило черепную коробку, тошнота подкатила к горлу и ожгла омерзительной горечью, заболели глазные яблоки, будто их придавили пальцами, все закружилось перед ним: степы, потолок, окно, в которое изливался золотой и синий июньский свет. Он закрыл глаза, закинул на них согнутую в локте руку и несколько секунд перемогал головокружение. Теперь он открывал в себе все новые очаги боли. Гнусно пыли наломанные неудобными почевками кости, особенно ребра и крестец. Лишь в первые ночи спал он по-человечески в каких-то номерах у Фредерикса и на Лиговке, потом гулял с цыганами ночи напролет, а отсыпался днем у знакомых. У Мея пьесу читали, когда он ввалился. «Милый мой, возлюбленный, желанный, где, скажи, твой одр благоуханный?» — звучно продекламировал Григорьев и плюхнулся на мягкий продавленный диван. Раз у Серовых тоже при гостях выспался в столовой. И наконец в клубной бильярдной обосновался. На бильярде плохо спать — жестко и вонюче и першит в горле от меловой пыли, которой прощталось зеленое сукно, — зато надежно: борта свалиться не дают. Ох и загремел он раз с лавки в полицейском участке! Как изумился Страхов, заглянув среди дня в бильярдную и обнаружив его простершимся на центральном, лучшем столе, на котором раз-

решено играть только мудрую пирамидку. Славно они тогда поговорили. Хороший у него ум, не догматический, широко охватывающий суть явлений. И кто же потом сбил, а там и вовсе изгадил ему настроение?.. Островский?.. Неужели это Островский стыдил его за темный и непроворотный стиль? Григорьев поморщился. Стараясь отогнать неприятное воспоминание, он приподнялся, и новый накат боли, головокружения и тошноты уложил его на лопатки. И все же надо вставать. А то последний срам приключится, до какого он еще ни разу не доходил. Он осторожно спустил ноги с кровати, убрал руку с лица, открыл глаза, дал им привыкнуть к свету. Чуть приподняв и повернув голову, он с удивлением обнаружил, что на нем надеты какие-то плисовые, не его штаны. Он вышел в суконных брюках мышинового цвета, а плисовых штанов со второй московской юности, с приснопамятной молодой редакции «Москвитянина» не нашивал. О знаменитых его коричневых с отливом широких плисовых штанах и такой же поддевке поверх кумачовой рубашки с косым воротом Фет шутил, что Григорьев рядится под московских извозчиков, которые сами так сроду не одевались. И кумачовую рубашку, и плисовую поддевку он и сейчас охотно надевает, когда случается в духе, он и за границей не стыдился просторной и ладной русской одежды, так хорошо идущей к его полноватой крепкой фигуре, а вот брюки давно уже только суконные признает. Как же оказались на нем эти шаровары? С кем же он мог поменяться? Не иначе, с Ромкой Казибеевым из Сурмиловского хора. Как, подлец, «Раскудрявую» выводит! Тут можно не только хорошие брюки на дрянь сменить, а самую душу прозакладывать. Но странно, что он чувствует на себе Ромкины поноски, как собственные. Помнит тело одежду, не иначе, облекали его эти штаны, когда их мягкая переливчатая ткань еще не обратилась в редину. А после татарину за бесценюк спустил. Верно, от князя и попали они к Ромке.

Григорьев собрался с духом и, цепляясь за спинку кровати, встал на ноги. Редкая плисовая ткань билась парусом вокруг дрожащих икр. Комната перевернулась в его глазах, и он перевернулся вместе с комнатой, но устоял и, отплюнув горькую слюву, обрел привычное положение тела. Внутри у него будто цепями перемолочено, живого местечка не осталось. О господи!..

Он опустился на колени, нагнуться не мог, опасаясь дурманного прилива крови к голове, и нашарил под кроватью фарфоровую посуду, свое единственное движимое имущество, последний подарок цивилизации, который он сохранил во всех передрыгах кочевой жизни. Он и на эту квартиру явился с гитарой в одной руке (гитару имуществом не считал — продолжением своего сердца), с узелком, содержащим ночной горшок и несколько книг, в другой. С такими узелками бабы ходят в церковь святить пасху и куличи. «А имущество где?» — подозрительно спросила хозяйка квартиры. «Вот оно, все здесь!» — ответил он с наивной гордостью, искренне считая, что горшок служит гарантией его добропорядочности, привязывая к земле, к миру основательных людей, владеющих собственностью...

А потом он сидел на кровати и тихо втолковывал вообразяемому Островскому:

— Пойми, я не мысль выражаю, а чувство, вымучившееся до формул и определений. Вот чем я отличаюсь от других, пишущих критики. И, конечно, я всегда буду труднее для постижения. Они задачки решают, а я дух из тьмы изымаю. Я ве-я-ни-е, а не школьный учитель. Да-с!.. А читатель пусть думает, разбирается, на то и даны человеку мозг и сердце...

Он подумал немного и заключил:

— А не может разобраться, ну и черт с ним. Мне такие читатели не нужны...

Хотелось пить, он поискал глазами — пустая кружка стоялаверху дном на полу. Умыться бы. Но и в тазу, и в кувшине ни капли воды. Спросить самовар? Нет сил тащиться в коридор и уламывать хозяйку, лишившую его утреннего чая за неуплату квартирных денег.

Совсем обессилив, он прилег на кровать. Супцу бы не особо горячего похлебать, куриного бульона с сухариками. Он не был гурманом, ел жадно, много и быстро, выбирая куски пожирнее, а не потоньше вкусом. Нет, не был он гурманом ни в яствиях, ни в литературе. Пицца должна питать и укреплять, а не баловать плоть, и книги должны питать, укреплять, а не баловать и нежить дух. Сбитню бы он попил, простоквашки или коричневого топленого молочка, что так вкусно у деревецких баб на Сенном рынке...

Чего домогался от него Островский? И с какой стати пошел у них этот ненужный разговор? Опять, что ли, в «Искре» извили его за дурные словеса? Но Островский не станет подпевать искринцам. И все же досадительный разговор имел место, вот почему так странны и необычны были усыпавшие его на рассвете чертики. Не в первый раз брал он с себя чертей, привык к ним, ничуть не боялся, как и пучеглазых рож и зеленого змия в темных углах комнаты. Сухонькие, похожие на сверчков чертики были большею частью в прозелень, но попадались и серые, как паутина, бурые, как лесные лягушки, и он легко стрясывал их с себя, сбивал щелчками, а особо цепких брал щепотью за крылышки и, стараясь не раздавить, швырял прочь. Нынешние черти отличались от всех прежних: животы у них просвечивали, как у диковных рыбок в аквариумах, и там ясно читались прозвища. Был чертенок Который, был чертенок Поколику, был клещево-цепкий Запе. Все излюбленные — да какие там излюбленные, пропади они пропадом, проклятые и неотвязные — слова, испещряющие не только его статьи, но и стихи. А чертенок Подметка откуда взялся? Ах да, ведь он частенько оговаривается «подметкой чувств». Может, и в добрый час явилось в мир словечко «который», позволяющее так легко связать фразу, но у Григорьева словечко это торопится вперед заскочить, на правый фланг придаточного предложения, и уж до смысла не докопаться. Неужели не может он призвать к порядку своевольное местоимение? А вот не может, просто не видит, что оно в неположенном месте выскочило, слишком страстно, слишком горячечно пишет, слишком торопится

свою мысль досказать. И почему-то всякий раз недосказывает. Но это уже другое... Статью всегда надо срочно сдавать, поджимают журнальные сроки, а главное, безденежье давит, и нет времени на доработку, доделку. И все же не надо на нужду валить. Нужда — это когда дети голодные плачут, а у него деньги на ветер летят. За рабочим пароксизмом следует пароксизм загула. Милый, наивный, даровитый Страхов жаловался, что ученые занятия не дают ему вкусить жизни. Да знает ли он о тех мрачных эринниях, которых бог насылает на мыслителей, слишком жадных к жизни? Храни и помилуй от жизни того, кто хочет сказаться в слове. А ну ее в подпуше, как говаривал покойный Лермонтов. Моя беда, моя трагедия в том, что я не умею переживать жизнь внутри себя, мне ненасытно хочется пережить ее в действительности. Если б не угарная, сладкая, мучительная растрата сил и чувств, сколько бы я успел! Да ведь жаден до жизни, как медведь до меда. Вот и оборачиваются чертями уродливые слова, переполняющие мои сочинения. К чему все-таки прицепился Островский? К чему-то вовсе не стыдному, к чему-то важному, станковому в моих писаниях, неужели к «Скитальчествам»? А уж они ли не выпелись из души!.. На ломберном столике, служившем и для работы, и для еды, валялись растрепанные номера «Эпохи», но как до них добраться?..

Он снова повторил весь давешний ритуал: уцепился руками за спинку кровати, подтянулся, пережил миг дурноты, спустил ноги в плисовых штанах на пол, встал, выждал, когда успокоится сердце, и сделал первый шаркающий шаг от кровати. Страшно было остаться без поддержки, но он справился с собой, ерзнул дальше. Тут он осмелел настолько, что рискнул оторвать ногу от пола и сделать настоящий, хоть и коротенький шаг. Удалось! Вот так и всегда бывало: кажись, уже конец, больше не подняться, но пересилил себя, встал, двинулся, пошатываясь, а там и укрепился на земле, вернул себе стройный человеческий образ, вновь крепки кости, вновь бьется мысль и закипают в груди чувства, и рука тянется к перу.

Доковыляв до ломберного столика, он взял журнал, листал паугад, и по глазам, по мозгу ударили страшные, как и в горячечном бреде, строки: «Если б школа давала тезис в отрицательной форме *spiritus non existit*, он негиривал бы негоцию и вместо того, чтобы быть материалистом и нигилистом, был бы идеалистом, *est semper bene...*» Господи, да как рука не отсохла?.. Чтобы русский писатель позволил себе такую галиматью, гадчайшую заумь, будто недопереведенную с латыни! Вот ведь позволил, подумал оп с жалкой усмешкой. Я и позволил... Но зачем же печатать-то было? И как могли братья Достоевские это допустить? А может, я брежу, может, мне все мерещится, как зеленые хари в углах и черти на рукаве? Но я же очнулся, отошел. Неужели головой повредился?.. Матушка, спаси своего бедного сына! Урони слезинку на его большую головушку!.. Но нет матушки, давно нет несчастной, худой, как рыба кость, полубезумной и прекрасной за покровом странной душевной омраченности жепщины, так любившей чесать большим деревянным гребнем тогда еще не буйную и не безумную русую голову Поло-

пеньки. Слезы закапали из слинявших, а когда-то ярких, сверкающих глаз Аполлона Григорьева.

И все же жизнь опять втягивала его в себя — измотанный, изломанный, дрожащий, дурно пахнущий, он был ей для чего-то нужен. Жизнь не отпускала его, и он хотел, чтобы не отпускала, чтобы держала его на земле, где он все потерял и ничего не обрел — ни любимой, ни дома, ни семьи, ни власти над умами, ни положения, ни имени, а лишь растерял то, что дано ему было от рождения: здоровье, силу, чистоту, безоглядную веру в людей, прозрачность взора. Но, может быть, потерями и притягивает его жизнь. Леонида, утраченная навсегда, в каком-то высшем смысле принадлежит ему — жгучей памятью, болью, стихами, созданными в нем ею. Ему плохо сейчас, так плохо, что хуже некуда, но он отвергает услуги смерти. О, как же прав Пушкин, всегда и во всем правый, воскликнув: «Но не хочу, о други, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!» А под страданием он разумел не маету и упадок, не тоскливую неотвязную боль, а способность обострять каждое чувство, жить всей силой и полнотой страстей.

Но, друг мой, страдания Пушкина не чета твоим тягомотным, душным сердечным болезням, африканские страсти ярко вспыхивали и быстро отгорали. Ты весь из житейщины, из сырой жизни, там же все было крепко, сухо и горяче, как порох. Твоя «Венгерка» окуплена кровью сердца. Да разве так уж безмерно любил Пушкин в свои веселые, озорные молдавские дни крупную черноволосую больную Ризнич, а ведь к ней обращено трагическое «Для берегов отчизны дальней», а божественное «Я помню чудное мгновенье» посвящено даме, над которой он сам же потом посмеивался: «У дамы Керны ноги скверны». Пушкин мимолетностям дарил бессмертие. У тебя же лишь крушение души исторгло настоящую поэзию. Выходит, ты просто бездарь, друг мой, и у тебя один путь — в кабак? Нет, положи руку на сердце, ты вовсе не бездарен. Значит, кабак не следствие, а причина?.. Среди первоклассных талантов не сыщешь пьяниц. Дивная «Вакхическая песнь» спета трезвым человеком, и звонкий темноглазый поручик сохранял ясную голову посреди гусарского разгула. Крепко пивал во дни «Москвитянина» Островский, но разве повернется язык назвать пьяницей создателя «Грозы»? Труженник, собранный человек, знающий свое назначение, он, когда нужно стало, незаметно выбрался из-за пиршественного стола, за которым продолжали бушевать его преданные и непутевые сподвижники. Но тяжело, запойно пьет Мей, спивается Левитов, и вся литературная бурса, завывая горе веревочкой, губит себя до поры до времени. А ведь все это таланты. Нет, полуталанты. Может, невозможность сказаться до конца берedit, травит душу, и рука сама тянется к рюмке. Так ли?.. Возможно, есть тут доля правды, только не вся правда...

В ранней замоскворецкой юности, когда студент Фет жил на хлебах в деревянном доме Григорьевых возле Спаса в Налпвах и юноши занимали соседние комнаты на антресолях, братски делиась мечтами, надеждами, сомнениями, даже стыдными снами, влюбленностями и

первыми стихотворными опытами, он нередко приходил в отчаяние от неуклюжести собственных виршей, подчеркнутой благозвучием фетовских строф. Но разве хотелось ему искать утешения в вине? Да нет же! Он восторгался, от души восторгался крылатой фетовской легкостью, проклинал корявую нескладницу своих бедных и таких искренних стихов, но не падал духом, а полно и взволнованно жил поэзией, музыкой, любовью, громадностью раскрывающихся перед ним умственных горизонтов. Даже во дни, когда все честолюбивы, поэтическое честолюбие не терзало его. Поэзия была — и осталась — необходима ему для «собственной надобности», каждый поворот его жизни отмечен стихами, он, паверное, самый личный поэт из всех существующих на Руси. Таким он был на заре туманной юности, таким и остался, когда найденное главное дело заставило потесниться музы. И есть страшный разрыв в нем. Его стихи лишены народности, все, кроме «Венгерки», где подхвачена та чистая и страстная нота, что с незапамятных времен звучала под звездным шатром цыганских небес.

Но пить он начал, причем сразу круто, не с тоски и невыраженности — от полноты жизни. Еще подставляя голову под маменькин гребешок, он уже следил, чтобы не дыхнуть на нее кюммелем, а то и крепкой водкой. Тогда же узнал он завораживающую истому цыганских напевов, тогда же изменил глубоким тоном рояля ради надрывов семиструнной краснощековой, тогда уже не мог противостоять зову разгульной, самозабвенной, головокружительной жизни и кинулся без огляда и боязни в ее грешные объятия. Домашний гнет, навязанный семье болезненной, до ханжества добродетельной матерью, не только не удерживал от сомнительных подвигов, напротив, возносил разгул в чин свободолюбия. Мысль о раскаянии не касалась его души. С собой человек вправе распорядиться, как ему вздумается, быть может, это единственное достоинство, в котором он до конца волен.

И все у него было цельно, не разорвано, не лоскутно: стихи, увлечение немецкой философией, бессонные ночи над книгами, вечное раздражение мысли, споры с друзьями, загулы, цыгане, жаркая близость с женщинами, которых он потом не помнил, и никакого сожаления ни о чем, никакого сомнения в том, что все происходит правильно, истово. И писалось ему стихами и прозой так же просто и естественно, как жилось и дышалось, и он не задавался вопросом, так ли, правильно ли он пишет, как не задавался вопросом, так ли, правильно ли дышит. И однажды он по-детски удивился и озадачился, увидев черновики Пушкина. Там не было ни одной не перечеркнутой строчки, ни одного не переделанного слова. Вот каким каторжным трудом, каким прилежанием оплачена волшебная легкость пушкинского стиха! Он так не мог, не умел, у него просто времени не хватило бы. Шум жизни звал, оглушал, пьянил крепче вина. Неужели Стешина низкая волпующая нота или дружеский, за полночь спор о важнейших вопросах бытия не важнее какого-то криво ставленного в строку слова? К тому же главная тема споров — искусство и жизнь — оказалась столь захватывающей и жгучей, что вскоре не

стало душевного времени ни на что другое. Он понял, истина входит в человеческую душу лишь в образе красоты. Все великое сообщается жизни воплощенным в произведения искусства, наука делает лишь черную работу. И наконец в нем сказалось гулко, торжественно и чудно, как в соборе: искусство — это второй мир второго творца. Он должен внушить эту мысль людям — стихи заброшены, он пишет о литературе. Критическая деятельность пришла к нему так же естественно, как прежде поэзия, как загулы, и так же явилась прямым продолжением его личности. Но теперь он не замыкался в скорлупе собственного «я», а смело ступил в общественный поток. При этом он ничем не поступился в своей капризной индивидуальности, оставался вызывающе самим собой.

Его не устраивало ни одно из существующих направлений: ни славянофильство с его душными старобоярскими идеалами, ни тем более западничество, всерьез рассчитывающее привить русской стихии аглицкий парламентаризм, ни «теоретики», договорившиеся до того, что «сапоги выше Пушкина», ни эстетики-гурманы, у которых искусство — нечто вроде похотливого самоудовлетворения. Он лупил по всем, и его лупили все. Брань и насмешки барабанили по его шкуре градом, а каждая градина — с гусиное яйцо, но он не чувствовал боли, упоенный засиявшим для него светом. Он твердо знал — спасение в народности, но в отличие от славянофилов видел ее не в крестьянской общине, а во всех русских сословиях, и в первую очередь в купечестве, сохранившем в наибольшей чистоте и цельности богатый, самобытный национальный характер, жизненную бодрость, пряную густоту русского быта, старинные обычаи, пляски, песни, теплую веру. Своим окончательным прозрением он был обязан Островскому. И ярко засверкал его меч во славу народности и столпа ее — Островского. Ответные удары могли и быка свалить, а он знай себе ломил дальше, захваченный великой мыслью — создать новый, всеобъемлющий метод критики, который удачно назвал «органическим».

Направления раздергивали литературу, признавая лишь угодное их узким целям, не замечая или неспровергая неуютное, — смятенный вид обрела русская словесность. А Григорьева, этого раздрызганнейшего в быту человека, влекло к целостности. Ему мечталось выработать такой критический метод, который каждое литературное явление рассматривал бы в свете большого общенародного дела, народного идеала, а не с нищенских позиций соответствия ближайшим, сиюминутным целям.

Порой в густом сумрачном тумане проступали контуры светлого величественного здания, которое вот-вот станет явью. Но контуры таяли, а там и вовсе исчезали в чаду жизни, в утомлении перетруженной мысли, бессильно упускающей какое-то необходимое звено. Григорьев то приближался, то отдалялся от своей цели, а то и вовсе отчаивался в пей и тогда бросал все к чертям собачьим, отказывался от власти, идущей в руки, и бежал, как павший духом воин с поля сражения, никому и никогда не признаваясь в своем дезертирстве и даже перед самим собой оправдывая его житейскими при-

чинами. Так было в пору его бегства из Москвы за границу в качестве паставника князьинки Трубецкого, когда Погодин готов был передать ему «Москвитянин», так было и во время последнего бегства в Оренбург с «устюцкой барышней», когда он уже становился хозяином в критическом отделе журнала братьев Достоевских. Он придумал какую-то обиду для оправдания своего бегства, но ведь это неправда, правда в том, что пора ему было сказать слово, то главное слово, которого все ждали и которое стало бы платформой журнала, а он не мог сказать этого слова, не знал его. Красиво звучит «общенародное дело», а в чем оно? Самой душой выпето — «народный идеал», а где он? Расплывается в беспредельности... Вон у «теоретиков» идеал определен, ясен, да черта ли в нем?.. Фаланги усовершенствованной человечины дружно возделывают всеобщий грушевый сад. Да коли так... Коли сбудется... повешусь на первой же груше в этом цветущем саду...

Было и другое. Он писал одну из главных своих статей, отталкиваясь, по обыкновению, от Пушкина, ибо Пушкин — начало всех начал, и в подтверждение какой-то мысли процитировал из «Черни». Затем перечитал крепко закрученное рассуждение, испытав даже некоторую гордость, и вдруг:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

И закричал, так ошеломляюще прекрасно это было, а потом заплакал над скудостью, беззвучностью и ненужностью многомудрых своих рассуждений. Да, не вести слешу зрячего, без художества теория — пропащее дело. Отсюда безнадежная вторость всяких критических упражнений. Как там ни крути, ни усердствуй, какие волшебные здания ни строй, дело твое не богово, а сугубо человеческое. Господь сочинял вселенную не как критик и не как публицист. Вдохновенная творческая сила, создавшая за семь дней все сущее и сказавшая себе «это хорошо», была сродни искусству, поэзии, но никак не рассуждению, иначе не быть миру столь совершенным. Все дурное в нем — от человека с его опасным заносчивым разумом, иными словами, от критики...

Григорьев тяжело вздохнул. Он с самого начала ждал, что придет к этому невеселому итогу. Так всегда начиналась хандра. «А все оттого, мой друг, что ты незавершенный создатель. Артист, у которого творчество съедено анализом, к тому же с непозволительной жаждой жизни». Итак, приговор оглашен. Он, как и следовало ждать, беспощаден и обжалованию не подлежит. Но, странно, Григорьев не слишком опечалился. И вовсе не из цинизма или равнодушия к себе. Он словно не верил безобразной правде вывода. Хандра, копившаяся в нем, как туман в овраге к вечеру, не торопилась накрыть душу. Видать, неспроста. Ему предложено спастись. Умиравший в страшных муках философ просил сына: «Напомни мне какую-нибудь важную мысль, это освежит меня». Мысль Григорьеву не приходила, по

забрестило нечто лучшее — образ. Яйцо. Огромное, свежее, только что из-под наседки, чуда-паседки, богатырши наседки, розоватое, будто просквоженное солпцем, гладкое яйцо, богово чудо — замкнутый внутри самого себя цельный, завершенный мпр, содержащий все элементы жизни. Нет ничего красивее яйца. Какое там еще здание мерещилось ему?.. Чушь!.. Каждое здание либо несоразмерно, либо незавершенно, либо искажено излишествами, красота даже лучших творений зодчества условна как знак своего узкого времени. Яйцо — совершенство, ни прибавить, ни убавить, оно полно, осмысленно, вечно и все как есть служит своему назначению. Метод органически — анафемски хорошо звучит! — критика впервые предстал Григорьеву в образе яйца; нерасторжимо и целостно сольются в нем жизнь — искусство — постижение. Конечно, критика никогда не станет третьим миром, но приблизится наконец к тому, на чем простерся свет господен.

А кто же второй творец второго мира, комически озадачился вдруг Григорьев. Совершенная красота первых насельников мироздания довольствовалась сама собой и не могла породить чего-либо внешнего по отношению к себе. Извечное зло вовлекло Еву в грех, она же вовлекла Адама, и поколебалось богово устроение, пошли разлады и уродства, и юную вселенную омрачила первая кара. Из мучительной тоски по утраченному: раю — идеалу — гармонии родилось искусство. Значит, Змей, Сатана — прародитель искусства. В раю искусства не было, да и не могло быть, незачем раю вглядываться в собственную красоту. Стало быть, не только критика от лукавого! Он совсем развеселился.

Григорьев чувствовал, что может встать, а если б еще похлебочкой подкрепился, то и на улицу выползет. Но похлебочки ждать неоткуда, и оставалось придумывать себе другие радости. Много есть в мире такого, что поважнее личных страданий. Хотя бы пьесы Островского. В Оренбурге он врачевал себя «Мининым», а в последний заход думал служенне Мельпомене потеснить служение Лизю. В Александринку завалился на «Бедность не порок» — любимейшую свою пьесу. Да не получилось ничего — холодная, сделанная игра петербургского баловня Самойлова в роли Любима Торцова оскорбила в нем чувство правды. Не могут играть в Петербурге Островского, нечто есть у них Замоскворечье? Петербургский купец издавна припахивал немцем или голландцем. Но, вспомнив о пустом спектакле, он уже радовался, потому что мостик перекинулся к далекой счастливой поре, быть может, самой счастливой поре его многострадальной жизни.

Тогда он вернулся в Москву после бегства в Петербург от несчастной любви к Антонине Корш, так и не залечив душевных ран, разочарованный в обманных возможностях столицы и в себе самом, по уже «чующий правду», которая и привела его в стан молодой редакции погодинского «Москвитянина». Он сразу понял, что нашел людей, близких ему всей кровью, но те не спешили раскрыть объятия еще одному отечественному Гамлету, чья русская закваска привлекала их столько же, сколько же отпугивал чужеродный меланхолический туман. Хоть доверия еще не было, а на премьеру пьесы

своего главы и кумира Островского «Бедность не порок» в Малый театр взяли. Так и сидели в ложе всей компанией. Спектакль захватил Григорьева с первых реплик, но зрительный зал разогревался медленно, да и то лишь магическим обаянием великого Прова Садовского, игравшего — какое там «игравшего», это Самойлов играет, а Пров жил и погибал всерьез — беспутного Любима Торцова, первого замоскворецкого романтика на русской сцене. Григорьева бесила тупость публики, он себе ладони до свекольной красноты набил, орал, вскакивал на кресло. «Тебя выведут, сумасшедший!» — одергивал его Погодин, сам потрясенный до слез. Много раз потом выводили Григорьева из театра — не умел он приказывать своей душе, коли она рвалась наружу, но в тот раз обошлось и он дождался знаменитого места, когда пробудившийся от пьяной спячки и сознавший свое человечье достоинство Любим кричит всему презревшему его миру: «Дорогу, дорогу, Любим Торцов идет!» Лед тронулся. Всяк, в ком жива душа, понял, что на русскую сцену шагнул шаткой, но уверенной поступью совсем новый герой. До того на театре горланил и хвастался Ляпунов, кобенился под орлеанскую девственницу Мнини (разумеется, не Островского) — жалкие подделки под русский тип, а тут развернулась во всю ширь мощная натура восставшего из грязи коренного русского человека, в коем смирение перед богом и нравственным законом в нужный час оборачивается бунтом против злостворства.

Чудо случилось в четвертом акте, когда старый, измочаливший душу о жизнь Любим Торцов тихо, из какой-то последней глубины усталости и одиночества просит Гордея о милости: «Брат, отдай Любушку за Митю. Он мне угол даст... Назябся уж я, наголодался. Лета мои прошли, тяжело уж мне паясничать на морозе-то из-за куска хлеба, хоть под старость-то да честно пожить...» Когда он кончил, была неестественная, какая-то жуткая тишина: люди в зрительном зале забыли дышать, окаменели, затем возникла долгая стонущая нота и — обвал!.. Позже Григорьеву довелось видеть знаменитого Сальвини в «Отелло» и неистовство самой темпераментной в мире итальянской публики, но все южные страсти меркнут перед тем, что случилось в московском Малом театре на премьере Островского. И впервые его бескорыстное сердце сжалось не то что завистью — о, нет! — но каким-то печальным восторгом перед властью гения над толпой. И чувство это стало почти нестерпимым, когда Островский, большой, лобастый, с глазами, полными слез, поднялся в ложе и, обращаясь к друзьям своим и соратникам, сказал, беспомощно разводя руками: — Не виноват, братцы!.. Небо свидетель — не виноват. Не я — господь бог писал!..

Какое же это ни с чем не сравнимое счастье — иметь право сказать о себе такое! Но, отозвавшись сжатием сердца и соленой влагой, скатившейся на губу, безмерности чужого успеха, Григорьев наконец забыл о всем малом и личном, растворившись без остатка в торжестве того, в чем прозревал будущее.

Его взяли на кутеж, который начался в ресторане, а закончился в доме Островского богатейской мужской попойкой. И навсегда пле-

нилась молодая душа Григорьева спокойной мудростью и проницательностью Островского, не оставившими его и в подпитии, дивной старомосковской речью и глубиной взора великолепнейшего Прова, щемящей, беззащитной нежностью Мея и всем густым, свежим, здоровым даже в безобразиях духом, царившим в этом кружке. У него кружилась от счастья совсем ясная голова, хотя палился он водкой и шампанским по затычку, но в огненный час не может завладеть человеком никакое отравное зелье. И старик Погодин, возвеселившись духом, потребовал, чтобы Григорьев спел под гитару что-нибудь цыганское. Тут же появилась семиструнная, и Григорьев, слишком доверчивый, открытый и прямодушный, чтобы стесняться, свободен, с душой спел настоящее таборное. Странное дело, его голос, привычный в разговоре, споре, с учительской кафедры и особенно в партере театра, становился тихим, томительно нежным, когда он пел, даже не пел, а проговаривал слова под искусный аккомпанемент, и он не умел иначе, лишь в самых подъемных местах усиливал звук, вкладывая страсть. Приняли благодарно, не больше; придет время, и он приучит их к цыганским напевам, откроет им глубоко народную стихию этой ни на что не похожей музыки, но тогда они еще не были готовы. Да и находился тут певец редкой силы, обладатель такого богатого, красивого, природой поставленного голоса, что не Григорьеву с ним тягаться. И певцом этим, кто бы мог подумать, оказался изысканный Третий Филиппов, будущий святоша и гонитель свободной мысли. Он взял из рук Григорьева гитару, рванул струны и так анафемски взрыдал варламовским «Парусом», что аж сердце вон, и без передышки русскую песню выдал. И тогда Григорьев с размаху кинулся на колени перед всей честной компанией и, рыдая, закричал: «Возьмите меня к себе, братья!.. Не отвергайте душу неприкаемую! Я же ваш, ваш, всем сердцем, всей требухой ваш!..»

И старик Погодин с красным, как вишня, разляпым посом вдруг сорвался с места и — трубой иерихонской: «Братцы! Рекомендую Аполлона Московского. Редчайший человек — не знает, где выс... где молитву прочесть. Первое справит в красном углу, второе — под лестницей. Прошу любить и жаловать!» Нельзя было устоять перед такой рекомендацией, Григорьев был принят и возлюблен всеми этими прекрасными людьми. Вскоре он стал как бы вторым центром молодой редакции, признанный теоретический глава направления, написавшего на своем знамени: народность... И началось золотое пятилетие его жизни с великой и безнадёжной любовью, с трудами и яростной борьбой, а кончилось известно чем — бегством за границу от любви, от друзей, от работы, от самого себя... Ну, хватит на пепел дуть, давай жить дальше...

Он пришел в такое возбуждение, что рывком поднялся с кровати, на слабых, но уже держащих ногах достиг окна и распахнул раму. В лицо ударило теплым сладким духом зацветших во дворе лип. В Северной Пальмире воздух, как известно, то сырой и затхлый, то горьковонький, а тут изливалась чистая, свежая, медовая струя, совсем как в замоскворецких садочках. И если закрыть глаза, чтобы исчез каменный колодец двора, серые тюремные стены и бледное чу-

хопское небо, то кажется, будто тебе дышит в лицо Малая Полянка, травяная, липовая, березовая, и ты опять юн и влюблен. Он всегда почти был влюблен. Так уж устроен. Ему необходимо любить женщину, приносить жертвы, хотя бы воображаемые, губить себя ради нее, изливаться в стихах. И тут одной отвлеченной любви к далекой Леониде Визард мало, нужен зрпмый образ, существо из плоти и крови, нужны глаза и губы, нежность и сила женщины.

А ведь ты оживаешь, мой друг!.. Давно ли встать не мог, а вон уже о женщинах думаешь. Давай теперь умно и последовательно двигаться к полному выздоровлению. Перво-наперво надо попить воды, чтобы отмякло ссохшееся нутро, второе — поест теплой, лучше жидкой пищи. А там можно и о работе подумать. Набросать план статьи, поправить перевод «Ромео и Юлии» — на это тебя хватит.

Он стал обыскивать комнату в надежде найти заваливающий кусок сахара или сухарь, ах, с каким бы наслаждением вонзил он зубы в заплесневелый плюшкинский куличный сухарь, пусть даже не отскобленный Маврой от зеленцы. Но ничего не попадалось под руку, даже пива на глоток не осталось в многочисленных пустых бутылках. Имелась, правда, в доме одна таинственная специя, но он и подумать о ней не мог без желудочных колик. Стало быть, придется выползти из комнаты, кинуться в ноги хозяйке или старой служанке ее, усатой Марковне, или тащиться за ворота, чтобы в большом петербургском мире найти кусок хлеба и глоток воды. И тут в дверь постучали.

Кто бы это мог быть? Хозяйка? Но она никогда не стучалась, а сразу перла в дверь, прыгая жалобы и хулу на вечно должжающего квартиранта. Марковна? Она тоже лезет без стука, а если дверь заперта, как сейчас, долбит кулаком. А это стук осторожный, вежливый, косточкой указательного пальца. Неужели Страхов вспомнил о нем? Милый, милый Николай Николаевич! Григорьев должен ему вот уже полгода, хотя обещался отдать перед масленой. Но кто, скажите на милость, будет отдавать долг перед масленой, когда деньги всего нужнее? Это любимейший праздник каждого русского человека, и равно невозможно вернуть долг перед масленой и после масленой. Но как только он пристроит перевод «Ромео и Юлии», то перво-наперво расплатится с добрейшим Николаем Николаевичем. Вообще у него есть принцип: никогда не занимать у тех, кому должен. Во-первых, это безнравственно, во-вторых, безнадежно. Да ведь сейчас речь идет вовсе не о займе — о тарелочке супа, куске хлеба и бутылке пива в ближайшей кухмистерской. В такой малости ни один православный человек другому не откажет. Но почему-то Григорьев медлил открывать. Он хотел предусмотреть все возможности. Бог послал ему спасителя: кто бы ни оказался за дверью, его накормят и напоят. Ну, а если там не Страхов, а человек, которому он ни копейки не должен, или курьер из редакции со срочной просьбой?..

За дверью послышались приглушенные голоса. Посетителей было двое. Братья Достоевские, вспыхнуло радостно, и тут же по сердцу полоснуло стыдом. Как мог он забыть в скотском своем эгоизме, что добрейшего Михаила Михайловича уже нет на свете? Скорее всего,

это Страхов и Федор Михайлович. Не похоже на Достоевского, чтобы в святые рабочие часы навещал спившихся друзей, но милый Страхов мог подвигнуть его на подвиг милосердия. Господи, сделай так, чтобы это был Федор... Михайлович Достоевский, издатель «Эпохи», подсказал он творцу. Надо расплатиться с хозяйкой и лавочником, закрывшим кредит. А Федор получит для журнала перевод «Ромео и Юлии» и новые статьи о методе органической критики. В конце концов, он отдает все свои долги. Даже когда заимодавец перестает ждать, вычеркивает долг из памяти. Как удивился в свое время Катков, когда в безукоризненном по форме письме Григорьев напомнил ему о своем долге — не личном, а журнальном — трехлетней давности и предложил в погашение давно списанной суммы перевод «Ромео и Юлии», над которым он начинал тогда работать. Григорьев очень любил писать подобные письма и никогда не забывал напомнить, что его корреспондент имеет дело с человеком чести, причем сообщал своему посланцу оттенок легкой укоризны, подчеркивающей его душевное превосходство над кредитором.

Но, конечно, встреча с Достоевским и Страховым радовала его не только из меркантильных соображений. Он поделится с ними своими новыми мыслями и решениями, докажет, что рано еще списывать его со счетов. В счастливом нетерпении он вскочил с кровати, пересек комнату, повернул ключ в ржавом замке и ударом кулака распахнул створку двери. То не были Достоевский и Страхов, хотя тоже приятные люди: помощник смотрителя долговой тюрьмы Иван Иванович, маленький, сохшийся, но очень живой и душевный старичок, и громадный полицейский, которого Григорьев встречал на улице, но не знал по имени.

— Аполлон Александрович! — воскликнул помощник смотрителя, простирая к Григорьеву сухонькие, усыпанные гречкой руки.

— Иван Иваныч! Какими судьбами? Милости прошу! — радовался Григорьев, пропуская гостей в комнату.

— Имею честь представить вам Афанасия Капитоныча Козодоева. Видом звероподобен, сердцем кроток, как голубь.

— Очень, очень рад! — Григорьев не без удовольствия вложил небольшую женственную руку в огромную теплую длань полицейского. Он любил таких вот больших, кряжистых и добрых от своей силы людей. Афанасий Капитоныч с трогательной осторожностью чуть помял ему пальцы. — Прощу, господа! Извините, что не прибрано, не ждал!.. Располагайтесь. Пожалуйте сюда, в креслице, Иван Иваныч. А вы, дражайший Афанасий Капитоныч, лучше на кровать, стульда весьма непрочны по причине крайней ветхости.

Григорьев уже пережил разочарование и сейчас был искренне рад неожиданным гостям. Он не раз сживал в Долговом и успел оценить редкую доброту и деликатность Ивана Иваныча, к тому же тонкого ценителя и знатока отечественной словесности. Попечением Ивана Иваныча Григорьев всегда был устроен в «Тарасихе» наилучшим образом: чистая сухая камера, тихие, благовоспитанные соседи; для работы — кабинетик Ивана Иваныча в тюремной канцелярии; когда его навещали друзья — Страхов, Михаил Достоевский, Милю-

ков, — Иван Иванович принимал их по-семейному — этот бедняк собрал под своим кровом всех немущих родственников — на казенной квартире при Долговом, угощал чаем, кофеем, и хороший разговор затягивался нередко за полночь. Он даже в город Григорьева отпуская, что было уж и вовсе против правил. Но кроме доброты у Ивана Ивановича был хороший раскидистый русский ум, который не сразу угадывался за самоуничижительной повадкой. Но коли собеседник брал на себя труд проникнуть за шутейную оболочку, то открывал геттингенскую способность к воспарению на привязке русской пронидальности.

Иван Иванович был человеком с образованием и некогда занимал довольно видный пост в министерстве юстиции, но что-то у него случилось, какой-то малый служебный проступок, ловко преувеличенный завистливым наветом, и многообещающий чиновник скатился по ступеням служебной лестницы почти в самый низ. Григорьев был убежден, что никакой вины на Иване Ивановиче вообще нет, а погубила его злосчастная русская доля. Громадная семья, почти нищенская бедность, приверженность к Лизю и светлый бескорыстный разум придавали образу Ивана Ивановича классическую завершенность.

— Ну, что там у вас? Какие новости? — интересовался Григорьев, мучаясь, что ему нечем попотчевать хороших людей.

— Да что у нас может быть, почтенный Аполлон Александрович? Все по-прежнему тихо, мирно, день-ночь — сутки прочь.

— А из «старичков» вернулся кто?

— Как не вернуться? Почитай, все на месте.

— И грузинская царица? — улыбнулся Григорьев.

— Помните, однако! — обрадовался Иван Иванович. — Как же-с! Вновь украшает нашу скромную обитель. И еще больше драгоценного металла на себя понавешала. Обвилась до самых пят золотой цепью, как пушкинский дуб на лукоморье.

— А купец... Разуваев?

— И его увидите, в том же долгополом сюртуке и высоких сапогах со скрипом.

— А зачем мне его видеть? — нахмурился Григорьев. — Какая нужда?

— Как же-с? — смутился Иван Иванович. — Всех своих старых дружков встретите, кроме Селиванова, франта усатого. Плохая ему карта вышла, в настоящую тюрьму угодил.

— Так вы за мной пришли? — упавшим голосом сказал Григорьев, только сейчас догадавшись о причине неожиданного визита помощника смотрителя и полицейского.

Он не раз сживал в Долговом и всегда считал месяцы, проведенные там, самыми спокойными, комфортными и урожайными на работу в своей жизни. Нигде ему так не писалось, как в тихой «Тарасихе» у Измайловского моста, в уютной, садовой, благоустроенной части старого Петербурга; он хорошо и регулярно питался за счет заказчика, со вкусом играл на гитаре перед благодарными слушателями, наблюдал немало оригинальнейших личностей, его любили, чтли а

уаники и начальство, частенько навещали друзья. Но так уж устроен человек, что всякая, даже самая сладкая неволя тяжка его сердцу. И хотя в нынешних безвыходных обстоятельствах Долговое отделение было единственным спасением, острая тоска защемила сердце. Ведь он принял важные решения, собирался начать разумную, строгую жизнь, завершить главный труд своей жизни, и, хотя «Тарасиха» ничему этому не мешала, скорее, наоборот, он не был готов, совсем, до растерянности, чуть не до слез не был готов к такой перемене жизненных обстоятельств.

— Я вот нарочно к Афанасию Капитонычу в спутники навязался, чтобы вам повеселее было,— тихо сказал помощник зрителя, заметивший огорчение Григорьева.

— Спасибо, добрейший Иван Иванович, поверьте, я высоко ценю ваше участие и деликатность... Так вы говорите, что я всех старых приятелей встречу?

— Ну, не всех, конечно, но многих. А вот Охтинского Графа не встретите.

Охтинским Графом Григорьев прозвал пошло-смазливого пшюта с Невского, мелкого авантюриста, корчившего из себя большого аристократа.

— Получил наследство от богатого дядюшки и расплатился с долгами? — засмеялся Григорьев.

— Какое там! Грузинскую царицу пытался обокрасть. Ну, его и убрали от греха подальше... А из ваших,— жизнерадостно продолжал Иван Иванович, видя, что Григорьев приободрился,— только господин Камбек пам честь оказывает.

Горький пьяница, почти потерявший человеческий облик, мелкий журналист Лев Камбек принадлежал к печально-гадким достопримечательностям петербургского дна, и уж на что не горд и не заносчив был Григорьев, но даже его передернуло, когда добрый Иван Иванович посчитал Камбека по одному ведомству с ним.

— Жалчайший человек! — поморщился Григорьев.

— Совершенный мизерабль,— согласился Иван Иванович.

Помощник зрителя еще что-то говорил, называл какие-то имена, и Григорьев ласково кивал, но мысли его были заняты неким сосудом, который ему принес однажды бывший союзник, работавший на конфетной фабрике. «На последний край,— честно предупредил тот.— Спиритус вина наличествует в составе, но и много примесей: масла, эссенции, всякая химия. Ежели только есть возможность — лучше не прикасаться». Однажды Григорьев совсем было собрался глотнуть конфетного напитка, но из бутылки шибануло такой едкой скипидарной вонью, что его чуть не стошнило. Но сейчас, кажется, дело вышло на самый край. Если он не подкрепится глотком, ему не доползти до «Тарасихи». Конечно, надо сделать все возможное, чтобы избежать злой специн, и, отбросив церемонии, Григорьев сказал начистоту, что хотел бы угостить друзей в честь встречи, но в доме нет ни полушки. Иван Иванович и Афанасий Капитоныч, как на грех, тоже были не при деньгах. «И заложить-то печего,— сокрушался про себя Григорьев.— Ни с меня, ни с Ивана Ивановича ничего не снимешь,

иначе на улицу не покажешься. А вот на Афанасии Капитоныче много всякого навешано...»

— Не только продавать, но и закладывать что из казенного обмундирования строжайше запрещено, — проговорил хриловатым баском полицейский, и крепкий запах сивухи, лука и подсолнечного масла растекся по комнате.

Эк же умен и сообразителен русский человек, восхитился Григорьев. Какой немец, даже быстромысленный француз догадался бы о моей мыслишке? Афанасий же свет Капитоныч сквозь черепную кость прочел. Стыдно и грешно предлагать таким людям вонючую, преподлейшую дрянь, но еще подлее не предложить. И Григорьев сказал с тревожной веселостью:

— Если жизнь не особо дорога, могу угостить. За последствия не ручаюсь.

— Аполлон Александрович! — растрогался Иван Иванович. — Разве важно, что пить, важно — с кем пить. А с вами и керосин покажется нектаром.

— В русском брюхе и долото сгниет, — присовокупил Афанасий Капитоныч.

— Дай-то бог!.. — пробормотал Григорьев, извлекая из шкапчика темную липучую бутылку и стараясь не вдохнуть едкого смрада.

— В кусткамере наемни сторожа арестовали, — сообщил Афанасий Капитоныч, — он спирт из-под двухголового младенца лакал. Спихватились, когда редкостное диво испортилось, пятнами пошло, а его сам Петр-царь в банку закатал.

— Фу, Афанасий Капитоныч, какие вы истории рассказываете в такой, можно сказать, ответственный момент! — укорил Иван Иванович.

— К слову пришлось, — смутился полицейский.

Григорьев достал стаканы. Возник небольшой спор, взбалтывать ли жидкость перед употреблением или лучше так оставить. Сквозь темное стекло виднелся на просвет осадок, особенно густой у донца. Иван Иванович склонялся к тому, что жидкость сама себя отфильтровала, отложив на дно вредные примеси, но Афанасий Капитоныч резонно возражал, что в осадок могло уйти самое ценное, а наверху осталась чистая вода. Это всех напугало.

Взболтали, разлили по стаканам. Дышать старались ртом, чтобы не чуть запаха, но почему-то все равно воняло.

— С богом! — сказал Григорьев.

— Авось не помрем, — не слишком уверенно проговорил Иван Иванович и, зажмурившись, опрокинул жидкость в рот.

Григорьев безуспешно пытался удержать в себе отраву. Он едва успел прижать полотенце ко рту, и ему отрыгнулось. Но, пока он тщился сохранить выпитое в желудке, пары успели ударить в голову. Ему стало хорошо, во всяком случае, неизмеримо лучше, чем гостям.

Афанасий Капитоныч с налившимися кровью глазами откинулся к стене, вспучив могучее чрево, и, давя пятернею грудь, бормотал:

— Отцы!.. Родные!..

А Иван Иванович одеревенел, замер в полной неподвижности, какую Григорьев наблюдал у ящериц в берлинском зверинце. Его бледно-зеленые глаза стали как пуговицы, жилистая шея вытянулась и напряглась, растянулся безгубый рот. Григорьев не на шутку встревожился.

— Иван Иванович, что с вами? Вам плохо?

— Уже хорошо,— слабым голосом проговорил Иван Иванович и вернул себе человеческий образ.— Надо Капитонычу помочь.

— Не надо...— прохрипел Афанасий Капитоныч.— Господь милостив. Вроде бы отошло.

— Жестокая вещь, однако! В ней градусов сто, не меньше.

— Ста нет,— авторитетно заявил Афанасий Капитоныч.— Это масла действуют. Пожалуй, не стоило взбалтывать. Крепости и так хватает.

— Повторим? Не взбалтывая,— предложил Иван Иванович.

— Детей не оставьте,— попросил Афанасий Капитоныч.

— Живы будем — не помрем! — бодрился Иван Иванович.

— Помереть не помрем, а глаз лопнуть может...

Все повторилось заново: тошнота у одного, одеревенелость у другого, хрип и слезливые мольбы у третьего. Но что-то было и новое — отошли скорее, увереннее. Григорьев снял со стены гитару и, склонив к деке одутловатое лицо, заиграл вступление к «Венгерке».

— Душенька! — тонко вскрикнул Иван Иванович и зажал себе рот ладошкой.

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли...
С детства памятный напев,
Старый друг мой — ты ли?..

Хорошо петь таким людям, как Иван Иванович и Афанасий Капитоныч. По сморщенному пергаментному лицу помощника зрителя катились блаженные слезы душевного умиления, полицейский запустил пятерню в густые, толстые, просоленные сединой волосы и чуть покачивался из стороны в сторону.

Милый друг, прости-прощай,—

тихо, нежно, даже не спел, а проговорил Григорьев и почти шепотом:

Прощай — будь здорова!

И вдруг застонал:

Занывай же, занывай
Злая квинта снова!..—

последнее слово он выкрикнул во всю силу легких.

Афанасий Капитоныч вскинул голову, глянул шально и дико и вдруг заплакал навзрыд.

— Плачь, Капитоныч, плачь! — торжественно произнес Иван Иванович.— И я омыл слезами драгоценные слова этого необыкновенного человека. До встречи с ним я нищевал духом, как гостинио-дворские побирушки плотью. Я казался себе ничтожней жалкой букашки и не имел силы жить. И тогда этот мудрый человек сказал

мне: восстань, Иван! Взгляни на меня. Я нищ, и сир, и бесприютен. Лиси явины имуть, а птицы гнезда. Сыну же человеческому не имать, где главу преклонить, но я не хочу умирать. Да, в страшной жизни русского пролетария, в жизни накануне нищества, накануне Долгового отделения или того гаже — Третьего, жизни каинского страха, каинской тоски, каинских угрызений я должен все вытерпеть во имя главной идеи нашего века. А идея эта — сознание значительности каждой, самой мелкой личности. Ты чуешь, Афанасий, каждой, самой мелкой личности. Мы не средства для внешних целей, мы сами цели!

Афанасий Капитоныч подвлял мокрое лицо.

— И я — цель?..

— И ты, Афанасий, и я, окаянный грешник, — цель. Чуешь, сколь мне отраднo, утешно и высоко? От великих слов этих я прозрел изнутри и увидел дивное мерцание за плечами учителя...

— Истинно! — взревел Афанасий Капитоныч. — За Левиафаном стезя светится!

— Афанасий, ты все повял. И сейчас поймешь меня и одобришь...

Прежде чем Григорьев успел помешать, Иван Иваныч упал перед ним на колени и поцеловал его руку. Смущенный и раздосадованный, Григорьев стал его подымать. Иван Иваныч предвосхитил его любящий жест. В миг наивысшего душевного подъема, а миг этот приближался, Григорьев просто не мог без коленопреклонений. Так он грохнулся перед молодой редакцией «Москвитянина», так разбил в кровь коленки перед Венерой Милосской в Лувре; падал он ниц и перед композитором Варламовым, и перед Серовым, и перед Провом Садовским, и перед Стешей Казибеевой бессчетно, и сейчас, умиленный тем, как глубоко запаал в бесхитростную и глубокую душу Ивана Иваныча его слова, как постиг его излюбленную мысль дремучий с виду Афанасий Капитоныч, умиленный — в который раз — невозможным богатством русской природы, он прикидывал, перед кем выбить пыль из паркета — по старому ли приятельству перед помощником зрителя или уважить новую дружбу в лице блюстителя порядка, и уже склонялся к последнему, да раздражал мундир. Но Иван Иваныч опередил его и тем лишил наилучшего выхода душевного восторга. А он и впрямь испытывал восторг, как и всегда, когда находил понимание. Великий демократизм и одновременно аристократизм Григорьева в том и состоял, что он с равной заинтересованностью, искренностью и самоотдачей разговаривал с Достоевским, Островским, Страховым и любым обитателем Долгового отделения, кабацким завсегдатаем или полицейским. И он сказал Афанасию Капитонычу:

— Я безобразен в моих частных делах, но убеждению всегда служил, как фанатик. Тут я не только с людьми, но и с самим господом богом тягаюсь, словно библейский Иов. Правда, Иов был послабже в выражениях.

— Это вроде бы лишнее?.. — озадачился Афанасий Капитоныч.

— Нет, не лишнее. Бога не обманешь, не облицемеришь, он все равно тебя насквозь видит. Так я и режу ему правду-матку, по чув-

ству вламываю. И верю, что не обидится он на меня и поможет совершить задуманное. Хочу я, друзья мои, такую методику сочинить, чтобы объяла она целостно жизнь и литературу. Мне подавай либо абсолют, либо ничего. И плевал я на утилитарную утопию плотского благополучия под гнетом наружного единства, коли нету единства внутреннего — в Христе, Вере, Идеале!..

— Бог в помощь,— истово сказал Афанасий Капитоныч.— Вот в Долгушке, в тиши-спокое, и завершите свой великий труд.

Слова полицейского напомнили, что надо трогаться.

— Ну, по последней! — вскричал Иван Иванович.

— Пойдите, братцы! А разве не положено злостного банкрота в узилище на извозчике везти? Давайте эти деньги и пропьем.

— Не отпускают нам таких средств,— вздохнул Афанасий Капитоныч.— Считают, что можно и пешком строем добраться.

— Вы же сами говаривали, Аполлон Александрович, что на петербургских пролетках только с блудницей можно ехать — обнявшись,— заметил Иван Иванович.— А с полицейским вроде бы неловко.

— Буколические пролетки!.. — вспомнил и засмеялся Григорьев.— Но серьезно, нельзя ли кредитора слегка облегчить?.. Кстати, кто на этот раз мой благодетель?

— Все тот же Лаздевский Казимир Антонович.

— Вот паучище! И не надоело ему меня преследовать?

— Вы для него выгодный клиент. Он знает, что рано или поздно получит все сполна.

— Как бы не промахнулся на этот раз. Ума не приложу, кто за меня расплатится. Так нельзя ли его выставить?

— Невозможно-с!.. Займодавец должен кормить узника, но не поить зелием.

— Ну и черт с ним! Обойдемся своим нектаром.

Григорьев разлил по стаканам остаток жидкости, несколько капель упало на ломберный столик и прожгло сукно, будто серная кислота.

— И чего только мы не пьем! — грустно подавился Иван Иванович.— Как только над плотью не издеваемся! А ведь мы созданы по образу и подобию божьему.

— Были,— заметил Афанасий Капитоныч,— но далече от этого образа ушли. Со свиданьем!..

Привыкнуть к спедици было невозможно — они вновь пережили смерть и воскресение. Сборы оказались педолги. Григорьев закинул за спину гитару на сальной перетертой ленте, сунул под мышку рукопись «Ромео и Юлии», томик Шекспира — в карман сюртука, записал горшок подальше под кровать и был готов.

— А бумагу? — спросил Иван Иванович.

Но бумаги в доме не оказалось.

Безо всякого сожаления покинул Григорьев очередное пристанище в скитальческой своей жизни. Сколько уже было этих кратковременных приютов, сколько еще будет, по все же меньше, чем осталось позади. Как ни крути, житейский путь пройден больше чем наполовину, намного больше. Ну и бог с ним, лишь бы дело свое закончить...

На углу Фонтанки Иван Иванович вдруг отделился, юркнул в лавочку и вышел оттуда со стопой белой бумаги. Какие-то жалкие гроши завалились у бедняги в рваном кармане, и те он без сожаления пожертвовал на гиблое дело литературы. Поступок Ивана Ивановича расшевелил Афанасия Капитоныча. Видимо, не в его правилах было пользоваться властью для личного убогствования, но ради друзей пошел он на сделку с совестью и разорил пивника на три кружки светлого.

Странно, но от пива этих железных людей почему-то развезло. Афанасия Капитоныча потянуло в сон, он клевал носом, встряхивался и тарачил слепнущие от солнца глаза. Иван Иванович предался воспоминаниям, в которых истинное так перепуталось с придуманным, намечтанным вспять, что он и сам уже не знал, где правда и где вымысел, и только сердце истекало сладкой болью. Аполлон же Александрович люто затосковал.

Они шли по набережной Фонтанки в сторону Измайловского моста. В синей, непривычно чистой воде отражались дома, деревья, облака. Изредка по опрокинувшемуся в речку миру проплывали лодки рыбарей, мальчишки плескались у берега. И хотя не было ничего нового и привлекательного в привычной картине летнего Петербурга, Григорьеву стало ужасно больно терять реку, лодочников, купающихся мальчишек, бледнотелых северных заморышей. Почему-то казалось, что он никогда больше этого не увидит. Он понимал, как глупы его мысли. Рано или поздно кто-то заплатит его долги, он выйдет из «Тарасихи» отдохнувший, посвежевший и равнодушно пройдет по набережной, думая о своих делах и заботах и меньше всего о скучной городской реке и чухонском небе, ну, а если уж очень допечет в нестрогом заключении, отпросится у Ивана Ивановича на прогулку по городу, как то бывало прежде, но тяжесть, навалившаяся на грудь, не отпускала. И стала совсем невыносимой, когда он оказался возле молоденькой липки. Это деревце с темной гладкой тонкой корой, еще не нажившей продольных бороздок — морщин зрелости, и светло-зелеными листиками в форме сердечка напомнило ему другую липу, во дворе их старого дома на Малой Полянке. Он был мало приметлив к деревьям, да и вообще равнодушен к природе, его увлекало все человеческое, горячее, страстное. Тихий мир природы мог тронуть, лишь став предметом искусства: поэзии, прозы, живописи. Вот только море любил Григорьев, любил до боли, до слез. В его волнах и раскатах чудилась человечья необузданность. Спокойное море оставляло его безразличным, но чем выше вздымались пенные валы, тем сильнее отзывалось им сердце Григорьева. А тут чахлое городское деревце повергло в смертную тоску.

Григорьев покосился на своих спутников. Оба вконец осоловели, и ничего не стоило бежать. Но стыдно подводить людей. Ивану Ивановичу, пожалуй, ничего не будет, он по своей охоте тут, а полицейскому карьеру сломает. И главное — ради чего? Ну, погуляет день-другой на воле, а потом его все равно найдут и «закуют в железа». Разве скроешься в Петербурге без гроша за душой? Бред, ребячество, расстроенные нервы. Но деревце, маленькое худое деревце с

пешной корою и светло-зелеными листиками!.. Неужели он никогда больше его не увидит?..

И тут он обнаружил в нескольких шагах от себя генеральшу Бибикову. И генеральша Бибикова (она была вдовой адмирала, но почему-то весь Петербург величал ее генеральшей) заметила его своим слегка заплывшими, но удивительно зоркими, цвета незабудок глазками. Эти глазки быстро забегали в припухлых веках, поочередно поймав, оцепив и сморгнув за ненадобностью Ивана Иваныча, полицейского и сохранив в зрачках одну лишь фигуру Григорьева. Генеральша не думала избегать встречи и, похоже, ничуть не смутилась несколько странным окружением знакомого литератора. Сквозь туман всплыло смутное воспоминание о недавнем разговоре с нею, касавшемся литературных дел. То ли во время последнего его загула, то ли еще раньше Бибикова сообщила Григорьеву, что намерена заняться издательской деятельностью, и спрашивала, запродал ли он кому собрание своих сочинений. Он как-то пропустил мимо ушей этот разговор, не до того, видать, было, а может, не поверил серьезности намерений генеральши. Сомнительно, чтобы его писанина могла заинтересовать Бибикову, даже если она впрямь в издателя наладилась. Странная женщина! Из прекрасной родовой семьи, вдова заслуженного адмирала, мать красавицы дочери, она чаще всего произвела впечатление салонницы, провинциальной барыньки, что проводит дни в захолустье в сплетнях и ссорах с прислугой, даже яркие глаза ее задегивались мутной пленкой, утрачивая всякое выражение. Но вдруг что-то происходило у нее внутри, и она вмиг оборачивалась петербургской демимонденкой: разбитной, живой, с задорным профилем и опасным взглядом. Но какое ему дело до всех ее превращений? Достаточно того, что у нее водятся деньги и эти деньги она не прочь употребить на издание его сочинений. Григорьев снял шапку и поклонился генеральше.

Бибикова ответила ему и быстро, грациозно пошла ему навстречу, чуть покачивая бедрами, играя глазами. Иван Иваныч и полицейский деликатно отступили в сторону.

— Вы обдумали мое предложение? — спросила Бибикова, сразу беря быка за рога.

— Где же мне было думать, сударыня, в несчастных моих обстоятельствах? — пожал плечами Григорьев.

— Чем так несчастны ваши обстоятельства? — спросила генеральша игривым тоном демимонденки.

— Я узник. Меня ведут в Долговое.

— Кому же это вы так задолжали? — испуганным голосом салонницы спросила генеральша.

— Ростовщику Лаздевскому, аспиду жизни моей.

— И много, поди? — оставаясь в образе салонницы, поинтересовалась генеральша.

— Да чепуха, ваше превосходительство, несколько сот рублей.

— Пожалуй, я уплачу ваш долг, Аполлон Александрович, — каким-то третьим голосом произнесла генеральша. Скорее всего, то и

был ее настоящий голос, отроду не слышанный Григорьевым. И суровато-серьезному голосу этому можно было верить.

Казалось, деревцо у парашета качнулось к нему, прошелестев зелеными листиками. Прекрасная, щедрая русская женщина возвращала Григорьеву и набережную, и реку, и небеса, и эту чудесную липушку, которая вскоре зацветет и запахнет медом! Камень отвалился от груди, сердце забилося полно и гулко, а давно томившее его намерение, временно вытесненное страхом, взыграло ликующе и швырнуло на колени перед генеральшей. Он и сам почувствовал, что движение получилось искренним, ловким, красивым, вот таким он любил себя.

— Маточка! — вскричал Григорьев. — Милостивица! Жизнь отживу, а не забуду твоего благодеяния!

— Встаньте, Аполлон Александрович, — довольно спокойно попросила генеральша, — на нас смотрят. Неудобно, право.

— Не встану, пока к ручке не допустите, — упорствовал Григорьев.

Бибикова прижала к его губам пахнущую хорошим мылом, белую, совсем молодую руку и быстро отдернула, словно боялась, что он укусит.

— Ну уж и вы, Аполлон Александрович, мне порадейте, — попросила генеральша, когда Григорьев с хмурым видом отряхивал брюки.

Он злился на себя за словечко «маточка», невесть почему сунувшееся на язык. То было из обихода Макара Девушкина, на которого он сильно кидался в начале своей критической деятельности. Потом он изменил отношение к Достоевскому и даже к этому слюнвятому герою, в котором, как ему казалось поначалу, унижен эпический образ Башмачкина. Но в последнее время он склонялся к тому, что в Девушкине сильнее русское начало, нежели во всемирном образе гоголевского маленького человека, да и теплее, человечнее Макара. Но то, что противно слащавое обращение вдруг сорвалось с его собственных уст, да еще в такую патетическую минуту, было полной и даже унижительной капитуляцией. Годы ломал он себе мозги, мучился, искал, а Макара спокойно ждал своего часа, чтобы сунуть ему в рот раздражающее слово и посмеяться над многомудрым критиком.

Сквозь досадительные мысли звучал жалостный голос генеральши-салоппницы, упрашивающей его не терять даром времени в Долговом, а сочинять побольше всяких критик, пока она будет договариваться с Лаздевским о выкупе векселей.

— Как бы мне с ним полегче уладиться, я ведь стеснена в средствах. Мое дело вдове... И стишками, Аполлон Александрович, не манкируйте, и переводами, особенно французов, они хорошо у читающей публики идут.

Григорьев с гадливым удивлением внимал этому лепету. Богачка, генеральша упрашивала нищего, ведомого в долговую тюрьму, порадеть для пушей ее выгоды.

— Ладно, — сказал он не слишком любезно, — за мной не пропадет.

— Мерси, — поблагодарила генеральша. — А насчет «Ромео и Юлии», если в театре пойдет, мы отдельно поговорим. Со спектаклей, я слышала, хорошо платят. Мне бы какую гарантию... До скорой

встречи, мой поэт!.. Я вам трубочного табаку пришлю!..— и, сделав прощальный жест ручкой, достойный дамы полусвета, генеральша удалилась.

— Больно много ей чести — Григорьева на коленях видеть, — довольно пробурчал Иван Ивапыч.

— Они же дама!..— галантно сказал Афанасий Капитоныч.

...Генеральша Бибикова не спешила выкупать Григорьева из неволи. Возможно, ей не удавалось «полегче уладиться» с алчным ростовщиком Лазевским. А может, она рассчитывала, что в благотворной тишине Долгового отделения Аполлон Александрович больше поработает для задуманного ею издания, чем в свете столичного света.

В Долговом и впрямь было довольно тихо, лишь по вечерам из соседнего парка, открытого для гуляний, раздавались звуки духовой музыки и заразительный смех нестрогих девиц немецкого происхождения, избравших «Тарасофф Гартен» местом своего вечернего служения. И Григорьеву становилось грустно. С соузниками, среди которых находились два известных всему Петербургу монстра — журналист Лев Камбек, не расстававшийся и в жару с поддевкой из верблюжьей шерсти, что усиливало его сходство с пещерным предком человека, и вечно пьяный художник Бернадский, — он почти не общался. И они без него служили Лиэю ромом и зорной водкой, играли в тринку и пели каторжные песни. А его гитара молчала в «убежище страждущей невинности и гонимой добродетели». Работал он мало. Что-то начинал и бросал. Вот только перевод «Ромео и Юлии» закончил. А потом вдруг принялся составлять свой послужной список — перечень смелых попыток, горьких неудач и разочарований. Он и сам не мог понять, зачем ему вздумалось подводить с канцелярским тщанием грустный итог своей жизни. Невеселый документ он посвящал «старым и новым друзьям». Лишь раз его «страдальческий застой» был потревожен образом Леонида Визард, и после долгой поэтической немоты сами выговорились, выпелись стихи. Он записал их, взволнованно перечел, споткнулся о «седалище Ваала» — по словарю: «трон», а в просторечии «задница», — но править не стал и сунул листок с советом в рукопись перевода.

Григорьев вышел из Долгового отделения уже осенью и ничему не обрадовался, даже не глянул на молоденькую липу, тихо прошедшую желтелыми листьями, когда он проходил мимо. А через несколько дней его не стало, умер в одночасье, на полуслове, полужесте, не узнав смерти в шильном уколе под сердце...

Похороны на Митрофаньевском кладбище были грустно-жалкие. Пришли Достоевский, Страхов, Аверкиев, Крестовский, Боборыкин, товарищи по узилищу, среди них Лев Камбек в верблюжьей поддевке и пьяный в дугу художник Бернадский; были, конечно, и помощник смотрителя Иван Иванович, и полицейский Афанасий Капитонович. По выходе с кладбища, не сговариваясь, завернули в ближайшую кухмистерскую. Столов сдвигать не стали, и как-то непроизвольно литераторы и возникшая весть откуда генеральша Бибикова в яр-

кой шали и шляпе с пером отделились от друзей покойного по долгой тюрьме. Лев Камбек, осуществлявший связь между столами и придававший грустному сборищу кощунственно комический вид, позаботился, чтобы выпивки всем хватило.

Начались речи. Никто не мог поймать нужный тон. Страхов неловко и долго бормотал что-то о высоких запросах души покойного, который, обрываясь в своих усилиях, сразу впадал в противоположное: в беспорядок жизни, погубивший в конце концов его крепкую натуру.

И тут, маленький, колышавшийся от горя, слабости, пьянства, поднялся Иван Иванович и заговорил, расплескивая водку дрожащей крапчатой ручонкой:

— Нельзя об Аполлоне Александровиче так... холодно, рассудительно. Он ведь ни в чем края не знал. Шел, шатаясь, падая, расширяясь до крови, но шел... шел к идеалу, к последней правде. Да, он никогда не был могуч, но всегда был прекрасен, и силу ему давала вера в земское дело, в народность...— Слезы закапали из маленьких воспаленных глаз помощника зрителя.— И вы... вы увидите, господа, как всем нам будет не хватать этой жизни. Он сам себя называл ненужным человеком, а мало кто был так нужен, как бедный Аполлон Александрович... Радость наша, красавец, светик наш!..— Иван Иванович не мог договорить и, зарывав, упал на стул.

И гороподобная туша рядом с ним исторгла из своей глубины:

— За Левиафаном стезя светится!..

— Виват! — вскричал Лев Камбек и, забыв, что он на поминках, полез чокаться с литераторами.

— Аполлон Александрович обещал мне, что я буду получать по-спектакльную оплату за «Ромео и Юлию»,— играя незабудковыми глазами, говорила генеральша Бибикова и никогда еще не выглядела так легкомысленно, как на печальной тризне.

— Скучно на этом свете, господа!..— тихо сказал Достоевский сидящему рядом Страхову...

...Бессмертная страсть Григорьева, Леонида Визард окончила в Швейцарии медицинский факультет и защитила диссертацию на тему: «О влиянии цианистого кали на организм кроликов».

ЗАПЕРТАЯ КАЛИТКА



Он много успел с утра. Он побывал в поле, где на сырых пойменных низинах бабы ворошили толстое осоковатое сено, а на взлобке за усадьбой мужики ставили первый стог; на конюшне, где вдосталь полюбовался молодым, будто из цельной черной кости выточенным жеребцом Закрасом, которого минувшей весной впервые подпустили

к маткам,— большие надежды связывал заядлый лошади́к с ладным породистым орловцем; заглянул на шумный птичий двор, окунулся в адову жарницу кухни, будто «снишел еси в преподня́я земля́».

А по пути с кухни перехватил конопатого рыжего (здесь многие говорили «рудого») мужичонку Афоню, доставлявшего почту со станции. Он давно подозревал, что газеты сперва попадают в людскую, где два великих грамотея — истопник Савушка и кондитер Никола — раньше своего барина знакомились с движением мировой политки и светскими новостями, чтобы в полдник с важным видом просвещать дворню. Афанасий Афанасьевич тщетно пытался углядеть следы грязных пальцев на газетных листах, учуять сладкий запах Николы и горелый, чадный — Савушки, но листы были чистыми, а крепкая — смесь мочи с керосином — вонь типографской краски отбивала более тонкие ароматы. Еще немпог, и Афоня был бы схвачен на месте преступления, он уже сворачивал к людской, но Фет приметил у него в руке письмо в знакомом продолговатом конверте и не выдержал, окликнул.

Письмо, как и ожидалось, было от Льва Николаевича Толстого, и, конечно, он сразу забыл об Афоне, чем не преминул воспользоваться юркий мужичонка. В нетерпении Фет тут же разорвал конверт, и померкло его радужное настроение: опять не угодил!.. Что-то зачастили в последнее время деликатно-суровые выговоры от младшего годами Льва Николаевича. Но в каком-то смысле Толстой был старше всех, с кем сводила его жизнь (Тургенев пытался отстоять приоритет возрастного старшинства, и это едва не привело к дуэли), покладистый с друзьями, Фет охотно подчинялся нравственному превосходству графа. Но на этот раз упрек попал в самое больное место. «Хоть я люблю вас таким, какой вы есть,— писал Толстой,— всегда сержусь на то, что Марфа печется о мнозем, тогда как единое есть на потребу. И у вас это единое очень сильно, но как-то вы им брезгуете, а все больше бильярд устанавливаете».

Экая беда — бильярд!.. Стол дорогой, хороший, и надо его так ровно установить, чтобы на своей разбивке брать партию в «американку» с кия — меткому охотничьему глазу и твердой руке кавалериста Фета это вполне по силам. Но Афанасий Афанасьевич прекрасно понимал, что дело вовсе не в бильярде. Толстой осуждал его нынешнюю жизнь, хотя чем отличается она от прежней, которую Лев Николаевич неизменно и радостно одобрял? Может, тогда Толстой лучше понимал естественную и гармоничную двойственность Фетовой натуры? Он похвалил Афанасия Афанасьевича, что тот на листке письма с новым стихотворением «излил чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 копеек. Это побочный, но верный признак поэта». Толстой постиг движение стыдливого духа, пытающегося спрятать от чужих глаз свое сокровенное. Тогда Фету казалось, что Толстой проглядывает его сущность до самого дна. Но Толстой — прежде всего великий сочинитель, он сочиняет и пересочиняет Фета по своему произволу, в зависимости от той внутренней работы и тех борений, что совершаются в нем самом. Понять же другого человека по-настоящему может лишь тот, в ком отличающий Толстого ясный

ум души (только души, а не самонадеянный и узкий головной ум) свободен от самовластья творческой воли.

Зачем я обманываю себя, оборвал свои мысли Фет. Зачем делаю вид, будто вина на Толстом, а вовсе не на мне? Что общего между моими прошлыми тяжелыми и необходимыми заботами и нынешней пустейшей суетой? Чего лезу я к мужикам с указаниями и советами, да как подстожье класть, да как треснувшее копыто лечить, когда сам же нанял управляющего, умного, знающего, высокопорядочного Оста? Мне нечего делать ни в поле, ни в конюшнях, ни на птичьем дворе, я только обижаю и раздражаю своим неуместным вмешательством щепетильного Оста. Кухня — это еще по моей части, все остальное — от многолетней привычки к безостановочному крутежу. Я никогда еще не был так свободен и никогда еще не был так занят, как сейчас. Я сам придумываю себе заботы. И тщетно стал бы ждать Толстой, чтобы ныне житейская жалоба излилась на листке с новым стихотворением, — поэзия забыта. Понадобилось убийство царя-освободителя, чтобы я проговорился крошечным и слабым стихотвореньцем. Толстой все это видит и презирает...

— Просим вашу милость работку принять, — услышался за его спиной вкрадчивый голос.

— Какую еще, к нечистому, работку? — Не узнав Киприянова, бильярдного мастера, выписанного из Курска, Фет грузно повернулся.

— Бильярдный стол уста...

Все остальное застряло в глотке мастера — Фет недаром начинал службу в кавалерии с младшего чина, чуткое ухо поэта сберегло перлы крепкого унтер-офицерского краспоречия.

У Киприянова разом вспотело широкое бледное лицо. Он был человек балованный, весьма не бедный и амбициозный. Фет вспомнил об этом посреди «большого кирасирского захода», которому научился у незабвенного вахмистра Лисицкого, и властно, словно норовистого коня, обуздал себя: Толстой Толстым, а бильярд бильярдом, и работу принять надо со всем тщанием, не выбрасывать же деньги на ветер.

— Моя вспышка, дорогой Иван Свиридович, — сказал он без всякого перехода, — служит выражением собственного душевного беспорядка и твоей почтенной особы никак не касается.

— Понимаю, сударь, — Киприянов наклонил голую, как бильярдный шар, и такую же твердую костяную голову с бахромой сивых волос на затылке, — и, поверьте, умею ценить богатство и гибкость татаро-русского велеречия!

— Ого! — удивился Фет. — Ты еще и словесник?..

По пути в бильярдную Афанасий Афанасьевич вновь растравил в себе обиду на Толстого. Пусть он в чем-то и прав, но кто-кто, а уж Толстой мог бы проглянуть дальше грубых очевидностей внешнего поведения, а главное, понять, изнутри понять, почему мечтательный студент-поэт превратился в торопыгу-помещика, не знающего покоя.

Ему выпала странная судьба и странная жизненная задача: вернуть то, что принадлежало ему от рождения и было отнято игрой таинственных обстоятельств, — имя и лицо. В четырнадцать лет лени-

вый и беспечный барчук, воспитанник пансиона в Верро, столбовой дворянин Афанасий Шеншин, в чьем роду были воеводы и стольники, вдруг превратился в иностранца и разночинца Фета. Каждому человеку больно и дико лишаться своего имени, но каково это подростку с тонкой кожей? К тому же он лишился не просто имени, а куда большего!

Мальчиком ему доставляло непонятное наслаждение рассматривать родословную Шеншиных; от «герольда» пахло дикой пылью, степной пылью из-под копыт вражеской конницы, рвущейся к южной окраине русской державы, прикрытой щитом воеводы Шеншина; пахло вином и брашном изобильного царского застолья, зорко наблюдаемого расторопным стольником Шеншиным. И маленький Афоня твердо знал, что в огромном неприятном мире сладко быть лишь русским дворянином и барнином.

И вот он не русский, не дворянин, не барин, не старший сын и наследник родовой вотчины отставного ротмистра Шеншина, увезшего из Дармштадта от живого мужа и малолетней дочери голубоглазую Шарлотту Фет, чтобы сделать в России своей законной женой. Вскоре по приезде Шарлотта родила. Слишком поторопился на свет божий младенец, нареченный Афанасием, и подделка, совершенная приходским священником в угоду влиятельному прихожанину, через четырнадцать лет была раскрыта консисторией.

Но, как ни страшен был удар, Фет куда позже осознал и ощутил его сокрушающую силу, молодость живет иллюзиями. В студенческие годы, обнадеженный успехом своего поэтического дебюта, он наивно верил в спасение через литературу. Красавцу императору Николаю I не везло с поэтами, и он освобождался от них с помощью петли, каторги, солдатчины или пистолетов метких стрелков. У русской поэзии был тяжелый счет с царем, что набрасывало тень на столь блистательное царствование. Почему бы певцу природы, тонких, смутных ощущений, нежного трепета своей доброй и безвредной музой не привлечь благосклонного внимания государя и не примирить с отечественной поэзией? А там!.. Глупые, ребячливые мечты!.. В середине сороковых годов в просвещенном русском обществе угас интерес к поэзии, чего же было ждать от гиганта с серо-голубыми глазами? Мужественно пережив разочарование, Фет избрал кратчайший, казалось бы, путь в дворяне — военную службу, ведь первый же офицерский чин давал потомственное дворянство.

И юный выпускник Московского университета по филологическому отделению надевает солдатскую шинель, обрекая себя на смертную скуку и тяготы провинциальной армейской службы. У Фета твердый, целеустремленный характер, поэзия загнана в чулан; посадка, выездка, посыл лошади шенкелями, сабельные приемы, неукоснительное исполнение службы, благоволение командиров — других забот нет у подтянутого, сдержанного, малообщительного кирасира. И лишь порой, как некогда в Верро, в редкие минуты свободы и одиночества он вновь чувствовал «подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность», цветок поэзии. Но он тщательно скрывал эти цветы от товарищей по службе — ку-

тил, картежников, лошадишников, борзачей. В канун получения им первого офицерского чина вышел указ: лишь звание майора дает дворянство.

И опять годы скучной службы, муштры, бессмысленных, изнуряющих смотров, пустых маневров под отдаленный и мрачный гуд севастопольской кампании, куда отправляли лишь по жребию, но ему жребий не выпадал.

На мучительно медленном пути к поставленной цели было растоптано единственное сердце, открывшееся ему великой, бескорыстной любовью. Конечно, нелегко было порвать с милой, умной, музыкальной, искренней в каждом жесте и слове, безмерно влюбленной в него и почти любимой им самим девушкой, но не мог же он, нищий армейский офицер, скудно поддерживаемый из дому, связать судьбу с бесприданницей. Это значило бы навсегда похоронить будущее в убогом гарнизонном прозябании с кучей детей и преждевременно увядшей женой. Вскоре после разрыва Мария Лазич трагически погибла: сгорела заживо от случайно — да так ли?.. — оброненной на легкое платье спички. Что он потерял, Фет понял куда позже, тогда же лишь отдал дань скорби — ему светила гвардия. Придет время — о, не скоро, но придет, — и горестная тень властно возьмет все, в чем было отказано живой Марии Лазич.

А пока была гвардия и служба близ Петербурга, и прилив щедрости со стороны старого Шеншина, и возобновление литературных связей, и поэтический подъем, и возвращение на страницы журналов, и успех, и чин ротмистра, за которым следовал желанный чин майора. А завершилось все крахом: ценз на дворянское звание подняли еще выше, теперь служи до полковника, коли хочешь стать дворянином. Даже крепкий Фет дрогнул и затосковал. Двенадцать лет тянул он лямку, не приблизившись ни на шаг к заветной цели. Он взял отпуск по болезни, затем бессрочный и, окончательно признав свое поражение, уже не вернулся в полк, вышел в отставку.

Но то, в чем было отказано поэту и воину, далось помещику. В шестидесятые годы, когда «порвалась цепь великая», правительству особенно угодны стали крепкие, хозяйственные люди, что прочно сидели на земле, твердой рукой направляли мирское дело и не поддавались никаким потрясениям той тревожной поры. А Фет стал образцовым помещиком. Невзрачную Степановку, купленную на деньги жены, урожденной Боткиной, — насмешливый Тургенев называя усадьбу кукишем на пустыре — он превратил в «табакерку», что было высшей похвалой у орловских подстепных помещиков. Он усердствовал в роли мирового судьи, оказывал помощь голодающим, цифры его урожаев украшали губернскую статистику. О видном сельском деятеле стало известно при дворе. Александр II уронил слезу из голубого, наследственно выпуклого глаза на прошение Фета: «Как он страдал, бедный!» — и размашисто подписал указ о «возвращении» родового имения Шеншин сыну... амт-ассессора Фета.

Накопец-то воссоединившись с воеводами и стольниками, так волновавшими его юную гордость, Афанасий Афанасьевич продолжал ревностно служить земскому делу и собственному укреплению. Он

сменил степановскую «табакерку» на богатейшее имение Воробьевку под Курском, осуществив сполна тот идеал, который парисовал убедительно и просто в письме к Софье Андреевне Толстой: «Жить в прочной каменной усадьбе, совершенно опрятной, над водой, окруженной значительной растительностью. Иметь простой, но вкусный и опрятный стол и опрятную прислугу без сивушного запаха». Нетерпеливым и энергическим попечением нового владельца большой, каменный, с паркетными полами и зеркалами во всю стену, хотя и несколько обветшалый воробьевский дом над светлой рекой был приведен в состояние, мало сказать, опрятное — великолепное. «Значительная растительность» состояла из парка столетних дубов, раскинувшегося на восемнадцать десятипах и прорезанного от крыльца до ворот аллеей рослых вязов; в теплице выращивались олеандры, кипарисы, филодепдроны. Весьма опрятен был и стол: свежую икру, столь любимую Афанасием Афанасьевичем, подавали только что вынутую из осетра. А вышколенная прислуга не прикрывала стыдливо рта, выслушивая хозяйские приказания.

Достигнуто было все, но пойдя остановись после четвертьвекового кружения в беличьем колесе землевладельческих забот! А тут еще он загорелся покупкой дома в Москве, чтобы долгие зимы коротать в уютной старой столице... Но — и он не обманывался на этот счет — то были последние содрогания житейщины. Тем обиднее показался укор Толстого. Еще немного терпения и доверия, и он порвет с хлопотливой Марфой. Зачнется новая песня.

...Не знаю сам, что я буду
Петь,— но только песня зреет...

Давно молчащие уста отомкнутся. Ночь все настойчивей призвала его душу, которая, подобно тютчевской душе, лишь на краю звездной бездны, тренеща и содрогаясь, постигала самое себя...

Лучший способ проверить, хорошо ли установлен бильярд, это сыграть на нем партию. И Фет предложил Киприянову «американку».

— Ну, какой из меня партнер? — тревожно улыбнулся мастер, беря мазик.

Скромность его не была напускной: человек, всю жизнь посвятивший бильярдным столам, сам был никудышным игроком, кий дрожал в его узловатых руках, твердых и ловких в обращении с инструментом, и, боясь киксов — оскользней, он мог играть только мазиком, а глаз-ватерпас начинал косить, теряя точность. Фет думал, что это происходит от болезненного самолюбия мастера, который в жажде выигрыша утрачивал всякую власть над собой.

Разбивать вышло Фету. Помелив кий, он прицелился и точно послал биток в краешек четвертого от острия пирамидки шара. Со звуком, напоминающим плевков, полосатый шар влетел в правый угол. По тому, как развалилась пирамидка, как разбежались шары, можно было с уверенностью сказать, что бильярд поставлен безукоризненно. И освещен правильно: шары не отбрасывают теней на сукно, каждый приютил свою точечную тень под собой. Фет легким тычком отправил в левый угол «зайцев», и вот самая строгая проверка — на типай-

шем ударе в середину. Не спеша, ровно и стройно покатился шар по аппетитному зеленому сукну, на самом краю лузы чуть помедлил, будто решая, что делать дальше, и как в пору юркнул.

— Чем же я сушку-баранку угрызу? — напряженно пошутил Киприянов. — Зубов нету.

Скорее всего, и получить бы ему сухую, но тут Фет заметил, что его любимый белый кактус, цветущий раз в году, готов распахнуть свой единственный, туго, чуть не в разрыв набухший бутон. И, разом потеряв интерес к бильярду, партии и партнеру, Фет отложил кий.

— Спасибо, Иван Свиридович, сработано на славу. Расчет получишь в конторе, — и, крикнув слугу, велел перенести кактус в гостиную...

В гостиной Фет застал неизвестно как случившегося в доме молодого человека, чья фамилия — Иванов — хорошо отвечала совершенному безличию владельца. Подобные люди неизбежны в усадебной жизни, и бороться с ними тщетно, тем более что они не только безвредны, но зачастую оказываются для чего-то нужны: недостающие партнеры в висте или крокете, спутники дам на прогулке. Иногда они знают редкий рецепт варенья или настойки, хорошо свистят или подражают птицам, выразительно декламируют или поют вторым голосом и всегда могут переворачивать ноты. Куда больше занимала Фета приехавшая накануне дальняя родственница, весьма юная особа, в которой мило, трогательно и раздражающе слилась уездная, выхоленная в теплом родительском гнезде прелесть с чуть неуклюжими замашками современной умничающей девицы. Поначалу Фет принял всерьез эту «современность» и ощерился всеми иглами. Но провинциально вздымающаяся от малейшего волнения юная грудь разоблачала невинную игру, и нестарееющее сердце шестидесятилетнего поэта забилося громче.

С недавних пор такие вот внезапные влюбленности стали постигать его отнюдь не влюбчивую и в юности душу. Это было что-то совсем новое в нем. Но, едва вспыхнув, влюбленность обретала образ Марии Лазич и, не возмущив семейного покоя, уходила в поэтическую печаль.

Фет с самого утра исподтишка наблюдал за девушкой. Погрузившись в какую-то скучную книгу, она незряче бродила по аллеям парка, потом сидела на скамейке под акациями, но, выгнанная безжалостным солнцем, скрылась с притиснутой к близоруким глазам книгой в беседке, затянутой вьюнком, откуда, наскучив одиночеством, перебралась на террасу и, наконец, в гостиную.

Со скошенного луга тянуло санным духом, заглушавшим парковые запахи, выстоявшиеся под раскидистыми густолиственными дубами. Фета волновала девушка, волновало предстоящее таинство расцвета белого кактуса, а жена, умевшая наводить на него покой, была в отъезде. Тут-то и пригодился Иванов. Молодой человек охотно брал любую приманку, это позволило Фету направить разговор в нужное русло и постепенно запутать в свои сети усердную чтицу.

Ему хотелось говорить о любви, ну, хотя бы произносить это слово, чтобы оно с дыханием уст касалось загорелой кожи прелестного су-

щества, так уютно устроившегося в глубоком мягком кресле. Кактус, созревший для любовного тайнства, давал повод к смелым поворотам, а присутствие пусть и невзрачного сверстника девушки принуждало ее к безотчетным защитным действиям. И Фет с легкой грустью наслаждался извечной борьбой, которую сам же разжигал.

Так прошло время до позднего обеда, накрытого, вопреки обыкновению, не в цветнике под елками, а в столовой, поскольку Фет принял хинни от воображаемого недомогаппя. Во время долгой и сосредоточенной трапезы все лирические веления отступили перед свежей икрой, ботвиньей, жареными цыплятами, молодой телятиной с овощами и шоколадным тортом, обильно залитым ледяным «Редером». После обеда Фет вздремнул в кабинете. От кожаного дивана крепко пахло седлом, паверное, оттого и приснился ему чудесный кавалерийский сон с бешеной скачкой и звонким цокотом копыт по спешейся от жары земле.

За чаем они собрались в гостиной. Девушка вскоре снова уткнулась в книгу, порой скашивая на колючее растение влажный, полный, как у вальдшнепа, темный глаз, ставший из синего почти черным. Иванов, наглотавшись с робкой жадностью чаю, услужливо пытался продолжить давешний разговор, но попытки его были так нарочиты и неуклюжи, что Фет оставлял их без внимания. Помог делу сам кактус.

С последним ударом напольных часов, торжественно и гулко отбивших шесть, золотистые лепестки тутого бутона, зримо задрожав, стали раздвигаться, обнаруживая посреди венца какую-то белую нежность. На что это похоже? На складки легчайшей белоснежной туники. Лепестки раздвигались, удлинялись и наконец стали лучами вокруг белой, как кипень, сердцевины, в которой продолжала твориться работа обретения формы. Все трое следили за цветком затаив дыхание. Но конечно же ни один глаз не уловил мгновения, когда разгладившиеся складки туники вдруг образовали тонкостенную фарфоровую чашечку. Прекрасный цветок был готов к воспроизведению жизни.

— Поистине, любовь — великий художник! — нарушил священную тишину Фет.

Короткий фырк из чуть округлившихся тонких поздрей был ему ответом.

— Любовь, — краснея и запинаясь, сказал Иванов, — самый произвольный, а стало быть, самый искусный и обширный диапазон жизненных сил индивидуума.

Фету понравилась эта мысль, пусть и выраженная с семипарским косноязычием, он с невольной симпатией глянул на молодого человека.

— Почему это чувство так преувеличивают? — ленивым голосом протянула девушка, подняв над книгой прелестное, для любви созданное лицо. — Неужели в жизни нет ничего более важного и значительного?

— Нет! — почти со злобой отрезал Фет. — Любовь — красота — музыка... Все это разные обозначения той высшей Истины, которую

люди верующие, а также боящиеся взглянуть в лицо вечности... пустоте, называют богом. А всякие умствования — от лукавого, в них правды нет. Когда-нибудь вы и сами это поймете.

— Я люблю музыку, — тем же медленным голосом произнесла девушка, — немного играю, но, право же...

— Не мудрствуйте! — перебил Фет. — Вверяйтесь своей душе, а не глупым книжкам. Что там у вас, анатомия какая-нибудь?

— Это Бокль! — Соболиная бровь тонка, как та черная лоснящаяся полоска, что идет по хребту взрослого соболя, соболиные брови возмущенно выгнулись над темными полными глазами. — «История цивилизации Англии».

— Анатомия и есть! — Это прозвучало грубо, но Фет не слышал своей интонации, внутри него пело: как же ты хороша, как хороша ты, моя милая! И зачем тебе дурость чужих умствований, когда ты так умна всем своим юным сильным телом, всей статью и сутью женщины, созревшей в тебе? Ты сама любовь, сама музыка, сама Истина! Отбрось этого английского путаника, плюнь в него и разотри стройной ножкой. — Когда музыка и любовь сливаются, тогда понимаешь, чем могла быть жизнь, — глубоким голосом сказал Фет. — Мне открылось однажды это чудо... На какие-то минуты темное, полудикое существо вобрало в себя всю прелесть мира, всю любовь и всю боль... Не злую, душную, бездарную боль обычных человеческих неудач, а ту, без которой мы были бы нищи.

— И кто же это?.. — вяло полюбопытствовала девушка.

— Цыганка... Простая цыганка из хора... — Фету вдруг стало трудно говорить, воспоминание содержало какой-то яд. Какой, он не знал. Лучше всего было бы просто замолчать, но девушка ждала, и он без всякого подъема, тусклой скороговоркой закончил: — Она любила гу-сара, а тот не мог ее выкупить.

— И этот бедный гусар — вы? — насмешливо спросила девушка.

— О нет! — с улыбкой ответил Фет; яд таился не в самой истории несчастной Стени и не в их коротком знакомстве, а в чем-то походя затронутым вспоминающей мыслью. — Я просто слушал ее пение... да нет, пением это не назовешь — смертная жалоба, стон, рыдание... «Ах, ты злодей, злодей, добрый молодец». Как хорош тут постоянный эпитет «добрый»! А дальше еще лучше: «Слышишь ли, мой сердечный друг? Разумеешь ли, жизнь, душа моя?» И все эти ласковости обращены к злодею. Какая правда любви и женственности, и до чего же это по-русски!... А как пелось! Самозабвенно, испуганно, низким, страшно напрягающим полудетскую грудь голосом, вдруг обретавшим высоту сопрано... Свою маленькую изящную голову она откинула на тяжелую с отливом воронова крыла косу...

Девушка вздрогнула и выпрямилась в кресле.

— И где же все это происходило? — Теперь небрежность тона была деланной.

— В раю... Нет, в задних компатах паршивого трактира. Но Стеша едва ли помнила, где она и кто вокруг. Да и мы не помнили. А когда она, изнемогнув, замолчала, а потом в слезах бросилась вон из ком-

ваты, мы продолжали сидеть как истуканы. И даже забыли о своем вине.

— А что было потом с этой... Стешей?

Фет пожал плечами.

— Откуда мне знать?.. Кажется, у гусара так и не нашлось денег. А цыганки рано увядают. Как этот цветок, — он кивнул на кактус. — Завтра он уже будет бездушным трупом.

— Давайте продлим ему жизнь! — Девушка порывисто поднялась, томик Бокля упал на пол, но она не заметила.

— Каким образом?

— Поставим в теплую воду.

— Вы думаете, это поможет?

— Даже увядшие цветы оживают в теплой воде.

Они так и сделали. Крикнули прислугу и велели принести нагретой воды. Девушка осторожно отрезала от стебля цветок («Кованую золотую звезду», — сказал про себя Фет) и поставила в стеклянную вазу...

Итак, он одержал победу. Маленькую победу, но в иной он и не пуждался. Образ любви, бегло и поверхностно очерченный им, пересилил досужливые измышления английского материалистика. Душа, заключенная в такую изящную оболочку, была отнята у лукавого и сейчас принадлежала ему. И от него зависело продлить или прекратить этот плен, от него зависело и большее, но ему уже все это стало не нужно. Он сам был схвачен, окован, скручен обладавшим вечной над ним властью образом. Мария Лазич, Жанна д'Арк любви, будто нарочно насылала на него прелестных девушек и молодых женщин, чтобы расшевелить его старое сердце, разогреть кровь, а затем одним властным движением повергнуть к своим обугленным ногам. Он вспомнил вдруг, что первая жена и великая страсть кумира его Тютчева тоже познала огненную купель. Но Тютчев любил ее со всей силой своей безудержной природы, а он, Фет, не допустил себя до такой любви, принес ее в жертву владевшей им цели. Но будь благословенно то, что было!.. Страшная мысль ознобила ему позвоночник, и, спасаясь от этой мысли, он кипулся под могучую руку Толстого. Что писал ему Лев Николаевич в шестьдесят пятом, в год голода и мора?.. Что у него на столе розовая редиска, желтое масло, поджаренный мягкий хлеб на чистой скатерти, а в саду солнце и тень, на молодых дамах белые кисейные платья, а кругом голод глушит поля лебедой, порошит землю, обдирает пятки мужиков и рвет копыта у скотины... «Так страшно и даже хорошо и страшно», — признавался Толстой. Никто в целом мире не посмел бы сказать такого о голоде, а Толстой посмел, на то он и Толстой. Его «хорошо» полно бездонного смысла: хорошо, потому что это библейское, Апокалипсис, а не повседневная пошлость с газетками, сплетнями, политикой, мелкими страстишками и крупными подлостями, хорошо, потому что может привести к гибели и к рождению чего-то не бывшего, хорошо, потому что тут дышит судьба, и еще по многому, чего не выразишь словами, ибо всякое слово неполно и от бессилия своего лживо. Ну, Фет, усилься и скажи «хорошо» в толстовском смысле

уходу Марии Лазич. Тебе выпало библейское вместо скудного гарнизонного романа. Огнем ушло то, что могло псачхнуть в тусклой житейщине. И тебя навсегда опалило тем огнем. Как нища была бы твоя муза, если б не костер, зажженный Марпей Лазич! Благополучный муж и рачительный хозяин, ты остался бы буколическим поэтом, певцом природы, поэзия сердца равно не могла родиться ни из прежних злых неудач, ни из последующего преуспеяния...

Очнувшись от своих дум, Фет обнаружил, что он один в гостинной, если не считать цветка кактуса, уже не золотистого в померкшем дне, а зловеще оранжевого. Хорошо, что никого нет, никто сейчас и не нужен. Приблизился е го час, даривший ему лучшие стихи, но в нынешней немоте лишь щекокущий горло близостью слов. Немота не пугала его, он знал, что «песня зреет», что не отпускаящая его бесцельная суета — предвестница тишины.

Спустившись с террасы, Фет своим коротким кавалерийским шагом направился через парк, сперва по вязовой аллее, затем боковой тропкой, протоптанной в траве к маленькой, скрытой за кустами жимолости, всегда запертой калитке. Ключа от ржавого замка не оказалось в связке, которую грустно-торжественно вручила ему наблюдавшая усадьбу старушка, вдова генерала, дальняя родственница прежних владельцев. Острый глаз Фета обнаружил калитку при первом же беглом осмотре именя, но, когда он спросил о ключе, старушка замахала руками. «Пропал, батюшка, как сквозь землю провалился. Я этой калиткой сроду не пользовалась. И что ты хочешь, нету крепостных — нету и порядка». Почему-то Фету думалось, что маленькая калитка хранит нехитрую сельскую тайну. Ведь коли она есть, значит, чему-то служила. А чему могла служить узенькая, запрятанная в кустах дверца, ведущая в поле, к пахучим стогам, к вербнику над рекой? Как славно назначить здесь свидание, проскользнуть меж нагретых солнцем дубов по вечерней росе к этой калитке, отомкнуть ржавый влажный замок, выйти в поле, надергать сухого сена из стога, упасть павшичь лицом к закату и ждать, ждать тихих шагов, слабого дуновения, тени на сомкнутых веках, отчего померкнет свет вечерней зари. Ждать долго, хмелея от нетерпения, и... не дожидаться, и выгадать поэзию в обманутом ожидании.

Он раздвинул ветви жимолости, вот он — наглухо запертый лаз к счастью. А за ним бронзовое поле, лиловые стога, багряная от зари излука реки, вырвавшейся из темного ивняка. Вечер... И сами сказались в нем старые строки:

Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей иеюю,
Засветилось на том берегу...

Молодец, что обошелся одними глаголами! Тут пужпа немалая смелость. Фраза без подлежащего, предмета, о котором идет речь, субъекта, — за что секут гимназистов, да и поэтов не милуют. А ведь в субъекте этом самом — главная ложь. Разве скажешь, что прозвучало за рекой и что прозвенело в лугу? Конечно, сказать можно —

язык без костей, только будет ли в том правда? Называя предметы, мы больше всего врем, ибо не дано нам знать их скрытой сущности, не дано знать, чем они являются для самих себя. Человек гадает, тычется носом в населяющие мир предметы, как слепой щенок в теплое брюхо матери, но вместо безусловной вещественности молочной титки находит лишь некий приблизительный образ. Истинно ведомы ему только проявления таинственных незнакомцев — одушевленных и неодушевленных предметов. «Прозвучало» — да, слух тебя не обманул, прозвучало и все еще дрожит в ушной перепонке; «прокатилось» в стороне, где немеет уснувшая река, — да, и еще погромыхивает тележным колесом далекого грома; «прозвенело» — да, и тоненько замирает над бронзовым лугом; «засветилось» — да, ах как засветилось тающей аlostью на том берегу, где излука! Но попробуй в каждом случае назвать с у б ъ е к т — и ты наврешь с три короба, потонешь в мучительно неточных, случайных словах. Конечно, о многом люди давно договорились и между собой и с предметами, которым дали имя, и река может быть названа Рекой, как он Шеншиным... Бог мой, до чего неудачный пример! Оказывается, имена человеческие тоже условны, не сплавлены с сутью... Но думать об этом не хотелось, и он стал укорять себя в непоследовательности: всегда ли он так предаст глаголу, содержащему правду действия, доступного органам чувств, как в этом стихотворении? «Что-то где-то млеет, тлеет», — издевался над ним Тургенев. А ведь так и надо, чем наугад шлепать ярлыки... Он ощутил странную усталость — не от этих деланных рассуждений, а от того тревожного, плохого, что не давало заговорить себе зубы, что упрямо и мучительно продиралось наружу вопреки всем его усилиям. Это началось, когда он вспомнил о Стеше, но цыганка тут ни при чем. Басманная улица... Он жил тогда в Москве, на Басманной, за Красными воротами. Здесь находилась психиатрическая больница Красовского, куда он поместил несчастную Наденьку, свою любимую сестру, наступившую первым приступом безумия. Он еще носил форму, но внутренне поставил крест на военной службе. В эту трудную пору жизни и сдружился он с сестрой. Добрая, милая, полная теплой и радостной жизни, Наденька помогла ему пережить разочарование. Но тяготевший над ним рок не дремал, и однажды тихим, не предвещавшим никаких бед утром его встретил горячий несправедливый взгляд и солдатская грубость нежной, любящей сестры. Безумие реяло возле него всю жизнь. Душевнoбольной была его бедная мать, возможно, и бегство ее из Дармиштадта с едва знакомым угрюмым русским баринoм было вспышкой безумия. Она умерла от рака с помраченным сознанием. Безжавший в Америку брат Петр одержим чувством вины и необоримой тягой к перемене мест; безумие его по-своему прекрасно, жертвенно, он вечно кого-то спасает: людей, животных, деревья, сражается в повстанческих войсках за свободу выдуманных народов, лишает себя всяких удобств — не заслужил, спит на голой земле. Родные долго думали, что у сестры Любиньки просто дурной, невыпосимо упрямый характер, но теперь ясно, что она так же не властна над собой, как мятущийся Петр или свихнувшаяся к старости «немецкая» сестра Каролина Фет. Значит, и ему не избежать наследственно-

го безумия, подарком уже в ранней молодости знал он приступы безысходной меланхолии... Ему стало страшно. И все вокруг стало страшным: и поле, накрывшееся тенью, и желтый обвод чернильных облаков на западе, и выплывающий из рощи бледный месяц, и темный парк за спиной. Казалось, еще мгновение — и он обратится в паническое бегство, но как всегда на краю, спасение оказалось в нем самом, в его железной воле. «При первых же признаках безумия я покончу с собой», — твердо и спокойно сказал он себе. Он знал, что тут нет ни позы, ни самообмана, он сделает это, если будет нужно. Значит, нечего бояться. Страшна душевная болезнь, а не смерть, подарком же у покойников всегда такие хорошие, умнотворенные лица. Даже у безумцев, вспомнил он с удивлением. Добрая сестра — смерть расколдовывает их души, прежде чем унести с собой.

Ему стало хорошо и прочно, ничто не страшило ни в воспоминаниях, ни в окружающем, ни в том, что ждало впереди. И словно так из глубины памяти наплывала на высеребранный месяцем полевой простор горбатая Басманная с церковкой Петра и Павла, с хоромами московской знати и с тем желтым двухэтажным домиком, где он снимал мрачноватую — густые липы за окнами застили свет, — но теплую и какую-то печально-уютную квартиру. Ну, усилился еще немного, напрягись, Фет, и вот ты уже не один.

Он неслышно приблизился и стал за спиной, отчетливо ощутимый теплом тела и дыханием, шевелящим волосы на затылке, милый друг юности, самый дорогой и близкий человек всей его жизни. Сколько потом было преданных, добрых, умных друзей, а как с Аполлоном Григорьевым, ни с кем не было. То бесхитростное доверие, душевное понимание, что связали их в юности, остались с ними навсегда. В черные дни Надежкиной болезни Григорьев приносил на Басманную утешение и радость. Только дай ключ, и — гитара за спину — Григорьев спешит из далекого Замоскворечья через пол-Москвы. У него не было денег на извозчика, и он топал пешком с Малой Полянки через оба Каменных моста, промахивал Моховую, Охотный ряд, Театральную площадь, Театральный проезд, Лубянскую площадь, длинную Мясницкую и мимо Красных ворот попадал на горбатую Басманную. Немалое путешествие! Этак выйдешь засветло, а доберешься при фонарях.

И, как странно, Григорьев всегда больше давал ему, чем получал в ответ. Все университетские годы прожили они бок о бок на антресолях григорьевского дома на Малой Полянке, подле Спаса в Наливках, и це было на свете столь разных характеров, темпераментов, мирозерцаний: Григорьев — само трудолюбие, искания, неиссякаемый энтузиазм, он — сама беспечность, лень, прония. Своим развитием он обязан духовной жадности Аполлопа куда больше, нежели университету, коим безбожно макировал. Григорьев был душой студенческого кружка, что ни вечер собиравшегося у них на антресолях. В прокуренных комнатах до поздней ночи не прекращались споры о немецкой философии, и полупьяному слуге Ивану так настряли в ушах великие имена, что он заорал однажды с театрального подъезда: «Коляску Гегеля!»

При всем своем добродушии Фет почему-то любил угнетать Григорьева — телесно и духовно. Ловким приемом, изученным в Верро, он заламывал руки Аполлопу и швырял его на пол, но тот писколько не обижался на своего мучителя; позже, когда порывистый, мятущийся Аполлон вдруг исполнился религиозного рвения и, налепив свечки па все пять пальцев, бил поклоны в церкви, безбожник Фет, пристроившись рядом, вливал ему в пунцовое ухо яд мефистофельских сарказмов. И в стихах был верх Фета, но с каким трогательным восторгом переписывал Григорьев его стихи в тетрадку, отчаянно проклиная собственные неуклюжие потуги. И когда они оба влюбились в крестовую сестру Григорьева Лизаньку и она отдала предпочтение Фету, Григорьев выдержал и это испытание. Да была ли на свете другая душа, столь чуждая зависти, ревности, обиды?..

Годы не охладили Аполлона, и в тяжелые московские дни он по первому зову бежал на помощь другу со своей семиструнной — власть цыганской мелодии над обоими была беспредельна. Григорьев начинал петь сразу — не громким, слабым голосом, даже не пел, а проговаривал песню под аккомпанемент, но с таким искренним чувством, с таким нутряным пониманием рожденной под звездным шатром степных небес таборной песни, что и не нужно было голосистого, звучного пения.

С ясностью прямого видения возникли перед ним бедноватая комната с мягкой мебелью в чехлах из холстинки, овальный столик и медный самовар на подносе, стаканы с остывшим, крепкой заварки чаем и в синеватом наплыве табачного дыма резкий, шиллеровский профиль Григорьева, и он содрогнулся от внезапной мысли: тому четверть века! Недаром же ему так ненавистно само понятие времени — равно и даты, и хронология, отсюда и отвращение к истории, которую он мог бы любить, не будь она погружена в стихию времени. Как счастливы были древние греки, не знавшие, что такое время! Для современников Перикла Троянская война, Фермопильская битва или последняя Олимпиада — события почти одной давности. Невыносимо грустно, когда обнаруживается дряхлость твоих столь живых и свежих воспоминаний. И вновь, как уже не раз, пронизало Фета страстное желание осилить время, вырваться из ненавистного плена. Против времени есть одно оружие: самозабвение, «пять мгновений Магомета». Что ж, поэт не уступает пророку, вдохновение под стать экстазу. Стихи, стихи, где вы, вернитесь!..

Он сперва ощутил свои мокрые, потяжелевшие ноги и лишь затем обнаружил, что бредет через парк по росистой тропинке. В гостиной горел свет, он обогнул дом и черным ходом пробрался в свой кабинет. Зажег толстые свечи в шандале, достал стопку бумаги и придвинул кресло к столу. Надо отнять у вечности сегодняшний день со всем, что в нем было, с упрямой девушкой, золотым цветком кактуса, собственной растревоженной памятью, надо вернуть из тьмы так быстро, так безнадежно канувшего в забвение доброго, талантливого, несчастного и в жизни, и в смерти человека. А коль виноградина поэзии лишь щекочет горло и не хочет брызнуть соком, он сделает это «презренной» прозой. «Кактус» — назвал он свой рассказ.

И появивленный прозаический Орфей пустился в путь за Эвридикой, за сероглазой, русоволосой, большеносой Эвридикой в кумачовой рубашке, плисовых шароварах, заправленных в лакированные сапоги, и суконной поддевке — ипой одежды не признавал околованный псевдорусским стилем Аполлон. Из-за суконной поддевки да яркого кумача между ними вышло едва ли единственное за всю дружбу столкновение. Собрались они в Грузины слушать Степу из знаменитого хора Ивана Васильева не в урочный вечерний час, а ясным днем. Фет велел вызвать извозчика с закрытой каретой. У него были собственные дрожки, но он еще носил военную форму, и что бы подумал плац-адъютант, увидев его разъезжающим по Москве не то с торбанистом, не то с кучером? Григорьев понял, что Фет стесняется его вида, и поднял бунт. Пришлось срочно изобрести простуду, надсаживаться в кашле, сипеть и фыркать сухим носом в фуляр. И милый, доверчивый Аполлон сразу прекратил спор, хотел в аптеку бежать, предлагал отменить поездку, насили уговорил он не в меру заботливого друга...

Перед тем как вывести на свет божий Аполлона Григорьева, Фет снабдил свой рассказ обрамлением, дабы погрузить воспоминания в сегодняшний день, оллести сегодняшними чувствами. Безличному и скучному Иванову он придал черты своего прекрасного, гибельного брата-странника, цветолоба и садовника, лечившего старые деревья и поломажные кусты так бережно и нежно, словно он угадывал в них способность к боли и страданию. Этому новому Иванову поручено было объяснить заумной девушке прелесть цветка и вызвать наивный вопрос: «А что такое, по-вашему, любовь?»

Рука Фета дрогнула, разбрызгав чернила. Боже мой, и проза способна дарить трепет!.. Но все же проза живет иными законами, нежели поэзия. Что бы тут раскинуть крылья, вверясь несущему току воздушных струй, но рука не стала крылом и, служа земному делу, вывела язвительную филиппику против философских книжек, которыми девушка глушит свое сердце...

Но вот не слишком ловко, каким-то рассудочно-насильственным зпзгагом он обратился к воспоминаниям. После первых, сердцем сказанных слов о Григорьеве он вдруг почувствовал странную необходимость в оговорке. Это вовсе чуждо поэзии, которая не бывает правой или неправой и не знает ни перед кем ответственности, разве лишь перед самой собой. А тут вонзилось занозой в мозг, что рассказ прочтут люди, хорошо, слишком хорошо знавшие Григорьева, его слабую, грешную натуру, его загулы, безобразия, и зачем ему перед ними слюнявого дурачка разыгрывать. Воспетый стихами, Григорьев мог явиться хоть светлым ангелом, хоть золотым рыцарем, хоть белым менестрелем, а тут... И, вздохнув, Фет написал: «Но, к сожалению, он не был, по выражению Дюма-сына, из числа людей знающих в нравственном смысле...» Нет, не божье дело — проза, подумал Фет, но править не стал. Прости мне и это, Аполлон!..

Моральная уступка отыгралась потерей тона. Он никак не мог вновь настроиться на растроганность, владевшую им в парке. Ты богатый, признанный, счастливый, осуществивший все свои желания,

уговаривал он себя, и ты пишешь о человеке, обобранном до нитки, так будь же к нему щедрее, снисходительнее, горячее, ты и так его вечный должник!.. Лишь с приездом в Грузины, в заведение Ивана Васильева, разогрелось перо Фета, и сразу глянула со страниц живая душа Аполлона. Писать стало легко. Не хотела, не могла им петь дикая, пугливая, горестная Стеша. И с чудесной, простодушной хитрецой, таящей столько истинного участия и сострадания, подъезжал к ней Аполлон. Начиная издали, о том о сем, наигрывал на гитаре под сурдинку, втягивал в разговор про дела цыганские, про отношения в хоре замкнувшуюся в своей боли девушку, а там стал играть громче, звонче и вдруг запел любимую — «Цыганскую венгерку», да так увлекся, так загорелся, что вроде и забыл, для чего они приехали. У Фета была на редкость дурная память, но один куплет он вспомнил и с удовольствием вписал в свой рассказ:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня,
Любил барин цыганочку —
Она замуж вышла...

А хорошо, восхитился он. Как поймана народная интонация! В памяти «Цыганская венгерка», при всей ее потрясающей искренности, казалась более сделанной, не в плохом, боже упаси, смысле, а в присутствии отчетливой поэтической воли. За буйством, удалью, отчаянием, безысходной скорбью утраты чувствовался знающий свою цель зрелый поэт, искусник. Быть может, нигде больше не достигал Григорьев такого уверенного мастерства. А этот куплет очарователен поистине народной бессмыслицей: при чем тут ольха, при чем тут вишня, какое отношение имеют эти растения к брошенной цыганкой барину? Вот уж: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Только народ, творящий бессознательно, бывает так дивно расточителем. И при всем том это поэзия чистейшей воды, задушевности, не придуманная, не сочиненная, пленительная своей простотой и наивностью. Жаль, что у него нет стихов Григорьева, а в памяти ничего больше не удержалось, кроме этих четырех строчек. Впрочем, и так хорошо: в капле росы — целый сад, в капельке чистой поэзии — вся лирическая душа Аполлона. И Фет радостно продолжал свой рассказ.

Доплакав «Венгерку», Григорьев без передышки завел настоящую народную, хлесткую: «В село Красно стеганула». Иван Васильев подхватил бархатным баритонем, а вскоре тихо, робко, но постепенно смеясь, стало проникать в дуэт серебристое сопрано Стеши. «Эх, господи! Да что же я тут вам мешаю, — воскликнул Григорьев. — Мне так не сыграть, а не то что спеть. Голубушка, Стеша!..»

И, покорная какой-то независимой от нее силе, Стеша взяла гитару.

Вспомни, вспомни, мой любимый,
Нашу прежнюю любовь...

Слезинка дрожала на реснице, но так и не скатилась. Но вот, сильно рванув струны, Стеша завела ту самую, сокровенную, песню

души своей о злодее — добром молодце: «Слышишь ли, разумеешь ли».

Слова сами стекали с пера, от Фета требовалось лишь одно — не мешать. Казалось, Стеша не кончит песню, рыдания душили ее, но сила и гордость цыганки, — лишь допев последний куплет, она дала волю слезам и убежала.

Фет почувствовал, что рассказ исчерпал себя. Тот несколько головной посыл, из которого он возник, оказался вроде бы и не нужен. Воспоминание обладало собственной ценностью и не нуждалось в поддержке обрамления. И восторженный брат под псевдонимом Иванова, и юная почитательница Бокля были лишними на театре, где так красиво и вдохновенно сыграли Стеша и Аполлон. Убрать их легко, да ведь с ними исчезнет и кактус, а его жалко. Излюбленное помещиками экзотическое растение с колючками на мясистых листьях и непрочной прелестью одинокого напрасного цветка оказалось в рассказе куда важнее и значительнее своей прямой сути. Тайнственным образом проросло оно в горестные судьбы давно ушедших людей. Ничего не подделаешь. Пришлось дописать рассказ, вернув его в сегодняшний день, что — хорошо ли, плохо ли — придало ему звучание притчи. Скептическая девица была посрамлена и даже лишена жеста раскаяния — цветок кактуса в теплую воду поставил Иванов. Жестокая расплата за то, что не сумела удержаться в сердце поэта. Все же рассказу недоставало концовки, но Фет уже знал, где ее искать.

Взяв свечу, он направился в гостиную. В цепелелой почной тишине старые дома всегда наполнены шорохами, скрипами, неживыми вздохами. Что-то рассыхается в них, трескается, расходится, изгнивает, их дряхлую плоть точат древесные жуки, перетряют в железных резцах грызуны, но в этом доме царила такая тишина, словно он был построен из мрамора. Не скрипнула половица под тяжеловатыми шагами Фета, не шатнулись лестничные перила под его рукой — на славу отремонтировал и укрепил он старое жилье. Вот что значит вездесущий хозяйский глаз, вот что значит самому вникать в каждую мелочь. А еще укоряют: Марфа печется о мпозем...

Бесшумно качнулось коромыслище тяжелой медной ручки, бесшумно распахнулась высокая резная дверь, и огромные зеркала разом отразили в черно проблескивающей глубь красноватый огонек свечки, желтую гладь чела и пушковый атлас халата. Фет предвидел, что теплая вода не поможет, не оживит того, что приговорено самой природой. И вот он, конец рассказал: «На краю стакана лежал бездушный труп красавца кактуса».

Вернувшись в кабинет и поставив точку, он перечитал рассказ и остался им доволен. Оказывается, и проза обладает магией. Даже не скажешь, как оно сделалось, но самым живым и милым в рассказе вышел Аполлон Григорьев. Наверное, таким и было не осознанное до конца веление: подарить безнадежно забытому другу хоть крупицу бессмертия. И дабы совершить жест добра, он смело вторгся в чужое ремесло и одержал маленькую победу. Да, Марфа пе-

чется о мнoзем, но сегодня его обремененная душа (хоть близок час освобождения!) сумела вырваться от хлопотливой Марфы и припасть к отшельнице Марии...

Афанасий Афанасьевич давно привык и не роптал, что его поэтические создания не находят отзвука в толпе, тем важнее было для него мнение немногих избранных. И, конечно, особенно волновало, что скажут о рассказе Тургенев и Лев Толстой, о которых Аполлон Григорьев в свое время много и страстно писал, причем аналитический скальпель не дрожал от подобострастия в его быстрой и уверенной руке, а с Тургеневым был настолько близок, что иные свои статьи публиковал в форме писем к нему. Иван Сергеевич воздержался от оценки рассказа и словно в объяснение своей сдержанности сделал неожиданное признание: он никогда не обижался и не злился на своих критиков, но Аполлона Григорьева ненавидел. Лев Николаевич просто отмолчался.

У Аполлона Григорьева, такого мягкого и доброго, было удивительное умение попадать авторам по самому темечку, в то нежное родничковое место, которое зарастает у всех младенцев, кроме предназначенных судьбой литературе.

Но удовлетворение Фета собственным поступком ничуть не померкло. Позже Афанасий Афанасьевич еще не раз возвращался к образу старого друга в своих воспоминаниях, окопченных незадолго перед смертью, но так и не спохватился, какую странную и обидную для Григорьева шутку сыграла с ним память. Исполняя под гитару «Цыганскую венгерку», Григорьев действительно иной раз пел куплет, который Фет привел в рассказе «Кактус», но, конечно, не включил в свою маленькую поэму, ибо то были не его слова, а народные, из старой песни. Но почему память Фета сохранила лишь это четверостишие? Неужели оно в самом деле лучше всего остального в поэме и тут бессознательно сработал тончайший поэтический вкус Фета?..

ДЕНЬ КРУТОГО ЧЕЛОВЕКА



Утром приходил иконописец и поставщик божественных досок Никита Севастьянович Рачейсков с Васильевского острова. И, как всегда, хоть знакомству их уже четверть века, терпеливо дожидался на кухне приглашения в хозяйские покои, прижимая к груди завернутые в холстину иконы.

Чем-то сразу и больно поразил изограф Лескова. А вроде бы Никита Севастьянович давно застыл в своем суровом, строго духовном образе: высок, сух, тонок, удлипенным лицом постеп, седые волосы разобралы прямым пробором на два крыла, маленькие темные, буд-

то исплаканные глаза прячутся под кустистыми бровями. Лескову показалось, что под длинным, до щиколоток, черным суконным азиатом вовсе нет плоти, а голова художного мужа от глубоких западин за ушами и под нижней челюстью по-лошадиному выдвинулась вперед. Былая прочная сосредоточенность в себе сменялась отрешенностью, словно уже начал переселяться на небо, столь привычное своей лазурью, кипенью облаков, и золотом светил его тонкий, о три волоска кисти, старый, потерявший счет годам, богомаз. Только громадные — лопатами — руки его, ставшие вовсе непомерными в оскудении остального телесного состава, принадлежали жизни, набухшие венами, жилами, с темными волосами на тыле ладоней и послушных строгой воле мастера длинных перстах.

Чинно, уважливо поздоровавшись с иконописцем, Лесков повел его в кабинет, увешанный картинами, гравюрами, иконами, заставленный сомнительными апраксинскими раритетами, а также напольными и настольными часами.

Никита Севастьянович высвободил доски из холстины, после чего сел на стул с прямой спинкой, положил на худые колени свои лапищи и застыл недвижно. Весьма в меру словоохотливый и в бодрые годы, он ныне будто вовсе разучился говорить. Но, златоуст п жаднослушатель, Лесков тоже не был настроен на болтливый лад.

Рачейсков принес ранее привлекший Лескова образ устюжской божьей матери и неведомого Спаса какого-то наглого по светской выразительности письма. Обе иконы были искусно расчищены. Лесков гордился тем, что сам умел осветлять черные доски, хотя делал это весьма аляповато, злоупотреблял к тому же политурой, но впечатная угрюмая озабоченность, овладевшая им, объяснялась не досадой на старого изографа, самовольно лишившего его сладостного труда, а чем-то совсем иным, сложно повязанным с мучительными заботами его нынешней жизни.

Странен и непривычен был этот Спас — ни византийского тайномыслия, ни печали, ни грозности, ни проникновенности, ни сострадания, ни один из многих смыслов, вкладываемых иконописцами в образ Христа, не прочитывался на тяжелом мужицком лице, именно лице, чтоб не сказать еще грубее, но уж никак не лице бога-сына.

Лесков пытался расспросить Никиту Севастьяновича о создателе образа, но из односложных, будто через силу ответов следовало, что происхождение иконы тому неведомо. И это было вопреки правилам Никиты Севастьяновича. Он всегда знал, что предлагает покупателю.

Лесков решил оставить за собой обе иконы. Никита Севастьянович назвал цену, как всегда умеренную, да и не полагалось торговаться с ним, получил деньги, спрятал их вместе с холстиной в бездонный карман азиата, низко поклонился и двинулся к черному ходу. Лесков пошел проводить его.

— Хотел я тебя, Севастьянович, вот о чем попросить... — вспомнил Лесков уже в кухне, но осекся под строгим взглядом мастера.

— Я боле не приду к вам, — тихо сказал Никита Севастьянович.

— Что так?

— В иные пределы ухожу.

Лесков помолчал, потом сказал истово, чуть приметно дрогнув голосом:

— Коли так... легкой тебе кончины, Севастьяныч.

Что-то похожее на улыбку тронуло бескровные губы старца, и темные исплаканные глаза мягко глянули из-под кустистых бровей.

— Спасибо, что не слукавил.— И, согнувшись под притолокой, вышел в пыльный свет черной лестницы.

Умиленный простотой и честностью прощания, Лесков смахнул невольную слезу и вернулся в кабинет. Присловенный к стене Спас встретил его прямым и жестким взглядом. «Это не Христос,— думал Лесков, вглядываясь в грубые, мужицкие, чем-то притягательные черты.— У него лицо мастерового, каменщика, землепашца, только не искупителя чужих грехов. Таким скорее мог быть бог-отец по завершении чудовищного труда мироустройства. У него и чело влажное от пота. А какая непреклонность в очах! А ведь Христос был слаб, исполнен великого смятения, страха и неверия в свои силы. Нет, это не Христос, вернее, Христос, в которого художник по странной причуде или наптю, откровению свыше вложил черты его божественного отца! А Христос не тянул, нет, не тянул! Куда ему до отца! Слаб был, суетен, непрочен и к тому же гугнив. Люди не понимали его поучений, словно он явился из чужой страны или глубокого прошлого. Он не делал чести отцу-вседержителю. Но старик — какой молодец! Не пожалел, не пощадил родную суть, подверг такому испытанию, что и худшему врагу не пожелаешь. Экую пошу водрузил на слабые плечи сына плотничихи Марии, жены бесильного старостью Иосифа! Как хотелось Иисусу бежать страшного подвига, как претило ему искупать муками и позорной смертью на кресте под сжигающим солнцем Иерусалима грехи человечества. Он ли не просил, не молил отца небесного и своего собственного: «Помилуй, мя, отче! Провеси чашу мимо!» Не приклонил слуха, не сжалился отец. Мерзко, нестерпимо было богу, что сын его так слаб и безволен, так привержен земной суете. Нет уж, коли ты сын божий, так и докажи себя деянием, достойным отца! Бог дал сыну испить чашу страданий до последней капли. Великий замысел творца включал и кару за потуги уйти от предрешенной высшей волей судьбы. «Вот это характер!» — восхищался Лесков, остро и ревниво выглядывая небольшими яркими темно-карими глазами черты отца в грубовато-суровом обличе сына.

— Так с ними и надо! — с удивлением услышал он свой голос в пустоте кабинета. Слова вырвались из беззвучия души и прозвучали как приговор.

Бесхарактерность, лень, небрежение долгом, попытки уклониться от начертанного отцом пути, даже просто опуститься на придорожный камень, предоставив дорогу идущим, суетность, уже не говоря о гадостном стремлении тешить беса ногодрыганием под срамную музыку, уверенность в своем праве на хлеб, не политый слезами и потом,— суть смертные грехи и должны караться с такой беспощадностью, чтоб задрожало сердце самого карателя, как дрог-

нуло господне сердце, когда он послал сына на Голгофу. «Ну, Дрон, Дронюшка-Дрон, держись, шаркун, танцзальных паркетов натуральщик, в науках не преуспевший сын, не кровь моя, а сукровица, не плоть моя, а перхотный очес, крепко же засел ты у меня в печенях, крепко же и поплатаешься!»

Он почувствовал, как горит лицо и тяжело пухнут глаза от прилившей к голове крови. Этого еще не хватало! Теперь пойдет на весь день крутить и корчить. Надо было отвлечение какое придумать. Новые иконы, что ли, повесить? Но этим всегда занимался Дрон, ловко у него получалось, хороше руки! А сам Николай Семенович попробует гвоздь вбить, непременно по пальцам стукнет, а уж если и повесит чего на стенку, так вкривь и вкось. Лучше дожидаться зятя Крохина, обещал заглянуть перед обедом. А сейчас можно на прогулку сходить. В Гостиный двор наведаться, к букинистам.

Лесков сменил плафрок на короткий летний пиджак из серой шерстяной материи, надел легкое светлое пальто, обшитое тесьмой, на голову — соломенное кáпютье с черной репсовой лентой, в руку взял камышовую трость с серебряным набабдашником и, хорошо, ладно ощущая все свое снаряжение, грузноватой, но упругой поступью направился к двери.

— Дядя, ты уходишь? — слышался за его спиной детский голос.

Лесков вздрогнул, очнулся от дум. Как странно, что он все время забывает о существовании этого ребенка, «сиротки», богоданной насельницы его усталого сердца (и маленького чулана возле кухни), отрады натруженных очей. Года два назад привела Вареньку «дремучая» чухонка и сдала с рук на руки горничной Кетти. Светловолосая Кетти, дочь перновского домовладельца, выгнанная родителями за какие-то провинности, находилась в услужении у генерала Шпицберга, начальника крепостной артиллерии в Ковно. Она понесла от его денщика, лишилась места, уехала в Петербург, в положенный срок родила и пристроила младенца в финской деревушке Кейдала под столицей. К Лескову Кетти попала по объявлению. Теперь Вареньке был один путь — в приют, но тут Лесков совершил всех удививший, а многих озадачивший шаг — оставил Вареньку в доме. То было наитие — поступить по догме любезного сердцу Льва Николаевича Толстого черносошного моралиста Сютяева. «Своего и корова оближет, — говаривал Лесков. — А принять чужое дитя как родное — угодное богу дело». Его мало заботило, что это противоречит его прежним утверждениям: мол, по древнему закону, выражающему девственные свойства человеческой души, любить можно только кровью родных детей, иная любовь к детям — натяжка и фальшь.

Малютка вошла в дом в пору, когда Дрон, примерный ученик и послушный сын, еще ничем не огорчал отца, что, впрочем, не избавляло его, как и всех близких Лескова, от бурь и потрясений. В новых же обстоятельствах значение сиротки необычайно возросло.

— Дядя, ты уходишь? — повторила Варя и потупилась.

— Гулять иду, — сказал Лесков и тоже увел глаза.

Этому ребенку и этому взрослому равно нечего было сказать друг другу. Варя, как существо примитивное, насупилась и стала крутить ленточку от коробки шоколадных конфет, Лесков — как более искушенное — нашел иной выход из затруднения. Ему нечего было сказать этой девочке, но он мог много и веско сказать за нее, ответить злопыхателям, хулиателям его милосердия, погрязшим в тленодушии. Не раздеваясь, он вернулся в кабинет, достал лист бумаги, придвинул чернильницу.

— Возьми у матери конверт и принеси сюда, — сказал он, зная, что девочка последовала за ним и стоит в дверях, крутя свою ленточку.

Он услышал топот детских ног по коридору, и в душу ему нахнул горячий ветер гнева. И сама собой вырвалась из-под пера облитая кровью и желчью фраза, адресованная «добрейшей» — еще так недавно — Александре Николаевне Толиверовой, испытанному и преданному другу:

«А вам в приют ее, мою Вареньку, — на приютский крупяной кулеш да на картофель?!» «Крупяной кулеш» пронял самого автора, была в нем какая-то нищенская убедительность — полная слеза обожгла щеку.

Девочка положила конверт на стол.

— Подай перочинный ножичек... Не там, на тумбочке.

Потом ему понадобился сургуч, стакан воды, чтобы запить успокоительное лекарство, салфетка, чтобы промокнуть каплю на лацкане пиджака. Девочка вихрем носилась по квартире, толково и споро исполняя поручения. Чувство неловкости прошло. Варя воплотилась в казачка, что ее вполне устраивало и освобождало от внутренней фальши, которую она не постигала детским своим умишком, но чувствовала так же отчетливо, как отсиженную ногу.

Отомщевательное письмо было написано с солью, перцем, собачьим сердцем, с той чрезмерной аффектацией, которая не может заменить простого, искреннего чувства и лишь укрепляет оппонента в противоположном мнении.

Удовлетворенно пробежав послание, Лесков запечатал конверт и решительным шагом покинул кабинет.

— До свидания, дядя, — сказала сиротка захлопнувшейся двери.

Минував тихую Фурштатскую и приметив с легкой грустью первую прожелть в густой и притемненной, как и положено к исходу лета, зелени садов, Лесков направился окольным путем к центру. Он хотел насладиться покоем здешних пустынных, росных, дремлющих улиц, овеваемых прохладой с Невы, а дальше, в приближенном людном и вонючем центре, нанять извозчика. Но благим намерениям не суждено было осуществиться, во всяком случае в начальной части.

Он и сам не знал, что ему предшествовало: тревожный ли запах гаря — колоколам и рожку пожарного обоза или пожарный насос, влекомый тройкой массивных гривастых битюгов, дал почуять в чистом воздухе горячую работу огня? За насосом, на четырех лппей-

ках, в сверкающих касках промчалась пожарная команда, золотыми вспышками отражаясь в окошках ипзеньких домов.

Будто по ребрам Лескова прогрохотали подковы пожарных тяжелыхозов. Неправда, будто время лечит все раны. Уязвленную плоть оно лечит, а раны души не затягиваются. Двадцать три года назад, в духов день, когда купцы выводят своих дочек на смотрины в Летний сад, так же вот, только куда гуще, понесло горелым над столичным центром. Горели Апраксия и Щукия рынки. И чуть не первым из петербургских газетчиков оказался там Николай Лесков. Он жадно впитывал в себя все пересуды, толки, слухи и слухи, угрюмый ропот, визгливые причитания баб. Толпа дружно и злобно обвиняла в поджогах поляков — как полагается, студентов да и вообще учащуюся молодежь, смутьянов из господ и всякую протерь. И в «Северной пчеле» появилась осмотрительная, как мнилось нанвиному автору, но прозвучавшая взрывом в ушах всех опрятных людей, бедоносная статейка о петербургских пожарах.

Как накиннулись, как павалились!.. Боже мой, какой только напраслины на него не возводили!.. Конечно, удары шли слева, но время было такое, что правые только «хакали» на каждый удар. И даже газета, почти провокационно поручившая столь тонкое и сложное дело совсем зеленому сотруднику, и пальцем не шевельнула в его защиту, напротив, последующим неловким, двусмысленным бормотанием совсем утопла. Дошло до того, что пные знакомые раскланиваться перестали. С тех пор крепко засело в печенях...

Не такой он был человек, чтобы смириться, в тиши пережить свою неудачу, сделать должные выводы. Нет, сызмальства его девизом было: «Отмищение!» Пошли «отомщевательные» романы: «Некуда», «Обойденные», наконец, грубо, судорожно слепленные «На пожах». Покойный Писарев отказал ему в звании русского литератора и утверждал, что ни один порядочный писатель не захочет видеть свое имя рядом с именем господина Стебницкого, под таким, довольно нелепым псевдонимом он начинал. Травили, улюлюкали и не хотели заметить, что были в «Некуда» Рейнер, списанный с кристального Артура Бени, погибшего в войсках Гарибальди, Лиза Бахарева, Бертольди, студент Помада — кто еще так любовно изображал пигмалистов? А сокрушал он лишь тех, кто припизил, испохабил, в грязь втоптал чистый тип Базарова. Да что говорить!.. Лучшие годы жизни были смяты, осрамлены, просто украдены, ибо не жил он, а томился и страждал духом. И не было не только прощения, но и забвения содеянному в молодости. Один за другим выходили «Житие одной бабы», «Запечатленный ангел», «Соборяне», «Тупейный художник», «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе», «Очарованный странник», а критики как воды в рот набрали. И не было таких причудливых и богатых духом русских характеров ни у кого из пишущей братии, даже у самых великих. Во всяком случае, его праведники не чета сопливому Макару Девушкину! Но хоть бы кто словом добрым печатно обмолвился! А ведь читали и перечитывали, но молчали, поджав губки, во дворце читки вслух устраивали, сам венценосец восхищался. Достоевский раз даже страшным сло-

вом «геннально» в адрес его проговорился, а печатно — уязвлял. Нет, как ни крути, остался он незаконным сыном русской словесности.

Ныне известность его на всю Россию и за границу шагнула, а стало ли ему легче печататься, свободнее, увереннее жить? Нет, все так же свирепствует над его сочинениями цензорский карандаш, а теперь и духовная цензура навалилась. И нет семьи, да еще неудачный сын-пустопляс. Вот какой горечью пахнуло на Лескова от занявшегося где-то неподалеку пожара. Весь душевный мусор взвезло тем дуновением. И сразу стало трудно дышать. Впору домой вернуться. Но тут он увидел одинокого «ваньку», клевавшего носом на козлах.

Тяжко просели старые рессоры под грузным телом.

— К Гостиному двору! — приказал Лесков.

«Ванька» проснулся, подобрал рваные вожжи, дернул, чмокнул губами и стал разворачивать свою каурую клячонку.

— Куда, дурак? — Лесков ткнул камышовой тростью в худые лопатки извозчика. — Не видишь — пожар. Давай прямо.

— Далече, барин. — «Ванька» обернул к Лескову старое личико с редкой, как у корейца, бородежкой. — Четвертак придется накинуть.

— Хватит и двугривенного, — сказал Лесков. — Пошел!..

И пролетка, скособочившись в перевес грузного седока, покати-лась по булыжной мостовой...

В полуденный час последнего дня лета на Невском проспекте было людно, шумно, пыльно и вонько. За лето город всегда портился, протухал. Хоть и строго спрашивали с дворников, да ведь за каждой мелочью не уследишь — в пазах торцов между плитами тротуаров что-то застревало, разлагалось на жаре, изгнивало. Да и всякий продукт смердит летом вдесятеро против других времен года, когда пахнет либо морем, либо дождевой сыростью, либо чистым снегом, а в краткую пору петербургской весны — травой, листьями, сиренью. Лесков злился на город, а еще больше на самого себя. Он знал, что настоящим петербуржцам здесь никогда дурно не пахнет. Говорят, у Достоевского плотоядно шевелились ноздри, когда он шел через Сенную, будто вдыхал не настой дегтя, конского навоза и мочи, доревенского рассола и гнилой соломы, а нежнейшие ароматы. Не смущал Петербург и чуткого носа Пушкина. Беда в том, что Петербург так и не раскрылся Лескову, несмотря на все его славословия — печатные и устные, — как не раскрылся до конца никому из русских писателей, кроме Пушкина и Достоевского. Такие бытописатели и знатоки Петербурга, как Всеволод Крестовский, разумеется, не в счет.

Пушкину Петербург был высок и дивен, как могут быть дивны-ми лишь в исторической памяти человечества Афины Перикла или цезарийский Рим. Афиняне золотого века и древние римляне, конечно, не так очарованно воспринимали обстав своего каждодневного бытия. Надо быть Пушкиным, чтоб, отметя трущобы, пустыри, грубую, бьющую в нос невоплощенность стройных замыслов градо-

строителей, слякоть и грязь, морось и промозглый ветер с Невы, видеть волшебный город, будто родившийся из прозрачного сумрака белых ночей, город, который ничто не может унижить.

А Достоевский нашел тут и более сложную поэзию — белые ночи и тишина пустынных набережных, вспугнутая торопливым постуком женских каблучков, чудно и чудно уживаются у него с жутью темных переулков, мрачных дворов, гнилостных лестничных клеток, располагающих к убийству, а таинственный страшноватый город манит, пленяет душу.

Лескову же вояло...

Расстроенный, он вошел под сумеречный, чуть отдающий склепом свод галереи Гостиного двора. По обе стороны шли лавки и лавочки, откуда сперто и заманчиво дышало стариной: пыльными коврами, гобеленами, тленом полусгнивших рукописных книг, расчищенной нашатырем бронзой, лаком. Тяжелые крылья носа Лескова раздувались, вбирая знакомые и всегда возбуждающие запахи. Но что-то мешало ему сегодня самозабвенно зарыться в благостный мусор минувшего.

Прошлой зимой он ездил сюда с Дроном, приходившим из училища на воскресную побывку. Они брали извозчика от Таврической до угла Садовой и Вознесенского — добрых четыре версты по свежему, колючему зимнему воздуху. А затем обходили не спеша Ново-Александровский рынок, Апраксин двор и гостинодворскую галерею, и ему нравилось показывать сыну, как ловко умеет он находить жемчужное зерно в павозных кучах старьевщиков, угадывать ценность какой-нибудь закопченной доски, едва различимой уголком в завале всякой дряни; как цепко и необходимо для продавца торгуется, сбивая цену чуть не вдвое, как может с каждой протерью поговорить на особом языке: с «князем» — татарское слово свернуть, с букинистом — уместный славянизм кинуть или двоегласным соизвучием на вирш блеснуть; петербургскую жулябию трущобным, крепчайшим заворотом осадить. Но, конечно, куда полезнее была для юноши та россыпь культурных сведений, которой щедро делился отец.

Сколько узнал Дрон и о стилях разных эпох, и о художественных манерах русских иконописцев и французских графиков, какое эстетическое богатство приобрел, вышагивая за отцом по холодным плитам галереи. «Но почему у него всегда было такое нищенское, неодухотворенное лицо и капелька под носом? — раздраженно вспомнил Лесков. — Все ежился, непоседа, да шаркал ногами, будто ему невтерпех в танцевальный зал? А может, ему просто холодно было? — вдруг грустно спросил он себя. — Зяб до костей в шинелишке, подбитой ветром, казенных ботинках без калош — не положены кадету, — да белых шитых перчатках? Где уж тут наслаждаться образами строгановского пошиба, копьями с Лютара, старинным изданием «Юности честного зеркала», булями да жакобами!.. А, чепуха! Молодой человек, кровь с молоком, не может коченеть, как кисейная барышня, в мягкой петербургской зиме. Я в его годы...» Но настроение было испорчено. И, купив всего лишь бюстик Сократа

па мраморной розетке и не обманывая себя насчет его художественной ценности — рыночный товар, но согодится в пару к бюстику Гёте, купленному ранее в некой иллюзии насчет промашки невежественного торговца, — Лесков покпнул галерею и вновь оказался па Невском.

Он пошел в сторону Анпчкова моста, тяжелее обычного опираясь о камышовую трость и прижимая к селезенке завернутого в розовую бумагу Сократа, и вскоре увидел на углу Невского и набережной Фоптапки крупную, осанистую фигуру Терпигорева-Атавы.

Могутен, избыточен слегка обрюзгшим телом был певец дворянского оскудения. А нарочито широкая, не мешающая размашистым движениям одежда еще более увеличивала место, занимаемое им в пространстве. Большое лицо с сильными, грубыми чертами, отнюдь не дворянскими, хоть и происходил пз тамбовского потомственного, а кучерскими, вполне гармонировало со статью.

Лесков любил Терпигорева, хотя и считал его сильно сродни Ноздреву. «Пустобрех всяя Руси» был столь же прпвержен Бахусу, как гоголевский герой, так же охоч до картишек и женского пола, так же безоглядно лез в спор и так же готов был загулять с кем попало. Но у Терпигорева в отличие от пустейшего Ноздрева был талант, и недюжинный. Его судьбу решила одна фраза Некрасова, обрпленная мимоходом в ответ на элегический взрыд Терпигорева, что упустил он себя, а сейчас поздно!.. «Почему же? — спросил Некрасов. — И по отаве трава растет». Он подарил Терпигореву внезапную надежду, веру в свои силы и несколько вычурный псевдоним. Очень скоро безвестный Терпигорев прогремел на всю Россию под пменем Атавы своими превосходными очерками.

«До чего же велика и неохватна русская литература, — внезапно умпллился Лесков, — еслп такой талант, как Терпигорев, не принимается в расчет вершителями литературных судеб! Да и сам он отнюдь не по-ноздревски, с трогательным смирением считает себя журналистом, а не художником слова. А ведь в первоклассных западных литературах автор под статью Терпигореву был бы ох как на виду! В Германии он наверняка памятника бы удостоился, во Франции стал бы одним из бессмертных, а в Англии — каким-нибудь бароном. Хорошо звучит: баронет Терпигорев или баронет Атава! И стоит этот несбывшийся баронет на углу Невского и, впчуть не сокрушаясь несоответствием своего дара с признанием, довольный собой, заведшмися свободными деньжонками и еще не отказавшим пиццедварением, прикидывает, где бы и с кем бы почесать языки за графинчиком холодной водки и острой закуской. Ах, русские, русские люди, неведомо для самих себя и не гордо несете вы в смутном существе своем громаду российских просторов, неохватную шпрь вскормившей вас земли. Потому все так крупно в вас: достоинства и пороки, талант и небрежение им, буйство ума и умственная лень, размах и щедрость...»

Терпигорев, озправпий Невский, прохожпх и эппажи, тоже приметил Лескова и не шагнул, а колыхнулся ему навстречу, родив ветер. Друзья сердечно поздоровались.

— Совершил обход гостинодворской сокровищницы? — сказал Терпигорев, увидев сверток в розовой бумаге. — Никак, зуб Бориса и Глеба отыскал? — захохотал он звучным, аппетитным хохотом.

Но Лесков даже не улыбнулся. Он не любил шуток над своими коллекциями и приобретениями, к тому же пребывал отнюдь не в смешливом настроении. Он насупил брови и опустил сверток в карман пальто, сразу некрасиво отвисший. Не дождавшись ответа, Атава расценил положение как угрожающее и прибег к безошибочному приему — сделал предметом насмешки самого себя.

— А я вот приобрел кое-что для своей библиотеки, — сказал он нарочито серьезным голосом. — Шато-Латур издания 1871 года. Не желаешь ли почитать?

Лесков ухмыльнулся. На полках «библиотеки» Атавы вместо книг стояли бутылки коллекционных вин.

— Как-нибудь в другой раз, — сказал Лесков. — Не в духах я нынче, Сергей Николаевич. Уязвлен многими бедами и несчастиями.

«А когда ты не уязвлен? — подумал Атава. — Сколько я тебя знаю, любезный друг, вечно ты уязвлен, отягощен, раздавлен и чуть ли не насмерть убит бесчисленными «вредами». Газетчики и критики, литературные друзья и недруги, домашние и близкие, кневская родня и родня кагарлыцкая, братья и старушка матушка, Лампадопосцев и Георгиевский, редакторы и цензоры, церковники и нигилисты, домовладельцы и прислуга, колывауские баропы и эзельские члены-советники купального комитета, женщины и дети — все сговорились довести твою большую печень до угрожающего раздутия, как у огорченного розгама налима в трактирном садке. Но ты все же справляешься, друг, и с настоящими, и с мнимыми напастьми. Объяснил бы мне лучше, как это, находясь в непрерывном борении с окружающими и видя сквозь увеличительное стекло все изъяны человеческих душ, создаешь ты своих праведников, подвижников, святых чудаков, чистых сердцем Голованов, Ахлок, Туберозовых, плодомасовских карликов? И богатырей земли русской, вроде очарованного странника Флягина или равеньского генерального Левши? И я, давно узнавший всему цену и за версту чующий малейшую фальшь, расчет, обман, подтасовку, разоруженный и растерянный, реву как белуга, над твоими вымыслами?»

Терпигорев знал, что Лесков ждет расспросов о своей кручине, и предсудомнительно помалкивал. Слушать о чужих горестях приятно, когда они не вымышлены. В противном случае ты понимаешь, что человек с жиру бесится, и тогда сочувствие — деланное — дается с мучительным трудом. А Терпигореву не хотелось утруждать себя в такой погожий, ласковый и, увы, прощальный летний денек.

Мимо прохромал чиновник в заношенном вицмундире и порыхлых стоптанных сапогах.

— Ишь, ленивая скотина! — вскользь бросил Лесков, провожая взглядом хромца. — В левом сапоге гвоздь вылез, так будет мучиться, стервец, а гвоздя не забьет.

— Господь с тобой, Николай Семенович! — даже несколько возмущился Терпигорев. — Впервые видишь человека и сразу осуждаешь. Может, он от роду калечный или на войне раненный.

— Ты это серьезно говоришь? — сверкнул глазами Лесков.

— Конечно, серьезно.

— И ты не видишь, как он ногу ставит? Прямо и ровно, а под укол сгибается. У калеки вся походка сбитая, по на свой лад привычная, устоявшаяся, а этот оборот только еще прилаживается к гвоздю.

Почему-то Терпигорев сразу поверил, что так оно и есть, и впервые не то чтобы с досадой или завистью, а с каким-то грустным удивлением подумал о том, насколько резко видят они с Лесковым окружающее. Вот он заметил хромца и беголо пожалел, а Лесков проглянул до гвоздя в сапоге и с тем открыл совсем иной душевный пейзаж прохожего. И сколько бы подобных разочтений обнаружилось у них, делись они наблюдениями над промельками уличной жизни! Но Терпигореву такие вот посылы из окружающего были вовсе без пользы, вся его литература строилась на осведомленности, на доскональном, точном, обширном и глубоком знании предмета. Творчества у него кошки на лизок. Лескову же достаточно малой вспышки, чтобы начать творить — не подобие действительности, а собственный мир, оваянный необъяснимой красотой. Он тоже знает жизнь, но главная его сила — мгновенно добраться до гвоздя в сапоге...

— Что-то лазурными гусарами запахло, — сказал Лесков.

Терпигорев диковато глянул на него. Каким бы пронзительным зрением ни обладал автор «Соборян», он все же не мог видеть спиной. А именно со спины Лескова подошел Коростенко, о котором поговаривали, что он служит в полиции. «Лазурными гусарами» с легкой руки Лескова называли в Петербурге жандармов — по небесно-голубому цвету мундиров. Неужели нюх Лескова был так же остер, как и зрение? Сам Терпигорев, сколько ни силится, не мог уловить никакой новой струи с появлением Коростенко. Все так же пахло рекой, нагретым камнем, конским навозом. Но Лесков утверждал, что после посещения Третьего отделения, куда его вызвали пять лет назад в связи с изобретенным им способом запечатывать письма, он чуть не целую неделю «вонял жандармом». Лескову показалось — не без оснований, — что его письма перлюстрируются. Тогда он заказал одному умельцу с Васильевского острова печатку с надписью: «Подлец не уважает чужих тайн» и стал ею — по сургучу — запечатывать свои письма. Чины «черного кабинета» оскорбились, и в результате Лескову пришлось наведаться на Гороховую. «Сил нет, — долго спустя жаловался писатель, — и в бане парился, и ванну хвойную что ни день принимаю, а все жандармом несет».

Терпигорев относил это за счет обычных лесковских преувеличений, того грандиозного вздора, до которого был люто охоч писатель. Да неужто сейчас на Лескова впрямь пахнуло полицейским участком? Быть того не может! Если уж припнуться к Коростенко, то почувешь раздушенного и напозаженного петербургского хлыща, а никак не полицейского. И все же Лесков угадал!

Коростенко поздоровался с развязно-пскательным видом человека, знающего, что его присутствие нежелательно. Лесков что-то буркнул в ответ, но не поклонился. Его сильное лицо напряглось и потемнело, и Терпигоров открыл в своем друге неожиданное сходство с Иваном Грозным. «Если бы ему похудеть, подсушиться, был бы вылитый Иван Васплевич!» — со вкусом решил Терпигоров.

Лесков был причастен к появлению Коростенко на окололитературном горизонте Петербурга. Мать этого молодого человека находилась в свойстве с популярным доктором Алферьевым, дядей Лескова, у которого будущий писатель нашел приют в счастливую киевскую пору своей жизни. Студентом Коростенко печатал стишки в обличительном духе, за что был выгнан из университета. Попытавшись жить от журналистики, он скоро понял, что фортуна надо ловить в столице, и прибыл в Петербург с рекомендательным письмом Алферьева к уже набравшему литературного веса племяннику. Лесков, и вообще-то охотно помогавший молодым, действовал тут с особой горячностью. Сохранив благодарное и недоброе воспоминание о гостеприимстве дядюшки, поселившего его во флигельке своего поместительного дома, но забывавшего приглашать к обеду, Лесков хотел сполна рассчитаться за приют, да и собственную гордыню потешить. Поэзии Коростенко он сочувствовать не мог, тем не менее открыл ему дорогу во многие газеты и журналы. Коростенко оказался человеком цепким, вскоре его уже знали и в Петербурге и в Москве. Особой популярностью он пользовался у студентов. Но ведь от стихов, к тому же обличительных, не построишь палат каменных, между тем с некоторых пор Коростенко стал жить более чем достаточно: квартиру изрядную у Пяти углов снял, обзавелся модным платьем, столовался в дорогих трактирах. И в обществе дружно заговорили, что он служит в полиции.

Будучи от природы человеком незлобивым, но из беспокойной породы остромыслов, Терпигоров не без удовольствия ждал и киселецкого и солененького от встречи Лескова со своим протеже.

Коростенко был очень высок и худ, с маленькой головой. Его фигура утончалась, уходила ввысь, как в перспективу. На лице не хватало кожи, и, улыбаясь, он обнажал весь оскал — нижние и верхние десны и два ряда частых, мелких, очень белых зубов. То и дело оскаливаясь, Коростенко поведал, что в подражание «высококочтиму иересиарху» Николаю Семеновичу он создает сейчас нечто в «божественном духе».

— Евангелие от Иуды, — мрачно уронил Лесков.

Терпигоров ухмыльнулся, довольный, что его ожидания начинают сбываться. Над бархатным воротником уходящего вверх узкого английского пальто Коростенко возник оскаленный череп и задержался в несмыкающейся судорожной усмешке.

Коростенко, видимо, ждал развития боевых действий, но почему-то очередного удара не последовало. Лесков насупился, притемнел, и Терпигорову почудилась в нем тайная лютая печаль. Он хотел было сам приняться за Коростенко, зная прекрасно, что человека, совершившего такую метаморфозу, все равно ничем не проймешь и

даже не обидишь, разве что слегка всполошишь чисто практической заботой: не помешает ли рассекреченность столь удачно начатой службе, — но Коростенко опередил его.

— Достославный муж Гатцук, — сказал он, ломаясь, — затеял серию литературных акафистов и привлек к сему мя, грешного. В великом сумлении пребываю, с кого начать, кто более других достославных возвысил на святой Руси наше дело.

— Ваше? — переспросил Лесков. — Фаддей Венедиктович Бугарин. С него и начинайте.

Терпигоров хрюкнул от удовольствия. Коростенко же поступил простейшим способом. Он изо всех сил замаха! пронесившейся мимо карете, будто увидел знакомое, и, буркнув: «Честь имею!» — кинулся вдогон журавлиным шагом.

— Интересный сюжетец, — сказал Терпигоров, — от обличительного стихотворца до полицейского агента.

— Сюжетец весьма пошлый, — откликнулся Лесков, и опять на собеседника пахнуло грустью и подавленностью. — Таких совместителей завались, и не только среди поэтов. Не задалась судьба, не пошло дело, где хочешь, в литературе, науке, журналистике, практической деятельности, капиталов нету, а жить хочется и бес тщеславия одолевает, чего же проще и удобнее — доносительство. Платят хорошо да и на всякие там грешки в либеральном роде сквозь пальцы смотрят. Кстати, вот тебе сюжет куда оригинальнее — из агентов в литературу.

— Нежизненно. А сколько, по-твоему, получает Коростенко?

— Булгарии и Греч подняли цену на литературный донос. Получает достаточно. Бог с ним... Пойду я, Сергей Николаич, — сказал Лесков с тяжелым вздохом и тем же выражением подавленности, что уже дважды было подмечено Терпигоровым. — До лучших дней.

Терпигоров задержал его руку.

— Здоров ли, Николай Семеныч? — спросил он участливо. — Какая хвороба тебя снедает?

— Телом я здоров, — угрюмо проговорил Лесков, — а духом сломлен. Сын у меня не удался. И нет ничего горше и язвительнее для родительского сердца — видеть, что твой единственный, в муках рожденный сын — дрянь и ничтожество.

Поразительное признание не сразу дошло до Терпигорова своей главной сутью в силу глубочайшего наслаждения — комического и психологического, — доставленного ему выражением «в муках рожденный». Это было так отменно по-лесковски, что у Терпигорова аж дух перешибло, словно на руки пришли одни козыри. Расставшись с матерью Дронушки, Лесков, видимо, лишил ее доли участия в создании сына. Это он сам, единолично, в муках рожал Дрона. Это его корчило на смятых простынях под жесткими и ловкими руками повитух. И Терпигоров мог бы поклясться, что, произнося слова о муках, оплативших появление на свет Дронушки, Лесков испытывал терзающие женские боли в крестце и чреве.

Пережив в себе чуть стыдную в данных обстоятельствах чисто художественную радость, Терпигоров вспомнил и о прекрасном

сыне Лескова, семнадцатилетнем Дроне, умном, ласковом, терпеливом, не по годам серьезном. Ему вроде и восьми не было, когда родители расстались. Едва шагнув в пору отрочества, Дронушка завалил на свои слабые плечи заботу о доме, об удобствах — и внешних и внутренних — отца-писателя. Поиск квартиры — у Лескова была страсть к перемене мест, — переговоры со швейцарями, дворниками, истопниками, непрошеными визитерами, улаживание неловкостей между отцом и матерью, а также дочерью Лескова от первого — скорбного — брака Верой, и от многих иных докук освободил Дронушка капризного, нетерпячего, безудержного и в гневе и в самозатянутых отца.

Он прекрасно учился, был примерного поведения, но стоило ему чуть уступиться — с кем не бывает? — как отец мгновенно отбрасывал остав мужского равенства и без малейших угрызений совести посылал кухарку в дворницкую за розгами. Но у мальчика было прекрасное сердце, и, хотя что-то там твердело, ссыхалось в забывании горькой и несправедливой обиды, он не переставал любить и даже жалеть отца. Поразительно было, с какой нарочитой жестокостью наносил Лесков удары по хрупкой психике молодого, доверчивого, не обросшего защитной коркой существа. Для своих самодурных опытов он выбирал непременно либо день ангела сына, либо какой-нибудь умилительный праздник, либо мгновения полной разоруженности юной души, безошибочно им угадываемой. А ведь он по-своему любил сына. Он, порвавший последние слабые связи с киевским кланом Лесковых, с дряхлой матерью, сестрами, вычеркнувший из души жалкую дочь Веру, обвинивший бывшую жену, мать Дронушки, в гибели своего семейного счастья, хотя не было сомнений, что погасил домашнюю лампу сам Николай Семенович, не терпящий никаких уз, обязательств, кроме велений творческого духа. Но и с единственной привязанностью к сыну что-то случилось, и здесь закрутило, закорчпло крутого человека. Неужели и деликатный Дронушка неведомо для себя встрял между Лесковым и письменным столом с побитым моллю, закапанном свечным воском и ламповым керосином старым зеленым сукпом? И понадобилось избавиться от него, вытолкнуть вон из внутренних пределов, чтобы там беспомешно гуляли умственные и духовные вихри.

«Черт бы побрал эти большие таланты!» — бесился про себя Терпигорев. Буревое, темное, непреклонное лицо Лескова делало безнадежными всякие попытки разубеждения.

— Опять в печенях припекает? — сказал без улыбки. — А я был бы счастлив, будь Дронушка моим сыном.

— Что ты знаешь о нем? — с невыразимой горечью сказал Лесков. — Ты видел сейчас этого бывшего молодого человека? Видел, какой дрянью вырастают забалованные сычки?

— Николай Семенович, опомнись, при чем тут Дрон? И чего ты равняешь своего парня со всякой мразью?

— Себя я должен казнить!.. Себя!.. — Лесков прижал крепкий кулак к полиловевшей рогатой вепе на виске.

Почему такие люди, как Лесков, вечно готовы казнить себя, по казнят других и обычно самых близких? Помолись, Дронушка, тебя ждут серьезные испытания. Так вот отчего туманился наш крутохват, когда тут терся Коростенко! Он Дронушку к нему примерял. Падо же!.. Неужто могут сочетаться в одном человеке такая прозорливость, что гвоздь в чужом сапоге видит, с такой слепотой к самому родному?..

Расстались писатели не то чтобы холодно, а как-то недоуменно, словно не понимая, почему вообще так долго пробыли вместе. Лесков, кинув трость вперед и опершись на нее, как на посох — Терпигореву сразу вспомнился посох, каким Иван Грозный поразил висок сына-царевича, — перешел Невский, а Терпигорев взял путь через Аничков мост к знаменитому трактиру Палкина.

От тяжелого неуютя и черных ветров, нагнанных крутым человеком, ему захотелось в тепло и приятельство, захотелось чего-то хорошего для себя. Удобно устроившись на мягком плюшевом диванчике в славно протопленном малом зале трактира, он заказал графинчик водки, зерпистой икры, балыка, уху с расстегаями и бараний бок с гречневой кашей. Музыкальный ящик тихо наигрывал «Не пробуждай воспоминаний», весело потрескивали сухие березовые дрова в камине, и калориферное тепло казалось родившимся от живого, яркого огня. Многие посетители кланялись Терпигореву, другие отзывались на присутствие известного, но лично незнакомого писателя лестным округлением глаз. Хорошо все-таки, что он поверил Некрасову и вновь взялся за перо, выпавшее было из потерявшей уверенность руки. Зазеленела молодая трава по выкошенному полю. И тут из голубоватого табачного воздуха будто выплыл тревожный и грозный всевидением, всеслышанием, произволом чувств, страшный и неподсудный образ злого колдуна-медууста, и меланхолически вздохнула душа: да, растет трава по отаве, только какая это трава!..

Лесков вернулся домой, и первое огорчение постигло его прямо на пороге. Прихожая тонула в клубах кухонного дыма. Это вообще-то удобная, славная квартирка отличалась одним недостатком — даже при открытых в кухне окнах смрад и чад проникали в прихожую, а оттуда разносились по комнатам. Прихожая словно вытягивала, высасывала из кухни все миазмы. Приходилось отпахивать на ширину медной цепочки входную дверь, чтобы гастрономический дурман утекал в лестничную клетку.

Огорчение Лескова было вызвано не привычным чадом, а тем, что он крепко отдавал жареными куропатками. Ничто так не любил знающий толк в яствах писатель, как жареных серых куропаток. Он предпочитал их не только грубоватым тетеркам или изысканным с пригоречью рябчикам, но и нежнейшим, тающим во рту кроншнепам и гаршнепам. Кухарка знала его слабость и частенько с отменным искусством готовила куропаток в сметане, с мелко наструганным, жареным в масле картофелем. Особенно часто замачивное блюдо стало подаваться на стол в последнее время, когда он громкогласно заявил, что грешно и гадко есть убойну. Не из угождения

кумиру своему Толстому решил он отказаться от рыбы и мяса, просто не мог дробить зубами плоть и кости созданий божьих. Ну если оставаться до конца честным, отвращение его к мясной пище было пока еще скорее духовного, нежели физического толка. И кухарка, будто нарочно, подвергала его решимость, не поднявшуюся до фанатизма, чудовищным испытаниям. Он устоял вчера перед аппетитными свинными голяшками с гороховым пюре и хреном, перетертым со свеклой, хотя желудок плотоядно бурлил соками, и, давясь, поел творога с овощами, а сегодня чертова баба пострашнее придумала пытку. Сквозь густой, пьянящий аромат дичи он пронюхал и другой запах, ранее павестивший прихожую, — жареной телятины. Стало быть, на закуску подадут холодную телятину в коричневом дрожачем желе. Ах, канальство! Человек суеверный мог бы подумать, что кухарка подслана вражьей силой, дабы помешать спасению прозревшей истину души.

— Дядя, а к тебе гость пришел, — послышался голос сиротки.

Лесков вздрогнул. Слово «гость» в невинных устах малютки могло означать кого угодно — от нищего до ближайшего родственника, только не того единственного визитера, которого ждал Лесков со всем терпением гнева. О Дроне сиротка, как-то недобро выделяла его среди всех, говорила Лескову «твой».

Гость и сам объявился в прихожей, то был Николай Петрович Крохин, просто Петрович, муж младшей сестры, умственная и душевная скудость которой искупалась — частично — обезоруживающей детскостью и наивностью. К сестре Лесков был списходительно прохладен, а вот мужа ее, скромного акцизного чиновника, привечал из всей родни.

А между тем не было на свете столь противоположных натур, как страстный, гневливый, причудливый фантазер Лесков и тихий, застегнутый снаружи на все пуговицы, а внутри добрейший сборщик неокладных налогов. Впрочем, чему тут удивляться? Антиподы всегда легко сходятся и уживаются, нежели скроенные по одной мерке, — угол не ударяется об угол, а находит спасительный паз.

Несмотря на испытанное разочарование, уж больно не терпелось сорвать сердце, Лесков почти обрадовался зятю. Будет и отдушина для гнева, и сотрапезник, ежели грешный сын не явится в пустой и глупой надежде избежать заслуженной кары. Да и не жалко скормить милому Петровичу всю запретную благодать — телятину в желе и жареных птичек.

— Хорошо, что заглянул, Петрович, — ласково сказал Лесков. — Неважнецкие у нас дела, брат.

— А Дронюшка где? — сразу попал в цель Крохин.

Лесков не ответил, только махнул рукой...

Меж тем виновник терзаний крутого человека, не ведая беды, счастливый и радостный, мчался к отцу, чтобы поделиться своей великой удачей. Но не будем заниматься пересказом того, что навечно врезалось в мозг и сердце Андрея Николаевича Лескова и через полстолетия было вверено бумаге с исчерпывающей полнотой и точностью ничего не забывшей и едва ли простившей памяти.

«В 1885 году на выпускных экзаменах я потерпел неудачу. Чтобы сберечь год и успеть попасть затем в какое-нибудь высшее учебное заведение, я решил держать их снова осенью...

31 августа, в первом часу дня, «на крыльях радости», точнее, на хорошем извозчике, поощренном обещанием лишнего двугривенного, я примчался на Сергиевскую и, пулей влетев в отцовский кабинет, не поздоровавшись толком с оказавшимся почему-то здесь же Крозиным, торжественно положил перед отцом только что выданный мне желанный аттестат от 29 августа за № 1583. Им удостоверялась моя среднеобразовательная зрелость и подготовленность к постижению дальнейшей учености.

С первого взгляда я понял, что отец встал сегодня «под низким барометрическим давлением»... Пробежав свидетельство с подробным перечнем баллов, полученных мною по всем предметам, он пренебрежительно бросил его в сторону и, вознив в меня гневом зажегшийся взгляд, жестко произнес:

— Ну и куда же ты теперь с этим сунешься?

Как ушатом ледяной воды, смыло с меня всю радость, наша столбняк.

— Я спрашиваю тебя,— продолжал отец,— что с этим делать дальше? На что оно годится? Куда сейчас с ним идти?

— Как куда? — едва приходя в себя, заговорил я.— Этот аттестат открывает мне все двери. Он дает мне право на поступление в высшие гражданские институты, в Лесной, Петровско-Разумовское в Москве, в высшие военные училища, позволяет быть допущенным к конкурсным испытаниям в специальные технические институты исключительно по одним математическим предметам.

— Я этого не вижу!

— Николай Петрович,— умоляюще повернулся я к Крозину,— прочтите, пожалуйста, то, чего не видит здесь мой отец.

— Я вижу то, что мне надо видеть, и с меня этого довольно! Куда тебя примут с этим сию минуту?

Я начал перечислять институты.

— Там экзамены уже в разгаре, и тебя там ждать не собираются.

— Тогда буду держать в будущем году.

— Это значит еще целый год болтаться без дела?

— Но ведь туда же иногда держат по нескольку раз!

— Я этого не допущу. Найди себе немедленный выход.

— В таком случае в Константиновское, в Николаевское кавалерийское...

— Это еще что за пошлость! Чтобы твоя драгунская лошадь... мои горбом заработанные деньги? — на лету подхватил он последнее, пропуская мимо ушей все остальное.— Ты упустил время. Сейчас везде все вакансии уже заняты, и ты везде останешься за бортом!

— Вы глубоко ошибаетесь. Довольно вам проехать в Главное управление военно-учебных заведений, и по вашему прошению я буду принят немедленно, так как занятия еще не начались, а неко-

горое количество вакансий всегда имеется в распоряжении этого управления.

— Куда это еще и зачем я должен ехать! Перед кем это унижаться? Кого просить? В твои годы я сам пробивал себе путь лбом, а не отцовскими хлопотами. Довольно! Я вижу положение всех вернее: тебе осталась одна дорога, единственная, которая подбирает всякую дрянь,— в солдаты! Но этого я видеть не могу и не желаю. Ты поедешь в Киев, к дяде Алексею Семеновичу, и пусть он там тебя обряжает в достойный тебя убор. Но, повторяю, мне это видеть мерзко и не полезно моему здоровью и духу. Собирайся и отправляйся!..»

Повесив голову, Дрон вышел.

— Что скажешь? — Лесков повернул к зятю красное, с раздувшимися на висках и высоком лбу венами, бодрое, почти веселое лицо.

«Неужели он актерствовал? — с тоской подумал Крохин.— Да нет! Это у него искренне... боевой подъем духа».

— Князь тьмы Талейран говорил: бойтесь своих первых движений — они самые благородные.

— Экий человекознатец! — восхитился Лесков.— В самую точку!..— Но уже в следующее мгновение он диковато покосился на Крохина, словно усомнился, что тот действительно произнес эту фразу, ведь Петрович ничего не читал, кроме «Нивы», а там едва ли встретишь высказывания Талейрана. Да и привел его Крохин вроде бы ни к селу ни к городу.

Но Крохин решил удивить его еще больше:

— Тебе много опасаться надо, Николай Семенович, у тебя первое движение — самое ужасное.

И снова удивление пересилило в душе Лескова всякие другие, более естественные для него чувства. Вместо того, чтобы осадить зарвавшегося родственника, он сказал с усталым вздохом:

— Что ж... Всяк своему праву работает...

Но быстро справился с внезапной слабостью.

— А с чего ты взял, что это первое мое движение? — сказал он опасным голосом.

— А-а!..— вроде не очень удивился Крохин.— Стало быть, все заранее решено было. И Дропушка зря тут распинался... Грустно это, Николай Семенович, ох как грустно!

— Ну, не твоей дряблой добротой меня судить! — воскликнул Лесков.

Николай Семенович видел в Крохине лишь расслабленную, а потому и малоценную доброту, опирающуюся на крайнюю ограниченность. Доброты — врожденной и неколебимой — было и в самом деле хоть отбавляй. Но этим не исчерпывалась сущность Николая Петровича Крохина. Был еще ум — негрисстый, с лендой, но прочный и ясный русский ум, сообщавший поведению сборщика налогов никому не ведомое величие, ибо он все знал про окружающих. Он знал курпную глупость и беспомощность своей жены Ольги Семеновны,

но, жалеючи, списывал ей все промашки, неловкости, бестактности, обиды, и неприятная семейная жизнь их была счастливой. Он приехал в Петербург, исполненный безмерного преклонения перед своим знаменитым зятем, и, познакомившись с ним, ничего не утратил в своем высоком отношении, хотя и сделал одно удивительное открытие: кое в чем, например в оценке близких людей и многих бытовых обстоятельств, тот недалеко ушел от своей малоумной сестры. Крохин, как и большинство нелитературных людей, наивно полагал, что писатели — величайшие человекознатцы. Читая Лескова, он восхищался не только красотой, картинностью описаний, но и тем, что тот все про всех понимает. А познакомившись ближе, обнаружил, что волшебник слова даже про своих домашних понимает все вкривь и вкось. Страстное, «печеночное» отношение к людям закрывало истину. Случались, разумеется, ошеломляющие прозрения, открытия, непостижимые угадки, но то были лишь яркие вспышки в густом тумане, заволакивающем дневное зрение души. Оказывается, писатели знают придуманных ими людей и все понимают про них, тонко выводят каждый внутренний ход, определяющий тот или иной поступок, а в окружающих — живых, дышащих, томящихся, смеющихся, горящих, радующихся, рассеянных, добрых, страдающих мигренью и несварением желудка людях — могут ничегошеньки не понимать. Слепота Лескова объяснялась, конечно, не глупостью, но, коли тебя вечно «ведет и корчит», откуда взяться спокойной и трезвой оценке?..

И Крохин стал жалеть гениального зятя почти так же, как и недалекую жену. В мягком климате его доброты и Ольга Семеновна казалась не глупее людей, и зять иной раз отбрасывал свое зломнительство, заставлявшее его в великой скорби восклицать по Иисусу: «Враги человеку — домашние его!» Но было в Крохине то умное смирение, что предохраняло его от губительных попыток спий своей доброты и ясновидения изменить ущербную суть одной и мучительную суть другого. Он знал, что, кроме беды и крушения, с трудом созданного равновесия, ничего из этого не выйдет. Оставалось жалеть, умиляться, поддакивать, иногда молчать.

Но сегодня он впервые не мог ни поддакивать, ни просто молчать. Жалость к юноше пересилила жалость к слепому отцу. Все разрушил этот человек вокруг себя — прочное семейное здание заменил карточным домиком с придуманной сироткой, но оставил ему господь в неисчерпаемой доброте своей среди всех мнимостей одну истинную ценность — благородного, умного, доброго сына. И с ним он разделался беспощадно. А за какие, спрашивается, грехи? На экзаменах провалился — с кем не бывало? Да и выдержал он нынче эти проклятые экзамены, аттестат получил. Танцевать любит? Тоже преступление! Сам нешто не отплясывал с девками на венской площади? Да что там танцы! А кто в Киеве, на Андреевском спуске, с саперными юнкерами в кровь дрался? Не из сплетен знал об этом Николай Петровиц. Сам Лесков в некий добрый час, подкрепившись за ужином густым и пряным самосским вином, умиленно вспоминал о горячих днях своей юности, а потом добавил с улыбкой: «Иной

раз обожрешься журнальной руганью и думаешь: чем на бумаге сквернословить, дал бы я Буренпну и ниже с ним по ремню с медной пряжкой, сам бы оплед десницу сыромятной кожей. А ну, выходи, кто кого? Покажи, чего стоишь! Руби в песи, круши в хузары! Ух, хорошо!» — И, схватив камышовую трость, принялся со свистом рассекать воздух, и лицо у него стало молодое и отчаянное, как в далекие киевские дни.

Впервые осмелился Николай Петрович выразить неодобрение поступку Лескова. Он думал, что скорый на расправу шурип попросту выставит его за дверь, но у того, видать, были иные намерения. Вообще-то не слишком нуждающийся в одобрении окружающих, он почему-то на этот раз хотел склонить зятя к моральному соучастию в учиненной расправе над сыном. Так, во всяком случае, распенил его околичности Крохин. И когда возникла пауза, он сказал с тихим упорством:

— Уволь, Николай Семеныч, чужому человеку печего меж отцом и сыном встревать.

— «Встревать»? — гневно повторил Лесков. — Кто тебя просит встревать?.. Ты рядом стой, со мной рядом.

— Уволь... — пробормотал Крохин.

Окажись в Лескове раскаяние, боль, он бы немедленно пожалел его своим большим и тихим сердцем, но тот, похоже, не только не раскаивался, а торжествовал, будто подвиг какой совершил. Мелькнувшая было в нем грусть истаяла без следа. Не оправдания, не одобрения ждал старый печенег, а восхищения своей лютостью.

— Да что ты заладил «уволь», «уволь»!.. Не уволю! — зять попробовал бунтовать, а всякий бунт следует подавлять в зародыше. — Вот что, завтра ты сам отправишь его в Киев.

— Господь с тобой!.. — через силу прошептал Крохин. — Подумал бы...

Глаза Лескова метнули черное пламя.

— Из Ура Халдейского в Месопотамню посылаю я пегодного сына к дяде его Левану, ибо забаловался он и обманывал меня, облакался шкурой козьею, — произнес он со смаком.

«Все кончено, — подумал Крохин. — Для дикого и несообразного поступка уже найдена библейская формула. Слабому зрению, по твердому нравом Исааку уподобил себя безжалостный отец. Бедный, бедный Дронущка!»

— Ну, я пошел, — сказал он, подымаясь.

— Оставайся, пообедаем. Предложу тебе тельца упитанного, хотя сам от него вкушать не стапу, ибо не приемлю в пищу трупов.

— Не могу. Жена ждет.

— Ах ты фетюк! — рассвирепел Лесков, не знавший для мужчин более зазорного слова.

Но с Крохина обидное прозвище стекло как с гуся вода.

— Одинок тебе будет, Николай Семеныч, — сказал он, подвигаясь к двери. — Ах как одиноко!

— Доколе у моего тепла сиротка обогревается, и на меня теплом

воя... — начал в тоне проповеди Лесков и вдруг спохватился, что принимает собственный подвиг: — Думал ли ты, Петрович, что испытывал он, — короткий кивок на аляповатую икону, где на тропе небесном в курчавых барашках облаков восседал бог-отец, — когда обрекал сына на смертную муку? Но ведь он знал, что, пройдя искусы, испив до дна чашу, сын вознесется и обретет место одесную него. Я же и такого утешения не жду, да и не желаю... Один?.. Да, один. Даже без согревающей памяти! — И Лесков снова метнул горделивый взор на Саваофа.

«Вот оно что! Да он с господом богом соперничает! — осенило Крохина, и мурашки забегали у него по спине. — Уноси ноги, Петрович, не для тебя такие игры!» — И с невольным восхищением и ужасом оглянул он тучную, но крепкую, литую, с крутой соколиной грудью, борцовую фигуру Лескова. Да, окажись он на месте сына Исаакова, схватившегося в темноте то ли с ангелом господним, то ли с самим господом богом — в библейской мути пойдя разберись! — неизвестно еще, кто бы кому вывернул бедро.

И Крохин без оглядки кипулся прочь...

Обедал Лесков в одиночестве. Дрон не вышел к столу, а распорядиться о приборе для сиротки — девочка частенько разделяла трапезу «дяди», а подавала на стол ее мать — за всеми бурными событиями он как-то забыл. Николай Семенович успешно противоборствовал князю тьмы — не Талейрану, возведенному в этот сан семинарским остроумием Крохина, а извечному врагу человеческому, — за роскошным блюдом холодной телятины и кусочка не попробовал, удовлетворился легким, тающим во рту желе, начисто освободив память о его мясном происхождении, а вот с куропатками казус вышел. Нечистый, несомненно, имел в союзниках кухарку, которая так расстаралась, негодница, что превзошла самое себя. А вот кто взял в союзники самого князя тьмы?.. Лесков метнул быстрый взгляд в сторону аляповатой иконы. Смуглое лицо бога-отца было, по обыкновению, непроницаемо и невыразительно, и все же... Лесков усмехнулся.

Аромат жареных золотистых куропаток дурманял сознание. От него некуда было деться. Им пропиталась вся атмосфера столовой, и сама душа Лескова запахла жареными куропатками. «Ты не сокрушил моего духа и хочешь осилить плоть?» — яростно думал Лесков, изнемогая в жестокой борьбе. Силы были неравны, по одну сторону Лесков и граф Лев Николаевич Толстой, по другую — бог, сатана и кухарка. Численное превосходство обычно решает исход сражения...

Если уж падать, так в пропасть, а не в сточную канаву — он очистил все блюдо, шесть птичек умял прямо с косточками, хрустко прожаренными, оставив на тарелке лишь треугольнички грудных костей. И залил птичек бутылкой подогретого, дабы букет сильнее чувствовался, старого бордо. А потом на десерт налег и на любимое самосское вино.

Конечно, расплата не заставила себя ждать. Послеобеденный сон был тяжел, густ, приторен, как старое самосское, и срамен, соп, до-

стойный молодого монашка, а не мужа, отягощенного годами и мудростью.

Послышался тихий шорох.

— Это ты, маленькая? — ласково сказал Лесков и, наугад выбросив руку, поймал тонкое пястье не сиротки богоданной, а ее матери, горничной Кетти. «Какая нежная и породистая рука у дочери перновского домовладельца!» — в который раз удивился Лесков.

Ох, грех наши тяжкие!

«До чего распустилась! — сердито думал Лесков, когда дверь кабинета бесшумно притворилась за Кетти. — Лезет сюда без спроса, словно я кум-пожарный или brave денщик генерала Шпицберга. Надо будет подыскать другую прислугу. Жалко, что Дрон уезжает, он бы этим занялся. А сиротку я оставляю, взяв у матери расписку, что не будет вмешиваться в ее воспитание. Ну, увидеться раз в месяц — куда ни шло, все-таки мать... Но частое общение с такой особой не может быть полезным для дитяти...»

Потом он долго плескался в ванной комнате, окатывался ледяной водой, растирался одеколоном и махровым полотенцем и вышел посвежевшим, бодрым, внутренне упругим. Пока он мылся, над городом прошла короткая гроза, и стало легко дышать. Лиловатый сумрак, выплывающий из Таврических куц, окутывал город. В стороне залива дотлевал огнистый закат. На улице было тихо, так же тихо было и в доме. Приближался заветный час. Лесков задернул шторы в кабинете, оставив открытым одно окно. Оттуда тянуло прохладой реки и дождя.

Он зажег два пятисвечника на письменном столе, очинил гусиное перо.

— Господи! — сказал он всей душою, глянув в темный угол на незримый, лишь угадываемый лик, и осенил себя широким крестом, словно богомаз Северьяныч, приступающий к новой доске. — Не оставь!..

Потрескивали и оплавливались свечи в медных подсвечниках. Расщепившийся с первым же нажимом кончик пера побрызгивал чернилами, но другого не было, а металлические, скребучие, мертвые перышки Лесков не признавал. Внешняя неопрятность не мешала словам ложиться ровно в борозду. Душа напряглась и выражала себя без околичностей, объяв собой всех одиноких, непонятых, загнанных, беспомощных, заплутавшихся между земной юдолью и царствием небесным.

В соседней комнате семнадцатилетний Дрон, сданный отцом в солдаты, глотал слезы, укоряя себя: ты же мужчина, ты воин, ты не смеешь плакать! Но слезы вскипали вновь и вновь — не от предстоящей солдатчины, а от жгучей несправедливости, учиненной над ним отцом.

Несомненно, Лесков был бы крайне удивлен, если б ему сказал сейчас, что по его вине может страдать человеческое существо. Исполненный великой, заливающей сердце любви ко всем малым и сирым, он самозабвенно творил святое дело русского писателя.

Что же, значит, мимо скользнул и канул прожитый день? Нет! Все, чем он был наполнен: Дронушкина участь, умирающий изограф, беспокойные глаза сиротки, цезарийская обрюзглость Терпигорева, гадкое видение Коростенко, бунт Крохина, грозные куропатки, легкость Кеттиной руки, стыд, недовольство собой и злая вера в себя, терзания и муки, все, все входило в делание за письменным столом, но преображенное, вознесенное в ранг высшей жизни, справедливости, сострадания, доброты. Тяжки, корявы, неотесаны, грязны камни, взятые для постройки, высоко, воздушно и кружевно сложенное из них здание.

И еще долго, до самой зари, горели свечи в окошке на Сергиевской улице, что не на самом краю, но и не в центре Петербурга, и там, у этого неяркого света, в который раз и все равно наперво могучая творческая сила создавала мир, ничуть не уступающий богу.

Считается, что в тот далекий день Лесков дал русской армии отличного штабного офицера, выросшего в крупного военного специалиста, но лишил русскую литературу первоклассного писателя. Единственная, посмертно изданная книга Андрея Николаевича Лескова — об отце — убеждает, что врожденным даром затейливого, сладко-горького русского сказа был он под стать самому «мудрому мастеру хитростного искусства слова».

Но может ли свободный человек пройти мимо своей сути и судьбы, не стать тем, кем он должен бы стать по очевидным дарованиям? Думается, нет. Скорей всего Андрей Николаевич не дал волю своей подспудной литературности, справедливо посчитав ее «даром напрасным и случайным». И снимем с души Лескова грех, тревожно ощущавшийся им самим, когда он на склоне лет настойчиво и жалко пытался вложить перо в твердую офицерскую руку вполне созревшего и сделавшего окончательный выбор сына.

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ



Учитель словесности Елецкой мужской гимназии Варсанофьев ждал гостя. И хотя гость был не столь уж важный — второклассник, подросток лет двенадцати, — учитель не на шутку волновался. Дело было не только в том, что ему, сыну сельского запойного дьячка, трудно давалось общение с «белой костью», заносчивыми барчуками, детьми промотавшихся подстепных помещиков, гордящихся былым величием захудалых родов, но и потому, что он хотел представить на суд этого гимназиста свое новое литературное произведение — рассказ «с направлением» из крестьянской жизни. Учитель словесности писал давно и упорно, посылал повести, рассказы, очерки в разные журналы, газеты и альманахи, в том числе столичные, и уже не-

сколько раз сподобился впдеть свое имя в печать. Два его рассказа появились в «Русском богатстве» и три-четыре на страницах провинциальных изданий. Это давало известное удовлетворение, а главное — надежду, что он «выпишется» в настоящего писателя и навсегда порвет с рутинной провинциальной гимназии, где впустую расходует силы на равнодушных, тупо-насмешливых недорослей. Уж если начистоту, то надежда преобладала над удовлетворением, которым одарили его немногочисленные публикации. Пуды бумаги и ведра чернил извел трудолюбивый, усидчивый сын дьячка, без счета затушил перьев, а результат оставался мизерным. Зато сколько пустого, томительного ожидания, сколько косых улыбок на почте, когда он задавал свой пензенный вопрос: «А мне ничего нет?» Ответы приходили редко, чаще они появлялись на специальной страничке газеты или тонкого журнала — в издевательско-грубой форме, словно человек не рассказ или очерк прислал, а тягчайшее перед нравственностью совершил преступление. Наверное, этот лошадиный юмор доставлял удовольствие тем подписчикам, которые не пробовали сил в литературе. Из солидных, толстых журналов приходили ответы, порой весьма обстоятельные, случалось, и рукописи назад возвращали. И трудно сказать, что большее било по сердцу: публичное плоское поношение (он печатался под псевдонимом, но от свопх, елецких, не скроешься), умелый, дотошный (всегда несправедливый) разнос в письме, возвращение рукописи с убийственной припиской: «Не подходит» — или просто исчезновение ее в редакционных недрах. Последнее дарило сладким и страшным мучительством: он верил, долго и страстно верил, что рукопись понравилась и вот-вот появится, покупал номер за номером ту газету, тот журнал, куда послал свою вещь, и, вдыхая керосиновый запах свежей типографской краски, жадно искал свое имя, не находил, дергал носом, сморкался в большой клетчатый фуляр и начал снова ждать и надеяться. Кончалось же все небольшим — дня на три-четыре — запоем. Но бывали же, бывали случаи, когда свинцовую безнадежность прорезал яркий луч солнца и вместо насмешек, сухого отказа, молчания он получал свое напечатанное произведение. И тогда отпуская в груди, будто разжимался какой-то внутренний сдвиг вроде судороги, и прояснившимся взглядом видел он, что его проза достойно соседствует с прозой других авторов, порой весьма известных и чтимых на Руси, и что он, учителяшка из захолустного Ельца, ничуть не уступает настоящим литераторам. Все дело в том, что они там, рядом, а он далеко, у них связи, знакомства, репутация, а его бедные творения беззащитны, за ними нет ровным счетом ничего, кроме отпущенного ему природой дарования, подкрепленного редким прилежанием, да верно избранного направления. Будь он поближе к тем местам, где делается литература, он, конечно, давно бы составил себе имя, но для этого надо, чтобы тобой заинтересовались столичные критики, иначе протянешь ноги и в богатом Петербурге, и в хлбосольной Москве.

Но замечен и назван в перечне молодых литераторов «с направлением» он был лишь однажды критиком солидного журнала «На-

блюдатель». Варсанюфьев высоко ставил эту похвалу, относящуюся к тому, что он почитал главнейшим в литературе, и, наоборот, не понимал, когда в письмах-отказах его обвиняли в недостатке художественности. А что такое художественность? Это когда красиво переживают и красиво разговаривают люди, не ведавшие нужды, и очень много описаний природы. Писарев, властитель дум, самого Пушкина за такую литературу вон как оттрепал, все лучшие читатели, и в первую очередь молодежь, враз от бывшего кумира отвернулись. Участь Пушкина предостерегала.

Нет, он на верной дороге. Рано или поздно столбовая эта дорога приведет его на Парнас российской словесности, да уж больно долог, нетерен и одинокий путь! Не с кем поделиться, посоветоваться. Был он тут в городе всем чужой, снимал комнату у богатой, глухой и гугнивой мещанки, вдовы акцизного, друзей, даже просто знакомых не завел. Его коллеги-учителя ничем, кроме водки и карт, не интересовались, ничего не читали да и относились к дьячкову сыну, мучающему себя литературой, глумливо-пренебрежительно. Им, замшелым, тупым обывателям, наплевать было на страдания народа, на вопросы. Он и не пытался их разговорить, растормошить, вовлечь в круг своих интересов, ничего, кроме доноса по начальству, из подобных попыток выйти не могло. А в собутыльщиках он не нуждался, привыкнув выпивать в одиночку, карты же в руки не брал.

Не лучше были и ученики. Одни строили из себя аристократов, даже какой-то дворянский клуб учредили, другие им остро завидовали, третьи пребывали в нетревожном младенческом идиотизме, противоречащем крепкой стати и всей рано вызревшей мужественности: темному пушку на верхней губе и по челюсти, ломающемуся голосу, грубым мослам; были и просто тихие, пришибленные мальчишки, так и не пережившие разлуки с теплым родительским гнездом; грязно-ярким пятном выделялись драгуны из местных, литой купеческой стати; остальные, вовсе лишенные образа, сплывались в бесформенную, тусклую массу. И все это, такие разные гимназисты, подобно своим наставникам, ничего не читали. Даже удивительно было, что молодое поколение страны, создавшей едва ли не величайшую литературу века, так равнодушно к книгам. Конечно, иные из них абонировались в школьной библиотеке, но привлекало их лишь развлекательное чтение. Классиков не спрашивали, из русских авторов предпочитали графа Салиаса, из иностранных — Габорно. Исключение являл один второклассник, бравший в библиотеке хорошие книги, преимущественно поэтические сборники. Варсанюфьев давно приметил этого ученика, отличавшегося изумительной памятью на стихи — он запоминал стихотворение с первочтения — и несомненным интересом к его предмету. Мальчик слушал внимательно, всегда готов был к ответу, но почему-то никогда не задавал вопросов. Впрочем, это можно отнести на счет его чрезвычайной сдержанности, проявлявшейся и в отношениях с товарищами. В рекреации он всегда держался особняком, не ходил в обнимку с приятелями, не участвовал в драках и тайных конфузливых перешептываниях, его не ловили в уборной в компании курильщиков. Ничем

вроде бы не утвердив себя среди сверстников, он выгадал у них право на обособленность: его не замешивали в молодецкую возню, не задевали, не пытались разыграть или высмеять. Все это разглядел цепким писательским глазом Варсанофьев, как только угадал в ученике родственную кровь.

Помог этой угадке случай. Однажды во время урока математики, когда учитель, бойко стуча мелом, писал на доске условие задачи, заглянувший в класс директор обнаружил, что гимназист на последней парте упоенно читает толстую книгу, к математике явно не относящуюся. Директор ворвался в класс: «Пошел в угол до конца урока!» — «Вы не смеете на меня кричать, — побледнев природно смуглым лицом, произнес ученик. — И потрудитесь говорить мне «вы», я не мальчик». Взбешенный директор схватил с парты книгу (то была «Одиссея»), и оттуда выпал листок с начатыми стихами. Юного поэта едва не исключили из гимназии. Отец примчался с далекого подстепного хутора уламывать разгневанного директора...

Варсанофьеву понравился поступок ученика, потому что и себя он считал человеком гордым и независимым. Ему было чем гордиться: как-никак сбежал из бурсы, порвал с домом, с церковной средой, без всякой помощи, собственными силенками пробился к университетской учености, стал педагогом и литератором. Но сознание себя незаурядной, творческой личностью уживалось в нем с внешней приниженностью, вернее сказать, с робостью, застенчивостью, отчетливым желанием, чтобы его оставили в покое. Он горбился и, казалось, постоянно что-то выискивал на полу близоруко щурящимися глазами, вздрагивал, когда к нему обращались. Такой поведением не завоеуешь авторитета. И желчный директор, и добродушный инспектор держались с ним небрежно, хотя и ценили как знающего педагога. Но этот тихоня и скромник умел держать класс лучше, нежели иные гимназические тираны. Он ничему и никому не спускал, единицы и двойки так и сыпались с кончика его пера, и тут он действовал столь неуклонно и беспощадно, что оторопь брала разболтанных, дерзких, но в общем-то добродушных оболтусов. Почти все знали предмет плохо, но послушные ученики выезжали на спасительной троечке, а нарушителей порядка Варсанофьев резал. И если каждый готов был за дурное поведение на уроке протомиться в углу, отклоняться в коридоре, остаться без обеда, то никому не хотелось за пущенного к потолку чертика, игру в перышки, подсазку или другую мелкую провинность расплачиваться матрикулом. Ведь за этим следовала домашняя казнь, пострашнее всего того, что могут придумать учителя. Варсанофьева раз и навсегда вычеркнули из числа учителей, с которыми можно «позволить». Конечно, его не любили, но про себя. Варсанофьев, в свою очередь, не любил гимназистов. Он и вообще не испытывал любви к реальным, из плоти и крови людям. Он любил тех людей, которых создавал на бумаге, но не за них самих, а потому что они представляли несметную рать страдальцев.

Разумеется, Варсанофьев, зрелый муж и литератор, не мог видеть коллег в мальчишке, балующемся стишками, но все же оба

кадили одному божеству, и это помогло учителю, изнемогавшему без живого, слышащего уха — коли нету в забытом богом Ельце чуткого слышащего сердца, — превозмочь самолюбивую робость, неистребимую бурсадскую неуклюжесть и довольно ловко, в правильном сочетании любезности и взрослой снисходительности, с не лишенным юмора намеком на их общее служение музам, пригласить мальчишку к себе на литературное чтение. И стройный, худенький гимназист, от тонкой южной красоты которого тянуло не жаром, а ледком, так гордо и замкнуто было его смугловатое лицо, так отстраняющ твердый взгляд синих глаз, казавшихся черными от зрачков и тени ресниц, согласился неожиданно просто, и если без особого восторга, то, несомненно, с пониманием оказанного доверия. Не полагалось гимназистам ходить в гости к учителям, да и зачем, спрашивается, — водку пить, в картишки резаться?..

И сейчас Варсанюфьев нетерпеливо поджидал гостя, которого уже не мог воспринимать как недоросля, школяра, ибо собственным доверием возвел его в ранг то ли наперсника, то ли судьи. В давние бурсадские годы поверял он по ночам одному другу первые, незрелые стихотворные опыты в жалобном духе поэта-прасола Кольцова, но с тех пор утекло много воды, и он окончательно забросил поэзию, в которой ему было тесно, как в одежде, из которой вырос. Свои прозаические произведения он читал вслух самому себе не наслаждения ради, а для критической оценки — на слух лучше ощущалось, что вышло и что не вышло, что нашло выражение в слове и что словом застится. Он читал и правил, и постепенно у него выработался навык неспешного, внятного, в меру выразительного, с ненавязчивой интонацией чтения.

И все-таки он волновался. В его жизнь вступало нечто новое, призванное им самим, но последнее не обеспечивало безопасности: чем еще обернется эта попытка нарушить тишину добровольного да и вынужденного одиночества? И как обходиться с этим баричем, хотя и не вступившим по младости лет в дворянский гимназический клуб, но таящим в темных глазах, замкнутом лице и горделивом поставе небольшой красивой головы сословную спесь, хоть и без вульгарности иных его одноклассников? В стенах гимназии они твердо поставлены друг в отношении друга: учитель и ученик. Здесь это не годится. Хозяин и гость? Но куда девать разницу лет? Не может же он обихаживать мальчишку, как человека, равного ему годами и образованием. Отнести как к ребенку? Но от ребенка не ждут суда. Видеть в нем младшего собрата по литературному делу? Больно много чести юному бумагомарателю. Благо бы, еще в прозе себя пробовал, это что-то говорит о глубине натуры, а стихи, если они не в обличительном роде, под стать детскому греху — знак возрастной неопрятности, минующей с наступлением зрелости.

Может, вообще он все это зря затеял? Только слухи неблагоприятные пойдут. Что, если сказаться больным и отпустить гимназиста подобру-поздорову? Он поглядел на аккуратно застеленную постель и едва подавил желание юркнуть под серое байковое одеяло. Вздохнув, он продолжал вытирать кухонным полотенцем блюдца и чаш-

ки — хотел угостить гимназиста чаем с бубликами, для чего хозяйской прислуге, старой Федосьевне, был заказан самовар. Он прибрал и проветрил комнату, сменил скатерть, почистил висячую керосиновую лампу, вынес пустые бутылки и упаковочную бумагу и сам поразился, до чего же уютным и пригожим стало его холостяцкое логово: чистота, порядок, удобная мягкая мебель, герани на подоконниках, нестыдные литографии на стенах. Вот уже сказалась польза от его опрометчивого поступка.

Он только покончил с хозяйственными хлопотами, вознаградив себя за усердие рюмочкой очищенной, когда минута в минуту явился гимназист.

Пока он раздевался в прихожей, освобождаясь от длиннополой холодной шинели, картузика с серебряным значком на околыше, башлыка и калош, Варсановьев приплясывал вокруг него, раздираемый противоположными стремлениями. Хотелось помочь замерзшему мальчонке — февраль после нескольких синих оттепельных дней повернул на жгучий мороз, — но боялся уронить свое достоинство и потому предоставил одеревеневшим пальцам гостя самим справляться с пуговицами и крючочками. Варсановьев делал много лишних, незавешенных движений и смущенно бормотал:

— Вот так!.. Молодцом!.. Сюда, пожалуйста!.. Давайте вместе.. Сами справитесь?.. Ну, и отлично, Ванечка. Вы разрешите, я вас буду Ванечкой называть, в домашней, разумеется, обстановке?

И отчужденно с замерзших, плохо размыкающихся губ слетело:

— Сделайте одолжение.

Узкое лицо пылало сквозь смуглоту, ресницы были влажными от стаивающего инея. Он весь как-то сжался, съежился от мороза и в своей тесной гимназической курточке, с темными примятыми фуражкой волосами, торчащими ушами казался совсем мальчишкой, и учителя поразило, как мог он придавать столько значения его приходу и его мнению.

— Проходите, Ванечка, — сказал он покровительственно. — Здесь тепло, вы скоро согреетесь.

Гимназист прошел в комнату и опустился на указанный ему стул. Он зажал ладоши в коленях, а взгляд его, как всегда с мороза, с белизны, чуть подослепший, смеркший, с цепким любопытством забегал по комнате, не пропуская ничего. Варсановьев обнаружил с удовольствием, что этот пристальный и не совсем приличный осмотр мало его трогает, и не потому даже, что он такого уж высокого мнения о своем быте, а потому, что правильно определил себя в отношении мальчишки. Наверное, следовало бы прямо сейчас напоить гостя горячим чаем, но Варсановьев спокойно рассудил: от горячего да сытного его сразу развезет, в сон потянет, и какой тогда из него слушатель. Пусть лучше так переможется, всему свой черед.

Учитель положил на стол рукопись, и вернулось избыточное вроде бы волнение. Пришлось заглянуть за ситцевую занавеску, где в крошечном чуланчике хранились различные припасы и стояла початая бутылка портвейна, настоящего «Порто», и бокальчик. Он осторож-

но, чтобы гость не услышал, наполнил бокальчик и маленькими, неслышными глотками осушил. Утерев губы и усы, он с озабоченным видом вернулся к столу.

— Не знаю, насколько вы в курсе текущей литературы, попадают ли вам петербургские и московские журналы, посему не ведаю, доводилось ли вам читать и мои скромные произведения.— Внутренне произнеся эту ловко составленную фразу, учитель окончателью успокоился — долгожданное чувство превосходства хорошо раеширило грудь.

Гость сказал, что столичные журналы попадаютъ ему крайне редко, и оп не может считать себя в курсе современной литературы, но что-то Глеба Успенского и Златовратского читал — скучно, особенно у второго. Варсанюфьеву такое заявление — обухом по теменн.

— Господь с вами, Ванечка!.. Это же властители дум!

— Не моих,— обронил тот.

— Да ведь они о главном пишут. О самой сути. Все остальное — развлечение, мишура, висяльки на люстре — звенят, сверкают, играют, но горят-то свечи, не стекляшки. Ладно, спорить до почти можно. Давайте лучше читать.— Он прочистил горло и начал: — «Клима Хударев и урядник»... «Сия испридуманая история случилась прошлой весной в деревепьке Сухотиновке Н-ского уезда, Орловской губернии. Стоя на богатейших землях черноземной полосы, обильных почвенным туком, деревенька бедствовала...»

Читая, Варсанюфьев слышал себя будто со стороны и радостно удивлялся, как крепко и ясно ложатся у него слова, потребные для выражения той или иной мысли. Не было ничего лишнего, пустого, служащего для украшения прозаической речи: если пейзаж, так в меру (сельские грамотей не читают Тургенева, потому что тот слишком много о природе пишет, а Варсанюфьеву хотелось, чтобы его произведения дошли до этого нового читателя, недавно появившегося на Русн); если прямая речь, то истишно крестьянская, но без тех идиотизмов и вывертов, или вовсе никому не понятных, или понятных лишь уроженцам данной местности, чем так злоупотребляют писатели из народа. И главное — верность жизненной правде, направление. Да и трогало, прямо за душу хватало, а когда урядник швырнул облыжно оговоренного Клима в холодную, Варсанюфьев, чтобы скрыть слезы, кинулся за ситцевую занавеску и принял дозу успокоительного.

Вернувшись, он удивился странному, отрешенно-сосредоточенному выражению лица гостя. Тот будто в нетях пребывал, недоступный звукам земных голосов.

— Вы не слушали, Ванечка? — В тоне учителя не было укоризны, одно лишь огорчение.— Вам скучно?

— Я все слышал, Орест Михайлович,— отозвался тот, не меняя выражения лица.— Последняя фраза: «Он упал на холодный пол и забылся в неизбывной тоске».

— Это многие гимназисты умеют, из тех, что спят на уроках,— повторить последнюю фразу учителя.

Отсутствующее выражение сбежало с лица мальчика, взгляд собрался.

— Орест Михайлович, проза не стихи, ее дословно не запомнишь, но спросите меня с любого места, я продолжу очень близко к вашему тексту.

И учитель почему-то сразу поверил, что так оно и есть.

— Простите, Ванечка, вид у вас какой-то...

— А-а!.. Крысы...

— Что-о? — не понял учитель.

— Под полом. Вон там в углу, где кровать.

Учитель прислушался и ничего не услышал.

— Зря вы им в замаску стекло подмешиваете, — сказал Ванечка. — Крысинный желудок сильный, толченое стекло запросто перемалывает.

— Откуда такие познания? — высокомерно спросил Варсановьев, которому представилось, что заскучавший барчук хочет его уязвить.

— А у нас на хуторе полно крыс, — просто ответил тот.

— Я не замазывал крысинных дыр, — сказал учитель. — И даже не знал, что есть такая замаска со стеклом.

— А чего же так хрустит? — удивился Ванечка.

Варсановьев вдруг вскочил и выбежал из комнаты. Вернувшись, заглянул в «утешительную» и сел к столу.

— Хозяйкина прислуга замазывала, — буркнул он.

— Ей бы алмаз растолочь, тогда поможет! — с мальчишеской улыбкой сказал Ванечка, и чувствовалось, что подтверждение его правоты не доставило ему ни торжества, ни радости.

— Может, вернемся к чтению? — предложил Варсановьев, на которого препирательство из-за крыс произвело какое-то сложное и неприятное впечатление.

— О, конечно! — сказал Ванечка, сразу становясь серьезным.

Варсановьев начал читать, и вскоре несколько сбитый голос его вновь обрел глубину и сдержанную выразительность. Как все-таки полезно читать вслух свое произведение другому человеку, пусть и глуховатому к твоей боли, твоим думам. Нет лучше проверки, каждое неверное слово, как поддельная монета на звон, сразу себя обнаруживает. И Варсановьев с крепнущим чувством гордости убеждался, что нет у него таких фальшивых и ложных слов. Повествование о горестной и типической судьбе несчастного Климата естественно, как поток, стремилось к его самоистреблению. Повесился в остроге горемыка. И вот уже его худое тело закачалось на сопревшей мочальной веревке.

— Нет! — вдруг громко сказал слушатель. — На мочальной веревке, да еще сопрелой, не повесишься.

— В литературе почти всегда вешаются на мочальной веревке, — возразил учитель.

— В литературе, а не в жизни. Я понимаю, так жалостнее. Но веревка или порвется, или развяжется.

— А вы откуда, собственно, это знаете? — ядовито спросил Варсанофьев. — Неужто пробовали?

— Не доводилось, — последовал ледяной ответ. — И вам не советую, если хотите наверняка. А вот девушка у нас одна пробовала. Только горло ободрала.

— Довели? — спросил вконец обозлившийся Варсанофьев.

— Понесла от кучера. А он женатый.

— Бог с ней... В конце концов, Клим мог повеситься и на пеньковой веревке.

— Откуда в остроге веревка? По ней из окна спуститься можно. Бежать.

— Разве это так важно? Рассказ ведь не о том. Замучили человека — он и руки на себя наложил. А все эти мелочи, кому они нужны?

— Ну как же?... — чуть растерянно сказал Ванечка. — Нужны, однако... Иначе ничему веры не будет.

— Так на чем же ему вешаться, черт бы его взял! — вскричал раздосадованный Варсанофьев.

— Говорят, и на рукаве повеситься можно...

— Ладно! — Варсанофьев вскочил и кинулся за занавеску: нужно было успокоить расхोлившиеся нервы.

— Орест Михайлович, — послышался неожиданно мягкий голос Ванечки. — Пили бы здесь. Там вам, поди, невкусно. Да и облиться можно.

И как в воду глянул — дрогнула рука Варсанофьева, держащая бокальчик, и посадила рубиновую каплю на белую рубашку. Подглядывает? Издевается?.. Варсанофьев задохнулся от гнева. Он выглянул наружу и увидел темный затылок со стрелочкой заходящего с виска косого проруба, очень прямую, худенькую спину, хрупкие плечи. Ванечка и не думал оборачиваться, следить за учителем.

— Мой хозяин Бякин, у которого я на хлебах, — говорил мальчик, — раньше тоже кулеминовское «Порто» пил, а потом перестал. В него, говорит, жженую пробку подмешивают для вкуса и цвета. И оттого изжога, отрыжка. Он теперь у Разуваева в лавке «Крымское» берет. На пятиалтынный дорожке, но без последствий.

Ванечка по-прежнему не оборачивался и смотрел прямо перед собой. «Что он там еще увидел? — с тоской подумал учитель. — Паука на нитке, клопа на стене или блоху на подушке? Что он еще высмотрел, вынюхал, выслушал в моем бедном доме?»

Варсанофьев вернулся к столу.

— Вы, разумеется, понимаете, что я не могу предложить вам вина, поэтому и предпочел делать это келейно.

«И с чего вдруг сунулось на язык семинарское слово «келейно»?» — с раздражением подумал Варсанофьев и нервными движениями стал скручивать папироску.

— Орест Михайлович, закурите Жукова табаку. Какой прекрасный запах! Отец всегда Жуков табак курит. И совсем как у вас приготовленный — с перетертыми корешками сон-травы, с мятой и мед-

ком. Вам его, наверное, из деревни присылают? В городе такого табаку не найти.

— Да уж...— самодовольно начал Варсанофьев, польщенный тем, что курят один табак с Ванечкиным отцом, известным своими старобарскими замашками.— Пойдите,— спохватился он вдруг,— а вы откуда знаете про Жуков табак? Я в гимназии никогда не курю.

— Так ведь пахнет,— пояснил Ванечка.

«Ан врешь! — обрадовался чему-то Варсанофьев.— Вот и попался, который кусался! Я последний табачок на той неделе скурил и даже упаковку выбросил. А после Федосьевна клопов керосином морила. Не может тебе Жуковым табаком пахнуть да еще с приправами. Ловок больно! Велика хитрость: вызнать все про человека, а после мага-чародея из себя строить!»

— Нет, Ванечка, не пахнет у меня Жуковым табаком. Давно весь искурил.

— Да что вы, Орест Михайлович! — Ванечка чуть конфузливо улыбался: он не понимал игры взрослого человека, вздумавшего невесте зачем запирается в таком пустом деле.— Он же под кроватью...

Не спуская с Ванечки пытливого взгляда, Варсанофьев прошел к кровати, нагнулся, сунул туда руку, пошарил и вытащил картуз, на четверть полный Жуковым табаком.

— Как же я забыл о нем?..— подавленно проговорил учитель и с некоторым испугом глянул на странного гостя.

— Можно, я вам скручу? — попросил Ванечка.

— Мне, право, неловко...

— Приятное ощущение, когда крутишь,— сказал Ванечка, исключив тем самым любезность из своего предложения, и посучил пальцами.

— Не балуетесь? — поинтересовался Варсанофьев.

— Пока нет.

Этот мальчик удивительно быстро, без задержки менял доверительный мальчишеский тон на холодно-отстраняющий. Он придирчиво следил за тем, чтобы собеседник не переступил какой-то черты. А собственное поведение он так же внимательно наблюдает? Его замечания по поводу крыс, портвейна и даже табака можно ли считать вполне уместными? Конечно, в них не было желания задеть, подковырнуть, этот барчук не избалован и совсем просто относится ко всему житейскому. Видать, не больно роскошествовал в своей Неурожайке или как там их вотчину. И все-таки чуть приметные одергивания Варсанофьев ощущал то и дело: в смене тона, взмахе ресниц, румянце, каких-то легких тенях, проскальзывающих по смуглому лицу. Это раздражало, хотя придаться было не к чему.

— Спасибо,— сказал он, принимая ловко скрученную папироску.— Давайте дочитаем. Осталось совсем немного.

А сам мучительно соображал: нет ли на облитых желчью последних страницах какой-нибудь еще «мочальной веревки», которую только и заметит въедливый и хладнодушный слушатель. Вроде там все в порядке, а впрочем, кто знает. Теперь он ни в чем не уверен. Но ведь если каждую малость в микроскоп рассматривать, не оста-

нется времени и сил для главного. И чуть-чуть торопливо, дабы не сосредоточивалось внимание на второстепенных подробностях, Варсанофьев дочитал рассказ и, хоть настроение было сломано, почувствовал его горестную силу. Но, страшась молчания, сразу вскочил и кинулся в кухню распорядиться насчет самовара.

Маленькая пробежка и легкая перебранка с Федосьевой помогли ему собраться. Вернувшись назад, он спросил почти весело: «Ну, как?» — и разорвал мочальную веревку, на которую были напизаны золотистые бублики.

— Хорошо... Не хуже, чем у Златовратского,— улыбнулся Ванечка.

Его улыбка ничуть не задела Варсанофьева, а слова обрадовали. Пусть этот недоросль не понимает и не любит Златовратского, тот все равно остается одним из светочей современной русской литературы. А коли у него, Варсанофьева, не хуже, по мнению этого маленького эстета, то чего же еще желать? Он не мог сделать ему большего комплимента, и несколько минут Варсанофьев не испытывал ничего, кроме тихого блаженства. Мягкие, теплые волны ходили внутри него, плавно и нежно перекатываясь через сердце.

Отчего писатели так устроены, что им непременно хочется нравиться всем и каждому? Нет того, чтоб удовлетвориться признанием своих единоверцев и единомыслов, хочется любви, ну, вот столечко, и от тех, кто их любить не может. Более того, именно от чужих и чуждых, даже враждебных, томительно хочется хоть крошечного признания, хоть оговорки ласковой. Варсанофьев давно заподозрил, а сейчас подозрение перешло в твердую уверенность, что Ванечка, верно и сам того не сознавая, принадлежит к педружественному лагерю. К тому, где любят чистое искусство,—в рот им дышло! — кадят Фету и Полонскому и в грош не ставят «направление». Он уже получил подарок, но не желал им ограничиваться. Надо было подвести мальчишку к новым похвалам. И самый лучший способ — это поговорить о частных недостатках, пусть еще за какую-нибудь мочальную веревку подергает, а затем отдаст должное глубине и значительности целого.

— Ну, что я еще наврал? — спросил он с подкупающим добродушием.

Мальчик вскинул на него совсем черные в наступивших сумерках глаза. Он словно колебался: стоит ли говорить или лучше отделаться общими словами. Варсанофьев не прерывал затянувшегося молчания. Вдохнув, мальчик сказал:

— Там у вас весенний ландыш описан... и сказано: горький запах. Какой же он горький? Это вкус у ландыша горький, если его бубенчик разжевать. У раннего ландыша запах кисловатый, влажный, водянистый, свежий-свежий!..

— Постойте, Ванечка! — засмеялся Варсанофьев.— Как это запах может быть влажным и еще водянистым?

— Не знаю...— Что-то растерянное появилось в лице мальчика.— Может...— И тихо, но твердо он сказал: — Да, кисловатый, влажный, водянистый, свежий.

— Да ведь это тавтология: влажный и водянистый,— посмеялся Варсапофьев.

— Какая тавтология?

— Вы еще не проходили. Повторенье. Точнее, определение, повторяющееся в иной форме ранее сказанное.

— Так вот же — в иной форме! — обрадовался мальчик.

— Разошлись, Ванечка, разошлись!.. Ну, что еще?

— Еще?.. Помните, мужики-порубщики дерево валят? Урядник видит, как ствол зашатался.

— И что?

— А ствол не шатается. Дерево верхом падает. Вы глядите на него, а оно вдруг как двинется вперед верхушкой. Грозно, страшно! — Он передернул плечами.

Варсапофьев вскинул брови и ничего не сказал, похоже, до него просто не дошло. Мальчик опять вздохнул.

— У вас Клим только умер, а глаза у него запавшие и веки белые.

— Все так.

— Нет, вначале глаза у покойника выпуклые, веки лилово-смуглые, темнее остального лица.

— Ну, это, братец... — учитель вовремя поправился, — братец вы мой Ванечка, фантазии! Покойник покойнику рознь. У одного так, у другого иначе.

— Да нет же! — упрямо сказал мальчик. — Глаза не сразу западают, и веки темные. Еще там сказано, что головка у ласточки черная. А она сине-черная. И расквашенный дождями чернозем синий, а не угольно-черный.

— Это, Ванечка, вам все синит! На то и чернозем, чтоб черным быть, иначе бы синеземом назывался.

— Орест Михайлович, вы правда не видите, что черноземная грязь иссиня-черная? — И словно бы жалостливое удивление пробилося в его голосе.

— Нельзя видеть то, чего нет, — сухо сказал учитель. — Придумки, Ванечка, игра ума.

Федосьева внесла ключом кипящий самовар. Поставила на поднос, да неловко — из-под неплотной крышки плеснуло крутым кипятком и чуть не обварило руку учителю, хотевшему помочь старушке.

— Экая неловкая! — сказал он в сердцах. — Вот уж верно: до старости дожила, а ума не нажила.

Ворча, Федосьева удалилась.

— Зря вы ее так, Орест Михайлович, — морщась, сказал Ванечка. — Она же почти слепая.

— Слепая?!

— У нее левый зрачок будто белком испачкан, а правый вовсе запыл.

Варсапофьеву вспомнились многочисленные и почти необъяснимые неловкости и промашки старой Федосьевны, за что ее ругательски ругала хозяйка, грозя уволить, и понял с покорной грустью, что

маленький страшноватый наблюдатель опять прав. И сразу перекинулся мосток: небось и у ласточки головка черно-синяя, и синее жирная черноземная грязь, и подрубленное дерево макушкой валится. И если с такой вот позиции пересмотреть его рассказ, то что от него останется?.. В комнате совсем посмерклось. Учитель зажег лампу, и прозрачная лиловость за окнами сразу сменилась тьмой. Он налил Ванечке чая, подвинул сахар, тарелку с бубликами.

— Угощайтесь.

Тот погрел ладони о горячий стакан, насыпал сахару, размешал, попробовал, разломил бублик, понюхал свежее тесто, и все это с таким вкусом и смаком, что зависть брала. Материальный мир ему желанен во всех проявлениях, воздействующих на пять человеческих чувств, и, несомненно, он получал о нем больше сведений, чем другой человек, но ведь это не главное, это низменное, и беден тот, кто лишь чувственно воспринимает действительность. Варсанофьев в таком духе и высказался, но мальчишка никак на это рассуждение не отозвался. Теперь пришел его черед не понимать собеседника. И, уже злясь, учитель спросил:

— А вам от товарищей не попадало?

— За что?

— Больно вы приметливы, Ванечка. Товарищи не считают, что вы задаетесь?

— Не знаю. Меня это не интересует.

— Побить могут, — с надеждой сказал учитель.

— Пусть только попробуют! — Темные глаза по-волчьи сверкнули. — Столбового дворянина тронуть? Не советую.

Полезла, полезла сословная спесь! Как это у Щербины? «И предки ваши тем знатнее, чем больше съели батогов». Что-то в этом роде. Но оставим цитату при себе. Он и так волчком глядит. Подумаешь, столбовые!.. Дворяне от столба. Но все эти сарказмы Варсанофьев сохранил в душе, а вслух сказал:

— Я ведь просто так... Вы же понимаете, что такое побои для бывшего бурсака? Барабанной шкуре столько палочных ударов за всю службу не достается, сколько бурсаку за один удачный месяц.

Ванечка рассмеялся — сравнение понравилось, и вернулась доверчивая интонация.

— Отец раз хотел мне уши надрать. Мы с ним стояли весной на крыльце, вдруг слышу — сурки свистят. Отец посмотрел искоса: ты что же, сурка за версту слышишь? Конечно. Врешь, негодяй! Не можешь ты слышать. И суркам рано еще свистеть. Нет, говорю, свистят. Он крикнул, чтоб подали коня. Вскочил в седло. Если наврал, уши оборву. И ускакал. Вернулся тихий, смущенный. Прости, сын, вышли сурки из нор, играют, свистят.

— Занятно, — сказал Варсанофьев. — А все-таки одно такое чувственное восприятие жизни писателя не сделает, нет, не сделает.

— А я не собираюсь в писатели, — удивленно сказал Ванечка.

«И слава богу! — подумал Варсанофьев. — Не то, поди, все литературное дело зашатается».

— Но вы же пишете стихи. Может, почитаете?

Мальчик несколько раз отрицательно мотнул головой и низко наклонился к стакану.

— Не настаиваю... Наверное, это правильно, что вы не помышляете о литературной карьере. Писать ради того, чтобы писать,— пустое занятие. Важно, для чего ты пишешь. Вы сказали о моем рассказе: хорошо. Но ведь вы не полюбили моего Клим, его судьба вам безразлична?

Ванечка не ответил. Он макал булочки в чай и с наслаждением откусывал размоченный кончик.

— Ведь не полюбили? — настаивал Варсанофьев. — Скажите прямо, я не обижусь.

Мальчик молча кивнул.

— А почему? — обиженно спросил автор.

— Какой-то он... общий...

— В том-то и штука! — вскричал Варсанофьев. — Это обобщенный Клим. Тип современной жизни. Литература должна создавать типы и через них решать задачи, выдвинутые временем.

— Но я не понимаю этого! — сказал мальчик с досадой. — У нас есть на хуторе Клим, его я люблю. Он сутулый, волосатый, добрый, от него вкусно пахнет: хлебом, луком, квасом. И руки у него большие, теплые, шершавые. Он меня на лошадь сажал, на меринка Копчика. А про этого вашего Клим я ничего не знаю. Мне его вовсе не жалко, хоть он такой разнесчастный. Мало ли несчастных на свете! И чего урядник так над ним зверствует? У нас тоже есть урядник, у него жена чахоткой больна и дочь старая дева.

— Не то, не то, Ванечка! Какое дело литературе до вашего урядника с его чахоточной женой? Нужен обобщенный образ...

И Варсанофьев пустился в пространные рассуждения, излагая свой символ литературной и жизненной веры, но все, что он не раз упорно проговаривал в себе, как-то странно обесценивалось присутствием этого мальчуга, и учителю самому стало скучно. «А у ландыша запах кисловатый, влажный, водянистый, свежий», — вспомнил он, и в груди сжалось.

— Хотите, я вам одну умную книжицу дам, там все изложено. Только, Ванечка, никому ни-ни!..

Мальчик кивнул и вытер рот ладошкой.

«Я, кажется, забыл салфетки, — спохватился Варсанофьев. — Ну, и черт с ними!» Он достал с полки зачитанный пухлый том в подклеенном переплете и положил на стол.

Ванечка почти сразу стал прощаться. Варсанофьев его не удерживал. Он уже понимал, что задуманное не получилось. Хуже — получилось что-то совсем другое, вовсе ему не нужное и даже вредное. Рассказ вроде бы и не разруган, а сомнение в своих силах нависло. И не поймешь, почему. Плюнуть и забыть! Чепуха все это, или, как говорил благочинный из сельской поповки: «епуха» — это распоследняя чепуха, чепуховее и быть не может. «Епуха! — повторил он про себя, скидывая чары. — Я на верном пути. Усердие, труд, вера в свою правоту — и я буду в Петербурге, меня признает критика и вся читающая Русь. А это богова пеллепица с нюхом собаки,

слухом соловья и зрением ястреба заглухнет в елецкой глуши, проедая и пропивая остатки промотанного отцом и пописывая стишки в альбомы провинциальным барышням. Брет он, что не думает о литературном поприще. Думает небось. Только пустое это, коли нет направления. Отыграла, отзвенела, отсверкала дворянская Русь, другие времена, другие люди, другие песни. А ну, расступись, дай дорогу, дьячков сын Варсановьев грядет!.. — Вот так всегда действовало на него кулемишское «Порто», принятое на очищенную: к воинственному воспарению подымало дух. — Надо взять себя в руки, а то впрямь невесть чего нагородишь».

Полутыма прихожей не помешала гостю сразу найти свою шинель, картузик, башлык и калоши. Он быстро и ловко оделся, вежливо поблагодарил хозяина за духовные и телесные удовольствия и откланялся. Варсановьев выскочил следом за ним на крыльцо и оказался в огромной звездной, звенящей морозом ночи.

— Эх же играют серебром ночные светила! — воскликнул он, подивившись красоте ночного неба.

Прямо перед ними над черными крышами зареченских лачуг лучилась переливчато яркая ограненная звезда.

— Смотрите, Ванечка, какая звезда! Прямо-таки чудо виффлеемское!.. Давайте высчитаем, что это за диво дивное...

— А чего высчитывать? — несколько удивленный этим витийством, сказал мальчик. — Сириус... Любимая звезда моей матери.

Он ушел, а Варсановьев кисло подумал, что в каком-то смысле этот барчук, белоручка, не больно преуспевающий в науках гимназистик, знает о мире больше, нежели он, педагог и литератор. «И на здоровье!» — решил Варсановьев и, просквоженный стыжью, поспешил вернуться в комнаты. На столе лежала забытая Ванечкой умная книга...

На другой день Варсановьев чувствовал себя прескверно. Он плохо спал, его мучила изжога, и даже не от кулемишского «Порто», в которое, по любезному сообщению всезнающего Ванечки, подмешивается для вкуса и цвета жженая пробка, а от всего неудавшегося вечера. То была не желудочная, а сердечная, душевная изжога, которую ничем не погасишь.

В узком, лоснящемся на локтях и спине фраке он вошел в класс, пряча глаза и горбясь, неловко кивнул в ответ на шумное и нестройное приветствие учеников и поднялся на возвышение. Боясь, что класс догадается о его состоянии, он произнес перекличку, не подымая головы от журнала и сцепив домиком над бровями бледные, чуть дрожащие пальцы. А закончив перекличку, не переменял позы, показав тем самым, что будет спрашивать. Этим он сразу пробудил в классе страх и уменьшил ту коллективную наблюдательность, какой отлпчаются разболтанные, рассеянные подростки, когда они вместе и зрение их словно суммируется. Но едва ли уменьшил проклятую наблюдательность одного, видевшего, слышащего, чующего неизмеримо больше, чем три десятка наивных и простодушных оболтусов.

Дурное, мстительное чувство, слившись с внутренним жжением,

завладело учителем. Литература, несомненно, искажила личность Варсановьева, человека по природе бесхитростного и доброго. Сквозь решетку пальцев он углядел своего мучителя на обычном месте, у стены. Ленивый и неусердный, Ванечка все же не числился в худших учениках и утвердился на «камчатке» добровольно, дабы читать без помех постороннюю литературу: Фета небось и Полонского!.. А ведь уверен, наглец, что его не вызовут отвечать урок, который он, конечно, не приготовил. Да и когда ему готовиться было? Домой вернулся поздно и уж, верно, не стал корпеть над уроками любящий поспать барчук — усадебная привычка, обломовщина! — только поплескал себе на лицо и шею холодной водой из рукомойника с медным носиком, утеса пахнущим цветочным мылом полотенцем и — в постель, в бездонную сладкую глубину отроческого сна. «Что это со мной? — встревожился Варсановьев. — Почему я стал так подробно думать? Уж не мальчишка ли насрал на меня заразу бесцельной возни с малостями жизни? Чур меня, чур!..»

Варсановьев еще раз украдкой взглянул на Ванечку и увидел, как дрогнуло и напряглось тонкое, большеглазое лицо. Румянец густо налил ореховую смуглоту щек и лба и зардел на острых скулах. «Ага, не выучил стихотворения Никитина! — злорадно подумал Варсановьев и тут же спохватился: — Постой, постой! А почему он знает, что я его вызову? Не должно такое ребенку в голову впасть. Это же низко — вызвать после вчерашнего. Выходит, он меня в неблагородном поступке подозревает? С какой, спрашивается, стати, разве дал я ему хоть малейший повод?.. Положим, и промелькнула у меня такая мыслишка, как мог он догадаться? Я не смотрел в его сторону, всего раз, может, глянул из-под руки. Да ведь ему и того достаточно. Небось и легкую испарину на лбу углядел, мне, правда, лоб слегка увлажнило, когда я понял, что он урока не приготовил. А может, своим собачьим нюхом ножной запах учуял — подмывают у меня от волнения пальцы ног. Или я чем другим себя выдал: откашлянул, дыхание перевел, желудком екнул, от него разве что укроется? Ему бы в следователи пойти — цены б не было! Фу-ты, черт, будто голый стоишь! Неужто можно так читать окружающее?.. Тогда это больше, чем внешнее восприятие, — сказал он себе с грустью, — это постижение».

А Ванечка уже начал помаленьку высвобождаться из-за парты: ногу левую подтянул и согнул в колене, а правую в проход поставил для упора, чтобы сразу встать, как только его вызовут. Пальцами по пуговицам забегал, плечам поводит, разминается...

«Вот возьму и не вызову, наблюдательный господинчик! Тем более хоть вы и не готовились, а стихотворение Никитина отбарабани-те за мое поживаешь! А мы и не попросим вас стихов читать, мы вас о направлении никитинской поэзии попытаем, мы вас насчет обобщенного Климата прощекочем». И, опережая последнее движение гимназиста, почти вылезшего из-за парты, Варсановьев торопливо, каким-то враз просевшим голосом вызвал:

— Бунин Иван!..

СМЕРТЬ НА ВОКЗАЛЕ



Лучше было бы остаться дома. После утреннего чая, когда Иппо-кентий Федорович встал из-за стола и церемонным поклоном поблагодарил жену, ему нехорошо — внезапно и как-то слишком уж бесцеремонно — сдавило сердце. Он побледнел, закрыл глаза, проглотил сухую, горькую слюну и сжал пальцами спинку стула.

— Что с тобой? — Испуг жены отдавал усталостью.

Она давно устала бояться за него, устала от его хрупкости, замкнутости, вежливости, за которой проглядывало ровное, спокойное отчуждение, устала от невольного и неослабного давления сильной и запертой на засов внутренней жизни человека, с которым, если верить церкви, была единой плотью и духом единым.

Приступ минул раньше, нежели жена успела накапать лекарство в рюмку. Сердце вырвалось из тенет, как птица из кулака, и обрело волю. Анненский отпустил спинку стула, ласково, но решительно отстранил руку жены с пахучим лекарством и прошел в кабинет. Сердце билось чуть сильнее положенного, но это было даже приятно. Оно трудилось, как старый, износившийся, но все еще прочный, проработавшийся насос, вгоняя кровь в узкие канальцы артерий и вен. Анненский не испытал страха, он давно, еще в юности, узнал, что у него неизлечимо больное сердце. Тогда открытие это было мучительно, но с годами он успокоился. Он жил как все, не думая о своем ущербе, и если избегал излишеств, то не из боязни или слабости, а по здоровой уравновешенности, брезгливо отвергавшей дурман страстей, вина и никотина.

Больное сердце не мешало ему любить и подчинять своей воле людей, работать до изнурения, упоенно творить и плакать над стихами. А вышагнув за половину житейского пути, он твердо уверился, что ему отпущен не мотыльковый, а достойный человека срок, и стал находить даже известное преимущество в хвори, населяющей от рождения его грудную клетку. Он отличался от людей, не имеющих сердечной болезни, лишь тем, что знал, от чего умрет, здоровым же такое знание не дано. Это освобождало от многих страхов. Ну хотя бы — ему не грозил рак. После «Смерти Ивана Ильича» самая мысль о раке стала нестерпимой. Он умрет опрятно и быстро, не измучив ни себя, ни близких, ни сиделок отвратительным, медленным распадом плоти. Истинный классик, Анненский выше всего ценил форму, строгость линии, соответствие сути. Классически строгая жизнь, классически строгая смерть. Он умрет от сердца — это его устраивало. Не от желудка, не от почек, не от печенки и селезенки, не от изъеденных чахоткой легких, от сердца, как и следует умирать жившему полным сердцем. У того, кто умел скорбеть скорбями своего века, сострадать не только близким, а всем страждущим, кто мог заплакать над неведомой старой чухонкой, потерявшей сына, и даже над деревянной куклой, которую потехи ради бросают

в водопад Валлеп-Коски, сердце должно рано или поздно разорваться.
— Но только не сейчас! — громко произнес Анненский в пустоте кабинета.

Он сказал это строгим, внушительным и глубоким голосом, как обращался к гимназистам Николаевской гимназии в пору своего директорства.

Этот голос безотказно действовал на гимназистов, даже самых тупых, развинченных, циничных, затрагивая те слои души, которые не бывают до конца очерстевшими в молодых существах. Анненский коротко, по-детски фыркнул. Подобную разоруженную усмешку он позволял себе лишь наедине с самим собой. Сколько же в нем самообладания и самоуважения, если к судьбе, року, тайным силам, отмеривающим человеческий век, он обращается, словно к пашквидившим школярам!

И дабы окончательно задуть в вырвавшемся из груди закли-
тье мыший писк испуга, он спокойно и задумчиво повторил: «Нет, только не сейчас». Сегодня наконец-то должно было выйти решение о его отставке с казенной службы. Тридцать пять лет жизни отдал он отечественному просвещению, пора и на свободу. Впрочем, с просвещением он не порвет окончательно, будет и впредь преподавать древние языки на Высших женских курсах Раева прелестным, нежным, юным существам, безраздельно принадлежащим настоящему. Но с инспекторской деятельностью покончено навсегда. Следовало бы раньше это сделать, но казалось дезертирством уйти с поста, когда классическое образование подвергается столь ожесточенным нападкам. Слепцы! Они думают, вытеснив гимназии реальными училищами, переделать русского человека в сугубого реалиста и практика, который немецкую обезьяну наново изобретет. Конечно, глупо в двадцатом веке отвергать науку, инженерию, насущную потребность для людей точного знания. Это нужно и это будет, независимо от того, хотим мы или нет. Но речь идет о другом — о создании ведущего человеческого типа нации, воплощающего ее духовность. Классическое образование сформировало Пушкина с его ясным, дисциплинированным, уравновешенным умом, с его гармоничной, высокой душой. Отмените классическое образование и прощайтесь с мечтой — не о новом Пушкине, второго Пушкина быть не может, но о пушкинском типе человека и художника, до дна русском, но освобожденном от национальной ксности и распушенности, равно и от узкого, алчного практицизма, — девятнадцатый век воочию показал, что у славянской горлянки быстро отрастают хищные когти. Коромысло легко плечам, когда оба ведра полны. А если одно пусто, оно как перекосит, переломит девицу-Россию! С отменой классического образования если и не вовсе погаснет, то поблекнет скорбно русская интеллигенция. Технический интеллигент — нонсенс. Интеллигент — это Сократ, Сенека, Цицерон, а не специалист по паровозным топкам.

Завтра он велит отдать старьевщику свой порядком заношенный вицмундир. Действительный статский советник Анненский — отныне частное лицо. Немного педагог, немного журнальный критик,

впрочем, не исключено, что он примет предложение возглавить критический отдел «Аполлона», немного переводчик, во всяком случае, до выхода всего русского Еврипида, и поэт, поэт, поэт! Прежде всего поэт, наконец-то поэт! Будет предан забвению Ник. Т-о — бездарный псевдоним, под которым вышла его единственная тощая книжка стихов «Тихие песни», — и с открытым лицом на суд читающей публики выйдет Иннокентий Анненский. «Кипарисовый ларец» — он назвал свой новый сборник в честь потемневшей от времени, полированной шкатулки из кипарисового дерева, с вензелем на крышке, где хранились его рукописи, — вручен утром сыну Валентину для приведения в порядок и подготовки к печати.

На сына можно положиться, он человек аккуратный, воспитанный в строгой дисциплине, к тому же и сам не чужд муз. «Кипарисовый ларец» в надежных руках. Словом, начинается новая жизнь... Анненский улыбнулся, затем негромко рассмеялся, приложив пальцы к полным, под мягкими усами, губам. Ему вспомнилось диккенсовское: «Утешительно было слышать, что старый джентльмен собирается начать новую жизнь, так как было совершенно очевидно, что старой ему хватит ненадолго». Как и всегда, точно воспроизведенная в уме цитата доставила Анненскому удовольствие. Радовала сохранившаяся свежесть памяти, да и вообще у него было пристрастие к цитированию — и к буквальному, и в духе перифразы. Разве не раскавыченной цитатой из пушкинской «Телеги жизни» были последние строки стихотворения «Опять в дороге»? А разве сам Пушкин не процитировал старого, всеми осмеянного пииту, князя Шаликова: «Ямщик лихой, седое время»?..

Подобные легкие, необязательные и, в сущности, пустые мыслишки нередко навещали Анненского после сердечного приступа или когда надвинувшаяся боль, словно отогнанная ветром грозовая туча, проходила стороной, и были выражением его скромной радости, что позволено жить дальше. Вообще же Иннокентий Федорович не давал попусту шалить своему мозгу, всегда нацеленному на серьезное размышление либо творчество.

За окнами кабинета тусклев серый, с прижелтью, купый декабрьский денек, что выгорает, так и не вспыхнув, часам к трем пополудни. Наступала самая печальная пора в Царском Селе. Сиротливы, голы и черны деревья, съезжились настывшие, но еще не забранные льдом воды, заперты в деревянные ящики мраморные парковые статуи. Но грех жаловаться. Осень по гнилому петербургскому климату выдалась на диво. Дожди отслезились в начале ноября, раз-другой необлетевшую жестицую сирень и пухлые травы подсолило утренником, затем установилась сухая, острая от ровного натяжения северо-восточного ветра погода, температура держалась около нуля. Случалось, в серо-сизой слоющейся массе облаков распахивались голубые расщелины, и тогда вспыхивал золотом купол Екатерининского собора, оживляли тяжелые, завороженные воды каналов и прудов, красиво смуглела палая листва у поребрика тротуаров. Но голубизна быстро задергивалась, тусклый сумрак вновь окутывал улицы, деревья, воду, небо. И мучительно хотелось весны, не мартовской черно-ветро-

вой, а теплой, чистой, майской, с лопнувшими почкам, нежной травой, блистающими чуть не до полуночи днями. Что ж, когда-нибудь весна придет, и он встретит ее небывало свободный, раскрепощенный от службы, бумаг, нудных разездов по непролазной Вологодчине, промозглому Олонецкому краю, — поэт, всю поэт, а не поэт-чиновник, стыдливо маскирующий самое важное в себе.

А среди дня ему вдруг почудилось, что не для него придет эта весна. Он и сам не знал, с чего началось. Он только что выправил одно из своих самых любимых стихотворений — «Старые эстонки» и с удовольствием повторял вслух превосходное — теперь уже по самому строгому счету — четверостишие:

Спите крепко, палач с палачикой!
Улыбайтесь друг другу любовью!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней!

Больная совесть! Она никогда не давала покоя Анненскому, казалось бы, столь надежно защищенному от толчков жизни своими классическими пристрастиями. Но этот классик, этот штатский генерал был человеком с содранной кожей. Кровавый 1905 год не выболел в нем, стоящем, по близорукому мнению окружающих, над схваткой. Старшеклассники его гимназии участвовали в молодежных волнениях. Он стал их защищать и поплатился педагогической карьерой. Его лишили директорства и отстранили от преподавания. Но совесть не приняла этой подачки. В душу, в мозг, в сон неотвязно стучались старые эстонки, матери расстрелянных в Ревеле, на Новом рынке, молодых рабочих. Что он Гекубе, что она ему? — это не риторика, а изначальный вопрос человеческой этики. Ответ был в самом важном и мучительном его стихотворении-признании. Палачи могут крепко спать, они не ведают, что творят, но нежные, кроткие, тихие, все понимающие люди, не способные сжать в кулак тонкие пальцы, дабы помешать злу, — вот кто виновен! Сегодня наконец-то чувство стало словом. Видно, обострившаяся сила переживания и дала эту тяжесть в грудной клетке.

И прошло какое-то время, прежде чем он убедился в грубой физической природе боли. Грудобрюшную преграду будто зажало в тиски. Неужели и туда отдает сердце? Он знал ноющую боль в руке, лопатке и под лопаткой, но сейчас творилось что-то новое и страшное. Его словно заперли в этой боли, как в тесном чулане, — духота и безвыходность. Он сидел в кресле, откинувшись на спинку и далеко вытянув под стол длинные ноги, в неестественном, мертвом натяжении восковой фигуры, но не мог изменить позы. Малейшее, даже не резкое движение тут же порвет тот слабый сцеп внутри его, которым он еще держится среди живых. Его единственное спасение в этой странной, неудобной, подсказанной инстинктом жизни позе. Он видел со стороны манекенью спесь своей нелепо вытянувшейся фигуры, но удержался от усмешки, считая ее дурным тоном. На последнем пределе приличествуют серьезность и тишина. Вот почему он и на помощь не позвал...

Его снова помиловали. Сердце билось прерывисто и гулко, он слышал его не в себе, а как бы со стороны, и это было неприятно. Но окутанный равным сумраком кабинет вновь принадлежал ему со своими темными углами, поблескивающим стеклом книжных шкапов, с креслом-качалкой и кожаным продавленным диваном, с бронзовыми и гипсовыми фигурками античных богов и героев, с учебической копией «Прощания Гектора с Андромахой», со старым, траченным молью ковром на полу. Когда приступ брал в тиски, привычная обстановка смещалась, отступала, становилась чужой, холодной, почти враждебной. Возвращение дружественной сути окружающих вещей было знаком отступления болезни.

Но Анненский не торопился нарушить свой восковой покой. То, что случилось с ним сейчас, не было похоже на все прежние атаки, оп имел дело с новым страшным противником и хотел до конца выведать его намерения. Наконец, очень медленно, словно шарнирный состав его не имел единого управления, он согнул одну ногу, потом другую, выпрямил корпус, оперся о подлокотники кресла и встал. Сделав несколько глубоких вдохов, он так же медленно принялся одеваться.

На занятия женских курсов можно было ходить в обычном пиджачном костюме, но Анненский считал это распушенностью. Он сохранял в одежде ту же строгость, важность, почти торжественность, как и в бытность свою директором Николаевской гимназии: черный сюртук с чуть вздернутыми плечами, белый жилет, пластрон, черный шелковый галстук. Одну лишь вольность позволял себе Иннокентий Федорович — не мешал седой, чуть вьющейся пряди зачесанных назад волос падать на высокий, без морщинки лоб. Поправляя перед зеркалом эту прядь, он почувствовал, что лоб его влажен. Достал крепкий мужской одеколон, протер лоб, виски, крылья носа и пальцы. То ли освещение виновато: сероватая хмарь, сочившаяся из окон, мешалась с тусклым светом настольной керосиновой лампы на ониксовой подставке, но Иннокентия Федоровича поразила бледность, даже какая-то синюшность его крупного лица. Вообще-то у него была светлая кожа, но, конечно, не такого мертвенного цвета с псиня-желтыми тенями под глазами и на висках. Наверное, лучше остаться дома. Но это не по-спартански. Если он и успел кое-что сделать, ну хотя бы перевести всего Еврипида, при своем слабом здоровье, негодном сердце, истрепанных нервах, так только потому, что не давал себе спуска, не считался с приступами боли, головокружениями, опустошающими схватами физического и душевного бессилия. Он надевал доспехи и, клонясь под их тяжестью, выходил на ристалище, на бой, жестокий, беспощадный и заранее проигранный. Впрочем, сам бой уже был выигрышем. К тому же он никогда не признавал себя побежденным. Так было, когда его изгнали из Николаевской гимназии, так было после злобных издевательств и скупых, сквозь зубы, полупохвал, встретивших «Тихие песни», так было, когда терялась любовь и дружба.

Преодолевать себя приходилось постоянно, в большом и в малом. Он всегда присутствовал на воскресной молитве в гимназической

церкви, даже когда очередной приступ атаковал сердце. Он держал свечу в правой руке, и ни разу не удалось подловить острым, пронырливым, всевидящим глазам гимназистов, чтобы дрогнула свеча в бледной директорской руке, колебнулось копыцео пламени. Так недвижимо выстаивал он полтора часа, душных, страшных полтора часа, и тень спартанского юноши, которому лисица выгрызла внутренности, витала перед затуманенным взором.

А может быть, я все же сильный человек? — думал Аяненский, разглядывая в зеркале свое большое, просторное лицо с тяжеловатым носом, пристальными, печальными глазами и пухлым ртом, не способным упрятать свою мягкость и доброту под густыми, воинственно закрученными кверху усами. Черт возьми, вся сильная, четкая лепка лица сводилась на нет этим розовым губошлепцем. Но ведь мой рот свидетельствует скорее о деликатности и доброте, нежели о безволии и слабости, уверял он себя. Иннокентию Федоровичу нужно было сейчас верить в свою силу, ведь и Гёте и Толстой, знавшие о человеке больше всех остальных жителей земли, считали, что болезнь кладет на лопатки лишь слабых, безвольных и распущенных.

И все же он не решил до конца, поедет ли на курсы. Оставил себе маленькую лазейку, но эту лазейку, сама того не желая, закрыла жена.

Она перехватила его в передней, где он топтался возле вешалки, не зная, что надеть: теплую ли шинель на вате или легкое демисезонное пальто, калоши или глубокие ботинки, меховой пирожок или мягкую шляпу, а по существу, все еще раздумывая, ехать в Петербург или остаться дома и лечь в постель.

— Ох, не надо бы тебе ехать, — сказала жена, зябко кутаясь в пуховый оренбургский платок, хотя в доме было тепло, даже жарко от хорошо натопленных калориферных печей. — Ты скверно выглядишь.

Давно уже между ними существовал лишь контакт привычки, утреннего чаепития, обеденного стола и семейных ритуальных жестов, лишенных при внешней сердечности какого-либо содержания. Иннокентий Федорович сперва грустно, затем твердо-равнодушно уверился, что жена то ли не посмела, то ли не захотела последовать за ним туда, где дуют черные ветры, и жестко отвергал всякие с ее стороны попытки коснуться его навсегда отделившегося существования. Жена не постигала его хрупкой и вместе выпосливой сути, следовательно, не могла знать, что ему вредно, а что полезно. И если она говорила: останься, то правильной было ехать. К тому же в мозгу ярко вспыхнул сонм молодых горячих девичьих лиц, внимательных серых, голубых, карих и черных глаз, румянцем опаленных щек, на него повело ароматом юности, доверчивости, наивной влюбленности, и все это было куда лучшим лекарством для его больного сердца, нежели пахучие микстуры, компрессы, вялые домашние заботы и появление глухого, самоуверенного, пропахшего трубочным табаком немца-врача, которого он по Достоевскому называл Герденштубе, хотя звался тот как-то коротко — Шульц или Штольц.

— Я не умею манкировать своими обязанностями, — сказал он сухо и снял с вешалки темное драповое пальто.

— Ну хоть за извозчиком пошлем!..

— Не надо, — отмахнулся он.

Но в дверях острое сострадание к чужой малости, то мучительное сострадание, которое породило самые щемящие стихи, заставило его обернуться к увядшей, ненужной и безвинной женщине и кивнуть ей с ободряющей улыбкой.

И она улыбнулась растерянно, не поняв жеста добра, как не постигала и отчуждения. Анпенский вышел с болью в душе. «Бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обиды куклы обиды своей жалчей».

Сумеречная улица в черных костлявых деревьях, в слабом шорохе несохшей листвы привяла его и растворила в своей пустынности и печали, в ознобливой незащищенности. Он как-то разом обесценился, стал палым листом, гонимым ветром. Город, так прочно и серьезно ставший у каприза двух императриц, ни от чего не защищал, не гарантировал сохранности. Вся его бюргерская каменная основательность, уверенность под боком императорского обиталища, уют, нарядность и опрятность были бессильны перед ветром, дующим с болотистых равнин, перед дымными тучами низкого чухонского неба, перед черными сквозняками мироздания, ледящими враз съезжившуюся душу. Извозчика бы!..

Забраться в укромное нутро пролетки с поднятым вискаптным и клеенчатой полостью, в запах мокрого сукна, кожи, лошадиной шерсти, свернуться в своем тепле, потерять эти пищенски обобранные деревья, грубый ветер, серое небо и вновь поверить в свое право быть. Но тщетно напрягал он зрение, пытаясь высмотреть в мгlistых даях прямой, долгой, улицы ссутулившегося на козлах «ваньку». Наверное, все извозчики сгрудились у вокзала или торговых рядов, где легче было выстоять ездока в этот глухой, пустынный час. Нет, не будет ему избавления за три гривны, катись по панели, как палый листик, глядишь, и докатишься. И он покатился, пряча нос в воротник пальто, отсекая ветер углом плеча и ухватывая глазом лишь квадраты каменных плит, которыми был выложен тротуар.

На углу Бульварной улицы, людной, говорливой, крепко принадлежащей обыденности и уж никак не перевозанному хаосу, он приормозил бег, собрал себя нацело и вповь стал Иннокентием Федоровичем Анпенским, эллинистом, литератором, «действительным статским советником», как определил его за спиной — с ноткой почтительности — чей-то непрокашлянный голос.

Его успокоившаяся было душа сразу вскипела. Нет ничего удивительного, что прохожие узнают его, царкосельского старожилы, бывшего директора мужской гимназии, через которую проходили отпрыски всех уважаемых людей города. Но знает ли его на самом деле хоть один из всех этих торопливо пробегающих мимо людей? Им знакомы его лицо, фигура, походка, его пальто, шляпа, трость, ведомы чин и занимаемое положение. Кому-то известны и другие,

внешние обстоятельства его жизни, ну, хотя бы почему он лишился директорства, и редкий обыватель не осуждает его за глупое донкихотство. Допустимо даже, что у кого-то имеются на книжной полке его переводы с древнегреческого, или «Книга отражений», сборник критических статей, или номера «Аполлона» с его стихами, но найдется ли хоть один человек в Царском Селе, которому вспало бы назвать его поэтом? Нет, нет и нет! Одни по неведению, другие по невежеству, которое им самим кажется строгим вкусом, высокой требовательностью, отказывают ему в звании, поднятом в России на небывалую высоту гением Державина, Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Тютчева. Ах, господа, господа, как же удивитесь вы, когда поздно или рано узнаете, что никто — каламбур Ник. Т-о! — иной как ваш тихий царскосельский сосед поднял кубок, небрежно оброненный великим Тютчевым, и наполнил молодым вином. В поэзии русской звенели и звенят, пусть на новый лад, лишь кубки Пушкина и Лермонтова да некрасовского кружка, а тютчевский фиал забыт. Впрочем, разве умели вы ценить Тютчева при жизни, разве отдали посмертно богу богово? Его могила на Новодевичьем кладбище заброшена, там не найдешь и цветочка, не то что венка, которыми курсистки и гимназисты забрасывают могилу бедного, благородного и поэтически нищего Надсона и даже надгробье навсквозь декламационного Апухтина.

Наткнувшись на Тютчева, Иннокентий Федорович в который раз задумался о тревожно загадочной судьбе этого ни с кем не схожего поэта. Кто еще из служителей муз так небрежничал своим громадным, поистине божьим даром? Он мог не писать годами, ленился печатать свои стихи, пальцем не шевельнул ради издания книг. Его первый тощий сборничек увидел свет стараниями влюбленного в него Тургенева, второе прижизненное издание осуществилось неукротимым энтузиазмом Ивана Аксакова. Тютчев не желал даже рукопись просмотреть, распределить стихи в хронологическом порядке, снисходительно мирился с наивной тургеневской редактурой. Тут не было ни скромности паче гордости, ни кокетства, он и впрямь был равнодушен к литературной славе. А ведь стихи были ему необходимы, и он знал им цену. Все самое важное для себя объял он стихами: первичный хаос, бога, природу, день и ночь, весну, женщину, любовь, рождение и смерть. Пусть он писал урывками, его поэзия воссоздает с великой полнотой сложный душевный пейзаж самого творца и его мироощущение, проникает за зримую поверхность вещей и явлений, соприкасаясь с последними тайнами.

Но к судьбе своих стихов он был безразличен. Тут таится какая-то тягостная неправда. Что же такое стихи, как не мостки, переброшенные к другим людям? Разве смысл поэзии не в том, чтобы разорвать тень одиночества, безмолвия, разъединяющего людские души? Поэзия — это кратчайший путь к человеку, знак безоружного доверия, приглашение к своему огню. Лучше писать стихи в альбомы, нежели в стол. Последнее просто бессмыслица! Поздно же понял ты это, Ник. Т-о! И не сопоставляй свою участь с тютчевской. Открытый Пушкиным, понятый и восславленный Некрасовым, люби-

мый Тургеневым, Фетом, Вяземским и всем шумным кланом Аксаковых, боготворимый прекрасными и значительными женщинами, он мог быть равнодушен к известности, даруемой печатным станком и газетными отзывами.

Не каждому желанен слишком яркий свет, громогласный хор славословий, не каждому потребно широкое союзничество. И не надо примерять к себе судьбу Тютчева царскосельскому старожилу, существующему в вакууме. Его вообще не знают. Он невидимка. Такой высокий, приметный в любой толпе, значительной наружности господин, с высоким чином и солидными трудами — легко ли «перепереть» всего Еврипида на язык родных осин! — он невидим, как если б обладал прозрачностью стекла. Людям ведомы лишь грубые, пошлые очевидности его внешнего облика, манер, житейского поведения и служебной карьеры, его истинное лицо неизвестно людям, даже нечаемо. Достаточно сказать, что горообразный поэт-художник Волошин с гривой льва и сердцем ягненка, недавно появившийся на петербургском горизонте и мгновенно ставший популярным, признался, что почитал переводчика Еврипида, критика журнала «Аполлон» и поэта Ник. Т-о тремя разными, ничем не связанными личностями.

Увесистый толчок заставил Анненского пошатнуться и с негодованием глянуть на широкого приземистого человека в распахнутой шубе на лире и бобровой шапке. На багровом в сизость, мясистом лице человека тяжелый склеротический гнев истаявал в добродушно-игривое возмущение:

— Эк же вы толкаетесь, ваше превосходительство! Нехорошо, батенька. Все небось в Элладах своих плавааете.

Это был чиновник Дворцового ведомства и сосед Анненского, статский советник Девятых.

— А мне показалось, вы меня задели, Эраст Павлович, — поклонившись, сказал Анненский.

— Что за счеты, почтеннейший Иннокентий Федорович! Нынче я вас, завтра вы меня — на том мир стоит. Но погоды, погоды какие!.. — став серьезным, сказал Девятых.

Только петербуржцы да, пожалуй, лондонцы умеют так значительно и важно говорить о погоде. В туманом повитых, дождями исхлестанных, болотными и речными испарениями задушенных столицах умеют ценить редкие улыбки безжалостного неба. В подобрешем, ставшем глубоким и доверительным голосе Эраста Павловича чувствовался определенный намек на причастность государственной власти, а возможно, и святейшего синода к перемене климата.

Я поэт, Эраст Павлович, черта ли мне в вашей погоде, когда гнилая, слякотная осень может одарить меня щедрее самой ослепительной весны. Почему вы не читали моих стихов, Эраст Павлович? У вас же остается уйма свободного времени от необременительной службы, обжорства, карт, ссор с женой и порки тупого сына-гимназиста. И вы вовсе не дурак, Эраст Павлович, уж я-то знаю, хотя ум ваш зарос жиром. В вас дремлют силы Ильи Муромца, крепкий русский ум, громадные способности к постижению. Ну, прочтите,

неужто это так трудно! Вдруг вам доставит радость, ну хоть про Ваньку-ключника в тюрьме. Нет же русского человека, какое бы место ни занимал он в служебной и общественной иерархии, чтоб тайно не любил Ваньку-ключника и атамана Кудеяра. Вслушайтесь, Эраст Павлович, напрягите слух своих ушей-оладий, как распевно, широко и легко звучит:

Крутятся-мутятся да сблизися
Желты пески с волной,
Часочек мы любилися,
Да с мужнею женой.

А, Эраст Павлович?.. Ведь вы-то знаете, крошка-богатырь, как любиться с чужой женой! А разве вам не близко, как и каждому нашему соотечественнику, стоящему возле казны, такое вот, каторжное:

Цепочку позванивать
Продели у ноги,
Позванивать, подманивать:
«А ну-тка, убеги!»

Но весь этот монолог совершался, разумеется, в безмолвии души, а с полных, упрятанных под усы губ Иннокентия Федоровича слетали одобрительные слова в адрес нынешней осени, весьма утешительной для сердца каждого петербуржца. На том они и расстались. Неузванный, неугаданный, непрочитанный Анненский зашел в сторону вокзала, а квадратный, ясный, как день, в своей темноте, чиновник Дворцового ведомства не спеша побрел к родным пенатам.

Уже на вокзальной площади Иннокентия Федоровича остановил благочинный отец Илиодор, священник городского собора. Высокий, в длинной шубе на енотах, из-под которой вывешивался подол черной рясы, и с ухоженной рыжей бородой и беспокойными зелеными глазами, отец Илиодор тоже заговорил о погоде, но думал по обыкновению о чем-то совсем другом. Он питал неистребимую страсть к доноситеству, этот интеллигентный, начитанный и респектабельный поп, бессовестно нарушавший и тайну исповеди, и доверие дружеских отношений. Анненскому было известно, что доносы отца Илиодора сыграли не последнюю роль в лишении его директорства. Одного лишь заступничества за нашкодивших гимназистов было недостаточно для столь суровой кары. Свои донесения благочинный писал на велевовой бумаге, гусиным пером, с каллиграфическими красотами в духе старца Епифания, кроткого союзника мятежного протопопа Аввакума, в велеречивой манере древних акафистов. Он чувствовал себя не просто «шишом государевым», а чем-то вроде Симеона Полоцкого, отстаивавшего истинную веру от раскольников. Но Анненского не занимало сейчас гнусное пристрастие отца Илиодора. Глядя прямо в беспокойные, ищущие, льдисто-зеленые глаза благочинного, он пытался воздействовать сквозь эти люки на мозг, чтоб ожило там:

По сердцу чудится лишь красота утрат,
Лишь упоение в завороженной силе,
И тех, которые уж лотоса вкусили,
Волнует вкрадчивый осенний аромат.

Ну же, батюшка, ведь наверняка, сочиняя донос на нерадивого пастыря юношеских душ, вы листанули бледным пальцем с голубым ногтем мои «Тихие песни». Это оттуда и как раз о погоде, которая вас так волнует. Вспомните, вы же на свой лад тоже любитель российской словесности, ну вспомните мои строки!.. Святой отче, выклячили у Валентина списки моих неизданных стихов неужели только доносов ради? Да нет же! Послушайте, мы с вами оба сердечники, разве вам не близко вот это: «...следом чаща послала стеланье, и во всем безнадежность желанья: «Только б жить, дольше жить, вечно жить!»

Но поп не откликнулся Авиенскому, не отступил ни на шаг от темы атмосферных явлений, трактуя их плоской прозой, как какой-нибудь синоптик, с тем и отбыл.

Вновь не узнавший, не открытый, Иннокентий Федорович устремился через вокзальную площадь.

Еще несколько знакомых и полужнакомых раскланялись с ним на перроне, но ни на одном лице не мелькнула радость узнавания, догадка об истинном достоинстве господина в черном пальто, ни один взгляд не зажегся и не увлажнился трепетом встречи с царско-сельским кифаредом. Нет, все равнодушно-вежливо приветствовали инспектора петербургского учебного округа, полуоπαльного чиновника и почтенного эллиниста.

Ах, господа, господа! Вглядитесь в меня внимательней, поднимитесь над своей узостью, озабоченностью, равнодушием, пересильте свою глухоту, услышьте меня. Ведь не призрак же я в самом деле, хоть и окрестил себя «Никто». Под моим настоящим именем вышли трагедии на античные сюжеты, но вы не раскрыли их, испуганные внешним архаизмом. Напрасно, то вовсе не подражание моему любимому Еврипиду, а во утоление жажды современной измученной души. И чтобы приучить вас к этим пьесам, я снизошел до остроумия, утверждая в предисловии, что сам «первый бежал бы не только от общества персонажей еврипидовской трагедии, но и от гостеприимного стола Архелая и его увенчанных розами собеседников с самим Еврипидом во главе». Видите, я помню наизусть свою прозу, как и свои стихи. Бедные мои слова томятся во мне, как в темнице, во муки достаются не узникам, а узилищу. Избавление одно — верить их чужой памяти. Любой крамольный стишок, задевающий полпмейстера или наводящий тень на градоначальника, подхватывается немедленно, переписывается в сотни альбомчиков, заучивается наизусть. Но никому не пришло в голову дать приют моим бескорыстным «Трилистникам». Напрасно, напрасно, господа! Я ваш последний царскосельский лебедь. Не станет меня, и Царское Село, отечество Пушкина и всей его плеяды, приют Карамзина, Жуковского, дивная раковина, где вызревал жемчуг русской поэзии, станет просто мещанским городишком, под боком дряхлеющих садов, забываю-

щих собственную легенду. И о вас, господа, вспомнят лишь потому, что вы были моими соседями и современниками. О, сколько слепоты, глухоты, необъяснимой тупости, сколько жестокости, рассеянности, невнимательности, ослиного упрямства и непросвещенности несет в себе слово «современник»! Умудрились же современники не царскосельского, а самого Эвонского лебедя так прочно не заметить — Шекспира, не взглянуть в его черты, не счесть достойным упоминания в письмах и мемуарах, что оставили столетиям жгучую и позорную загадку: кто же на самом деле создал величайшую — после греков — драматургию и непревзойденную в поколениях лирику?..

То был последний прилив гневной бодрости, — в вагоне, куда Иннокентий Федорович попал под третий звонок, пропустил вперед с десятком не читавших его пассажиров, им овладело отчаяние. Он и вообще плохо переносил поезда, даже на таких малых перегонах, как Царское Село — Петербург. Его угнетало все: застойный запах фенола, слабо мерцающие под потолком свечи и покойницкие лица пассажиров, отражающих лбами этот тусклый дрожащий свет, древняя пыль в пазах оконниц, истертый плюш сидений, заунывное тактанье колес, грубые вздоги и лязги железного тела поезда, безвыходность пребывания здесь, утрата воли, отобранной у тебя расписанием и таинственным хромономим существом с разбитым фонарем, называемым кондуктором и состоящим в заговоре с гигантским кольчатый, извергающим желтый пар и пламя, весь хаос дорожного полусуществования и неизбывная русская тоска за окнами. Коротенькое это путешествие выматывало душу почище иных тысячeverстий. Нет ничего пустынее, ровнее и безотраднее болотистых равнин, пролегающих между Петербургом и Царским Селом. Сейчас было темно, в окошке, колеблющем в двойных грязных стеклах желтоватое пламя свечи, почти не проглядывался наружный мир, и все же по всплеску каких-то плоских луж, по вдруг обозначившейся хорде низкого горизонта угадывалась до слез унылая площадь окрестного простора.

В окне, через проход, проплыли бледные купола Пулковской обсерватории, похожей на искаленную техническим веком Аия-Софию. И тут ничем не заполненный сумрак прочно заложил окна, будто черной бумагой заклеил.

Напротив него сидела бледная, с грустным и незначительным лицом дама, чья осень так и не опалилась строками его поэзии, рядом с ней — пожилой, упитанный господин из породы жизнелюбов, слух которого никогда не тревожили звуки «Тихих песен». Скамейку через проход занимали реалист, испитой священник и молодчага гусар в новой шинели с меховым воротником, можно было побиться об заклад, что на зеркала их душ не ложилось дыхание певца зимних лилий. А в углу согнулась худая, как кость, старуха с нарумяненными щеками и странно блестящими глазами в черных глубоких провалах глазниц. Неприятная старуха. Она так поглядывала на Анненского из своих пещер, словно читала его или по меньшей мере знала, кто он такой. Но Анненский не знал старухи, никогда не видел ее, ибо, раз увидев это жеманное, древнее, гадко кокетливое существ-

во в ярком и несовременном тряпье, запомнишь на всю жизнь. И зачем она источает огонь из своих остывших недр? Сумасшедшая? Бывшая красавица, блиставшая при дворе Николая Первого, где она соперничала с Натальей Николаевной Пушкиной, или бывшая артистка императорских театров, знавшая славу и поклонение, — подобными призраками кишело Царское Село. Столь же не узнающая, как и сам Иннокентий Федорович, но куда смелее претендующая на узнавание, она тшится пробудить в окружающих память, догадку о себе прежней, не униженной старостью и нищетой, — да нет, тут что-то другое, совсем другое... От нее веет могильным холодом. Хорошо бы, она сошла...

Анненский отвернулся, уперся взглядом в красную, истоптанную ковровую дорожку и понял, что холод, источаемый старухой, проник к нему внутрь. Ему было знобко, сыро, невыносимая тоска сдавила сердце. Неужели опять начинается? Господи, а ведь это куда хуже, чем в муках воображения. Неужели конец? Нет, нет! Это только в плохих романах и хороших сказках число три наделено мистической властью. Живая жизнь неподвластна этой ребяческой магии. Но ему опять плохо, совсем плохо. Это даже не боль, любую боль можно вытерпеть, когда же она выходит за некий предел, сознание покидает человека, и он уже неподвластен боли. Это что-то другое, состоящее из ужаса, тоски, безысходности. И распирающий ком внутри...

Надо что-то делать. Ну, хотя бы обволакивать себя сетью мелких движений. Расстегнуть пальто, достать свежий носовой платок, промокнуть лоб и щеки, сложить платок, спрятать в брючный карман и застегнуть пальто. Снова расстегнуть, вынуть часы из кармашка жилета, щелкнуть крышечкой и посмотреть, который час. Спрятать часы. Застегнуться. Поправить манжету. Деликатно откашлянуться, прикрыв рот пальцами. Что еще? Можно попросить воды. Но при мысли о тепловатой, припахивающей гарью поездной воде его слегка замутило. Потребовалась новая возня с платком, чтобы вытереть наполнившийся слюной рот. И тут он заметил, что все еще жив, гнетущая тоска и ком внутри не убивают, во всяком случае сразу. Можно жить и с этим. Нехорошо сбившееся дыхание снова упорядочилось. Лишь требовался более глубокий, в несколько приемов вдох, иначе воздух не проникает в легкие, или это только кажется?..

Глянул в угол — старуха исчезла. Сошла. А ведь поезд не оставивался. Чепуха! Просто переменяла место, от двери дует, или вышла в тамбур. Да и какое ему дело до этой старухи?..

Его нечитатели: поблекшая дама, дородный жизнелюб, реалист, священник, гусар — тихо сидели на своих местах. Они были безвинны перед ним, эти обыватели, никогда ничего не читавшие, если их не тыкали носом в роман, рассказ, стихи, как щенков в миску с кашей. А тыкать должны вершители литературных репутаций. Обыватель сам никогда не знает — хорошо или плохо прочитанное. Он преспокойно оплюет Пушкина, если ему скажут, что это плохо, — так оно и было в царствование Писарева, и будет восторгаться Емельяновым-Коханским, если ему скажут, что это хорошо. Такого, по

счастью, еще не было, хотя иные, весьма популярные поэты недалеко ушли от Емельянова-Коханского. Как ни грустно, литература вовсе не говорит сама за себя, любой талант беззащитен перед теми, кто его отрицает или просто не видит. Вы прощены, дама, господин, священник, гусар, реалист, да падет мой гнев на головы поэтов, прикоснувшихся к моему слову и высокомерно прошедших мимо. Брюсов посоветовал мне учиться, как гимназисту, перемежающему стихоплетство с мальчишеским грехом, тогда, мол, еще может получиться толк. Блок, истинный природный поэт, в отличие от сделанного Брюсова, понял куда больше, даже обмолвился, что Некто, а не Никто съел «Тихие песни». Но сколькими высокомерными оговорками снабдил он скудную, сквозь зубы похвалу! Я не защищаю «Тихие песни», бог с ними! Но, господа поэты, в отличие от моих поездных спутников вам должны быть известны и другие мои стихи, как напечатанные, так и не напечатанные. Неужели и они ничего не говорят вашему сердцу? Не поверю. Я знаю, как умеют быть глухи поэты, но не настолько же глухи! Моя вина не в дурацком псевдониме, не в скромности, в другом, куда более важном — я не столь Никто, сколько Ничей. В литературе правят банды, как на Корсике. Примани к банде, и сообщники амнистируют тебя, коли ты бездарен, скудоумен, некультурен, пригреют, дадут дышать, а если ты отмечен хоть малым даром, вознесут и заславоусловят. И как бы ни пыжились недруги, тебя уже не столкнут со склона Олимпа. Теперь я понимаю злую шутку Чехова: какие они декаденты, это молодцы из арестантских рот.

Я не примкнул ни к одной из литературных групп, не повязался ничьим шарфом, не выбрал себе сюзерена, то бишь атамана. Меня зачислили в символисты, но, покидав из ладони в ладонь, как гоголевский черт украденный с неба месяц, выпустили, ожегшись, из рук. Они поняли, что мой символизм — это не символизм Бальмонта и тем более Вячеслава Иванова. Для меня любая поэзия символична, ибо нет у поэта иного способа самовыражения. Но за моими символами тяжесть и запах земли, а не эфирно-селеновая муть заумных отвлеченностей.

Я болен, может быть, умираю, и одному лишь богу ведомо, каким ужасом сжимается сердце при мысли о близком конце, но даже сейчас я не считаю свой уход крушением вселенной, как вы, Вячеслав Иванов, как вы, Константин Бальмонт. Я знаю, после меня останется всё... кроме меня. Мне не только чужда, но и отвратительна гипертрофия собственной личности, и «обида куклы» всегда была мне больнее собственной обиды, вот чего вам начисто не дано, настоящие символисты!

Декаденты всех мастей быстро смекнули, что я из другого теста, и отдали меня на растерзание газетной братии. В моих стихах мир овеществлен, и, если мне отпущен хоть краткий срок, он станет еще вещественнее, предметнее, если же меня не станет, другие пойдут этим путем, единственно плодотворным и отвечающим времени, — на сближение с жизнью. Как красив предмет, как полна и прекрасна конкретность! Я не сумел быть громким, назойливым и бесстраш-

ным. Мне помешало слабое сердце, служба, врожденная деликатность, сродни чистоплюйству. Но я приветствую грядущих горлопанов. Они заглянут в мои бедные книги и звучными, наглыми голосами сотрясут и опрокинут карточные домики сегодняшних небожителей, вышивальщиков по туману.

И все же — милосердия, братья, отказавшие мне в братстве! Разве дело в направлениях, школах и шайках? Есть стихия поэзии — лишь это важно. Кто-то сказал, что русскому писателю нет дела до прижизненной славы, ему бессмертие подавай. Продлить себя за пределы земного образа — стремление каждого человеческого существа — в творчестве, делах, открытиях, в потомстве, наконец. В вечность проникают по-разному. Но я лишь утешаю себя мстительными мыслями о рванше силой грядущих голосов, в которых прозвучит моя интонация, моя нота. Все это не то. Я хочу быть услышанным здесь, сейчас, сегодня. Словом своим хочу связаться живой с живыми. И с этой поблекшей дамой, и с дородным господином, с испитым священником, с реалистом и красавцем гусаром. Кто знает, какие чудеса мы сотворим, когда возьмемся за руки...

Каюсь, я виноват. Я не защитил свою поэзию даже именем. В наш неуважительный век имя служит известной гарантией, ну хотя бы корректности. Оскорбить, осрамить, оклеветать анонима куда легче, нежели господина Имярек, который может быть опасен. Я вас не прикрыл, бедные мои стихи, ни маркой влиятельной компании, ни даже собственным именем. Меня погубили античные пристрастия. Кровожадному циклопу Полифему так ответил об имени своем Одиссей хитроумный:

Славное имя мое ты, циклоп, любопытствовал сведать
С тем, чтоб меня угостить и обычный мне сделать подарок?
Я называюсь Никто: мне такое название дали
Мать и отец, и товарищи так все меня величают.

Одиссея «Никто» спасло, меня погубило. Зачем же считаться с человеком, так низко ставящим самого себя? Газетные циклопы затравили новоявленного Улисса. А читатели? Ну, у них нет даже одного глаза во лбу. Горе нарушившему правила игры. И все же пощады, милосердия, господа! Ведь я уже есть, хотите вы того или нет, меня не избежать, как ни поноси, как ни замалчивай, так дайте же мне хоть немного при жизни, не оставляйте все на посмертие!..

Его сильно вжало в скамейку — он ехал спиной к движению, — поезд резко сбавил ход, потом дернулся вперед-назад, лягнув всеми сцепами, и стал. Неужели приехали? Да, за окошком глянцево влажная деревянная платформа Царскосельского вокзала. В Петербурге прошел дождь. Анненский встал, и что-то явственно сместилось в его груди, ему почудился слабый, клацающий звук. Сердце стало тупым и тихим, а клещевая боль схватила его поперек туловища. Оказывается, сердце повсюду — в грудной кости, пищеводе, грудобрюшной преграде, спине, под ребрами. Он стал сплошным сердцем,

п это сердце рвалось, рушилось, уничтожалось. Стихи мои, мплые стихи, бедные стихи мои, прощайте!..

Он уже знал, что ему не выпутаться. Безобразная боль мешала сосредоточиться на какой-нибудь важной, чистой мысли. Может быть, нужно что-то сделать? Позвать на помощь? Какая чепуха, ему никто не поможет. И не надо суетиться перед вечностью.

Следом за другими он вышел из вагона. Его толкали. Внезапно он услышал тонкий паровозный гудок. Так гудел игрушечный паровозик его сына, когда тот был веселым круглолицым малышом, любившим паровозы и цветы, особенно желтые одуванчики, песок и кленовые листья. Затем послышалось пыхтение, всхлебы поршня, тоже игрушечные, понарошку. Над голыми липами, высаженными вдоль перрона, всплыл дымок, — это маленький — о три вагончика — царский поезд двинулся по специальной узкоколейке в Царское Село. Два вагона были для дезориентации террористов, а в третьем ездил царь с царицей. Анненский представил себе уютное нутро царского вагона, отделанного красным деревом, обитого красным бархатом, хорошо протопленного и освещенного, с плотными шторами на окошках, отсекающими неуют темного, враждебного мира, и улыбнулся тому, что лучше быть живым царем, чем мертвым по-этом.

Ему бы не улыбаться. Жалкая гримаса еще длащейся в нем жизни наполнила его щемящей жалостью к себе. Он почувствовал, что глаза влажнеют. Этого только не доставало! Он позорно терял себя, свое мужество, свою прекрасную, никогда не изменявшую ему форму, свою тихую гордость, да что там, всего себя терял без остатка. Неужели он, столько думавший о смерти, приучавший себя к ней и, казалось, выгадавший достоинство встречи, оказался вдруг безоружен? И он взмолился не о жизни, лишь о сохранении лица. Творчество, одно лишь творчество спасало его, — если б хоть строчка вспыхнула в мозгу, хоть словечко защекало небо!..

Мимо, задевая его локтями, спешили люди. Они тянулись к городу, шумящему, звенящему за вокзальной стеной, полному своей невозмутимой жизни. Городу и дела не было до того, что сейчас на одного действительного статского советника станет меньше. Чего-чего, а этого добра в столице государства Российского хоть завались.

Прохожие не просто задевали Анненского, они направляли его, влекли к выходу. Он вдруг обнаружил, что перед ним лестница, за ней внизу широкие двери, смотрящие на Загородный проспект. И почему-то он опять узрел всю компанию, близко от себя: даму, господину, священника, реалиста, гусара. И старуха в пестром тряпье была здесь. Но она уже не жеманничала, не строила глазок. Ее лицо — размалеванная маска смерти — было неподвижным, сосредоточенным, даже торжественным. Что все это значит? Траурный кортеж, заранее отряженный Царским Селом, похоронная делегация от всей не читавшей его российской публики? Он не может и не хочет решать эти глупые загадки у последнего предела, он хочет лишь одного, чтобы слово коснулось губ, с ним и отойти. Но

не поэзия, а классицизм сформировал последний его жест, жест ухода.

...Когда Цезарь узнал в нападавшем Марка Юния Брута, он воскликнул в горестном изумлении: «И ты, Брут?» И, закинув плащ на лицо, молча пал к подножию статуй Помпея...

Люди озабоченной вокзальной толпы, и те, что сбегали по лестнице вниз, и те, что торопились к поезду со своими сумками, чемоданами, баулами, в мокрых, тинной пахнущих пальто, увидели, как высокий, представительный господин остановился на лестничной площадке и, выгадав клочок пустого пространства в толчее, закинул на лицо широкий черный рукав пальто, медленно согнул ноги в коленях и мягко, боком, упал на каменный пол головой к стене.

...Курсистки долго ждали Анненского. Ждали и после того, как им разрешили идти по домам. Почти все они были влюблены в красивого, меланхолического педагога, о котором было известно, что он пишет любовные стихи. У некоторых девушек эти стихи (Апухтина, Петра Вейнберга) были переписаны в альбомы. Анненский никогда еще не пропускал занятий, и девушки надеялись, что он придет. Они ждали около двух часов, а потом появился расстроенный директор и сказал, что Иннокентий Федорович Анненский никогда уже не придет, он скончался от разрыва сердца на лестнице Царскосельского вокзала. Боже, как рыдали, как убивались эти милые, добрые девушки! А одна, смуглощекая и синеглазая, лишилась чувств, ей давали нюхать соли и натирали виски уксусом.

Блок услышал о смерти Анненского в тот же вечер на Варшавском вокзале, он ехал к умирающему отцу в Варшаву. А сказал об этом один железнодорожник другому — весело, как о курьезе. Мимо большого мощного фонаря медленно, черно и косо проносились снежинки первого в этом году снегопада. По привычке, образовавшейся в последнее время и сильно его раздражавшей, Блок проговорил вслух, громко и отчетливо:

— Ну вот, еще одного проморгали, — и сердито огляделся...

Юная царскосельская жительница Анна Андреевна Горенко оставилась против дома Анненского, вздохнула протяжно и почувствовала, как побежал комком стылый воздух по долгому горлу.

— До чего же пусто стало в нашем Царском Селе, — прошептала она, глядя на зашторенные окна...

Это было в начале петербургской зимы 1909 года.

Плакали курсистки.

Хмурились поэты.

Народ безмолвствовал.

ТРОЕ И ОДНА И ЕЩЕ ОДИН



Когда эти двое остановились в «Дарьяле», владелец гостиницы, старый, тучный, с опухшим, вечно небритым лицом и заспанными всевидящими глазками, Шалва Абесадзе не почувствовал ни малейшей тревоги. Эти двое были мужчина и женщина, их следовало бы называть «парой», но Шалва Абесадзе, чтивший институт брака, наверное, потому, что сам оставался холостяком, лишь законных супругов считал «парой». А эти двое не состояли даже в «гражданском браке», как называют узаконенное согласием общества прелюбодеяние, иначе потребовали бы общий номер, на что Шалва никогда не соглашался. То была единственная дань приличиям, которую он платил по доброй воле, вернее, по внутреннему велению, в остальном же постояльцам разрешалось вести себя как им заблагорассудится. Но эти двое попросили смежные номера, чем избавили и себя, и владельца гостиницы от неприятных объяснений. Им отвели номера на втором этаже, в тупиковом отростке коридора, шутливо называемом «слепой кишкой», где они были полностью отделены от остальных немногочисленных постояльцев.

«Дарьял» не принадлежал к числу первоклассных отелей Тифлиса, находился далеко от центра, в конце горбатой, немощеной, заросшей жесткой травой улицы, его достоинствами были дешевизна, укромность, терпимость, отличная восточная кухня и отсутствие всякой чопорности.

В тот раз Шалва Абесадзе, как и обычно дневной порой, потягивал вино за шатким столиком под старым платаном у входа в гостиницу. Приезжие, выйдя из пролетки, прошли мимо него, Шалва поймал их узкими щелками меж припухлых смуглых век, взвесил, оценил и выпустил. Иностранцы, прекрасно одеты, с манерами людей из общества и большими чемоданами дорогой крокодиловой кожи. И его досадно удивило, когда они спросили отдельные номера. Шалва узнал об этом из громкого возгласа не поверившего своим ушам опытного портье. Безошибочный нюх впервые подвел владельца гостиницы, он принял их за «пару». Уж слишком уверенно и свободно держались. Наверное, старая, прочная связь, огорченный промахом, думал Шалва, и уж конечно за ними нет ни ревнивого мужа, ни брошенной жены, они не боятся. Но и не афишируют своих отношений, скорее же всего просто ищут уединения.

Особенно пришелся ему по душе мужчина: коренастый, плотный, с крепкой шеей; чистые светло-серые, слегка навывкате глаза и упрямый постав головы придавали ему какую-то воинственную респектабельность. Разумеется, Шалва не пользовался таким мудреным словом и определил приезжего просто: знает себе цену.

Хлопоты скорее могли быть с дамой, чей возраст Шалва затруднялся определить, и это уже пастораживало, как и всякая неясность. Если ей под сорок, то она прекрасно сохранилась, но Шалву не уди-

вило бы, оказался она куда моложе. В этом случае следовало признать, она знала жестокие ветры и бури. Стройная, легкая фигура, по-молодому вскинутая голова в ореоле пушистых светлых волос, четкий овал лица, а в широко расставленных глазах под тяжелыми веками — горечь знания и усталость, приспущены уголки узких, словно поджатых губ, морщинки на висках. Но, может, дорога ее утомила? А отдохнет и явится в блеске молодости. Нет, не явится, с подавленным вздохом подумал Шалва, тонкий, хотя и бескорыстный ценитель женской красоты, молодость свою она крепко пэжила. Из этих двоих она старше, и не только годами, но и жизнью. А хлопот не будет, и гарантий тому даже не характер спутника, а ее собственная усталость. Она вымотана не дорогой, а пережитым и хочет тишины, покоя. «И ты получишь это в моем «Дарьяле», — благожелательно пообещал он женщине. Так размышлял в тени платана Шалва Абесадзе, перемежая, что неизбежно в подобных внеопытных построениях, точные угадки с грубейшими промахами. А завершив мозговое усилие, сделал большой глоток терпкого вина и смежил толстые веки...

Приезжих отвел в номера, туда же доставили их небольшой багаж. Господин сунул мелочь в жесткую ладонь носильщика — он же швейцар, он же ночной сторож при гостинице — и постучался к даме.

— Войдите!.. — у нее был звонкий, легкий голос, не поддающийся усталости. — Ах, это вы, Баярд!

— Можно подумать, вы ждали кого-то другого, — в голосе серьезность, недовольство, шутки не получилось.

— Да, носильщика. Я думала, он вернулся за бакшишем.

— Тут не просят бакшиша, — все так же серьезно, но уже по-доброму сказал Баярд. — А обычные европейские чаевые он получил.

— Ну и прекрасно, — женщина потянулась за портсигаром из словной кости, небрежно брошенным на ночной столик.

— Погодите, — сказал Баярд, пристально глядя на нее своими бледно- и прозрачно-серыми выпуклыми глазами. Он словно вбирал, вытягивал ее в себя.

— О нет, Баярд! — сказала она жалобно. — Прошу вас... Не сейчас. Я устала. Должна вымыться. Я пропылилась, как старый ковер. Ну, будьте хорошим!..

Баярд не хотел быть хорошим и опрокинул ее на кровать. Женщина покорно помогла его неловким усилиям.

— Какой вы страстный! — сказала она, когда Баярд освободил ее и отошел к окну.

— Я нормальный мужчина, — сказал он подчеркнуто.

Женщина вздохнула. Она поправила одежду, но не встала с кровати, а потянулась за папиросами. Сейчас он уйдет, и можно будет привести себя в порядок. Надо попросить горячей воды, о ванне в такой дыре нечего и мечтать. Воды, воды, скорее воды, горячей, теплой, холодной, на худой конец, только воды! Быстрая и неряшливая близость усилила в ней ощущение своей нечистоты. Она была гряз-

ной, пыльной, липкой, пыль пабллась в волосы, в уши, хрустела на зубах, кожа душно пахла пылью, к тому же еще чужой, тоже не свежий, дорожный запах — все это было невыносимо. Почему он так любит внезапные, бурные и неудобные соединения? Впрочем, когда-то и для нее время и место ничего не значили. Но теперь ей мила лишь тихая, опрятная буржуазность: с разобранной постелью, погашенным светом, неспешными ласками, глубоким и чутким сном между объятиями. Он настойчиво вынуждает ее к другому. Ему это, видимо, надо. Ее и прежде не привлекал «штурм унд драг», но она подчинялась чужому темпераменту, а также вынужденным обстоятельствам легко и естественно, без нынешнего брезгливого преоделения и разделяла порыв, а сейчас чаще всего подделывает соучастие. Но он настолько эгоцентричен, что ничего не замечает. Наверное, его жизни недоставало приключений, встрясок, и сейчас он усиленно навстречивает упущенное, обостряя их уже прочно сладившиеся отношения вспышками неуправляемой страсти. Желание — истинное или головное — настигало его в самых неподходящих местах, в самые неподходящие минуты: в купе поезда перед остановкой, когда мог войти проводник, на каменистой тропе в горах, на пустынной набережной под дождем, в номере гостиницы, куда едва успели внести чемоданы. Может быть, и ее притягательность для него объяснялась тем духом авантюры, неблагополучия на грани катастрофы, каким она пропиталась в своей прежней жизни? Он никогда не признается в этом. Но несомненно, что за его докучными порывами было нечто большее, чем прихоть, каприз, и она безропотно подчинялась. Как странно, что любой пленившийся ею мужчина незамедлительно берет над ней верх. Один старый друг — друг или враг? — называл это высшей женственностью.

Баярд искренне хотел быть безкорыстным, но ему не хватало тонкости и способности заглянуть в чужую душу, иначе он понял бы, как невыносимо ей все, что отдает богемной лихостью. А ведь он и сам ненавидел ее прошлое, зачем же так назойливо напоминать о нем? В необузданность его темперамента что-то плохо верилось. Но не стоит растревлять себя, в жизни и без того хватает горечи.

— Отдохните, Дагни, — милостиво сказал Баярд. — Я зайду за вами перед обедом...

Обедали они в гостинице, в ресторане, с очень порядочной европейской кухней, оставив на вечер острые и пряные соблазны духана, а кофе пили в крошечном кафе под платанами. Дагни попросила заказать ей «лампочку вина» — польское выражение, одно из немногих приобретений ее краковских дней, и бутылку местной минеральной воды. Баярд подозвал юного горбоносого официанта в заляпанной вином холстишкой курточке, дождался, когда тот выполнит заказ, после чего церемонно откланялся и пошел в город менять деньги в банк.

Дагни потягивала разбавленное минеральной водой красное вино и курила папиросы одну за другой, рассеянно сбрасывая пепел мимо круглой керамической пепельницы. По косым взглядам сидящих за соседними столиками она догадалась, что делает что-то не отвечаю-

щие принятым тут правилам поведения. Видимо, не полагалось приличной женщине сидеть одной за столиком, пить вино и курить. В Берлине, Стокгольме, даже Осло, не говоря уже о Париже, никто бы и внимания не обратил, но в каждом монастыре свой устав. Наплевать ей с высокой горы, что о ней здесь подумают. Дагпа ехала сюда без охоты, недоставало еще ради сомнительных удовольствий этого путешествия жертвовать своими привычками и маленькими удобствами. Да ей и вообще никуда не хотелось ехать. Но ехать надо было. В Европе слишком многие ее знали, она покрыла свою личность ненужной славой, и утомительно то и дело наткаться на гадко пытливые физиономии. Есть, правда, тишина отчего дома, но отец не принял бы их, он старых правил. Все бредили Кавказом, хотя почти никто там не бывал, и они подались на Кавказ.

Она была равнодушна к природе. Ну, в малых дозах еще куда ни шло: багряный закат из окна ресторана, синяя гладь фиорда с борта прогулочной яхты, кусты сирени в городских садах, заставляющие поверить в приход весны... Но когда природа обстает тебя со всех сторон, когда ты погружен в ее чрево и она лезет тебе в нос, рот, глаза, уши и некуда деваться, это утомительно, скучно, а порой и тревожно. К тому же все время ждешь неприятностей: дождя, грозы, ветра, горного обвала, пыльной бури, солнечного удара, ядовитого укуса летающей или ползающей дряни. Но Баярду хочется, чтобы она восхищалась девственным миром, его чистотой, свежестью, то нежпой, то величественной красотой, ведь это он привез ее сюда, в тишину, покой и уединение, спас и скрыл от всех бед, и она должна радоваться. Кстати, если забыть, что не так-то легко, о горах, ущельях, водопадах, утомительных кручах, опасных спусках, назойливых мухах, всепроникающей пыли и беспощадном солнце, то Баярд в самом деле заслуживает благодарности. Уехать было необходимо, и ехать далеко, где бы тебя никто не знал и не стремился узнать. И кажется, они нашли такую землю. За месяц путешествия ни одной встречи, ни одного дурно загоревшегося узнаванием взгляда, ни одной попытки завести знакомство. Признаться, она чуть опасалась Тифлиса — большой, людный город, много приезжих, в том числе из Европы, но Баярд, заботливый и верный друг, все разузнал, разведал и нашел это тихое пристанище на краю города. Здесь уютно, мило, за деревьями, если не задирать голову, горы не проглядываются. Она насытилась горами и ущельями до конца дней. Конечно, и здесь не избежать вылазок в живописные окрестности, уже прозвучало на губах Баярда зловещее и не произносимое из-за тесноты согласных, как и большинство грузинских слов, название монастыря, связанного с великим русским поэтом, убитым на дуэли, но не Пушкиным, а вторым помером, у нее никогда не было памяти на имена...

Как здесь тихо!.. День накалился, и все поспешили укрыться за ставнями в прохладных комнатах. Ушли и негодующие соседи по столикам, даже толстый хозяин гостиницы убрался, прихватив недопитую бутылку вина, кафе опустело, все реже промелькивали тени прохожих и царапал беглый осуждающий взгляд. Наступил час умиротворения. Задыхливо прокривчал ишак в соседнем дворе и смолк,

только внутри него еще долго что-то скрипело и перекатывалось, не в силах уговориться, и, будто под землей, тоненько заскулил щенок. Какая-то жалкая жизнь в замученном зноем и духотой пространстве не хотела сдаваться, отстаивая свое право на жалобу, ворчбу, кроткое несогласие, просто на сотворение малого шума. Дагни смежила веки, оставив в щелках немного розового света. И тут слегка заикающийся мужской голос обратился к ней на скверном немецком языке, приветствовал и назвал «мадам Пшибышевская».

С чувством скуки, но и с некоторым облегчением — только сейчас она поняла, что тишина, став чрезмерной, уже не успокаивала, а давила, — Дагни отпахнула ресницы и увидела господина со шляпой в руке: лысоватый потный череп, острая черная бородка, пенсне. Допустила в силу безнадежной стандартности его облика, что знакома с ним, и небрежно бросила:

— А-а!.. Вы?.. Здравствуйте. Садитесь... Только я уже не мадам Пшибышевская.

Господин почтительно опустился на краешек плетеного стула.

— Я Карпов, петербургский журналист... Мы с вами встречались в Берлипе, в «Черном поросенке».

— Голубчик, с кем только я не встречалась!.. — голос звучал расщепленно, небрежно, но это нелегко давалось сведенной гортани.

В сизой мгле, наплывшей вдруг на знойную, чуть мерцающую, дрожащую прозрачность тифлисского летнего дня, в сизой слопстой табачной мгле «Черного поросенка» обрисовались три бледных, сипюшно-бледных от дыма, вина и усталости мужских лица — Эдвард Мунк, Август Стриндберг, Станислав Пшибышевский.

— Нас познакомил Галлен-Каллела, — послышалось будто изда-лека.

— С кем только не знакомил меня Галлен-Каллела! Он обожал знакомить людей, ничуть не заботясь, хочется им этого или нет. — Лица пстаяли в знойном мареве яви, и голос налился, окреп. — Но вы не смущайтесь. Пейте вино. Скажите, чтобы вам дали бокал.

— Спасибо, у меня почки... — застенчиво пробормотал петербургский журналист.

— Спросите кофе. Здесь готовят по-турецки.

— У меня сердце, — совсем смутился Карпов. Не в лад неуклюже-робкой повадке маленькие его глаза за стеклами пенсне горели алчным любопытством.

«Ничего не скажу! — злорадно подумала Дагни. — Ничегошеньки вы от меня не услышите, господин петербургский сплетник!» А сама уже говорила, как будто речевой аппарат несколько не зависел от ее воли, был сам по себе:

— Да, с Пшибышевским мы расстались. Он очень мил, талантлив и все такое, но жить с ним невозможно.

С большим правом Пшибышевский мог бы сказать это о ней. Но не тогда, когда они расставались, а значительно раньше, в пору Берлипа и «Черного поросенка». Но тогда он молчал. Он принимал зримое за галлюцинации, которыми страдал с юности, а галлюцинации

за явь. Впрочем, в безумном их кружке, где жепшии обожали и нецаривидели, унижали и возвеличивали, возводили на трон и свергали, а более всего боялись, царили снисходительность и терпение, непонятные тусклым моралистам, мещанам духа. Но перетянутая струна в конце концов рвется. Произошла ужасная сцена, Пшибышевский грозил ей пистолетом и послал Эдварду Мупку вызов на дуэль. И распался берлинский кружок, нашумевший на всю Европу, Эдвард умчался в Париж, Стриндберг в Осло, Дагни с мужем пашли приют у ее отца в Конгсвингере.

И там, в тихом захолустье, Пшибышевский будто разом забыл о «Черном поросенке» и всем поросячестве, спокойный, добрый, мягко рассеянный, почти безразличный, он с головой погрузился в работу. Она была благодарна ему за это равнодушие. Слишком измучила ее берлинская дьяволиада. Тем более что Стриндберг не оставил ее в покое, преследуя то вспышками ненужной любви, то злобой и шумной ненавистью. Какой тягостный и страшный человек, какой душный вид безумия!.. Не оставлял ее и Эдвард, хотя не появлялся, не писал, кауув невесть куда. Но он был в ее мыслях, снах, вернее, в бессоннице. Нет ничего ужасней, изнурительней бессонницы. Она не могла писать. Начинала и сразу бросала. А от нее ждали. Две ее жалкие публикации неожиданно произвели впечатление. Пшибышевский самозабвенно переплавлял свои мучительные переживания — ревность, боль, разочарование, униженность — в золото слов, а она бесцельно маялась, обреченная днем на одурь полудремы, ночью — на вертячку бессонницы. Что это — женская суть или просто бездарность?

Ну, а в Кракове, в блеске молодой громкой славы, уже не обещающий талант, не бледный спутник ярких светил, а само светило, признанный мастер, властитель дум и чувств, Пшибышевский загорелся идеей реванша. Сложного реванша, непосильным бременем легшего на ее изнуренную душу. Он завел «глубокую» и страстную переписку с женой писателя Костровича, и Дагни должна была читать и его заумно-нудные высокопарности и вымученные признания противной стороны. Эпистолярный головной роман этот был оснащен системой доказательств, паводившей на мысль о судебных прениях. Терпение Дагни истощалось. По приезде в Варшаву она оставила Пшибышевского, который, будем честны, не слишком ее удерживал, и через Прагу, где прихватила этого... Баярда, как бишь его — простое, распространенное имя, а не удержат в памяти, — отправилась в Париж. Но парижский воздух оказался слишком насыщен безумствами Эдварда, и они устремились на Кавказ. Да, так все и было, а разговоры о том, что Пшибышевский бросил ее, — ложь. Его жалкий бунт ничего не стоило пресечь. Но она устала от чужой гениальности, подавившей ее скромные способности, больных нервов, воспаленного ума, после всех пряных изысков ее потянуло к ржаному хлебу и молоку... Непонятно одно: зачем ей понадобилось посвящать в свою интимную жизнь малознакомого и отнюдь не привлекательного человека? Все ее проклятая женственность виновата!

— Здесь я с другом, — зачем-то сообщила она. — Он прекрасный

человек, нам хорошо, но я слишком измучена, чтобы вновь принимать на себя обузу брака. Не знаю, может быть, потом...

Петербургский журналист угодливо закивал своей облезлой головой, а в маленьких глазах требовательно, даже нагло зажглось:

— ?!

— Ах, вы о Мунке! — догадалась она. Проклятая, проклятая жевственность!

Конечно, большой беды в ее откровенности нет. Раз этот господин находился в Берлине в ту пору и был вхож в их круг, он и так все или почти все знает. Молодые, широкие, беспечные, они не умели и не считали пужным ничего скрывать, и вся их жизнь в перепутье сложных отношений была нараспашку. В неведении, довольно долго, находился один Пшибышевский. «Муж узнает последним» — бабальность, пошлость, но при этом правда. Впрочем, к их случаю вопреки очевидности эта поговорка отношения не имеет. Позднее проречение Пшибышевского было мнимым.

— Пшибышевский вызвал Эдварда. Жест, достойный немецкого студента-забияки или подвыпившего бурша, скажете вы? Но все обретает иной смысл, иную окраску, когда затрагивает людей такого масштаба...

Начав столь высокопарно, она вдруг осеклась. Да состоялась ли эта дуэль или дело кончилось, как обычно, пшиком? Вызов был. Резкий, оскорбительный, как плевок. Дуэль не могла не состояться. Хотя Эдвард вовсе не был так виноват, как казалось оскорбленному мужу и всем окружающим. У Эдварда было внутреннее право не принять вызов, но никто бы этому праву не поверил. Отказ сочли бы трусостью. Значит, они дрались, хотя от нее это скрыли. Но почему она сама никогда не пыталась узнать, как там все произошло? А зачем? Она не нуждалась в подробностях. С сомнамбулической, провидческой отчетливостью нарисовала она картину кровавой сшибки. Ей не хотелось, чтобы жизнь с обычной бесцеремонностью испортила художественную цельность образа. Пшибышевский решил пощадить человека, но убить художника, и прострелил Эдварду руку, правую руку, держащую кисть.

— Наверное, Петербург — глухая провинция, мы ничего не слышали о дуэли, — промямлил Карпов.

Внезапная усталость пригнула ей плечи, налила свинцом голову. О господи, неужели так важно, была ли эта дуэль на самом деле? Почему людям непременно надо разрушать прекрасное, способное стать легендой? Они так цепляются за плоскую, жалкую очевидность, так неспособны воспарить над мелкой правдой факта, что душа сворачивается, как прокисшее молоко. Экая духота! Загадывай им загадки, закручивай чертову карусель, они все равно будут выхрюкивать из грязной лужи житейщины: было — не было? Да кто знает, что было, а чего не было! Бог наделяет своих избранных правом исправлять прошлое, если оно не поднялось до высших целей бытия. Настоящая художественная правда: дуэль состоялась и пуля раздробила Эдварду кисть правой руки. Но он не перестал писать картины, лишь потерял способность воссоздавать ее образ,

поразвивший его еще в детстве, да, в детстве маленький Эдвард ахнул и не по-детски застоял при виде крошечной Дагни Юль. Ее чертами наделял он всех своих женщин, она и в «Мадонне», и в «Созревающей» и в «Смехе», в «Красном и белом», в тройственном образе Женщины, хотя это ускользало от пронизательного глаза Пшибышевского, но не ушло от бездонного взора Стриндберга. Эдвард заслужил такое наказание, он предал не дружбу, а любовь. Но об этом знают лишь они двое, их маленькая тайна, мешающая легенде, ничего не стоит. Жизнь пишет историю начерно, молва перебеливает ее страницы. Не надо путать молву со сплетнями, она всегда права, раз отбрасывает случайности, шелуху просчетов, ошибок, порожденных несовершенством человека, неспособностью его быть на высоте рока и судьбы. Ах, что за глупый фарс разыграл он тогда в мастерской!.. После всех долгих лунатических танцев в подвале «Черного поросячка», таких долгих, что грезивший наяву Пшибышевский, обретая порой действительность и видя в полумраке вновь и вновь их покачивающиеся слившиеся силуэты (как прекрасно схватил это Мунк в своем «Поцелуе»: тела целующихся стали единым телом и лица, взаимопроникнув сквозь пещеры отверстых ртов, стали одним общим лицом), так вот, Пшибышевский полагал галлюцинацией зрелище забывшей обо всем на свете, презревшей все условности, отбросившей не только осторожность, но и память о жизни, погруженной в вихраву недвижного вальса влюбленной пары. И много, много времени понадобилось ему, чтобы признать убийственную материальность этих галлюцинаций. Но, проияя судьбы, его прозрение оказалось еще одним обманом. Как мог он быть таким наивным, доверчивым, непонимающим — самый их танец был преступлением, когда же замолкала музыка, они не размыкали объятий, ведь были не цепом, а сплавом, и в тишине целовали друг другу руки, плечи, лица. Фосфоресцирующий в полумраке взгляд Пшибышевского, обращенный не вовне, а внутрь, оставался безучастным, как белый пугливый взгляд брейгелевских слепцов.

Но она вела бы себя точно так же, если б он видел и ревновал, и зеленел от гнева, столь истинным и справедливым было все происходившее между нею и Эдвардом. Они полюбили друг друга с той давней детской встречи, и она вошла в его картины, быть может, неведомо для него самого задолго до Берлина, когда он стал писать ее портреты, когда он просто уже не мог написать другой женщины, когда в каждом женском образе, выходящем из-под его кисти, проглядывали неправильные черты ее просторного, скуластого, коротконосого, с широко расставленными глазами лица. Он заставил ее полюбить собственное лицо, которое прежде не нравилось ей до горьких слез, заставил поверить в свое лицо, в себя самое, создал ее в единстве духовного и физического образа, явив новый поворот чуда Пигмалиопа.

Но почему, когда они встретились в Берлине, он после первой непосредственной радости узнавания повел себя так скованно и уклончиво? Он и вообще человек сдержанный до робости, молчаливый, правда, пока не пашется. Тогда он способен на вспышку, на

дебош, на любую дикую выходку. Но прав Стриндберг, считавший пьяные мунковские скандалы оборотной стороной его болезненной застенчивости. Все загнанное внутрь, спрессованное на дне души высвобождалось взрывом под действием винных паров. Довольно высокий, узкоплечий и узкогрудый — вот уж кто не был спортсменом! — он мог наброситься с кулаками на кого угодно, и такое безрассудство было по-своему прекрасно. Но, трезвый или пьяный — о, как они кутили! — Эдвард был с ней неизменно вежлив, тих, почтительно грустен и уклончив, без этого слова не обойтись. Он же видел, что она влюблена, и сам был влюблен в нее, на этот счет нельзя ошибиться. Говорили, что он боится женщин. Возможно. Только боязнь не мешала ему одерживать бесчисленные победы, которые он и в грош не ставил. Он был сказочно красив. Боги изваяли его крупную, гордо посаженную голову. Обманывал его крутой, волевой подбородок, и переливающиеся из сини в изумруд глаза тоже обманывали, их льдистый холод и сила ничему не соответствовали в его податливой, слабой душе. Полно, так ли уж он слаб и податлив? Разве не прорывалась в нем странная, упрямая сила и разве не сила — его художническая устойчивость, непоколебимо противостоящая брани, непониманию, чужим влияниям, щедрости дружеских советов, соблазнам легкого пути? В ту пору он еще не носил усов, и свежий, мягкий, молодой рот был нежно и наивно обнажен. Ей все время хотелось целоваться с ним, и они целовались, но дальше не шло. Гёте говорил: от поделуев дети не рождаются. Похоже, эти слова накрепко запали в Эдварда. «В нашей семье только болезни и смерть. Мы с этим родились», — вздыхал он. Его навсегда потрясла ранняя смерть матери и старшей сестры Софи. Тоска по сестре стала картиной «Больной ребенок». Из палочек Коха, сгубивших несчастную Софи, родилась ранняя слава Эдварда, на пронзительной нежности этого полотна сошлись все, даже те, кому Мунк был противоположен. «Нам нельзя вступать в брак: ни мне, ни брату, ни сестре, — сколько раз говорил он. — Мы унаследовали от отца плохие нервы, от матери — слабые легкие». Милый, чистый, наивный Эдвард, он считал, что они должны немедленно пожениться, если уступят страсти.

— Ну, а?!.. — произнес петербургский господин Карпов, и ее все угадывающая женственность подсказала нужный ответ:

— Стриндберг?.. Он довольно долго не лишал нас своего общества, это было похоже на преследование. Ну, а потом громогласно проклял меня. Ужасны люди, которые сперва пресмыкаются перед жеманной, а затем обливают ее грязью. Из просвещеннейшей, мудрейшей, обаятельнейшей Аспазии я превратилась в псадие ада. И все потому, что отказала ему и стала женой Пшибышевского. Бог с ним, у меня нет зла на него, он достаточно наказан своим злосчастным характером...

В конце концов, она не на исповеди. Кто этот случайный, суетный, тусклый человек? Микроб, ничтожный знак мировой суеты. А она допустила его в преддверие тайн. Такой, зная, ступ на нее пошел — засиделась, да и не следовало Баярду оставлять ее одну. К тому же полуправда — это правда для непосвященных. Счет

Стриндберга к ней куда больше и основательней. Их свел Эдвард, он же вскоре познакомил ее с Пшибышевским. Но, как ни скоро это произошло, Стриндберг, сразу влюбившийся в нее восторженно, тяжело и угрюмо, успел сделать ей предложение — он незадолго перед тем развелся — и, разумеется, получил отказ. Не только потому, что ее сердце было занято Эдвардом, но этот непросветленный, чуждый эллисскому духу Перикл, без устали мычащий, стонущий, рычащий «Аспазия!.. Аспазия!..», был ей страшен. Он таскал пистолет в кармане куртки и однажды угрожал им, нет, не ей, а беззащитному Эдварду. Тот написал удивительный портрет Стриндберга, где преувеличенная мощь черепной коробки подавила некрупность заурядных черт. Впоследствии он литографировал этот портрет, но по обыкновению не буквально, и освободил лицо Стриндберга от груза лба и черепной крышки, отчего оно выиграло в благообразии, но потеряло в грозной значительности. Все же не искажение облика взорвало Стриндберга, для этого он был слишком умен, а странное прозрение художника, обрамившего портрет зыбко-волнистыми линиями, таиншими абрис женской фигуры. Стриндберг усмотрел в этом дерзкую попытку проникнуть туда, куда он никого не пускал, и на последнем сеансе вынул пистолет со взведенным курком и сказал глухо: «А ну без вольностей!» Так под пистолетом и дописывал Эдвард портрет. И было в этих опасных мужских играх что-то такое жалкое, бедное, что душа ее не выдержала. Конечно, ей пришлось сразу же раскаяться в своем добром порыве, Стриндберг не понял жеста милосердия, решил, что теперь обрел права на нее. Быть может, потому и погоропилась она выйти замуж за Пшибышевского, мягкого и взрывчатого, нежного и извительного, всегда воодушевленного, искрящегося, а главное — доброго, доброго. О его болезни она ничего тогда не знала, но, если б и знала, не изменила бы своего решения. Кто из окружающих был до конца нормален?.. Брак с ним разрубил страшный узел, почти стянутый Стриндбергом на ее судьбе. И еще один узел мог развязаться, хотя она никогда об этом прямо не думала, избегая ципизма даже в мыслях, но не запрещено же было надеяться в тайнике души, что с замужней женщиной Эдвард отбросит осмотрительную щепетильность. Супружескую верность не слишком щадили в их среде, к семейным добродетелям относились с насмешкой.

О горестный закон несовпадений! Она так же тяжело помешалась на Эдварде, как Стриндберг на ней. А Эдвард?.. Конечно, он не был равнодушен, иначе откуда такая одержимость ее образом? Она была для него и той девочкой-подростком, что затаилась на огромной кровати, потрясенная наступившей зрелостью, и вампиром, пьющим кровь из затылка жертвы, и крылатой когтистой гарпией над растерзанным мужским трупом, и прелестной невинной девушкой у окна, босоногой, в легкой рубашке, и той отчаявшейся, с распущенными волосами и обнаженной грудью, у которой остался лишь пепел чувства. Мучаясь загадкой женщины, Эдвард неустанно вызывал ее дух, словно лишь в нем чаял найти разгадку. Он мог смешать ее черты, пзоощренно затуманивать сходство, прятать его в наивных и злых искажениях, и все же она неизменно присутствовала во всех грехов-

ных, целомудренных, порочных, поэтичных, горьких и сладостных видениях Эдварда.

И оставалась музыка в ночном опустевшем танцевальном зале старого берлинского кабака, и бесконечный, почти неподвижный вальс, и поцелуи под мерцающим в полумраке незрячим взглядом Пшибышевского. И когда терпеливое смирение уже рвалось из груди сухим рыданием, Эдвард пригласил ее к себе в мастерскую.

В убогой студии с голыми стенами, обшарпанным полом и рухлядью вместо мебели был накрыт стол, золотилось горлышко шампанского. Эдвард, которому крайняя неряшливость мешала казаться элегантным, даже когда на нем были хорошие модные вещи, на этот раз выглядел безукоризненно: светлый фланелевый костюм, крахмальная сорочка, галстук-бабочка. Хлопнула пробка. «За вас!» — сказал он, и глаза его потемнели. Она залпом осушила бокал. Он сразу налил еще. «За нас!» — успела она сказать.

Когда бутылка опустела, он провел ее в маленькую спальню с окном во всю стену. «Разденьтесь, прошу вас!» — странно, проникновенно сказал он и вышел. Заранее решив ничему не удивляться, она покорно сняла одежду. Он вошел, внимательно посмотрел на нее обнаженную.

— Я только сделаю набросок углем.

Она ничего не ответила, закрыла глаза. В темноте слышала, как колотится под ребрами сердце и шуршит уголь по картону.

— Женщины Кранаха кажутся мне прекрасными, — сказал Эдвард, — но ты лучше женщин Кранаха. Сейчас я прибавлю краски.

Она быстро уставала и боялась, что это отразится на линиях тела. Долго ли еще продлится нежданный сеанс? Очевидно, желание приходит к этому невероятному человеку через его искусство. Остается терпеть. И тут он сказал:

— Спасибо! О, спасибо тебе, Дагни, что ты пришла и была такой милой. Я никогда не забуду... — И деловитым тоном врача, окончившего осмотр: — Можешь одеться.

Она была так ошеломлена и подавлена чудовищным свиданием, что свизошла к Стриндберговой мольбе. Нужно было вновь поверить, что она еще женщина. И тут как раз Пшибышевскому зачем-то понадобилось выступить в классической роли мужа-лопуха. Поиграв не слишком убедительно пистолетом перед ее лицом, он послал вызов Эдварду. Это было глупо, и ей совсем не льстило, чтобы в ее честь началась пальба. Да еще по ложной цели. Это потом, когда все осталось позади, сгнуло в густом тумане, она выстроила картину дуэли, достойную стать легендой. А тогда она ничего не знала, не чувствовала, кроме смертельной усталости. Она разом постарела лет на десять.

Конечно, они много дали ей, эти люди, до встречи с ними она была зеленой девчонкой, несмотря на свои двадцать четыре года и все исписанные страницы. А с ними стала мудрой, как змий, и узнала столько о величии и низости человека, что не снилось, не мерещилось всем ее норвежским сверстникам. Ее опажнуло могильным хо-

лодом Стриндберговых пучин, жгучей болью мунковских кошмаров, мозг и душу напрягали патетика и молитвенный экстаз Пшибышевского, ей открылись миры Метерлинка, Гофманшталя, эротический фейерверк Ведекинда, утонченные символы Бердслея и ядовитые — Флильсена Ропса. Но какие-то загадки так и не разгадалась, а запутались еще сильнее, переизбыток обернулся страпным оскудением, и родники собственного творчества потухли. К тому же Эдвард колебал ее уверенность в себе как в женщине. И она ошеломленно обнаружила, что эти богачи обворовали ее. Подобно гриммовскому заколдованному корыстолюбцу, они превращали в золото все, к чему ни прикасались. Им шло на пользу, когда их не любили, обманывали, унижали, заставляли страдать, мучиться. Они ничего не потеряли во всех передригах проклятой и благословенной берлинской жизни. Они бражничали, бесчинствовали, бесились, страдали от любви и ревности, а в результате не растрчивались, а приобретали. Эдвард овладел недоступной ему прежде графикой и сразу стал королем. Заблестали новые грани громадного таланта Стриндберга. А неизвестный Пшибышевский взлетел на литературный Олимп. Она же, их муза, источник стольких озарений, радостей и мук, предмет неистовых вождений и смертельных ссор, растеряла все, что имела, осталась нищей. Ну, конечно, она приобрела жизненный опыт. Но это благо для писательницы, а просто женщине, какой она стала, опыт ничего не дает, кроме привкуса горечи в каждом глотке.

— Нет, Пшибышевский пока один, — отозвалась она на невысказанный вслух вопрос. — Хотя тут мои сведения, возможно, и устарели...

Так протекал их разговор, который правильнее было бы назвать монологом, прерываемый паузами — для него почти неприметными, для нее весомыми, как та жизнь, что успевала нахлынуть и обременить сознание. И вдруг она не смогла понять, к чему относится знак вопроса в его расширенных любопытством зрачках.

Не найдя ответа внутри себя, она недоуменно повела глазами и увидела Баярда. Незамеченный и непредставленный, Баярд напрягался гневной обидой. До чего же утомительный человек!.. Как бишь его?.. Господи, ну почему его имя, словно мелкая монета, все время заваливается в какую-то щель! Ладно, а этого петербуржца как зовут? Он вроде бы назвал себя. Надо же быть такой рассеянной и беспамятной!

— Познакомься, милый, — сказала она на «ты», нарочито хриловатым простонародным голосом, который должен был превратить нарушение приличий в эдакую «свойскую» манеру, якобы оживленную в ней посланцем юных дней. — Старый знакомый по Берлину, петербуржец, известный журналист, а главное, отличный парень.

И, поддаваясь гипнозу, человек, которого она не помнила, вскочил с радостным видом.

— Весьма польщен!.. Карпов... Николай Мпхалыч...

— А это мой Баярд, — сказала Дагни на басовых нотах нежности, какой сейчас вовсе не ощущала. — Мой дорогой, единственный... Мой белый рыцарь!..

Карпов собрался было сунуть руку белому рыцарю, но, остановленный ледяным полупоклоном, раздумал, часто закивал, словно китайский болванчик, и вытиснулся из-за столика.

— Разрешите откланяться, — бормотал он, отступая. — Очень рад, что удостоился... очень, очень рад...

— Кто этот господин и чему он так радуется? — деревянным голосом спросил Баярд, чопорно опускаясь на шаткий стул.

Она не выносила подобного тона, но сейчас испытывала благодарность к своему тягостному спутнику. Ей нравилось, как решительно и беспощадно изгнал он пронырливого господинчика. Она уже сердилась на себя за глупую открытость, к тому же слишком много сора взметнуло со дна души этим разговором. Жаль, что Баярд не пришел раньше. Какое все-таки счастье, что у нее есть этот простой и надежный человек. Владислав его зовут, вот как! А фамилия почему-то немецкая — Эшенбах, нет, Эмен... Да черт с ней, с фамилией! Человек важнее. Что имя — звук пустой. Человек. Мужественный. Прямой. Без вывертов. Земная персть, презрительно говорил Пшибышевский о слишком заземленных людях. Какая глупость! Значит, прочно связан с матерью нашей землей, а не парит в мистико-символических болотных испарениях.

— Владислав, — сказала она и повторила — авансом на будущее, когда опять забудет, как его звать: — О мой Владислав!.. Нет, мне не хочется пазывать вас так, — опять уместная предосторожность. — Это для других, а для меня вы Баярд, рыцарь без страха и упрека. Зачем вам этот человек, призрак из небывших времен?

— Я спросил, кто он? Вы не хотите говорить?

— Откуда мне знать? Маска. Икс. Нетаинственный незнакомец. Неужели вы хотите, чтобы я помнила всякую шушеру, которая крутилась вокруг нас в «Черном поросенке»?

Она еще говорила, а уже злилась на себя за промашку. Все было хорошо, но зачем «вокруг нас», фраза существовала и без уточнения. Баярд немедленно придрался:

— Как высокомерно!.. «Вокруг нас»!.. Вы, конечно, считали себя центром мироздания?

— Выпейте вина.

— А если этот человек так ничтожен, зачем было сажать его за столик?

— Стоит ли придавать значение подобной чепухе?

— Вы отлично знаете, что это не чепуха. Вы готовы якшаться с кем попало, если он возился в той же клоаке... — Он осекся, поняв, что зашел слишком далеко.

Дагни многое осуждала в своем прошлом, но не любила, когда это делали другие. Особенно Баярд. Хотелось верить в его великодушие. Не так уж щедро взыскал он достоинствами, чтобы терять одно из них, быть может, важнейшее. Хорошо, что он замолчал, — значит, понял... Внезапно она вспомнила, что Баярд когда-то замешивался в свиту Пшибышевского. До встречи с ней он был вечным студентом. Трудно поверить, но что было — было. Это не редкость, когда человек не ведает своей сути, живет не свою, а чужую, случайную жизнь.

Нужно какое-то событие, удар, болезнь, потеря, неожиданная встреча, словом, мощная встряска, чтобы он открыл самого себя и стал собой. А Владислав мог не спешить с самоопределением, он был богатенький и спокойно пропускал жизнь мимо себя. Знакомство с ней пробудило Владислава от спячки, вдохнуло душу в глиняный сосуд. Он сразу возненавидел Пшибышевского и весь его круг. За короткий срок шатун студентик неузнаваемо изменился не только внутренне, но и внешне, его плоть налилась и окрепла под стать осознавшему себя и свою цель духу. Из неестественно задержавшейся юности он сразу шагнул в прочную зрелость. И когда она рассталась с Пшибышевским, он был вполне готов для роли спасителя. Ах ты мой спаситель толстомордый!..

— Милый, — Дагни накрыла рукой его руку. — Вы устали? Это далеко? Почему вы не взяли извозчика?.. Такая жара!..

— Вы же знаете, я хороший ходок и не боюсь жары, — голос уже отмяк. — Я все сделал, поменял деньги, они пытались надуть меня на курсе, но со мной такие фокусы не проходят. Договорился с проводником на завтра. Мы поедем осматривать Джвари.

— Что-о?!

— Джвари, — повторил он небрежно, гордясь тем, что так легко произносит слово, о котором можно язык сломать. — Это развалины древнего монастыря. А потом Светицховели.

— О господи! — Дагни беспомощно огляделась. — Как вы ска-зали?

— Светицховели. Старинный храм.

Она уже поняла, что он вычитал эти названия в туристском проспекте. У него была изумительная механическая память. Он свободно говорил на пяти-шести языках и помнил кучу всевозможной чепухи, но надо было продолжать восторгаться.

— Вы чудо!.. — слова не шли, и она сказала самое простое, что избавляло от дальнейших излияний: — Я люблю вас, — и чуть не заплакала над обезцвевшимся вмиг самым дорогим на свете словом...

У них была нежная ночь. Ушел он под утро, ему необходим хотя бы четырехчасовой сон, чтобы чувствовать себя бодрым и свежим. Ей же безразлично — спать много или мало. Пробуждение неизменно оборачивалось кошмаром, а бодрой она себя никогда не чувствовала. Но несколько рюмок вина и папиросы помогали ей держаться. Бледный свет просачивался в окно сквозь редкую ткань занавесок. Она раздвинула занавески. В бесцветном пустом небе висел слегка подрумяненный по бледному золоту еще невидимым солнцем рожок месяца. Она вспомнила, что Эдвард не узнавал в месяце луну. «Куда девалась луна? — тревожно спрашивал он в одну из душных берлинских ночей, когда они возвращались из «Черного поросенка», скребя тротуар заплетающимися ногами. — Я не вижу больше луны, только этот проклятый серп. Он хочет полоснуть меня по горлу». — «Опомнись, Эдвард, — пытался вразумить его Пшибышевский. — Неужели ты не узнаешь молодую луну?» — «Какую еще луну? Где ты видишь луну? — кричал Мунк с отчаянием. — Луна круглая, это знает

каждый ребенок. Луну украли!» И он зарыдал. Даже дикарю ведомо, что луна не только круглая, что она рождается из тонкого серпика и в серпик же изживает себя. А вот Мунк не знал, на то он и Мунк, чтобы знать скрытое от всех мудрецов земли и не знать то, что известно каждому. И Дагни заплакала. Она не плакала с детства, не умела этого делать. Grimасы плача причиняли ей боль, слезы неприятно размазывались по лицу, из носу текло. Она плакала, как девочка-замарашка, и была сама себе противна. Но остановиться не могла...

А утром они отправились на экскурсию в сопровождении бронзово-смутого поджарого проводника с узким, как лезвие ножа, интеллигентным лицом, хотя выглядел он бродягой: грязно-белый полотняный костюм, разношенные, спадающие с ног шлепанцы. Держался он свободно, на грани развязности, с откровенным восхищением смотрел на Дагни и плевать хотел на грозно хмурившего брови Баярда. Поняв, что вольного сына гор не проймешь, Баярд махнул на него рукой. Проводник прекрасно говорил по-немецки, но, верно, не был профессиональным гидом — слишком нерасчетливо тратил себя на восхваление окружающих красот и достопримечательностей. При таком энтузиазме настоящий гид давно бы выдохся и опемел, а этот тараторил без умолку, то и дело взбегал на какие-то кручи летучим шагом сухих оленьих ног, что-то выглядывал с высоты и длинными скачками устремлялся вниз. Он упоенно любил эту знойную каменистую землю и хотел, чтобы чужие люди полюбили ее.

Несмотря на ранний час, июньское солнце палило нещадно, от тропы валило жаром. Простор был повит знойной зыбью; так и не набравшее синевы небо поблескивало белыми слепящими точками, будто в нем что-то лопалось от перегрева. На скальном выторчке сизый голубь рылся клювом в грудных перьях, распластав металлическое раскаленное крыло.

Пока Дагни и Баярд карабкались на холмы к монастырю Джвари, Автандил, так звали проводника, успел дважды взбежать на вершину. Он был очень возбужден, декламировал стихи по-русски — чуткое ухо Дагни уловило их энергию и музыкальность и два знакомых слова: «Арагва», «Кура», — пел, размахивая руками, силясь заразить холодноватых чужеземцев своим восторгом. Дагни улыбалась ему, но что могла она поделать, коли душа ее отзывалась лишь современности и городу? Конечно, тут было красиво. Далеко внизу сливались две воды, золотисто сверкали песчаные отмели, и большая птица недвижно висела в пене. Но водосточные трубы Парижа, решетка бульвара Сен-Мишель, осенний листопад над длинным Карл-Йоганном, даже узкая мутная Шпрее — река самоубийц — говорили ей куда больше.

И все же, когда они стали на вершине и взору открылись голубая левта Арагвы и желтая Куры, Военно-Грузинская дорога, уходящая в сиренево-розовую тайпу гор, плоские крыши Мцхеты, сверкающий белизной собор Светицховели, скорлупа равнодушная лоппула — Дагни словно приподняло над землей. Она обернула к Баярду счастливое лицо. Тот не смог отозваться на ее радость — что-то за-

писывал в блокнот под диктовку проводника. Он все время вел записи в дороге, но не показывал их Дагни. Правда, она и не любопытствовала, а стоило бы взглянуть, что он там царапает. Но сейчас ей не хотелось иронизировать над педантизмом Баярда, правилась волевая определенность его натуры, обязательность даже в отношении пейзажа и руин.

Переводчик рассказывал о Джвари, о его строителях, о первых христианах в Грузии, а Баярд прерывал его короткими вопросами: «В каком веке?», «Год?», «Кто именно?»

Затем они вошли в прохладное, источающее легкий запах тлена нутро монастыря и осмотрели узкие высокие кельи с просквоженными солнцем ножевыми рассеками окон. Дагни тщетно пыталась растрогать себя мыслями о томившихся здесь и умерщвлявших плоть подвижниках новой веры, а мозг точило: упрямое безумие одних не дает счастья другим. Она завидовала Баярду, который осматривал монастырь так серьезно, озабоченно и придиричиво, словно намеревался его купить. Сильная ее женственность обычно тускнела в присутствии Баярда, но сейчас она радостно откликалась каждому его слову, движению, жесту, даже недостатки его привлекали своей постоянностью. Он был другой, не такой, как прежние люди, водившие вокруг нее бесовский хоровод, но в том и заключалась его спасительная необходимость. И пусть он ощупывает ветхие стены хозяйской рукой, пусть задает ненужные вопросы проводнику и что-то царапает в своем блокнотике, он ее надежда, ее будущее...

А потом опять нагретое пахучее нутро извозчицей пролетки, теплый ветерок, благостная прохлада, онахнувшая лица, когда переезжали мост через Куру, булыжная кривизна узких улиц Мцхеты, тяжелая, истомившаяся зелень садов — а ведь лето только начиналось! — чуть захлебывающаяся речь проводника, воспевавшего древнюю столицу Грузии и ее собор, и странно легкая, погруженная в солнце громада Светицховели. Своим радостно-клеочущим голосом переводчик сообщил, что в храме есть моргающий Христос.

— Что это значит? — строго спросил Баярд, не любивший мистики.

— Вы сами увидите, — засмеялся проводник.

Но Баярда это не удовлетворило, и тот вынужден был дать пояснения. Забытый за давностью лет даритель пожертвовал храму изображение Христа кисти неизвестного итальянского художника. Полотно, хоть и мастеровито, особой художественной ценности не представляет, но отличается любопытным свойством: когда смотришь издали, глаза Спасителя кажутся закрытыми, но стоит подойти ближе, и Христос широко открывает свои темно-синие, опущенные густыми ресницами глаза.

— Какая чушь! — пожал плечами Баярд.

Дагни не терпелось увидеть таинственного Христа. Но проводник опередил ее. Не успела пролетка остановиться, как он спрыгнул на землю и со всех ног кинулся в маящий полумрак храмовых сводов. Забыв о Баярде, о своем возрасте, о всех приличиях, Дагни, как последняя девочка, побежала следом за ним.

Между колонн в позолоченной раме висело традиционное для поздних итальянцев изображение Христа. Юноша с мягкой каштановой бородой и прикрытыми в дреме голубоватыми веками. Дагни быстро прошла вперед, и веки юноши распахнулись навстречу ей, показав синие, с чернотой в рамках, печально-задумчивые глаза.

— Как это прекрасно! — воскликнула она, растроганная добрым символом.

Обернувшись простым, народным человеком, проводник звонко покнул языком: такое увидишь только у нас!

Подшел Баярд, строго глянул на Дагни, недовольно на Автандила, по-воепному одернул пиджак и шагнул к Христу. Мускулы его лица напряглись. Он немного отступил, снова пошел на сближение и пренебрежительно отвернулся.

— Чепуха, он и не думает открывать глаз.

Дагни взяла его под локоть и медленно, видя, как приоткрываются синие с черными крапинками глаза бога-сына, подвела к Христу.

— Фантазерка! — снисходительно усмехнулся Баярд.

Она смутилась. А вдруг он прав и всему виной ее проклятая жественность, заставляющая бессильно покоряться чужой воле? Ну, а проводник? Ему положено задурить головы приезжим.

В собор вошла русская семья: полная, рыхватая, загорелая по желтизне веснушек женщина, большая девочка, похожая на борзую костлявой утонченностью спины и конечностей, белобрысый, серьезный, испуганный мальчик лет пяти. Семья остановилась возле них. Мальчик о чем-то спросил мать, показав пальцем на Христа.

— Дядя спит? — умильно шепнул Дагни Автандил.

Мать легонько подтолкнула сына вперед. Мальчик заупрямился, тогда мать взяла его за плечи и подвела к Христу. У Дагни замерло сердце, казалось, сейчас решится ее судьба. Лицо мальчика скривилось мучительным удивлением. А потом он засмеялся, захолопал в ладошки, закричал. Мать нахмурилась и приложила палец к губам. Дагни не нуждалась в помощи Автандила — Христос открыл свои глаза мальчику. Дагни стало легко и горестно. Она повернулась и вышла из храма.

— Я никогда не поддавался внушению, — жмурясь от солнца, самодовольно заявил Баярд.

— Бедный человек, — тихо сказала Дагни, — бедный, бедный человек!

«Только не плакать! — приказала себе она. — Не смей плакать!»

Они подходили к пролетке, когда вывернувшийся невесть откуда Автандил шепнул ей в самое ухо:

— Иисус просто не выдерживает взгляда господина!..

Она оторопела от наглой догадливости проводника. Стоило его хорошенько проучить, чтобы не совал нос куда не следует. Ему не за это деньги платят. Но сильнее негодование была в ней мгновенно проснувшаяся жалость к Баярду. Бедный, в самом деле бедный, если уж проводник в грязных обносах позволяет себе подшучивать над ним. Она сделала вид, будто не расслышала ядовитого шепотка. Ко-

нечто, сам Баярд вовсе не считает, что потерпел поражение, напротив, окружающие кажутся ему жалкими фантазерами. Гордится, дурак несчастный, трезвостью своего уравновешенного ума. И ей захотелось возвысить Баярда, чтобы забылась глупая неудача, чтобы она снова поверила скромному превосходству его заурядности, но, не зная, как это сделать, безотчетно прибегла к простейшему способу — упизить перед ним других.

— Знаешь,— сказала Дагни, кивнув на белый рожок, будто заблудившийся в бесцветном небе.— Эдвард... Мунк,— поправились быстро,— верил, что когда-то на небе было две луны. Но одна упала и до сих пор валяется на Северном полюсе.

Баярд, нахмурившийся было при упоминании Мунка, довольно оттопырил губы.

— Оп что, совсем идиот?

— Ему сказал Стриндберг. Он верил всему, что тот говорил.

— Хорошо!.. И Стриндберг тоже. Придумать такое!.. Ничего себе, умные у тебя были приятели... Нет, ты меня огорошила — луна упала на Северный полюс!..

А почему бы и нет? Ты-то откуда знаешь? Да, упала и лежит во льдах, одинокая, стынущая, и плачет по небу, которого лишилась, и по другой, оставшейся там луне.

— Почему только тебе не открылись его глаза? — пропзнесла она вслух.— Почему именно тебе?

— О чем ты? — не понял Баярд, все еще наслаждавшийся непроходимой глупостью Мунка.

— Не то страшно, что тебе не открылись его глаза, но то, что ты не веришь, будто они открываются другим. Ведь не веришь, не веришь? — спросила она жалким голосом.

— Веди себя прилично,— оглянувшись на проводника, прошипел Баярд.

Они не разговаривали до самой гостиницы. Воспользовавшись тем, что он стал расплачиваться с извозчиком и проводником, Дагни быстро поднялась наверх и заперлась в номере. Напрасная предосторожность — он не постучал.

После тщетных попыток заснуть Дагни сполоснулась над фаянсовым тазом и спустилась вниз. Она заняла давешний столик, спросила копченой бастурмы и бутылку циннадалы.

Она только успела запить кусочек острого, приперченного мяса глотком холодного вина, когда мимо шмыгнул петербургский любознатец, сделал вид, будто не заметил ее.

— Вы!.. — крикнула она, поперхнувшись.— Вы!.. Подите сюда!

Мгновенно обернувшись, Карпов искусно сыграл радостное удивление.

— Садитесь! — приказала Дагни.— Пейте! — Она выхватила салфетки из высокого стаканчика и всклень наполнила его вином.— Знаю, знаю, у вас печень, почки, сердце, желчный пузырь. У всех печень, почки, желчный пузырь и прочая требуха, вот только насчет сердца не уверена. Плевать! Выпьем за свинство черного поросенка и за погибель больших свиней!

Бедная Дагни Юль, с молодых ногтей втянутая в эстетические бесалии самой уточенной литературно-художественной среды того времени, всерьез считала, что на сцене жизни положено играть лишь гениям, а всем остальным отведена роль толпы. Она не желала считаться с каким-то Карповым.

Неуверенно усмехаясь, Карпов сделал глоток, просмаковал, глотнул еще, улыбнулся Дагни не без игривости и залпом осушил стакан.

— Молодцом! Из вас еще можно сделать человека. Скажите, — Дагни приблизила свое лицо к Карпову. — Вам открываются глаза Иисуса Христа?

Неизвестно, заглядывал ли Карпов в собор Светицховели, но он был не только петербургским журналистом, сомнительной столичной штучкой, прихлебателем на пиру небожителей, но и загадочным, многослойным, непрозрачным, со всякой всячиной русским человеком, он не удивился, не отпрянул, привял вопрос как должное, хотя, может, и не с того конца, и заерничал в ответ витиевато:

— Смирением и кротким духом открывает Иисус благодать очей своих и сладостный вертоград божественного милосердия. — И жутковато добавил: — Жалки не сподобившиеся узреть очи господни.

Неужели он догадался?.. Быть не может! И все-таки в этом скромнике сидит русский черт. Не зря его привечали в «Черном поросенке». Ей-богу, мы могли бы провести с ним отличный вечер. Необходимо встряхнуться после всех храмов, монастырей, ущелий, долин, пенных струй, наставлений, высокопарных банальностей, плоских сентенций, перевести дух и набраться сил на будущее. Только бы нам не помешали!..

Но им помешали, и довольно скоро. Они прикачивали вторую бутылку, когда Баярд с сизым от гнева лицом возник у их столика и, не поздоровавшись с Карповым, бросил ей задышливо:

— Прошу вас!..

Надо отдать должное Карпову: он мгновенно подавил естественный порыв любезности и сделал вид, будто не замечает Баярда, но черты лица заострились готовностью дать отпор. Неужели опять пистолеты? Какая тоска! И только из отвращения ко всем этим петушьим делам она встала, кивнула петербуржцу и последовала за Баярдом...

Это был самый тяжелый разговор с начала поездки. Она умела отключать слух, и первые несколько минут яростный захлеб оскорбленного себялюбца и собственника просто не достигал ее ушей. Но потом барабанившие по черепу слова стали проникать в сознание.

— Вы задались целью унижать меня. Вы кокетничаете с проводниками, с официантами, со всякой шушерой из померов!..

Пора было вступать:

— И вы ревнуете меня ко всякой шушере? Вы — такой гордый!..

— Ваша ирония неуместна. Да, у меня есть самолюбие, есть гордость, наконец. Конечно, для вас, проведшей жизнь среди богемы... — слово показалось ему то ли слишком мягким, то ли слишком поэтичным, а таким оно и стало с легкой руки Пуччини, и он придумал другое, — среди подонков, все это пустой звук.

«Милые подонки! — подумала она с внезапной нежностью. — Даже в пьянстве, скандалах, ссорах, в распаде и безумии вы никогда не опускались до тривиальности. Ваша речь всегда оставалась драгоценной, вы и падали не вниз, а вверх».

— Этих, как вы изволили выразиться, «подонков» знает весь мир, — устало произнесла она.

— А меня не знает никто! — подхватил он. — Они артисты, гении, а я «персть зем-ла-я». Так пазывает ваш бывший муж-дегенерат нормальных людей?

— Откуда вы знаете? — искренне удивилась она. — Неужели он говорил это при вас?

— Посмел бы он! Сказали вы в день нашего знакомства, когда шампанское порядком затуманило вашу слабую голову.

— Вы еще и злопамятны?

— Нет, просто у меня хорошая память. А скандальная известность ваших мужей и любовников претит каждому человеку со вкусом.

— Пусть так... Только при чем тут мои мужья, я, кстати, была всего лишь раз замужем, и любовники, что вы вообще о них знаете?

— Достаточно, чтобы презирать всю эту нечисть! — Его трясло от бешенства. — Вы созданы ими... вы пропитаны их мерзким духом, как вокзальный буфет запахом пива и дешевых папирос.

Ого, он, кажется, разразился художественным образом? Жалким, под рукой лежащим, по все же... Лишь сильное, искреннее чувство может высечь искру из такой деревянной души. И она пожалела ревнивого, самолюбивого, ограниченного, но преданного ей человека.

— Это жестоко и несправедливо. Вы знаете, как я настрадалась. Если бы не вы...

Старый прием еще раз сработал. Он несколько раз глубоко вздохнул, краснота сбежала с лица.

— Я люблю вас, а любовь не бывает справедливой.

«Боже мой! — вновь поразилась Дагги. — Кажется, его осенила мысль! Настоящее обобщение! Прежде он способен был только на установление факта. Любовь и страдания развивают его, и это было бы прекрасно, если б не лишало меня тишины. Тогда зачем он мне?»

— Ваша любовь должна быть справедливой, — сказала она серьезно и мягко. — Оставьте судороги слепых чувств другим. Вы же не такой, вы рыцарь. Я так вам верю! У меня нет ничего, кроме вас.

— К сожалению, у вас есть прошлое, — сказал он ледяным тоном и сразу вышел, громко хлопнув дверью.

Впрочем, дверью хлопнул не он, а сквозняк. Окно было открыто, и белая занавеска на миг вспучилась животом беременной женщины. Не хватало еще, чтобы он хлопал дверьми, — омерзительный, ненавидимый ей с детства жест, каким ее отец, слабый и раздражительный, завершал все объяснения с матерью. Было что-то символическое в вульгарном шуме, поставившем точку на злом и безнадежном разговоре. Но что значила его завершающая фраза и, главное, тон, каким она была произнесена? Желание, чтобы последнее слово оста-

лось за ним? Боязнь, что он слишком рано капитулировал? Какое-то созревшее в нем решение?..

У Дагни разболелась голова — впервые после берлинских бдений под стреляющее в небо шампанское. От игристого этого напитка голова по утрам разламывается, и надо немедленно что-то выпить, дабы уцелеть. Эдвард говорил: по утрам пьешь, чтобы протрезветь, весь остальной день, чтобы напиться. Как только выдерживала она такую жизнь?..

Она приняла таблетку от головной боли, снотворное и до ужина избавила себя от мыслей, памяти, сожалений, страхов. Проснувшись уже в сумерках, слышала, как он стучался, негромко, но настойчиво, и не отозвалась. Дверь не была заперта, в чем легко убедиться, повернув ручку. Конечно, он не сделал этого, ибо все равно не позволил бы себе войти без разрешения. Обычная деликатность вернулась к нему. Он выздоровел и опять был ее белым рыцарем. Жаль, что уже не скажешь: без страха и упрека. Прозвучали взаимные злые упреки, страх поселился между ними. Она и сама не знала, почему не откликнулась на его терпеливый призыв. Ей очень хотелось есть, да и надоело валяться в душном, застойно нагретом за день номере. Дагни осторожно, чтобы не скрипнули разошедшие половицы, подбралась к окну и ощутила слабый ток чуть остывшего воздуха. Проклады еще не было, но вскоре его повеет с повлажневших листьев дикого винограда, платанов, пирамидальных тополей. Хорошо бы окатиться холодной водой, надеть легкий костюм из холстинки и спуститься в духан, где пресные лепешки и кислое вино, молодая баранина на вертелах, пахучие травы и острые соусы, крепкий кофе в медных кувшинчиках, но лучше перемочь это желание и взамен соблазнительных яств принять еще таблетку снотворного, избавляющего от голода и жажды.

Она так и сделала, но сразу поняла, что сон заставит себя ждать. Недавнее тягостное, ничего не объяснившее объяснение расстрожило ее больше, чем можно было ждать. В речи проскользнули новые жесточенные нотки, характер Баярда повернулся незнакомыми гранями, и озадачил уход, нарушивший традицию их размолвок. И было еще что-то остро неприятное, чему она не находила названия.

Дурные чувства не заставались в душе Дагни. Она не держала зла на Баярда, и сейчас ее томили не злоба, не обида, а неодолимое, зудящее стремление разобраться в случившемся. Что-то ложное, не соответствующее его сути проглянуло в Баярде. Ну зачем ему тягаться с теми, великими и безумными? Ведь его главное преимущество в простоте и заурядности, не надо бояться этого слова. То и жизне-способно на земле, то истинно служит делу жизни, что заурядно. Все отклонения, какими бы яркими, блистательными они ни казались, уродливы. Единственное оправдание исключительных личностей в том, что они развлекают обывателей. Как ни парадоксально, но дело обстоит именно так. И надо брать их прекрасное искусство, но боже упаси сближаться с человеческой сутью. Уж она-то знает, чем за это расплачиваются. Ее душа устала, она не хочет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало о них. И так они слишком властно, неумолимо

властно лезут в память. А сегодня Баярд впервые грубо, прямо и бездарно да еще завистливо заговорил о них. Она-то думала, он их в грош не ставит, и презирала за тупое высокомерие и вместе ценила это его свойство, препятствующее появлению призраков. А он, оказывается, ведет счет с прошлым, и туда обращена его ревность. Случайные людишки, громоздящиеся вокруг, — лишь повод, чтобы устремиться ревнивым чувством к теням минувшего. Зачем он так усложняет свой образ? На своих широких плечах он должен нести мир тишины, добра и покоя, залитый ясным дневным светом. Лишь сойдясь так близко с гениями, начинаешь по-настоящему ценить простых людей. Упаси его боже от заразы демонизма! В любом обличье демонизм невыносим, но нет ничего хуже заимствованного, поддельного демонизма.

Наконец она уснула...

Утром, за завтраком, они вели себя так, будто ничего не произошло. Вчерашнего не касались. Возможно, это было неправильно. Ведь были сказаны жестокие, ранящие слова, нарушены какие-то табу, что-то кончилось, что-то новое начиналось, и разве можно с легкой или даже отягощенной душой молчаливо вернуться к прежней форме отношений? Ну, а разве объяснения на холодную голову что-нибудь дают? Сказанное в запальчивости, в гневной схватке оправдывается раскаленным, неуправляемым чувством. Черствые именины ссоры куда опасней: тут правит ничего не забывающий разум. И возможно, они были правы, не выясняя отношений, не играя в испытанные игры: раскаяние, взаимопрощение, борьбу великодуший. Да ведь бывает в жизни и такое, когда любой путь ведет только к поражению...

Баярд был подчеркнуто внимателен и старомодно любезен, отточенно вежлив — эдакий джентльмен в викторианском духе, Дагни же чуть-чуть, в строгих пределах хорошего вкуса притворялась девочкой, потерявшей в толпе мать. Каждому из них роль, взятая на себя другим, была удобна. К концу завтрака они загнали болезнь так глубоко внутрь, что оба искренне поверили в полное выздоровление.

Они ездили осматривать очередное ущелье, и Дагни заставляла себя не улыбаться голубоглазому красавцу проводнику, не прибегать к помощи его руки, плеча, чтобы переступить какой-нибудь завал, прыгнуть с камня на камень. Беспомощно звала она на помощь Баярда, и он не заставлял себя ждать. Приятно было опереться на его твердое плечо. Поколебленное чувство надежности, защищенности вновь окрепло. Вернулось доверие, и душа ее стала нежной и легкой. А кто подарил ей эти мгновения упоительной беспечности после стольких лет терзаний и бурь? Милый, милый Баярд!..

Порой она ловила на себе его странный, боковой, подозрительный взгляд. Ей становилось не по себе от этого подглядывания, но она гнала прочь беспокойство. Не надо копаться в мелочах случайных впечатлений, как воробей в навозной куче. Ну, воробей хоть зернышко себе нахлопочет, а чересчур дотошный аналитик останется при навозе без съедобных зерен. Нельзя, нельзя так подробно жить, каждое лыко в строку ставить. Наверное, он хочет убедиться, что она действительно отбросила вчерашнее, возможно, слегка завидует

ее отходчивости, немелкости. Пусть смотрит, пусть удивляется, пусть завидует, ему это только на пользу. Надо уметь сметать мусор с души. Она это умеет, а ему предстоит научиться.

Дагни искренне была уверена, что до конца, до пылинки разделалась со всем дурным. Аксиома здравомыслия: ничто не исчезает в матерьяльном мире. Дух, как известно, неотделим от материи и, стало быть, подчиняется тем же законам: ничто не исчезает в жизни духа, только меняет форму. И если бы Дагни могла наблюдать себя со стороны, то, возможно, обнаружила бы в своем поведении, в еле приметных штрихах, а порой и в резких смещениях воздействию неких новых сил...

И в тот вечер в дымно-пахучем духане, куда их пригласили инженеры-железнодорожники (один из них оказался знакомым Баярда), Дагни, вновь охваченная радостью бытия, в привычной роли пользующейся успехом женщины была неведомо для самой себя немного другой Дагни, чем прежде, когда на стволе ее душевной жизни не насклось последней зарубки. Она бы искренне удивилась, если бы узнала, что ее свободные, уверенные манеры отдают вызовом. Как будто она доказывает кому-то: да, я такая!

Она много пила, уверенная, что вино на нее почти не действует, лишь прибавляет блеска зрачкам и яркости улыбке. Возбуждал успех, восторженные взгляды мужчин, атмосфера вспыхнувшего между ними соперничества, сознание, что она вновь стала центром, вокруг которого вращаются миры надежд, вожделений, самолюбий. Она испытывала тот давно забытый подъем, который превращал ее не в красавицу — о нет! — в женщину полотен Мунка. И тот, кто хоть раз видел такое вот вознесенное лицо Дагни, потом уже не мог видеть ее другой: поблекшей, усталой, безразличной.

Ах, как весело было Дагни за длинным деревянным отскобленным столом, уставленным горамп мяса и зелени, бутылками и кувшинами! И пусть Баярд слышит, как поет ее ни в чем не повинная, но свободная, лишь добру покоряющаяся душа. Она радостно принимала пустоту велеречивых тостов, искреннее восхищение и двусмысленные комплименты, робкое и нагловатое ухаживание, слишком пламенные взгляды и слишком затянувшиеся для простой галантности поцелуи в запястье — в наказание за дерзкую выходку. Конечно, мужчины не были безукоризненны в своем поведении — шумны, развязны, — чему способствовала и неясность семейного положения Дагни (в России с этим считаются), и раскованность ее манер, и самое место кутежа, и обилие крепкой чачи и красного вина. Дагни все это не смущало, ее прежние друзья тоже не отличались в подпитии сдержанностью, правда, и вульгарности в них не было. Но нельзя же требовать от кавказских инженеров тонкости Мунка или Пшибышевского. В них была своя грубоватая живописность. И трогала их мгновенная наивная влюбленность. Они хмелели не столько от воздействия, видимо привычных их крепким головам, сколько от ее присутствия. Быть может, не стоило старшему из них так низко наклонять к ее груди седеющий бобр, скашивая за корсаж темный маслянистый глаз; не стоило и другому, молоденькому, безусому, нелов-

го — все заметили — подсовывать ей записочку, которую она тут же порвала, не читая; да и другим следовало бы несколько умерить тщетный пыл. Но, радостно защищенная угрюмым прищуром Баярда и собственной неуязвимостью, она не считала нужным мешавски одергивать назойливых ухажеров и даже шепнула молоденькому инженеру, готовому расплакаться от пудачи и унижения:

— В другой раз будьте хитрее, — чем спасла от отчаяния юную душу.

Вообще все кончилось куда благополучней, чем можно было ожидать по накалу страстей. Кого-то, наиболее шумного, увели, кого-то, наиболее ослабевшего, унесли, кто-то и сам ушел от греха подальше, остальным же пожилой инженер с бобрником, как-то разом протрезвев, командовал:

— Внимание, господа! Последний бокал за здоровье прекрасной дамы! Нам скоро в путь!..

И вот она уже в своем номере расчесывает перед зеркалом недлинные густые русые волосы. На душе как-то смутно после испытанного подъема, кажущегося сейчас несколько искусственным, к тому же Баярд, проводив ее до дверей, не вошел и даже не пожелал спокойной ночи, а сразу метнулся к своему номеру. Неужели он опять примется за вчерашнее? Господи, какая нухота! Да нет, быть не может. Просто выпил лишнее. Он не умеет пить. Прежде его порму составлял бокал шампанского да рюмка ликера к кофе. Правда, поездка в Грузию расшатала этого трезвенника, да и кто устоит перед местной лозой! Он перебрал сегодня, а у него слабый мочевого пузыря. Освободится и придет. Никуда не денется. Прошлую ночь она спала одна, а Баярд слишком прилежный любовник, чтобы манкировать своими правами ради пустой обиды. И он действительно пришел, без стука, чего за ним сроду не водилось, бледный, всклокоченный, в расстегнутой сорочке, левая рука закипута за спину, в правой недоставало пистолета для полного сходства с дуэлянтом.

— Что с вами?..

— Так дальше продолжаться не может! — Его трясло с головы до ног. — Вы осрамили меня, втоптали в грязь мою честь!..

О господи! Почему он говорит готовыми фразами из второсортной беллетристики? Он же враждался в кругу Шибышевского, посещал Ягеллонский университет, столько времени провел с ней. Ну, будь его гнев падуманным, притворным, куда ни шло, да нет же, он искренен, вот что ужасно!

— Перестаньте декламировать!.. Да еще так бездарно!..

— Ах, вот как!..

Пистолет был у него не в правой, а в левой руке, упрятанной за спину. Маленький, дамский пистолет.

Ну вот, наконец-то! Давненько она этого не видела. Что за страсть у мужчин к огнестрельному оружию? Это у них с детства — мальчишеское увлечение пугачами. Интересно, всем сколько-нибудь стоящим современным женщинам приходится часто быть под пистолетом или только ей так повезло? Неужели ему не стыдно разыгрывать эту комедию? Что простительно безумцам, не отвечающим за

свои поступки, то непростительно здравомыслящему обывателю. У тех все было всерьез, глаза блуждали, на губах пузырилась пена, смертельная бледность заливала лицо, и при этом они никому не причинили вреда. Легенды оставим в покое. Их пули либо оставались в стволах, либо летели мимо, как и тяжелые вазы, куски мрамора, пущенные в голову друга, в мгновение ока ставшего злейшим врагом, как и проблескивающая мимо горла соперника или изменницы смертопосая сталь. Милые сумасшедшие, они не могли никого убить. И вовсе не потому, что им не хватало силы, смелости или умения. Стриндберг был смел и решителен, Пшибышевский ловок и быстр, у Мунка гибкая, как сталь, рука и острый глаз, просто они не могли отнять жизнь у дышащего существа. Она подняла глаза и словно впервые увидела пустое лицо человека, с которым жила как с мужем и которого вовсе не знала. Недаром же она никак не могла запомнить его распространенной фамилии: Эмерих.

«А ведь он может выстрелить! — вдруг поняла она, и чудовищная угадка на миг доставила радость. — Может убить!..»

Так кто же все-таки сумасшедший: Мунк, Стриндберг, Пшибышевский или этот средний дурак, не ведающий ценности чужой жизни и вообще ценности чего-либо вне себя самого? Кого не страшит чужая боль, чужая кровь, чужая гибель. Так почему бы не выстрелить? Ведь это так приятно — выстрелить: гром, огонь, запах серы. С чего я взяла, что пахнет серой? Я же не знаю запаха выстрела. Сейчас узнаю. О нет, не успею узнать. Господи, я с ума схожу! Нет, нет, нет! Она любила жизнь, любила при всей своей усталости, измотанности, неудовлетворенности, при всех потерях и разочарованиях, но до этой страшной минуты сама не знала, что так хочет жить. Она испытывала не страх под наведенной на нее глупой и роковой игрушкой, а одуряющее, расширяющее сосуды, рвущее сердце, безумное желание жить. Быть, быть в этом тягостном и прекрасном мире, где все страдания выдуманы, ничтожны, смешны перед величайшим счастьем — дышать, просто дышать воздухом жизни.

— Не надо!.. Не надо!.. Умоляю!.. Дорогой, милый, самый, самый любимый!.. Я буду хорошей, послушной, я так люблю вас! Я никого никогда не любила... Только вас, одного вас... Ну, миленький!..

Она рухнула на колени и поползла к нему, ломая руки.

Человек, целившийся из пистолета, целившийся безотчетно, без какого-либо ясного намерения, вдруг очнулся. Он увидел безумный, унижающий страх женщины, вечно возносившейся над ним, и понял, что она ждет выстрела. Она допускает, нет, она уверена, что он выстрелит. Он обрел странную силу в этой ее уверенности. Теперь он понял, что может выстрелить, а раз может, то и должен выстрелить. И рассчитаться за все, доказать раз и навсегда, чего он стоит.

Он наклонился к женщине, отвел ее руку и выстрелил прямо в сердце. Как будто вылетела пробка от шампанского, так негромко был звук выстрела слабенького дамского пистолета.

Несчастный Владислав сам не ведал, сколь многому научился у

Дагни Юль и трех ее незримых спутников. На другой день он покинул с собой в номере гостиницы.

Убитой было тридцать четыре года.

Август Стриндберг пережил ее на одиннадцать лет.

Станислав Пшибышевский — на двадцать шесть.

Эдвард Мунк — на сорок четыре года.

ПЕРЕД ТВОИМ ПРЕСТОЛОМ



Бах подходил к дому, когда его окликнули. Он ждал этого оклика, уже издали уловив присутствие в окружающем пространстве своего соседа, члена магистрата, синдика Ганса Швальбе. Бах не мог разглядеть Швальбе в волглых осенних сумерках, и даже двухэтажный, с эркерами и башенками, нарядный дом синдика скорее угадывал по уплотнению тьмы, нежели видел, — ко времени нашего рассказа знаменитый кантор церкви святого Фомы начинал слепнуть. Он испортил зрение в отрочестве ночной, тайной перепиской нот и с каждым годом видел все хуже и хуже, а перешагнув за шестьдесят, уже не сомневался, что кончит дни в непроглядной тьме. Кто мог думать, что его ночные бдения над тетрадкой с нотами Фишера, Пахельбеля, Букстехуде и Бёме, которые он переписывал при лунном свете за неимением свечи, приведут к таким горестным последствиям? Он воспитывался после смерти родителей у старшего брата, чей пудный педантизм равнялся его же скаредности. Этот черствый человек считал преждевременным, даже губительным для несозревшей души прикосновение к столь серьезной и трудной музыке.

Но как ни страшила Баха неизбежная слепота, он не падал духом. Он знал, что музыка останется при нем и что в грядущей ночи его удел будет легче удела других слепцов. Взамен гаснущего зрения он обрел иную странную способность: слышать пребывающие в пространстве существа и предметы, даже когда они погружены в молчание. Бах догадывался: абсолютного покоя не существует и живые и мертвые тела пребывают в некой легчайшей, не уловимой глазом вибрации. Подобной же, но еще более тонкой вибрацией обладает и человеческая душа, и Баху дано было отзываться волнам, насылаемым на него скрытыми колебаниями тел и душ.

Потому и мог он идти бодрым шагом своих крепких ног, отмахавших в юности бессчетные версты, сквозь густеющие сумерки и колючую изморось, уверенно обходя препятствия, огибая выроставшие на пути незримые деревья, перепрыгивая через невидимые канавы, глубокие лужи, послушный тончайшим сигналам из окружающего мира. Лишь изредка спотыкался он на неровностях дороги, но от этого не убережен никакой острогляд.

Бессмысленно пытаться избежать господина Швальбе, коли им владеет противоположное намерение. Наставать на своем и в боль-

пом и в малом — его жизненная позиция. Он уже пытался раз оставить Баха, когда тот поспешал в отдаленную, за городской чертой церквушку послушать заезжего органиста, но Бах избежал разговора, сославшись на предстоящий нелегкий путь. Теперь у него не было отговорки, да и не стоило сердить господина Швальбе, уже сделавшего ему поблажку.

По правде говоря, Бах несколько опасался господина Швальбе. Будь он помоложе и почестолобивей, а это чувство и в молодости не слишком его отягощало, ныне же вовсе сникло, он опасался бы синдика куда больше. Швальбе принадлежал к тем наделенным властью людям, что могут сделать и много хорошего, и много дурного, но лишь для второго пускают в ход свое влияние. А Бах достаточно настрадался в жизни и от магистратов, и от консисторий тех городов, где ему доводилось служить. Правда, месяцем тюремного заключения он был обязан не жестокости городских властей, а самоуправству вздорного герцога Веймарского. И богоспасаемый город Лейпциг, подаривший оседлость бродячему музыканту, не являл собой счастливого исключения, пожалуй, даже превзошел доуками остальные города, включая и недоброй памяти Ариштадт, где двадцатилетнего органиста и регента небольшого школьного хора беспощадно травила консистория в купе со старшими учениками, с последним делом дошло до уличной схватки на шпагах — горяч и неуступчив был юный Иоганн Себастьян!

В Лейпциге кантора церкви святого Фомы чтили как великого органиста, одобряли и музыку, которую он поставлял для богослужений, считая в простоте души чем-то само собой разумеющимся, что в иные годы он каждую неделю создавал новую кантату, но никогда не были довольны им как руководителем хора и вовсе не скрывали этого. Отсутствие должной строгости, неумение навести порядок сводили на нет замечательный педагогический талант Баха. Не слишком высокого мнения были власти и о характере музыканта. Рассеянный, погруженный в свой внутренний мир и покладистый от равнодушия к делу, которое не ладилось, кантор вдруг по ничтожному поводу вставал на дыбы и начинал яростно драться за свои сомнительные права. Людям невдомек было, что Бахом двигало не желание малой выгоды, а чувство собственного достоинства. Так было и в двухлетней тяжбе с университетским начальством за должность директора музыки, и во время еще более изнурительной свары, вошедшей в историю певческой школы как «борьба за префекта». Сладись политые желчью и кровью бумаги, гремели ожесточенные речи, а дело заключалось всего-навсего в том, кому назначать префекта хора: кантору, как велось исстари, или ректору. Эта последняя история восстановила против Баха и ректора Эрнести, бывшего поначалу его другом, и всю консисторию, и весь магистрат. Тяжба могла кончиться для Баха крайне унижительно, но курфюрст Август пожаловал его званием «придворного композитора», и городским властям пришлось пойти на компромисс.

Тому без малого десять лет, но не все раны затягиваются со временем, да и рубцы обладают способностью воспаляться и болеть, и

сейчас старому, усталому, полуслепому Баху вовсе не хотелось раздражать господина Швальбе, человека сильного, крайне удачливого во всех начинаниях, дьявольски пронизательного и, главное, странного, не подходящего под обычные мерки. Эта странность обнаружилась в слишком живой и заносчивой мысли синдика, которую не предугадаешь, не проследишь. Бах никогда не знал, куда затанцует его этот беспокойный ум,—тревога пробуждалась в изношенном сердце.

Появился Швальбе в городе сравнительно недавно, когда баховские батальи уже отгремели, налегке, но в сопровождении молодой и весьма привлекательной служанки. Слишком молодой, слишком привлекательной, слишком смуглой, глазастой и кудрявой, чтобы не дать пищу сплетням. Чужак, пришелец, темноватый человек, Швальбе ничуть не смутился добавочными трудностями и в короткое время создал себе выдающееся положение в городе. Конечно, Швальбе не с нуля начинал, деньги у него водились, и он умно распорядился ими, вложив в наиболее доходные отрасли торговли. Он приобрел старый добротный дом возле церкви св. Фомы, не пропускал ни одной службы, старательно пел в хоре и своим знанием церковной музыки поражал самого Баха. Ревностный прихожанин, коммерсант с большим размахом, Швальбе был избран в магистрат, но все понимали, что это лишь начало восхождения.

И все-таки что-то не просто было с господином Швальбе. Он лишь старался казаться безупречным. Выдавали его глаза. Черные и блестящие, они метались на округлом, сытом лице, никак не сочетаясь с обвислыми щеками, массивным носом, высоким, выпуклым лбом и увесистым добропорядочным подбородком. Бескорыстной игрой природы, любящей пошутить, Швальбе и Бах были созданы почти на одно лицо да и сложением походили друг на друга. Но обширный мирный пейзаж лица Баха озарялся двумя тихими голубыми озерцами, и это мешало окружающим видеть поразительную, родственную схожесть композитора и синдика. Выражение, а оно — в глазах, не только убивало сходство, но и превращало Баха и синдика в антиподов. Причем создатель музыки рисовался согражданам умиротворенным, сонливым бюргером, а коммерсант — вулканом, готовым вспеть огненной лавой.

Однажды Бах заинтересовался: не допускает ли господин Швальбе, что между их семьями существовали в прошлом кровные узы. Синдик отверг эту возможность: его корни в Венгрии. Но ведь и основатель рода Бахов, полупоупендарный Фейт Бах, что пек хлеба и играл на цитре, жил долгое время в Венгрии, спасаясь от религиозных преследований. «Вы допускаете, дорогой Бах,— со смехом сказал синдик,— что один из Швальбе нагнал некогда девицу Бах?» — «Или наоборот,— обиделся Бах,— один из Бахов нагнал девицу Швальбе». Тогда синдик высокомерно заявил, что среди его предков не было ни пекарей, ни игроков на цитре. Баха покорило его тон: можно подумать, что знатный род Швальбе от века поставлял лишь королей, полководцев, светил церкви. Смутная и вроде бы беспочвенная неприязнь его к синдику еще усилилась, Бах многое прощал людям

за любовь к музыке. Но редкая, изумительная даже музыкальность Швальбе была ему неприятна, ибо усугубляла тревожную загадку: зачем понадобилось господину богу создавать дубликат Баха, но, устремленный лишь на земное, алчное, лишенный творческой силы, бесплодный, как горелое дерево, синдик похоронил двух жещ, и ни одна из них не припесла ему дитя. В чем тут замысел, а он должен быть, ведь ничто не делается без цели и смысла, для чего создан второй Бах, бесплодный, жутковатый Бах с огненными глазами дьявола?

Не надо дразнить дьявола, зыркающего угольными зенками из припухлых век. И Бах свернул с дороги и пошел через улицу по чакающей грязи к дому Швальбе, навстречу мощным волнам опасности.

Швальбе сидел у открытого окна и курил трубку. Свечи, горевшие за его спиной в глубине помещения — судя по густым запахам еды, то была столовая, — позволяли Баху различать контур головы и верхней половины туловища, обрезанного оконницей. Но когда он совсем приблизился, силуэт оживился промельками белков беспокойных дьявольских глаз и багровыми отсветами затяжек, пзымавшими из черноты толстые губы, защемявшие чубук, увесистый подбородок и кончик нависшего над ложбинкой верхней губы мясистого носа. На Швальбе не было парика, округлый череп облеплен слабыми седыми волосами, и это уменьшало сходство между ними и делало Баха свободней.

— Не очень-то подходящее время для прогулок избрал почтенный кантор, — заметил синдик, после того как они обменялись церемонными приветствиями.

— О, когда я был помоложе, никакая буря не могла удержать меня в четырех стенах, если мне хотелось послушать музыку! — пылко сказал Бах.

Он не верил господину Швальбе, побаивался его, хотя не знал за собой никаких серьезных прегрешений, кроме тех, хронических, что давно уже стали неотъемлемой частью жизни здешней певческой школы, и был достаточно защищен и своей четвертьвековой службой, и покровительством курфюрста. Но в последние годы он настолько отстранился от всех мирских забот, что ему мучительно было вторженче грубых земных голосов в музыку сфер, звучащую в его душе. И, желая обезопасить себя от господина Швальбе, он бессознательно взял с этим умником и хитрецом, пожалуй, единственно верный тон безоружной и обезоруживающей искренности.

— Но ведь сейчас вы далеко не молоды, — заметил Швальбе.

— О да! — согласился Бах. — Мне шестьдесят два.

— Вы всего на девять лет старше меня, — голос прозвучал кисло. — Я думал, разница больше.

— Она действительно больше. Вы вон какой молодец, а я беспомощный слепой старик.

— Ну, ну!.. Не прибедняйтесь. Вы крепки, как старый дуб. А глаза надо лечить. Я знаю одного замечательного окулиста в Йене, он делает чудеса. Хотите, я ему напишу?

— Премного благодарен! Вы очень добры, господин синдик!

— Но что же погнало вас сегодня из теплого дома в холод и непогодь? — спросил синдик, жмурясь от ласкового тепла, насылаемого ему в спину жарко растопленной печью, тепла, особенно приятного, поскольку грудью, обращенной к открытому окну, он ощущал стынь и влажный неуют улицы, подчеркнутый фигурой старика в мокром плаще, грязных ботинках, тяжелой шляпе, унизированной по полям бусинами дождевых капель. Он и подозвал Баха отчасти для того, чтобы сильнее, телеснее ощутить свою добрую защищенность.

— Музыка, конечно, музыка, господин синдик! — улыбаясь, воскликнул Бах. — Как всегда, музыка!

Неутомимая жажда звуков гнала его, шестнадцатилетнего гимназиста и стипендиата церковного хора, из Люнебурга в Целе прикинуть слухом к непривычной и волнующей французской музыке, часто исполняемой при дворе Вильгельма Брауншвейгского. Позже, когда переходный возраст осадил в хрипоту чистый, сильный дискант Иоганна Себастьяна и его перевели из хора в школьный оркестр, он топал пешком в Гамбург — сорок верст в один конец — насладиться игрой восьмидесятилетнего Рейнкена и недоверчиво, хоть не без удовольствия, послушать немецкую оперу, взбодренную мелодическим талантом Кейзера. А еще позже, уже солидным органистом Новой церкви в Арнштадте, он устремится в Любек к поэту органа Дитриху Букстехуде, так блистательно доказавшему жизненность и неисчерпаемость национальной традиции в церковной музыке; сотни верст — где па попутных крестьянских телегах или на купеческих повозках с товарами, но больше — мерным шагом мускулистых ног, — ах, как хорошо напрягала ему икры дорога! — на палке через плечо узелок с пожитками: праздничный сюртук, новые ботинки и потные тетради. Да еще совсем недавно, предлагая своему первенцу Фридеману навеститься в Дрезден, дабы послушать «Красивые песенки», так ласково-пренебрежительно называл он оперу, оставшуюся чуждой его искусству, Бах с надеждой заглядывал в подпухшее лицо сына, рано сдружившегося с чаркой, не согласится ли тот проделать хоть часть пути пешком. Но обленившийся Фридеман пропуская мимо ушей намеки отца. Что ж, Бах пользовался каждой возможностью, когда лошади усиливались в гору или осаживали раскат на спуске, чтобы помять серую дорожную пыль подметками сапог. Музыка прочно связалась для него с дорогой. И, как встарь, он всегда был готов ради музыки мчаться хоть на край света.

— Музыка? Вот как! Интересно. — Голос жесток, хотя что может быть обидного, досадительного для синдика в поступке Баха.

— Мне сказали, что в Петерскирхе приезжий молодой органист творит чудеса. Он временно замещает больного Хемпеля...

— Это меня не касается, — перебил Швальбе. — Но неужели в игре на органе есть чудеса, не известные господину кантору?

Ого, как лестно! — отметил про себя Бах. — Высокого же мнения он о моей игре. Но почему волны тревоги и опасности продолжают накатывать от этого любезного человека? Ну, не слишком любезного, зачем преувеличивать! Он сидит в тепле, в удобном кресле, я же стою под окном, как пшций, и меня пронизывает ветер, а за ворот

льет, он вдыхает сладко-горький трубочный дымок, у меня же першит в горле от измороси. Все-таки знатные люди куда демократичней. Когда он служил у ангальткётенского Леопольда и они путешествовали вдвоем, принц сажал Баха в свою карету и вообще не позволял ему стоять перед собой. Так же вел себя и юный принц Иоганн-Эрнест, племянник веймарского герцога. Но эти одаренные дилетанты видели в Бахе скорее старшего коллегу, наставника, нежели слугу. А отец галантливого Иоганна-Эрнеста во время празднеств одевал музыкантов гайдуками, другой веймарский герцог бросил Баха в тюрьму за ничтожную провинность. Нет, все они одним миром мазины — власть и силу имущие. Пожалуй, лишь чуть большей вульгарностью отличается денежный мешок от знатного спесивца. Эти мысли всколыхнули природную независимость в Иоганне Себастьяне. Коронованному властителю противиться бессмысленно, к его услугам солдаты, другое дело синдик, с ним можно расстаться в любую минуту. «Спокойной ночи, герр Швальбе, вернее, беспокойной, ведь вас поджидает смуглая Марихен». Но Бах не произнес этих слов, щекотавших кончик языка, скорее из любопытства, нежели из робости. Хотелось, чтобы приоткрылся тайник, в котором хорошится его загадочный собеседник.

— Разве вы не достигли совершенства? — строго и важно уронил в затанувшуюся паузу Швальбе.

— Совершенство недостижимо, па то оно и совершенство. Достигнутое совершенство — смерть.

— Я неудачно выразился, — с досадой сказал Швальбе. — И вы отлично поняли, что я имел в виду. Нехорошо, когда старый человек отделяется общими фразами, лишь пародирующими мысль.

— Быть может, это самозащита старости? — улыбнулся Бах. — Чем больше живешь и думаешь, тем меньше находишь ответов даже на самые простые вопросы. Общие фразы выручают. Иначе можно так запутаться в поисках ответов, что не хватит времени для жизни и дела. Если вас интересует, паучился ли я чему-либо у пррезжюезе органиста Гедо, то следует ответить отрицательно. Он умело пользуется педалью — играет на басах ногами, как другим рукой не сыграть. Но я умел это еще в Арпштадте, когда милейшего Гедо п на свете не было. Можно подумать, что он учился у меня, но мы никогда не виделись.

Они не увиделись и па этот раз. Никто не узнал Баха в полутемной холодной и почти пустой церкви, и он не захотел смущать органиста, игравшего хорошо, даже виртуозно, но без душевного жара, как может играть очень искусный, но усталый или разуверившийся человек. Бах ничего не знал о Гедо, кроме того, что он молод, не более тридцати, приехал откуда-то издалека, чуть ли не из Копенгагена, и будет замещать больного Хемпеля. Он не мог одобрить такого исполнения и потому не подошел к Гедо. Если это случайность, быть может, Гедо не совсем здоров, или погода действует на него удручающе или какие-то иные причины заморозили ему душу, а он искренне любит музыку, то сам придет к кантору церкви св. Фомы, как делали почти все заезжие музыканты, и покажет, па что способен. Ну а не

придет, Бах повторит свое небольшое путешествие: ведь если такую технику одушевит настоящее чувство, его музыка доставит много радости. Тогда только и можно будет судить, чего стоит Гедо. Но разве он жалеет о том, что пошел сегодня и послушал Букстехуде и Пахельбеля и перенесся в далекую юность? Сколько забытых чувств всколыхнулось, и вот уже что-то складывается, растет, ширится, тичится стать музыкой, ах, как легко загорается он от чужого, даже самого слабенького огня! А ведь когда из ничего рождается нечто, это всегда чудо. Вот почему нельзя прямо, ясно и односложно ответить на вопрос синдика Швальбе, звучащий, если отбросить все околичности, примерно так: за каким чертом носило тебя на ночь глядя в такую даль? Чтобы вернуть свою душу, которая, едва заслышав о новом органе, унеслась под скверно резонирующие своды бедной Петерскирхе. А что обрела там моя душа, я еще не ведаю. Восторга и удивления не было, но, может, случилось что-то куда большее. И когда-нибудь мы это узнаем.

А синдик злился, и не на шутку злился. Он совершил сегодня выгодную, да что скромничать — наивыгоднейшую сделку: приобрел почти даром огромную пустошь под городом, где под слоем тощей почвы, дающей жизнь лишь колючему кустарнику да чертополоху, таились несметные залежи каолина, годного для производства фаянса. И главное, Швальбе наткнулся на золотую, поистине золотую пустошь не случайно, не с помощью слепой удачи, щедрой к дуракам, а в силу своей любознательности, приверженности к чтению, особенно рукописных книг. Он «вычитал» скрытое богатство пустоши в одной старой хронике — полунствешние, хрупкие листы и объединенный крысами переплет из свиной кожи. Наняв надежного и знающего человека, произвел тайком разведку, подтвердившую и даже превзошедшую по результатам самые смелые мечты. Разыскал владельцев пустопорожней земли и, не возбудив их подозрительности, а с ней и алчности, получил пустошь за бесценок. Конечно, теперь предстоит расходы, и немалые: наладить добычу, поставить фаянсовый завод, проложить дорогу, но ведь это и было высшей целью Швальбе: найти такое помещение капитала, чтобы в кратчайший срок выйти в тузы.

Необходимо иметь большую цель в жизни. Но передко огни, маящие вдали, обесценивают сегодняшнее существование, кажущееся в сравнении с грядущим блеском мелким и тусклым. Несчастны люди, пропускающие жизнь мимо себя ради химерического будущего, и Швальбе, слава создателю, к ним не принадлежал. Он умел пользоваться настоящим, ценить сиюминутное бытие, которое построил по своему вкусу, привычкам и даже капризам, что не так уж часто удается смертным, даже стоящим на верхних ступенях иерархической лестницы. Впрочем, тут ему сказочно повезло, и Швальбе честно признавался себе в этом. Без Марихен его жизнь не имела бы такой сладости, странности и остроты.

Правда, надо было угадать Марихен среди многочисленных служанок, которых сердобольные люди посылали к нему после смерти его второй жены. А были среди этих девушек и женщин и помоложе

Марихен, и посвежее, и подороднее, а он углядел чудо в тридцатилетней сухопарой смуглянке.

Потеряв синеокую рослую и статную, почтительно любимую Доротею, а еще раньше бог забрал нежную крошечную кареглазую Лотту, которую он любил до умиленных слез, суеверный Швальбе дал клятву никогда не жениться, если только жена не принесет ему такого же большого приданого, как маленькая Лотта или величественная Доротея. Но он не считал нужным говорить о своей клятве Марихен, у которой было множество достоинств, но ни полупки за душой,—женщине необходима пусть несбыточная надежда, тогда она больше старается. Даже поверить было трудно, что такая красивая, яркая, сметливая, ушлая, разбитная женщина не имела бы хоть горшка с червонцами, припрятанного в надежном месте. Господин Швальбе был убежден, что в прошлом у Марихен была какая-то темная, если не кровавая история. Едва ли она сама убивала, но вполне могла быть тесно связана с людьми, не питавшими излишнего уважения к человеческой жизни и уж подавно — к имуществу и кошельку. Разумеется, он предпочел ничего не знать и спокойно принял невразумительную версию о невинной страдальце, чей муж — бродячий торговец — разорился дотла и скорострительно покинул юдоль страдания, не оставив вдове ничего, кроме доброго имени. Имя, впрочем, трудновато считать добрым по причине разорения мужа Марихен, но удобным оно было несомненно: попробуй навести справки о бродячем торговце Мюллере.

Как и в каждой лжи, в легенде Марихен был малый проговор правды, он заключался в слове «бродячий». Тут действительно пахло бродяжничеством. Хотя Марихен выдавала себя за уроженку Австрии и горожанку, более вероятно, что увидела она свет посреди раздольной валашской степи в шатре или кочевой кибитке. Она была по-цыгански смугла и черноглаза, с сухими черными волосами. А тело у нее — светлое, цвета слоновой кости, и на шее отчетливо виднелась неширокая полоска, где ореховая смуглота, стекая с лица, растворялась в белизне с легкой прижелтью. Швальбе казалось, что полоса эта — след удавки, которую палач захлестнул на долгой и гибкой шее красавицы ведьмы. Но ведьму топить надо, не вешать, вот Марихен и выкрутилась из петли.

В том, что Марихен ведьма, Швальбе не сомневался. Она лечила любые болезни, заговаривала кровь, вечно возилась с луговыми, лесными и приречными травами, сушеными, свежими, истолченными в порошок, запаренными, перемешанными невесть с чем; а готовила так, что любое нехитрое кушанье обретало какой-то особый, острый, греховный вкус, и, расправившись с блюдом свиных голяшек, господин Швальбе чувствовал потребность в очистительной молитве, ибо постигал, почему чревоугодие в Священном писании причислено к смертным грехам: жратва колдуньи Марихен начисто перечеркивала бога.

Марихен проворачивала за день уйму дел, обходясь без чьей-либо помощи, хотя господин Швальбе не раз предлагал нанять кухонную девушку для черной работы, но Марихен правилось все делать самой:

прибирать в доме, топить печи, выбивать ковры, закупать провизию, кухарить, подавать на стол, мыть посуду, заготовливать на зиму разные соленья и копчения, вялить рыбу, варить варенье в громадных медных тазах. Она допускала лишь помощь дровокола и прачки, впрочем, рубашки господина Швальбе она стирала, гладила и крахмала сама. На редкость домовита и хозяйственна была эта ведьма. А натрудившись за день до последней устали, она ложилась в постель синдика свежая, с прохладным телом, горячим ртом, быстрыми руками, нежными, теплыми пятками, неутомимая и неистощимая на выдумки. Швальбе молодец с нею на двадцать лет. Когда же они наконец засыпали, их сладостный сон озвучивался странным шумом, доносившимся из столовой, казалось, там бесчинствуют бесы: грохот, задуманный писк, царапанье, скачки, падение мебели. Господин Швальбе улыбался во сне — очередная крыса, отведавшая «лакомства» Марихен, подыхала в страшных мучениях.

Синдик ненавидел крыс. Когда он еще качался в люльке, крыса укусила его за щеку, навсегда оставив под глазом две белые метины. Где бы он ни жил, дом его всегда был полон крыс. С одной стороны, это хорошо как признак прочности и зажиточности, с другой — собственное жилье становилось омерзительным синдикю. Избавиться от крыс — дело непосильное. Крысы могут уйти сами — громадным бесстрашным стадом, если дому грозит гибель от пожара, наводнения или другого бедствия. Но всем известно, чем кончаются попытки повального истребления крыс. Жители Гаммельна, где ваши дети? Куда увела их из родного города волшебная дудочка странствующего крысолова? И, не желая навлекать на себя гнев крысиного бога, господин Швальбе отваживался лишь на осторожную войну с крысами.

В его лейпцигском доме крысы хозяйничали главным образом под полом, нанося немалый ущерб погребу, да по сусекам, где хранились мука, крупы, но с этим господин Швальбе еще мог мириться. Раздражали его до сумасшествия те нахальные крысы, которые, не довольствуясь подполом, кладовыми и кухней, обследовали столовую. Они тыкались острыми мордами в дверцы буфета, царапали гадко-голыми лапками столешницу обеденного стола, обгрызали не только кожаную обивку кресел — это в доме-то, полном еды! — но и ножки стола, дивана, кресел, кисти гардин, опрокидывали вазы с цветами, оставляли свой омерзительный помет в самых невероятных местах: в завитках резных рам, из которых строго глядели постные лица мнимых предков господина Швальбе, в чаше старинной люстры, в пузатеньком, с узким горлышком обливном кувшинчике. Они походя сожрали двух дорогих ангорских кошек и, усмехаясь в длинные усы, играючи избегали наихитрейших ловушек. Случалось, они хватали аппетитную приманку: поджаренный кусочек сала или окорока, железная скоба захлопывалась, но они утаскивали крысоловку под пол и там с грохотом освобождались. Это были пасюки — самые крупные, злые и сильные крысы с красноватой жесткой шерсткой и красными глазами. А потом за дело взялась Марихен, и теперь каждое утро господин Швальбе обнаруживал в столовой трупы своих врагов. Ни одна крысоловка не была больше утащена. Крысы бесновались, громыхали ме-

белью, но что-то мешало им уйтп под пол, хотя бы попытаться. То ли они обалдевали от приманки Марихен, то ли некое родовое чувство запрещало им тащить страшную траву в крысипую обитель.

Можно было бы вообще обойтись без крысоловок, просто раскидать яд, но господипу Швальбе доставляло несказанное удовольствие слышать сквозь сон, как агонизируют его враги. Самое же главное происходило по утрам, когда с бьющимся сердцем он вступал в столовую. Тушки крыс как будто светились, и свечение это было то зеленым, то голубым, то лиловым, то желтым, то розовым, то серебристым. Ему никак не удавалось угадать, в какой цвет переокрасит Марихен пасюков. Размеренный, аккуратный, плотный от дел и забот быт господина Швальбе возносился, приобщался к тайнам, о которых лучше помалкивать. И взволнованно думалось о женщине, что так тихо, почти без дыхания, спала у него под боком, свернувшись теплым клубочком, и будто не ведала о своем причастии к темным силам, менявшим установленный свыше порядок, согласно которому пасюку надлежит быть цветом в ржавь, светиться же дано лишь ангелам небесным, а из земных обитателей — светлячку — божьему огонечку, но никак не крысе, гадчайшей среди всех тварей.

Да, Марихен внесла и остроу, и поэзию в его жизнь, спасибо ей! Но сильное самоохранительное чувство заставляло господина Швальбе держать ухо остро и не растекаться в доверчивой откровенности даже в самые задушевные минуты. Он не только скрыл от Марихен свое решение не вступать больше в брак, но и недвусмысленно дал понять, что женится на ней, если она родит ему дитя. Швальбе знал, что ничем не связывает себя подобным обещанием. Пораженный бесплодием своих жен, таких разных во всем, но равно молодых, крепких и здоровых, он обратился к знаменитому доктору Теофилусу, пользовавшему самого курфюрста. Оказалось, бедные жены ничуть не повинны в том, что оставили его без наследника. Это его обделила природа. И все неистовые ночные усилия Марихен не способны приблизить ее к заветной цели. А почему бы ему не жениться на Марихен, которая устраивала его по всем статьям? Да потому, что не за горами срок, когда он перестанет устраивать Марихен, и молодая, в соку, женщина захочет молодого мужа, способного сделать ее матерью. А господипу Швальбе вовсе не улыбалось разделить участь пасюка и воссиять розовым, изумрудным или лазоревым светом.

Выходит, и ведьме не по силам тягаться с ушлым лейпцигским коммерсантом. Обвел вокруг пальца дочь тьмы добропорядочный синдик, член магистрата, знаток церковной службы и музыки. Было чем гордиться господипу Швальбе, да он и гордился — и своим домом, таким простым и строгим снаружи, таким артистичным и мудреным внутри, и своей властью над красавицей колдуньей, и своим весом в магистрате, и своим богатством, и деловой хваткой, и величием далеко идущих планов, и тем, что не похож ни на какого другого жителя этого большого города. А сегодня, когда он провернул лучшее дело своей жизни, его так и распирало от гордости. В довольном и благостном настроении уселся он к окну с трубкой в руке, дабы лицезрением тех, кому холодно, сыро и сиро, усилить и укрепить

торжествующее чувство своей избранности. Для этого ему хорошо служили и жмущиеся к стенам спотыливые фигуры прохожих, и покурные возницы на облучке, и прочавкавший по грязи взвод измученных солдат, и пастор в захлюстанной сутане, и стайка голубых от стыни и голода школяров, и девочка-служанка с мелочью, зажатой в красном кулачке, и тучный старик в шляпе с обвисшими полями, полуслепой кантор, проковылявший куда-то с отрешенным видом и едва отозвавшийся на оклик,— вся зримая неустроенность, хилкость, зависимость населяющих мир питала Швальбе сознанием своего превосходства, защищенности и важности.

Но вот, в исходе большого, радостного дня, когда, отвечеряв, синдик вернулся на свой наблюдательный пост и раскурил последнюю перед сном трубку, возле дома вновь появился неумный старик Бах и сбил, а там и вовсе испортил отменное настроение господина Швальбе. Почти слепой, а ишь как шагает, даже не силится опробовать землю толстой ясеновой палкой! Промокший, со шляпы течет на сырые щеки и толстый нос, ботинки и чулки залеплены грязью, а вид такой бравый, что хоть сейчас в полковые барабанщики! Господин Швальбе полагал вначале, что Баха погнала вон из дома какая-нибудь беда: болезнь жены, родовые схватки незамужней дочери, пожар, учиненный слабоумным сыном, или известие, что первенец Фридеман сломал шею по пьянке. А оказывается, старый шут бегал в деревянн орган послушать. Мало ему в городе органов и органистов. И, даже не услышав ничего путного, лучится непонятной радостью, будто наследство получил. И наплевать ему на все успехи синдика Швальбе, которые послужат к вящему преусоению славного города Лейпцига, наплевать ему на богатство, на дом, скот и уголья господина Швальбе, и на радость его очей, усладу души и не остывшей с годами плоти тоже наплевать этому неотесанному и самонадеянному мужлану.

Почему Бах, потомственный музыкант из старого, почтенного, всюду уважаемого рода, стоявшего много выше рода Швальбе, оказался неотесанным мужланом, синдик и сам не знал. Он, правда, слышал, что Бах, человек просвещенный и начитанный, не получил университетского образования в отличие от большинства известных музыкантов, но сам Швальбе не кончил даже гимназии и ставил это себе в заслугу, почитая самообразование выше готовых знаний, вдалбливаемых учителями в тупые головы учеников. Но Швальбе злился. Швальбе пылал гневом. Этот Бах, черт бы его побрал, задирает перед ним свой нос!

Ах, канальство!.. Если ты бедный, если ты жалуешься на логожую осень, лишившую тебя доходов с отпеваший, если замороченный семьей едва сводящий концы с концами, ты ходишь в спущенных чулках и с вывернутыми карманами, если вечно теряешь ключи от всех тех мест, куда опаздываешь, если ты распустил учеников, которые только и знают, что шляться по деревням и выпевать у крестьян плохо поставленными голосами битую птицу, яйца и серые лепешки, если ты зависишь от спиходительности и терпения отцов города, то думай ежечасно, ежеминутно о хлебе насущном для

себя и близких своих, в поте лица добывая этот хлеб, смиренно и неустанно убогаторворяя высокпх покровителей, заслуживай милость у сильных, а не бегай за музыкой, как за девкой, в дождь и слякоть через весь город!..

Гнев синдика окрасился болью. Откуда его презрение ко мне? — яростно и горько вопрошал себя Швальбе, хотя музыкант не давал ему ни малейшего повода для подобного умозаключения. Увы, детский смех не звучит в моем доме, но ведь это несчастье, взывающее к сочувствию, а не порок. Да, я не умею играть на органе, а он не отличит брюссельских кружев от грубой подделки, лионского полотна от местной дряни, не заключит и простейшей сделки, грош не превратит в талер. Он хороший, даже преотличный ремесленник в своем цехе, а я в своем. В конце концов, можно поспорить, что нужнее людям — хорошая музыка или хорошая торговля. Да и кто из прихожан церкви святого Фомы, даже из тех, что старательно гнусавят в общинном хоре, знает цену прелюдиям, хоралам, кантатам и мессам старого каптора? Быть может, по всем немецким землям лишь горстка людей догадывается об истинном достоинстве этой музыки? Да еще горстка делает вид, будто догадывается. И то скажи им, что Бах выше не только Телемана или Гассе, но и самого Генделя, пожмут плечами или расхохочутся в лицо.

К сожалению, я знаю ей цену. К сожалению, ибо зачем коммерсанту, торговцу, человеку дела, участнику жесткой конкурентной борьбы, землевладельцу и будущему заводчику, так сильно, остро, так безысходно чувствовать музыку, до задыхания, стопа, сладко-стыдных слез? Зачем мне абсолютный слух и цепкая, как волчеп, музыкальная память, если я не в силах сочинить даже простенькой песенки, если ни клавесин, ни скрипка, ни флейта не оживают под моими нечуткими пальцами. Но что стоил бы Иоганн Себастьян Бах, если б ни одна душа на свете не отзывалась его музыке? Кто-то должен слышать музыку, иначе она бессмысленна, иначе ее просто нет.

— Господин Бах,— сказал Швальбе тихо, а Баха буквально оглушила скрытая в его голосе угроза.— Не кажется ли вам, что тот, кто создает великую музыку, и тот, кто способен постигнуть созданное во всей бессмертной красоте, равны перед лицом Гармонии?

— О, конечно! — живо согласился Бах.— Разница между ними лишь в том, что второй не владеет материалом. Но это вопрос чисто ремесленный, в духовном же отношении эти люди равны.

И улеглись грозные налеты душевных крутений синдика. Теперь он гнал хоть и бурные, но ласковые волны.

— Творения Баха заслуживают самой широкой известности, а между тем их нигде не услышишь, кроме Лейпцига,— негодовал синдик.— Немецкие княжества кишат органистами, но они уперлись в Пахельбеля, Букстехуде, Бёме... Великие «Страсти по Матфею», перед которыми Гендель должен снять шляпу, исполнялись один-единственный раз, и никто не знает о существовании этого шедевра... Баха ценят лишь как исполнителя, и даже серьезные музыкальные писатели, вроде гамбургца Матесона, ставят его ниже заведомых посредствешностей...

— Но разве это так важно, господин синдик? — со слабой улыбкой спросил Бах, равно удивленный музыкальными познаниями торговца и страстью его тона.

— Конечно, важно, дорогой Бах! Почему люди должны довольствоваться вторым сортом?

— Гендель — второй сорт?

— Оставим Генделя в покое. Все остальные рядом с вами второй сорт.

— Попробуйте объяснить это Матесону! — Бах с добродушным смешком развел руками.

— Вы когда-нибудь издавали свои вещи?

— А «Клавирные упражнения»? Я имел честь послать вам экземпляр.

— И это все? А ваши оркестровые произведения, ваши прелюдии, хоралы, фуги?

— Клавирное переложение одной из фуг...

— Одной!.. О святая простота!.. — нетерпеливо воскликнул Швальбе. — А ваши кантаты — вершина церковной музыки?..

Суровое даже под маской вынужденной любезности лицо Баха смягчилось, помолодело. Вопрос синдика напомнил ему о счастливейшей поре его жизни. Мария Барбара из рода Бахов была уроженкой Ариштадта, города, нанесшего столько уязвлений его чести и самолюбию, а под конец одарившего величайшим сокровищем — любовью этой прелестной, нежной и на редкость музыкальной девушки. Небольшое, но чистое, звонкое, серебристого тембра сопрано Марии Барбары надоумило Баха осуществить давнишнюю мечту — ввести в церковный хор женский голос. Дерзкую мечту, ибо еще апостол Павел поучал: «Да молчит женщина в хоре». Они разучивали сольную партию сопрано, когда в пустую церковь сунулся зачем-то консисторский служащий. Каша заварилась круто. Баху припомнили все: и развал дисциплины в хоре, и уличную схватку со старшими учениками, и «странные вариации к хоралу, смущающие общину», и «непонятную гармонизацию мелодий», а сверху навалили новые грехи: музцирование в церкви с «чужой девушкой» и бунт против апостола Павла. Объяснения, что девушка вовсе не чужая, а его нареченная, не смягчили ханжей. И тогда Иоганн Себастьян, вместо того чтобы смиренно покаяться, закусил удила. Он подался в Мюльгаузен, где искали органиста для церкви св. Власия, блестяще выдержал испытания и был утвержден в должности. Ему положили отличное содержание: восемьдесят гульденов в год да еще натурой: три меры пшеницы, две сажени дров, шесть мешков угля, шестьдесят вязанок хвороста и три фунта рыбы, все довольствие — с доставкой к дверям дома. Для молодого, не избалованного жизнью музыканта это было настоящим богатством. Теперь он мог повести к венцу Марию Барбару. Они обвенчались в скромной деревенской церквушке, сыграли веселую свадьбу, и, будто несомый на крыльях удачи, Иоганн Себастьян получил от мюльгаузенского магистрата заказ на кантату. Ее надлежало исполнить в дни празднеств по случаю выборов в городской совет. Ведь известно, чем меньше город, тем больше в нем спеси. Кантата

торжественно прозвучала в Марленкирхе, и убогатворенные отцы города расщедрились на богатое издание посвященного им сочинения.

На всю жизнь запомнился Баху едкий, раздражающий поздри запах свежей типографской краски доставленного прямо из-под печатного станка оттиска. Они стояли с Марией Барбарой, сблизив головы и держа за уголки нарядную обложку, в которую вложены голоса. Крупной готической вязью были выведены имена двух бургомистров и мелким шрифтом набрано имя композитора. Тогда казалось, что в его жизни будет еще много таких вот оттисков, но господь рассудил иначе.

— Городские власти Мюльгаузена издали мою «Выборную кантату», — пропнес он вслух. — Мне было тогда двадцать три года. Мы с женой... первой моей женой безмерно радовались! И немного удивлялись, почему фамилии бургомистров, господ Штректера и Штейнбаха, написаны такими большими буквами, а моя — такими маленькими. Мы были молоды и тщеславны.

— Это для меня новость, что фамилия покровителя... — не докончив фразы, господин Швальбе круто сменил тему. — Зачем называть тщеславием благородное стремление человека уберечь свое имя от забвения? А ведь вас забудут, мой дорогой, и ваши клавирные упражнения при всей их несомненной полезности и музыкальных достоинствах не пропуск в бессмертие.

— О каком бессмертии вы говорите? Я не заношусь так высоко. Помогите мне бог справляться как-то со своим земным делом. Служить тем, кто дышит со мной одним воздухом, видит те же небеса, возносит те же молитвы и сойдет в могилу чуть позже или чуть раньше меня, на весах вечности это так ничтожно, что можно сказать — в один час со мной.

— Велеречиво и пошло! Не из такого материала работает создатель «Страстей по Матфею». Кого вы обманываете: меня или самого себя, что куда хуже?

— Я никого не обманываю, — тихо сказал Бах. — У меня слишком много обязанностей, забот и огорчений, чтобы думать о суетных вещах. Поверьте, господин Швальбе, когда ты родил столько детей и столько утратил, едва успев полюбить, когда твои милые дочери не пристроены, когда тебя допекает начальство и ты из последних сил стараешься уберечь свое скромное достоинство, когда ученики вечно голодны и простужены, распухшие и перадивы, то каждый выпавший тебе в одуряющей мороке свободный час, каждую свободную минуту хочешь посвятить музыке, только ей, а не возне с надуманными, не-обязательными делами.

— Надуманными?!.. Необязательными?!.. — вскричал Швальбе. — Разве есть на свете композитор, который не стремился бы издать свои произведения? Нет — и быть не может. Как нет такого писателя или поэта.

— Откуда вы знаете? — пожал плечами Бах. — Я вполне допускаю, что есть поэты, которые не помышляют о бессмертии с помощью печатного станка, а поют как птицы небесные. Наверное, их радует,

когда песни подхватывают, но они не замолкают и если голос их тонет в пустоте.

— Из этого не следует, что они счастливы, Бах. Кстати, птицы не поют бескорыстно, они вымалывают любовь. Так и поэты.

— Я с детства переписываю чужие ноты и даже испортил на этом зрение,— Бах словно не расслышал замечания Швальбе.— У меня большое собрание. Там находятся и мои собственные сочинения. Каждый желающий может получить их для переписки и даже не платить талер, как заведено у других композиторов.

— И много таких желающих?

— Нет, не много, совсем не много,— чуть помедлив, ответил Бах.— И это доказывает, что на мою музыку нет спроса. Возможно, она кажется трудной для исполнения, хотя я этого не нахожу. Так зачем же ее издавать?

— Ну, хотя бы для будущего. И потом, вы же знаете: людям на все наплевать. Творцы искусства не являют исключения из правила. Надо быть Бахом, чтобы пускаться в дождь и ветер через весь город послушать незнакомого органиста. Не следует ни от кого ждать чрезмерных усилий. Будут хорошо изданные ноты, найдутся исполнители. Раз издано, значит, чего-то стоит. В этом причина успеха многих посредственностей. Но главное — это будущее, дорогой Бах, будущее-е! Безразличие — это для современников. К ушедшим относятся куда бережнее. Ваши ноты существуют в одном экземпляре, а пожары так часты в Лейпциге. Но пусть даже огонь пощадит их. Вы уверены в своих наследниках? Сберегут ли они эти бедные листы? Бумага требуется для разных нужд, в том числе и весьма низменных. Разве можно доверять равнодушию близких свое бессмертие?

— Бог с ним, с бессмертием,— хмуро сказал Бах.— Музыку жалко.

— Наконец-то! — обрадовался Швальбе.— Вы с таким упорством защищали право на безвестность и забвение, что я усомнился в ваших умственных способностях. Так почему же вы не издаетесь, господин Бах?

— Дело в том,— с явной неохотой пачал Бах,— что типографское издание очень дорого, а гравирование требует уйму времени. Первое мне не по карману, а второе можно позволить лишь изредка, когда хочешь сделать подношение высокопоставленному лицу. Иначе не останется ни времени, ни сил на музыку.

— А разве издания не окупаются?

— Возможно, у Гассе или Телемана окупаются. Но я едва смог расплатиться с Вейгелем за «Клавирные упражнения». Там есть Итальянский концерт — ах, какая веселая музыка! — наивно сказал Бах.— Но покупатели крепко держатся за карман. Что же говорить о мессах, кантатах, хоралах?

— Из этого следует одно, дорогой Бах,— внушительно произнес господин Швальбе.— Вам надо найти покровителя, мецената, человека, любящего и понимающего музыку, достаточно богатого и бескорыстного, чтобы думать только об искусстве, а не о барышах, готово-

го даже на потери, если они неизбежны, и доверить ему издание своих сочинений.

— Но где же найти такого человека? — уныло начал Бах и осекся, только сейчас постигнув в своей бесхитроустной душе, что ему сделано, пусть в завуалированной форме, неслыханно щедрое предложение. Этот странный, непостижимый человек, сотканный из противоречий: канонист и сожитель красавицы цыганки, тонкий ценитель музыки и крысобои, самовлюбленный, тщеславный богач с мятущимся взором, готов взять на себя издание его бесчисленных, затеснивших семью в доме, непризнанных и полупризнанных музыкальных сочинений. Но это было слишком хорошо, чтобы поверить...

Сейчас, когда минул переходный от дня к вечеру смутный сумеречный час и темнота на улице стала чистой и плотной, глаза Баха обрели большую чувствительность к свету. Четко обрисовался в окне прежде размытый силуэт Швальбе, а малый костерок трубки, раздуваемый толстыми губами, багряно-ярко высвечивал крупное лицо, выигравшее от возбуждения в резкой выразительности. Оно словно подсушилось, павострилось, округлости стали углами, складки кожи обернулись глубокими шрамами дуэлей и битв, а глаза в глубоких впадинах глазниц метались, словно летучие мыши. Дьявол! — вспыхнуло в мозгу. Можно ли припимать помощь нечистого? Но уж если дьявол решился на столь богоугодное дело, как распространение духовной музыки, значит, зашатался ад, значит, некими высшими силами он, Бах, избран для обращения князя тьмы. И зачем же противиться тому, что определено там?..

— Я не нахожу слов, чтобы выразить ту глубочайшую благодарность... — начал Бах, но собеседник живо перебил его.

— Меня не за что благодарить, любезный Бах! Я просто наметил возможность. Постарался дать понять, что все далеко не так безнадежно, как вам кажется, мой дорогой композитор! Совсем не безнадежно!..

Баху почудилось, что в голосе господина Швальбе прозвенели слезы. Да нет же, быть не может, вряд ли синдик вообще знает, что такое слезы. И с какой стати ему плакать?.. Бах ошибался: то действительно были слезы — короткий, мгновенно подавленный, зажатый в гортани взрыд. Господин Швальбе, пытаясь отпереться от своего, ему самому непонятого порыва, вдруг обнаружил, что вопреки намерениям и воле подтверждает опрометчивое обещание взять на себя издание сочинений Баха. Значит, в глубине души решение принято: взвалить на себя докучный и ненужный груз, швырнуть кошке под хвост громадные деньги. Сколько же это будет стоить? — растерянно спрашивал себя Швальбе, потрясенный собственной расточительностью. И тут кто-то, маленький и жалкий, беспомощно всхлипнул у него внутри.

— Прощайте, дорогой господин Бах! — вскричал синдик, совсем теряя себя. — И да благословит вас бог!..

Окно захлопнулось, прозвенев стеклами. Бах еще постоял, понурив тяжелую голову, затем двинулся к дому. Не сделав и десятка шагов, он вдруг обнаружил, что жестом слепца ощупывает мостовую.

толстой ясеновой палкой. Он встряхнулся, вырвался из западни страшных, новых, ошеломляюще радостных и тягостных до боли в груди мыслей, разбуженных Швальбе, и, вскинув палку на плечо, бодро зашагал к дому, полагаясь на спрятанный внутри звуковой компас.

Анна Магдалена велела ему разуться в прихожей, снять забрызганные грязью чулки, надеть толстые шерстяные носки и теплые домашние туфли. Она приготовила ему питье из сухих вишен с каплей спирта, сахаром и корицей, придвинула кресло к камину, сама уселась на низенькую скамеечку у ног мужа и приготовилась слушать. Согретый и убагодворенный, Бах стал рассказывать жене о приезжем органисте, о мастеровитой и равнодушной, усталой игре его, распространился о качестве небольшого, но полнозвучного органа, преодолевающего скверную акустику убогой Петерскирхе, и несканзанно удивился, когда Анна Магдалена перебила его чуть ли не с раздражением:

— Ну, хватит о пустяках! Что случилось?

— Как «что случилось»? — опешил Бах, намеревавшийся ничего не говорить жене о встрече с синдиком, дабы не волновать ее понапрасну. — Что могло со мной случиться за такое короткое время?

— Вот об этом я и хотела бы знать! — решительно заявила маленькая женщина.

Анна Магдалена была умна и наблюдательна, но то, что она обнаружила сейчас, выходило за пределы обычной человеческой наблюдательности.

— Я не понимаю... — пробормотал сбитый с толку Бах.

— Милый муж, посмотрел бы ты на себя, когда вошел в дом. Лицо красное, словно выпил полбочонка рейнского, глаза блуждают, губы шевелятся. Если хочешь что-то скрыть от меня, следи за своим лицом.

— Да нечего мне скрывать! — В облегчении, что все так просто объяснилось, Бах тут же поведал жене о встрече с господином Швальбе.

— Уму непостижимо! — задумчиво произнесла Анна Магдалена. — Надеюсь, ты не относишься серьезно к этим посулам?

— Но почему? Ведь никто не тянул его за язык.

— Я не люблю господина Швальбе и не верю ему. Боже тебя сохрани придавать хоть какое-то значение его сладким речам. Он надежен лишь в недоброхотстве.

— Почему тебе так хочется испортить мне радость? — печально спросил Бах.

— Ах, господи, Себастьян! Неужели ты и впрямь обрадовался? Старый ребенок! Да этот скупердяй тысячу раз подумает, прежде чем расщедрится на один талер. Не связывай с ним надежд, побереги сердце. Может быть, ты издашь свои опусы, но только не с помощью этого оборотня.

— Наверное, ты права, — вздохнул Бах.

Но он не поверил жене, он верил синдикку Швальбе.

...А Швальбе провел скверную ночь. Он никак не мог уснуть, раздраемый противоречивыми видениями. В одном ему зрелись красивые переплеты, на которых крупно, золотом, изящно-мощной готической вязью значилось: издапо па средства синдика Ганса Швальбе. Переплетов — неисчислимо множество, и на каждом сияет пмя лейпцигского мецената. Об руку с Иоганном Себастьяном взлетал он в бессмертие, шелестя страницами нот, словно перышками ангельских крыльев. В отдаленном будущем, куда проникал он жадным взором, его поступок отливал дивными красками бескорыстия, благородства, королевской щедрости, редкостного прозрения, но все разом менялось, когда он возвращался в настоящее. Мечта тускнела, блекла, гасла, чадя, как грошова свечка. В тоске и унынии он видел, что нотная несметь не продается. Золотое тиснение на переплетах осыпается, страницы желтеют, шрифт блекнет. Человечеству нет дела до божественных озарений то ли запозднившегося с приходом, то ли явившегося слишком рано великого чудака. Впрочем, человечество — миф, лучше говорить просто — рынок. В конечном счете все на этом свете сводится к купле-продаже. Есть ремесленник, есть торговец, есть покупатель. В данном случае Бах делает музыку, Швальбе берется ее продать, а покупателям нужен совсем иной товар. Не кантата, а опера, не созерцание, а действие, не мысль, а чувство. Конечно, у Баха — громадное, будто застывшее в изумлении перед самим собой, чувство, по кто это понимает, кроме сумасшедшего расточителя, готового отдать нажитые потом и кровью деньги на заведомо не идущий товар. Конечно, он не разорится, по кто знает, во что станет фаянсовый завод и не окажутся ли поблизости от уже приобретенной пустоши иные земли, богатые каолином? Тогда ему дорог будет каждый талер. Не надо лицемерить с самим собой, денег у него хватит, но есть другое: провалившись с изданием, он будет смешон в глазах коммерсантов, ибо никто не поверит в его бескорыстие, и все решат: Швальбе дурак, растяпа, простак, мечтатель, с ним нельзя вести дела. Бесконечно трудно создать себе репутацию в деловом мире, но еще труднее восстановить пошатнувшуюся репутацию. А это непременно случится, если он сунется в издательское болото.

А если не ставить своей фамилии на переплете? Ну, это несерьезно. Люди прекрасно знают, что у Баха нет денег, и, конечно, легко докопаются, откуда они взялись. К тому же, уйдя в тень, он не сможет вести переговоров с издателями и продавцами нот, а Бах при его непрактичности окончательное все погубит.

И все-таки жаль расставаться с красивым и не изведанным прежде чувством, вознесшим душу к небесам, столь щедрым к нему все последние годы. Порой ему казалось, что одной лишь усердной молитвы мало, нужен поступок, дабы отблагодарить небо. (А что, если не горний мир, а преисподняя твой покровитель? — змейкой шевельнулась мыслишка.) Интересно, зачитывается ли неосуществленное доброе намерение? Быть не может, чтобы оно пропадало впустую, особенно такое светлое, возвышенное и богоугодное, как издание музыки Баха, славящей престол господень. И как-никак он пробудил в Бахе ответственность перед собственным гением и беспокойство за судьбу

своих сочинений, о чем тот вовсе забывал в житейской замороченности. Нет, конечно же такое должно учитываться в небесном реестре и оплачиваться хоть бы по самой низкой таксе. И пусть хоть на грошик медный перепадет ему от вседержителя в воздаяние за благородный порыв, он будет счастлив и малым знаком божьей милости. Но ведь недаром говорят, что добрыми намерениями дорога в ад вымощена.

Синдик Швальбе ворочался с боку на бок, взбивал подушку, то натягивал, то сбрасывал одеяло, но сон не шел, и все попытки изобретательной Марихеп отвлечь его от тягостных мыслей не приносили успеха.

Среди ночи он услышал знакомый грохот в столовой, звон стекла, падение стула, но, кажется, впервые не отозвался сладостной музыке, а утром едва глянул на излучавшего фиолетовое сияние дохлого пасюка.

Желая избежать встречи с Бахом — а Швальбе был уверен, что композитор не замедлит явиться, — он быстро собрался и укатил на свою пустошь, откуда подался в Дрезден. Намаявшись в неуютных гостиницах, испортив желудок, он вернулся в Лейпциг преисполненный к кантору церкви св. Фомы чувств, весьма близких неависти.

И все время он тщился понять, каким образом угодил в ловушку, расставленную для другого. Началось с того, что его разозлила независимая, отдающая самодовольством повадка полуслеплого старика. Захотелось озадачить его, уязвить, сбить с толку, поставить на место. Все правильно, но в какой-то момент он поддался своему артистизму, темпераменту и, смешно сказать, почти искреннему сочувствию гениальному неудачнику. И щелкнула пружинка капкана...

Бах в его отсутствие не заходил, и это давало надежду, что тот не принял всерьез обещаний, оброненных под влиянием минутного настроения, легкого помрачения рассудка, которое может постигнуть и самого уравновешенного человека от переутомления или дурной погоды.

Швальбе плохо знал мудрую и наивную, детски доверчивую душу музыканта. Бах был озабочен лишь одним: как можно скорее подготовить к изданию рукописные ноты. Каждую свободную минуту он проводил за просмотром и правкой своих сочинений. Опечаленная Анна Магдалена деятельно и покорно помогала мужу. То была канторская работа. Похоже, Бах и сам изумлялся — сколько музыки сочинил он за свою жизнь! В чем, в чем, а уж в лености его не обвинит и злейший враг. И страшно было подумать, что весь этот исполнинский труд мог превратиться, как пророчествовал Швальбе, в горку пепла или груду мусора.

Когда господин Швальбе появился в церкви, его встретила такая широкая, такая лучезарная, доверчивая и радостная улыбка Баха, что алчное сердце синдика на миг дрогнуло. «А что, если все-таки издать эти несчастные сочинения? Не разорюсь же я, в самом деле?..» Но то была последняя вспышка слабости. После этого синдик стал как железо. Вот таким, и только таким, любил он себя.

Швальбе нетерпеливо ждал, когда Бах заговорит об издании, и поздри его хитро раздувались. Но Бах молчал и только улыбался, словно они оба участвовали в каком-то веселом заговоре. И синдик молчал, но не улыбался. Он любил прямую схватку и ненавидел, когда его брали на измор. Нажим кротости, деликатности и веры был невыносим его нетерпячей душе. При этом сам он, когда надо, умел и затаиваться, и выжидать, и бить исподтишка, в спину. Но за противниками своими он признавал право лишь прямого, открытого наступления. Бах не думал наступать, и синдик решил принять меры. Пусть честолюбивый кантор поймет, что у него есть более насущные дела, нежели заботы о бессмертии. Господин Швальбе уже забыл, что сам вколачивал в упрямую голову Баха мысли об ответственности перед будущим и что музыка должна пережить своего творца.

И Бах ощутил, как вспенилось и забурило вокруг него житейское море. Опять пошли разговоры о распущенности учеников певческой школы, запятых лишь вышибанием денег у горожан и провизии у деревенских, о небрежении должностью равнодушного кантора, переложившего все заботы на плечи старших учеников; к сему присовокуплялось, что консистория и магистрат не намерены дольше терпеть заносчивой неадекватности своего подчиненного, который жалованье получает от города Лейпцига, но, чуть что не по нем, шлет наветы курфюрсту в Дрезден. А он-то думал, что подобные разговоры остались в далеком прошлом.

Но еще хуже было другое. Вновь усиленно стал обсуждаться проект ректора Эрнести, закоренелого недруга Баха, о превращении певческой школы в обычную гимназию. Мол, нынешнему времени требуются образованные люди, а не сиплоголосые певчие, и в основу школьного обучения должна лечь общеобразовательная программа, пеню же следует отвести скромное место, как предмету второстепенному. Ректорский проект подрывал самую основу существования семьи Баха.

Удвлял страшный поворот событий: нечаянная радость и порожденные ею надежды вдруг разом сменились напастями и преследованием. Известно, что за сегодняшнее счастье приходится расплачиваться завтрашней болью, но здесь расплата что-то уж слишком поторопилась. За тень надежды и призрак счастья платить приходилось действительными неприятностями. Неужели тут есть какая-то связь?..

Он убедился в этом вскоре после исполнения своей новой кантаты. Он давно уже не создавал кантат и был блаженно и тягостно полон, как переспелый плод — аж трещит и лопается кожица под напором сладчайшего сока. И он дал густому соку выношенных идей излиться в эту кантату. Бах редко бывал так доволен собой и обрадовался, когда при выходе из церкви столкнулся с господином Швальбе. «Набравшись нахальства», как он сам выразился, передавая Анне Магдалене свой разговор с синдиком, Бах спросил высокочтимого господина Швальбе: достойна ли кантата занять место в его собрании сочинений?

Тот не ответил на вопрос, но, поблдеув от ярости, прошшел в лшо Баха:

— По-вашему, существование глоса бога нуждается в докательствах?

Никогда еше тягчайшее, да и опасное для создателя духовной музыки обвинение в рассудочности, рационализме, отсутствии простой, теплой веры не выражалось с такой злобной откровенностью. И кто же выступил обвинителем? Человек, как никто другой понимавший и чувствовавший его музыку!

— Вы считаете, что спастись можно только через мысль? — безжалостно напирал Швальбе.

Бах мог бы много сказать в свою защиту, но тут ему вспомнилось опечаленное лицо Анны Магдалены над кипами пот, ее глубокие вздохи, и ему открылась истина. Да, он был крепкодум, медленно усваивал новое, нелегко менял мнение, но уж если понимал что-то, то до самого конца. И сейчас все тягостные события, огорчения и недоумения последнего времени связались в один тугой узел с ядовитыми фразами, выплюнутыми синдиком ему в лицо. По счастью, этот узел легко развязывается.

— Господин Швальбе, — тихо, но очень внятно произнес Бах, — позвольте сказать о другом. Мне хотелось бы разрешить одно недоумение, по-видимому возникшее между нами. Я вовсе не жду, что вы поможете мне издать мои сочинения. Вы никогда ничего мне не обещали, и у меня нет ни малейшего права рассчтывать на вас в докучном и обреченном на провал деле. Я и сам поставил на нем крест.

— Ну это напрасно, напрасно! — пробормотал Швальбе, и бледное лицо его стало медленно и жутковато наливатья тяжелой темной кровью. — Человек должен верить и надеяться. Нам не дано знать будущего. Быть может, наши желания, неисполнимые сегодня, осуществятся завтра.

— О, конечно! — улыбнулся Бах. — Не сомневаюсь, что именно так и будет со всеми вашими желаниями. Для себя же я желаю лишь одного — покоя.

— Вы его вполне заслужили, господин Бах! — Твердость нерушимого купеческого слова прозвучала в голосе синдика.

На этом можно было бы поставить точку, но артистическая натура Баха прорвалась сквозь благолепную бюргерскую оболочку:

— Вы казались мне дьяволом, господин Швальбе, а вы всего-навсего бедный провинциальный черт.

И господин Швальбе вдруг съежился, как будто из него выпустили воздух, и сказал покорно:

— Вы правы, добрейший Бах, я действительно лишь бедный провинциальный черт... Но я упомяну вас в завещании.

— Вы очень добры, господин Швальбе, расточительно добры! — И Бах, смеясь, пошел прочь, но на душе у него было черно...

Господин Швальбе не упомянул Баха в завещании по той причине, что, подобно многим суеверным людям, не позаботился составить его своевременно, считая, что для выражения последней воли

еще достаточно времени впереди, аи времени и не оказалось. Да ведь противно в расцвете лет и сил устривать свое посмертное хозяйство. И хотя по отсутствию наследников Швальбе намеревался все нажитое завещать городу для благотворительных целей, а это легче, чем обогащать людей, только и ждущих твоей смерти (Марихен за многообразные услуги причиталась весьма скромная сумма), нотариус не успел перешагнуть порога его дома. Исход синдика Швальбе был внезапен и нелеп.

Заподозрив, что хозяин водит ее за нос, Марихен решила прояснить будущее и радостно объявила ему о своей беременности. У нее не было четкого плана, все зависело от того, как примет известие господин Швальбе. В случае чего беременность могла оказаться и ложной. Но если бы синдик обрадовался наследнику и пожелал вступить в законный брак с матерью своего будущего ребенка, ловкая женщина представила бы младенца в положенный час, недаром ее настоящее имя было Мариула. Но меньше всего рассчитывала цыганка на те открытия, которые обрушил на нее разъяренный синдик. Потеряв голову от гнева и ревности, господин Швальбе не подверг и минутному сомнению признанию Марихен. Ее измена потрясла его гордость, отняла уверенность в своей силе и власти, лишила всякой осмотрительности. Подлый расчет Марихен был ясен, как день. Она воспользовалась его отсутствием, когда он бежал от Баха сперва на пустошь, потом в Дрезден, чтобы понести от прохожего молодца, п. обманув его мнимым отцовством, женить на себе. А ведь он обязан был предвидеть такую возможность, когда давал ушлой девке свои липявые посулы. Он сам во всем виноват! И, бешено злясь на себя, Швальбе еще сильнее ненавидел изменницу, бесстыжую, наглуго тварь, вздумавшую завладеть его добром с помощью чужого пащенка. И почти с наслаждением выложил Марихен всю правду о себе. «Так ты пустоцвет?» — каким-то странным оползающим голосом произнесла Марихен и что есть силы ударила себя кулаком в лоб. А потом она валялась у него в ногах, каясь в глупом, но необходимом для чести господина обмане, клялась в любви и верности, умоляла вызвать доктора Теофилуса, чтобы тот удостоверил ее полную невинность. Но синдик остался глух. Он выгнал Марихен из дома, даже не позволив толком собраться. Она ушла в слезах, прихватив лишь тонкий узелок.

На другой день один из постоянных клиентов Швальбе, войдя в незапертый и словно бы брошенный дом, обнаружил в спальне сияющий всеми цветами радуги труп. Он с воем выскочил на улицу. Ни один пасюк не был расцвечен так щедро и ярко, как почтенный синдик, — Марихен расстаралась для бывшего любовника. Не будь Швальбе таким богатым человеком, ему наверняка отказали бы в церковном погребении, тут крепко припахивало нечистой силой. Но он оставил после себя много всякого добра: земель, недвижимого и движимого имущества, товаров (наличных денег, ко всеобщему удивлению, не оказалось), и само богатство свидетельствовало о праведности господина Швальбе. Позвали цирюльника, под его мазиами, помадой, пудрой исчезли разноцветные полосы, вот только легкого свечения не удалось погасить, его щедро приравнили к таким явлениям

святости, как ипмб. Отпевали Швальбе в Томаскирхе, но не Бах управлял хором, он в это время находился в Потсдаме, у короля Пруссии...

Давно уже Эмануил, второй по старшинству, но первый по разумности, солидности и положительности сын Баха, связал свои жизненные надежды с Фридрихом Прусским. Он поступил к нему на службу аккомпаниатором («Флейтист-поэт» — называли Фридриха при дворах европейских монархов), когда тот был еще крон-принцем, нелюбимым, жестоко притесняемым, даже не раз публично битым по щекам своим отцом Фридрихом-Вильгельмом I. Скромный аккомпаниатор терпеливо делал все невзгоды, выпадавшие на долю его господина. Безупречная преданность была вознаграждена. Когда Фридрих вступил на престол, Эмануил стал, по существу, директором всей дворцовой музыки и доверенным лицом государя. В эту счастливую пору отец гостил у него в Берлине, и Эмануил загорелся желанием свести его с королем. Бах, посмеиваясь, отказывался. Зачем ему это надо: он носит звание придворного композитора курфюрста саксонского Августа и не собирается менять покровителя.

— Об этом и речи нет, — настаивал Эмануил. — Но почему бы не иметь в запасе прусского короля?

— Я боюсь Гогенцоллернов. Они властолюбивы, воинственны, грубы и бесцеремонны.

— Только не Фридрих! Да и какой он Гогенцоллерн? — Эмануил понизил голос до шепота, хотя разговор происходил в его доме при закрытых дверях. — Ты же знаешь, отец не признавал его... Но независимо от этого — он весь в мать. Настоящий гвельф, чистый ганноверский тип. А все гвельфы любят искусства и науки. Генрих Лев покровительствовал поэтам, Антон-Ульрих сочинял церковные песни, весьма изрядные, и романы, довольно скучные. Сам Фридрих обожает флейту.

— Не еще больше, я слышал, он обожает лошадей, и еще больше — военные походы. Не успел вступить на престол, а уже напал на Силезию.

— Сам виноваты!..

— Вот-вот. Ты настоящий придворный, сын мой, оправдываешь любой поступок своего государя. Интересно, что ты скажешь, когда он нападет на Саксонию?

— Этому не бывать! — пылко вскричал Эмануил. — Ты просто дразнишь меня, отец.

— Ничуть. Помяни мое слово. И как я тогда буду выглядеть в глазах курфюрста Августа?

Поистине в воду глядел Иоганн Себастьян. Через четыре года после этого разговора прусские полки вторглись в Саксонию, зажгли Лейпциг. А еще через два года Бах отправился в Потсдам. Фридрих II стал уже тем государем, чьим приглашением не пренебрегают. Бах мог сколько угодно твердить Анне Магдалене и домашним, что едет познакомиться с женой сына и покачать колыбельку внука, он

скал потому, что прусский король обмолвился о своем желании влечь «старого Баха». А если б он посмел заглянуть в себя еще глубже, то обнаружил бы, что связывает с этой поездкой некоторые тайные надежды. Зброшенное в него синдиком Швальбе не изжило себя в первом жестоком разочаровании. Пусть Швальбе оказался жадным ничтожеством, разбуженные им мысли и чувства этим не обесценивались, и тревога за будущее своих детищ проросла в кровь Баха. Было бы преувеличением сказать, что он безраздельно отдался этой тревоге. Во вселенной разлито столько прекрасной незаписанной музыки, и к ней, прежде всего к ней, были устремлены помыслы Баха. Но когда музыка отступала, темное облако наплывало на душу. Приглашение короля прусского, переданное Эммануилом, зажгло огонек робкой надежды...

Верный своей привычке, Бах вышел из Лейпцига пешком, а в пяти верстах от города его нагнал заранее нанятый возок, где лежали чемодан с праздничным платьем, скрипка в футляре. Бах заехал в Галле, где забрал своего любимца, старшего сына Фридемана. Он опасался, что сына не отпустят, но Фридеман лишь высокомерно усмехнулся: «Я сам себе голова». Отпу не могло не польстить столь независимое положение сына. Иоганн Себастьян считал, что во Фридемани, единственном из даровитого клана Бахов, есть искра гениальности, и боялся, как бы от слишком усердных возлияний эта искра не погасла. И хотя во внешности Фридемана появилось что-то от забулдыги-офицера: красноватая кожа, пористый, какой-то нахальный нос, задиристый блеск глаз из-под лихо нахлобученной широкополой шляпы, от него веяло бодростью и жизненной силой. В радужном настроении отправились отец с сыном в путь. Фридеман все время добродушно посмеивался над младшим братом — придворным втирушей — и более зло — над его державным покровителем.

— Он не успокоится, пока не перевоюет со всей Европой. Единственное, что по-настоящему влечет «просвещенного» монарха, — это слава первого полководца века.

— Он хорошо начал свое царствование.

— Ты имеешь в виду нападение на Силезию?

— Нет, его внутренние преобразования.

— А-а!.. Он действительно распустил полк великанов.

— Не только. Отменил пытки. Продажу должностей. Ускорил судопроизводство.

— Небось Эммануил напел? О втируша, лукавый царедворец! Все указы Фридриха — для господина Вольтера и будущих историков. Ему смертельно хочется стать «великим». Этого не удостоились ни его отец, ни дед, и пора бы уже на прусском троне воссесть «великому». Он отменил пытки, а избиение подследственных продолжается. Он якобы реформировал суд, на деле же подменяет собой и судей, и всех прочих чиновников.

— А хлебные магазины для крестьян?

— Да, он понял, этот светлый ум, что если крестьяне перемрут от голода, то лекому будет кормить армию.

— Ты слишком строг к великому государю.

— Вот, вот, ты уже говоришь «велькому». А почему? Тебе льстит его приглашение. Ты, наверное, и музыку ему посвятишь... Что ж, он, надо полагать, тоже не покусится. Еще одна чистая душа уловлена вепченосным пауком.

«Пусть будет так! — подумал Бах. — Улови мою душу, король. Для этого так мало надо: сколько-то белой бумаги да типографской краски. Улови мою душу, король. Сними проклятье немоты с моих созданий, дай им жизнь и будущее...»

Катился возок мимо истощенных военными поборами городков, нищих деревень — грустный пейзаж столь блестящего царствования, — приближаясь к резиденции короля Пруссии.

О приезде Баха Фридриху сообщили почти в ту самую минуту, когда запьяленные, усталые путники переступили порог дома придворного аккомпаниатора. Что-то, а служба наблюдения была поставлена образцово, как и положено в каждом истинно просвещенном государстве.

— Немедленно звать во дворец! — приказал Фридрих.

Он вертел в руках флейту. В зале для камерных концертов музыканты настраивали инструменты, за клавишном сутулилась широкая спина Эммануила. Приглашенные почтительно ждали выхода венченоксого солиста.

— Господа! — громко сказал, появляясь, Фридрих и сам удивился волнению, перебившему его твердо поставленный на плацу и в битвах голос. — Концерт отменяется. Старый Бах приехал.

Он обернулся к обрадованному Эммануилу.

— Сейчас ваш отец будет здесь. Встретьте его.

Бах даже не успел помыться и переодеться с дороги. Приглашение короля, переданное гайдуком, звучало с грозной вежливостью, исключаяющей медлительность. Он с грустью поглядел на извлеченный из чемодана слегка помятый скруток английского сукна — невестка уже раздувала утюг, — обмахнулся веничком из перьев, натянул парик и со вздохом сказал посланному, что готов следовать за ним. Фридеман отнесся к случившемуся с философским спокойствием и даже не потрудился выбить пыль из складок дорожного платья, да ведь не его ждали во дворце с таким нетерпением.

Старый Бах интересовал Фридриха. Это объяснялось и музыкальными наклонностями короля, и высочайшей репутацией Баха как исполнителя клавишной музыки, и рвением Эммануила, широко познакомившего своего повелителя с произведениями отца, в том числе с пленительной сонатой для флейты, но, пожалуй, более всего — его исключительным нюхом на людей выдающихся. Насколько глубоко постигал он музыку Баха, сказать трудно, у него было слишком мало свободного времени: и физического, и душевного, но безошибочным чутьем он угадывал, что эта музыка останется, в то время как музыка куда более популярных композиторов замолкнет в самом непродолжительном времени. Остаться же, разорвать тенета века было для Фридриха высшей целью, какую мог поставить себе смертный человек. Сам он хотел остаться как лучший полководец своей эпохи. Разумеется, смешно объяснять многочисленные, да что там — беско-

нечные войны Фридриха желанием доказать свой полководческий гений. Всякая власть, даже неограниченная, деспотическая, дается на неких условиях, что нигде не фиксируются, никем не подписываются, но настолько непреложны, что любая попытка нарушить их ведет к краху власти. Условия, на которых получил свою власть Фридрих: сильная, неуклонно расширяющаяся за счет соседей Пруссия. Но выполнять условия можно разными путями: переговоры, интриги, подкупы, союзы, главный смысл которых — вовремя изменить; Фридрих же признавал лишь один путь — войну. И вовсе не по солдатскому прямодушию, чуждому кривым обходам. Написав в молодости программный труд «Анти-Макиавелли», привлечший к нему лучшие и наивнейшие сердца Европы, Фридрих, взойдя на престол, действовал в государственной практике только по рецептам циничного итальянца, с той разницей, что в своих наставлениях государю Макиавелли исходил из условий слабых, drobных итальянских княжеств, а у Фридриха были иные масштабы...

Иоганн Себастьян понравился королю. Статью это был тот же Эммануил: мясистый, тучный немецкий бургер, но лицом куда благообразней и значительней. Эммануила портил растянутый лягушачий рот. Другой сын, на которого Фридрих едва взглянул — зачем ему копип, если имеется подлинник? — ближе к отцу сильной лепкой простых и правильных черт, но во взгляде его не было отцовской спокойной сосредоточенности, скорее дерзость, чего Фридрих терпеть не мог. И он сморгнул Фридемана, как соринку с века. К сожалению, старый Бах затеял длинные, витиеватые и нудные извинения по поводу своего дорожного вида. И так известно, что он не виноват, ему велено было явиться как есть, вот он и явился. Может, так принято у них в Саксонии?

— Хорошо, хорошо, дорогой Бах! — нетерпеливо воскликнул король. — Клянусь богом, мы рады видеть вас и без вашего превосходного, в том нет сомнений, черного капторского сюртука.

Кто-то из придворных хихикнул, Бах и бровью не повел. Он продолжал свои извинения, напоирая на то, что оказанная ему великим монархом честь требовала от него явиться в полном параде. «Это характер! — отметил про себя Фридрих. — Его нелегко сбить». Накопец Бах закончил свой монолог, низко, с достоинством поклонился и сказал, что весь к услугам Его величества.

Сохранился рассказ Вильгельма Фридемана о пребывании Баха при Потсдамском дворе в передаче музыковеда Иоганна Николауса Форкеля. Мне нравится точность и простота этого неприязнительного рассказа. «Король пожелал услышать из уст старого Баха, как его называли уже тогда, оценку фортепиано работы Зильбермана, которые стояли во многих комнатах дворца. Музыканты ходили вместе с Бахом и королем из комнаты в комнату, и Бах пробовал каждый инструмент и импровизировал при этом. Опробовав таким образом инструменты, Бах попросил у короля дать ему тему, чтобы сразу же сымпровизировать на нее фугу. Король пришел в восхищение от того, с каким знанием дела была разработана без подготовки его тема, и высказал желание, якобы лишь с целью любопытствовать,

на что может быть способно такое искусство, послушать еще и фугу с шестью obbligатными голосами. Но так как не всякая тема может быть проведена с таким количеством голосов, то Бах сам выбрал тему и исполнил ее сразу же, к громадному восторгу присутствующих показав такое же искусство и умение, как и в проведении темы короля...»

Но то ли Вильгельм Фридеман не все рассказал Форкелю, то ли сдержанный профессор сам пожертвовал некоторыми подробностями, поскольку не был любителем острых блюд. Так, Фридриха приметно смутила его промашка с шестью obbligатными (обязательными) голосами, он покраснел и зафыркал, что было у него знаком крайнего раздражения. И придворные совсем оробели, когда старый Бах не только не сгладил ошибки короля, а усугубил ее своими слишком подробными разъяснениями в учительско-назидательном тоне. Но, как было вскоре замечено, раздражение короля не коснулось Баха, и он продолжал держаться с музыкантом милостиво, даже почтительно.

Бах произвел на короля куда более сильное впечатление, чем представлялось окружающим. Фридрих высоко ценил профессионализм в людях. А этот грузный старик с летучими руками знал все в своем деле, для него не было никаких тайн и секретов. И еще Фридрих никогда не думал о смерти, боялся этих мыслей, не думал и о загробной жизни и, кажется, не очень верил в нее, но часто, много и охотно думал о том втором и высшем бытии, которое выпадает иным избранникам и, без сомнения, выпадет ему. Разве Александр Македонский, Юлий Цезарь, Ганнибал, Сенека или Данте менее реальны в сегодняшнем дне, чем какой-нибудь герр Штрумпф с раздутым от пива брюхом, или крестьянин, надрывающийся на пашне, или те безликие, которыми он унавоживает поля сражений? Во всяком случае, Фридрих соизмерял свои поступки с деяниями Александра или Цезаря, а не герра Штрумпфа, хотя телесно те давно обратились в прах, а герр Штрумпф ест, пьет, горланит песни, смердит, трясет постель, вообще многими вульгарными способами заявляет о своем пребывании в мире. Но он-то как раз дух, призрак, ничто, а Александр и Юлий Цезарь, Сенека и Данте живут в других великих, и даже чернь благоговейно повторяет их имена. И Фридрих смотрел на Баха как на своего возможного партнера по бессмертию. Их имена, верно, будут сталкиваться там, за чертой физического существования, в недоступном для простых смертных далеке, которое одно лишь — навсегда. В вечности не будет людей, окружающих Фридриха на поле битвы. О тех же, кто составляет его совет, и говорить не приходится, их уже все равно что нет, но будет этот мощный старик с голубым взором, замутненным надвигающейся слепотой.

И, желая видеть Баха в наилучшем виде в той вечной жизни, где им предстоит встретиться, Фридрих заботливо осведомился, когда намерен тот подарить миру собрание своих сочинений. «Все мы смертны, дорогой Бах, и, хотя вы держитесь молодцом, есть дела, которые нельзя затягивать. Вы сами должны проследить за изданием». Ощущение чего-то уже раз бывшего коснулось Баха, но он не стал в нем копаться. Слишком неожиданным и радостным было сказанное

государем. Ужели его тайная мольба проникла в душу Фридриха? Не заговорил король об этом сам, он так бы и уехал из Потсдама. Разве хватило бы у него духу обратиться с денежной просьбой к чужому повелителю? Конечно, оставалась надежда на Эммануила. Да согласился бы этот осторожный, осмотрительный и крайне расчетливый во всех поступках царедворец ходатайствовать за своего отца? Наверное, согласился бы скрепя сердце, но тяжело и недостойно просить через другого, даже если другой — твоя родная плоть и кровь. И как же все сейчас божественно упростилось!..

— Увы, ваше величество, о каком издании может идти речь? Мне оно не по карману.

— Не прибедняйтесь, дорогой Бах! — чересчур поспешно вскричал король. — Никогда не поверю, что мой кузен Бранденбург не прислал вам славного подарка за концерты, названные его именем.

— Осмелюсь ли я говорить неправду вашему королевскому величеству? Я не корысти ради делал скромное подношение герцогу Бранденбургскому, но вправе был рассчитывать хоть на маленькую благодарность, на знак того, что мой дар принят милостиво. Мои ожидания оказались напрасны.

«Браво, Бранденбург! — хохотнул про себя Фридрих. — Это надо иметь в виду, поскольку и меня ожидает подношение. Даже табакерочки пожалел великому музыканту. Вот жмот так жмот! И гром не грянул, и земля не разверзлась. Неблагодарность не значитя среди смертных грехов. Очевидно, всевышний полагает ее естественной принадлежностью своего любимого творения».

— Когда я победил знаменитого Маршана... — На больших, чуть обвисших щеках проступила лиловая сетка — Бах никогда не хватался своими музыкальными триумфами, и ему было стыдно, — французский органист просто не явился на турнир, послушав накануне мою игру, удрал с утренней почтой, я опять не дождался ни вознаграждения, ни обещанного подарка. И все же я встретил однажды щедрого господина: русский посол при Дрезденском дворе граф Кейзерлинг пожаловал мне сто луидоров в золотом кубке за «Гольдберговские вариации».

— Ого! — вскричал Фридрих. — Сто луидоров и золотой кубок за одно сочинение! Недурно, недурно! Хотел бы я так зарабатывать. Он чертовски богат, граф Кейзерлинг. К тому же русская царица щедро оплачивает его сомнительные услуги. Мне бы царскую казну! Какая несправедливость: варвары имеют все — золото и серебро, руды и драгоценные камни, а в бедной маленькой Пруссии нет ничего, кроме желудей.

Фридрих уже понял, что к нему обратились с замаскированной просьбой, которую он сам неосмотрительно спровоцировал. Никогда не надо лезть в чужие дела, там всегда неблагоприятно. Мог ли он думать, что этот величавый старик, этот плодовитейший музыкант бедней церковной крысы?

Фридрих был скуп, как мелкий лавочник или как настоящий Гогенцоллерн. Тут уж в нем не было ничего от гвельфов. Он знал за

собой эту черту и ценил ее, ибо деньги были нужны для войны, их постоянно не хватало, и всякая щедрость, даже в малом, преступна. И все же на мгновение в нем шевельнулось: кому-кому, а старому Баху стоило бы дать... Нет! — одернул он себя чуть опечаленно, но твердо: — Что я — меценат, Лоренцо Великолепный, папа Юлий, покровитель искусств, чтобы опустошать скудную казну для публикации музыкальных шедевров, до которых никому нет дела? Я не Генрих Лев и не Антон-Ульрих и вообще не настолько гвельф, чтобы служить музам, я служу Марсу. Будь хотя бы он в моем штате, приноси славу моему царствованию, идее Великой Пруссии, пробуждай в сердцах юнкеров и бюргеров патриотический восторг, тогда бы... Тогда бы мы еще подумали, стоит ли тратить. Но его музыка недоступна моим добрым подданным, и хорошо, что недоступна. Когда они подымутся до такой музыки, то перестанут быть добрыми подданными. Конечно, нежелательно было бы лишиться приношения. Этот старец, поди, в заговоре с вечностью и может мне крепко навредить т а м. Музыкальное приношение должно состояться, я предложу ему новую тему. Это повяжет нас прочнее прочного. Зачем его отталкивать? Пусть сам откажется от просьбы, так и не выговорен-ной вслух.

И Фридрих сказал тепло, доверительно, с оттенком легкой грусти:

— Дорогой Бах, вы что-нибудь слышали обо мне как о военачальнике?

— Государь, молва называет вас величайшим полководцем века. Я ничего не смыслю в военном деле и могу лишь тихо сожалеть, что звук боевой трубы заставляет вас прятать в футляр флейту, в игре на которой вы, ваше величество, достигли выдающегося мастерства.

«Он льстит, дело плохо!» — отметил про себя Фридрих.

— Да, вы не много знаете, во всяком случае, не больше других, приписывающих мне стратегический гений и черт знает какие еще полководческие достоинства. Так вот: наемная армия исключает гениальность полководца. Тут все predetermined: построение, нехитрый маневр — сплошной шаблон и рутинна. Знаете, чем я беру? — Фридрих понизил голос: — Шесть выстрелов и еще зарядение в минуту. У меня этим владеет каждый пехотинец. Вот и все.

— И ничего больше? — спросил опешивший Бах.

— Ровным счетом ничего. Но надо было додуматься до такой простой мысли. И научить этих олухов с негнущимися пальцами скорострельности. Добро бы раз научить. Но ведь их убивают, все равно рано или поздно убивают вражеские солдаты, стреляющие куда медленней, а тут еще дезертирство — бич наемных армий. И надо учить новобранцев. И одевать. И снабжать оружием. И пулями. А для того чтобы так быстро стрелять, нужно очень много пуль. На все требуются деньги, дорогой Бах, очень, очень много денег. Знаете, кто выигрывает войну? Тот, у кого остается один лишний талер. Пора Фермопил миновала, нынешние войны идут на измор, поэтому они так продолжительны. Воеют не до победы, а до полного изнеможения, до окончательного истощения сил. И вот, когда уже все выдохлись,

у кого-то оказывается в кармане лишний талер, и эта блестящая монетка решает дело.

— Кажется, я понял, ваше величество, — задумчиво, будто изда-дека, проговорил Бах. Он в самом деле отдалился от собеседника, ушел в самого себя, пытаясь постигнуть то страшное ощущение уже раз пережитого, которое овладело им с обморочной силой.

О господи, спаси и помилуй, ведь сейчас снова звучала тема синдика Швальбе в том последнем ее повороте, когда поддельный демонизм обернулся обывательской дребеденью. Но что общего у великого короля, прославленного полководца с лейпцигским обывателем? Много! Скупость. Неспособность вышагнуть из своих пределов. Убогий прагматизм. А разница лишь в масштабах. Бах взглянул на Фридриха. Какой он щуплый, узенький в своем мундирчике, какое у него обобранное, нищее лицо. И тут их прервали. Стремительно вошел длинновязый человек, весь в черном, и протянул королю свернутый в трубку лист бумаги.

— Я сказал, чтоб меня не тревожили! — обрушился на него Фридрих, но Баху показалось, что он рад помехе.

— Ваше величество приказали все дела по кавалерии...

— А-а! — смягчился Фридрих. — Что там у вас?

— Суд вынес смертный приговор улану за мужеложство.

— Еще чего? — холодно сказал Фридрих. — Так я и вовсе без армии останусь. Если этот улан такая свинья, перевести его в пехоту.

Он взял приговор и разорвал на четыре части.

Человек в черном низко поклонился и, пятясь, вышел.

— Идиоты безмозглые! — взорвался Фридрих. — Убивать солдата — дело врага. Пусть истратит на него хоть пулю. Хоть мускульное усилие на удар штыком. Всем на все наплевать. Можно подумать, что Пруссия нужна мне одному. Приходится вникать в каждую малость. Иначе все пойдет прахом. Я считаю себя первым слугой государства, но я уже не слуга, а лакей!.. Боже, юношей я мечтал о лаврах поэта. Создать «Атала» мне казалось куда почетней, чем выиграть Тридцатилетнюю войну. В сущности, я и сейчас так считаю. Какой же вы счастливый человек, Бах, что можете думать о гармонии, а не о свинье улане, насилующем новобранцев. Мне бы чистоту ваших забот. Как я вам завидую!..

Король явно переигрывал, и Баху стало неприятно, что из-за жалких денег, которые Фридриху, как ему — мелочь, бренчащая в кармане, он так ломается и фальшивит. Отказывать надо с большим достоинством. Зачем все это шутовство, когда уже и так все ясно.

— Не смею злоупотреблять драгоценным временем вашего величества! — сказал Бах, наклонив в поклоне крупную голову под крепко завитым париком.

Фридрих удивился странной грусти, охватившей его, когда за Бахом закрылась дверь. Казалось, ушло что-то важное, чистое, пужное, чего постоянно недоставало его жизни, но без чего он вроде бы приучил себя обходиться. Конечно, это чувство пройдет, все станет на свои места. А уж если допечет ничтожество и зависимость окру-

жающих, можно отвести душу в письмах, есть же в мире настоящие люди. Но сейчас ему было грустно, и общество себе подобных казалось невыносимым. Он закутался в плащ и вышел из дворца. Назвав пароль часовому, пересек парадный двор и, толкнув деревянную калитку, оказался возле служб.

Плотный, теплый запах лошади и овса, замоченного вином, приятно заложил поздри. Конюхи, конечно, узнали короля, но как ни в чем не бывало продолжали заниматься своим делом. Так им было приказано. Лишь старший конюх и объездчик Фриц, заслышав быстрый, цокотливый от высоких каблучков шаг своего венценосного тельки, вышел с ведром и скребницей из денника шестилетней кобылы Тилли, королевской любимицы.

Тилли, переступив копытами, чуть слышно, нутряно заржала и потянулась к Фридриху мордой, вздергивая сафьяновую губу над желтыми резцами. Фридрих знал, что лошади глупы, беспамятливы, неблагодарны и в этом смысле мало чем отличаются от людей. Но он заставлял себя думать, что Тилли радуется ему, а не куску сахара, который он всегда носил в кармане и, прежде чем дать ей, очищал от крошек табака. Ему хотелось бескорыстной любви. А вообще-то маленькая жадность к сахару прощительна. Зато лошадь никогда не лжет, не ищет выгоды, не запкивает, покорно и достойно принимает любые тяготы, бесстрашно идет в бой, погибает без жалобы, никогда не предает и не бежит с поля битвы, если ее не заставляет всадник. Во всем этом лошадь так безмерно возносилась над человеком, что Фридрих понимал Гая Каллигулу, который ввел своего коня в сенат. Уж наверняка этот добрый конь, не тягаясь с сенаторами в лукавом красноречии, превосходил их честностью и благородством. И потом — лошадь так красива, так гармонична и совершенна в каждом движении: упругой работе ног, вскиде и повороте гордой головы, лебяжьим выгибе шеи. И какая чудная музыка в ее аллюре, шаге, паруси, курц-галопе, галопе, марш-марше слани, когда лошадь стелется по земле и сердце готово разорваться от счастья. И как дико, что лошадь, богово совершенство, должна служить человеку, а не наоборот. Справедливость восстанавливается лишь в конюшне, у тех, кто умеет по-настоящему ценить лошадь. Он заставляет своих конюхов языком вылизывать денники. А как издеваются над лошадей простые люди, особенно крестьяне, целиком зависящие от ее труда. Хлещут кнутом даже по глазам, мерзавцы, не кормят, не чистят, то весь день не поят, то онаивают до порчи. Слеза посолила уголок губ. Фридрих обнял Тилли за шею, прижался щекой к шелковистой морде. Мягкое хрумкаше щекотно отозвалось в ухе.

— Милая!.. Красавица!.. Какая ты чистая, шелковая!.. Как вкусно от тебя пахнет!.. До чего же ты вся хорошая, славная моя лошадка! А твой папа Фриц не был сегодня хорошим, ох не был. Дрянный твой папа Фриц, скупердяй, мелочная душонка. Раз в жизни мог совершить доброе, святое дело и не поднялся над собой. Думаешь, побоялся украсть несколько грошей из приданого бедной девочки Пруссии? Да нет же, просто грустный скряга. Настоящий Гогенцоллерн, этим все сказано. Какая шваль смещивала свою кровь из столетия в

столетие, чтобы создать столь мерзкий родовой тип? И отец еще не считал меня своим сыном! Ну уж сегодня-то он понял, что мы одна плоть. Ох и гордился же мною папаша, облизывая сковородки в аду...

...С обычной щедростью бедных людей к богатым Бах выполнял свое обещание Фридриху: его «Музыкальное приношение» содержало трехголосный и шестиголосный ричеркар, шесть канонов и каноническую фугу. Не постояв перед расходами, он отдал гравировать ноты.

Через некоторое время Эммануил в сдержанных до сухости выражениях уведомил отца, что приношение его принято милостиво...

Анна Магдалена, умная и любящая жена, давно уже заметила тщательно таимую мужем душевную невзгоду. Она стала уговаривать его издать сочинения за свой собственный счет, не надеясь на благородный жест равнодушных и жадных богачей. Бах угрюмо возражал, что скудный его нажиток принадлежит семье и он скорее уничтожит все написанное, нежели пустит по миру своих близких. Анна Магдалена выражала твердую уверенность, что издание не только окупится, но даже принесет им богатство, пусть и не сразу. Она была уверена в обратном, но голос ее звучал так искренне, что Бах дрогнул. Как бы легка была ему копчина, которая уже не за горами, если б он оставил дорогой жене и милым детям чуть побольше денег. В тяжелые минуты, когда свет совсем погасал в его глазах, он видел внутренним вещим зрением Агню Магдалену в нищенском образе обительницы дома призрения. И слезы катились по его осупувшему лицу.

Анна Магдалена нашла способ значительно удешевить издание. Они будут сами гравировать ноты. Таким образом, деньги уйдут лишь на медные доски и на бумагу. «Мне понадобится еще одна жизнь, чтобы справиться с такой работой», — мрачно шутил Бах, но в конце концов решил сделать опыт — издать «Искусство фуги». Превозмогая режущую боль в глазах, он принялся каллиграфическим почерком переписывать ноты для гравирования. Эта тонкая и напряженная работа окончательно доконала его больные глаза. В отчаянии Бах решился на тяжелую, мучительную операцию, в успех которой не верил. Знаменитый английский хирург (раздутое ничтожество) бесстрашно сделал свое черное дело. К полной слепоте прибавились непрестанные боли. Пришлось подготовленные к гравированию ноты отослать в типографию Шюблера, которому Бах некогда поручил издание «Музыкального приношения».

Отдав это распоряжение, Бах как будто потерял всякий интерес к судьбе своих сочинений. Он диктовал мужу старшей дочери, музыканту Артниколию, хоральную фантазию на мелодию «В тягчайшей скорби», но назвал ее первыми словами молитвы «Перед твоим престолом».

Из тьмы и нестерпимой, пропзающей мозг боли исторглась же жалоба, не мольба о милосердии, не скорбный упрек, а чистая, прозрачная хвала господу, исполненная смиренного благочестия.

И, давно разочаровавшийся в созданных им по образу и подобию своему, Вседержитель поверил, что еще не все пропало, и, умиленный, ниспослал чудо, чего за ним давненько не водилось: отверз Баху вежды.

Бах увидел прекрасное лицо жены, освобожденное любовью и терпением от всех земных тяжестей, увидел милые, бедные, испуганные лица детей и тихо, спокойно простился с ними, ибо понял, что за ниспосланной ему милостью последует не исцеление, а скорая кончина. О своих сочинениях он даже не упомянул, и это больше всего мучило Аппу Магдалену.

А что бы Вседержителю расщедриться и сунуть Баху под подушку полный кошелек! Тогда бы знал умирающий, что не пропадет, не сгинет созданное им, и блаженно легок, светел стал бы его исход. Да ведь то был скаредный немецкий бог, так же не способный вышагнуть из самого себя, как не смогли этого ни Ганс Швальбе, ни Фриц Гогенцоллерн.

Старшие сыновья Баха не были в Лейпциге, когда он умер. Но они приехали на похороны, имевшие место 31 июля 1750 года во дворе церкви св. Иоанна. А на другой вечер после похорон Фридеман и Эммануил заперлись в кабинете отца, где хранились его музыкальные сочинения. Конечно, они многое знали, да почти все знали, кроме, разумеется, новых фуг и последнего хорала, но кое-что забылось, кое-что звучало сейчас по-иному, а главное, впервые стал обозрим весь геркулесов труд. Оба читали с листа так же бегло, как их отец. Всю ночь напролет просидели братья в запертом кабинете при тусклом свете оплывающих свечей, спиной друг к другу, уставясь в ноты, прижав кулаки к вискам, будто в опасении, что лопнет черепная коробка под напором звуков. Пот орошал высокие баховские лбы, истекла слезами родовая голубизна глаз, и, если бы какой-нибудь лейпцигский обыватель заглянул в прорезь ставен, он принял бы этих людей за сумасшедших.

Оцепенелый от свежей утраты, погруженный в тяжелый, провальный сон, старый дом был так тих, что слабый шорох, треск разошедшейся половицы, чей-то прерывистый вздох казались пугающе громкими. Но братья не слышали пустой тишины дома, им гремели оркестры, и стон хоралов, возносящихся к престолу бога, надрывал душу.

Под утро они разошлись, не сказав друг другу ни слова. После короткого сна снова заперлись в кабинете. Так длилось несколько дней и ночей. Когда же наконец окопчился невероятный концерт, они были в полном изнеможении.

— Какие же мы все-таки дети рядом с Ним! — вздохнул Фридеман и смял ладонями лицо.

— А ведь, пожалуй, если все это обнародовать, — задумчиво проговорил Эммануил, — не станет ни династии, ни роду, ни семьи музыкантов Бахов. Будет один Иоганн Себастьян во веки веков.

Этот голос унылого практицизма снял колдовские чары, Фридеман громко расхохотался.

— Неужели ты, братишка, метишь на роль Главного Баха?

— Ни на что я не мечу,— кисло отозвался Эммануил.— Но чем скорее мы выработаем собственный стиль, тем будет лучше для нас. На стезе отца мы остаемся его бледными теньми.

— Целиком согласен с тобой. Но при чем тут его музыкальное наследство?

— Ни при чем. Я только хотел сказать, что нелегко вам будет выпростаться из-под такой махины.

— А что, если собрать все это в кучу да...

— Перестань, Фридеман! Ты был любимцем отца, как поворачивается у тебя язык, пусть даже в шутку...— оскорбился Эммануил.

— Не ханжи! — оборвал брат.— Я пытаюсь понять, что у тебя на уме.

— Я ничего не скрываю...

— Ну, так не тяни! — вскипел Фридеман.

Старшие сыновья унаследовали недостатки отца, так же как и его достоинства. Но если достоинства перешли к ним в ослабленном виде, то недостатки, напротив, усилились до степени пороков. Так, вынужденная и разумная расчетливость Баха обернулась в Эммануиле болезненной скупостью; отцова настойчивость переросла во Фридемане во вздорное упрямство, а готовность защищать свое достоинство стала всегдашней настроенностью на ссору и скандал. Эммануил знал характер брата и побаивался его. Он оставил без внимания его оскорбительную выходку и сказал миролюбиво:

— Мы должны позаботиться о памяти нашего отца.

— Почему так робко, так неопределенно? — насмешливо спросил Фридеман.— Наша обязанность — издать все произведения отца.

— Все? — переспросил Эммануил.— Я не ослышался? Ты действительно сказал «все»?

— Не бойся. Это не помешает твоей блистательной карьере. «Старый Бах» не затмит своего передового сына. Время нашего отца миновало, Эммануил. Горько, что он не сумел им воспользоваться. Он был гением полифонии, мир ее праху. Едва ли во всей Германии наберется горстка людей, способных не то что наслаждаться, а хотя бы выдержать все это! — И Фридеман небрежным жестом указал на груды рукописных нот, загромождавших стол, диван, кресла.

— Значит...— с надеждой начал Эммануил.

— Нет, не значит,— жестко перебил Фридеман.— Тебе очень хочется, чтобы старший брат взял грех на душу и сказал: мы не должны издавать сочинений отца. Ты этого не дождешься. Должны! Устарел Иоганн Себастьян или не устарел — должны.

— Если ты так богат,— от злобы Эммануил перестал бояться,— то о чем говорить? От души рад за нашего отца. Тем более что вкусы меняются. Пусть в ближайшие пятьдесят лет его сочинения не найдут покупателей, кто поручится за будущее? Я уверен, его звезда еще вспыхнет и затмит все остальные светила.

— К чему это витийство? — презрительно, но с ноткой неуверенности сказал Фридеман.— Ты прекрасно знаешь, что денег у меня нет.

— А у меня давно. Зато у меня есть семья... в отличие от тебя.

— Так что же нам делать? — внезапно пал духом Фридеман. — Ведь не можем же мы...

Подобное случалось нередко: дряблые первые пьяницы в какой-то момент сдавали. Так было и на этот раз, — ослабленный почными бдениями, горем, лишенный возможности зарядиться — нельзя же пить в доме, где еще витает дух покойного, — Фридеман свяк, а там и вовсе рухнул. Теперь, пока факел вновь не возгорится, из него можно веревки вить. И Эммануил уверенно взял в руки бразды правления.

— Я считаю, — сказал он внушительно, — что мы обязаны закончить издание «Искусства фуги». Если оно разоидется, мы издадим хоралы...

— А потом мотеты, мессы, оркестровые произведения! — подхватил Фридеман. — У тебя хорошая голова, братишка. Значит, решено...

Они не лукавили друг с другом и были бы искренне рады и горды, если б сочинения отца нашли спрос. В этом они сходились: расчетливый, трезвый семьянин Эммануил и беспечный кутила Фридеман. Но и любовь к отцу, и преклонение перед его гением не могли заставить их пойти на заведомо убыточное предприятие. Фридеман, возможно, и рискнул бы, но он и так не вылезал из долгов, а Эммануил знал цену каждому талеру и не собирался приносить свой трудно нажитый достаток в жертву сомнительному сыновнему долгу.

«Искусство фуги» увидело свет через два года. На том кончились и хлопоты Эммануила по отцовскому музыкальному наследству. Покупателей нашлось лишь на десяток экземпляров, и, дабы покрыть расходы, Эммануил продал медные доски по цене металла — на вес. Анна Магдалена не могла остановить пасынка, к этому времени она тихо угасала в доме призрания.

Зато Эммануил сохранил ноты отца, доставшиеся ему при разделе, не то что бродяга Фридеман, беспечно разбазаривший и растерявший большую часть своей доли. А ведь он не меньше брата чтит отца, но оба не могли подняться над временем, отвергшим «старого Баха».

Иоганна Себастьяна забыли настолько основательно, что стали путать с другими членами рода и семьи, его черты вписывали в некий общий портрет полубогемного музыкального кудесника, что заставлял звучать давно обезголосевшие органы, завораживал музыкой зверей и птиц, исцелял недуги. Этот граф Калностро от музыки не имел никакого отношения к создателю «Страстей по Матфею», «Бранденбургских концертов», «Искусства фуги», «Клавирных упражнений». И Великим Бахом стал-таки в глазах современников одаренный и трудолюбивый Эммануил, который с достоинством нес это звание. Дебошир, пьяница и бродяга Фридеман, растерявший в своих беспечных странствиях все, кроме исполнительского мастерства, спокойно-прощески следил за возвышением Эммануила, довольствуясь славой несостоявшегося гения. Но, пожалуй, самым знаменитым из всех Бахов стал младший брат, Иоганн Хри-

стиап, так называемый Лондонский Бах, автор популярных опер. Он плохо помнил отца, был безразличен к его музыке и пренебрежительно называл «старым париком».

Непроглядная ночь поглотила Иоганна Себастьяна, и казалось, навсегда...

В самом начале девятнадцатого века тонкий голос безвестного геттингенского профессора Форкеля назвал Баха «гордостью нации». И пикому не пришло на ум, что бессмертие робко постучалось в наглухо забитую дверь. Форкель не унимался. Он выпустил небольшую, чрезвычайно ценную по сведениям книжечку о Бахе — первую биографию композитора. Но разве по силам было бедному Форкелю сдвинуть глыбу человеческого равнодушия? Чтобы вернуть в мир гения, нужен другой гений. И он нашелся. Рысьи глаза двадцатилетнего юноши Феликса Мендельсона-Бартольди высмотрели жемчужину в музыкальной завали прошлого — «Страсти по Матфею».

11 марта 1829 года тонкая рука сидящего за роялем Мендельсона (он дирижировал, согласно традиции берлинской Певческой академии, сидя за роялем, боком к публике) подала знак хору, и спали чары векового забвения. Великий Бах вернулся в мир, и начался новый отсчет музыкального времени.

В начале нашего столетия другой высокоодаренный молодой человек, эльзасец родом, сочетавший в своей личности немецкую мечтательность с французским рационализмом, философ, богослов, органист, написал замечательную книгу об Иоганне Себастьяне Бахе. Его звали Альберт Швейцер. И, создав эту удивительную по глубине и пропикновенности для тридцатилетнего человека книгу, трогательно притворившись в ней бесстрастным исследователем, строгим, не поддающимся увлечению ученым-педаантом, когда вся душа его трепетала от восторга перед объектом исследования, он устыдился вторичности своего дела — рыбка-паразит в акульей челюсти. Он бросил кафедру, блестяще начатую карьеру, отринул все заманчивые предложения, уселся на студенческую скамью и принялся зубрить мучительную, как зубная боль, медицинскую латынь. Зная, что ему не по плечу творческий подвиг, достойный Баха, он решил подняться до него живым деянием и, выпущенный врачом, уехал в африканские тропики лечить туземцев, вымпрающих от сонной болезни, проказы и туберкулеза. Уехал на всю жизнь. Вот так аукнулось гулким стоном органичных труб в глубине восемнадцатого века и откликнулось в наше время великим подвижничеством...

Когда перекапывали заброшенный погост при церкви св. Иоанна под крепкие шуточки веселых гробокопателей — ничто так не бодрит душу, как близость иного мира, — полусгнивший гроб с останками Баха нашел приют на маленьком кладбище Томаскирхе. А вскоре прах композитора, признанного «гордостью нации», торжественно перепесли в церковь, где он столько лет прослужил в скромной должности кантора, и его надгробная плита легла на самом почетном

месте. Собственно говоря, вся церковь св. Фомы стала как бы мавзолеем Баха. Это ли не торжество справедливости?

О терпеливый Бах! О неторопливое человечество!

А может, никто не виноват и даже сыновья Баха безвины перед его тенью? Просто не пришло тогда время для его музыки, и ничего тут не поделаешь, а когда пришло, то все стало на свои места. Поистине «*Gottes Zeit ist allerbeste Zeit*». Пошли и всем нам мудрого баховского терпения...

СИРЕНЬ



Странное то было лето, все в нем перепуталось. В исходе мая листва берез оставалась по-весеннему слабой и нежной, изжелта-зеленой, как пылячий пух. Черемуха расцвела лишь в первых числах июня, а сирень еще позже. Такое не помнили ивановские старожилы. Впрочем, они и вообще ничего толком не помнили: когда ландышам цвести, а когда ночным фиалкам, когда пушиться одуванчикам и когда проклюнется первый гриб. Но, может быть, странное лето внесло сумятицу в их старые головы, отбив память об известном порядке?

Сильные грозовые ливни, неположенные в начале июня — им время в августе, когда убраны хлеба и поля бронзовеют щетиной стерни, — усугубили сумятицу в мироздании. И сирень зацвела вся разом, в одну ночь вскипела и во дворе, и в аллеях, и в парке. А ведь положено так: сперва зацветает белая, голубая и розовая отечественная сирень, ее рослые кусты теснятся меж отдельным флигелем и конюшнями, образуют опушку Старого парка, через пять-шесть дней заливает низенькая персидская сирень с приторно-душистыми свешивающимися соцветиями, образующая живую изгородь меж двором и фруктовым садом; а через неделю забросит в окна господского дома отягощенные кистями ветви венгерская сирень с самыми красивыми блекло-фиолетовыми цветами. А тут сирени распустились разом, после сильной ночной грозы, переполошившей обитателей усадьбы прямыми, отвесными, опасными молниями. И даже куст никогда не цветшей махровой сирени возле павильона зажег маленький багряный факел одной-единственной кисти.

И когда Верочка Скалон выбежала утром в сад, обманув бдительный надзор гувернантки Миссочки, она ахнула и прижала руки к корсажу, пораженная дивным великолепием сиреневого буйства.

В доме жили по часам, порядок был строгий. Вставали в восемь — все, кроме Александра Ильича Зилоти, и непонятно, чем была вызвана такая поблажка. И сами хозяйка Сатины, и гостящие у них родственники, и наезжавшие соседи беспрекословно подчинились неизменному уставу. Пусть Зилоти замечательный пианист, профес-

сор консерватории — Сатины не церемонилась и с более именитыми гостями, — дарованная ему привилегия оставалась загадкой для Верочки, любящей в свои пятнадцать лет доискиваться до первопричины явлений. Но сегодня она решила, что эта вольность призвана служить маленьким вознаграждением Александру Ильичу за муки тюремного режима, навязанного ему любовью и ревностью жены Веры Павловны, урожденной Третьяковой. Вера Павловна ревновала своего двадцатисемилетнего мужа, не по годам обремененного большой семьей, заботами и славой, ревновала тяжелой купеческой ревностью, сленой, неодолимой, смехотворной и вовсе неуместной в дочери одухотворенного Павла Михайловича Третьякова, знаменитого собирателя русской живописи. Она ревновала мужа к «трем сестрам» Скалон и даже к тринадцатилетней Наташе Сатиной, не говоря уже о Миссочке, о красивой горничной Марине, волоокой песельнице, и ко всем крестьянским девушкам, приписавшим в усадьбу дикорастущую землянику, сливки и сметану. И это мешало Верочке определить, в кого же на самом деле влюблен Александр Ильич. А разобраться в путаном клубке влюбленностей было для нее еще важнее, нежели в сумбуре взбунтовавшейся природы.

Выходить из дома раньше положенного времени считалось столь же крамольным, как и залеживаться в постели. Это было даже опаснее, потому что, залежавшись, можно сослаться на нездоровье, а тут чем оправдаешься? Верочка не случайно вспомнила о Зилоти. Когда она сбежала с крыльца отдельного флигеля, где жила с матерью, сестрами и Миссочкой, ей почудилось в окне второго этажа «господского» дома бледное лицо Веры Павловны. Она почевала в детской — нездоровилось годовалому Ванечке, и чуткий слух ревнивицы уловил во сне тончайший скрип далекой двери. Хорошо, если Александр Ильич спокойно печется в своей постели, а что, если ему тоже вздумалось прогуляться? Какие подозрения вспыхнут в необузданном воображении Веры Павловны и чем все это обернется? Она едва не вернулась домой, но пьянящий дух сирени был так влекущ и сладок, что Верочка решила: будь что будет, не даст она испортить себе радость! И она кинулась в сирень, как в реку, мгновенно вымокнув с головы до пят, — тяжелые кисти и листья были пропитаны мнившим ливнем.

Грубый шорох в кустах заставил Верочку испуганно замереть. Господи боже мой, неужели и впрямь она столкнется сейчас с Зилоти и тяжесть стыдной взрослой тайны ляжет на ее сердце? Нет, она все не хочет знать, в кого влюблен Александр Ильич и насколько основательна ревность его несчастной жены.

Шум повторился — шорох и треск, кто-то шел напролом сквозь сирень, сотрясая ветви, давая мелкие сухие сучочки в изломин кустов. Легко возбудимое сердце Верочки мгновенно отзывалось на каждое волнение, испуг, вот и сейчас оно будто подскочило, забилось у самого горла, гулко, громко, с болезненной отдачей в голову. Прodelка, казавшаяся ей такой очаровательной еще несколько минут назад, когда она неслышно проскользнула мимо спален матери и Миссочки, обернулась чем-то дурным и страшным.

«Почему мне за все приходится платить так дорого? — спросила она себя с тоской. — Чего я, в конце концов, боюсь? Пусть я даже столкнусь с Зилой, он благородный человек и защитит меня от незаслуженной обиды. Я виновата лишь в том, что пасамовольничала. Ну, побранят, лишат прогулки, заставят написать лишний английский диктант, разучить какой-нибудь этюд. Не убьют же меня в самом деле?» Уговоры подействовали, сердце опустилось в свое гнездо, отлила кровь с лица, и перестало стрелять в ушах.

Верочка осторожно раздвинула ветви и в шаге от себя увидела Сережу Рахманинова, племянника хозяев усадьбы. Он приподнял кисти сирени ладонями и погружал в них лицо. Когда же отымал голову, лоб, нос, щеки и подбородок были влажными, а к бровям и тонкой впадинке усов клеились лепестки и трубочки цветов. Но это и Верочка умела делать — купать лицо в росистой сирени, а вот другая придумка Сережи, Сергея Васильевича — так церемонно полагалось ей называть семнадцатилетнего кузена, — была куда интереснее. Он выбирал некрупную кисть и осторожно брал в рот, будто собирался съесть, затем так же осторожно вытягивал ее изо рта и что-то проглатывал. Верочка последовала его примеру, и рот наполнился горьковатой холодной влагой. Она поморщилась, но все-таки повторила опыт. Отвела белой, потом голубой, потом лиловой сирени — у каждой был свой привкус. Белая — это словно лизнуть пробку от маминих французских духов, даже кончик языка сходно немеет; лиловая отдает чернилами; самая вкусная — голубая сирень, сладковатая, припахивающая лимоной корочкой.

Сиреневое вино понравилось Верочке, и она стала лучшего мнения о длинноволосом кузене. Впрочем, какой он кузен — так, седьмая вода на киселе, но взрослые почему-то цепляются за отдаленные родственные связи, причем в подобных туманных случаях старшие всегда оказываются дядюшками и тетушками, а сверстники — кузенами и кузинами. Рахманинова сестрам Скалон представили совсем недавно в Москве, в доме Сатиных, где они останавливались на пути из Петербурга в Ивановку. Нельзя сказать, что их обрадовала перспектива провести лето в обществе новоявленного кузена. В этом долговязом юноше все было непомерно и нелепо: громадные, как лопаты, руки и под стать им ступни, длинные русые поповские волосы, большой, тяжелый нос и огромный, хоть и красиво очерченный, рот, мрачноватый, исподлобья, взгляд темных матовых глаз. Нелюбезный, настороженный, скованный, совсем неинтересный — таков был дружный приговор сестер. И робкая попытка кузины Наташи Сатиной уверить их, что Сережа стесняется и дичится, ничего не изменила.

Правда, в Ивановке образ сумрачного и нелюбезного кузена пришлось срочно пересмотреть. Он оказался весьма любезным, услужливым, общительным и необыкновенно смешливым. Достаточно было самой малости, чтобы заставить его смеяться до слез, до панимоения. И надо сказать, Верочка пользовалась этой слабостью кузена и не раз ставила его в неловкое положение, но с обычным добродушием он несколько не обижался. За него обижалась Наташа Сатина и даже

позволила себе выговаривать Верочке, но та быстро поставила на место непрошеную заступницу. Наташа надула свои и без того пухлые губы и навсегда забыла вступать в дела старших...

Но кузнец, пьющий горькую влагу с сирепевых кистей, стал Верочке по-новому интересен. Кстати, в кого он влюблен?.. Пржежде Верочка не задавалась этим вопросом, хотя сердечные дела всех обитателей усадьбы, равно и друзей дома, редкий день не наезжавших в Ивановку, заботили ее чрезвычайно. Скорее всего он влюблен в старшую ее сестру, двадцатидвухлетнюю Татушу, властную и самоуверенную красавицу. Похоже, в нее все влюблены. А кто влюблен в Сережу — дозволено ей хотя бы про себя так его называть? Натую Сатина?.. Верочка прыснула, по счастью, почти беззвучно: рот был набит сиренью. Но острый слух музыканта что-то уловил. Рахманинов замер с кистью в руке, как Вакх на известной картине академика Бруни. Его большие, темные, не отражающие свет глаза внимательно и быстро обшарили кусты. Верочка успела пригнуться, и взгляд его скользнул поверх ее головы.

Наташа Сатина была рослая, стройная, очень серьезная девочка, пытавшаяся держаться на равных со взрослыми. Ее губил рот — детский пухлый, неоформившийся и потому непослушный, расплзающийся, даже глупый какой-то, хотя она отнюдь не была душой. Этот рот поразительно не соответствовал остальной лепке четкого смуглого лица. Лоб, нос, глаза, легкая крутизна скул — все в ней было очаровательно и завершено, но пухлое губошлепие отбрасывало Наташу в детство. И комичными, пародийными казались ее серьезность, трудолюбие, рассудительность, даже какая-то важность. Живая, легкомысленная, порывистая Верочка, начисто лишенная Наташиной солидности, была все же «барышня», а Наташу хотелось отослать в детскую.

Эти размышления, навеянные новооткрытием длинноволосого кузена, несколько отвлекли Верочку от сиреневого вина. В отличие от нее Сережа действовал с напористой быстротой и ловкостью, правда, при таких захватистых ручищах и громадной пасти это немудрено. У Верочки был маленький, деликатный рот, ей приходилось выбирать кисти поменьше. Но надо поторапливаться, чтобы успеть до колокола прошмыгнуть в свою спальню. Верочка пустила в ход обе руки. Ее всю забрызгало росой, горечь палила рот, лепестки обклеили подбородок и щеки.

— Психопатушка, и вам не стыдно? — послышался протяжный, укоризненный голос Рахманинова. — Поедать сирень — какое варварство!

У него была раздражающая привычка давать всем прозвища. Это он превратил Татушу в Тунечку, а потом в Мештора, англичанку — в Миссочку, балетоманку Лелю в Цуккину Дмитриевну, а Верочку, что совсем глупо, — в Психопатушку. Конечно, она бывает несдержанна, легко вспыхивает и легко переходит от смеха к слезам, но какая же она психопатка? Она давно хотела объясниться с Сергеем Васильевичем по поводу дурацкой клички, но теперь разговор придется отложить. Кто же она, как не Психопатушка, если с такой вот

звериной алчностью пожирает сирень? Но хорош кузен!.. Сам вызвал ее на эту глупость, а сейчас делает вид, будто ни при чем. Уж он-то, конечно, не обсасывал влажных кистей, а скромно и чинно вдыхал их аромат.

— Надеюсь...— произнесла она, задыхаясь,— что вы как честный человек... никому... никогда...

— Психопа-а-тушка!.. Генеральшенька!..— нарочито гнусавя и растягивая слова, проговорил Рахманинов.— Да ведь сказать кому — не поверят!.. Вы бы посмотрели на себя!

Верочка провела ладонями по лицу, они сразу стали мокрыми, а на подушечках пальцев налипли голубые, белые, лиловые лепестки, какой-то мусор, паутинки. Когда только противный кузен успел вытереться и принять обличье пай-мальчика? На его крупном, в первом розоватом загаре лице не было ни росинки, ни соринки.

У Верочки было короткое дыхание; при малейшем волнении ей не хватало воздуха.

— Прошу вас!.. Это глупое ребячество... Вы злой!.. Вам бы только выставлять людей в смешном виде!..

— Господь с вами, Психопатушка! — сказал он мягко, участливо, почти нежно.

Верочка никак не ожидала подобной интонации у насмешливого кузена: даже свои любезности он облакал в ироническую форму.

— Зачем вы так?.. Конечно, я никому не скажу... раз вы не хотите.— Теперь в голосе его опять послышались привычные лукавые нотки, но добрые, необходимые.— И что тут такого? Бедная девочка проголодалась и решила немножко погасить. Ну, ну, не буду... Ого, Агафон заковылял к колоколу. Бегите, не то пропали.

— А вы?

— За мной не очень следят. Мне только нельзя появляться в женском монастыре, так я прозвал ваш флигель, и принимать у себя дам... Наташу, например. Тут сразу громы и молнии...

Он еще что-то говорил, но Верочка уже не слышала. Со всех ног, зажимая ладонью страшно бьющееся сердце, мчалась она к дому и успела вскочить на крыльцо, прежде чем Агафон ударил в колокол, и проскользнуть в спальню до появления свежей и ясной, будто не со сна, Миссочки.

Рахманинов стоял, задумчиво перебирая кисти сирени. Он хотел понять, почему его так тронула и странно взволновала эта встреча.

Верочка Скалон была очень миловидна, с прекрасными, густыми, длинными русыми, в золото, волосами, с тонкой, стремительно затекающей румянцем кожей, с пытливыми, горячими глазами и тесно сжатым ртом. Эта серьезная, даже скорбная складка рта не соответствовала мягкой лепке лица и подвергала сомнению однозначность образа доброй, недалекой девушки. Но что ему эта Верочка Скалон, Психопатушка, Генеральшенька, влюбленная по уши в друга детства Сережу Толбузина и чуть не каждый день избирающая нового фаворита, который зачастую об этом и не догадывается, поминутно вспышкающая и немеющая от страха, что кто-то проникнет в ее

великие секреты? Он, Рахманинов,— странствующий музыкант, его дело упражняться на рояле до одурения, который день корпеть над четырехручным переложением «Спящей красавицы» несравненного Петра Ильича и урывать часишко-другой для собственного сочинительства. Да, он обуюн дерзостным намерением в недалеком будущем вынести на суд публики свой первый фортепианный концерт. Пора робких ноктюрнов и разных мелких пьесок миновала, он способен сказать свое слово в музыке. О прочем нечего и думать. Но как все-таки хорошо, что было это утро, тяжелые благоухающие кисти, холод капель за пазухой и девичье лицо, наивное и патетическое...

День, начавшийся для Верочки Скалон так тревожно и странно, катился дальше проторенной колеей без каких-либо неожиданностей. Никто не догадывался об утреннем приключении. А Вера Павловна при всей своей ревнивой наблюдательности умудрилась ее не заметить. Поведение кузена было безупречно, он не позволил себе и легчайшего намека — взглядом, улыбкой — на их общую тайну, был образцово серьезен и почтителен. Он хотел успокоить Верочку, но немножко перебарщивал в своем джентльменстве. Такая сдержанность необходима при посторонних, но совершенно ни к чему, когда они оставались с глазу на глаз. Разве люди так уж часто сходятся в утрапнен саду пить сиреневое вино? Ведь и в самом деле, сказать кому — не поверят. Но Верочка знала, что не скажет об этом даже верной и молчаливой, как могила, Наташе Сатиной, не говоря уже о сестрах: строгой моралистке Татуше — поистине «Ментор!» — и дразнилке Леле. И если они с Сережей будут так старательно притворяться друг перед другом, то получится, что ничего и не было, а это даже обидно...

Катился вслед за другими, навек капувшими, чудесный жаркий долгий июньский день с парным молоком и садовой земляничкой прямо с грядок — еще одна неожиданность, ну где это видано, чтобы садовая земляничка поспевала в пору цветения сирени? — с купанием и беготней по парку, с мучительным английским диктантом — Верочка пасажала ошибок против обычного густо; с непременным испугом Александра Ильича Зилоти по поводу вскочившего на щеке прыщика: рак!!!; с беспредметными и крайне забавными вспышками ревности у его жены, с оглушительными звуками роялей — это Сережа разучивал всем в зубах навязший этюд Шлецера, а Зилоти в который раз играл бетховенскую «Ярость из-за потерянного гроша», и все искренне восхищались, хотя с удовольствием послушали бы что-нибудь другое, пусть и не столь совершенное; с запаздывающим, как всегда, обедом («Лакеи засели в подкидного,— в комическом ужасе восклицал Александр Ильич.— Буфетчику Адриану идут одни козыри!»); с катанием на динейке, с вечерним чаем и «адской зубной болью» у Веры Павловны (самовар подала вместо зашпившего Адриана красивая Маринка); с веселой болтовней в беседке и нарочито заунывными представлениями Сережи к Татуше по поводу московского знакомого Шнеля — всех это веселило, а Татушу раздражало, она не любила насмешек над теми, кому нравилась, с долгим, будто навек, прощанием перед сном и «лунной ванной» на балконе в компании

Лели и Миссочки, к ночи грустневшей, с прохладой домотканых полотняных простынь.

Но прежде чем погрузиться в сон, Верочка вспомнила утреннее похождение и удивилась своему тогдашнему испугу. Сколько же в ней еще детского, если она теряется от каждого пустяка! И досадно, что она так уронила себя перед кузенком. А он все же милый, с ним можно дружить, если, конечно, держать в узде. В Москве они его просто не поняли. Зато в Ивановке Татуша сразу пашла, что в нем что-то есть. Впрочем, Татуша всюду подбирает кавалеров. Это все неважно. А важно то, что завтра приезжает из соседней Тимофеевки Митя Зилоти, брат Александра Ильича, и надо будет раз и навсегда выяснить, в кого он влюблен...

Вместо того чтобы развязать хоть какие-то узлы, Митин приезд окончательно все запутал. Едва Митя успел слезть с двуколки, как примчался потрясенный Сашок Сатин и сказал, что поспела малина. Конечно, ему никто не поверил, но лето уже приучило к неожиданностям, и обитатели усадьбы, цоругивая юного вестника за распространение ложных слухов, гурьбой повалили в малинник. Привлеченный шумом, на крыльцо выскочил Александр Ильич Зилоти, нескладно обрадовался малине и, схватив Татушу за руку, кинулся в сад. Ему, правда, пришлось сразу вернуться, поскольку Веру Павловну постиг тепловой удар на террасе. Потрясая кулаками, Александр Ильич поплелся к жене, а остальная компания вломилась в малинник и увидела, что Сашок наврал совсем чуть-чуть. Малина еще не поспела, но твердые и невкусные ягоды действительно подурмянились, и одно это было чудом. Зато созрела черешня, но тетя Варвара не разрешила трогать ее до завтра.

А на обратном пути Татуша, словно догадавшись о тайных заботах сестры, пристала к Мите, в кого он влюблен. Митя смущенно и самодовольно отмалчивался, краснея сквозь загорелую кожу, но от Татуши нелегко отделаться. Ее настырность вдруг стала неприятна Верочке: похоже, Татушей двигало не обычное любопытство, а какое-то личное чувство. Сестра была в расцвете красоты, и ей хотелось покорять всех — от Мити и Сережи до Александра Ильича и даже дядюшки Сатина. Хорошо бы Митя скорее ответил и прекратились Татушины домогательства, но тут вмешался Сережа и чуть все не испортил.

— Митя напрасно думает, что Тунечке интересно, в кого он влюблен. Тунечке интересно, в кого влюблен блистательный Шнель. Но это и так все знают.

Татуше пришлось хорошенько отчитать Сережу, прежде чем она смогла вновь приняться за Митю. «Назовите только ее инициалы!» — требовала Татуша. Жарко пламенея вишневым румянцем, Митя шагнул к березе, отломил сучок и начертал на белой коре две буквы. Он сделал это так быстро, что никто толком не разобрал, а следов тупой конец сучка не оставил. Сережа, правда, уверял, что первой буквой было «Н» и Митина избранница — Наталия Скалон. «Бедный, бедный Шнель!» — сокрушался Сережа. Но Верочке, хоть и ревновавшей Митю к сестре, почудилась скорее буква «И». Более того, про-

зорливостью какого-то внутреннего видения она вдруг уверилась, что не Татуша избранница Мити, что бы ни написал он на коре. И когда через некоторое время в перешептывании Татуши и сконфуженного Мити прозвучало имя Нина, вмиг обмершим сердцем Верочка прозрела истину: Митя влюблен в родную сестру Сережи Толбузина.

Сережа был всего на год старше Верочки, и все мамушки и нянюшки называли их женихом и невестой, когда они еще играли в аллеях Летнего сада. Самое же любопытное, что не только глупые сплетницы из людской так считали, а весь круг Скалопов — Толбузиных. Дети были неразлучны. В отрочестве восторженно-рыцарственное служение Сережи Верочке не оставило сомнений в характере его чувств. И Верочка не представляла себе будущего без Сережи Толбузина. Нельзя сказать, что Верочка так уж часто думала о своем будущем, ясном, надежном и начисто лишенном неожиданностей. Она видела себя в этом будущем счастливой женой, матерью красивых детей, хозяйкой открытого, гостеприимного дома. Но коли это будущее ей обеспечено со всем тем образцовым порядком, который гарантировала цельная и здоровая натура Сережи Толбузина, то чего же о нем беспокоиться? И сейчас, когда лето безобразничало напропалую и взбунтовались все растения, рухнул порядок, установленный от бога, Верочка была не прочь стать на время частицей всеобщей сумятицы.

Но жизнь с непужной заботливостью изъела ее из окружающей путаницы, оставила, как говорится, при своих. Мало того, что Митя вопреки Верочкиным — весьма основательным — надеждам любит другую, эта другая оказывается сестрой ее нареченного. Круг замкнулся. Тоска зеленая охватывает, когда подумаешь, что ждет их в будущем — нежная дружба двух любящих пар. Повеситься можно!..

Приезд Мити Зилоти всегда сгущал романтическую атмосферу усадьбы. Он был очень похож на старшего брата — такой же рослый, ясноглазый, с высоким лбом и чистой, загорелой кожей. Но Александр Ильич уже начал лысеть, он был маэстро, отец семейства, муж-подкаблучник, его упорные, но робкие попытки взбрыкнуть отдавали безнадежностью. Юный, свободный, независимый Митя при всей своей милой застенчивости прямо-таки звенел победительной силой. О любви и вообще-то не прочь были поговорить в здешней молодой компании, особенно вечером, перед сном, когда наконец смолкали неугомонные рояли, когда все, что можно съесть, было съедено, все, что можно вышить, вышито, все упражнения выполнены, нотации прочитаны, уплачена дань скромным летним развлечениям и корчившая строгость гувернантка Миссочка превращалась в простую славную девушку, наступал час тихой свободы, интимности, проговаривания — порой полусознательного — тайных мыслей, глубоко запрятанных чувств.

Странно, по Сережа Рахманинов, погруженный с головой в свои музыкальные занятия, умудрялся каким-то образом ухватывать, чем живут окружающие. Возможно, острейший слух безотчетно улавли-

вал обрывки разговоров, перешептываний, признаний, взрывы смеха, крики — всю музыку летней жизни. Сегодня вечером, когда Татуша изнемогала в тщетных попытках выведать у Мити Зилоти, верит ли он в любовь вечную, — Митя краснел, пыхтел, хлопал длинными ресницами и мямлил что-то печленораздельное, — Сережа своим специально противным голосом занудил о династических браках. Верочка, подавленная Митиной изменой, вначале пропускала мимо ушей деланные Сережины рассуждения, а потом вдруг обнаружила, что он бросает камни в ее огород. Прекрасно, гнусил Сережа, что в русских дворянских семьях возродилась славная традиция королевских домов Европы. Инфанта Психопатунка еще в пеленках была предназначена принцу Толбузину, ховдившему пешком под стол, и этим навеки скреплен союз двух могущественных родов Чухландии.

— Перестаньте, Сергей Васильевич! Надоело! — тоном досады сказала Верочка, но настоящей досады она не чувствовала.

Сережины разглагольствования при всей своей дурашливости утверждали непреложную истину: Верочкину независимость от каверз судьбы. Пусть Митя хоть весь березняк исчертит инициалами Нины Толбузиной — после всех своих фальшивых авансов Верочке, — у нее есть преданный, до дна прозрачный, верный друг, на чью руку она всегда может опереться. И это делает ее неуязвимой. Но Рахманинов, оказывается, не исчерпал темы.

— Но чего стоят все высокие расчеты, если в непостоянном сердце инфанты вдруг вспыхнет страсть к заезшему чужеземцу, новоявленному Казанове?

Прозрачный намек на итальянское звучание фамилии Зилоти!

— Вы несносны, Сергей Васильевич!..

Верочка сказала это просто для порядка. Ее занимало поведение Мити — он как-то странно улыбался, ежился и время от времени бросал на нее столь пламенные взгляды, будто и не расписывался на коре березы в любви к другой. Свинцовая усталость навалилась на слабую душу Верочки, и впервые в ивановские дни она обрадовалась, когда «посиделки» кончились и Татуша, разыгрывая взрослую даму, изрекла менторским тоном: «Еще день прошел. Цените, цените золотые денечки, не так уж их много осталось».

За назидательно-никчемушной фразой угадывалась обида Татуши: ей идти на половину матери и сразу ложиться в постель, а Вера, Леля и Миссочка, жившие вдали от строгого ока, могли еще долго принимать лунные ванны на балконе. Оказывается, быть взрослой не всегда преимущество.

Когда они подошли к дому, то увидели в окне второго этажа Александра Ильича. Он курил, далеко высунувшись наружу в расстегнутом архалуке.

— Спускайся к нам! — крикнул Митя.

Будто лопнула басовая струна рояля. Александр Ильич мгновенно отшатнулся от окна, затем донесся его нервно-успокаивающий воркот и бульканье воды.

— Бедная Вера Павловна, — серьезно заметил Рахманинов, — опять солнечный удар!

— Бедный Саша!..— вздохнул Митя, но так тихо, что никто, кроме Верочки, не расслышал.

Митя и Сережа дождались, когда девушки выйдут на балкон, огсалютовали им воображаемыми саблями и направились восвояси, оба высокие, худые, стройные, и длиннющие их тени простерлись через двор до спрешей на опушке Старого парка. Было светло и прозрачно от сильной полной луны, но сама она с балкона не проглядывалась, отсеченная крышей. Верочка подумала о том, что Нина Толбузина далеко, где-то в Новгородской губернии, и когда еще Митя ее увидит. Надо хорошенько попросить доброго бога, чтобы Митя перестал думать о Нине, которая все равно никогда не поймет его так, как некоторые другие. В каком таком особом понимании нуждался простоватый Митя, Верочка не уточняла для себя, но в этом роде думали о своих избранниках героини ее любимых романов. Верочка подняла лицо к набитому звездами, переливающемуся, словно дышащему, небу и помоллилась о вразумлении Мити.

Из Старого парка тепло, густо, сильно ударило сиренью. Аромат накатил стремительно, упругим, мощным валом накрыл, закружил, наполнил сладкой дурнотой, почти лишил сознания. В дурманной истоме Верочка едва добралась до кровати...

А уже на другой день она записывала в дневнике: «Сердце-вещу меня не обмануло: моя вчерашняя падежда превратилась в действительность! Татуша сегодня получила письмо от Ольги Лантинг, в котором сказано: «Передай Дмитрию Ильичу, что его отец мне сказал, в кого он влюблен; ему страшно нравится твоя сестра Вера». Боже, каких усилий мне стоило скрыть свою радость и казаться равнодушной при чтении этих слов! Рот мой невольно складывался в блаженную улыбку, и мне пришлось отвернуться. Татуша подозвала Митю и тоже показала ему письмо; к сожалению, он стоял ко мне спиной, и я не могла видеть выражение его лица». «Почему папа может знать?» — только сказал он. «Вы, верно, ему писали, — ответила Татуша. — Позвольте вас поблагодарить за роль ширмочки, которую вы меня заставили играть»... Значит, она тоже думала, что он за ней ухаживает, и ей теперь досадно. «Бедная Тата!» — подумала я. Они ушли, а я осталась сидеть в столовой на кресле у окна и погрузилась в приятное раздумье, пока меня Миссочка не позвала делать английскую диктовку. Ну и наделала же я ошибок в этой диктовке! Миссочка не могла понять, отчего я такая рассеянная. Весь день я наблюдала за Митей, но мне не удалось остаться минутку с ним надетье»...

Радость переполняла Верочку. Она несла эту радость, как до краев налитую чашу, боясь оступиться и расплескать. Она не пошла в парк, не участвовала в лодочной прогулке и в других затеях развеселой компании, все шумы и волнения окружающего мира вроде очередного обморока Веры Павловны или паники порезавшегося во время бритья Александра Ильича доносились до нее будто издалека, не затрагивая ее сосредоточенной внутренней жизни. Она почти не заметила и отъезда Мити Зилоти, что, кажется, весьма удивило Татушу, но и это не коснулось ее томной самоуглубленности.

Вечер застал ее в задушевной беседе с Сереей Рахманиновым. Она и сама не знала толком, как это получилось. После ужина Сашок Сатин раздобыл где-то окарину и довольно бойко наигрывал «Акулищу». Поначалу это казалось забавным, но потом всем осточертело, и Рахманинов попросил сыграть куплеты Трике. Куплеты у Сашка не получились, и он вернулся к «Акулище». Почувствовав раздражение окружающих, Сашок напрягся до синих жил па лбу. Татуша смерила музыканта презрительным взглядом, откинула голову на высокую спинку скамейки и, смежив веки, ушла в себя; Наташа тихо шипела от злости; Леля, заливаясь смехом и тыкая в Сашка пальцем, приговаривала: «Дурачок!.. Дурачок!..» Сереежа размахивал громадными ручищами и призывал на голову осквернителя музыки все грома небесные, а Верочка, храня свою новую, драгоценную суть, тихо поднялась и понесла прочь полную до краев чашу.

Она нашла замшелую скамейку под кустом белой сирени, опустилась на нее и вспомнила, как пила сиреневое вино, и ласково-грустно усмехнулась своему недавнему ребячеству. Трудно поверить, что это было позавчера. Как много изменилось с той поры! Она прожила целую жизнь, узнала, что любит и любима, стала взрослой, почти старой. Во всяком случае, старше Татуши, которой нужно всех очаровывать, превращать мужчин в рабов, а когда это не удается, строгий Ментор не может скрыть досады и злости. Верочке вовсе чужды эти захватнические устремления. Ей достаточно быть любимой одним, избранным ею человеком, не считая, разумеется, Сереежи Толбузина, но он не идет в счет.

— Психопатушка, можно к вам? — И, не дожидаясь ответа, Сереежа плюхнулся на скамейку, чуть ее не развалив.

От надоедливой Сашки с его окаринной разговор перешел на плохую музыку вообще, затем на музыку непужную, и Верочка возмутилась тупостью взрослых людей, считающих, что барышень непременно надо учить на фортепьянах.

— Зачем это? Мы все, кроме Татуши, совершенно бездарны, но нас заставляют каждый день брэнчать на рояле, и это в доме, где играют Зилоти и вы, Сереежа. Нельзя из-под палки заниматься искусством. Кончится тем, что мы возненавидим музыку, которую любим.

— Наташа вовсе не бездарна, — возразил Рахманинов. — У нее способности...

— Перестаньте, Сергей Васильич, вечно вы!.. Думаете, никто не слышит, как она пищит, когда вы с ней занимаетесь?

— Я плохой педагог...

— Неправда! Просто она не может... Зачем только мучают ребенка?

— Ребенка?.. Ну, Психопатушка, вы бесподобны! Намного ли вы старше? Года на два?

— Это ничего не значит, — сердито сказала Верочка. — Я старше!

— А вы злая, — с удивлением сказал Рахманинов. — Вы не любите Наташу.

Верочка и сама не знала, почему она с такой яростью обрушилась на слабую, конечно, — да ей-то что за дело? — игру Наташи, а потом

еще прошлась насчет возраста подруги. Это как-то сложно связывалось с происшедшей в ней самой переменной. Ей хотелось во всем серьезности, прямоты, правды... Но, господи, с чего было так набрасываться на милую, смуглую преданную Наташу с глазами боярыни Морозовой и пухлым ртом ребенка? Доброта важнее мелкой истины, но вот уж кто действительно недобр, так это Сережа, сказавший, что она не любит Наташу. Из самого сердца, слабого, бедного Верочкиного сердца хлынули слезы.

Как смутился и огорчился Сережа Рахманинов! У него самого налило глаза. Он проклинал себя за грубость, сполз со скамейки на землю и коленопреклоненно просил прощения, целуя Верочкины руки. Такого с Верочкой еще не случилось. Она даже плакать перестала, а потом испугалась, что руки у нее по-летнему грязные, в траве и земле, отдернула их, еще больше испугалась невежливости жеста и, окончательно растерявшись, поцеловала Сережу в темя, стукнувшись зубами. После чего сердце в ней совсем остановилось, и несколько секунд она была мертвой.

Надо отдать должное Сереже: в эти критические мгновения он проявил огромный такт. Неделого поцелуя будто вовсе не заметил и еще раз покаялся в происшедшем, но просил не судить его слишком строго. Он не умеет вести себя с девушками. У него есть сестры, но ему почти не пришлось жить вместе с ними. То его забирала к себе бабушка, а поступив в Московскую консерваторию, он стал пансионером Николая Сергеевича Зверева. Известный музыкальный педагог и чудак, Зверев брал воспитанников с тем условием, чтобы они не ездили домой на каникулы. Сережа рос и воспитывался в окружении одних только мальчиков, талантливых, славных мальчиков, но Верочка, конечно, понимает, что чисто мужская компания обделяет человека тонкостью.

Верочка понимала все. Ей вдруг вспомнились разговоры о трудной домашней жизни Сережи. Отец его оставил семью, предварительно промотав собственное состояние и приданое жены. Сережа рос на ветру, не ведая семейного тепла. Но сам Сережа старательно обходил болезную тему. Получалось, что все в его жизни складывалось наилучшим образом, вот только облагораживающего женского влияния не доставало. Старый холостяк Зверев водил воспитанников в трактир, не отказывал им в рюмке водки, а брания за нерадивость, прибегал к весьма крепким выражениям. Тут Сережа спохватился и стал горячо расхваливать Зверева, его безмерную доброту к «зверяткам», как называли в Москве пансионеров, они должны были провожать его в постель и хором желать доброй ночи, иначе славному старику было не уснуть. Петербурженка Верочка, приученная к строгой и разумной дисциплине генеральского дома, не могла разделять Сережиного восхищения зверевским бытом с его самодурством и капризной живописностью, столь характерной для старой столицы.

— Если там было так чудесно, почему же вы ушли от Зверева? — спросила она.

— А вам известно, что я ушел? — смеялся Рахманинов.

— Но вы же живете у Сатиных.

— Да... конечно... У меня ужасный, невыносимый характер...

— Не паясничайте, Сережа! — строго сказала Верочка.

Он принялся путано объяснять причину своего ухода, и за всеми околичностями, недомолвками, самобичеванием и умилением несравненными достоинствами Зверева проглянула простая и горькая истина: Сережа хотел сочинять музыку, а в большом доме Зверева для этого не оказалось места. Нравный педагог не только не хотел помочь Сереже, он вообще был против сочинительства. И Сережа ушел. В никуда. Его приютили Сатины. Остальная родня попросту отступилась от бунтаря.

Верочка с удивлением глядела на кузена. Она, конечно, знала, что есть люди, которым негде жить, но они находились в таком отдалении от ее привычья, что Верочка не могла реально представить ни их существования, ни их мук. Они были ближе к литературным персонажам, нежели к живым людям. И вот рядом сидит человек, хорошо знакомый ей, даже находящийся в некотором родстве, который тоже бездомен. Он любит шутить над собой: странствующий музыкант, но в этой шутке большая доля правды. Верочка даже поежилась, словно на нее пахнуло ветром бездомности. Бедный Сережа! Бедный, бедный Сережа! И какой благородный и добрый. Всячески выгораживает скверного старикашку Зверева, винит себя в неуживчивости, милый! А вся-то его вина, что он хотел писать музыку. Может быть, это и в самом деле ни к чему, пусть будет просто хорошим пианистом. Не таким, конечно, как Зилоти, это от бога, а крепким серьезным профессионалом. Но Зверев хорош: в угоду своему «ндраву» выгнал бездомного юношу!

Человек редко способен вышагнуть из собственных пределов. Верочка Скалон при всей душевной гибкости и самостоятельности была прежде всего дочерью своего отца. Генерал от кавалерии Скалон, военный историк, председатель русского военно-исторического общества, пользовался репутацией тонкого и строгого ценителя искусств, в первую очередь музыки. В его доме бывали известные петербургские композиторы и музыкальные критики. Своей репутацией генерал был прежде всего обязан тем, что ни в одном из здравствующих композиторов не признавал не только гения, но даже таланта. Надо было покинуть земную юдоль, чтобы генерал Скалон с тонкой и меланхолической улыбкой признал в покойном известные способности. Куда охотнее генерал хвалил исполнителей, хотя считал всех их людьми второго сорта в искусстве, чистыми виртуозами, а не творческими личностями. Конечно, Верочка, принадлежавшая к другому поколению, не разделяла крайностей отца, — она отваживалась восхищаться Чайковским и отдавать должное Римскому-Корсакову, но унаследовала отцовский скепсис в отношении консерваторских сочинителей музыки. Впрочем, в этом вечернем разговоре самым неважным для нее было, какую музыку сочиняет Сережа Рахманинов.

Труден все же оказался для них этот нежданно-негаданный прорыв в откровенность. Наступила та мучительная пауза, когда в неловкости, напряжении и неясности выводов не только утрачивается сбли-

жение, но люди отодвигаются друг от друга дальше, чем были. И они обрадовались, услышав громкий голос госпожи Скалон:

— Дети!.. По домам!..

И тут Сережа спас и вознес этот вечер.

— Психопатушка! — сказал он прежним легким голосом. — Мы так хорошо поговорили. Давайте выпьем нашего вина за дружбу.

— Давайте! — сразу все поняв, воскликнула Верочка.

Сирень теснилась у них за спиной.

— Вам какого? — спросил Рахманинов.

— Белого!

— Пожалуйста. — Он склонил к ней тяжелую влажную кисть. — А я предпочитаю красное. — Он шагнул к соседнему кусту. — Ваше здоровье, Вера Дмитриевна!..

— Ваше здоровье, Сергей Васильевич!..

«Как жаль, что в Сережу так трудно влюбиться», — думала Верочка, засыпая. Он некрасивый. Не урод, конечно, у него породистая худоба, добрые, глубокие глаза, великоватый, зато красиво очерченный рот. Но этот большой и бессмысленный нос на худеньком лице, эти непонятные патлы до плеч!.. И все же, пусть Сережа дурен собой, в нем что-то есть... значительное, самобытное. Это даже Татуша заметила. И можно представить себе девушку, которой Сережина некрасивость приглянется более фарфоровой пригожести Мити Зилоти. Наташа, например... Беда Сережи в другом: он слишком прост, добродушен, искренен. В нем нет романтичности, загадки. Он не умеет так многозначительно молчать и улыбаться, как Митя. Но странно, что до сегодняшнего дня я почти ничего не знала о нем при всей его разговорчивости. Поистине язык дан ему, чтобы скрывать свои мысли. Может быть, его болтовня — самозащита? Он не хочет, чтоб люди заглянули к нему внутрь, и отгораживается частоколом слов. Интересно все-таки, что он сочиняет? «...Жаль, что он бедненький, — это слово по-особому звучало для Верочки. — Ужасно быть бедненьким...»

Выбрав удобный момент, когда Александр Ильич покуривал после обеда в сиреневой аллее, Верочка спросила его, хороший ли музыкант Сережа Рахманинов.

— Генеральный! — выкатив ярко-зеленые, с золотым отливом глаза, гаркнул Зилоти.

— Нет, правда?.. — Верочка решила, что он по обыкновению шутит.

— Такого пианиста еще не было на Руси! — с восторженной яростью прорычал Зилоти. — Разве что Антон Рубинштейн, — добавил из добросовестности.

— Так что же он, лучше вас? — наивно спросила Верочка.

— Будет, — как бы закончил ее фразу Зилоти. — И очень скоро. Вы посмотрите на его руки, когда он играет. Все пианисты бьют по клавишам, а он погружает в них пальцы, будто слоновая кость мягка и податлива. Он окунает руки в клавиатуру.

Но Верочка еще не была убеждена.

— Александр Ильич, миленький, только не обижайтесь, ну вот вы... как пианист, какой по счету?

— Второй, — не раздумывая, ответил Золоти.

— А первый кто?

— Ну, первых много. Лист, братья Рубинштейны... Рахманинов будет первым.

— А какую музыку он сочиняет?

— Пока это секрет. Знаю только, что фортепианный концерт. Но могу вам сказать: что бы Сережа Рахманинов ни делал в музыке, это будет высший класс. Поверьте старому человеку. Он великий музыкант, а вы... вы самая распрелестная прелесть на свете!

Раздался громкий стон, из кустов сирени, ломая тонкие веточки высаженной вдоль дорожки жимолости, выпала Вера Павловна в глубоком обмороке. Она подслушивала в кустах, терпеливо перемогла музыкальную часть и дождалась-таки крамолы...

Сергей Васильевич невозможный человек — к этому грустному выводу пришла Верочка. Ну как с ним дружить? Он такой ветреный и непостоянный, что просто руки опускаются. Перед обедом надумали примерять шушпаны. Тамбовский шушпан не похож ни на мордовский балахон, ни на рязанское холщовое полукафтанье, это короткая сукодная одежда вроде кофты, с перехватом и пестрой отделкой. У всех шушпаны были темно-синие, а у Татуши белый, отделанный разноцветными шерстинками и блестками, и самые громкие похвалы доставались, разумеется, ей. Правда, Вера Павловна довольно быстро положила конец восторгам мужа, у остальных хватило такта самим остановиться, один Сережа закусил удила. Он охал, ахал, просил Ментора подарить ему этот шушпан на память, когда кончится лето. «Ну, зачем он вам, Сережа?» — ломалась Татуша. «Я буду носить его и думать о вас». Посмеяться бы над такой бессмыслицей, а Татуша томно: «Правда?»...

Упоенная успехом, Татуша решила показать, что она не только русская красавица, но и глубокая натура, писательница, и подсунула Сергею Васильевичу свой роман — много-много мелко списанной бумаги. Так и надо Сергею Васильевичу, — пока другие будут гулять, кататься на лодке и весело болтать, ему придется корпеть над Татушиными каракулями. Но он притворился, что ничуть не удручен предстоящим испытанием, и знай себе щебетал скворцом: «Ах, Ментор!.. Ах, Тунечка!.. Почему я не Шнель?» — конечно, все это в шутку, но противно. Ведь он совсем не такой, зачем притворяться?..

Дальше — больше. Татуша взялась помогать Сергею Васильевичу в работе над «Спящей красавицей» — списывать текст и переносить знаки, и они уединились в бильярдной. Верочка и сама могла бы ему помочь, но, будто назло, у нее был английский диктант. Александр Ильич однажды сказал: как иные цветы раскрываются лишь в лучах солнца, так и Татушина красота вспыхивает в лучах мужского восхищения. Когда Татуша вышла из бильярдной, у нее цвели глаза. Слава богу, опять приехал Митя Зилоти.

С Митей все стало проще, безмятежнее, веселее. Катались па велосипедах, на лодке, по вечерам всей компанией сидели в Новом парке на душистом сене. Тетя Сатипа придумала молодежки запятие: очистить яблоневый сад от сорняков. Всем выдали тяпки, а Верочке грабли, чтобы собирать срубленную траву. Сад полого спускался от усадьбы к пруду, под гору ноги сами несут, и оглянуться не успели, как сад был расчищен. Горели лица, обожженные солнцем, на прогулке ничем так не загореть, как во время работы.

Верочка повязалась от ветра красной косынкой, это вызвало неумеренный восторг Александра Ильича и очередной приступ зубной боли у его жены. К выходкам Веры Павловны все привыкли, без них было бы куда скучнее. В усадьбе царило то милое, непринужденное настроение, какое создается взаимной симпатией и отсутствием слишком больших требований друг к другу.

Порой Верочке казалось, что их отношениям с Митей чего-то не хватает. Ей вспоминался Летний сад, игры в песочек. Тогда это было чудесно... Она давала себе слово хорошенько пококетничать с Митей, растормошить этого байбака, но все откладывала свое намерение. Откуда-то стало известно, что у него есть поклонница по соседству, великовозрастная девица Мария Владимировна Комсина. Конечно, все принялись дразнить Митю, тон задавала Татуша, великий мастер допнимать ближних. Митя краснел, бледнел, пыхтел и бросал на Верочку умоляющие взгляды, прося о заступничестве. Но она с разочарованием поняла, что все это ничуть ее не волнует. Да и Митин отъезд оставил ее равнодушной. Он был мил, внес некоторое оживление в их упоительно-однообразные дни, но вместе с тем будто отвлек от чего-то важного. Верочке было грустно. Сирень, еще недавно такая пышная, сочная, начала осыпаться, и лето разом постарело...

Ее томило странное предчувствие: что-то должно случиться, с ней ли одной или со всем домом, хорошее или дурное, радостное или печальное, она не знала, но что-то непременно произойдет. Нынешнее равновесие было непрочным, затишье чревато бурей. Но она никому не могла сказать о своей тревоге, ее бы просто не поняли...

Все началось, как нередко бывает, с пустяков: Верочку пересадили за столом на другое место, и она оказалась между Верой Павловной и Сережей Рахманиновым. Прежде ее соседом был Сашок, и мало того, что он балаболит без умолку — к концу обеда у Верочки немело левое ухо, — но и неизменно залезал к ней в тарелку. Это не было огорчительно, когда дело касалось бараньих котлет, вареников или пирожков с мясом, но вызывало решительный протест, когда на трезь подавали чудесное домашнее мороженое, вишневый мусс или заварной шоколадный крем. Видимо, ее возмущенные вопли достигли тетиного слуха — жаловаться Верочка никогда бы не стала, и ее пересадили.

Обед шел привычным медлительным ладом, старые слуги не отличались расторопностью, но весело, без той утомительной чопорности, какой отличаются городские обеды, Сашок подшучивал над гостьей Сашенькой Елагиной, остриженной после болезни под гре-

бенку, и вдруг тетя Сатина очень громко — невольно смолкп все другие разговоры — спросила Верочку через стол:

— Ну как, довольна ты своим новым соседом?

— Я очень рада, что сижу рядом с Верой Павловной, — пролепетала, смутившись, Верочка.

— Оглохла, душа моя? — прогремела тетя Сатина, и глаза обедающих дружно обратились к Верочке. — Я спрашиваю — соседом, а не соседкой. Не докучает он тебе, как мой сорванец сын?

Ну, что бы взять да ответить: довольна, спасибо, тетушка, — и делу конец. Но Верочка точно опемела. Для чего завела тетя этот разговор, да еще так громко и подчеркнуто? Обиделась за своего сына? Или тут таится какой-то особый смысл? И почему все уставились на нее? Лицо горело, словно ей вlepили по горчичнику на каждую щеку. А голос вовсе отказал, она не могла слова вымолвить. И опять раздался неумолимый голос: «Вера, я тебя спрашиваю, довольна ты своим соседом?» Верочка схватила тяжелый кувшин с квасом, опрокинула его над стаканом, так что пенистый, приправленный хреном папйток выбежал на скатерть, и стала жадно пить, даваясь, обливаясь, чувствуя, как холодные струйки бегут с подбородка на шею и дальше, в ложбинку груди, и думая об одном: дожидаться конца обеда и сразу в комнату Миссочки, там в ночном столике — таблетки от бессонницы, шести хватит, чтобы навсегда избавиться от заячьей своей душонки, стыда, насмешек, от всего.

— Сашенька, обрежьте Сережины патлы и сделайте себе паричок, — послышался дурашливый голос Сашка, покрытый всеобщим смехом.

О Верочке забыли. Конечно, пенадолго. До конца обеда. А потом началось: «Что случилось с нашей бесстрашной малышкой? Откуда такая робость?» — играя вишневыми глазами, домогалась Татуша. «Как же ты срезалась! Я чуть не умерла, глядя на тебя», — приставала малолетопытная обычно Леля. Даже Миссочка с ее выдержкой и тактом не устояла перед искушением: «What happened with you? Miss Tatuша pushed me under the table and said to me: «Just look at Vera, what is the matter with her?» «Да что вы привязались ко мне? — неожиданно храбро выпалила Верочка. — Я просто не поняла, чего тетя от меня хочет». Она знала, что это звучит неубедительно, но сейчас ей стало все равно. Она почувствовала в себе какие-то странные силы и напроць выбросила из головы мысли о Миссочкиных таблетках. Одна Наташа Сатина ни о чем не спрашивала. Неужели эта девочка с пухлым ртом и грустными глазами обо всем догадалась? Догадалась о том, что Верочка трепещущей рукой поверила на другое утро своему дневнику: «Конечно! Больше нет никаких сомнений, я влю-бле-на! Если меня спросят, когда и как это случилось, то я ничего не сумею ответить, я только знаю одно, что я люблю его. Во всяком случае, это случилось внезапно и против моей воли. Что будет дальше? Рада ли я этому? Всего этого я не знаю. Я только знаю, что сегодня всю ночь видела его во сне, и мне было так хорошо, так отрадпо, что я совсем другая, гораздо лучше, чем прежде. Мне казалось, что я за одну ночь выросла, похорошела,

поумнела, сделалась добрее, на душе было ясно, весело, спокойно! Я вся прониклась какой-то гордой уверешностью в самой себе...»

Правда, этой гордой уверешности хватило до первых насмешливых слов Татуши, ядовитого укора Лели: «Будешь другой раз над сестрами смеяться!» (А когда она смеялась-то?) и перешептываний гувернанток, сопровождаемых двусмысленными взглядами в ее сторону. Верочка то и дело бегала к умывальнику остужать пылающее лицо. Голос куда лучше повисовался ей, нежели кровеносные сосуды, залегающие слишком близко от поверхности кожи. Это было ее проклятьем: попробуй что-нибудь скрыть даже при великом самообладании, когда тебя то и дело залпает краской с головы до ног.

Лучше и проще всего Верочка чувствовала себя с невольным виновником ее позора. То ли он действительно ничего не понял во вчерашнем происшествии, то ли замечательно притворялся. Но он был так естествен; так весело мнил, что сверхточный барометр Верочкиного душевного состояния — ее кровеносная система — лишь с ним не показывал бурю. Сережа помог ей выпрямиться, вiovь независимо и гордо оглянуться вокруг себя, стать той, какой она казалась себе, когда делала записи в дневнике. И окружающие вскоре почувствовали, что их любопытство, насмешки и подковырки перестали приводить на Верочку какое-либо впечатление. Верочка не хотела больше никого ни в чем разубеждать, напротив, была готова соотвечать сложившемуся у всех представлению, и это обезоруживало, закрывало рот расноясавшимся болтунам, от нее отступились...

Вечером накануне Ивана Купалы читали в саду при свете лампы-«молнии» страшный рассказ Гоголя. Сперва читал Сашок, но он слишком ломался, и книгу у него отобрали. Пробовала читать Леля, и все чуть не заснули. Наконец книгой завладела Татуша, и в ее глубоком, грудном голосе ожила и засверкала дивная сказка. Верочка слушала с удовольствием, но страха почему-то не испытывала. Над лампой роились мошки, иногда налетали крупные ночные бабочки — бражники. Наташа размахивала веточкой над лампой, бражников удавалось отогнать, но мелкие мотыльки так и сыпались в стеклянное жерло, вспыхивая искорками.

Едва Татуша кончила читать, как Сашок зевнул с собачьим подвизгом и отправился «в объятия Морфея». Сережа, давно уже барабанивший пальцами по груди, что обычно предшествовало какому-то музыкальным пантям, тоже поднялся и, сказав, что хочет позаниматься перед сном, прынул во тьму. Так-то и лучше, приближался час гадания.

Когда они еще утром выбирали себе места в яблоневом саду, Верочка не сомневалась в своем праве гадать наравне со старшими сестрами и гувернантками. Но одна фраза, вскользь брошенная ей Татушей и оставленная тогда без внимания, сейчас тревожно всплыла в памяти: «Гадай не гадай, все равно впустую». Что она имела в виду? Вот Наташа отказалась гадать, потому что ей не о чем. «Я еще маленькая», — сказала она, надув губы. Но Верочке есть о чем гадать и есть на кого гадать. А вдруг ей никто не приспится? Не на это ли намекала Татуша! Какой ужас, значит, она еще ребе-

нок и все чувства ее к Сергею Васильевичу просто выдуманы? Может, лучше не искушать судьбу, сослаться на головную боль и тихо уйти спать?

— Пора, — сказала Татуша и поднялась. — Не забудьте свои травы.

Миссочка погасила лампу. Стало непроглядно темно и внизу и вверху. Затем небо отделилось от земли, на нем вырисовались верхушки деревьев, проглянули звезды в промоннах меж облаков, какой-то свет забрезжил в стороне дома, возникли человеческие сплуты и обозначилась дорожка. Девушки гуськом двинулись сперва парком, потом через двор.

В саду было еще темнее, но глаза уже привыкли, и девушки довольно уверенно пробирались среди яблонь с побеленными, словно светящимися, стволами, порой оступаясь на падалицах.

Верочка помнила, что ее место за старым аркадом, и, услышав его медвяный запах, покоривший все другие ароматы, обреченно свернула с чуть приметной тропки в жуть полного одиночества.

Всего несколько шагов в сторону, а будто попала в пные пределы. Здесь так легко не стать, раствориться во мгле, едва просквоженной призрачным, невесть откуда берущимся свечением. Верочка попробовала плести веночек, по пальцы плохо слушались. Господи, сколько мук приходится терпеть из-за человека, который даже не догадывается, что его любят! Треснула веточка, колыхнулась тень, снова треск, шорох, чьи-то крадущиеся шаги. Гулко ударили о землю сбитые с дерева яблоки. И, как яблоко, упало сердце: из-за дерева вышла Наташа, стряхивая с волос какой-то сор.

— Можно, я с тобой постою?

Наташа оперлась спиной о тяжелую ветвь и вздохнула так глубоко и протяжно, как умеют вздыхать лишь лошади по ночам. Бедная девочка!.. Кто это, кажется, Гёте, сказал, что вдвоем призраки не увидишь? Правда, сейчас и не должно быть никакого видения, но, может, Наташину присутствие убивает какие-то чары? И все же недостало духу прогнать ее. Верочка отвернулась и стала плести венок, пытаюсь забыть, что подруга рядом...

Она уже засыпала в своей постели, засыпала нетерпеливо и ожесточенно, взбив подушку, как мыльцу пепу в тазу, натянув на голову одеяло и проглотив горькую пилюльку, заблаговременно похищенную у Миссочки, когда в распахнутое окно пахнуло жасмином. Не сиренью, нет, а жасмином, его — папомингающим цедру — пряным запахом зрелого лета. Верочка охнула горестно и очутилась в Красной аллее Старого парка. Было утро, дымящиеся лучи наискось рассекали березняк и упирались в одичавший малинник вдоль дорожки, исторгая из него голубоватый кур. И что-то страшное таилось за зримым обликом этого солнечного, дымного и блистающего утра, и все в Верочке мучительно съежилось, когда смутно чаемая угроза обернулась мужской фигурой, медленно идущей навстречу ей из глубины аллеи. Верочка могла бы убежать, спрятаться в малиннике, хотя бы просто остановиться, — нет, как обреченная, продолжала она идти навстречу опасности. Незнакомец страшно рос по мере прибли-

жепня, вытягиваясь вполроста деревьев, вровень с пшми, забрая еще выше, в реющем тумане и клубящемся солнечном свете он был лишен четких контуров, громоздился, ройлся, тек, переливался в самом себе. Верочка покорно пла, вернее, скользила к нему, все умаяясь по мере того, как он вырастал. И вдруг громадная длань простерлась к ней, схватила, и с острой болью пришло счастье, потому что человек этот был Сережа Рахманинов...

Верочка проснулась вся в испарине, с красной намятой рукой. Видно, она как-то заспала руку, но ей чудился схват громадной длани. Свершилось! В вещую ночь Ивана Купалы загадала она на своего любимого, и он явился к пей во сне, как невестам — их женихи. Это было проверкой ее любви, ее души, ее взрослости. Но что-то знакомое засквозило в ночном переживании. Откуда взялся ее страх, разве может она бояться доброго и благородного Сережу Рахманинова? И тут она догадалась — сон Татьяны? Верочка больше всего любила в «Евгении Онегине» это упоительное и до озноба, до дрожи страшное место. Ведь так же грозно и ужасно было явление Онегина бедной Тане. Сережа Рахманинов совсем непохож на рокового героя пушкинской поэмы, значит, грозно само чувство любви.

Когда после чая сестры набросились на нее с расспросами, кто ей приснился, Верочка ответила спокойно:

— Сергей Васильевич, кто же еще?

Леля торжествующе захлопала в ладоши, будто поймала сестру с поличным, а Татуша прикусила губу и вроде бы притуманилась.

— Чем недовольна наша старшая сестра и повелительница? — спросила Верочка с мнимым самоуничижением.

— Мне опять приснилась лягушка. — Губы Татуши брезгливо покривились.

Когда-то один из ее бесчисленных поклонников подарил ей бронзовую лягушку, и с тех пор эта лягушка неизменно снится Татуше на Ивана Купалу. Верочка пожалала плечами с видом некоторого превосходства, что было замечено и записано ей в счет.

Тут подошли Сережа Рахманинов, Сашок и Митя Зилоти, что-то быстро вернувшийся из своей Тимофеевки. Верочка с удивлением подумала: а он-то здесь зачем? Поздоровались бегло, будто и не расставались.

— Спросите, кто приснился Вере! — крикнула Леля.

— Сережа, — сказала Верочка и, лукаво глянув на сестер, добавила: — Толбузин.

«Нет, каково! — восхитилась Татуша. — И откуда столько апломба и находчивости у этой пугалицы? Давно ли краснела как рак от самого невинного замечания, и вот, пожалуйста!.. Ей-богу, она дает урок всем нам».

— Бедный, бедный Митя! — с комическим сожалением вскричал Сережа и, выхватив у Лели зонтик, ловко начертал на песке вензель С. Т.

А Митя хлопал длинными ресницами и улыбался, но, похоже, не поверил Верочке.

— А что приснилось нашему Ментору?

— Лягушка,— сказала Татуша.— Бурая, лесная, холодная, пучеглазая лягушка.

— Несчастный Мензор! Но почему же лягушка?

— Значит, я не заслуживаю лучшего.— И вопреки смиренным словам сочные глаза Татуши победно сверкнули.

Вечером, как и обычно, катались на дрожках. Верочка сидела сзади, рядом с Сережей Рахманиновым, и все время чувствовала его колючее плечо и теплый бок. Это волновало, но, к сожалению, Сережа все свое внимание отдавал примостившейся с другой стороны Татуше. Верочка впервые задумалась над тем, что мало любить самой, надо, чтоб и тебя любили. Когда она открыла в себе чувство к Сереже, то была так счастлива, что вовсе не думала о взаимности. Довольно и того, что она может любить Сережу, дышать с ним одним воздухом, разговаривать, смеяться, кататься на лодке и дрожках, гулять в парке, сидеть под душистым стогом, молчать и знать — вот мой любимый, его глаза, губы, руки, милая худоба, мальчишеский смех, его радость, задумчивость, его тайна. Не надо ничего ждать и требовать взамен. Да и что может он дать, кроме самого своего существования под одним с ней небом? Но теперь Верочке хотелось, чтобы он откликнулся ее любви. Зачем? Она не умела сказать, но знала одно — любить не радость, не счастье, если любишь только ты...

Пока они тряслись разбитым большаком, объезжая по пыльным, замученным травмам сроду не просыхающие колдобины, Сергей Васильевич без умолку болтал с Татушей. Верочка не слышала слов, но, наверное, разговор был занятен, Татуша то и дело смеялась, закидывая назад голову и напрягая высокую округлую шею. Это был смех петербургской гостиной, где он вполне уместен. Верочка тоже пыталась научиться так красиво смеяться. Но то, что хорошо в Петербурге, едва ли уместно среди полей, оврагов, косогор, поросших геранью, дикими гвоздиками да богородской травкой. Проще, естественнее надо вести себя, а не разыгрывать светскую львицу. Но позже, что Татушина ненатуральность Сережу ничуть не смущала.

Окончательному объединению увлеченной пары мешала костлявая голова иноходца Мальчика, все время надвигавшаяся на Татушу. На иноходце скакала Наташа, но эта юная амазонка плохо справлялась с вороватым двухлетком, и он упрямо напирал сзади на дрожки, почти утыкаясь оскаленной и слюнявой мордой в прическу Татуши. Старшая сестра побаивалась лошадей, к тому же Мальчик нарушал их укромье с Сережей. Татуша сердито-испуганно замахивалась на иноходца, тот косо задирал голову, выкатывая недобрый, с кровавым натеком глаз, ронял тягучую слюну и снова тыкался головой в Татушу.

— Можешь ты укротить своего Буцефала? — крикнула Татуша незадачливой всаднице.— Он плюется, как верблюд!

Наташа с несчастным и надутым лицом попыталась свернуть иноходца к обочине,— он злобно мотнул головой и вновь пристроился за дрожками. Неловко откинувшись в дамском седле, Наташа что было сил натянула повод. Она сделала больно коню, он закладал челюстью, пытаясь поймать удила зубами, и немного отстал от дро-

жек. Татуша успокоилась и вновь залилась зазывным русалочьим смехом. Верочка нащупала под кошмой клочок сена и за спиной сестры незаметно помангла Мальчика. И этот привыкший к тучному овсу баловень сатинских конюшен жадно потянулся за неприхотливым лакомством. Не Наташиным слабым рукам справиться с ним. Мальчик достал солому и захрумкал над Татушиным ухом.

Вскоре решили поворачивать назад. Вконец рассвирепевшая Татуша потребовала, чтобы Наташа уступила коня Леле. Наташа прыгнула на землю, Леля уверенно взяла поводья, Сергей Васильевич подставил ей сложенные стращенем ладони и ловко вкинул в седло. Но не успела Леля перехватить поводья, как Мальчик резко попятился и вдруг взвился на дыбы.

— *Il la tuera, c'est sûr!* — Даже страх за дочь не умерил светскости госпожи Скалон, французская фраза прозвучала безупречно.

Посреди всеобщей растерянности Сережа схватил Мальчика под уздцы и весом своего тела заставил опуститься, помог Леле прыгнуть, сам вскопчал в седло и погнал Мальчика в поле. Крики ужаса смешались шумным восторгом, все захопало в ладоши. Одна лишь Верочка не хлопала, пораженная внезапно открывшейся ей красотой Сережи. Его длинные волосы, орлиный нос, худоба и загар воплотились в прекрасный образ Оцеолы, вождя семинолов. В дамском неудобном седле он держался с непринужденностью сына прерий, а ведь никто не подозревал, что Сережа умеет ездить верхом.

Он промял коня, утомил и, взмокшего, укрощенного, подвел к дрожкам.

— Вы герой, Сережа! — с глубокой пнтонацией сказала Татуша и, отколов от груди розу, протянула Рахманшнову.

Он засмеялся, поцеловал розу и воткнул в петличку полотняной куртки. Верочка почувствовала, что ему польстил жест Татуши. «Вы краснокожий вождя!.. Гайавата!.. Оцеола!..» — но все эти красивые слова не были произнесены вслух, и Сережа остался с Татушиным восхищением, с Татушиной розой...

Верочка никогда бы не повергла прежде, что старшая сестра может быть такой безвкусной кокеткой. Теперь она каждый день надевала новые модные юбки, напхтые в надежде на летние балы у окрестных помещиков. Эти шелковые, разноцветные, шумящие юбки вызывали восторг у Сергея Васильевича, падкого на все яркое, как сорока на блеск. Татуша завела обычай кататься на лодке днем, когда Верочке из-за солнца это было строжайше запрещено. Остальных тоже не соблазняли прогулки в самый зной, и Татуша отправлялась на пруд в сопровождении своих кавалеров — Сережи и Мити. Отвергнутый Верочкой, Митя записался в Татушины оруженосцы. Впрочем, она была уже не Татуша, не Тупечка, не Ментор, а Ундина. Она всякий раз сплетала себе венок из белых лилий и заслужила прозвище таинственной девы вод. Лилии, правда, быстро высыхали и начинали дурно пахнуть, Татуша с отвращением отшвыривала венок. Это служило некоторым утешением Верочке, потому что белые цветы на редкость шли к темным блестящим Татушиным волосам. Она могла бы плести венки из ромашек, которые дольше сохраняются,

по ей нравилось быть Ундиной, русалкой-соблазнительницей, увлекающей влюбленных юношей в подводное царство. Не поспешил Сережа на прозвище для Татуши, это не то что Психопатушка! У Татуши цвели глаза, цвел рот, она удивительно похорошела, и Верочка была даже рада, что Сережа уехал на несколько дней в гости к Мите. Оттуда Татуше пришло письмо, которое весьма неловко попытались скрыть от Верочки. И показали лишь по настоянию Миссочки. «Дорогая Ундина Дмитриевна!..» — начиналось послание, а дальше шло объяснение в любви якобы от лица Мити, но подписанное «по безграмотности двоюродного брата» Рахманиновым. За этой подозрительной шуточкой таилось, видимо, нечто серьезное, иначе зачем было скрывать от нее письмо? Сестры щадили ее, вот до чего дошло! Она записала в дневнике: «Я готова плакать от горя и досады. Конечно, где мне сравниться с взрослой барышней! Ах, как грустно, грустно теперь. Я больше не хочу его видеть, боюсь его возвращения».

Но он вернулся довольно скоро в сопровождении неизбежного Мити, которому, по чести говоря, досталась весьма жалкая роль в этом спектакле.

— Здравствуйте, Психопатушка, Сашок, Цуккина Дмитриевна! — прозвучал на террасе его свежий, отдохнувший голос. — Гуд морщиц, Миссочка! А где Ундина Дмитриевна?

— Вот она я! — театрально отозвалась Татуша, появляясь из гостиной.

На ней была штофная юбка жемчужного цвета и черная, отделанная кружевами кофточка. «Значит, она знала о Сережином приезде! — осенило Верочку. — Недаром же она истекает самодовольством!»

Татуша и в самом деле была довольна собой. Затеяв свою игру, в которой таилась крупная серьезности, она не ждала, что успех окажется столь быстрым и полным. Ей представлялось, что Сережа не остался равнодушен к Верочкиной влюбленности. Но стоило лишь пальцем поманить... Сама того не желая, Татуша сделала, как говорят охотники, душет, вернее же, одним выстрелом двух зайцев убила. Заряд предназначался Сереже, а сражен был заодно и Митя Зилотп. К этой победе, видит бог, она не стремилась, Митя ей перестал нравиться, когда им пренебрегла Верочка. Он ласковый, но безвольный, нерешительный, сам не знает, чего хочет. Он и к ней потянулся лишь потому, что заметил влечение Сережи. Этот не чета Мите, но и с ним не было особых хлопот. Татуша сознавала, что операция проведена с грубоватой тонкостью. Немного самоуничижения для начала: «Ах, как вы играете, я боюсь вас!», «Вы так умны, я боюсь вас!»; несколько несложных ухищрений в туалетах и манере поведения, направленных на то, чтобы подчеркнуть возраст, ведь она единственная во всей этой молодой компании достигла совершеннолетия, а мальчишкам льстит внимание взрослой женщины. Сейчас смиреннее уступило место властному нажиму, строгим выговорам, юношу надо держать на короткой, жесткой сворке... А Верочка, похоже, всерьез переживает. И поделом ей, нечего было задирать нос!..

...Как-то вечером затеяли кататься вокруг гумна. Заложили в кабриолет смирную кобылу Грачиху, и Сергей Васильевич, признанный после истории с Мальчиком лучшим лошадиником усадьбы, взял вожжи. Катались в порядке старшинства, и Верочка едва дождалась своей очереди.

Копыта Грачихи жестко отбарабанили по деревянному мостку на выезде из усадьбы и мягко пошли по толстой пыли большака. За кабриолетом вытянулся серый хвост. Затем свернули на стерню и шагом объехали гумно, едва различимое в туче реющей полове и хоботьев.

Мощно грохотала английская паровая молотилка. Грачиха испуганно косилась на шумное заграничное диво. Порой в сорной туче проступали темные лица работающих крестьян. Мужчины были в защитных очках, у женщин головы обмотаны платками и лишь против глаз оставлена узкая щель. На этом и закончилась поездка, затеянная во славу хозяйственного гения дяди Сатина, первым на Тамбовщине применившего паровую молотилку. Больше смотреть было нечего, и Сергей Васильевич повернул Грачиху к дому.

— Вот и все...— сказала Верочка так грустно, что, уловив собственную интонацию, чуть не расплакалась.

Рахманинов обернулся, поглядел на бледное лицо Верочки и поразился происшедшей в ней за недолгий срок перемене. Это была взрослая девушка, знакомая с печалью и болью. И наконец-то он понял.

— С какой бы радостью я увез мою Психопатушку на край света!..

— Увезите,— сказала Верочка, сжав руки.— Увезите меня, Сережа.

...Поздно вечером, собираясь ко сну, Наташа Сатина услышала царапающий звук. Это был их с Верочкой тайный сигнал. Прибегать к нему разрешалось лишь в случае крайней нужды, поскольку рядом находилась спальня строгой матери Наташи. В длинной белой ночной рубашке, делающей ее похожей на привидение, Наташа подбежала к окну и отдернула занавеску. Верочка стояла внизу, подняв освещенное месяцем лицо, ее русые волосы казались зелеными, а светлые глаза грозно чернели. Она была странно, невиданно и пугающе хороша. И отчаянно заколотившимся сердцем Наташа угадала, зачем она пришла.

— Он любит меня,— шептала Верочка.— Понимаешь, любит... Мы объяснились... У нашей сирени...

— Какая ты счастливая!.. Боже, какая ты счастливая!..— лепетала Наташа.

— Спасибо, Наташа!.. Ты хорошая, добрая. Я так тебя люблю. Ты самая, самая лучшая моя подруга...— Верочка пригоршнями бросала нежности, черпая из бездонной корзинки...

...Рахманинов пробирался сквозь кусты сирени. От бывшего великолепия остались редкие ржавинки, издававшие спертый запах. Он сорвал влажный лист и разжевал. Невыносимая горечь наполнила рот, это было хуже хинина. Рахманинов засмеялся. Хорошо обжечь рот, хорошо бы еще получить крепкого тумака, чтобы окончательно

спуститься на землю. Он ударил себя увесистым кулаком по затылку, что-то христнуло, и он опять засмеялся. Ну вот, теперь все в порядке. То, что было, не приснилось, не пригрезилось, не померещилось в дурманной усталости, которая все чаще охватывала его в последние дни от мучительной незаладившейся работы. Не шел его фортепианный концерт. А теперь пойдет. Он узнал, что такое музыка. Он искал ее вовне, а она должна звучать внутри его, быть частью его самого. Сейчас он ощущал в себе емкость органа, что-то нагнеталось, вызревало, взгуживало в громадных полостях. Будет музыка...

...Медленно, цепляясь за ветви сирени, проплыла паутинка. Татуша проводила ее задумчивым взглядом. Паутина — предвестница осени. Долго и трудно вызревало это лето, чтобы потом взорваться буйным цветением, рано и быстро оно угасает. Ну и бог с ним!..

Татуша сидела на террасе, подставив загорелое, орехового цвета лицо тяжелому, жаркому, но уже усталому августовскому солнцу. Крепко печет это обманное солнце, но не прибавляет загару. Татуша лениво щурила глаза, обмахивалась маленьким веером из слоновой кости и не без удовольствия думала, что лето на исходе и скоро будет Петербург с театрами, балами, интересными людьми, а здесь в полудетском окружении она и сама оребячилась.

— Сережа!.. — услышала она звонкий, с трещинкой хрипотцы голос младшей сестры Веры.

Дети, даже такие большие дети, как ее сестра, не умеют говорить тихо, они орут, срывают голосовые связки и сипнут.

Смолк рояль в бильярдной, и оттуда, нахлобучивая полотняную фуражку, огромными скачками, словно ирландский сеттер дяди Сатина, выскочил долговязый Рахманинов. Мама категорически запретила Верочке обращаться к кузену так фамильярно, но, видимо, дело далеко зашло — Татуша разлепила в усмешке полные губы, — и Верочка просто не может называть Рахманинова по имени-отчеству. «Молодец девчонка! — снисходительно одобрила Татуша. — Вот как обротала этого мустанга! Куда девалась хваленая дисциплина, доходившая до фанатизма, лучшего ученика Зилоти? Учитель много усидчивей, правда, ему помогает жена, не отпускающая его ни на шаг. А Рахманинов, которого прежде и клещами не вытащить было из-за рояля, мчится сломя голову по первому силовому зову».

Обычно юноши влюбляются в девушек своих лет или старше себя, а то и в зрелых женщин. Собственно говоря, их всегда тянет к старшим, но боязнь поражения заставляет одних таиться, а других отступать. Чего греха таить, от скуки и пустоты здешней жизни, отсутствия достойных партнеров Татуше захотелось попробовать свои чары на двух юнцах: Мите Зилоти и Сереже Рахманинове, очень разных, но по-своему привлекательных. И с какой легкостью Верочка, эта козявка, обставила свою взрослую сестру! Сперва походя отбила Митю, чтобы сразу бросить и заняться Сережей. Митя покорно вернулся к вялому поклонению Татуше, но уже стал ей не нужен. Возникла другая цель, та же, что и у сестры, — Рахманинов. Татуша

знала про себя, хоть и не любила в этом признаваться, что с Рахманиновым у нее было далеко не так просто. Чем же взяла Верочка? Конечно, она красива светлой, голубой, славянской красотой, но какой-то слишком уж классической, будто с иллюстрации к этнографической книге — тип русской красавицы. Ее, Татушина, красота современнее, острее, ярче. Ну а если говорить о духовном развитии, то можно ли сравнивать девчонку, томящуюся над диктантами, с автором рукописного романа, вызвавшего восхищение многих просвещенных умов? Все было в искренности, в захватывающей, побеждающей, опрокидывающей любые преграды Верочкиной искренности. Этим она берет. Рядом с ней все хоть немного фальшивят. А у нее каждое движение, каждый жест, каждое слово неподдельны, каждая нота звучит чисто, и этому откликнулась музыкальная натура Рахманинова.

«Дай бог ей счастья!» — вздохнула Татуша. Она любила сестру, жалела ее больное сердце, но все-таки была рада, что лето кончается. Лето ее поражения, чего она больше никогда, никогда, никогда не допустит...

...Что же было дальше? А то, что всегда бывает: лето сменилось осенью, и опустела Сатинская усадьба. Сестры Скалон вернулись в Петербург, Рахманинов и Сатины — в Москву. Но то, что зажглось в Ивановке, не погасло, хотя редки были встречи, а много ли скажешь в письмах? Верочка все болела, и ее каждое лето возили на модные заграничные курорты. Сережа Рахманинов постепенно работал, скитался, бедствовал. Сестрам Скалон пришлось даже купить ему пальто в складчину. Верочка разбила для этого свою фарфоровую копилку, которую ей подарили в раннем детстве. Сестры сами ощущали трогательность своего поступка, но все испортила Татуша. «Это очень мило, и мы такие добренькие, но кузеп жалок, словно кухаркин сын». А потом их опять свело лето в той же Ивановке, где они с ликующей легкостью связали настоящее с прошлым, и еще через два года — в пшгородском имении Скалопов Игнатовке, но «три сестры» уже стали дамами, они с утра затягивались в корсеты, носили в шляпках модные платья, огромные шляпы, похожие на цветочные клумбы, а отощавший, страдающий невралгическими болями Сережа Рахманинов казался мальчиком рядом с ними. К этому времени Вера Дмитриевна открыто считалась певичкой Сергея Толбузина. Да, Рахманинов блестяще копчил консерваторию по двум классам: фортепиано и свободной композиции, — его экзаменационная работа, опера «Алеко», была поставлена на сцене Большого театра, многие произведения вошли в репертуар знаменитых исполнителей, он и сам с успехом концертировал, но что все это значило для тех мерзл, какими в семье Скалонов определяли ценность человека, его положение и будущее? Покорная дурной силе рода, Верочка даже не пробовала сопротивляться тому, что «в высшем суждено совете».

Она была честным человеком и в канун свадьбы сожгла все письма Рахманинова — более ста — и как бы очистилась огнем. Но она сожгла что-то куда более важное, чем листы почтовой бумаги с нежными и шутливыми, серьезными и печальными, радостными и горь-

кими, доверительными словами. Она сожгла собственную душу, все лучшее, взволнованное, трепетное и возвышенное в ней. Но догадалась она об этом далеко не сразу. Вначале, упоенная взрослостью, красивым домом, успехами в свете, материнством, она не сомневалась, что живет хотя и обиденной, но полной и счастливой жизнью женщины своего круга. Она как-то упустила, что этим благополучным женщинам не выпадало в юности любви Рахманинова.

О нем трудно было забыть, хотя бы просто потому, что всюду звучала его музыка, в том числе посвященная Верочке. И пусть генерал Скалон прощески щурит глаза, музыка эта была прекрасна и так много говорила ей. Верочке стало печально и пусто в ее богатом доме, и все сильнее болело сердце, которому не помогали модные итальянские и швейцарские курорты.

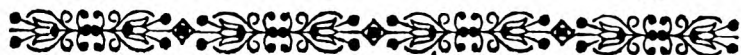
Судьба Рахманинова тоже складывалась непросто. Он узнал и громкий, ранний успех и жестокое поражение, когда, бессознательно угождая петербургской неприязни к «школе Чайковского», тучный, флегматичный Глазунов, выступая в качестве дирижера, рассеянно провалил его Первую симфонию. Тяжелейший нервный и творческий кризис постиг Рахманинова, ему казалось, что он навсегда утратил способность сочинять музыку. Из этой прострации он выбрался долго и трудно. Его жизнь была неустойчива, он ютился в мебелированных квартирах, терял время на частные уроки, метался, порой причаливал к таким пристаням, где ему вовсе нечего было делать.

Но в самую трудную для него пору из глубокой тени выступила женская фигура, столь знакомая своими очертаниями и вместе будто не виданная никогда, и Рахманинов понял, что спасен. Наташа Сатина, девочка с пухлыми губами, Верочкина наперсница, ставшая красивой, стройной женщиной, с волевым и терпеливым ртом, сильная плотью и духом и более всего беззаветной преданностью тому, кого выбрала еще детским сердцем, перетерпев всех и вся, выстрадав свое счастье, навсегда заняла пост любви возле Рахманинова. Она была с ним и тем черным февральским днем 1943 года, когда, отыграв последний концерт, сбор от которого, как и сбор от остальных концертов, передавался в фонд Красной Армии, защитникам Сталинграда, Рахманинов с разъединенным метастазами позвоночником не смог сам уйти со сцены и его унесли на носилках, предварительно опустив занавес. И сидя, но по-прежнему стройная и сильная Наталья Александровна услышала, как прошептал Рахманинов, чуть приподняв свои прекрасные громадные руки: «Милые мои руки, бедные мои руки, прощайте!..»

Но это — уже по прожитии большой, долгой жизни. Верочке такого не было дано. Она думала, что сможет жить, как живут другие: давать счастье мужу, воспитывать детей, встречаться с интересными людьми, уделять внимание музыке, литературе, достойно и благообразно стареть. Ничего этого не могла и не умела Верочка. Она умела лишь одно — любить Рахманинова. И когда это оказалось невозможно, ей не для чего стало жить. При таком большом сердце уйти легко. Она словно разжала руки, только и всего. Ей было тридцать четыре года...

...В память Ивановки и того странного лета, когда запоздало и мощно забродило сирепевое вино, Рахманинов написал свой самый нежный и взволнованный романс «Сирень». Там есть удивительная, щемящая, как взрыд, нота. То промельк Верочкиной души, откупленной любовью у вечности.

ГДЕ СТОЛ БЫЛ ЯСТВ...



Почему его с утра преследует запах стоялой воды? Тухлой воды, покачивающей на ленивых, вялых волнах овощную ботву и очистки, кожуру апельсинов и лимонов, какие-то банки, коробки, окурки, раскисшую бумагу и тушки дохлых крыс. К миазмам воды примешивается плесневелый запах мокрого камня и гниющего дерева. Так пахнет только в Венеции, но ему не хочется ни венецйских воспоминаний, ни венецйских ассоциаций, ничего венецианского. Пусть ему пахнет свежим московским апрелем: набухающими почками, потоками талых вод, последним плавящимся в темных двориках снегом, землей в трещинах тротуарных плит, горечью липовых стволов. Господи, и в Венеции далеко не всегда так дурно пахнет. Лишь в полное безветрие, в жаркие застойные полдни, когда теплый недвижный воздух становится словно вата, каналы дружно смердят помойкой. Но стоит повеять ветерку с моря, и... вонь взмывает, разползется по всему городу, заползает в каждое окошко, дверь, щель, а затем развеивается, уносится, исчезает без следа до следующего затишья. А тогда был ветер... Когда это «тогда»?.. Входя в trattoria возле Кампо дела Карита, Верди придерживал рукой берет, чтобы не сдуло. Откуда Руперту известны такие подробности? Он что, находился в этой trattoria, пропахшей оливковым маслом и острым сыром, когда туда вошел Верди? Да нет же, это все лжеподробности, изобретенные на ходу живым умом завязтого байщика. Рахманинов слышал, что в кругу Чайковского, охочего до кличек, Руперта называли «Баран в облаках». Этим прозвищем он был обязан своей подвитой, в серебряных кудряшках головой и способностью мгновенно заноситься в горние выси собственного вымысла и парить там с обескураживающим изяществом. Еще он обладал отнюдь не бараньими, а голубыми прозрачными ангельскими глазами, испуганно стекленеющими при малейшем знаке недоверия. И поскольку его любили за многие превосходные качества: музыкальность, тонкий вкус, незлобивость и совершенное бескорыстие завиральных выдумок, то старались не докучать ему сомнениями и расспросами. А не мешало бы иной раз спустить Барана на землю!..

Вообще-то нельзя сказать, чтобы Руперт был заведомым лжецом. Просто он знал много такого, что могло к нему прийти лишь из вторых-третьих рук, но обилием тонких подробностей, лукавым прищуром и доверительным апломбом он создавал у слушателей впечат-

лепше, будто являлся очевидцем. Почему ни один из итальянских знакомых Рахманинова ни словом не обмолвился об этой истории, которую знать должен каждый от Венеции до Палермо? Возможно, за давностью лет — все-таки четверть века минуло — огонь потух и не к чему ворошить остывшие угли...

А почему вдруг заговорил Руперт?.. Ах да, речь зашла о народах, умеющих и не умеющих ценить своих гениев. Танееву в какой-то связи вспомнилась реплика Александрова из «Живого трупа»: «Люди не умеют ценить своих гениев», тема оказалась животрепещущей, заварился разговор, и Руперт вспомнил, что при входе Верди в трактир, кофейню, ресторан или винный погребок все мужчины без различия возраста, социальной принадлежности и рода занятий молча вставали и не садилась, пока маэстро не занимал своего места. Ведь это входила сама Королева Мелодия, а перед ее светлым, чистым и высоким ликом никто не смеет заноситься. Верди давал высшую радость певучей итальянской душе, и люди были признательны ему за свое наслаждение, восторг, умиление, слезы. Верди принимал как должное оказываемый ему почет: не корчил смущения — итальянцы при всех своих недостатках, истинных и мнимых, завидно естественны, не опускал смиренно темных, влажных, ласковых и до самой смерти блестящих глаз, не кланялся и не рассыпал улыбок, только чуть приметно потуплял великолепную седеющую голову и спокойно усаживался за столик.

Он был праздничен и эффектен, как его музыка, не прилагая к тому никаких усилий. Густая борода его была подзапущена, одежда — в легком беспорядке, казалось, он не замечал, что носит, только берет цвета раздавленной вишни, натянутый с молодой лихостью, выдавал человека, небезразличного к своей наружности. Кстати, Вагнер тоже носил смело замятый черный берет, не шедший корепастому и низкорослому певцу Нибелунгов.

— Вы слышали?.. — тут только до Рахманинова дошло, что уже несколько секунд он безотчетно совершает обряд уличной встречи: топчется перед встречным со шляпой в руке, кланяется, улыбается напряженной улыбкой застигнутого врасплох человека.

Худой, долгий, будто сквозь салфеточное кольцо пропущенный, музыкальный рецензент Шелухин загородил ему дорогу специально ради того, чтобы сказать эту фразу тем деланно-встревоженным тоном, каким люди говорят о несчастьях, их ничуть не затрагивающих.

— Вы о чем?.. — немного в нос осведомился Рахманинов, хотя сразу понял, что имел в виду Шелухин.

Ему не хотелось говорить об этом с рецензентом, к тому же он злился на себя. Вопрос Шелухина вывел его из состояния, близкого трансу. Рахманинов не заметил, как рецензент приблизился, заступил ему дорогу, расклапаясь, не расслышал его первых слов, и, хотя натренированное вежливостью тело совершало положенные ответные движения, дух его витал очень далеко, и понадобилось осязтимое время, пока он очнулся, опамятался и вновь ступил в явь. Рахмани-

пов не прощал себе рассеянности, отключения от действительности, даже слишком причудливых снов, не говоря уже о подобных провалах. Самообладание, постоянный внутренний контроль, сосредоточенность личности на пребывании в ясном, целостном, не разрывающем бытия — такова была суть Рахманинова. Потому и отвращался он от Скрябина, что тот при всех озарениях, вантиях, гениальных прорывах был слишком экзальтирован, порывист и оторван от земли.

Сейчас Шелухин поймал его в прострации, но внешне его поведение могло произвести впечатление высокомерной невежливости, а это отвратительно... И будь слова Шелухина о другом, Рахманинов сумел бы искупить свое поведение повышенной любезностью, но вмиг вскипевшее раздражение помешало благому намерению. И когда удивленный Шелухин пробормотал, смешавшись: «О Скрябине, о ком же еще?» — Рахманинов воскликнул брюзгливо:

— Ах, оставьте!! Ну срезал прыщик во время бритья, с кем не бывало?

— У него заражение... Разве вы не знаете?

— Как не знать, если только об этом и болтают... Никто еще от пореза не умирал.

— Если занесена инфекция... — важно начал Шелухин, гордясь словом «инфекция» и произнося его через «э», но Рахманинов не дал ему кончить.

— Никто от этого не умирал! — повторил он громко и грубо, чувствуя, что окончательно теряет власть над собой. — И довольно каркать!

Это было так непохоже на Рахманинова, сдержанного, замкнутого, даже сурового, но неизменно любезного, что Шелухин, пробормотав: «Дай бог!.. Дай бог!..», вмиг сгинул, как не бывал.

«Ноль за поведенне!» — мрачно изрек про себя Рахманинов. Человек не властен над своими душевными бурями, но вполне в его силах, чтобы эти бури не выходили наружу...

...Верди уже закончил свой простой, чисто итальянский обед: суп-павезе, розовый, густой, заправленный чудесным тянущимся сыром, спагетти с томатным соусом, салат и фрукты, когда рассыльный вручил ему письмо в большом красном конверте. Верди сунул рассыльному какую-то мелочь, фруктовым ножиком вскрыл конверт, пробежал письмо и сильно побледнел. Одним глотком он опорожнил чашку кофе, попросил еще и, пока выполнял заказ, снова и снова пробежал письмо, будто не мог постигнуть ускользающего смысла. А смысл был проще простого: во исполнение давней договоренности Рихард Вагнер имел честь просить синьора Джузеппе Верди пожаловать к нему, в его резиденцию.

Верди, обжигаясь, осушил вторую чашку, снова, шевеля губами, перечел послание. Надежнее прямых, жестких строчек и резкой подписи подлинность письма утверждал тон ледяной вежливости. Долго же пришлось ему дожидаться этого приглашения! Он и в Венеции приехал лишь ради встречи с Вагнером, о чем сразу же поставил того в известность. Но бежали дни и недели, а Вагнер не отзывался. Говорили, что он недужит, живет затворником и сам

никуда не выходит. Но Верди доподлинно знал, что многие люди бывают у Вагнера и плохое самочувствие не мешает тому проводить вечера в кругу знакомых, почитателей и даже изредка музицировать. Но он верил слову Вагнера и терпеливо ждал. Пожалуй, лишь сейчас открылось ему, на какой трудный подвиг вызвал он Вагнера. Уже дважды, спрятав самолюбие в карман, Верди обращался к байрейтскому колдуну с предложением встретиться, пожать друг другу руки и покончить с яростной враждой, раздиравшей музыкальный мир. Сам он не испытывал неприязни к композитору, чья музыка была ему чужда, тяжела и непонятна при всей ее несомненной значительности. Соперничество, перешедшее во вражду, им навязала окружающие: публика, истерические поклонницы, докучные «знатоки», критики, журналисты, дельцы от музыки и всевозможные прилипалы. А чего им соперничать, коли они служат разным богам? Верди — Мелодии, Вагнер — Дrame. Им вовсе не тесно было в просторном мире музыки, и Верди долго не постигал, чем он так мешает Вагнеру. Тот первый открыл боевые действия и вел ожесточенный огонь, не смущаясь и не смиряясь молчанием «противника». Мелос Верди не мог привлечь ни одного вагнерианца, для тех, кто радел на байрейтских не музыкальных, скорее религиозных торжествах, музыка «Анды» и «Трубадура» была нема. Ну и бог с ними! Байрейт еще не весь мир, и Верди вполне хватало того, что оставалось на его долю. С присущим ему насмешливым добродушием он объяснял шумные злобствования Вагнера обычной завистью карликов к рослым людям. Но дело было, конечно, не в этом. Истинный германец, Вагнер не мог примириться с тем, что за пределами его мрачной, овсяной дыханием древних богов и героев, полночной державы раскинулась светлая и радостная обитель Верди. Нужно было подчинить своему мечу чужой лен, а ленника изгнать или, того лучше, ушачтожить. Упорная ненависть Вагнера вначале лишь задевала, огорчала Верди, а с течением времени, все усиливаясь, стала причинять страдание, боль его легкой и доброй душе, неспособной к ожесточению. Господи, ну что им делить? Они были не просто различны, а диаметрально противоположны друг другу во всем: в творчестве, восприятии мира и музыки, в самом направлении своих волей, в характерах, темпераментах, взглядах, внешности, наконец, и в отношении к женщине. При желании, именно в силу противоположности сути одного сути другого, им ничего не стоило сойтись. По-настоящему нас раздражают люди, в которых мы узнаем собственные черты. Они же не мешали друг другу, как солнце и луна.

Но Вагнеру не хотелось делиться славой. Зачем довольствоваться половиной, если можно взять все! Он был воинствен и агрессивен, этот германец, как и породившая его земля, и так же стремился к расширению своих владений. Он не понимал, что ему не властвовать в державе Верди, даже если бы тот капитулировал. Что делать луне в дневном небе, для ее победного сияния нужна ночь, днем таинственная и могущественная Селена превращается в комок белой шерсти. Вагнер не мог заместить Верди в тех душах, что любят солнечный свет, ибо ему нечего было дать им, его золото для них черепки.

Так же беспилен и Верди в вагнеровской ноци. Люди разные, и пужна им разная музыка.

Но Вагнер не уставал хулить соперника, и Верди при всей пироте п незлобности был слишком итальянцем, чтобы не вспыхивать в ответ язвительным гневом. В искрометном его остроумии тяжело-весные эскапады Вагнера звучали грубой трактирной бранью. Опытный музыкальный писатель проигрывал все заочные словесные поединки и лишь пуще бесился. Конечно, он был искренен в своем неприятии музыки Верди, казавшейся ему слезливой, сентиментальной, банальной и пустой. Но, положи руку на сердце, разве нет композиторов, и весьма известных, чья музыка на вагнеровский вкус еще сентиментальней, слащавее и банальней, но Вагнер все же не распинается в отвращении к ним? Предположим, он просто не замечает их и позволяет себе тратить порох лишь на главу направления, на того, в ком с наибольшей полнотой и силой воплотился ненавистный ему тип музыканта. Что ж, и это своего рода признание. Так уважай того, кто способен вместить всю твою великую ненависть. И зачем переносить на человека отношение к его музыке? Вот это уж совсем непонятно. Верди засыпал сном младенца на «Нибелунгах», но несколько не раздражался на их создателя. Пусть сочиняет так, коли ему хочется. Разве это преступление или порок — выражать свою личность в звуках, красках или слове едипственно возможным для тебя образом? И зачем недостойной бранью оскорблять те миллионы людей, которым пужна именно эта, а не другая музыка?

А Верди кое-что искренне нравилось у Вагнера, ну хотя бы «Рассказ Лозингина» или «Прощание с лебедем» из той же оперы. Даже в мучительно скучных ему «Нибелунгах» он узнавал акт могучей творческой воли.

Вагнер алчен к громкому успеху, и все же пз тщеславия — он видит в каждом аплодирующем сообщника, соратника, ему важно, что их несметь, и потому он ни во что не ставит камерный успех. Уже по одному этому он должен был бы считаться с Верди, тоже сотрясавшим небеса. Но ведь так легко схитрить и обесценить чужую славу: усталое человечество падко на бездумное, легкое, не утруждающее мозг и душу. Нет, не сентиментальные грезы, а бунтарский, патриотический пыл пробуждала в итальянцах «Битва при Леньяни».

Вражда была мучительна для Верди. Сознание, что он возбуждает в ком-то такую стойкую ненависть, мешало ему жить, отравляло его хлеб и вино. Возможно, германскому духу Вагнера каждодневная порция ярости была что вязанка сухих дров костру, Верди же тяготился навязанной ему ролью врага. И хотя у него было неизмеримо больше поводов негодовать на Вагнера, он первый протянул руку. «Пусть ссорятся и бранятся наши поклонники, если это им для чего-то нужно, зачем нам потворствовать дурным страстям? Давайте встретимся, мы наверняка покажемся друг другу все же не такими уж плохими людьми». Он долго дожидался ответа. Не мог выпагнуть из заколдованного круга ненависти карлик-великан. Наконец Вагнер все же прислал короткое, сухое, уклончивое, вежливое письмо. Ко-

нечно, незачем тешить толпу зрелищем своей распри, но пусть господин Верди простит ему его угрюмый, трудный, замкнутый характер, не позволяющий сразу откликнуться добром на добро. Отчуждение было таким долгим и стойким, что ему надо какое-то время, дабы приучить себя к той высокой и справедливой мысли, с которой успел свыкнуться господин Верди. Когда это произойдет, он даст знать и они встретятся.

Верди принялся ждать терпеливо и доверчиво. Он понимал, что Вагнер захочет иметь преимущество и первый визит придется сделать ему, но не придавал значения подобной самолюбивой чепухе. Он готов был отправиться по первому зову куда угодно. Но Вагнер не спешил. Злые, насмешливые, даже просто недоброжелательные отзывы его о музыке Верди прекратились, и если порой все же доходили дурные слухи, то в них без труда угадывался запоздалый отзвук былых раскатов. Это обнадеживало, но тем непонятнее стало молчание Вагнера, и Верди снова написал ему. На этот раз ответ пришел незамедлительно: уговор остается в силе, они непременно свидятся и навсегда покончат со всеми счетами. Теперь уже недолго ждать — от последних слов неожиданно пахнуло мягкой доверительностью. В расчете на трещинку доброты в железном голосе Вагнера Верди и прибыл в Венецию. Боясь недоразумений, тех роковых случайностей, что губят порой великие начинания, он, помимо собственного адреса, сообщил Вагнеру, где его можно застать в утренние, дневные и вечерние часы. Таким образом, рассильный смог найти его в маленькой трактирочке возле Кампо делла Карита...

В плавное течение мыслей Рахманинова ворвались ярко-красные спицы извозчичьей пролетки. Они замелькали в углу его левого глаза, ближнего к мостовой, — Рахманинов шел по краю тротуара, по-над быстрым журчащим ручьем. Промельки кричаще красного назойливо вторглись в прочный золотистый отсверк воды, зажегшей в хрусталике глаза ослепительный кружок. Красные спицы будто смахивали кружок с глаза, это раздражало, и Рахманинов резко вскинул голову.

Прежде всего он обнаружил, что то вовсе не извозчицья пролетка, а собственный выезд, и довольно шикарный, если б не слишком явные следы подновления на всем составе: экипаже, сбруе, кучере, даже серой в яблоках лошади. Все накрашено, надраено, налакировано. Кучер в жесткой шляпе с поддельными страусовыми перьями над воловьим выкатом глаз казался ряженым. Но маскарадность выезда стала до конца очевидной, когда Рахманинов увидел седока.

То был известный московский журналист, знаток театра и рецензент, антрепренер и темный делец Плюев. Рахманинов не был уверен, что знаком с ним, но Плюев не сомневался, что знаком с Рахманиновым. Он жестами приглашал его в экипаж, отпахнул кожаную полость и улыбался свежим, плотоядным ртом.

Не оставалось ничего другого, как подойти. За два шага, отделявших его от пролетки, Рахманинов вспомнил, что Плюев происходит из старого дворянского рода Пеплюевых, но за какую-то провинность государь отнял у его предков частицу «не». Ловкий человек доказал, что можно отлично обходиться остатком фамилии, он царил в московском театральном мире, делал большие дела с всесильным Распутиным, а сейчас снюхался со знаменитым Митькой Рубинштейном. Это не мешает ему быть всюду вхожим и принимать у себя цвет литературно-театральной Москвы во главе с Шаляпиным и Амфитеатовым. Рахманинов подивился странному свойству своего воспринимающего устройства, его острый и тонкий слух улавливал множество ненужных шумов мира: шплетни, сказанные на ушко, перешептывания в концертном зале, когда пианист усаживается за рояль, откидывая фрачные хвосты, вскользь брошенные замечания, проницательные возгласы или реплики в сторону, а память заботливо складывает полученные таким образом сведения в свои тайники, как жадная и бережливая старуха — в сундук всевозможную дребедень: свечные огарки, пуговицы, конфетные обертки, бутылочки из-под лекарств, ленточки, иголки без ушка. И весь этот громадный запас ему так же без пользы, как несчастным старухам их жалкие сокровища.

Он поблагодарил Плюева, предложившего подвезти, сказав, что это его обязательная прогулка.

— Вы к Гутхейлю? — почему-то догадался Плюев. — Мне бы тоже не мешало заскочить туда. Хочу окрутить Федора с Массне.

— Нет, нет, спасибо!.. Мне надо находить свои два часа. К тому же я автомобилист и больше не признаю лошадей.

— Что ж, гуляйте, батенька, дай бог вам здоровья... Как бы оно пригодилось сейчас бедному Скрябину!

— Все так усиленно хоронят Александра Николаевича, — с чуть принужденным смехом сказал Рахманинов, — что будет просто чудом, если он оправится от своего пореза.

— У него карбункул, — угрюмо сказал Плюев. — Но дело не в этом. Москва сгорела от копеечной свечки.

Это было сказано серьезно, без ложной значительности и желания поразить собеседника, сказано в себя, от собственной тревоги, и впервые с той минуты, что он услышал о болезни Скрябина. Рахманинова кольнул испуг. Конечно, он и мысли не допускал, что жизнь Скрябина под угрозой. Обычное преувеличение. Даже война со всеми ужасами, кровью, потерями, поражениями не вытравивала в людях стремления драматизировать действительность. Как будто и так мало боли, мало истинных, а не придуманных страданий! Откуда это берется? Верно, недостает человеческой душе очистительно трагического. На фронте, надо полагать, этим не занимаются, в деревнях и на фабриках тоже не испытывают судьбу. А вот обеспеченные, избавленные от войны и от забот о хлебе насущном люди очень падки на трагическое. Скрябин, без сомнения, выкарабкается, не может человек такого масштаба стать жертвой пустого случая. Но сейчас ему плохо, и семья в тревоге, и сам он, мнительный, непривычный к боли, смертельно

напуган, и, наверное, следовало бы проведать его, сказать несколько трезвых, ободряющих слов. В конце концов, они друзья детства...

Рахманинов рассеянно простился с Плюевым, укатившим на своем роскошном выезде, причем торжественный путь его отмечался ровными кучками навоза, которые серый в яблоках выкладывал как по ниточке. В голубоватой дымке над кучами хлопотали воробьи, отчетливей обозначив символические следы удачливого предпринимателя. Но Рахманинову не было смешно.

Да, надо бы навестить Скрябина. Но не будет ли это ложно понято? Ведь они почти никогда не ходили друг к другу. Они познакомились мальчишками у известного музыкального педагога Зверева. Рахманинов жил у Зверева в качестве пансионера, а москвич Скрябин был приходящим учеником. На редкость несхожие музыкантики поначалу потянулись друг к другу, угадав, что поклоняются одному божеству. Рахманинова удивляло сейчас, как быстро выделил его среди «зверят» худенький белобрысый ученик, чья очаровательная капризность отдавала немалым сомнением. Саша Скрябин резко отличался от живущих на зверевских хлебах, в той или иной степени бездомных мальчишек, за ним ощущалась семья, налаженный быт, привязанность к месту. И как же быстро эта житейская прочность обернулась незаземленностью, душевной неприкаянностью, неумещаемостью в земных координатах! Они сблизились в тумане детства, угадав в другом свою радость и беду — творческую волю, но резко разлетелся в стороны, как столкнувшиеся бильярдные шары, едва проглянули, кто есть кто.

Окрепнув и накопив мускулы, эти мальчишки против своей воли раскололи русский музыкальный мир на два враждебных лагеря. В творчестве их путь был восхождением вверх, каждый штурмовал и брал свои высоты, одерживал свои победы, знал и свои поражения — Рахманинов более жестокие. В житейском плане дело обстояло иначе. Редкая непрактичность Александра Николаевича сказала еще в консерватории, где он успел насмерть рассориться с колким, но добродушным Аренским и в результате не кончить курса по композиции. Рахманинов был выпущен и по классу композиции, и по классу фортепиано и вслед за Танеевым и Корещенкой удостоился Большой золотой медали. Скрябин получил лишь диплом пианиста.

Конечно, пианистом он был выдающимся, но только как исполнитель собственных вещей, чужую музыку он исполнял лишь в годы ученичества, а позже не брался за нее да и не желал этого. Рахманинов обладал великолепными природными данными: физической силой, мощной огромной кистью, способной охватить полторы октавы, феноменальной музыкальной памятью и способностью к адаптации при ярко выраженной индивидуальности. Ничего этого, кроме индивидуальности — гипертрофированной, — не было у Скрябина с его крошечными, слабыми руками, порхающими по клавишам и неспособными наполнить большой зал сильным и сочным звуком, у Скрябина, погруженного в свой собственный мир, недоступный звукам чужих песен. И неудивительно, что Рахманинов шел от нищеты

и бездомности к достатку, прочному семейному гнезду, Скрябин же терял то, чем обладал сызмала: гнездо, обеспеченность, спокойствие за завтрашний день.

Его концерты имели ошеломляющий успех и в России, особенно в Петербурге — провинция знала его куда меньше, — и за границей, но он хотел создавать музыку, а не растрчивать себя на концертную деятельность. К тому же его пианистический диапазон был узок — замыкался на самом себе, — этого мало для прочного успеха у широкой публики. От сочинительства же, известно, не наживешь палат каменных. А Рахманинов привык «жечь свою свечу с трех концов». Как пианиста его ставили в ряд с Листом и Антоном Рубинштейном, как дирижер он оспаривал лавры у кумира Европы Никиша.

Но композитор Скрябин считался новатором, а композитора Рахманинова обвиняли в традиционализме — не поспевает за обновлением музыкального языка, — и в эклектизме — этим убийственным словом равно клеймили и жалких эпигонов Чайковского, и Римско-го-Корсакова, и тех, кто продолжал ведущую линию русского искусства: его человечность, лиризм, духовную ясность и, сквозь всю скорбь и печаль, веру в будущее. Передовое студенчество ценило Рахманинова, оно слышало в его «Весенних водах» не только шум молодой воды, а во втором концерте не только сердечную грусть. Да разве студенты распоряжаются музыкальными репутациями? Их создают кружки, салоны, и в первую голову влиятельные критики. В Петербурге авторитетный Каратыгин, а в Москве не менее громкий Сабанеев яростно разрушали музыкальное здание Рахманинова. А замороженные романтическим подъемом молодого Скрябина души ныне самозабвенно упивались его «звукоцветом».

В памяти занозой осталось одно столкновение со Скрябиным. Да нет, столкновения не получилось, Александр Николаевич ушел от спора, хоть и слегка надувшись, но почти высокомерно, настолько не интересовало его мнение Рахманинова вместе со всей музыкой друга детства. Рахманинов в присутствии Скрябина и нескольких музыкантов читал с листа партитуру «Прометей». Первый аккорд потряс его своей красотой, но дальше... «Какого цвета тут музыка?» — иронически спросил он по поводу *tastiera per lace*¹. «Не музыка, а атмосфера, окутывающая слушателя. Атмосфера фиолетовая», — с обидной снисходительностью, словно недоумку, пояснил Скрябин и захлопнул партитуру.

В отличие от своих фанатичных приверженцев, Скрябин не отказывал Рахманинову в значительном композиторском даровании, просто такая музыка была ему не нужна, казалась тусклой, мертвой. Это он принес людям огонь, озаривший дорогу в будущее, подобно тому как прометеев огонь пронизал тьму юного человечества. Но знаменитый «Прометей» почти не трогал Рахманинова, пожалуй, лишь два-три такта... Все дело в том, что Рахманинов находил эти

¹ Цветовая клавиатура — придуманное А. Скрябиным цветное сопровождение музыки.

два-три такта, а порой и куда больше, во всех, казалось бы, столь далеких от него сочинениях Скрябина. Видимо, тут сказывалась его духовная гибкость, многогранность и навык пианиста-профессионала, умеющего возгораться от чужого огня. В этом было его преимущество, и в этом была его мука. Ибо Скрябин не находил да и не пытался найти у него даже двух-трех тактов. Ну пусть новоявленный Прометей не принимает его направления, всю его музыку в целом, но два жалких такта мог бы ему подарить! А то становится страшно. Столь полная глухота сильной творческой личности к твоим созданиям обескураживает, хуже — лишает уверенности в себе, еще хуже — убивает.

Видимо, то же чувство заставило славного Верди искать встречи с Вагнером, а вовсе не забота о спокойствии музыкального мира, угомнении страстей и разных там этических тонкостях. Ему тоже хотелось получить свои два-три такта. Мог же великий Лист, чей музыкальный авторитет неоспорим, вдохновиться квartetом из «Риголетто», самой заигранной, запетой, засаленной оперы Верди. Так почему бы и Вагнеру?..

...Когда Верди покидал тратторию с письмом Вагнера в кармане, пролился короткий изобильный дождь, будто опорожнилась над городом небесная бочка. Сплошной поток на миг скрыл здания, каналы и сразу иссяк, вернув пространство. Опять сияло солнце, вода в каналах вспухла, покрылась лопающимися пузырьками, а на узкой, выложенной плитняком полосе меж тротуаром и стоянкой гондол растеклась плоская голубая лужа. Верди выступил из-под серого полотняного навеса, и все мужчины, не сговариваясь, скинули плащи и накрыли лужу, чтобы Верди не замочил ног. Так поступали русские гусары ради прекрасных женщин, так поступили молодые, пожилые и старые мужчины ради другого старого мужчины, научившего их нескольким песенкам.

Верди поблагодарил с обычной сдержанностью и сел в гондолу. Он назвал адрес, гондольер оттолкнулся от замшелой лестницы и налег на весло. Делая вид, будто не узнал Верди, он увел взгляд в какую-то далекую пустоту и замурлыкал песенку Герцога. Верди улыбнулся, тронутый этой наивной данью признания. Он был взволнован. Впервые ощутил он с такой остротой, как нужно ему предстоящее свидание. А ведь случалось, обманывая самого себя, он делал вид, будто хочет помочь Вагнеру очиститься от ненужной злобы, расценивал свой визит к нему чуть ли не как жест милосердия...

...Вот почему не надо идти к Скрябину. Зачем?.. Вымалывать свои два-три такта?.. Скрябин вовсе не так плох, чтобы спешить с этим. А приход его может произвести на больного тяжелое впечатление. Скрябин, поди, решит, будто и впрямь умирает, если человек, давно уж не близкий, является безо всяких церемоний. Поверить же, что малое его недомогание так разволновало Рахманинова, он едва ли сможет. При всей своей отвлеченности Скрябин отнюдь не был бесхитростен и наивен. Скорей он заподозрит некий тайный расчет, желание что-то выгадать у ослабленного болезнью человека.

Он подарит ему два-три такта, только нужен ли этот спсходительный дар?.. Нет, он не пойдет к Скрябину ни сейчас, ни когда тот встанет с постели. Он окажет больше гордости, чем Верди. Да и не в гордости тут дело. Надо оставаться самим собой и не искать ни помощи, ни одобрения, ни понимания, сколь бы желанным оно ни было.

Искать же мира со Скрябиным ему незачем. В отличие от великих теней, так неотвязно преследующих его весь день, они никогда не враждовали, не знали размолвок или ссор. Они тихо приятельствовали, не обременяя собой друг друга. Рахманинову даже выпало разделить со Скрябиным один из его триумфов, когда в Большом зале Благородного собрания Александр Николаевич исполнял свой фортепианный концерт с оркестром под его управлением.

Все это так. Но куда не денешься и от того, что ими порождена непримиримая контрверза в музыкальной жизни России...

У дверей издательства Гутхейля стояла пара вороных, запряженная в легкий, изящный и поместительный экипаж — не чета расписной колыхае Плюева. На высоких козлах застыл сухой, поджарый, чисто выбритый кучер, в кожаном колете и бархатных штанах, заправленных в короткие сапоги. Два великоленных орловца слепяще отливали глянцем расчищенной шерсти. Коренной дремал, прикрыв выпуклые глаза подрагивающими веками, тугие, просвечивающе розовым уши наредка дергались, отзываясь шумам бодрствующей жизни, а пристяжной, красиво выгибая забинтованную от коленного сустава до пясти ногу, осторожно царапал копытом булыжник, будто струну трогал. Конечно, это был выезд Кусевицкого, недавно присоединившего фирму Гутхейля к Российскому музыкальному издательству.

Кусевицкий пожаловал в свой филиал в сопровождении жены, дочери миллионера Ушкова. Женитьба на «Каменной бабе», как называли Наталию Константиновну недоброжелатели, а к ним принадлежали, похоже, все знакомые Кусевицкого, дебелой, с неподвижным, холодным лицом, словно замершим на пороге красоты, сделала виртуоза-контрабасиста самым богатым музыкантом не только в России, но и в целом мире. Кусевицкий умело распорядился баснословным приданым, создав крупнейшее музыкальное издательство и потратив немалые деньги на собственное усовершенствование. Он прошел в Германии под руководством знаменитого Артура Никиша курс дирижерского искусства и в короткое время стал дирижером мирового класса. Кусевицкий напоминал Некрасова редким сочетанием выдающегося таланта с железным практицизмом. «Каменная баба», непроницаемая и холодная, помогала всем его начинаниям, внося в них деловую сметку, расчетливый размах и вульгарноватую жесткость, кажется, послужившую причиной разрыва со Скрябиным. Рахманинова она никогда не задевала, видимо считая полезным и для деятельности Российского музыкального издательства, и для симфонических концертов мужа. Между собой супруги отлично ладили. В целом мире, который Наталия Константиновна самым появлением обращала в холодный камень, лишь одно человеческое су-

щество протривостояло злым чарам, оставаясь живым и горячим, — ее муж. Она любила его всем своим тяжелым сердцем, и, самое странное, талантливый, многогранный, блестящий Кусевницкий тоже преданно любил этого истукана.

Рахманинов едва успел поздороваться со служащими издательства, как из задней комнаты выскочил красный, задыхающийся Кусевницкий и с порога закричал, доставая Рахманинова жарким чистым дыханием:

— Что же это творится, Сергей Васильевич? Да есть ли бог на небе?.. Великий... да, да, великий музыкант умирает от ничтожной болячки, и все врачи бессильны что-либо сделать. Они не знают, не понимают, не могут!.. Так пусть вмешается небо! — И он потряс над головой сильными смуглыми руками. Движение призыва и угрозы, предназначенное небесам, невольно обернулось чисто дирижерской экспрессией.

На его крик из сумрака конторы выплыла Наталия Константиновна и замерла в дверном проеме, заполнив его весь. Рахманинов успел подумать, что чета Кусевницких впервые обнаружила бессилie миллионеров, вслед за тем в тело ему вошла противная слабость. Он прислонился к стене.

— Да как же так... как же... — челюсти не разжимались.

— Я был у него утром. Он без сознания. Я послал своего врача, велел созвать консилиум. Недавно был телефон с профессором Саранцевым. Они привели Скрябина в чувство, но надежда плоха. Похоже на общее заражение... Что же это такое, я вас спрашиваю? — снова завопил Кусевницкий, и мелкие слезы брызнули с уголков глаз.

— Поедем домой, — каменным голосом произнесла Наталия Константиновна, — ты сделал все, что мог.

— Да что я могу?.. — беспомощно сказал Кусевницкий. — Что мы все можем?.. — И, сгорбившись, обмякнув, побрел к выходу.

Служащие взволнованно зашептались, обсуждая сообщение Кусевницкого. Рахманинов и не силится и не мог понять, о чем они говорят. Голову ломило в висках и затылке, тончайший, чрезмерный слух его отказал. Вдруг он очнулся, не попросившись, выбежал из конторы, схватил извозчика и помчался к Скрябину...

...Дворец, который снимал Вагнер, находился неподалеку от места Ринальто, и Верди, неплохо знавшего Венецию, удивило, что он раньше не обнаружил это красивое, хотя и порядком обветшавшее здание в духе Ломбардо. Он расплатился с гондольером, отстранил его помощь, легко выскочил из гондолы и стал подыматься по крутой, позеленевшей от времени мраморной лестнице. Обшарпанные ступени были скользкими после недавнего дождя. Он удобно, ладно чувствовал свое дородное, но послушное, мускулистое тело, знал, что движения его упруги и ловки, и если Вагнеру взбрело на ум тайком наблюдать своего гостя, то, к огорчению своему, он не обнаружит в нем примет старческой немощи.

Одна из створок высоких резвых дверей была приоткрыта, Верди шагнул к ней, и тут же двери широко распахнулись.

Величественный слуга в белом напудренном парике, пятясь и низко кланяясь, отступил в сумрак просторной прихожей. Верди вошел, и тут же к нему бесшумно скользнули двое младших слуг и приняли его плащ и берет. Театральность встречи развеяла Верди и помогла успокоиться.

— Добро пожаловать, синьор Верди! — произнес тихий, приятный голос, и молодой человек в черном, узколицый и очень бледный, склонился перед Верди в балетном поклоне.

На миг Верди почудилось, что его разыгрывают, и он обрадовался такому проявлению жизни в сумрачном хозяине дворца, но вслед за тем он понял, что церемония встречи осуществляется всерьез. Зачем это нужно Вагнеру? Не лучше ли просто выйти навстречу гостю и пожать ему руку? Конечно, не чванство, не ломание и не желание поразить двигало Вагнером. Котурны неотделимы от его сущности и к тому же весьма уместны при маленьком росте. Бог ему судья!.. Важно, что сейчас они встретятся, и уж Верди сумеет растопить лед неуживчивого упрямца. И потом, их встреча принадлежит истории, а история любит рядиться в пышные одежды. И пусть ему вся эта помпа чужда и немножко смешна, Вагнер прав перед будущим. Разве интересно грядущим поколениям, если они встретятся, как два булочника на покое?

Верди поднялся по лестнице, устланной толстым бордовым ковром, и снова впереди распахнулись двери, указывая, куда ему идти. Он попал в полутемный зал, украшенный гобеленами. Вагнера и здесь не было. Верди немного подождал, любуясь превосходным французским гобеленом с изображением цесовой охоты. Никто не появлялся, и он пошел дальше. Он оказался в трапезной, судя по длинным дубовым столам, уставленным старинной серебряной посудой. По стенам висело оружие, луки, колчаны со стрелами, охотничьи рога. Пол здесь был сложен каменными плитами, и шаги его гулко и печально раздавались в оцепенелой тишине покоев. Вновь распахнулись двери, и он вошел в затянутую кроваво-алым штофом комнату с напольными часами по углам. Все они остановились на без пяти двенадцать.

Верди уже не досадовал на странный прием. Отзывчивый, как и все итальянцы, он поддался величавой тишине обветшалого дворца. Душа его сосредоточилась, настроилась на торжественный лад, ему предлагали высокую игру, и он эту игру принимал.

Выпрямился, раздвинул плечи, убрал улыбку с губ и вошел в следующий зал, посреди которого высился обтянутый черным крепким помост. На помосте стоял простой деревянный гроб, в гробу лежал Вагнер, алебастрово белело его большое, навек успокоившееся лицо. Он сдержал слово, данное Верди, и до конца дней заставил его гадать над страшным символом этого свидания...

...А Рахманинов всем существом поверил, что Скрябин выкарабкается. Жизнь не занимается плагиатом, не крадет у самой себя. Она честнее искусства и обладает лучшим вкусом, не допуская гру-

бых совпадений и дешевых эффектов. Успокоившись, Рахманинов едва не завернул извозчика и не сделал этого лишь в силу отвращения к непоследовательным, чужаковым поступкам.

Едва переступив порог скрябинской квартиры, он погрузился в атмосферу несчастья. Оно лезло нехорошей давящей тишиной, в которой каждый звук казался вызывающе громким; шарканье ног, скрип двери и половиц, собственное осторожное, в кулак, откашливание, чей-то вздох; несчастье закладывало нос спертым духом закупоренного жилья с едкой примесью лекарств; несчастье било по глазам беспорядком, захватившим и прихожую, промельками каких-то лиц в дверях, внезапной толчеей в коридоре,— то не были домашние, многолюдство возникало из сочувственной бесперемонности. Он еще топтался в прихожей, когда в задушенной сумятице взбаламученной квартиры выделились, высветились и закрыли собой все два лица — женское и детское. Рахманинов поклонился жене Скрябина Татьяне Федоровне и не сразу узнал его десятилетнюю дочь Арнадну.

— Я зашел проведать Александра Николаевича,— обратился он к Скрябиной.— Это можно?..

— Александра Николаевича нет.

— Простите,— смеялся Рахманинов.— Мне сказали, что он болен, лежит...

— Александр Николаевич скончался... Пройдите,— она сделала шаг в сторону, пропуская Рахманинова в столовую.

Здесь стоял раздвинутый во всю длину стол-сороконожка, а на нем, плоский и маленький — не в гробу, а прямо на столешнице, застланной белой простыней,— лежал Скрябин в темном пиджачном костюме, крахмальной сорочке и галстуке. Вышитая думка чуть приподымала его круглую голову, причесанную волосок к волоску, совсем как в детстве, когда он впервые вошел в класс Зверева и тонким самоуверенным детским голосом назвал себя: Скрябин. И совсем чужими детскому облику казались закрученные кверху усы и острая борода.

До чего же он мал и хрупок, этот бедный музыкальный Прометей, и какая гордая, уверенная в себе сила скрывалась в тщедушном теле!.. Следовало подойти и поцеловать покойника в тесно сомкнутые уста или хотя бы в чистый, высокий лоб, но Рахманинов чувствовал, что ему этого не сделать, даже собрав всю свою волю. Дурнота подступала к горлу при одной мысли о простом, не раз исполнявшемся ритуале. И вовсе не из отвращения, боже упаси! Смерть еще не успела завладеть Скрябиным, он совсем не изменился, и не было в нем ничего отталкивающего, но виделась в обрядовом жесте какая-то оскорбительная для покойного неправда. Возможно, Верди и поцеловал скрещенные на груди руки Вагнера, большие, натруженные руки музыканта, но он все же был позван. Скрябин же не звал Рахманинова и едва ли вспомнил о его существовании в часы последнего борения. Поцеловать Скрябина значило бы признать его окончательно мертвым, безнадежно мертвым, таким мертвым, что с ним нечего считаться. А Скрябин вовсе не был

и никогда не будет мертвым и немым, и не позволит себе Рахманинов кощунственного лобызания. Но вдова и дочь чего-то ждали, а он стоял холодным изваянием. Он не мог вынести неподвижного, в упор, взгляда больших, странно сухих глаз девочки. Она словно требовала от него чего-то... Он глядел на Скрябина, а краем глаза безотчетно ухватывал бедную обстановку, красноречивей всяких слов говорившую о подвижнической жизни человека, так странно и бессмысленно уложенного на обеденный стол.

Спазм сдавил горло. Рахманинов впился пальцами в кадык и слепо рванулся в прихожую, а оттуда на улицу. Но своим безыскусственным поступком он выиграл прощение у скрябинских женицки, большой и маленькой.

А дома он попросил жену дать ему том бродгаузовской энциклопедии на букву В. Соперники разместились там в многозначительной близости. Сейчас он убедится, что Вагнер умер в Байрейте, или в Мюнхене, или в Веймаре, или в другом немецком городе, и кончится наваждение. Палец заскользил по строчкам. Рихард Вагнер последние годы жизни провел в Байрейте, а умер в Венеции 18 февраля 1883 года... Выходит, «Баран в облаках» ничего не придумал, а жизнь показала себя весьма грубым драмоделом...

...Рахманинов решил дать концерт из произведений Скрябина в пользу его семьи.

— Ты понимаешь, на что идешь? — спросила жена Наталья Александровна.

— Увы, да, — ответил он просто.

Он предусмотрел все варианты злоязычия. Едва оправившиеся от потрясения скрябинисты объявили его намерение жестом — широким, красивым, нарочитым, непужным, высокомерным, дешевым, унижающим память Скрябина, недостойным, заслуживающим осуждения. Он это предвидел, и все же людская злоба и слепота причинили ему боль. Ведь ни для кого не секрет, в каком тяжелом материальном положении оставил Скрябин семью. Легко было догадаться, что играть он должен Скрябина и только Скрябина, иначе вдова не примет денег. Но, похоже, эта сторона дела вообще никого не интересовала. Что за низкая материя — деньги, когда речь идет о святом искусстве! Если самозванные душеприказчики покойного композитора не понимали, почему он должен играть Скрябина, то где им было понять, что ему хочется играть Скрябина.

Фортепианная музыка Скрябина жила лишь в его собственном исполнении. Он играл «неподражаемо», «божественно», «бесподобно» — любимые и вполне справедливые выражения апологетов Скрябина. «Его руки порхали над клавишами, будто не касаясь их... рождала хрупкие, трепетные, прозрачные, из эфирных струй сотканые звуки». Да, все это так. Но Скрябина нет, а музыка его должна быть. И он покажет, что Скрябин — это не кантовская вещь в себе, что он доступен другим исполнителям, несхожей с ним индивидуальности. Не надо возводить в фетиш исключительность Скрябина, этим

напосится ущерб прежде всего ему самому. Но обожателям предпочтительнее, чтобы рояль их кумира навеки онемел, чем ожил и зазвучал под чужими руками, особенно под сильными руками Рахманинова. Душное и жестокое сектанство, способное вторично убить Скрябина.

Рахманинов сделал большую и сложную программу, куда вошли лучшие фортепианные произведения Скрябина. Он обыграл программу в провинции, затем вынес на суд московской публики. Концерт состоялся в Большом зале Политехнического музея. Во время исполнения Сонаты-фантазии он довольно громко запел. Это случилось с ним нередко, но лишь когда он и музыка становились одним целым и душа его возносилась. Кончив играть, он сказал себе: «Я буду играть Скрябина».

Аплодисменты по ходу концерта были странные — они не охватывали всего зала, вспыхивали очагами. Слышались и шики, когда аплодисменты затягивались. В паузах не было тишины, не было ее и во время исполнения. Никогда еще Рахманинову не доводилось играть в таком простуженном зале. Всевозможные горловые и носовые звуки, сочетаясь с поскрипыванием кресел и шарком подошв о пол, создавали стойкий шумовой фон. Концерт балансировал на краю скандала. Когда же по окончании он пробирался в артистическую, до слуха долетело:

— Это не Скрябин!..

— Издевательство над беззащитным!..

— Жаль, что нет общества по охране музыки!..

Это москвичи — рубят сплеча. А вот, будто снежным холодком опахнуло, — группа чопорных петербуржцев. Цедят тихие ядовитые слова:

— Где одухотворенность?..

— ...пламенность?..

— ...эфирность?..

Почему доброжелатели, если они есть, так молчаливы, застенчивы и неприметны?

В артистическую набились друзья, их двусмысленные, значительные лица и ускользающие глаза вызвали брезгливое чувство.

— Исчез налет импровизации, столь характерный для Скрябина. С небес мы спустились на землю...

— Зыбкие формы окутались стальным ритмом. Поступь командора, а не парение эльфа!..

Я все это знал заранее. Еще до того, как прозвучал первый аккорд, вы уже составили себе мнение. Послушали бы лучше музыку, чем внутренний голос — голос сплетника, твердящий вам, что Рахманинову никогда не проникнуть в мир Скрябина. А вдруг наши миры вовсе не так уж изолированы один от другого?.. Допустите эту возможность и начните думать. Но зачем делать над собой такое трудное усилие, в косном, устоявшемся куда проще жить...

Удивительно, что рослому, солидному и небыстрому в движениях человеку удалось неприметно ускользнуть. Никто не заметил его ухода. Все так возвысились своим неприятием Рахманинова, так

жаждали высказаться и быть услышанными, что упустили «виновника торжества».

В несколько громадных шагов он достиг служебного выхода, и тут от стены отделилась женская фигура в трауре. Гордость или скромность помешали Татьяне Федоровне зайти в артистическую? Она ждала у дверей, словно робкая почитательница прославленного маэстро.

— Спасибо вам,— сказала Скрябина.— Я не сомневалась в вашем великодушии, но вы сделали куда больше.

Татьяна Федоровна была прямым, открытым, хотя и не шумным противником его музыки. Рахманинов давно это знал и не ждал от нее многого.

Она почувствовала угаданную им холодность ее слов.

— Простите... Мне так трудно сейчас связно говорить... Я не знала такой музыки Скрябина... Господи, сколько же в ней скрытой воли! Спасибо вам.

Удивленный и растроганный, он пробормотал:

— Нет, нет!.. Вам спасибо!.. Дай бог вам счастья!..— Он вспомнил большие сухие требовательные глаза.— Вам и вашей прекрасной дочери!..— И в низком поклоне скрыл от нее свое задрожавшее лицо.

У каждого свой век, своя удача. И Татьяна Федоровна Скрябина уже исчерпала отпущенное ей коротенькое счастье. Ее молодость опаллась прометеевым огнем, ее исходу достались грустные сумерки. Верная дорогой тени, она тихо угасала, ненамного пережив мужа. А вот Ариадне Александровне выпало грозное счастье явить оккупированной Франции мужество русской женщины. Бесстрашный боец Сопротивления, она пала под пулями гитлеровской засады.

Они жили между нами, эти высокие, чистые люди. И минули. Но как хорошо, что они были. И кого за это благодарить?..

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Беглец	4
Заступница	55
Один на один	79
Как был куплен лес	120
Когда погас фейерверк	164

РАССКАЗЫ

Огненный протопоп	198
Надгробье Кристофера Марло	216
Остров любви	229
О ты, последняя любовь!..	261
Царскосельское утро	276
От письма до письма	285
У Крестовского перевоза	301
Сон о Тютчеве	315
Злая квинта	323
Запертая калитка	350
День крутого человека	367
Учитель словесности	389
Смерть на вокзале	405
Трое и одна и еще один	422
Перед твоим престолом	447
Сирень	483
Где стол был яств	510

Юрий Маркович Нагибин
ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ УТРО

М., «Советский писатель», 1983, 528 стр.
План выпуска 1983 г. № 133

Редактор *О. Г. Маркова*
Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*
Техн. редактор *Т. С. Казовская*
Корректоры *Р. Г. Рагимова* и *Н. Ф. Сологуб*

ИБ № 3677

Сдано в набор 28.06.82. Подписано к печати 02.11.82. А09198. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 33. Уч.-изд. л. 38,63. Тираж 200 000 экз. Заказ № 434. Цена 2 р. 70 к. Издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

